

Марк Алданов начало конца

Марк Алданов

Начало конца



ВПЕРВЫЕ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

Новосги

Новосги

НАЧАЛО КОНЦА

Впервые в России
МАРК АЛДАНОВ
Сочинения в 6 книгах

Книга 1. Портреты

„Жозефина Богарне и ее гадалка“
„Сталин“
„Пилсудский“
„Уинстон Черчилль“ и другие очерки

Книга 2. Очерки

„Ванна Марата“
„Печоринский роман Толстого“
„Французская карьера Дантеса“
„Мата Хари“ и другие очерки

Книга 3. Прямое действие. Рассказы

„Фельдмаршал“
„Грета и Танк“
„На „Розе Люксембург“
„Рубин“ и другие рассказы

Книга 4. Начало конца

„Начало конца“. Роман
„Десятая симфония“, „Могила воина“
Исторические повести

Книга 5. Живи как хочешь

„Живи как хочешь“. Роман
„Линия Брунгильды“. Пьеса

Книга 6. Ульмская ночь

„Ульмская ночь“
Сборник философских диалогов
Статьи о литературе

Марк Алданов

НАЧАЛО КОНЦА

Новості

Москва, 1995

ББК 84.Р
А 49

*Под общей редакцией
доктора филологических наук, профессора
Андрея ЧЕРНЫШЕВА*

Орфография, пунктуация, написание географических названий и собственных имен в книге приведены в соответствие с современными нормами русского языка.

*Шеститомное издание произведений Марка Алданова,
впервые выходящих в России, выпущено при участии
фирмы „Авеста“.*

По вопросам оптовой закупки книг обращаться
по телефонам 265-50-53 и 265-56-62.

© А.А.Чернышев, предисловие, составление, подготовка текста,
1995

© Б.Н.Федюшкин, рисунки, 1995

© В.В.Анохин, оформление, 1995

АЛДАНОВ В 1930-е ГОДЫ

В середине 30-х годов Алданов рассказал интервьюеру об одном из самых сильных воспоминаний юности. В центре Парижа перед Первой мировой войной ему довелось повстречаться с престарелой императрицей Евгенией, и он вспомнил, как 65 лет назад молодая и цветущая Евгения почти на этом месте беседовала с художником Изабе (ему было под 90); а Изабе — его миниатюрам отведен зал в Лувре — в ранней молодости написал портрет Марии Антуанетты.

Алданову тогда открылось, как коротка нить, связывающая восемнадцатый век с двадцатым. Конечно, изменился до неузнаваемости облик людей, внешние приметы бытия, но сами люди ничуть не переменились, также любят, страдают, борются, мечтают об успехе, боятся старости и смерти, также в них перемешаны добро и зло.

После войны Алданов стал писателем. В начале 1930-х годов вышла в свет его повесть „Десятая симфония“, где изображен Изабе, а лейтмотивом стала волнующая связь времен.

* * *

К этому времени Алданов необыкновенно популярен. У него репутация одного из самых талантливых писателей, появившихся в русской литературе после Первой мировой войны.

Его излюбленный жанр, исторический роман, всегда в почете у читающей публики, и писатель, избравший этот жанр, так сказать, обречен на успех. Но книги Алданова не только рельефно и чрезвычайно достоверно воспроизводили дела давно минувших дней. В его романе „Девятое термидора“ воплощена эпоха французской революции, читатель, современник революции русской, приглашается к раздумьям о сходстве револю-

ций разных стран, разных эпох. Традиционно развлекательный жанр, исторический роман, превратился в актуальную философскую притчу. Автор утверждал, что войны и революции всех времен, как правило, не оправдывали возлагавшихся на них надежд, что кровь, которую люди проливали на протяжении всей истории, была, в сущности, за немногими исключениями, напрасной. Нет мудрости веков, история учит только тому, что она ничему не учит. Подобный философский скептицизм очень характерен для эмигрантского мироощущения, связанного с ломкой привычного жизненного уклада, чувством потерянности на чужбине. Но неизбывная горечь романов Алданова компенсировалась остротой фабулы, увлекательными подробностями нравов императорских домов и тайных заговоров. Великолепны вставные психологические портреты исторических деятелей, они в манере очерков. Изящество отточенного слога, обилие западающих в память афоризмов также немало способствовали успеху писателя.

В 30-е годы его палитра обновляется, он пишет главным образом о современности, жизнь каждодневно диктует ему все новые важнейшие темы: приход Гитлера к власти в Германии, показательные процессы в Москве, сползание Европы к новой мировой войне. Истоки этих событий он ищет в русской революции.

Замысел трилогии „Ключ — „Бегство“ — „Пещера“ возник в полемике с А.Н.Толстым. В первые послеоктябрьские годы Алданов и А.Н.Толстой были дружны, совместно издавали ранний эмигрантский журнал „Грядущая Россия“, в нем печатался роман А.Н.Толстого „Сестры“. Вскоре пути писателей разошлись. Журнал прогорел, А.Н.Толстой, вернувшись в Советскую Россию, переработал роман „Сестры“ и сделал его начальным томом трилогии „Хождение по мукам“, где в духе официальной советской историографии трактован путь русских интеллигентов в годы Первой мировой войны и Гражданской войны: они прозрели под влиянием революционных событий. Алданов же решил осмыслить логику массового бегства лучших людей страны после революции на чужбину. Никакой идеализации, апологии „белого движения“: „Наше поколение было преимущественно *несчастливо*“, — читаем в предисловии к „Ключу“. Изображая в романе канун Февральской революции, писатель бросал современникам горький упрек: общее равнодушие к судьбам страны, слабость, бездействие стали, по его убеждению, одной из главных при-

чин развала старой России. В „Бегстве“ те же персонажи-интеллигенты даны с большей симпатией: под воздействием увиденного в первый год Октября в лучших из них пробуждается гражданское начало, они пытаются бороться против торжествующего зла, их бегство на Запад дано как вынужденное после поражения. Третий роман, „Пещера“, о безотрадной жизни эмигрантов. Страсти остыли, герои плохо вписываются в чуждый быт, им вновь стали присущи равнодушие, апатия. Трилогия — взгляд с другого берега на 1917 год, тройной портрет на фоне быстро сменяющихся декораций.

Для первых двух томов характерна острая интрига: „Ключ“ — детектив без ответа на вопрос: „кто преступник?“, в центре „Бегства“ — история политического заговора. Последний том, третий том трилогии „Пещера“, в соответствии с авторским замыслом, статичен, и критики сочли это недостатком романа, встретили его равнодушно. Было, впрочем, важное исключение, рецензия на „Пещеру“ В.Набокова. Оценивая произведение далекого ему по манере писателя, он сделал афористически емкое наблюдение над его поэтикой: „Усмешка создателя образует душу создания“.

Работа над „Пещерой“ шла тяжело и не доставляла Алданову удовольствия. Он не раз жаловался, что обстоятельства заставляют его торопиться, собирался даже, закончив роман, уйти из литературы. Но жить без работы в русской литературе он не мог, она была его главной страстью. В 1936 году ему исполнилось пятьдесят лет. В этот год, когда вышел отдельным изданием второй том „Пещеры“, в парижском журнале „Современные записки“ начал публиковаться с продолжениями его новый роман „Начало конца“.

Мы привычно повторяем: эпоха 1937 года, но, конечно же, она длилась не один только год. Когда вышел номер журнала с первыми главами романа, в Москве уже заканчивалась подготовка к первому показательному процессу над оппозицией. По улицам Берлина привычно печатали шаг гитлеровские молодчики. Алданов жил в Париже, где сквозь внешнее полусонное благополучие явственно проступали приметы *начала конца*. Передышка между двумя мировыми войнами исчерпывала себя. Казалось, неблагополучие разлито в воздухе, все чего-то с тревогой ждут. Люди, особенно немолодые, ощущают бессилие перед потоком событий, прячут неуверенность за иронией, вспоминают древние пророчества о конце света.

На фоне подобных точно подмеченных сцен Алданов впервые в своем творчестве, впервые в литературе русского зарубежья рассматривает характер „нового советского человека“. Он взял его в необычном интересе, который хорошо знал: вдали от ведомства Ежова, в прекрасном далеке, на Западе. Среди героев — советские дипломаты крупного ранга, у которых, с одной стороны,

У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока,

а с другой — цинизм, опустошенность, страх. Такая трактовка характера соотечественника-современника вступала в разительное противоречие с созданными на родине писателя, поднимавшимися на щит пропагандой книгами, такими, как „Поднятая целина“, „Как закалялась сталь“. Прочитав „Поднятую целину“, Алданов делился впечатлениями с В.Н.Муромцевой-Буниной в письме от 12 сентября 1933 года: „Только слепой не увидит, что это совершенная макулатура... Добавьте к этому невозможно гнусное подхалимство, лесть Сталину на каждом шагу... Почти то же самое теперь происходит в Германии...“

Для трех центральных персонажей романа Алданова, немолодых, многого достигших в жизни, наступает собственное начало конца. Советский посол, по-видимому, в Бельгии, в далекие годы юности был меньшевиком, его терзает страх, что давний грех ему припомнят; командарм, в прошлом генерал царской армии, пошел к красным временно, ради карьеры, а теперь убеждает себя, что России можно служить при любом режиме; пожилой международный революционер, который разочаровался в революции. Если такие, как эти трое — крупные советские государственные деятели, то что-то основательно начало гнить в фундаменте „первого в мире государства рабочих и крестьян“! Из всех трех только один, посол Кангаров, особым умом не блещущий, кажется, пропагандистскую риторику повторяет искренне, но и ему в момент истины откроется, что он никогда в коммунизм не верил, что партия для него была только трамплином к карьере. Подчеркнуто аполитичен командарм Тamarin. Что же касается профессионального революционера, выступающего под псевдонимом Вислиценус („гораздо умнее и значительнее

своего посла“, — сразу определяет опытный французский доктор), этот образ занимает в романе особое место.

По складу своего дарования Алданов прежде всего публицист. Индивидуальные характеристики персонажей, диалектика души, нюансы настроений и взаимоотношений ему удавались в меньшей степени, но мало кто из русских писателей может с ним сравниться в искусстве несколькими штрихами рельефно воплотить эпоху, найти ее самые выразительные приметы, связать ее с прошлым и будущим. Образ Вислиценуса — художественное открытие Алданова, с него берет начало в литературе галерея портретов разочаровавшихся коммунистов. Это соратник Ленина, убежденный, что после смерти Ленина наступила эпоха, лживая насквозь: был растрачен капитал порядочности, веры, убеждений, но по инерции продолжали твердить о светлом будущем, о международной солидарности трудящихся, о революционном подъеме.

Проклятые вопросы 30-х годов, связь ленинских идей и сталинских злодеяний, духовное родство фашизма и коммунизма, бессилие и сила демократии перед лицом брошенного ей вызова получают в романе систематическую, как в политическом трактате, разработку. По Вислиценусу, русские революционеры выпустили джина из бутылки, утвердив в общественном сознании нравственность ненависти. Классовая ненависть бедных к богатым в их теории провозглашалась временным необходимым явлением, вплоть до победы нового общественного строя, во имя высокой цели. Возникло противоречие теории и практики: теория строилась на вере в человека, в его достоинство, в возможность его морального усовершенствования, практика же исходила из предположения, что в человеке есть подлое начало и для успеха идеи его надо на некоторое время активизировать. Сильные, страшные строки впервые в мировой художественной литературе суммируют опыт кровавой бани 1937 года: „Оказалось, что человеческая душа не выдерживает предельного гнета, которому мы ее подвергли, — под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь“.

Редкое совпадение: Набоков в те же годы переиначивал знаменитую тютчевскую строку, получилось: „Мы слизь“. Эти слова — образ эпохи постыдных доносов и малодушных раскаяний „несгибаемых“ большевиков на показательных процессах. Вислиценус Алданов

ва находит мужество признать перед судом собственной совести: „Мы, когорта политического преступления...“ Эти слова звучат приговором советскому режиму, провозглашают его *начало конца*.

К отечественному читателю роман „Начало конца“ приходит с опозданием более чем на полвека. Написанный по горячим следам событий, он в сравнении с позже появившимися книгами Солженицына, Шаламова, быть может, покажется кому-нибудь даже лакированным: в его изображении быта наших за границей нет взаимного доносительства, принудительной высылки на родину в 24 часа, все советские граждане в романе — нравственные, достойные уважения люди. Писатель постоянно повторяет: „Вечна только добрая литература“.

И все же роман „Начало конца“ — книга правдивая и горькая. „Что же мы сделали? Для чего опоганили жизнь и себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей? Для чего научили весь мир никогда не виданному по беззастенчивости злу?“ Эти поставленные в ней вопросы вопросов венчают прозу Алданова 1930-х годов.

* * *

Алданов, бесспорно, проявил художественный такт, когда эти и подобные им мысли персонажей романа, советских людей, облачил в форму внутреннего монолога. С кем бы мог — из соотечественников, из иностранцев — многоопытный Вислиценус делиться своими крамольными идеями? Форма внутреннего монолога была единственно возможной и безопасной для той эпохи, когда царил всеобщий страх.

Но опасаясь, что роман, где главная нагрузка падает на внутренний монолог, окажется скучен, Алданов решил оживить его за счет двух дополнительных сюжетных линий. Сами по себе эти линии очень любопытны, однако по своей значимости уступают теме начала конца.

Писатель ввел в сюжет историю убийства. Создается видимость острой интриги, но эта история не бросает нового света на главных действующих лиц, она самоцельна.

Известно, что Алданов, как и Бунин, восхищался Л.Толстым, но недолюбливал Достоевского. В статье 1930 года „Из записной тетради“ он сделал ряд нрав-

ственных упреков в адрес романа „Преступление и наказание“ (статья предполагается напечатать в 6 книге нашего собрания сочинений Алданова). Особенно подробно он критиковал изображение наказания — каторгу, эпилог. Достоевский лучше, чем кто-либо другой из классиков, знал, что такое каторга. Описать ее по-настоящему значило бы вызвать безнадежную путаницу во всем замысле романа, наказание тоже стало бы преступлением, и от идеи очищения страданием осталось бы, вероятно, немного. Пришлось бы очистить страданием, иронизировал Алданов, и каторжное начальство. В „Начале конца“ ситуацию „Преступления и наказания“ Алданов переносит во Францию 1930-х годов и обнаруживает, что замыслившего убийство в целях ограбления юношу-анархиста не могут терзать ни духовные, ни нравственные проблемы, что для него лишить другого человека жизни, не оставив улики, — лишь интересная техническая задача, способ самоутвердиться. В своем варианте темы наказания Алданов тоже пошел по другому пути: герой раскаяния не испытывает и как бы отрешенно идет на казнь. Света в конце туннеля не видно, но анализ зла — как призывы постичь мудрость в добре. Зарисовка темной стороны французской жизни 30-х годов оборачивается спором с русским классиком XIX века. Достоевский наделил преступника богатым духовным миром, чувствительностью, Алданов смотрит на своего Альверá трезво и презрительно.

О литературе много говорят и персонажи. Комментируют Гоголя, соотносят с собственной судьбой строки Пушкина, вспоминают сотни полузабытых произведений. Писатель, стремясь передать читателю свою любовь к книге, побуждает рыться в справочниках, доставать с полки запылившиеся тома классиков. Среди действующих лиц романа начинающая советская литераторша и маститый французский романист.

Секретарша советского посла Надежда Ивановна сочиняет рассказ на современную тему — о диверсии и о том, как вредителя со звучной фамилией Карталинский разоблачили. Она размышляет: „В камере районного прокурора, наверное, был портрет Сталина. Что, если, взглянув на это лицо, Карталинский, в порыве душевного раскаяния, перейдет на сторону советской власти!“ Ей и на ум никогда не приходило, что в литературном творчестве надо быть честной. Сюжет, персонажи, язык — все в рассказе сплошные штампы. Прими-

тивность, однако же, ничуть не мешает успеху, рассказ принят к печати в солидном московском журнале, поклонник, сообщая радостную весть, величает ее: „Наденька Горькая“. Эта „Наденька Горькая“ как воплощение „совершенной макулатуры“ официальной новой советской литературы...

А мудрую европейскую, корнями уходящую в века культуру воплощает в романе парижский эрудит и остролов, украшение литературных салонов, „бессмертный“, то есть член Академии Луи Этьенн Вермандуа.

Рисуя этот образ, один из центральных в романе, Алданов вводит читателя в собственную творческую лабораторию. Вермандуа тоже пишет исторический роман, но из древнегреческой жизни — к ней Алданов никогда не обращался. Для начала работы, для вдохновения Вермандуа листает знаменитые романы „Девяносто третий год“ Виктора Гюго и „Боги жаждут“ Анатоля Франса. Книги из эпохи французской революции для Вермандуа должны были бы быть малоинтересны, но зато несомненно живо волновали самого Алданова, создателя романа о девятом термидора. Это повод для него высказать свое отношение к французским предшественникам и утвердить оригинальность собственной концепции.

Мемуарист А.Бахрах в книге „По памяти, по записям“ восстанавливает следующую любопытную картину. В 1940 году в кафе в Ницце Бунин достает из кармана листок, где колонкой выписаны ряды фраз, и начинает не без иронии убеждать Алданова, что Вермандуа — автопортрет: „Подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, „цитировал сто тысяч человек“, а вы? „вежливость была в его природе“, а у вас? „грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение“, а вас?.. А дальше ваш Вермандуа говорит: „Но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость“. Ведь все это ваши собственные переживания, — настаивал Бунин, — да и вы, родись вы французом, расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы „бессмертным“.

Алданов, по словам мемуариста, конечно же, отрицал автобиографичность своего героя и, возражая Бунину, говорил, что в его романе Вермандуа если не коммунист, то салонный „большевизан“, а этого достаточно, чтобы отбросить мысль о тождестве писателя и героя. Но на деле, считает Бахрах, Бунин был прав,

предполагая, что отличия даны лишь для отвода глаз и по сюжетной надобности. В сущности, он раскрыл тщательно скрываемую автором „Начала конца“ загадку.

* * *

Помимо романа в эту книгу входят две повести Алданова 30-х годов, раскрывающие внутренний мир великих художников прошлого. Моральную опору для себя в мире, где „черт на пути ко всемогуществу“, писатель ищет в непреходящей ценности искусства. В повести „Десятая симфония“ (1930) едва ли не самая впечатляющая сцена — пожар в венском дворце графа Разумовского, горят бесценные произведения старых мастеров. Хрупкость, тленность шедевров, трагизм судьбы художника — эти темы были особенно актуальны для горькой эпохи 1930-х. Повесть „Могила война“ печаталась в 1939 году — самый крупный пожар в истории охватывал всю Европу. Стоит ли в наши дни строить новый Версаль, когда все может быть разрушено аэропланами в несколько минут? — звучит в „Начала конца“.

Новый для себя жанр философской повести Алданов открыл как будто случайно. 17 января 1930 года он сообщил Бунину, что задумал несколько статей на тему „низы и верхи“. В качестве первого „низа“ избрал Азефа как величайшего злодея, а первым „верхом“ хотел бы взять Гёте. Для осуществления этого замысла писателю требовалась поездка в Веймар, но предпринять ее он не смог. Место Гёте занял у него Бетховен, действие стало происходить в Вене. Взамен статьи под его пером стала складываться философская повесть-притча о человеке-творце.

Трагизм Бетховена в том, что гений не понят толпой, утверждал за сто лет до Алданова романтик В.Ф.Одоевский. Алданову свойствен скептицизм, он спорит с традиционным взглядом. В его повести „Десятая симфония“ Бетховен понят, не толпой, но такими ценителями, как наш соотечественник Разумовский, трогательно заботится о нем преданный Шиндлер, исполнение Девятой симфонии заканчивается бурной овацией. И тем не менее творчество дается Бетховену ценой ужасных мучений, а в повседневной жизни он отравляет жизнь окружающим. О Девятой симфонии Разумовский говорит: „На предельных высотах искусства нужны добровольные мученики: разве в нормальном состоянии мож-

но создать такое произведение?..“ И не стала ли причиной смерти гения задуманная им десятая, которая, как он мечтал, затмит все написанное им ранее?

Другой тип художника воплощает в повести миниатюрист Изабе: искусство, по его представлению, должно изображать жизнь более нарядной, чем она есть, он верит, что будущее принадлежит такому искусству, которое удачно заgrimуруется под безделушку. Он создал для себя своеобразный гореупорный мир: на протяжении долгой своей жизни рисовал с равным радушием и в то же время безразличием сменявших друг друга монархов и революционеров, гнал от себя неприятные мысли о смерти.

В 1931 году вышла в свет книга Алданова, состоящая из повести „Десятая симфония“ и очерка „Азеф“. Соединение под одной крышей этих двух произведений, такое естественное в первоначальном замысле писателя, в связи с изменением жанра первого произведения утратило органичность. Чтобы укрепить их внутреннюю связь, Алданов включил в повесть сцену чтения молодой писательницей ее новеллы. Действие происходит в средневековье, изображен совершенный злодей — человек без всяких нравственных устоев, и один из слушателей говорит, что злодей — дело прошлого, больше их никогда не будет. Реплика опровергается очерком. Алданов в предисловии замечал, что о таком человеке, как Азеф, написать художественное произведение он не мог и потому написал очерк.

В промежутке между „Десятой симфонией“ и „Могилой война“ Алданов еще дважды писал о людях „на предельных высотах искусства“: в рассказе „Бельведерский торс“ (см. 3-ю книгу нашего собрания) выведен Микеланджело, в повести „Пуншевая водка“ — Ломоносов. „Пуншевую водку“ и „Могилу война“ автор назвал сказками, вкладывая в это слово особый смысл. Характерные признаки сказок он понимал как „отрывочность, сухость психологического рисунка и подчинение всего общей идее“. Сказка — менее всего исторический портрет, философский ее смысл подчеркнут подзаголовками, эпиграфами к главам. Подзаголовок „Могила война“ — „сказка о мудрости“.

В ней изображен мудрый Байрон, а вокруг него люди практического действия — банальные, но сохраняющие душевное равновесие счастливицы. Тень Байрона, его комический двойник — полицейский агент, нисколько не терзаемый угрызениями совести. Казалось бы, на

другом социальном полюсе, но на деле недалеко от агента ушли и государственные мужи, считающие себя мудрыми, — самовлюбленные, ограниченные. Единственное среди них исключение — чем-то близкий Байрону император Александр I, размышляющий о невозможности найти ответ на вопрос, что важнее: спасение души, свобода или расширение России.

Сам Байрон дан в „Могиле воина“ в период напряженных духовных исканий. Ему открылась красота простоты в искусстве, он нашел новые пути для развития искусства после романтизма — но пойдут этими путями другие, не он. Он иронизирует над байронизмом, над собственными прежними произведениями, которые принесли ему мировую славу, он утратил вкус к жизни. Мудрость для него теперь — умереть как подготавливает воину, за правое дело, — и он едет в Грецию. Блистательно написаны последние страницы повести, рисующие знаменитого романтика вне романтической среды, в буднях военного похода. Человеческая жизнь в изображении Алданова как шахматная партия, где в конце ждет неминуемый запрограммированный проигрыш, но по ходу партии игрок может сделать несколько сильных и красивых ходов.

Горький мотив тщетности исторических деяний контрастирует с легкостью занимательной завязки: карбонарии готовятся к тайному собранию. Развлекательность обманчива, и вскоре читатель погружается в мир политических драм и литературных баталий начала 1820-х годов. Драматическая развязка рельефна и неизбыточно печальна.

* * *

Читая прозу Алданова 30-х годов, поражаешься широте тем и жанровой палитры. „Могилу воина“ и „Начало конца“ он писал одновременно, отвлекаясь лишь порою для работы над очерками о государственных деятелях Франции XVIII века, Австро-Венгрии XIX века. Каждый год он выпускал хотя бы по одной книге, постоянно выступал с рецензиями и статьями. В долгой и тщательной подготовительной работе по присуждению Нобелевской премии Бунину роль Алданова была видной и активной. Он мобилизовал все свои знакомства и связи, волновался и горел едва ли не больше, чем сам Бунин.

Он как будто бы торопился успеть кончить все литературные дела до того, как начнется война. Когда разгорелась война, роман „Начало конца“ не был напечатан полностью. Был издан отдельной книгой первый том, с сокращениями в журнале печатался с продолжением второй, свет увидела примерно его половина. Но в Париж вошли фашисты, Алданов, скрываясь от них, бросив почти все вещи, вынужден был бежать на не занятый оккупантами юг Франции. На вокзале Аустерлиц произошло неприятное событие: он снял летнее пальто и отдал его родственнице, а сам отправился за билетами. В кармане лежал единственный экземпляр рукописи только что оконченных последних глав — и она потеряла рукопись! „Разумеется, потеря невелика, но автору, по человеческой глупости его, крайне досадно, тем более что он гордится, тоже по глупости: начал писать и печатать „Начало конца“ (культуры и свободы) четыре года назад“, — сообщал он из Ниццы 13 августа 1940 года М.А.Осоргину.

Неопубликованные главы Алданов из предосторожности в сентябре 1940 года переправляет в Америку. Затем с обычными для военного времени приключениями добирается сперва в Лиссабон, а оттуда по билету, выписанному в кредит с выплатой из будущих заработков, отплывает с женой на пароходе „Серия Пинто“ в Нью-Йорк.

Вскоре он становится одним из основателей нью-йоркского „Нового журнала“, призванного заменить парижские „Современные записки“ — лучший толстый журнал русской эмиграции 20 — 30-х годов. В первых же номерах публикует и пропущенные главы, и окончание „Начала конца“. Сгруппировав главы по сюжетным линиям, печатает их как самостоятельные отрывки: „Командировка Тамарина“ — испанские главы, резко контрастирующие с парижскими; „Реквием“ — по-видимому, этот эпизод заменил утерянные в 1940 году страницы, где герои обсуждали редкие книги, хранящиеся в парижской Национальной библиотеке; „Бал у короля“ — заключительная глава, странным образом напечатанная „Новым журналом“ без самой последней сцены.

Если принять концепцию „Вермандуа — автопортрет“, обретает новый смысл заключительная сцена романа. В ней советский посол предлагает Вермандуа выпустить в Москве его собрание сочинений, заплатив долларами, но в обмен Вермандуа должен выступить в

поддержку суда над „врагами народа“. Не восходит ли эта сцена к какому-то неизвестному нам эпизоду из жизни самого Алданова? Воображение рисует госиздатовский том с повестями „Десятая симфония“ и „Могила воина“ со вступительной статьей, скажем, Ермилова, где отдается дань эрудиции и таланту писателя, но подчеркивается, что он не усвоил идей диалектического и исторического материализма... Таких эмигрантов, как Бунин, Ремизов, порою в СССР печатали. Но Алданова никогда, ни одной строки, ни одного упоминания о нем в обзорных литературно-критических статьях — как будто его не существовало. Быть может, он услышал постыдное предложение и ответил на него точно так же, как его Вермандуа? „Хорошо жил тот, кто хорошо скрывал“, — часто повторял Алданов слова Декарта. Вот еще одна загадка, ответ на которую, возможно, будет найден литературоведами, когда они изучат архивы советской госбезопасности.

Своим родственникам Полонским, оставшимся во Франции, Алданов сообщил 7 мая 1942 года, что вскоре вышлет дополнительные страницы „Начала конца“. Надо полагать, на этом работа писателя над романом завершилась. Ему не удалось найти русского издателя, и он писал по этому поводу тем же Полонским: „Антибольшевистский роман теперь, как вы догадываетесь, не в моде“.

Но на английском языке роман вскоре вышел, имел большой успех у критиков, на нем остановил выбор Клуб книги месяца — это означало издание многотысячным тиражом в мягкой обложке.

И только теперь он впервые выходит в виде отдельной книги на русском языке.

НАЧАЛО КОНЦА

Роман



Часть первая

I.

Во сне человек, называвший себя Вислиценусом, видел все то же. Этот кошмар посещал его особенно часто в последние годы: выстрелы, кровь, погоня, лес, чаша, зажатый в руке револьвер с взведенным курком — тогда еще у револьверов взводились курки, — все то, что как будто бывает лишь в кинематографе, но с ним было в жизни, в его странной жизни, точно составленной в подражание плохому неправдоподобному фильму. Люди приближались и свистели, он сжимал револьвер все крепче: решил живым не отдаваться и в то же время во сне думал, что в этом романе из жизни американских трапперов на картинке был человек с *дымящимся кольцом* в руке, и надпись была с чернильным пятном: „Он твердо решил дорого продать свою жизнь“... Гнавшийся за ним впереди других огромный, рыжий, с зверским лицом человек выхватил кинжал. Мелькнул какой-то дощатый желтоватый ящик. Вислиценус проснулся, сердце у него стучало, в купе было полутемно; не сразу понял, что *то* давно кончено, что он едет по Германии, что протяжно свистит паровоз, что слабо поблескивающий впереди предмет — не дуло *кольца*, а ручка умывальника. Правая рука его, почти судорожно сжимавшая деревянный выступ койки, разжалась. Он испытывал и облегчение, и грусть: почти жаль было, что *то* оказалось сном. Постарался припомнить снявшееся — там, наряду со смешными нелепостями, были сложные комбинации, которые, он знал твердо, никогда наяву ему не приходили в голову. Кто-то в нем как-то думал обо всем этом, без его ведома, думал неизвестно зачем, неизвестно почему. Это было странно и неприятно: „вторжение в чужую квартиру“... Свист паровоза боролся с грохотом замедлявшего ход поезда. Повернул выключатель: чемоданы, в том числе и *важный*, были на месте. Свет резал глаза. Он привстал, поднял штору окна и тотчас погасил лампочку, по старой автоматической привычке бедного человека в бережливости. Было тусклое утро.

Поезд подходил к станции. Взглянул на часы — нет, до Берлина еще довольно далеко.

Вислиценус встал, вынул из кармана гребешок, привел в порядок волосы и кое-как с досадой расчесал давно отросшую, но все еще непривычную седоватую бороду: она в Москве сразу состарила его лет на десять. „А узнать все-таки нетрудно. Да и скрываться теперь незачем. Детская игра, — рассеянно думал он, поглядывая на все медленнее проходившие за окном чистенькие каменные, кирпичные строения, — детская игра“... В памяти всплыла другая картинка из детского романа с надписью: „Медленно прицелился он в неподвижно стоявшего Корнелиуса“... За окном что-то закричал дикий голос; Вислиценус покачнулся от толчка. Из вагонов, суется, с радостными и растерянными возгласами стали выходить люди. По перрону катил повозочку мальчик и выкрикивал, неприятно картаво растягивая букву „р“: „Cafe... Br-rödchen! Belegte Br-rödchen...“^{*} Вислиценус остановил его, взял картонный стакан с кофе и больше для того, чтобы проверить свой выговор — отвык от немецкой речи, — спросил, какая это станция. „Франкфурт-на-Одере“, — с удивлением ответил мальчик, почему-то обиженно подчеркивая „на Одере“. Франкфурт-на-Одере! „Was macht das?“^{**} — еще спросил Вислиценус и, разобравшись в немецких деньгах, заплатил, сказав, как немец: „Stimmt“[^] („нет, не забыл“...). „Danke sehr, danke schön“[^], — пропел мальчик и покатил повозочку дальше: — Cafe, Br-rödchen!..“

Из-за угла строения появился отряд дружинников и быстро, тяжелым, крепким, звонким шагом прошел по перрону. На них смотрели с любопытством из вагонов; чувствуя взгляды, они шли особенно молодежато, точно в сражение. „Хорошо идут“, — подумал Вислиценус. Он знал в этом толк: в молодости служил в армии, лишь немногим было известно, в какой именно. Здоровые, энергичные, молодые лица, с общим у всех радостным, самодовольным и тупым выражением вызвали у него такой прилив отвращения и ненависти, что сердце как будто снова стало биться сильнее. Тут же он подумал, что у той молодежи, марширующей в Москве, такие же

^{*} „Кофе... Булочки! Бутерброды...“ (нем). Здесь и далее переводы текстов на иностранных языках даны редакцией, если это не оговорено особо.

^{**} „Сколько я должен?“ (нем.)

[^] „Правильно“ (нем.).

[^] „Большое спасибо“ (нем.).

лица и такой же вид, — разве только эти несколько крепче, здоровее и, главное, чище. И все тут: перрон, мундиры, свастика, белая куртка мальчика, восковые бумажки бутербродов — так и сверкало чистотой, от которой он тоже давно отвык, как от немецких денег. Отряд исчез в подземном проходе вокзала. „Полагалось бы пожелать, чтобы эти обманутые юноши под влиянием пропаганды перешли в коммунистический лагерь“, — подумал он, садясь. Для краткости он просто пожелал им смерти. Вспомнил, что много лет тому назад в Москве одна девица, кокетничая, спросила его, задушил ли бы он своими руками лорда Керзона. Сделав страшные глаза, он в тон ей ответил, что уж очень неудобно душить своими руками: „Обычно я пользуюсь револьвером; а уж если душаить, то отчего же не прибегнуть к услугам товарища палача?“ Эффект ответа, особенно слов о товарище палаче, был необыкновенный — девица так и затрепыхалась: ах-ах!.. Вислиценус знал, что ему с почтительным испугом приписывают в прошлом самые страшные террористические акты. „Мог бы стать в провинции первым любовником. А в сущности, сказал девице правду...“ Он не чувствовал особенной ненависти именно к лорду Керзону, но, разумеется, в свое время не мешало повесить и лорда Керзона: „Зачем же ему было умирать в своей постели? Да и вообще легче перечислить тех, кого вешать не надо...“

Кондуктор прокричал страшным голосом: „Einsteigen!..“ Поезд тронулся. Вислиценус умылся, в купе был умывальник красного дерева. „Да, они устраиваются удобно“, — подумал он, вспоминая, как путешествовал в былые времена. Роскошь его раздражала — почти все раздражало его, он и теперь, если б был свободен, взял бы билет третьего класса. Но Вислиценус был причислен к посольству: по роду его работы из-за чемодана, который он вез, ему везде, а особенно при проезде через Германию, был необходим дипломатический паспорт. Посольство же, чтобы не иметь нежелательных соседей, заняло весь международный вагон. „Все равно провожатый, конечно, от гестапо“, — подумал Вислиценус, впрочем, довольно равнодушно. Умывшись, он поднял упавшую с вечера на пол книгу, почему-то случайно захваченные письма Достоевского, и стал лениво перелистывать, разыскивая ту страницу, на которой заснул накануне. Там речь шла о „Бесах“.

* „Занимайте места!..“ (нем.)

Смутно вспомнил содержание этого романа. „В общем, идиотская история: всемирный бунтарь, приехавший из-за границы в русскую провинцию устраивать мировую революцию против какой-то генеральши... И этот мальчишка-сверхчеловек, намеренный за свою красоту в вожди мировой революции!..“

Читать Вислиценусу не хотелось. Он опустил книгу на колени и долго, глядя в окно, думал о самых разных предметах: о Гитлере, о предстоящей войне, о Наденьке, о своей миссии, о своей астме — еще только ли астма? В Москве врач, вызванный к нему в „Люкс“, с уклончиво-озабоченным видом сказал, что современная медицина, собственно, смотрит на астму не как на самостоятельную болезнь, а как на симптом различных заболеваний: ему следовало бы вести возможно спокойный образ жизни. Вислиценус только усмехнулся, и врач понял, что дал не совсем удачный совет. „Кажется, он македонец, что ли? или работал долго в Македонии? Эти македонские историйки вообще не способствуют долголетию. Годика три-четыре еще протянет, — подумал врач и сказал: — Непосредственной опасности нет никакой, а отдохнуть вам очень не мешало бы, если, конечно, есть какая-либо возможность“. „Постараюсь, доктор, постараюсь, спасибо“, — сказал Вислиценус. Оба взглядели друг на друга с насмешкой. „Мне что, твое дело“, — подумал врач.

Из коридора послышались негромкие смеющиеся голоса. Посольство уже встало. Секретарь прошел мимо двери, стер с лица улыбку и холодно бросил: „Доброе утро, товарищ Дакочи...“ Его называли также Дакочи; в газетах, при перечислении участников съездов Коммунистического Интернационала, писали то Дакочьи, то Дакоччи, то Дакочич. Лишь виднейшие члены организации знали его биографию; а имен у него вообще было столько, что сам иногда не мог вспомнить, где и когда под какой фамилией жил. Псевдонимы он выбирал, долго не задумываясь, какие придется: был и Неем, и Чацким, и Кирджали, и Ураловым; несерьезное имя Вислиценус попало ему в какой-то химической книге и понравилось своей звучной неопределенностью. Настоящую же фамилию он носил только в ранней молодости, еще до того времени, к которому относился кошмар, и она давно была гораздо менее настоящей, чем Вислиценус или Дакочи. Он не любил рассказывать о своем прошлом, и это создавало ему ореол. Говорили, что он по происхождению македонец, или хорват,

или далматинец, — или, как это у них там еще называется? — но учился в России, в кадетском корпусе; потом из кадетского корпуса молва сделала пажеский. „Это тоже способствовало ореолу, как ореолу Ленина у нас способствовало дворянское происхождение, за которое мы же преследуем чужих людей... Ну и отлично... Девять десятых престижа Кропоткина покоились на его княжеском титуле, да еще на длинной бороде: если бы его побрить и если бы он назывался Петровым или Шмулевичем, то кому он был бы интересен?..“

По коридору стыдливо проскользнула Надежда Ивановна с переброшенным через плечо полотенцем и с маленьким чехом в руке. Он улынулся ей, почувствовав радость. И тотчас ему самому стало смешно: в этой улыбке, в этой *беспричинной радости* было что-то чрезвычайно банальное и глупое: „При виде молодой девушки на суровом лице старого воина выступила ласковая улыбка...“ „Да, да, старый воин“, — пробормотал он и лениво, в сотый раз, попытался *обдумать отношения*. „Собственно, и обдумывать нечего: никаких отношений нет... Но они могут быть, и если бы были, то вышло бы совсем нехорошо: не просто глупо, но и гадко. Старому человеку уж себя-то обманывать ни в чем не надо, достаточно обманывать других... Да, на шестом десятке, с суконым рылом, — нерешительно сказал он себе. — В лучшем случае она серьезно вообразила, что я Инсаров и что она тургеневская девушка. Но и тургеневских девушек у нас нет — да и нигде нет и не было, — и Инсарову нельзя быть старше сорока лет. А в худшем случае играет в *поклонение старому герою*. Комедиантка тоже порядочная, — с внезапным раздражением подумал он, — и я это скажу ей. По какому праву? А так, без всякого права, и пусть будет в этом *гадко-старческое*, мне совершенно все равно, я не виноват, что стар...“ Тот человек, который в нем, одновременно изнутри и со стороны, неблагоприятно контролировал его чувства, говорил ему, что из этого положения выхода нет. „Почему же нет? Из всякого положения должен быть выход. Какая ерунда! Все не из всякого. Ну, и не надо, и нечего изображать черта с Иваном Карамазовым, все мы пересыщены и отравлены литературой... Скверная сцена, и черт скверная выдумка, и очень лубочно играл тогда Качалов...“

Он вспомнил о письмах, взял книгу и насильно заставил себя читать, но Достоевский по-прежнему был

ему неприятен и неинтересен. „Да, да, смотрите, вот какой он правый и благонамеренный, ну, прямо совсем, совсем правый... Продержали молодца (он чуть было не подумал: *парня*) на каторге четыре года, шелковый стал, служил им верой и правдой весь остаток жизни. Но верить в *грубую силу* им не полагается, избави Господи... Ну и отлично, правый и благонамеренный, очень приятно, но мне какое дело до него, и до всех этих людей, и до того, что в Германии везде такая грязь, — а он в Сибири привык к чистоте! — и до его демонических столкновений с квартирными хозяйками, и до того, что он так демонически проиграл десять талеров и не просто заложил юбку жены, а заложил тоже демонически, с самобичеванием?.. Зачем это издают? Кому нужны заграничные впечатления этого замоскворецкого мещанина? Он — враг, и к черту его! Ведь нас он именно „собственными руками задушил бы“... Гениальный романист? Ну, и издавали бы „Преступление и наказание“... — Надежда Ивановна снова проскользнула мимо двери, на этот раз не взглянув в его купе. — У нее чистое полотенце и дорожный несессер. Чувствуется, что дочь профессора, „из хорошей семьи“. И мне это нравится...“ Он почитал еще минут пятнадцать, чтобы не так было явно, затем положил книгу и вышел.

II.

В большом купе, составленном из двух отделений, кончали утренний завтрак посол Кангаров-Московский, его жена Елена Васильевна, стенографистка Надежда Ивановна и молодой секретарь. Посол был в хорошем настроении, хотя жаловался, что мало спал. Накануне они до двух часов играли в винт, потом ему долго снились какие-то бессмысленно чудесные разыгрыши и головокружительные коронки. Игра была именно такая, какую любил Кангаров: с прибаутками, с криками, с взрывами негодования, но без настоящих грубостей и без продолжительных ссор. После особенно драматических происшествий он ядовито справлялся, у кого именно учился виноватый партнер, и вопросительно называл имена известных сапожных фирм. Посол и теперь обсуждал с секретарем одно драматическое происшествие:

— Цыган бил сына не за то, что он играл, а за то, что потом спорил, — говорил, улыбаясь, Кангаров. Он улыбался почти неизменно, как будто неизменно знал что-

то такое, чего не знал его собеседник: „Ах, если бы можно было им все сказать!..“ Улыбка у него была всегда сладкая и всегда разная: степень ее сладости зависела не от содержания разговора, а от того, с кем он говорил. Но коричневые глаза его никогда не отвечали улыбке, в них постоянно было беспокойство; иногда они желтели и сразу становились очень злыми. В этом полном несоответствии глаз и улыбки заключалась особенность его лица, вызывавшая у наблюдательных людей смутную тревогу. — Конечно, надо было прорезать даму, это должно быть ребенку ясно, Секретарь Иванович. — У него была давняя шутка: прибавлять отчество Иванович к произвольно выбранным словам. — Если бы вы прорезали, быть бы его превосходительству без трех. — Его превосходительством Кангаров подчеркнуто шутливо — „что же, мы в своей компании“ — называл их полуслучайного попутчика, видного военного специалиста с настоящей, но похожей на псевдоним фамилией Тamarin. Он не состоял в обществе и ехал в Париж в командировку.

Секретарь спорил учтиво и мягко, как полагается дипломату, — не надо было думать, что он подлаживается и во всем угождает начальству, но полпред был полпред, и в том, как защищал свою игру секретаря, слегка чувствовалось, что он признает себя немного неправым. Впрочем, он не подлаживался к начальству: был вообще человеком порядочным, добродушным и на подличанье неспособным. Но со времени назначения на дипломатическую службу секретаря так и переполняло счастье; на его лице повисло выражение тихого восторга: „До чего дожил!..“ Он всей душой был благодарен Кангарову, который добился причисления его к посольству; считал посла большим государственным деятелем, искренно им восторгался. Оберегая свое достоинство, иногда спорил и о политике, и о вине, но всегда был готов признать превосходство собеседника. Кангаров в самом деле прекрасно играл в винт; никаких других карточных игр он не признавал и к бриджу, которому его учили за границей, относился сухо-недоброжелательно, как относятся к выскочке, занявшему, благодаря стечению счастливых обстоятельств, высокое место, принадлежащее по праву другому. Разбив молодого секретаря, он засмеялся и ласково потрепал его по плечу.

— Во всем нужна интуиция, — сказал он, — интуиция. В винт вы играете, как сапожник, будем надеять-

ся, что на дипломатической службе интуиция у вас будет.

Кангаров-Московский придерживался того взгляда, что в нем должны быть два лица. На службе он был требовательный, властный и даже суровый начальник. Но вне службы они все равны, все партийные товарищи, и тон шутилой фамильярности — разумеется, в известных пределах — вполне допустим: вне службы он даже не лицо, а человек, милый, умный, внимательный, обожаемый подчиненными — нет, не подчиненными, а сослуживцами — человек. Так вел себя и Ленин — поэтому он и был „Ильич“. Степень фамильярности вне службы, впрочем, у Кангарова менялась в зависимости от обстоятельств, настроения и собеседника. Больше всего позволялось его любимице, стенографистке Надежде Ивановне.

— Как быстро летит поезд! — сказала жена посла Елена Васильевна. — У нас куда медленнее... Ах, ради Бога, закройте, сажа! — вскрикнула она: секретарь отворил окно и выбросил оставшиеся от завтрака бумажки и кульки. Рванул ветер, кулек жалко метнулся к стене вагона. — Сажа! Сажа! — с ужасом повторила жена посла.

Кангаров пожал плечами и, обратившись к стенографистке, принялся дразнить ее. Лишенный интуиции секретарь попробовал было шутило пристать к их разговору, не пристал и непринужденно-почтительно, как полагалось дипломату, заговорил с женой посла о театре: она была артистка, а ему ничто человеческое не было чуждо.

Появление Вислиценуса должно было внести холодок. Посол очень его недолюбливал, и с ним вдобавок было связано свежее воспоминание о большой неприятности. Кангаров-Московский был в молодости меньшевиком и в пору первой революции, после провала московского восстания, в дни экспроприаций, напечатал о большевиках за границей статью под заглавием: „Опомнитесь, бесстыдники!“ Это было очень давно, партийный стаж был зачислен Кангарову с 1911 года, он считался одним из лучших экономистов партии, занимал видные посты, не был замечен ни в уклонах, ни в связях с оппозицией и имел все основания думать, что его печальное прошлое забыто. Приглашение перейти на дипломатическую службу он получил совсем недавно. Как эксперт принимал участие в разных международных конференциях, где его таланты и познания

были оценены и начальством, и иностранными специалистами. На какой-то конференции сам Шахт сказал о нем: „Вот с таким человеком приятно иметь дело...“ Когда были восстановлены дипломатические отношения с одной из далеких и менее важных монархических стран, Кангарову было предложено занять должность полномочного представителя. Он с радостью согласился, но, переоценив свой вес в партии, по неопытности и неосведомленности, поставил условие: никто не должен вмешиваться в его работу и вставлять ему палки в колеса. „Никто“ это означало Коминтерн. Непосредственный начальник Кангарова, сам ненавидящий Коминтерн, посмотрел на него, вздохнул и ничего определенного не сказал. На прощальной аудиенции у диктатора Кангаров совершенно неожиданно узнал, что к его штату прикомандировывается Вислиценус. Преодолевая тот почти физический страх, который ему, как всем членам партии, внушал Сталин, Кангаров с достоинством (с самой сладкой своей улыбкой) напомнил об условии и принялся было объяснять свою точку зрения. Однако диктатор тотчас перебил его и, посмотрев на него с насмешкой тяжелым взглядом жестоких глаз, сказал, что никаких условий он ставить не может, а должен и будет делать то, что ему прикажут. При этом недвусмысленно дал понять, что печальное прошлое не забыто — где-то хранится статья „Опомнитесь, бесстыдники!“ — и неожиданно перешел на „ты“. Правда, „ты“ было товарищеское, но оно было товарищески одностороннее, и Кангаров-Московский вспоминал об аудиенции с самым неприятным чувством.

Он не подал виду, что появление Вислиценуса ему неприятно. В глазах его мелькнула злоба, но сладость улыбки повысилась. Здороваясь, он даже привстал с места, что делал только для лиц немалого положения (перед высокопоставленными, естественно, вставал).

— Выспались? Позавтракали? — спросил он (два вопроса показывали, что не надо отвечать ни на один) и тотчас обратился к Надежде Ивановне, продолжая начатый разговор: — Да-с, детка, так и знайте, всех нас схватят и посадят в темницу. Какого это нашего посла султан бросил в Семибашенный замок? Ну, не в Семибашенный замок, а в концентрационный лагерьк попадете.

— Вот тебе раз! А дипломатический иммунитет? — спросила притворно-испуганно стенографистка. Было молчаливо условлено, что Кангаров считает ее наи-

вным ребенком. Ему было приятно, что он немного напугал ребенка.

— „Дипломатический иммунитет“! Скажите, пожалуйста, какие она знает слова! А кто провалился на экзамене по политграмоте? И кто это от меня скрыл? Знал бы, ни за что не взял бы тебя со мной.

У Кангарова не было никаких оснований называть стенографистку „деткой“ и говорить ей „ты“: ей шел двадцатый год. Но это сделалось само собой: в первый раз он ласково обратился к ней на „ты“ с наскака, с тем, чтобы можно было, в случае неудачи, тотчас вернуться к „вы“. Она не протестовала, и теперь он переходил на „ты“ очень часто, хоть тоже всегда с наскака. Это доставляло ему наслаждение. Он даже иногда гладил ее по головке и делал это демонстративно-открыто: никто не должен был думать, что тут что-то надо скрывать, — жест отеческий и самый естественный.

Надежда Ивановна с детской наивностью откликнулась и на упоминание о невыдержанном экзамене по политграмоте: что ж делать, ей так не повезло, экзаменатор попался *злющий-презлющий*, о диалектике и обо *всем таком* она отвечала, право, недурно. „И о тактических взглядах группы „Освобождение труда“ еще тоже туда-сюда, но уж когда он спросил, в чем был шаг вперед „Рабочего дела“ в сравнении с „Рабочей мыслью“, тут я вправду села. Не знаю, говорю. Оказывается, „Рабочее дело“ стояло не только за стачки, но и за демонстрации...“ Посол хохотал.

— Клянусь собакой, я сам этого не знал! — сказал он таким тоном, в каком рассказывают анекдоты, будто в гимназии учитель словесности поставил тройку с минусом за сочинение, написанное для гимназиста Тургеневым, или будто Анри Пуанкаре не мог решить алгебраическую задачу, заданную его племяннику в лицее. — Так „Рабочая мысль“ стояла не только за стачки, но и за демонстрации?

— Что вы! Это „Рабочее дело“!

— Пардон, „Рабочее дело“! — Кангаров хохотал, показывая смехом, что все это совершенно ненужно: только путает мелкая сошка. — Вы знали, Эдуард Степанович?

— А тут еще он сказал: „маспарвпрабкооп“, а я не знала, что это такое, — рассказывала Надежда Ивановна. — Я ему говорю: „Товарищ, этого в программе нет“, а он отвечает: „Я сужу, товарищ, о вашем общем развитии...“ Вот и провалилась!

— Как? как? „Мосправра“!.. Нет, это просто анекдот! Ты слышала, Лена? — смеясь, спросил Кангаров жену, которая, по его мнению, слишком долго не обращалась к Наде: это могло сойти за высокомерие в отношении младших товарищей.

— Нет, я не очень слушала вашу болтовню, — холодно ответила Елена Васильевна. Она нисколько не ревновала мужа, но ей просто не нравилось, что он называет эту Надежду Ивановну Надей и деткой. „Никакой она не ребенок! Просто ломается... У него, правда, такая манера, но это очень глупая манера...“

Ей почти все не нравилось в муже. Она была дочерью земского начальника и в душе считала свой брак мезальянсом. Елена Васильевна несколько демонстративно („да, действительно, долго не разговаривала и пока не собираюсь разговаривать!“) обратилась снова к секретарю.

— Ермолова была, конечно, бесподобна, но сцену с кормилицей на лужайке, я прямо скажу, она играла не так. У нее не хватало детскости... Детскости... Помните: „Дай насладиться мне новой свободой! — Буду дитятей — будь ты дитя. — Пышный ковер здесь разостлан природой. — Дай нарезвлюся, набегаюсь я...“ Я тут кружусь и танцую, как, бывало, мы кружились в саду, в институте...

— Как жаль, Елена Васильевна, что я вас не видел в роли Марии Стюарт, — почтительно сказал секретарь.

— И не могли видеть, — вставил посол, вдруг разозлившийся на жену. Уж при этом господине (он разумел Вислиценуса) она могла бы оставить свои великосветские замашки и не напоминать, что училась в институте, если даже в самом деле там училась. — И не могли видеть, потому что она никогда в этой роли не выступала.

Опять подумал, что следовало бы по возможности безболезненно разойтись с женой. „Что ж от себя скрывать? Я к ней равнодушен, а она меня ненавидит. Я не виню ее, но когда разумные люди видят, что дело обстоит так, они идут друг другу навстречу...“ У него пожелтели глаза.

— Дебют уже был назначен, — ледяным голосом сказала Елена Васильевна. Она была трагической актрисой и любила роли королев. Перед войной интриги помешали ей сыграть леди Макбет. Во время войны *отделала* роли Марии Стюарт, Орлеанской девы и Орленка, опять помешали интриги и отчасти револю-

ция. — Если б не сняли с репертуара, — начала она и, не докончив, зевнула. — Скушно мне... — Слово „скупчо“ Елена Васильевна произнесла сверхмосковским актерским говором, чтобы глухому и то было ясно: не „ч“, а „ш“.

— Нас, конечно, встретят на вокзале Фридрихштрассе, — сказал секретарь, дипломатически меняя разговор. Он учился в берлинской технической школе и хорошо знал город.

— Если вообще встретят, — ответил беззаботно Кангаров. — Станут эти лежебоки вставать так рано. — Они говорили о берлинском полпредстве.

Вислиценус вышел из купе. Все эти люди, кроме Нади, раздражали его. Да и на Надю он был зол за ее подлаживание к послу. „Конечно, она не любит и не может уважать этого старого лавочника с душой чекиста и с замашками грансенъора. Девчонка, хоть она и под *тургеневскую*, вообще никого в душе не уважает“, — подумал он. Неприятнее всех ему был Кангаров. Вислиценус большинство людей считал прохвостами, но он относился гораздо мягче к тем из них, относительно которых ни у кого сомнений не было: если бы Кангаров сам знал, что он прохвост, это утешило бы Вислиценуса. Однако Кангаров был, по его мнению, прохвост *недоказанный*. „Со всем тем очень полезный человек, — по давней привычке он составлял краткий баланс людей, с которыми работал. — Умен? Да. Во всяком случае, очень неглуп и хитер. Знает свое дело, на финансах собаку съел. Злой, несмотря на сахариную улыбку: в пятьсот раз слаще сахара. Добродушие, шуточкы, это напускное: в ГПУ полно таких добродушных людей. Вечно всем говорит комплименты, но в каждом комплименте скрывается неприятность... В общем, не хуже других, отличный работник. Лавочник — это неправда, он все же человек идейный“.

Подумал, что, в сущности, никогда, несмотря на тридцатипятилетнюю революционную деятельность, не мог преодолеть в себе общего нерасположения к евреям, унаследованного от многих поколений предков. „Тщеславный народ... Впрочем, Кангаров для них не характерен, и мать его не еврейка, да и тщеславие у него не главное, и вообще национальность тут ни при чем...“ Вислиценус недолюбливал евреев и терпеть не мог антисемитов.

В коридоре он остановился: куда же, собственно, идти? В продолжительном путешествии по железной

дороге было что-то общее с тюрьмой: там несколько шагов по камере, здесь по вагону, — и сознание даром уходящего времени. Он сел на откидной стул и расческинно усталился в окно. Думал все о том же: жить осталось два-три года, может быть, пять, если взять отпуск и уехать куда-нибудь на Кавказ или в Крым. Отпуск получить, разумеется, легко. Многие были бы сердечно рады, если б он перешел на положение инвалида и без борьбы, без дрызг и интриг освободил место. Подумал было, кто его сменит, и не остановился на этой мысли. Представил себе жизнь в доме отдыха или в санатории с единой заботой о том, как затянуть жизнь, и даже улыбнулся. Об этом он и думал без всякого волнения: настолько было ясно, что это для него невозможно. „Ну, хорошо, потом пойдут последние болезни, при некотором счастье недолгие, конец, в лучшем случае: „сомкнем крепче ряды над могилой старого борца“, почетный караул в Колонном зале, урна в Кремлевской стене... Фон из урн старых борцов для мавзолея Ленина, как во Дворце инвалидов фон из генеральских гробниц для наполеоновского саркофага. Сталину, если его убьют и если не победят те, которые убьют, если вообще умрет вовремя — все надо делать вовремя, — ответят отдельный мавзолей...“

Он лениво остановился на мысли, где именно на Красной площади могут воздвигнуть мавзолей Сталину и в каком стиле его выстроят? „Как-то нехорошо два мавзолея. Вот как во Дворце инвалидов был бы еще чей-нибудь второй саркофаг... — Потом вернулся к прежним мыслям. — Да, урна в Кремлевской стене, будут играть „Интернационал“... Прежде играли „Вы жертвою пали...“ Что лучше? — Опять немного задержался на мысли: что ему было бы приятнее? — Совершенно все равно. Если умереть вовремя, то будет в газетах пять-шесть „Памяти старого революционера“ и торжественное заседание с речами. Быть может, со временем найдется и биограф, больше потому, что жизнь была с фабулой. Что ж, у других не будет и этого“, — Вислиценус думал обо всем этом почти без насмешки. При желании он и теперь, после всего, что было, мог настроить душу на возвышенный лад. „Разочарование? Нет, особого разочарования нет. Море крови? Точно *они* в ту войну не пролили такого же моря! Интриги, дрызги, ненависть под видом обожания? Если бы, однако, узнать у наполеоновских маршалов, очень ли они при жизни любили человека, вокруг которого так обманно,

с солдатской преданностью, лежат во Дворце инвалидов! Так всегда было...“ Цепь силлогизмов, выработанная Ильичем в 1918 году и при общей радости всеми усвоенная, оставалась непоколебленной. Идет великое дело, величайшее из дел, освобождение трудящихся всего мира; пусть к этому делу примазались злодеи, прохвосты, бессловесные люди, как этот „Секретарь Иванович“... „Если тот еще раз скажет „Коминтерн Иванович“, надо будет дать ему по морде, по его подбитой ватой морде! — с внезапным бешенством подумал Вислиценус и сейчас же *взял себя в руки*. — Совсем помешался, скоро кусаться буду... Ну, примазались, это всегда так бывает, это неизбежно... Да, великому делу, наряду с людьми прекрасными и кристально чистыми, служат скверные людишки. Только злой мелкий человек может сделать из этого выводы против дела. И во всех лагерях то же самое, у них вдобавок и дело отвратительное. Что еще? Террор? Но правящие классы никогда бы не отдали своей власти, своих денег, вот этих вагонов без ожесточенного сопротивления. Их сопротивление можно было сломить только террором. Без „моря крови“ у власти нельзя было бы продержаться и полугода. Перешли бы в историю в лучшем случае с репутацией слабых, неумных и благородных мечтателей, в худшем случае — с репутацией немецких прихвостней и изменников. И над нашей слабостью смеялись бы люди, которые нас бы свергли! Нет, уж лучше „море крови“, чем „дряблые интеллигенты!“ — опять с вспышкой злобы подумал он. Цепь силлогизмов оставалась непоколебленной, но она просто его теперь не очень интересовала. Это было хуже всего.

Надежда Ивановна вышла из купе. Ему показалось, что на ее лице проскользнуло неудовольствие, когда она увидела его в коридоре. Вислиценус почувствовал укол в сердце. „Что за вздор! — сказал он себе. — Какое мне до нее дело!“ Но то, что он называл внутренней дисциплиной, не помогло. „Есть дело... Да, если б на остающиеся два-три года можно было...“ „Что, Наденька, утомлены дорогой?“ — спросил он и подумал, что его „Наденька“ мало отличается от „детки“ Кангарова. Нет, уж себя обманывать отеческим отношением не приходилось. Она заговорила с ним как будто совсем не в том тоне, в котором говорила с посланцем. Теперь ее тон был нежно-восторженный, так она могла говорить с Кропоткиным, но и в этом тоне был тот же обман. „Послу ей, однако, нужно угрождать, а мне как будто

незачем. Она хочет нравиться всем, это скверная болезнь, но с ее умом она могла бы понять, что мне нисколько не нравится, когда меня стилизуют под Инсарова, а тем более под Кропоткина“, — подумал он. В его ответах проскользнул холодок, она взглянула на него и вспыхнула, — от этого раздражение у него тотчас улеглось. „Хочу взять книгу“, — сказала она. Он неохотно приподнялся со своего откидного стула, чтобы пропустить ее. Толчок поезда бросил ее на него. „Что вы теперь читаете, Наденька?“ — вздрогнув, спросил он и почувствовал, что ему очень хотелось сказать: „Что ты сейчас читаешь, Наденька?..“ „Новый роман Викки Баум“, — нарочно солгала она. Он не знал или не помнил этого имени, но почувствовал интонацию ответа: „получай!..“ „Ну и отлично, в самом деле, знай сверчок свой шесток... В этом ящике навсегда повернуть ключ!..“ Надежда Ивановна вошла в свое купе и затворила за собой дверь. Вислиценус прошел к себе, сел, взял письма Достоевского, посмотрел на часы. До Берлина еще было далеко. „Да, с Тамириным поговорить“, — вспомнил он устало.

III.

Бывший генерал-майор, а теперь командарм 2-го ранга Константин Александрович Тамарин в своем купе занимался от скуки решением крестословиц. Он любил это развлечение и считал его полезным для людей умственного труда: подобно шахматной игре, оно требовало напряжения мысли (полезно, как постоянная тренировка) и вместе с тем давало отдых от привычной работы. Но по утрам Тамарин никогда крестословицами не занимался, и ему было немного совестно. Путешествие всегда выбивало его из колеи. Накануне вечером он играл с попутчиками в винт слишком долго. В былые далекие времена, в Петербурге, всегда кончал игру около полуночи, затем легко ужинал и выпивал две рюмки хереса. Об его хересе на сон грядущий все знали; клубный лакей подавал ему бутылку без заказа, и он немного этим гордился, как гордился вообще регулярностью своей жизни и тем, что отлично спит после ужина: другие люди его лет перед сном не ели ничего.

Играл он в винт мастерски и был когда-то в клубе признанным авторитетом. За прекрасную игру его не раз приглашали в партии самых высокопоставленных

людей. В поезде за игрой вышла необыкновенная, редчайшая комбинация, с малым шлемом без козырей, — почти совершенно тождественная той, которую он когда-то разыграл в яхт-клубе: память вообще, и в частности память к карточной игре, у него была необыкновенная. Его партнер Кангаров сыграл точно так, как тогда сыграл великий князь. Тамарину воспоминание было немного смешно, но прежнее чувство неловкости — „с кем играл когда-то, с кем играю теперь!“ — мучившее его в первые годы близости к большевикам, давно рассеялось. „Что ж, и *те* были не ангелы, да и среди этих не все скоты, попадают и порядочные люди... Вот и в винт играют одинаково“, — почти весело подумал он, снова сдавая карты.

Кончили они игру поздно, затем из вежливости надо было еще хоть немного поговорить. Посмеялись за расчетом: в какой валюте расплачиваться? Игра была далеко не крупная, но секретарь проиграл несколько больше, чем ему следовало бы по жалованью и по суточным. Посол, чтобы его утешить, был с ним особенно ласков. „Зато в любви какое счастье этому красавцу! — говорил он (секретарь был уродлив). — Представьте себе, из-за него три женщины покончили с собой... Эдуард Степанович, сколько вы в общем выплачиваете алиментов в месяц? Нет, положительно пора бы вам остепениться...“ „Спасибо, я уже смеялся“, — невпопад ответил, стыдливо улыбаясь, секретарь. „Значит, быстрая и натиск. Храбрость города берет“, — тоже невпопад поддержал шутку посла Тамарин. „Что ж, приблизительно так же шутили и в яхт-клубе“, — рассеянно подумал он. „А шлемик, Командарм Иванович, хоть этот фюшер вам очень помог, вы разыграли на ять, — признал Кангаров, — это что и говорить...“ За картами они постоянно обменивались комплиментами, в тоне Наполеона, отдающего должное эрцгерцогу Карлу. У каждого был свой стиль игры, находивший признание у другого. Впрочем, они и вообще были довольны друг другом. „Вот и этот не совершенный скот, — думал Тамарин, — хоть послом его можно было сделать разве для смеха“. „Не орел, конечно, его превосходительство, но приятный человек, понявший урок истории и ошибки своего класса“, — думал Кангаров. В свое купе генерал вернулся в четверть третьего. От хереса он давно отвык, но ему хотелось закусить: обед, как всегда в вагоне-ресторане, был не очень хороший и довольно дорогой.

На ночь Тамарин, по своему обыкновению, прочел главу из „Hinterlassene Werke“*. У него было отличное дюмлеровское издание Клаузевица, с которым он никогда не расставался: скорее отправился бы путешествовать без паспорта или без зубной щетки, чем без этих небольших книг в старинных переплетах из гладкой желтой кожи. Самый вид их, суховатая бумага, последнее слово или последний слог внизу страницы перед переходом на новый лист, маленькое *e* вместо „умлаута“ над *o*, *u*, *a* действовали на него умиротворяюще. Обычно он прочитывал одну главу и засыпал. Но на голодный желудок заснуть было нелегко, и книга раскрылась на очень сильной главе. Сначала попался один из тех коротких, отчетливых, похожих на приказ афоризмов, которые доставили Клаузевицу любовь всех военных людей мира: „Der Krieg hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik...“[†] „Как верно и ясно!“ — с наслаждением подумал Тамарин. Открывшуюся главу он помнил не так хорошо, и был этому рад, как радуются иные читатели, что немного забыли „Мертвые души“: можно будет перечитать. Он стал читать дальше:

„Die ungeheueren Wirkungen der französischen Revolution nach Aussen sind aber viel weniger in neuen Mitteln und Ansichten ihrer Kriegführung als in der ganz veränderten Staats- und Verwaltungskunst, in dem Charakter der Regierung, in dem Zustande des Volkes u.s.w. zu suchen. Dass die andern Regierungen alle diese Dinge unrichtig ansahen, dass sie mit gewöhnlichen Mitteln Kräften die Wage halten wolten, die neu und überwältigend waren: das alles sind Fehler der Politik. Hätte man nun diese Fehler von dem Standpunkte einer rein militärischen Auffassung des Krieges einsehen und verbessern können? Unmöglich“[‡].

* „Наследие“ (нем.).

† „У войны есть собственная грамматика, но нет собственной логики...“ (нем.)

‡ „Огромное внешнее воздействие французской революции следует искать не столько в новых средствах и доктринах ведения войны, сколько в совершенном изменении политического искусства и методов управления, характера правительства и состояния народа и т.д. То, что другие правительства неверно истолковывали, то, что они стремились обычными силовыми средствами удерживать равновесие, хотя это была уже новая чаша весов, которая переешивала, — это были ошибки политики. Возможно ли такие ошибки рассматривать с точки зрения чисто военного восприятия войны и пытаться их исправить? Невозможно“ (нем.).

Мысли эти его взволновали, он прочел во второй раз, на словах „Mitteln Kräften“ была как будто неувязка. „Может, простая опечатка? Да не в том дело...“ Из этих слов, очевидно, следовали выводы, имевшие значение для всей его работы, как-то по-новому оправдывавшие его жизнь. Однако в третьем часу ночи Тамарин был не в силах обдумать прочитанное и знал, что если начнет об этом думать, то не заснет. Он хотел было заложить угол, но пожалел: уж очень хорошо было издание — и решил запомнить страницу: 148. „Сто сорок восемь, — сказал он вслух и спросил себя, нет ли мнемонического приема: восемь вдвое больше, чем четыре, но первая цифра... — Да, разумеется, буду помнить: сто сорок восемь“, — подумал он и заснул. Спал он много хуже обыкновенного, снились ему вещи бессмысленные, великий князь играл с Клаузевицем в винт, и в карты им смотрел царь Петр, Клаузевиц прорезал на шлеме, оставил противников без ста сорока восьми. „На ять сыграли, Клаузевиц Иванович!“ — сказал в восторге Петр Великий.

На этом Тамарин проснулся и что-то еще мог с улыбкой вспомнить из нелепого сна. „Царь Петр тут при чем? Кажется, год как о нем не думал!..“ (Только дня через два случайно вспомнил, что в яхт-клубе на стене висел портрет Петра.) За окном светились огни. Поезд стоял. Генерал взглянул на часы: шесть. Не граница ли? Посмотрел в окно и, увидев при тусклом свете фонарей офицера в немецком мундире, ахнул: „Германия!“ Он наскоро оделся, надел пальто, поднял воротник и вышел, чувствуя непонятное волнение.

Со времени войны он за границей не был. Накануне они проехали через Польшу, но ему как-то трудно было считать Польшу „заграницей“, а Варшаву, где он в молодости состоял в штабе генерал-губернатора, столицей иностранного государства. „Вот это настоящая *заграница*... Не так собирался сюда войти двадцать два года тому назад...“ Одни чиновники страшного вида проверяли паспорта, другие — багаж. В советский дипломатический вагон никто не заглядывал; самый страшный из чиновников только обменялся несколькими словами с секретарем, который, видимо, был и перепуган, и счастлив. Затем чиновник приложил руку к козырьку и отошел, впрочем, без большого почтения на лице. Генерал, вздрагивая, гулял по перрону. Все тут неопределенно его волновало, особенно вид немецкого офицера. Этот офицер искося на него поглядывал, ви-

димо, тотчас безошибочно признав в нем военного; и Тamarin, разумеется, сразу заметил все перемены в германском мундире. Почему-то при виде офицера он пожалел, что вышел из вагона небритый и без воротничка. Ему хотелось выпить кофе или лучше чего-нибудь немецкого, например, данцигской водки. Но в ранний утренний час на перроне еще ничего не продавали. Начала работу только газетная будка. Генерал нерешительно оглянулся: его положение было очень прочным, бояться как будто ничего не приходилось, но, может быть, все-таки было бы лучше немецкой газеты не покупать (да еще сразу, на первой станции: „набросился!“). Он рассердился и купил газету; сложил ее вдвое, спрятал в карман и вернулся в свое купе. „Собственно, теперь, при желании, можно было бы остаться здесь совсем, — вдруг пришла ему в голову дикая мысль. — Стать эмигрантом, как те... Вздор какой!.. Волноваться не от чего, ну, жили так, теперь живем иначе... И они тоже не совсем так живут, как раньше... — В купе было тепло, он все еще вздрагивал. — Да, не думал, не думал... Не надо было выходить неодетым... — Рассеянно просмотрел мелочь, сдачу, данную ему при покупке газеты. Вид немецких монет тоже волновал его: он когда-то провел год в командировке в Германии, и это было одно из самых приятных воспоминаний его жизни. — Не надо было выходить без воротничка...“

Поезд тронулся. Тamarin снял пальто, повесил его на крючок, разделся и снова лег, дрожа под легким одеялом. Думал, что засыпать теперь уже не стоит, но задремал и проснулся лишь на остановке во Франкфурте, от свистков и шума за окном. Больше не выходил: пользуясь остановкой, выбрился. В России всегда с этого начинал день. Никаких жиллетов он не признавал; у него от лучших времен сохранился прибор из семи превосходных английских бритв: для каждого дня была положена особая — на рукоятках были выгравированы слова: „Monday, Tuesday, Wednesday,*“ — затем лезвие давалась неделя отдыха; от этого оно становилось лучше. В первые годы революции брившиеся прежде люди, случалось, отпускали бороду в целях экономии, а бородатые начинали бриться в целях гигиены. Тamarin носил по-старинному бакенбарды под Александра II — такие и до революции были разве у

* „Понедельник, вторник, среда“ (англ.).

одного человека из тысячи: ни цель экономии, ни цель гигиены не достигалась; однако у него и в те годы подбородок был всегда пробрит безукоризненно, бакенбарды тщательно расчесаны. В этих бакенбардах было нечто контрреволюционное, и на улицах прохожие, особенно те, что постарше, поглядывали на него с удивлением и даже не без испуга. Сбрил он бороду лишь в пору самого страшного голода и нищеты — показалось дико ходить так дальше, да и очень уж он вдруг поседел. Жизнь его точно разделилась на два периода: с бакенбардами и без бакенбардов. С того времени у него немного убавилось и уважения к себе.

День его в России проходил очень правильно. После бритья, если можно было, принимал ванну; но и в ту зиму, когда люди сидели дома в шубах, ежедневно обливался водой и носил сносное белье. Хозяйство вела кухарка, прослужившая у них много лет и оставшаяся при нем после смерти жены. Ни детей, ни близких родных у него не было. Вся жизнь Тамарина сводилась к работе. Выкупавшись, он всегда сам заваривал чай по своей системе: обжигал три полные ложечки крутым кипятком, давал постоять минуты две под полотенцем и доливал доверху кипящей водой. Затем уносил чайник в свой кабинет и за работой выпивал три стакана, с одним куском сахара каждый, и съедал сухарь: хлеба избегал, так как имел склонность к полноте. Это было лучшее его время. В эти утренние часы, от 7 до 9, он составлял доклады, записки и статьи для военно-научных изданий. Сначала набрасывал карандашом конспект, затем, сразу набело, писал окончательный текст на своем старом — еще в три ряда клавиш, — но совершенно исправном „ундервуде“. Сливаясь, все это — работа, крепкий чай, легкий четкий стук машинки, так приятно-отчетливо выводившей его мысли (после машины все становилось особенно ясным), — было главной радостью его жизни. Ровно в 9 часов он со вздохом прекращал работу, заботливо накрывал крышкой „ундервуд“ и уезжал на службу. Там слушал чужие доклады и читал чужие записки. Они в большинстве ему не нравились, но относился он к ним очень корректно и заключения давал по совести, если только не было совершенно необходимо лгать.

В вагоне ничего этого делать было нельзя. Тамарин вспомнил, что купил на границе газету. Ему прежде всего бросилась в глаза статья под крупным заголов-

ком: „Die jüdischen Bluthünde“*. Чувства его к большевикам, о которых говорилось в статье, были смешанные, но он у них служил — теперь служил верой и правдой, — и ему было не совсем приятно, что их так называют: это косвенно задевало и его самого.

Когда-то в пору гражданской войны он поступил на советскую службу с намерением либо помочь тому, кто произведет переворот, либо, улучив подходящую минуту, перейти к белым. Из этого ничего не вышло. Переворот не происходил, белые генералы, по дошедшим до него слухам, называли его кто дураком, кто подлецом и изменником. А главное, нужно было жить. Он пришел к мысли, что можно служить России при любом строе, особенно когда служишь в армии. В последние годы жизнь кое-как наладилась, началась работа, почти такая, как в лучшие времена; к нему относились хорошо и с мнением его очень считались. В дураках оказались люди, называвшие его дураком. Газет, которые могли бы смешать его с грязью, больше не было. Вначале еще тревожила мысль: что, если придут *те*? Теперь как будто ясно было, что *те* не придут. Иногда, впрочем, ему снилось их возвращение. Проснувшись, думал, что этого быть не может; но если они и вернуться, то ведь должны же будут считаться с оставшимися! Оставшихся было неизмеримо больше, чем ушедших, и все они в эти годы вели себя почти одинаково.

Тамарин пробежал телеграммы. Известия тоже были неприятные: сообщалось о больших успехах итальянских войск в Африке. По своим взглядам, он желал победы Италии, считал Муссолини великим государственным деятелем: „не было у нас ни одного такого, оттого так все и вышло...“ Но генерал был убежден, что завоевать Абиссинию итальянцам будет чрезвычайно трудно. В одной из самых лучших своих статей он доказал, что горная цепь Амба-Аладжи неприступна. Ссылаясь на его авторитет, советская газета высказала даже в передовой уверенность, что на эфиопском деле империалистская банда сломит себе шею (эта ссылка была для него большим служебным успехом). Теперь в телеграмме сообщалось, что Амба-Аладжи и даже Амба-Арадам взяты. „Может, еще неправда?“ — усомнился Тамарин. Однако сообщение как будто походило на правду — теми почти неуловимыми признаками, которые чувствуются и во вранье официальных сооб-

* „Еврейские кровавые собаки“ (нем.).

щений. Генерал проверил ход своих мыслей. Штурмовать отвесный горный хребет, на котором укрепилась армия раса Десты, очень трудное, почти невыполнимое дело. „И ведь не станет же тем временем сидеть сложа руки рас Сейюм: тотчас, разумеется, ударит на линию Макалэ—Адуа“, — подумал он, от всей души желая успеха расу Сейюму, несмотря на свои загнанные внутрь политические взгляды и на преклонение перед Муссолини. Несколько успокоенный, он выбросил немецкую газету за окно и, открыв том Клаузевица на 148-й странице (вспомнил и без мнемонического приема), стал выписывать те строки в записную тетрадку. Но поезд несся быстро, карандаш прыгал по бумаге, выходили каракули. „Нет, в вагоне работать нельзя...“

Он вынул из чемодана иллюстрированный журнал с крестословицами. Вначале пошло хорошо. В вертикальном ряду первым было: „Им славятся Марсель и Казань“. „Мыло, разумеется“, — с удовольствием подумал генерал. Но затем пошли загадки: „Энергичного человека она не заставит повернуть обратно...“ „Пуля? Нет, не пуля. Укрепления? Тоже нет...“ Пропустил: легче будет, когда выяснится следующий ряд... „Префикс, заимствованный из татарского языка“. „Что за вздор! Откуда порядочному человеку знать такие вещи?..“ „Она рассказывала Митрофанушке интересные истории...“ Тамарин старался вспомнить: Митрофанушка это из „Недоросля“, но кто же рассказывал ему интересные истории? Няня? Мать? Не выходило.

В это время в его купе вошел Вислиценус. Генерал несколько смутился, отложил иллюстрированный журнал и, поиграв серебряным карандашиком, незаметно спрятал его в карман. С Вислиценусом он был немного знаком по Москве (встречал изредка на заседаниях) и относился к нему так, как мог бы относиться к пляшущему дервишу или к существу, прилетевшему с Луны: может быть, и хорошее существо, но ждать от него можно всего, надо быть очень осторожным. Перед самым его отъездом из Москвы Тамарину было объявлено, что, быть может, Вислиценусу за границей понадобится его помощь — это очень встревожило генерала — „советом и техническими указаниями“, несколько успокоил его начальник. „Неужели пришел за помощью?“ — подумал он. Однако его опасение было неосновательно. Вислиценус просто хотел побеседовать: что за человек? Почему-то ему нравился командарм Тамарин. У него была слабость к военному делу и к военным людям. В

детстве он страстно мечтал стать великим полководцем.

„Как спали?“ — спросил он. „Как изволили почивать?“ — одновременно спросил генерал. Оба засмеялись. Тамарин сказал, что слишком долго вчера играли в винт. „Охота вам...“ „Отлично играет наш полпред“, — заметил Тамарин. „Вот как, отлично?“ — сказал Вислиценус, и в тоне его почувствовалось недоброжелательство. „Да, в винт он, говорят, превосходно играет, — подумал он, — что ж, у каждого человека должно быть что-либо настоящее, свое, подлинное, у него, быть может, винт...“ „Я тоже слышал, что он прекрасный винтер“, — с насмешкой сказал Вислиценус. Генерал насторожился. Ему доставляли удовольствие раздоры и столкновения между *этими людьми* (он часто видел такие сцены в комиссиях, где *эти люди* с ним бывали почти всегда любезнее, чем друг с другом). Однако Вислиценус больше ничего не сказал и перевел разговор на Германию, на немецкую чистоту и порядок. „На это они точно мастера“, — сказал Тамарин и вспомнил какой-то эпизод из времен войны. Эпизод был малозамечательный, но Вислиценус терпеливо слушал: может быть, в конце будет что-либо интересное? Интересного и в конце ничего не оказалось. Попробовал наудачу спросить, какую военную школу Тамарин ставит выше: немецкую или французскую? Генерал ответил, что у немцев больше основательности, Gründlichkeit, а у французов больше — ну как сказать? — больше брио*: „знаете, этот французский élan*?..“ Вислиценус кивнул головой со значительным видом, точно только теперь, после разговора с крупным специалистом, понял, в чем разница между обеими школами. В развитие своей мысли командарм процитировал Клаузевица: „Die moralischen Hauptpotenzen sind: die Talente des Feldherrn, kriegerische Tugend des Heeres, Volksgestalt desselben“ и перевел: „Таланты полководца, воинская добродетель армии и ее национальный дух...“ Сказал и пожалел: лучше было не говорить таких слов. „Тогда мы хороши, — угрюмо подумал Вислиценус. — Да, Клаузевиц: „Der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik“^Δ, — ответил он, показывая, что переводить немецкую фразу было не нужно. „Ленин тоже очень высоко ставил вашего Клаузевица. Я поэтому начал было

*От фр. „bricot“ — жар. — *Прим. ред.*

*Порыв (*фр.*).

^Δ „Война есть продолжение политики“ (*нем.*).

его читать и бросил: мне показалось скучно, общие места“. Генерал посмотрел на него так, как очень терпимый, но верующий мусульманин мог бы смотреть на человека, отзывающегося пренебрежительно о Магомете. „Ну, знаете, — сказал он, — это как кто-то говорил, что „Горе от ума“ — плагиат: все состоит из поговорок, там Марья Алексеевна и все прочее...“ Разговор сразу оживился, и через несколько минут оба уже беседовали с увлечением.

— ...Да, это отчасти верно, — говорил Вислиценус в ответ на приведенную Тамариным цитату, ту, которая накануне так его взволновала, — но только отчасти. Вам, генералам, конечно, эти мысли выгодны. Если вы побеждаете, честь и слава. А если не побеждаете, то виновата политика, вы тут ничего не могли сделать: „unmöglich“, не правда ли? Поэтому-то все вы так любите Клаузевица. Нет, дело не в политике, а в технике. Вы, военные люди, германскую войну представляли себе как японскую, и с 1905 года по 1914-й готовились к новой японской войне. А теперь вы будущую войну представляете себе как германскую и опять готовите нам прошлую войну. А она будет совершенно другая. Отчего? Оттого, что какой-нибудь штатский Майер или штатский Сидоров, или штатский черт в ступе выдумает какую-нибудь штучку, из-за которой все ваши расчеты пойдут прахом.

— Это неверно, просто фактически неверно, — говорил Тамарин, сдерживаясь: все-таки он не мог серьезно спорить о военном деле с штатским человеком. — И прежде всего потому неверно, что нам все эти штучки Майера тотчас становятся известными, и мы их пускаем в ход...

— Ничего вам не становится известным, так как в мирное время Майер ни о какой войне и не думает. Он начинает думать о войне, когда война уже идет, когда газеты его раскалят до белого каления, когда у него убьют сына, внука, племянника. Вот тогда он и начинает думать, как бы лучше отправить на тот свет тех „ближних“, с которыми он за год до того воспевал братство людей и лакал пиво на разных научных конгрессах. А так как у Майера больше знаний и таланта в голове, чем у всех генералов вместе взятых (Тамарин пожал плечами), то он-то, Майер, обезьяну и выдумывает. Тогда являетесь вы, господа генералы, и „пускае-

* „Невозможно“ (нем.).

те в ход". Так было и с удушливыми газами, и с танками...

— Танки изобрел генерал! Ваш пример говорит как раз против вас!

— Уж будто? Верно, изобрел какой-нибудь состоявшийся при нем инженер, а он выдал за свое. А уж насчет удушливых газов я твердо знаю: штатский профессор выдумал, Габер, Хабер, Гагер, не помню.

— Но если все определяется наукой, то чего же стоит ваш экономический материализм? — сказал генерал. Лицо у него изменилось, он немного побледнел. — Что же тогда руководит миром? Бытие или сознание?

— Это другой вопрос!

— Нет, не другой, а тот самый. Я спрашиваю: бытие или сознание? Тогда, извините меня, ваш материализм ерунда!..

Он спохватился и замолчал. Вислиценус засмеялся. Ему все больше нравился генерал: и тем, что он изменился в лице, когда речь зашла об его деле („да, конечно, у него *подлинное* это“), и тем, что перелицованный костюм с боковым карманом на правой стороне пиджака на нем казался почти новым, и тем, что в его купе приятно пахло туалетной водой, — и всем вообще своим обликом. „Облик — пустяки, но в каком-то смысле мы оба с ним люди старого времени“, — подумал Вислиценус. К собственному его удивлению, эта неожиданная мысль не была ему неприятна.

— Вы меня обошли слева, — смеясь, сказал он, показывая, что командарму опасаться нечего. — Да я и в самом деле плохой марксист. — Тамарин снова настоужился. „Это можно понимать двояко: „плохо понимаю марксизм“ или „плохо верю в марксизм“? Уж не провокация ли?“ — подумал он. Стук поезда чуть изменил тон, послышался свисток; это как будто клало конец отделу разговора, как в книге цифра новой главы. Вислиценус посмотрел на часы.

— Медленно идет время... Вы позволите? — спросил он, взяв с дивана иллюстрированный журнал. — Вы, кажется, занимались крестословицами?

— Да, я в дороге люблю, — сказал, виновато улынувшись, Тамарин. — Работать ведь нельзя, а...

— Я тоже очень люблю. Вот эта? „Им славятся Марсель и Казань...“ Мыло, конечно, — с торжеством догадался он.

— Это-то мыло, а вот дальше: „Энергичного человека она не заставит повернуть обратно“, вы это скажите.

— „Энергичного человека она не заставит повернуть обратно...“ Да... „Бомба“? Нет... „Красавица?..“

— Нет, какая же „красавица“, четыре буквы. — Генерал снова вынул из кармана серебряный карандаш.

IV.

Надежде Ивановне тоже было отведено отдельное купе: места в вагоне было гораздо больше, чем требовалось. Проводник давно аккуратно прибрал постель, нигде не было ни соринки. Оглядела себя в зеркало, все в порядке, разве только следы сажи в ноздрях. „Ничего, это не противно... Какой чудак Даkochи, — подумала она и пожалела, что была нелюбезна: он ведь ничего обидного не сказал, а нотации читает отечески. — Удивительно, как много стариков относится ко мне отечески. Но противного в нем нет ничего, напротив. Что же „напротив“? Не выходить же замуж за старика, глупости!..“

Она села у окна и вынула из несессера книгу. За окном было тускло, пасмурно: ни зима, ни весна. В такую погоду путешествовать и тоскливо, и приятно. „Немного скучно с ними... Скоро приедем, дальше что? Устроимся на новом месте, осмотрим достопримечательности, музеи, дальше что?“ Дальше ничего не было. „Писать письма под диктовку, переводить бумаги? Я не хнычу, это полезное дело, кому-нибудь нужно его делать, и я ни на что другое рассчитывать не имею права. Весь багаж: стенография и три иностранных языка. Вышло отлично, лучше, чем можно было ожидать: сразу получила командировку, увижу свет, людей... Это, впрочем, только так говорится: людей посмотреть, себя показать. И смотреть будет, вероятно, некого, кроме Эдуарда Степановича, и себя показывать некому. Жаль, есть что показать, — хотела было она подумать, но не осмелилась: что за самохвальство! — Да, стенография как временное занятие, это ничего, но всю жизнь писать письма я не согласна. Что же делать, талантов никаких нет. Есть, правда, такие занятия, искусства не искусства, ремесла не ремесла, для которых особого таланта не нужно или самый маленький. Неужели же у меня и маленького не найдется? Стать декораторшей? Выжигать по дереву? Фарфор? Вкус есть, это все признавали, даже враги... Изучить можно

года в два, только надо наконец выбрать. Нет, не пропаду, дело найдется...”

Следовало, очень следовало подумать и о другом, но это были неприятные мысли, и ей теперь не хотелось об этом думать. „Нет, потом, позднее...” Стала смотреть в окно: надо изучать Европу. Она никогда за границей не была; никаких ценных наблюдений до сих пор не сделала. „Что-то, кажется, приходило в голову там, на вокзале, что не стыдно будет сказать при умных людях. Не помню, надо бы записывать... Если правду говорить, такой уж разницы нет: и люди такие же, только одеты все гораздо лучше, мальчики, девушки. Там, на станции, это, конечно, были влюбленные... — Она вздохнула. — Ну, вокзалы у них другие, буфеты. У них это в провинции, как у нас в столице. Посмотрим еще Берлин... У нас все лучшее, разумеется...” — За окном стало падать что-то грязно-серое, пристававшее к стеклу и тотчас таявшее. Она засмеялась: „Хорош снег!..“ И сразу ей стало весело, нет, конечно, все лучшее в России. „Это у них называется мороз, зима! — Ей радостно вспомнились недавно попавшиеся в книге, сразу запомнившиеся и понравившиеся стихи: „Полно! Что зима отнимет, — Все отдаст тебе весна!..“ — Да, все отдаст, и работа будет, и жизнь будет, всем будет хорошо, и мне будет отлично...”

Раскрыла книгу — воспоминания известного артиста. Царь Николай II умолял поссорившегося с ним Далматова вернуться на императорскую сцену. „Вася, — говорил мне государь, — вернись на мою сцену! Все у меня есть: гвардия, кавалерия, артиллерия, армия, флот, а тебя нет. Возвращайся же!“ „Нет!.. — говорю, — Ваше Величество! Обида горькая, не могу вас простить!“ Далматов стоял, гордо подняв свою красивую голову...” „Как хорошо! — подумала Надежда Ивановна: „гордо подняв свою красивую голову“. Вот бы и мне стать артисткой и так стоять. Но царей больше нет. А может быть, он тут и приврал...” Рассеянно перелистывала книгу то к концу, то к началу. „В 1910 году меня особенно потрясли два события: уход из Ясной Поляны Л.Толстого и смерть „света моего“ — Веры Федоровны Комиссаржевской в далеком Ташкенте. Масса вечеров, концертов и заседаний посвящено было двум этим грустным событиям...” „Ах, если б прожить как Комиссаржевская“, — с завистью подумала Надежда Ивановна и вернулась к уже прочитанным вчера страницам. „Это письмо есть в некотором

роде аутодафе моего хорошего отношения к вам, — писала артисту Комиссаржевская. — Видите ли, я до боли ищущая всегда, везде, во всем прекрасного. Но есть одно свойство человеческое, не порок, а прямо свойство, исключаящее всякую возможность присутствия этой искры, понимаете, вполне исключаящее, — это пошлость... Что могло бы спасти вас? Одно, только одно — любовь к искусству. В Парижской галерее изящных искусств есть знаменитая статуя. Она была последним произведением великого художника, который, подобно многим гениальным людям, жил на чердаке, служившем ему и мастерской, и спальней...”

В книге был портрет автора в роли Гамлета: он полужелал в кресле, опустив голову на левую руку, далеко отставив жирную правую ногу в длинном, до колена, чулке. „Какие безумные глаза!“ — с восторгом подумала Надежда Ивановна. Был и портрет Комиссаржевской, тоже с безумными глазами. „Разве вы в состоянии пережить то, что пережил этот скульптор? Разве вы ощущаете когда-нибудь что-либо подобное? Разве уносит вас невидимая могучая сила в волшебный мир необъятной фантазии, мир, исполненный поэтичными образами, неуловимыми видениями, освещенными каким-то дивным светом... Во-первых, вы рано вступили в эту ядовитую для молодой души атмосферу, а во-вторых, не было возле вас женщины-друга...” Надежда Ивановна вздохнула. Ее взволновали слова Комиссаржевской; но письма ей не очень нравились, хоть и страшно было критиковать столь гениальную женщину, которую боготворила вся Россия. „Зачем же она ему писала это и разве нельзя было сказать все это не так?.. „Не было возле вас женщины-друга...” А я могу ли быть женщиной-другом? Ну, не при Сашке Павловском, конечно: это просто нахал-мальчишка, и не очень грамотный, и ему просто не надо отвечать на его последнее письмо, — а, например, при этом Дакочи, или Вислиценусе? Говорят, он страшный человек. И в самом деле, в нем чувствуется большая сила. Это так хорошо в мужчине, но отчего же ему пятьдесят пять лет? Отчего я не встретила его раньше?” Опять поползли мысли, которые она на время себе запретила, и опять она прибегла к тому же средству: стихи помогли и на этот раз. „Полно! Что зима отнимет, — Все отдаст тебе весна!..“

Послышались свистки, Кангаров приотворил дверь. „Детка, сейчас Берлин, Шлезиспер бангоф“, — сообщил

он почему-то несколько встревоженным голосом. „Ах, уже Берлин!“ — ответила она и тоже заволновалась. Бросила взгляд в зеркало, без самохвальства осталась довольна. Она в самом деле была очень хороша. „Красавица, прямо красавица“, — восторженно говорили в Москве знакомые молодые люди. „Ну, красавица не красавица, нос можно бы сильно подточить, и нога большая, и чего-то ей в лице не хватает, но, конечно, она хорошенькая, если хотите, даже очень хорошенькая“, — признавали подруги. Надежда Ивановна перетянула пояс и вышла в коридор. Там уже были все. Вислиценус взглянул на нее и, ничего не сказав, отвернулся к окну. Елена Васильевна зевнула.

— Скушно мне што-то, очень скушно, — сказала она. За окнами медленно проплыла огромная фигура полицейского. Поезд остановился, кондуктор, приложив руку к козырьку, почтительно отворил дверцы. В вагон, сгорбившись, поднялся высокий, худой, необыкновенно элегантный старый человек в монокле и в цилиндре. Кангаров едва удержался от восклицания. Это был титулованный дипломат, видный деятель германского министерства иностранных дел. В течение очень долгих лет — пока можно было — его часто изображали немецкие карикатуристы и почти всегда изображали неудачно: вместо карикатуры получался обыкновенный портрет, так как этот дипломат был по внешности живой карикатурой на дипломата. „Смотрите, Вильгельмштрассе прислала *представителя!*“ — взволнованно прошептал секретарю Кангаров (он всегда говорил об иностранных министерствах: Вильгельмштрассе, Даунинг-стрит, Кэ-д’Орсе, Балль-платц). По правилам, правительство нисколько не было обязано посылать своего представителя для встречи посла, назначенного в другую страну и только проезжавшего через Берлин. Но, очевидно, министерство иностранных дел сочло нужным проявить особую любезность — было и маленькое дело, — а высшему правительству можно было сказать, что этого требовал дипломатический этикет. Тем не менее лицо дипломата выражало некоторое смущение. На перроне он даже оглядывался не без робости по сторонам и по ступенькам поднялся тоже торопливее, чем обычно.

В вагоне произошла некоторая суматоха. Секретарь изменился в лице: „даже в этой дикой стране!..“ Кангаров радостно пошел навстречу дипломату: они не раз встречались на разных международных конференциях.

Он познакомил гостя с женой и с секретарем, с беспокойством взглянув на Вислиценуса, — „от этих людей из „Люкса“ можно ждать чего угодно“, — затем повел дипломата в свободное купе, заглянул в купе Наденьки и сказал „виноват“, хоть там никого не было, был только открытый несессер.

Они сели, поезд тронулся. Кангаров ахнул, дипломат его успокоил: „Я хотел доставить себе удовольствие сопровождать ваше превосходительство до следующей станции“. „Ах, Господи, я и забыл, что у вас в Берлине поезда проходят через все вокзалы“, — сказал, сияя улыбкой высшей сладости, Кангаров. За окном, неестественно близко от поезда, неслись огромные, новые, не закопченные, как будто вчера выкрашенные дома. Дипломат осведомился о том, как они путешествовали и не очень ли устали, спросил о здоровье народного комиссара и высказал свое мнение о погоде. Он и говорил совершенно так, как говорят в левых пьесах левые актеры, изображающие „дипломатов-рамоликов“*. Кангаров отвечал с достойным видом, означавшим: „Да, конечно, мы враги, но корректные враги, и прежде всего мы выдавшие виды дипломаты...“ Сгоряча он даже чуть не спросил о здоровье Гитлера, но вовремя спохватился и справился о здоровье министра иностранных дел. О деле было сказано лишь несколько слов, этого было достаточно: оно большого значения не имело. Поезд снова вошел в полутемную гигантскую сквозную клеть. Дипломат простился с послом и в коридоре низко изогнул худую спину перед Еленой Васильевной.

Вислиценус с усмешкой на него посмотрел. Он тоже в свое время встречался с этим дипломатом и даже как-то раз с ним поздоровался (нельзя было не поздороваться) в женевской кофейне „Бавария“, в которой собирались делегаты Лиги Наций, журналисты и просто любопытные люди, желавшие посидеть в одной комнате со знаменитостями, — всегда может подвернуться и случайный фотограф. Дипломат, разумеется, его не помнил, но на всякий случай Вислиценус и смотрел на него с видом, отбивавшим охоту к возобновлению знакомства. „Незачем пожимать руку этим господам...“ Он вспомнил, что несколько лет тому назад этот дипломат гнул спину перед самыми левыми министрами. Тол-

*От фр. *gamoli* — старчески расслабленный, впавший в слабоумие человек. — *Прим. ред.*

стый, огромный, грубоватый Штреземан, с вечно нали-
тыми кровью глазами, с распухшими жилами на лбу,
по обычной своей манере природного вождя людей, на-
родного трибуна и „Наполеона мира“ (так его бессмыс-
ленно называли в „Баварии“), третирил дипломата
довольно бесцеремонно. „Ну, теперь поклоняйся дру-
гим, — с ненавистью и почти с торжеством думал Вис-
лиценус, — у вас ведь это называется: служить родине
независимо от ее политического строя. Служи, служи,
и жалованье идет, Бог даст, новые чины выйдут... И
наш тоже хорош, два сапога пара...“

Дипломат во второй раз сказал: „Gute Reise,
Exzellenz“*, и взялся за ручку двери. Дверь толкнули с
другой стороны, в коридор вошел Тamarin. На этом
вокзале будка с напитками оказалась как раз против их
вагона; тотчас по остановке поезда он вышел на перрон
и выпил наскоро чашку кофе, — данцигской водки в
будке не оказалось, продавец даже посмотрел на него с
недоумением и предложил рюмку вейнбранда. Увидев
дипломата, генерал остолбенел. Оба изумленно глядели
друг на друга с полминуты, затем ахнули и засмеялись.
„Alle Wetter!“[†], — сказал дипломат не тем голосом, ко-
торым говорил за минуту до того, и с неожиданной
силой хлопнул генерала по рукаву (это и представить
себе было трудно). „Donnerwetter!“[‡] — проговорил, при-
дя в себя, генерал.

Они когда-то хорошо знали друг друга, много раз
встречались во времена доисторические — встречались
в совершенно иной обстановке. Обоим стало и смешно,
и весело, и стыдно. „Das heisst: „vingt ans après“[§], —
сказал дипломат, и в глазах у каждого из них вырази-
лось: „Что? И ты тоже? Да, и я служу такой же сволочи,
ничего не поделаешь, кончилось наше время...“ Больше
им сказать друг другу было нечего.

К обоюдному их облегчению, кондуктор заорал:
„Einsteigen!“ Дипломат слабо засмеялся, развел рука-
ми, показывая, что ничего нельзя сделать — видно, не
судьба, крепко пожал руку Тамарину, оглянулся на
улыбавшегося Кангарова и поспешно в третий раз про-
изнес: „Gute Reise, Exzellenz...“ Кангаров покосился на
свиту: „хоть и смешно, что Exzellenz, а все-таки слыша-
ли?..“ „Старые знакомые?“ — полувопросительно ска-

* „Счастливого пути, ваше превосходительство“ (нем.).

† „Силы небесные!“ (нем.)

‡ „Быть не может!“ (нем.)

§ „Это значит: „двадцать лет спустя“ (нем., фр.).

зал он с видом полного одобрения. Секретарь изучал дипломата, стараясь все запомнить: покрой пальто, перчатки, борты цилиндра. „Какой смешной старый немец!“ — весело думала Надежда Ивановна. У Елены Васильевны был вид Марии Стюарт в сцене с королевой Елизаветой.

V.

С вечерней почтой пришло письмо издателя: *memento mori*. Собственно, на первый взгляд ничего особенно неприятного в нем не было. Издатель нисколько не был неучтив или нелюбезен: Луи Этьенн Вермандуа занимал во французской литературе такое положение, что нелюбезным издатели с ним быть не могли. Напротив, в письме было очень много комплиментов; их было даже, пожалуй, слишком много. Как всегда, начиналось оно с „*Cher Maître et ami*“*, а кончалось „*Croyez, je vous prie, cher Maître, à mes sentiments admiratifs et cordiaux*“# — все как следует. Издатель не отказывался от романа из древнегреческой жизни, который ему предлагал Вермандуа. Он только не соглашался на аванс в тридцать тысяч франков и неопределенно-уклончиво говорил, что речь могла бы идти лишь о гораздо меньшей сумме. Собственно, и в этом ничего особенно странного не было: издатели всегда торговались, и он с ними всегда торговался. Но в том, что письмо никакой суммы не называло, и в словах „гораздо меньшей“ было неприятное и подозрительное. Правда, издатель ссылался на кризис и сообщал, что *ничьи* книги теперь не продаются; однако и в слове „ничьи“ также было *memento mori*: как будто книги каких-то других писателей теперь должны были продаваться лучше его книг.

За скучным недолгим обедом старого одинокого человека Вермандуа беспристрастно, как бы со стороны, обсудил положение: да, издатель *хочет* приобрести его роман, но *не очень хочет*. Письмо дает понять, что роман выпустить можно, но что ни мир, ни издатель не погибнут, если роман выпущен не будет. „Гораздо меньшая сумма“ — это пятнадцать тысяч франков; вероятно, можно будет выторговать и двадцать, но ни сантимата

* „Дорогой мэтр и друг“ (*фр.*).

„Верьте, прошу вас, дорогой мэтр, в мои чувства восхищения и сердечной привязанности“ (*фр.*).

больше. Лучше было с двадцати и начать, впрочем, тогда издатель предложил бы десять. Конечно, 20-тысячный аванс под роман означал верх бесстыдства... „Ну, не верх бесстыдства, но все-таки он, скотина, мог бы заплатить тридцать тысяч. Чего тут бояться? Мой смерти? В шестьдесят девять лет писатель, конечно, легко может умереть, не докончив обещанного романа. Но этот скряга выпустил семь моих книг, — подумал Вермандуа с усилившимся от гипотезы раздражением, — и если я умру, он так это раздует и добьется от критики такого потопа слез, что семь старых книг в три дня покроют его несчастный аванс...“

Обед был легкий, без мяса, без вина, без всего того, что он любил, — так в последнее пятилетие полагалось есть старым или пожилым парижанам, которые начинали внимательно следить за успехами медицины. Болезни, собственно, у него не было никакой. Вермандуа иногда бывал у знаменитого врача, но бывал так, как культурные люди ходят раза два в год к дантисту: зубы как будто в порядке, а все-таки пусть дантист посмотрит. При последнем визите, на прошлой неделе, врач, внимательно его осмотрев, ничего дурного не нашел, кроме разве легкого утомления сердца, — настолько легкого, что и сказано о нем было больше из приличия: все же пациенту шестьдесят девять лет. Желудок, легкие, печень, почки — все было в совершенном порядке. „Как у молодого человека“, — весело сказал врач и с игривой улыбкой коснулся другого вопроса. „Les femmes, cher Maître, les femmes... J'ai vaguement entendu dire que vous menez une vie de bâton de chaise“. „Voyons, docteur, voyons, on exagère“*, — ответил польщенный Вермандуа. „C'est que vous n'avez plus vingt ans, ni même cinquante. Je ne vous dis que ça...“* — сказал доктор строго, но с сочувственной улыбкой. Посоветовал поменьше есть, поменьше пить, не ужинать и принимать пилюли; давление крови шестнадцать, недурно бы довести его до четырнадцати-пятнадцати. По всему было видно, что в пилюлях большой необходимости нет: если их и не принимать, то никакой катастрофы в пределах человеческого предвидения не ожидается. „Как было хорошо жить, пока вы, врачи, не научились измерять

* „Женщины, дорогой мэтр, женщины... Я смутно слышал, что вы ведете рассеянный образ жизни“. — „Оставьте, доктор, это преувеличение“ (фр.).

* „Вам уже не двадцать лет и даже не пятьдесят. Ничего, кроме этого, я не говорю“ (фр.).

давление крови! Люди жили без всякого давления и не беспокоились“, — сказал, смеясь, Вермандуа. Оказавшись вполне здоровым человеком, он мог себе позволить и некоторый скептицизм в отношении медицины. Знаменитый врач только пожал плечами: что ж на это отвечать? „Mais oui, mais oui“*, — сказал он, как если бы разговаривал с очень умным и не по летам развитым ребенком, но с ребенком.

Не вступая в спор, он сел за стол и все подробно написал на вырванном из блокнота листке, на котором в левом верхнем углу были пропечатаны его ученые звания и титулы: черного мяса, дичи, острых вещей не есть, крепких напитков не пить... „А вино?“ — с испугом спросил Вермандуа. „Вино можно, не в больших количествах, — разрешил врач и, подумав, добавил: — Красное. Белого не надо...“ Вермандуа еще немного поторговался о разных других вещах. „Не лучше ли вместо этого съездить, например, в Ройа и проделать там курс лечения?“ — нерешительно предложил он по бессознательной аналогии с тем, что суд иногда заменяет тюремное заключение денежным штрафом. „Нет, в Ройа незачем ехать, сердце только чуть-чуть утомлено, болезни никакой нет“, — ответил врач, и Вермандуа с удовлетворением убедился, что доктор говорит *так вообще*, принимая в соображение его возраст, и ни на чем в отдельности особенно не настаивает: не будет катастрофы ни от черного мяса, ни от белого вина.

Это было очень приятно. До визита к врачу Вермандуа порою чувствовал смутное беспокойство: накануне, уронив за столом книгу, наклонился было, чтобы ее поднять, и подумал, что, быть может, в его возрасте, да еще после обеда, лучше бы не наклоняться и не делать резких движений: мало ли что может случиться? Теперь ясно было, что ничего случиться не может. Вермандуа говорил и думал, что очень устал от жизни. Но одно другому не мешало: усталость от жизни не мешала удовольствию от слов врача. „Вот триста франков, дорогой доктор, знаю, что это цена вашего времени, которое, я вижу, вы могли бы употребить и с большей пользой...“ Ответ был ему заранее известен. „Не триста, а сто пятьдесят“, — ответил доктор, отлично знавший порядки. „Но почему же?..“ „Потому что сто пятьдесят“, — сказал врач с ласковой грубостью.

О делах, связанных с деньгами, люди обычно гово-

* „Годится, годится“ (фр.).

рили с Вермандуа так, точно у него в банке было неограниченное число миллионов: оплата его славы как бы считалась естественно пропорциональной славе. Тем не менее ему в разных учреждениях и предприятиях, даже в гостиницах и некоторых магазинах именно по причине славы полагалась скидка, он платил часть цены тем удовлетворением, которое полагалось испытывать от оказывания в его лице услуги французской культуре. Вермандуа развел руками, показывая, что он тронут, смущен, огорчен, но уступает тягостной воле почитателя. Пожал доктору руку несколько крепче, чем следовало бы по степени их знакомства, и, заплатив сто пятьдесят франков удовлетворением от услуги французской культуре, положил другие сто пятьдесят на стол.

„Теперь года полтора, а то и два, можно будет к нему не ходить“, — рассеянно думал Вермандуа вперемешку с мыслями об издателе. Он лениво ел суп из овощей и какую-то славившуюся своей легкостью рыбу. Стряпала у него — довольно плохо и скучно — *femme de ménage**, старая, сердитая, гипнотизировавшая его своей сварливостью женщина, неизменно, с непонятной гордостью, при всякой жалобе напоминая ему, что она не кухарка и не *cordon bleu*“. Тон ее говорил, что согласилась она стряпать и вообще служить ему только под сильнейшим его давлением: в отличие от знаменитых врачей и от управляющих гостиницами старуха, видимо, не находила в общении с ним никакого удовольствия. Работала она у него целый день, до восьми вечера. За те же деньги можно было иметь нарядную молоденькую горничную. Иногда Вермандуа об этом и подумывал, но при мысли о том, что надо будет отказать старухе и иметь с ней объяснение, им наперед овладевала необычайная скука и усталость. „Не все ли равно? По крайней мере она не воровка... И не все ли равно, что есть: эту рыбу или лангуст, фазана, страсбургский пирог? Труднее без хорошего вина“.

Вино стало большой радостью в его жизни именно на старости лет. На званом обеде, который на днях давал в его честь богатый финансист, был изумительный *Château Haut-Brion* 1918 года. „Только у нас во Франции есть такие божественные вина, — сказал хозяин. — Знаете, оно своим совершенством, своей выдер-

*Горничная (*фр.*).

*Искусная повариха (*фр.*).

жанностью, своим *чувством меры* напоминает мне вашу прозу...“ Вермандуа смущенно улыбнулся — значительная часть обедов в его честь всегда проходила в профессионально-смущенных улыбках — и подумал было, что, пожалуй, слова хозяина можно было бы как-нибудь, с переделкой, использовать в той сцене романа, где Анаксимандр пьет у богача фалернское: оно напоминает хозяину третью песню „Илиады“. Однако находка показалась ему мало интересной, и от мысли этой до самого десерта оставался неприятный осадок — потом он сообразил, что осадок вызван словом *фалернское* и именем *Анаксимандр*. „Да, да, опера, гадкая опера, как все, — морщась, подумал он и теперь. — А может быть, болван-издатель именно того и испугался, что роман из древнегреческой жизни?..“ Это новое соображение было приятно Вермандуа: значит, дело не в нем и не в его старости, а в сюжете: кому теперь интересна древнегреческая жизнь? По миру разливается волна дикости и невежества. „Ну, хорошо, волна дикости и невежества, — тотчас ответил себе он. — Но кого же она в конце концов снесет? Не Лувр ведь и не Национальную библиотеку, а того рафинированного банкира. Это я в силах перенести...“

На обеде хозяин старательно поддерживал высокий тон разговора. Стены кабинета, где гости сидели до появления человека в чулках, сказавшего: „*Madame est servie*“*, были от пола до потолка выстланы книгами; над великолепным письменным столом висел Матисс, купленный по скромному, вскользь брошенному замечанию владельца в ту пору, когда это было еще доступно, „до нынешних сумасшедших цен“; он показывал редкие издания в старинных переплетах и гладил переплеты с такой славной *гурманной* анатоль-франсовской улыбкой, что Вермандуа почувствовал острый припадок ненависти к этому человеку, который ежедневно пил или мог пить Château Haut-Brion 1918 года. Если б финансист был по крайней мере *упитан* и *жирен*, если б у него через жилет шла толстая золотая цепочка от часов, если б говорил он как невежественный рагвену, все это было бы еще выносимо. Но ничего такого в финансисте не было: хоть разбогател он в самом деле недавно и, как говорили, не слишком честным образом, вид у него, и костюм, и манеры, и даже анатоль-франсовская улыбка были вполне приличные.

* „Кушать подаво“ (*фр.*).

„Черт его знает, может, он и в самом деле любит старые книги...“

Нельзя было в порядке закона запретить богатым банкирам интересоваться искусством. Однако необходимость социальной катастрофы казалась Вермандуа на обеде особенно ясной. При случае он даже полуслушливо как-то сказал вслух: „Да здравствует товарищ Сталин!..“ В других устах эта фраза могла бы в доме банкира произвести удручающее впечатление. Но великий писатель произнес ее так кстати, так мило-шутливо, и вид его при этом был так не страшен, что все гости весело засмеялись. „Дорогой Вермандуа, выньте из зубов кинжал“, — сказал хозяин, и все засмеялись снова. „Я, однако, уже стал „дорогой Вермандуа“...“ Что же, за свой Château Haut-Brion он имеет на это право“, — подумал гость. Больше по долгу службы он произнес небольшое слово в защиту коммунизма — или нет, не коммунизма, а коммунистических идей: несколько не отрицал, что в советской России не все еще идет хорошо; однако в этой молодой стране строится новая жизнь. Одна дама, недавно пробывшая целую неделю в Москве, подтвердила его слова: уж она-то, как каждому известно, несколько не коммунистка — для Франции все это не годится, — но русский народ счастлив и стоит за новый строй, это она может засвидетельствовать совершенно определенно. Хозяин спорил, коммунизм чистейшая утопия, теперь все это немного отпадает и в России, там ведь растет самый настоящий панславизм, такой же, какой был при царях, — и сослался на завещание Петра Великого: *le testament de Pierre le Grand*. Лакей в чулках подал индейку; разговор несколько отвлёкся, но возобновился к салату. Тон Вермандуа был приблизительно такой, что, хотя старый порядок везде сгнил или начинает гнить, но отдельные представители старого порядка могут быть совершенно очаровательными, высококультурными людьми, собравшими изумительные художественные коллекции, и мы это, конечно, принимаем во внимание, да и вообще во Франции до *этого* дело еще дойдет не скоро, к большому нашему огорчению. В каком-то таком смысле принимался даже и Château Haut-Brion 1918 года: последние версальцы брали у жизни все перед „божественной лихорадкой революции...“

Старуха подала не индейку, а компот из слив; вид ее говорил: „Да, и позавчера был компот из слив, и послезавтра будет компот из слив, сам велел, ну так и жри,

что дают, и я тебе не cordon bleu...“ „Кажется, можно бы теперь смягчить режим“, — нерешительно подумал Вермандуа. О компоте из слив много говорилось при его последней встрече с некоторыми писателями его поколения: каждого из них он знал лет сорок, и его утешением в старости было отчасти то, что они старились с такой же быстротой, как и он. Эмиль подробно рассказывал, как мало ест и как умеренно живет. Вермандуа слушал с легким недоверием и с завистью. „Верно, врет... А если и не врет, то все это ерунда: может, тот банкир с Château Haut-Brion их всех переживет. А если старый дурак Эмиль и проживет сто лет и напишет еще сорок книг, то от этого никому ни тепло ни холодно“. Все же ему была неприятна мысль, что Эмиль, благодаря своему благоразумию, умеренности и компоту, может его пережить, и он предписал старухе подавать почаще компот из слив. При этом на ее лице — только гораздо более откровенно и бесстыдно — выразились точно такие же мысли: может, и с компотом послезавтра помрешь, и беды от этого большой не будет. На этот раз вид у нее был особенно вызывающий: „попробуй, скажи одно слово, я тебе скажу десять!“ Вермандуа не принял вызова, послушно съел компот — что ж, это не так невкусно — и велел подать кофейник в кабинет. Лицо старухи показало, что за кофе она не отвечает.

После обеда Вермандуа надел бархатный халат, мягкие туфли, шапочку и с наслаждением подумал, что сейчас начинается лучшее время дня: больше, кажется, никто помешать не может. Он перешел в кабинет и поднял крышку американского стола; в его кабинете никаких ценных вещей не было — все приносилось в жертву удобству работы. Заглянул в радиофонический журнал и повертел ручку аппарата на камине. В Мюнхене шел Бетховенский фестиваль. Вермандуа любил работать под негромкую, глухую, еле слышную музыку. Урегулировал звук и прислушался — в кабинет вошла старуха, с демонстративным презрением к музыке растворила окно, и грохот сдвигаемых ставен раздавил бетховенскую фразу. „Такова и жизнь, — подумал было Вермандуа, но сам устыдился слабости своей метафоры: — Не становлюсь ли и я глуп, как Эмиль?..“ Он вздохнул и кротко расплатился с поденщицей — это было последнее испытание за день. Из Мюнхена донеслись оглушительные рукоплескания.

Утаенное от врача кофе он готовил в усовершенствованном приборе из двух соединенных трубкою стеклян-

ных колб, как после войны стали его готовить странно одетые восточные люди в лучших ресторанах Парижа. Процесс варки еще увеличивал наслаждение от напитка. Так и на этот раз он с особым удовольствием зажег лампочку под нижней колбой и долго смотрел на воду: как стали подниматься пузырьки, как потом все пришло в движение, что-то задрожало в трубке, и из верхней колбы вернулась в нижнюю коричневая жидкость.

Мысль об ответе издателя теперь вызывала у него меньше раздражения и тревоги. Конечно, все было в сюжете. Об этом свидетельствовал и унылый вид, с которым, при их последней беседе, издатель, слушая его предварительное небрежное сообщение о романе, повторил: „Très intéressant, Maître...“ „Vous allez créer un chef-d'œuvre, Maître...“*

Вермандуа снова пробежал письмо. „...Vous devinez, cher Maître, que ce n'est pas l'envie qui me manque...“ „...la situation empire tous les jours, et je ne vois décidément pas comment...“ „...la crise m'impose donc la tâche pénible de...“#. „Да, это значит: пятнадцать тысяч...“ Можно было, конечно, обратиться к другому издателю. Но если б и тот не предложил лучших условий, то возвращаться к первому было бы особенно неприятно: непонятным образом издатели неизменно узнавали о самых секретных переговорах авторов с другими издателями. А главное, начинать переговоры заново было необычайно скучно, еще скучнее, чем объясняться со сварливой поденщицей. „Ничего не поделаешь, — подумал он, — придется написать, что я согласен на двадцать тысяч...“

Он достал приходную книгу и сделал краткий подсчет: очень точно и аккуратно записывал в книжку все свои поступления; расходов не записывал — в этом не было надобности: у него никогда ничего не оставалось, и расход, следовательно, был равен доходу или даже несколько его превышал, так как были долги: не дружеские — к денежным услугам он никогда не прибегал, — а авансы. Счетная книга его не утешила; никаких других сметных предположений не было, авторское отчисление от книг и ненавистные статьи в газетах,

* „Чрезвычайно интересно, мэтр...“ „Вы создадите шедевр, мэтр...“ (фр.)

„...Вы догадываетесь, дорогой мэтр, это не то, чтобы у меня отсутствовало желание...“ „...С каждым днем ситуация ухудшается, и я не вижу, каким образом...“ „...Кризис палагает на меня тигостную задачу сделать...“ (фр.)

больше ничего. Свести концы с концами в этом году было почти невысказано. „Разве если продать те фильмовые права? Но ведь это арабские сказки...“

Из товарищей и сверстников Вермандуа одни говорили, что он загребаёт деньги: „Des mille et des cent, cher ami: les Américains lui payent des sommes folles!..“⁴⁴ Другие, напротив, утверждали, что он нуждается и чуть только не голодает: „La dèche, vous dis-je, le dèche poire!..“⁴⁵ Вермандуа в среднем зарабатывал около ста тысяч франков в год. Но из них первая его жена получала восемнадцать тысяч, а вторая, с которой он разошелся, уже будучи сравнительно обеспеченным человеком, — двадцать четыре тысячи. Эту расходную статью уменьшить было невозможно.

Очень трудно было сократить и собственные расходы: он уже произвел все сокращения, совместимые с его положением. Казалось бы, положение Вермандуа в обществе не имело ничего общего с деньгами; оно всецело основывалось на том, что он был знаменитый писатель — один из тех пяти или шести человек, которых при перечислении лучших писателей Франции почти наверное называл бы каждый образованный француз. Принимать его считали для себя большой честью богачи, совершенно не интересовавшиеся его заработками. Однако необходимым условием для этого был известный минимальный уровень расходов. Более бедный образ жизни скоро поколебал бы и его общественное положение, и даже, как ни странно, его цену в литературе: издатели и редакторы разговаривали бы с ним иначе, если б изредка не читали в светской хронике газет, что он обедает у послов и герцогов, а на курортах останавливается в самых дорогих гостиницах. Собственно, больше для этого он еще и выезжал в свет, бесконечно ему надоевший, и для этого же отбывал в августе две недели в лучшей гостинице Довиля, проклиная огромные (несмотря на полагавшуюся ему скидку) расходы. Все это было чрезвычайно глупо; но глупостью жизнь никак не могла удивить Вермандуа.

„Что же еще можно сберечь? Переехать на другую квартиру?“ — угрюмо спросил себя он и содрогнулся от ужаса: при двадцатилетней привычке, при библиотеке в шесть тысяч томов это была бы настоящая катастрофа. Автомобиля у него больше не было: автомобиль

⁴⁴ „Сотни и тысячи, дорогой друг, американцы платят ему сумасшедшие деньги!..“ (фр.)

⁴⁵ „Нищета, говорю вам, черная нищета!..“ (фр.)

был продан в самом начале кризиса, что было первым и немаловажным ущербом для общественного положения: „capitis deminutio“*, называл он это с усмешкой. Приемы у себя, даже дешевые и потому в последнее время очень принятые „коктейль-парти“, он устраивал теперь чрезвычайно редко, „вероятно, друзья уже зовут свиньей...“ Секретарь?

Обязанности секретаря при нем с недавнего времени исполнял очень молодой человек, приходивший всего на два часа в день. Вермандуа платил ему такие гроши, что иногда неловко было смотреть в глаза этому юноше, который, верно, и обедал не каждый день. „Если продам фильмовые права, надо будет дать ему наградные: тысячу... нет, пятьсот франков, — нерешительно подумал он: шансы секретаря на наградные были невелики. — Со всем тем он неприятный и не вполне нормальный молодой человек...“ „Со всем тем“, собственно, ничего не значило; но секретарь своей озлобленностью, даже превышавшей его собственную озлобленность, несколько раздражал Вермандуа. „Не надо, впрочем, придавать значение его способу выражаться: когда он называет кого-нибудь сволочью или мерзавцем, то это лишь означает, что он не чувствует симпатии к этому человеку...“ Молодой секретарь действительно чрезвычайно часто говорил о самых разных людях: „crapule“, „sale crapule“, „canaille“, „vieille canaille“, и, по-видимому, эти выражения у него имели лишь стилистическое значение. „Меня он, верно, называет „vieille canaille“, — решил Вермандуа и хотел было рассердиться, но не рассердился: ему было жаль голодавшего секретаря.

Ненадолго он остановился мыслью еще на каких-то видах экономии. Нет, ничего сократить нельзя, кроме разве пустяков: уговорить Мари, чтоб приходила не на восемь, а на шесть часов, и выдержать ее рычания? Перейти к другому портному? При двух костюмах в год это даст гроши, и опять capitis deminution... Вермандуа только вздохнул. Шестидесят тысяч в год именно и были тем последним минимумом трат, при котором он мог жить в Париже. „Если аванс издателя составит двадцать тысяч, то закончить год без дефицита немислимо...“ Он заглянул в чековую книжку. На текущем счету оставалось девять тысяч, это было все его состо-

* „Отсечение головы“ (лат.).

„Сволочь“, „грязная сволочь“, „каналья“, „старая каналья“ (фр.).

яние. „Нет ни одного поденщика, который жил бы так глупо и за полвека работы ничего не скопил бы... Да, катастрофа, настоящая катастрофа...“ Свести концы с концами можно было бы только в случае продажи фильма или смерти второй жены, отравившей ему пять лет существования. Первой жене он смерти не желал: о ней у него сохранилось скорее приятное воспоминание. „Впрочем, пусть живет и та дура, лишь бы только пореже писала свои идиотские письма...“ Ему стало совестно, что могла у него проскользнуть и такая мысль, и с новой силой поднялась все рожая в нем с годами злоба против общественного строя, который, несмотря на его очень высокое положение, на званые обеды в его честь, на Château Haut-Brion (хотя бы чужой) и на шесть тысяч книг, был, по существу, так безжалостен с ним, старым, знаменитым, всю жизнь много работавшим человеком.

Пламя лампочки пожелтело, на дне колбы появилось черное бархатистое пятно. Он поправил фитилек и повертел лампочкой под колбой. Жидкость взбежала вверх и вернулась совершенно черной. Теперь кофе было по крепости прямо губительное для здоровья, но для чего себя беречь при таком общественном строе? Все же приятно вспомнились слова знаменитого врача: „Все в порядке, все как у молодого человека...“ „В самом деле, какие же признаки старости? Память такая же, как была: превосходная. Творческая способность? Не ослабела... Или почти не ослабела... Женщины?..“

Женщины теперь были главным интересом его жизни — частью со стыдом, частью с удовольствием он думал, что не нужны ему ни слава, ни почет, ни литература, что ему нужны только женщины; на улице, в автобусах, в театре он не пропускал взглядом ни одной молоденькой девушки, и ему приходили в голову мысли, которых он не знал, когда был молод сам, или, по крайней мере, так ему казалось. „Только теперь стал понимать, что это такое... И только теперь вообще стал понимать, что такое жизнь... Именно теперь, когда ее осталось так мало...“

Короткий остаток жизни, конечно, надо было бы провести возможно разумнее. Вермандуа раза два в год и решал начать новую жизнь: ежедневно вставать в шесть часов утра, после легкого завтрака гулять в Булонском лесу, затем садиться за работу, а вечером читать настоящие книги и ложиться часов в одиннадцать. Хорошо было бы также, чтобы был загородный

дом — хоть бы какая-нибудь старая лачуга из трех комнат; чтобы скопилась сколько-нибудь приличная сумма на текущем счету, а не гроши, оставляемые в банке из приличия, дабы иметь возможность получать деньги по отчеркнутому чекам; чтобы вместо старухи служила молодая хорошенькая горничная, которой он говорил бы „дитя мое“ и которая была бы ему предана как собака.

Из планов новой жизни также неизменно ничего не выходило: когда рано вставал, туфли оказывались невычищенными, свежего хлеба и кофе не было, и в Булонский лес идти было нельзя, так как шел дождь, да и ничего хорошего в лесу нет. Работал он когда придется, чаще всего по вечерам, поддерживая себя крепким кофе, засыпал очень поздно и вставал в двенадцатом часу утра. „Да, во всей Франции нет человека, живущего столь нездорово и неразумно..“

Он вздохнул и принялся за работу. Сначала надо было проделать механические дела: это втягивало в труд — потом легче было приняться за настоящее. Важных писем, к счастью, не оставалось: все было вчера продиктовано секретарю. Но на столе лежали две книги — книги третьего столбика.

Вермандуа получал еженедельно от двадцати до сорока книг. Те из них, которые принадлежали авторам запедомо бездарным или совершенно никому неизвестным („если бы книга чего-нибудь стоила, было бы слышно“), откладывались в первый столбик. Секретарь аккуратно отрывал первую страницу с авторской надписью и относил книги первого столбика букинисту; этот небольшой доход предназначался на благотворительные дела: деньги отдавались звонившим чуть не ежедневно женщинам в полумонашеских платьях — просто поразительно, сколько существует в Париже полезных учреждений, нуждающихся в его помощи. Авторам же секретарь рассылал карточки Вермандуа с пожеланием большого успеха. Во втором столбике лежали книги, в которые следовало заглянуть (можно и не разрезая): они тоже были почти наверное никуда не годны, но их авторам, по рангу, надлежало ответить не на карточке: секретарь писал на машинке письма и представлял их ему для подписи. На книги третьего столбика отвечал сам Вермандуа, и это было особенно скучно, потому что предварительно требовалось разрезать книгу (поручать такую работу секретарю было неловко: все-таки бакалавр).

На этот раз третий столбик состоял из двух книг; сверстников Вермандуа, знаменитых писателей, стало-вилось все меньше. Он решил вторую книгу отложить на следующий день: может, завтра, Бог даст, ничего не придет. Разрезал толстый том и, перелистав книгу, быстро набросал письмо. „...Как хороша вся шестая глава!.. Да и весь образ Антуана!.. О конце я не говорю: это шедевр, шедевр даже для вас, дорогой друг. Не желаю успеха: когда же у вас успеха не было?..“

„Кажется, я еще ему этого не писал“, — неуверенно подумал Вермандуа. Похвалы образу Антуана его не беспокоили — по долгому опыту он знал, что писать такие вещи можно совершенно спокойно: какую бы главу или какое бы действующее лицо ни назвать, восторженные похвалы нисколько автора не удивят. Собственно, проще, чем лгать, было бы прочесть книгу. Но Вермандуа не чувствовал себя в силах читать без необходимости новые художественные произведения, хотя бы и хорошие; и он лишь освежал в памяти прочитанное прежде — как дамы, примирившиеся со старостью, стараются лишь обновлять и переделывать приобретенный в молодые годы запас дорогих, не очень старящихся вещей.

Не ответить вовсе на присылку книги с надписью Вермандуа считал невозможным. Вежливость была в его природе. Газетной брани он не выносил; особенно неприятно его задевала литературная грызня, в которой, в отличие от грызни политической, непосредственные материальные интересы обычно отсутствовали. Грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение: они явно не могли быть полезны ни литературе — время и без рецензий все ставит на место, — ни публике — она следила за этим совершенно так, как зеваки следят за уличной дракой, — ни тому, о ком писалась статья, ни тому, кто ее писал; почти все критики выпускали иногда и книги, почти все писатели порою занимались критикой, всякая грубая рецензия рано или поздно, явно или прикрито, но неизменно и неуклонно — с силой закона природы — вызывала другую, благодарственную, столь же грубую. Для чего люди, иногда ученые и талантливые, занимались этим нелепым и бесполезным, никому ненужным делом литературных репрессалий было совершенно непонятно. Настоящий идейный спор мог быть вполне учтивым. „Все-таки не созданы же мы для того, чтобы отравлять друг другу столь короткую, столь и без того тягостную

жизнь. А если и созданы, то с этим надо бороться как с пороком, да и едва ли это может происходить от дурного биологического устройства людей. Вот ведь мне, например, это совершенно несвойственно...“ Его устные, письменные, печатные похвалы не имели никакого значения, и им не верил никто, кроме того лица, к которому они относились. Но этого было вполне достаточно.

Он запечатал письмо и с досадой заметил, что под пресс-папье лежали еще какие-то оставленные для него секретарем листки. Заглянул: анкета, исходившая от очень мало распространенного, почти никому неизвестного, но бойкого журнальчика. Люди хотели бесплатно от него получить то, за что полагалось платить ему деньги или, по крайней мере, рекламой. Это с их стороны было, собственно, так же неприлично, как обращаться за юридическим советом к случайно встреченному на улице знакомому адвокату. Анкеты приходили не столь часто, как книги, но все-таки нередко. Молодой секретарь даже нагло советовал завести печатные открытки, как у Куртелэна.

„M. Georges Courteline a reçu votre enquête sur... Il a l'honneur de vous informer qu'il s'en f... complètement“*. На листке анкеты рукой секретаря было написано: „Formule 2, n'est-ce pas, cher Maître?“* В вопросе этом, и в почерке секретаря, и особенно в словах „cher Maître“, тоже было нечто наглое. Но, по существу, он был прав: незачем ссориться и с неизвестными журнальчиками. Вермандуа написал: „Mais oui“. Это значило, что секретарь должен ответить: за отъездом г.Луи Этьенна Вермандуа ответ на столь интересную анкету, к сожалению, дан быть не может.

Под листком анкеты лежало еще два сколотых зажимом листка. Вермандуа заглянул и с досадой выругался. Это было настоятельное приглашение принять участие в митинге протеста против возмутительных действий чилийского правительства. Он в самом деле как-то обещал выступить на митинге, но не думал, что его обещание будет понято так буквально: устроители должны были сообразить, что он дает свое имя лишь для украшения афиши. К письму был приложен отбитый на машинке секретарем проект ответа. Вермандуа быстро его пробежал. В ответе сообщалось, что он вне-

*Г-н Жорж Куртелэн получил ваш запрос, касающийся... Он имеет честь проинформировать вас, что ему напл... совершенно“ (фр.).

*„Формула 2, не так ли, дорогой мэтр?“ (фр.)

запно заболел, прийти, к своему великому сожалению, не может, плет всем товарищам привет и вместе с ними от глубины души протестует против варварских действий правительства Чили. Ответ был составлен недурно, но опять-таки в тоне, в выражениях, в уверенности этого мальчишки, что *cher Maître* на митинг не пойдет, было нечто наглое, издевательское и подмигивающее. Однако и тут секретарь был прав. Вермандуа взял перо и исправил немного стиль. Вместо „*flétrir ces actes abominables*“ написал: „*flétrir ces actes que la conscience du monde civilisé ne saurait accepter*“*.

Теперь механическая работа была на этот вечер кончена.

VI.

Вермандуа вынул из ящика картонную папку: в ней лежали тонкие записные книжки, склеенные, перечеркнутые — поправка на поправке, связанные зажимами листы: материалы к роману из древнегреческой жизни. Издателю он говорил, что „роман в сущности готов“ и с улыбкой, берущей сказанное в кавычки, ссылаясь на слова Расина о „Федре“: „*C'est prêt, il ne reste qu'à l'écrire*“#. Но про себя Вермандуа знал, что готово лишь очень немногое, хоть план тщательно разработан, выписки сделаны, характеры намечены. Мало того, едва ли не впервые в жизни ему было неясно, как приступить к работе: это был его первый опыт исторического романа. Он хорошо знал греческий язык и прочел не менее сотни книг о древнем мире — трудность была не в недостаточном знании эпохи. „Хуже всего будет, если получится головная, вымученная книга...“

Ясна была только основная мысль. Мир три тысячи лет находился в состоянии варварства и все три тысячи лет смутно это чувствовал. Выйти из этого состояния мир не мог и не может вследствие дурного от природы устройства людей. Но во все времена лучшие или наиболее требовательные люди старались найти такую точку зрения, по которой варварство либо было бы не варварством, либо признавалось бы временным состоянием человеческого рода. В течение многих веков человечество терпеливо сносило полновластное царство зла,

* „Заклеймить эти отвратительные действия“ (...) „заклеймить эти действия как несовместимые с нормами цивилизованного общества“ (*φρ.*).

„Она готова, остается только ее написать“ (*φρ.*).

потому что смотрело на земную жизнь лишь как на временное, очень несчастное состояние перед переходом к вечному блаженству. Вера эта стала отпадать сто или, быть может, двести лет тому назад, и ее наспех, неполно, неумело, неудачно заменили учением о прогрессе. Теперь, с 1914 года, и это учение оказалось совершенно несостоятельным и даже просто неумным: мир вступил в полосу катастроф и вернулся или возвращается к состоянию исконного варварства. Однако за три тысячи лет было как будто одно исключение: маленький народ в восточной части Средиземного моря, рано и беспследно исчезнувший греческий народ, который, по непонятной биологической случайности, породил непропорциональное, несстественное или сверхъестественное число гениальных людей. Люди эти авансом, наскоро, и в теории и на практике, проделали весь позднейший опыт мира и проделали его с таким блеском, с такой концентрацией во времени и в пространстве, что основные проблемы человеческого бытия и теперь лучше всего изучать именно на них, на их истории, на их мифах. Здесь начиналось изложение нового взгляда на эти вопросы — Вермандуа казалось, что он по-новому понял Древнюю Грецию.

С камня раздалась фраза „стучащей судьбы“. Он улыбнулся се соответственно мыслям, которые его занимали. „Всегда надо было бы писать под музыку Бетховена“, — подумал он и с неприятным чувством сам себе ответил, что в шестьдесят девять лет не стоит обзаводиться новыми привычками работы. „И писать тоже нельзя по-новому, это самый худший вид снобизма...“ Перед каждой новой книгой ему хотелось написать ее совершенно по-иному — так, как он никогда не писал и как никто не писал до него. Из этого ничего не выходило: все новое неизменно оказывалось старым — „ново лишь то, что забыто“. Прогресс искусства сводился только к легкому подталкиванию вперед того, что было сделано поколениями других людей; самые великие новаторы именно так и поступали, а те, которые хотели казаться новаторами своим современникам, забывались обычно через двадцать лет или уже через десять становились совершенно невыносимыми. „Вот и в этой книге я чуть-чуть подтолкну искусство исторического романа. Но что такое исторический роман?..“

Перед началом работы он собрал несколько книг, считавшихся лучшими в этой области. Возле его письменного стола стояла вращающаяся этажерка с книга-

ми, которые могли ему понадобиться. Здесь теперь были ученые труды по греческой истории, философии, быту; были также знаменитые исторические романы, не имевшие отношения к Греции. „Что, если все-таки заглянуть? — подумал он и наудачу взял книгу. „Война и мир“. — Нет, это ни к чему...“ Толстого он особенно избегал по разным причинам, а когда читал, то обычно кончал чтение со смешанным чувством восторга и подавленности: „Так не напишешь... Зачем же читать книги, отбивающие охоту к литературной работе? Но какой „Война и мир“ исторический роман? — сказал он себе. — Его отец участвовал в сражении под Москвой, он описал в историческом романе всю свою семью...“

Взял другую книгу, „Девяносто третий год“. „Что скажет папа Гюго?.. Вот это может оказаться более подходящим. Впрочем, отец этого тоже участвовал в событиях романа... С отцами мне положительно не везет. Мой отец никогда не встречался с Алкивиадом...“ Он тотчас пожалел, что настроился на исторический лад: ничего не могло быть хуже для гигиены литературной работы. Раскрыл книгу наудачу — „Audessus de la balance il y a la lyre. Votre république dose, mesure et règle l'homme; la mienne l'emporte en plein azur. C'est la différence qu'il y a entre un théorème et un aigle.—Tu te perds dans le nuage.—Et vous dans le calcul.—Il y a du rêve dans l'harmonie.—Il y en a aussi dans l'algèbre.—Je voudrai l'homme fait par Euclide.—Et moi, dit Gauvain, je l'aimerais mieux fait par Homère...“ Вермандуа зевнул и засмеялся, стараясь вспомнить, кто эти люди. „Да, Симурдэн фанатик, а Говэн гуманист. Фанатик казнит своего воспитанника гуманиста... А до того должен быть процесс...“ Он заглянул в главу процесса и прочел защитительную речь. То, что в речи, произнесенной в 1793 году, была ссылка на сражение при Флерюсе, бывшее в 1794 году, его развеселило. „Кажется, критики этого и не заметили... Папа Гюго ничего не знал...“ Он перелистал книгу. „...Et la femme qu'en faites-vous?—Ce qu'elle est. La servante de l'homme.—Oui. Aune condition.—Laquelle?—C'est que l'homme sera le serviteur de la

* „Ведь лира выше весов. Ваша республика взвешивает, отмеряет и направляет человека; моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между геометром и орлом“. — „Ты витаешь в облаках“. — „А вы погрязли в расчетах“. — „Не пустая ли мечта эта гармония?“ — „Но без мечты нет и математики“. — „Я хотел бы, чтоб творцом человека был Эвклид“. „А я, — сказал Говэн, — предпочитаю в этой роли Гомера...“ (Фр.) — В. Гюго. Собр. соч. в 15 т., М., 1956, т. 11, с. 377. — Перевод Н. М. Жарковой.

femme.—Y penses-tu? s'écria Cimourdain, l'homme serviteur! Jamais. L'homme est maître. Je n'admets qu'une royauté, celle du foyer. L'homme chez lui est roi.—Oui, à une condition.—Laquelle?—C'est que la femme y sera reine...“* Ему стало весело. „Нет, все-таки у меня диалог будет не хуже, чем в этом шедевре... Разница в том, что его люди могли так говорить, хоть, конечно, никогда не говорили...“

Совершенно не давался ему стиль романа. В черновиках речь древних греков выходила либо нестерпимо фальшивой, либо нестерпимо дешевой, а чаще всего и фальшивой, и дешевой одновременно. Вермандуа писал фразу древнего грека Анаксимандра, и ему казалось, что этот древний грек уже был в сотне других, очень плохих романов и везде говорил именно эту *аттическую*, а на самом деле банальную и плоскую фразу. Он знал, что тут психологический обман, происходящий от несоответствия слова сказанного слову задуманному: все свое всегда кажется хуже, чем чужое, — в чужом романе та же фраза его не задела бы. „Но как понять душу людей, живших две тысячи лет тому назад? Я не знаю секретов нашего правительства, болгары или датчане мне чужды почти так же, как эскимосы, а я имею наглость утверждать, что нашел какое-то новое объяснение „тайны Древней Греции“! Новое объяснение стоит старых, да, собственно, никакой тайны в Греции и не было, а были чужие, на редкость одаренные люди, непонятные нам по отдаленности времен... Но что же делать? Отказаться от романа из древнегреческой жизни?..“

На изучение эпохи было потрачено столько труда, на обдумывание книги ушло столько душевных сил, что бросить работу было почти немислимо: „Или съездить в Грецию, набраться впечатлений?..“ На мгновение его заняла эта мысль. Несмотря на безденежье, съездить в Афины было не так трудно. Можно было бы поговорить с министром. То, что Вермандуа примыкал к коммунистической партии, нисколько не мешало ка-

* „...А женщина? Какую вы ей отводите роль?“ — „Ту, что ей свойственна... Роль служанки мужчины“. — „Согласен. Но при одном условии“. — „Каком?“ — „Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины“. „Что ты говоришь? — воскликнул Симурдэн. — Мужчина — слуга женщины! Да никогда! Мужчина — господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть — власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король“. „Согласен, но при одном условии“. — „Каком?“ — „Пусть тогда и женщина будет королевой в своей семье...“ (*Фр.*) — В. Гюго, там же, с. 379.

зенной командировке — напротив, министру будет приятно засвидетельствовать, что он совершенно беспристрастен, знает толк в искусстве и умеет ценить людей, подобных Вермандуа, к какой бы партии они ни принадлежали. Не испытывал от этого неловкости и он сам. „Можно и сговориться с какой-нибудь газетой...“ Богатые газеты тоже охотно бы приняли его предложение, хоть в своем политическом отделе громили коммунистов. Но самая мысль о новых статьях, о новых обязательствах перед газетами, о новых авансах, которые надо было бы погасить заранее обусловленным числом строчек, возбуждала ужас и отвращение у Вермандуа: газетные статьи были проклятием его жизни. „Ну, хорошо, поехать в Грецию... Грязноватая гостиница, тяжелая непривычная пища, плохое вино, прозаический провинциальный народ, живущий на самом священном месте земли... Допустим, что я не заболел, что ничего дурного не случится, какая польза для романа от наблюдений над этой шуточной историей? Да, но *то же* солнце, *то же* небо, *те же* желтоватые камни... Я все это видел когда-то... Сорок лет тому назад, как тогда полагалось, на Акрополе прочитал ренановскую молитву. И ее, верно, лучше теперь не перечитывать, как „Девяносто третий год“...“

Он постарался вызвать в памяти акропольский холм, облитые ярким белым светом камни, свежий ветерок, дувший со стороны моря. Все это было так прекрасно... Но теперь, через сорок лет, вспоминать об этом было тоскливо и страшно. Бетховенская фраза с каминя твердила все свое: умрешь, нельзя умереть, вцепись в жизнь, вбей о себе память в души других людей... „Нет, об этом не думать!..“ В последнее время он все чаще говорил себе: „Нет, об этом не думать“, — приблизительно потому же, почему в обществе старался быть особенно любезным, чтобы не дать возможности заметить раздражение, злобу, отвращение, которые в нем вызывали почти все люди.

Вермандуа поставил на полку „Девяносто третий год“ и взял — уже не наудачу — „Боги жаждут“. От этой книги, собственно, и ждать было нечего: он недолюбливал Анатоля Франса. „Хуже всего было бы бессознательно поддаться его влиянию и построить настоящую, серьезную, быть может, последнюю книгу на шуточках, на остроумии, на цитатах, на стилистических красотах. Тогда, право, уж лучше писать статьи об Идене и Муссолини...“

Исторические романы знаменитых авторов были, собственно, им собраны на этажерке именно для того, чтобы порою сопоставлять свое с чужим и в зародыше убивать возможное, непроизвольное сходство, бессознательно появляющееся по далеким воспоминаниям, — эта опасность, он знал, грозила всякому писателю: культура, как и некультурность, имеет свои неудобства. Но теперь в Анатоля Франса он заглянул в поисках той мгновенной, бесследной искры, которая могла бы положить начало его собственной работе. Стал читать — ему не понравилось. Эварист Гамлен родился от героев Гюго, но родился по закону контраста — как его собственный Анаксимандр мог родиться по отталкиванию от действующих лиц Анатоля Франса. „Да, да, соловьиное пение, другое соловьиное пение, но тоже соловьиное пение. Глупо, однако, петь соловьем на седьмом десятке, когда в крематории уже начинают зажигать для тебя печь! В сущности, это faux et usage de faux...“^{*} Прочел еще несколько страниц, конечно, тут все было несравненно тоньше и умнее, чем в романе Гюго, но это не было жизненной правдой, не было и правдой революции. „Его мудрый оркупщик недалеко ушел от Говэна и Симурдэна... Он гордится тем, что не дает исторических сцен?... Люди в пору террора едут за город, это значит: „смотрите, смотрите я и не думаю показывать вам, как Робеспьер разговаривает с Дантоном и Маратом, нет, я показываю вам, как жили в пору террора средние люди“. Но ведь и это тысячу раз использовано, и опера не становится лучше, если в нее вставить отрывок из бытовой комедии. Престарелая крестьянка, встреченная на пикнике парижанами, не верит, что король казнен, — „да это недурно“... Он лениво прочел страницу — и ахнул, вдруг задержавшись глазами на одной строчке: „...Dans les bras de sa mère, elle avait vu passer Louis XIV“^{**}. „Как хорошо! Так коротко и так необыкновенно хорошо! — подумал Вермандуа. — Какая простота и какая сила слова! Я, вероятно, тут не удержался бы и описал бы, хоть кратко, поезд Людовика XIV. Он же магической расстановкой слов, рассчитанным напевом фразы дает все: и поезд, и Людовика, и зрелище королевского могущества в дни его высшей славы, и душу крестьянки, запомнившей это на всю жизнь, — все в одной строчке: „Dans les bras

^{*} „Фальшь и обычай фальши“ (фр.).

^{**} „...Ребенком, на руках у матери, она видела проезжавшего Людовика XIV“ (фр.).

de sa mère, elle avait vu passer Louis XIV“... Изумительно, но такие вещи замечает и понимает только один читатель из тысячи, так что цель все равно не достигается...”

С досадой он закрыл книгу. „Faux et usage de faux, сделанное с мастерством необыкновенным. Во всяком случае, роман из древнегреческой жизни так написать нельзя: быт пикника во времена революции был такой же, как теперь, и все эти Робеспьеры и Мараты не Анаксимандры. Я порою проклинаю себя, когда нужно писать о современных парижанах, о людях, к которым я принадлежу, которых знаю во всех подробностях их жизни, быта, мыслей, слов. Я почти не в состоянии написать, что месть Дюран сел в автомобиль и поехал в Елисейские поля, так как это говорилось в тех же словах сто тысяч раз другими. Но мне еще мучительнее сказать то же самое „по-своему“, „образно“, „оригинально“, так как это тоже очень легко и общедоступно, но зато еще и претенциозно, вызывает улыбку и отдает ремеслом. А тут я хочу писать о „греке N.“, о жизни, которую представить себе невозможно, о людях, которые были совершенно отличны от нас, по-иному чувствовали, думали, говорили! И все дело сводится к отысканию стилистических приемов — как все это гадко, какая скверная вещь литература!..“

Столь ему знакомое создание фальши, ненужности, неестественности искусства теперь, при работе над греческим романом, стало для Вермандуа почти нестерпимым. „Но ведь и *естественность* тоже иллюзия. В двадцать лет естественно было писать стихи, и все-таки я в те времена много думал о том, как бы найти и использовать фокусы, которых не было ни у Малларме, ни у Верлена, ни у Рембо. И так поступают все настоящие художники — да, вот и он, Бетховен, постоянно об этом думал, — а те живописцы, музыканты или писатели, которые об этом не думают и вообще не думают о природе искусства и пишут, „подчиняясь вдохновению свыше“, — самые недолговечные из нас всех. Но теперь, когда я стар, думать обо всем этом — это именно *соггитио boni pessima**... Что естественно? Естественно для меня то, что переживает грек N., однако об этом писать роман глупо, совестно и незачем... Надо было бы написать хоть одну настоящую книгу о настоящих вещах, написать ее, не думая о публике, не думая о

*Ужасное разрушение блага (лат.).

критике. Но для того чтобы написать такую книгу, надо иметь *шу*, прежде всего надо иметь *шу*...

Указание на *шу* он нашел в чьих-то записях о знаменитом человеке. У китайцев будто бы есть понятие *шу*, означающее уважение: не уважение к чему-нибудь в отдельности, а уважение к жизни, ко всему за все, или, вернее, способность уважения вообще. С каждым годом Вермандуа все лучше понимал и значение этого понятия, и то, что сам он был от природы человек без *шу*, и с каждым годом у него становилось все сильнее сомнение: можно ли без *шу* заниматься искусством, предполагая, что заниматься искусством стоит. Если нельзя, то вся его полувековая литературная работа была печальной ошибкой. Митинги с обличением зверств чилийского правительства могли, пожалуй, быть некоторым — скверным — суррогатом *шу*: „У коммунистов *шу* есть, хоть, может быть, и не очень умное *шу*“, — нерешительно думал он, вспоминая ту ерунду, которая выдавалась за философию в брошюрах о диалектическом материализме. В свое время, окончательно склонившись в пользу коммунистов, он пробовал было прочесть и „Капитал“, но не осилил: заглянул в менее увесистого Энгельса и сразу решил, что можно не читать: человек не даровитый, хоть на митингах и в статьях его должно называть великим мыслителем. Было достаточно ясно, что и Маркс, и Энгельс, при всей разнице в их умственном росте, оба люди с *шу*, и ему, человеку без *шу*, изучать их довольно бесполезно.

„Но если *шу* нет, то остается только философия моего Анаксимандра“, — подумал он. Главное действующее лицо романа было сначала названо Анаксимандром. Однако, по мере того как росла гряда черновиков, Вермандуа все яснее чувствовал, что назвать своего героя Анаксимандром он не может, как не мог бы назвать его Нелюско или Радамесом. Чувство это было совершенно бессмысленное: в Греции, конечно, существовало много Анаксимандров, и, какое бы другое имя ни взять, оно все равно было бы оперное и все равно звучало бы как Радамес или Нелюско. Тем не менее в более поздних записях, в отдельном „досье“ этого действующего лица, Анаксимандра уже не было: был грек N. Сознание *оперности* искусства всякого искусства, его искусства было очень тяжело. „Ну, хорошо, а это?..“ Ставшее привычным и нормальным чудо непонятным образом, на каких-то непостижимых волнах, теперь из Мюнхена донесло в кабинет Вермандуа бетховенское

скерцо. „Старичок вдруг развеселился, с чего бы? Или судьба больше не стучит?“

Он, печально улыбаясь, слушал столь знакомую ему музыку, вспоминая и ее толкование в трудах бесчисленных комментаторов. „Великая борьба человечества“, — с кем же борьба? Если б было определенное значение у этих божественных звуков, то как были бы возможны дикие переходы от отчаяния к восторгу, от восторга к отчаянию. А эти нелепые, почти глуповатые программные названия: „Скорбь о потерянном гроше, выраженная в капризе...“ „Победа Веллингтона, или Битва под Витторией...“ „Принятое с трудом решение: должно ли это быть? да, это должно быть...“ Он писал музыку к Гёте, но писал ее и к Коцебу, следовательно, ничего не понимал в литературе. А ему было бы так же смешно и гадко то, что я рассуждаю, смею рассуждать о его музыке. Однако все мы, большие и малые, признаемся служителями какого-то единого искусства, и предполагается, что у нас есть общая эстетическая одаренность или восприимчивость, которой нет у других людей... Вот эта часть за скерцо якобы должна означать вечное торжество добра. Он думал, будет лучше, если это будет означать торжество добра, а не просто то, что впервые в истории музыки в симфонию введены тромбоны. Нет, все это тоже опера, гениальная, но не менее неестественная, чем мой грек Анаксимандр...“

Он встал и прошелся по комнате. „Да, все обман! И я почти пятьдесят лет обманывал читателей, всячески прикрывая свои приемы и фокусы, выдавая оперу за жизнь, выдумывая людей, которые никогда не существовали, и руководясь в выдумывании отчасти тем, чтобы мои Радамесы с их похождениями никак не походили на Радамесов, выдуманных до меня другими фокусниками. Ну, конечно, я руководился не только этим, но и это соображение имело некоторое значение. И если Аустерлиц у Толстого повторяет стендалевское Ватерлоо, то, верно, и Толстой старался, чтобы походило все-таки не слишком. Да, у них тоже были Радамесы, в Фабриции, в Жюльене Сореле сидел Радамес, и даже в князе Андрее сидел Радамес, и во всем этом был оперный яд или хоть одна капля оперного яда. Но те твердо верили и в права, и в фокусы искусства, да и жили они почти как их собственные герои: Толстой врос, как дуб, в свою землю, он писал „органически“ потому, что органически жил и, главное, любил то, что описывал, а когда не любил, то и писал карикатуры

вроде Наполеона. Без органичности, без радости жизни, без любви и не может быть искусства. А я, если б хотел писать „органически“, то прежде всего вывел бы старорого, скучного, усталого парижанина, которому под семьдесят лет надоела вся его работа, вся его жизнь, комедия славы, комедия света, комедия политики и которому в жизни остались интересны только очень молодые женщины, не желающие на него смотреть. Может быть, это и было бы искусство, но от такого искусства надо бежать подальше. Да, собственно, когда я задумал своего усталого грека Анаксимандра, то именно это имел в виду, и выйдет, конечно, дрянь, и нечего выбирать между дрянью и оперой, и надо бы к черту бросить весь этот роман!“ — с внезапной злобой подумал Вермандуа. Поговорить об этом было не с кем: молодые писатели, по его мнению, мало смыслили в искусстве и почти ничего не знали; а старые в большинстве читали только самих себя, да еще разве классиков.

Последняя фраза симфонии кончилась на каких-то уж совсем непонятных по несвязанности с предыдущим звуках. Раздались бурные, долго не смолкавшие рукоплескания. „Почти как если б выступал Гитлер... Как, однако, все уместается в их дурацких головах! Старик Бетховен, в котором сидел честный радикал-социалист, умер бы, если б увидел, кто ему аплодирует“, — подумал Вермандуа, садясь снова за письменный стол. „Что ж, *сжечь* все это? — с раздраженной усмешкой спросил себя он. — Это было бы уж самое оперное из всего...“ Он никогда никаких рукописей не сжигал, даже в самой гадкой может оказаться какая-либо удачная фраза, слово, эпитет. „Нет, зачем же сжигать? Можно просто спрятать. Буду утешаться тем, что роман еще *не созрел*: не кончилась работа *бессознательно*...“

Старательно надвинул зажимы, затянул ремешок папки и спрятал ее в ящик. Сильно раздуваясь в последнее время папка вдвигалась с трудом, картон погнулся, раздражение его еще усилилось. „Что ж теперь? Статью написать? Ну, напишем им статью. Они просили об Идене, можно и об Идене...“ Выдвинул другой ящик, достал другую папку, не картонную, а бумажную, очень тоненькую: там были какие-то вырезки из газет и листок с давно набросанными мыслями о предмете статьи. Вермандуа не без удовольствия пробежал запись, она была составлена в сокращениях и очень сильных выражениях. „Это, по крайней мере, совершенно верно, тут все без обмана и без Радамесов.

И пятьсот франков за два часа работы — это тоже хорошо...“ Он вздохнул, оторвал от блокнота лист бумаги, загнул поля и стал писать:

Le rôle historique de M. Eden.

„M. Eden a parlé, hier, avec son éloquence coutumière, de la guerre en Afrique et de la Société des Nations. Il a prononcé, paraît-il, un très beau discours: un de plus. Mais le malaise qui règne n'est pas dissipé, loin de là. Ce malaise a trait aux conjonctures extérieures devant lesquelles se trouvent aujourd'hui le pays de M. Eden et le nôtre. Rien n'est plus saisissant que de constater, sur l'exemple du ministre britannique des affaires étrangères, le contraste qui existe entre le rôle qu'un homme d'Etat voudrait jouer et son rôle historique véritable. Pourquoi ne dirions-nous pas que, malgré l'abîme existant entre nos conceptions sociales et les siennes, M. Eden nous inspire une réelle et sincère sympathie? (Вермандуа мысленно выругался.) Jeune, brillant, généreux, aimant le bien, croyant en la Société des Nations, il croit servir l'œuvre de la paix. Mais a-t-il raison de le croire?

Toute la question est là“.*

Вздохнул опять — ужасный стиль, но иначе нельзя, — счел строки и продолжал писать со все растущей злобой:

„Nous croyons (Dieu veuille qu'il n'en soit pas ainsi) que le rôle historique de M. Eden sera des plus funestes. Dans le conflit qui sépare aujourd'hui l'Italie fasciste des grandes démocraties, comme l'Angleterre, la France et l'URSS, l'homme d'Etat britannique a prononcé trop de belles paroles pour ne pas agir. Or, il se trouve aujourd'hui au tournant du chemin. Agira-t-il?

Non, il n'agira pas. Il ne fera rien du tout. Ou plutôt si, il parlera: il prononcera un discours, deux discours, deux

*Историческая роль г-на Идена

„Г-н Иден говорил вчера со свойственным ему красноречием о войне в Африке и о Лиге Наций. Он произнес, похоже, одну из лучших своих речей. Однако недомогание его отнюдь не прошло. Это недомогание имело отношение к внешним обстоятельствам, с которыми столкнулись и его страна, и наша. Интересно отметить на примере британского министра иностранных дел контраст между ролью, которую хотел бы играть государственный деятель, и его подлинной исторической ролью. Отчего бы нам не признать, что, несмотря на пропасть, пролегающую между его социальными воззрениями и нашими, г-н Иден вызывает в нас реальную и искреннюю симпатию?(...) Молодой, блестящий, благородный, любящий добро, верящий в Лигу Наций, он верит, что служит делу мира. Но прав ли он в своей вере?

В этом весь вопрос“ (фр.).

discours, trois discours. Ce seront de très beaux discours encore. Ne parlons pas de M. Laval, ce n'est pas la peine. Mais en ce qui concerne le jeune ministre anglais, nous l'avons, un instant, cru capable de donner un vigoureux coup de reins à ce monde qui s'écroule grâce à la sottise, à l'impuissance, à l'égoïsme de ses classes dirigeantes. Nous nous sommes trompés. M. Eden ne fera rien. M. Mussolini qui sait ce qu'il veut obtiendra tout ce qu'il veut. Il se trouvait dans une impasse: que pouvait, que peut l'Italie contre la force réunie de l'Angleterre, de la France, de l'URSS? La fermeture du canal de Suez serait la fin de la triste aventure, la fin du régime fasciste en Italie (et peut-être ailleurs), la fin de M. Mussolini. Rien n'était plus facile que d'assurer cette fois à la démocratie une revanche éclatante, une victoire, un triomphe. Dieu sait si elle en avait besoin! Mais le seul mérite du Duce est de bien connaître, à leur juste valeur, ses adversaires.

Désormais tout est permis, comme disait l'autre, tout est permis à tous. Le monde s'en ressentira bientôt et très cruellement. Le rôle historique du jeune et généreux ministre, semblable à celui du gamin du conte charmant, sera non pas de proclamer certes (il connaît trop bien les usages) mais de montrer que le roi est tout nu et que la Société des Nations est une vaste blague...**

VII.

В назначенный для приема день в здании полномочного представительства было сильное волнение. Затруднения не прекращались до последней минуты. Утром Вислиценус заявил, что представляться не поедет. „Вы как угодно, а я дурака валять не желаю“, —

* „Мы полагаем, да будет воля Господня, чтобы так не случилось, что историческая роль г-на Идена будет одной из самых зловещих. В конфликте, который сегодня разделяет фашистскую Италию и такие великие демократические державы, как Англия, Франция и СССР, британский политик выступил со словами слишком яркими, чтобы не действовать. Однако сейчас он находится на крутом повороте событий. Будет ли он действовать?“

Нет, он не будет действовать. Он ничего не будет делать. Он совершенно ничего не будет делать. Или, скорее всего, он станет говорить: произнесет речь, две речи, три речи. Это будут превосходные речи. И не будем вспоминать г-на Лавала, это ни к чему. Но в том, что касается молодого английского министра, мы на мгновение подумали, что он способен нанести мощный удар по этому миру, который вертится благодаря глупости, беспомощности и эгоизму правящих классов. Но мы ошиблись. (*Продолжение сноски см. на стр. 78*).

угрюмо сказал он послу. „Но отчего же вы молчали до сих пор?“ — „Я думал, что вы сами догадаетесь“. „Я о ваших мыслях *догадываться* не могу, да и не желаю“, — сухо сказал посол. — Поверьте, мне так же мало хочется участвовать в этой глупой церемонии, как и вам. Но вы числитесь в *моем* полпредстве, и я включил вас в список. Если вы этого не желали, ваша обязанность была предупредить меня. Теперь же ваше уклонение обратит на вас *особое внимание* (он подчеркнул эти слова). По-моему, это весьма нежелательно. Со всем тем, поступайте как знаете, вам виднее“.

Вислиценус понимал, что Кангаров прав, хоть и врет, что ему не хочется ехать. „В самом деле, это пустая формальность“, — подумал он, выходя из кабинета. Ему навстречу шла Надежда Ивановна.

„Нет, положительно, это несправедливо! — смеясь, сказала она. — Я, кажется, не знаю, что бы дала, чтобы на все это посмотреть, и меня не берут. А вас просят чество, и вы отказываетесь! Да еще ставите амбассадера в трудное положение...“ „Пусть амбассадер скажет, что я болен“, — ответил нерешительно Вислиценус. Надежда Ивановна на него посмотрела. „Вот что! И ему хочется!..“ „А то поехали бы, — сказала она, — я в своих интересах говорю: без вас никто толком не расскажет, ведь они ничего не видят“. „Какая любопытная!..“ Надежда Ивановна побежала к послу. „Поговорите еще со *стариком*, — посоветовала она с улыбкой (знала, что улыбка предательская), — я уверена, что он поедет“. Через полчаса Кангаров с плохо скрываемым торжеством сказал ей: „Согласился, красавец! В самом

Г-н Иден ничего не будет делать. Г-н Муссолини знает, что получит все, что он пожелает. Он загнан в угол: что могла бы, что может Италия против объединенной мощи Англии, Франции и СССР? Закрытие Суэцкого канала положило бы конец печальной аванюре, конец фашистскому режиму в Италии (а быть может, и не только в ней), конец Муссолини. Не было ничего проще, чем обеспечить на этот раз блестящий реванш демократии, ее победу, триумф. Бог знает, пуждалась ли она в этом! Но единственное достоинство дуче в том, что он знает истинную цену своим противникам.

Отныне все дозволено, как уже было сказано когда-то, все дозволено всем. Мир скоро ощутит это и в весьма грубой форме. Историческая роль молодого и благородного министра, сходная с ролью проказника из очаровательной сказки, будет заключаться не в том, чтобы провозглашать что-либо (привычные слова слишком хорошо известны), но в том, чтобы показать: король *совершенно* голый и Лига Наций — огромное надувательство...“ (Фр.)

деле, только голову морочил: „Ах, я так дорожу своей белоснежной революционной ризой!“ Точно мне доставляет удовольствие иметь дело с придворной челядью. Но с волками жить — по-волчьи выть...“ „И вовсе они уж не такие волки, — подумала Надежда Ивановна, — я на придворную челядь посмотрела бы...“

С двух часов дня секретарь почти не отходил от окна. Весь персонал посольства собрался в примыкавшей к вестибюлю гостиной первого этажа. В ней немного пахло краской и нафталином. Кангаров долго не показывался, у него происходил неприятный разговор с женой. Елена Васильевна настаивала на том, чтобы быть представленной поскорее. „Ты понимаешь, однако, что это зависит не от меня, — сдерживаясь, сказал ей Кангаров. — Как у них принято, так и будет...“

В гостиной настроение было шутивно-приподнятое. Особенно саркастически был настроен советник, уже немолодой человек, которого Вислиценус называл Базаровым. „Вы, Надежда Ивановна, под тургеневскую девушку, а тот гусь под Базарова“, — объяснил он как-то Наде. „Это я под тургеневскую девушку!“ — искренно изумилась Надежда Ивановна. „А то нешто нет?“ — „Ради Бога, не говорите „нешто“, вы не командарм Тамирин. Теперь никто „нешто“ не говорит. А я ни под кого, я сама по себе...“ Тон этого разговора показал Вислиценусу, что их отношения изменились и что он больше не Кропоткин. „Амбассадер восхитителен“, — сказал вполголоса Базаров, когда Кангаров появился в гостиной. Полпред улыбнулся общему их великолепию.

„Ничего не поделасшь, с волками жить — по волчьи выть, — повторил он. — Мы просили этих господ упростить их церемониал, но у них от ужаса чуть не сделался родимчик. Я, однако, прошу, — сказал он строго, обращаясь преимущественно к Базарову, — все выполнять точно, без неуместных шуток“. „Есть, — смиренно ответил Базаров, — есть...“

Секретарь у окна ахнул. К посольству подъехали три раззолоченные кареты с придворными лакеями. За ними следовал конный конвой. „Фу ты, ну ты, ножки гнуты!“ — сказал Базаров. Посол на него покосился и торопливо пошел навстречу входившему в вестибюль церемониймейстеру. Это был очень старый, видимо, с трудом передвигавшийся человек угрюмого вида. Он почти не улыбнулся в ответ на улыбку Кангарова и не объяснил цели своего приезда: ясно и без того. Кангаров сказал, что погода очень хороша; церемониймей-

стер не выразил ни согласия, ни несогласия с его мнением. „Кажется, немой из Портичи“, — шепнул по-русски Базаров. Секретарь слабо фыркнул и испугался, что фыркнул. На них остановился строгий взгляд посла, означавший: „Да, кажется, старик глуп как сивый мерин, но это никакого отношения к делу не имеет: мы дипломаты“. „Мы можем ехать“, — сказал кратко церемониймейстер. „Разумеется, — ответил посол и добавил, обращаясь к своим подчиненным: „Allons, Messieurs...“ „Messieurs“ было чуть-чуть шутливое, но в присутствии этого раззолоченного старика выговорить слово „товарищи“ было почти невозможно. „Аллонз, анфан де ля патри**“, — пробормотал Базаров.

На тротуаре уже собралась небольшая толпа. Увидев конный конвой, Кангаров поморщился, как бы говоря: „Зачем все это? Но если у них так принято, то что же делать?..“ Они разместились по каретам и поехали в сопровождении конвоя. В первой карете заняли места посол и церемониймейстер, лицо которого по-прежнему ничего решительно не выражало: с одинаковым правом можно было бы предположить, что он везет жениха на венчание или осужденного на эшафот.

— Как хороша ваша столица! — сказал посол. — Меня в ней поражает сочетание грандиозных перспектив с какой-то уютностью...

— Да, — сказал старик, видимо, нисколько не считавший необходимым поддерживать разговор: можно отлично и помолчать.

Кангаров был несколько озадачен и задет этим полным отсутствием любопытства и к советскому посольству, и к сцене, которую он в душе считал до известной степени исторической: все-таки сталкиваются два мира. Впоследствии он узнал, что церемониймейстер исполняет свои обязанности уже лет тридцать, что его и при дворе считают слишком старым, окостеневшим и недостаточно приветливым человеком, но смещать все же не хотят именно потому, что он так долго занимает должность, что он очень знатного рода и, главное, ничего другого делать не умеет. Старик церемониймейстер за свою жизнь привез для представления не менее двухсот посольств и делегаций; были среди них и китайские, и негритянские, и индусские; он с одинаковым отсутствием интереса и предупредительности привозил

* „Вперед, сыны отечества...“ („Allons, enfants de la patrie“ — первая строчка „Марсельезы“) (фр.)

во дворец английских лордов и малайских князьков. Внешний вид чинов советского посольства не мог особенно удивить его; вероятно, он не был бы очень поражен, если бы на Кангарове оказалась набедренная повязка с колчаном для стрел. Еще меньше интересовало церемониймейстера то, что этот посол представлял первую в истории мира социалистическую республику. Кангаров невольно подчинился его настроению и молчал всю дорогу. От посольства до дворца было, впрочем, недалеко. Кареты замедлили ход, стало более медленным отчетливое цоканье копыт конвоя, отворились огромные раззолоченные ворота. Они въехали во дворец.

Музыка заиграла „Интернационал“. Отряд гвардейцев отдал честь. Кангаров, проходя, наудачу нерешительно приподнял цилиндр. На подъезде стояло несколько человек в расшитых золотом мундирах. „Не разберешь, кто у них придворный, кто лакей. Да это, собственно, одно и то же, — подумал Кангаров, стараясь защититься от робости учтивым презрением. Он боялся сделать какую-нибудь грубую ошибку. — В конце концов, не все ли равно? Я себя за принца крови никогда не выдавал и не обязан знать их идиотский этикет...“ Вислиценус поглядывал на него со злобой усмешкой. В огромном вестибюле навстречу им с ласковой приветливой улыбкой шел очень красивый, представительный пожилой человек, тоже в раззолоченном мундире, с жезлом. Это был обер-гофмаршал.

— Я очень счастлив, — сказал он, крепко пожимая руку послу.

Завтрак во дворце прошел в этот день неприятно. Король был человек современный и держался того взгляда, что по службе (он всегда полшутливо говорил о своей службе) поневоле приходится принимать всевозможных людей, пожимать им руку и говорить любезные слова. Но у королевы, когда она вышла в столовую, лицо было в красных пятнах. Она, очевидно, плакала, и король чувствовал себя смущенным. На беду к завтраку был приглашен престарелый принц, известный своим тяжелым характером, резкостью речи и обращения: как старейший член семьи, он не церемонился с самим королем, которого вдобавок недолюбливал.

Принц ненавидел все новое, от социалистических кабинетов до коктейлей и грейпфрута, и был убежден,

что настоящая жизнь была только до войны, что *порядочная* история навсегда кончилась, уступив место историческому периоду прохвостов и хамов. В этот день за завтраком он нарочно, без всякого повода, все время говорил о русской царской семье, о прежних встречах с ней и об екатеринбургском преступлении. К концу завтрака он, также без повода, спросил бывшего в числе приглашенных министра иностранных дел, правда ли, что этот господин (он не назвал господина, но все сразу поняли, о ком идет речь) состоит членом главного комитета — как это у них называется? — по приказу которого был убит император Николай. Министр очень сухо ответил, что ему это неизвестно. Старый принц неприятно засмеялся.

— Нашим газетам, — сказал он, — тоже, по-видимому, ничего об этом неизвестно. Но я читал в „Figaro“...

При этом принц радостно вспомнил, как однажды спросил Клемансо, что он думает об этом министре. Старик ответил: „J'ai le plus grand respect pour ses fonctions et la plus vive amitié pour lui. Mais avec toute l'admiration que je lui porte, je dois dire en toute sincérité que c'est un vieux s...“* От Клемансо каждый раз, как он открывал рот, все с наслаждением ждали: что сейчас последует! Этот ответ привел принца в совершенный восторг: он любил особенности французского языка и гордился тем, что все отлично понимает, но такие слова слышал не часто.

— Как жаль, что вам это неизвестно, — сказал он и, ни к кому в отдельности не обращаясь, сообщил, что его покойный друг и кузен Франц Иосиф до конца своих дней не принимал мексиканского посланника, так как в Мексике был расстрелян его брат Максимилиан. — В наше время, — добавил принц, — все было по-другому, и люди на многое смотрели совершенно иначе, чем теперь... — Это было не только непочтительно, но просто грубо. Однако принц, по своему возрасту, по установившейся за ним репутации и по тому, что он ни в чем не зависел ни от короля, ни от правительства, ни от парламента, мог себе позволить все.

Красные пятна на лице королевы обозначились еще сильнее. Обер-гофмаршал поспешно заговорил о нашумевшем матче бокса и о необыкновенном искусстве оказавшегося победителем чемпиона. Он был очень до-

* „Я к нему испытываю большое уважение и величайшие дружеские чувства. Но несмотря на все мое восхищение, я должен сказать, что он старая св...“ (Фр.)

волсен завтраком: писал изо дня в день мемуары, которые должны были появиться в печати через двадцать пять лет после его смерти; этот день обещал для мемуаров несколько интересных страниц.

Старый принц и рассказ о матче выслушал недоверчиво: какие теперь могли быть чемпионы? Джеффрис или Фицджеральд вывели бы их из строя в первом же раунде. Уезжая после завтрака, он довольно громко попросил обер-гофмаршала всякий раз предупреждать его, когда во дворец на приемы будет приглашаться этот господин. Обер-гофмаршал с улыбкой наклонил голову и закрыл глаза. Он очень любил — хоть без всякого благоговения и даже без чрезмерной почтительности — королевскую семью, сроднился с ней, не позволял себе осуждать действия короля и политикой к тому же мало интересовался. Однако ему казалось, что престарелый принц прав: в самом деле, что-то как будто изменилось в мире. Во всяком случае, в словах и поступках принца была живописная стильность, подходившая для мемуаров как нельзя лучше.

После завтрака обер-гофмаршал ушел в свои комнаты и отдохнул, с улыбкой думая о старом принце и о своих мемуарах. Ему было очень досадно, что они не появятся в печати при его жизни. Кое-что он все же иногда с большим успехом читал вслух в тесном кругу надежных друзей. Куря сигару, он затем поработал над своей коллекцией марок, собственно, занимавшей теперь главное место в его жизни. Он был богат и не слишком честолюбив — добился всех тех успехов, которых мог и хотел добиться; светские развлечения ему смертельно надоели, он часто повторял изречение, приписывавшееся то Пальмерстону, то какому-то французскому политическому деятелю: „La vie serait très supportable sans les plaisirs“*. Марками же он увлекался с каждым днем все больше. У него были самые восхитительные: и багдадская розовая, на которой забыли выставить цену, и не выпущенная в обращение лиловая американская в 24 цента, и синяя тринидадская „Леди Мак-Леод“ с пятном в верхнем левом углу, и Британская Гвиана с „ratimus“ вместо „petimus“^а — не было, разумеется, Британской Гвианы 1856 года „black on magenta, the famous error“^а; о ней он только мечтал в безумные минуты и даже откладывал на нее по

* „Без развлечений жизнь была бы вполне сносной“ (фр.).

а „Страдаем“ (...) „молим“ (лат.).

а Черная на ярко-красном, знаменитая ошибка (англ.).

3 000 долларов в год из предназначенной для марок части своего бюджета. По случаю нынешнего приема обер-гофмаршал заглянул с пренебрежением и в советский отдел своей коллекции. Серия спартакиады у него была, но она была у всех филателистов его круга. „Разве попытаться достать через *этого господина*, по приличной цене, воздушную консульскую?“ — нерешительно подумал он. За воздушную консульскую с него просили 1 500 долларов; знал, что отдадут и за 500, но она и пятисот не стоила.

Поработав, он надел придворный мундир, взял высокий золоченый жезл (несмотря на многолетнюю привычку, ему всегда было немного совестно ходить с жезлом), заглянул в приемные залы и, убедившись, что все в порядке, ровно в три часа спустился в вестибюль. Еще на лестнице он услышал звуки военного оркестра и догадался, что играют „Интернационал“, — мелодия социалистического гимна была ему неизвестна. „Хорошо, что старик уехал: его от этой музыки разбил бы паралич“, — с улыбкой подумал он.

Приняв привычное ему выражение торжественной радости, обер-гофмаршал поздоровался с Кангаровым и крепко пожал руку сопровождавшим его людям необычного во дворце вида. Взгляд его наткнулся на взгляд Вислиценуса. „Этот больше похож на человека, чем другие. В нем есть стиль, — подумал он почти как о старом принце. — Остальные хуже... У молодого вид, какой может быть у пингвина, который при первом своем полете с острова встречает в море „Норманди“...“ Обер-гофмаршал с удовольствием занес свое сравнение в память для мемуаров.

„Этот старый шут с золотой палкой теперь, вероятно, желал бы, после рукопожатий с его превосходительством Кангаровым-Московским и со всеми нами, вспырнуть руки одеколоном. Но мне он еще противнее, чем я ему“, — думал Вислиценус, злобно оглядывая великолепные залы, по которым их вели. Обер-гофмаршал искоса бросил на него взгляд, и чувство вежливой гадливости в нем ослабело. „Да, этот, кажется, настоящий“, — подумал он, вводя посольство в большую залу, в которой на возвышении стояло под балдахинном раззолоченное шелковое кресло. „Трон!“ — блаженно прошептал рядом с Вислиценусом молодой секретарь. Вислиценус посмотрел на него с отвращением.

Почти незаметно, с ласковой улыбкой обер-гофмаршал расставил их так, как им полагалось стоять

(взгляд его опять с легким беспокойством задержался на Вислиценусе), и попросил у посла разрешения покинуть его на одно мгновение. К Кангарову тотчас подошел сопровождавший их другой человек в раззолоченном мундире, дежурный камергер, и спросил, очень ли утомительна была их поездка из Москвы. „Утомительна? Ах нет, нисколько! Нисколько не утомительна“, — ответил Кангаров немного тише, чем говорил камергер. Голос его чуть сорвался от волнения. Он что-то добавил еще, но не успел закончить фразу. Дверь залы отворилась настежь, чей-то громкий голос неестественно прокричал: „Его Величество!..“ В сопровождении министра иностранных дел, обер-гофмаршала и еще каких-то людей в мундирах в залу вошел король. Посол и чины посольства отвесили низкий поклон, как их учили в Москве. Вислиценус тоже наклонил голову, чувствуя знакомое стеснение в груди, — как будто приближался припадок астмы. „Стоило бы, хоть для того, чтобы сделать *им* неприятность“, — подумал он. Король поспешно направился к послу и быстро, точно желая сразу отделаться от самого неприятного, крепко пожал ему руку.

Посол попросил разрешения представить Его Величеству своих сотрудников и назвал их имена и должности. Кангаров овладел собой и называл имена даже несколько громче, чем полагалось, — обер-гофмаршал только поглядывал на него с приятной усмешкой, которая могла сойти за хозяйскую улыбку. Король каждый раз наклонял голову и произносил несколько любезных слов, по существу, одних и тех же, но без буквальных повторений. Руки он никому, кроме посла, не подал, — позднее Кангаров узнал, что это считалось знаком неблагосклонного приема: король умышленно остался в пределах обязательного минимума любезности.

Министр иностранных дел с поклоном вручил королю большой лист бумаги. Король, занявший место перед серединой тронного возвышения, приготовился слушать речь посла. Кангаров вынул из кармана свой лист и принялся читать. Он предварительно раз пять прорепетировал речь и читал отчетливо и громко; удачно сошли даже самые трудные французские слова, только французское „*eu*“ напоминало русское „э“. Закончив чтение, довольный его внушительностью, он сделал два шага вперед, с почтительным поклоном передал королю лист и отступил назад на прежнее место. „Прямо маркиз“, — сказал про себя Вислиценус.

Король с минуту просматривал речь посла, точно обдумывая, что бы на нее ответить, затем отдал ее министру иностранных дел и прочел свою речь, менее внушительно, чем Кангаров. „Все-таки и ему должно быть очень неприятно, — подумал утешенно Вислиценус, — он тоже чувствует себя оплеванным...“

Все прошло гладко и торжественно. В обеих речах высказывалась горячая надежда на установление между обеими странами самых сердечных дружественных отношений, отвечающих их интересам, чувствам и намерениям, а также твердая уверенность, что каждая из них совершенно воздержится от вмешательства во внутренние дела другой. Министр иностранных дел слушал чрезвычайно внимательно, точно содержание речей было ему совершенно неизвестно, — одну из них он тщательно изучил, а другую сам написал от первого слова до последнего. Кроме любопытства лицо его еще выражало глубокое убеждение в том, что в обеих речах каждое слово правда. Обер-гофмаршал был очень доволен, но почему-то решил, что не может быть и речи об обращении к послу по делу „воздушной консульской“.

Кангаров опять выступил вперед, с таким же поклоном взял речь, которую ему передал король, и, отступив, вручил ее Базарову, на которого опять посмотрел строгим взглядом, говорившим: „Думать можете что угодно, и я с вами в душе, конечно, согласен, но извольте все делать так, как было указано“. Теперь должна была состояться наименее ответственная и самая трудная часть церемонии. По этикету страны, посол и его свита должны были отступить к двери, не поворачиваясь спиной к королю. „Как бы не наступить на кого-нибудь, не упасть“, — промелькнуло в голове у посла. Он озабоченно оглянулся, как фехтовальщик, перед началом дуэли изучающий место боя, и опять со строгим видом сделал знак персоналу: „Что же делать, если у них такие обычаи!..“ „Есть, слышали, продадем и этот номерок“, — смиренно-весело ответило лицо Базарова. Обер-гофмаршал предвкушал наслаждение: нет, эту главу непременно надо будет прочитать в тесном кругу. Однако, к большому его сожалению, церемония отступления к двери не состоялась: по рассеянности ли или из желания облегчить положение посольства король слегка поклонился и, пожав руку послу, первый вышел из залы.

Министр иностранных дел подошел к Кангарову и спросил его, как он себя чувствует в их стране. Сияя

улыбкой, как после хорошо выдержанного экзамена, посол ответил, что чувствует себя отлично. „Очень нравятся мне ваша столица, — сказал он, — в ней всего лучше сочетание уютности с грандиозной перспективой...“ Ему захотелось добавить, что король оказался ему прекраснейшим человеком; но он не сказал ничего лишнего и вел себя достойно.

Дежурный камергер сообщил послу, что Его Величество желал бы с ним побеседовать отдельно с глазу на глаз. Кангаров простился с министром и поспешно пошел за дежурным камергером, больше не чувствуя никакого смущения. „Он сейчас скажет: „Король Иванович“, — подумал Вислиценус.

Камергер проводил посла в соседнюю небольшую гостиную. Король сидел в кресле и любезным жестом пригласил Кангарова сесть. Этот дополнительный к торжественному приему частный прием был всегда тягостен королю: он от природы был очень застенчив. Обычно он заранее намечал тему для разговора с иностранными послами: чаще всего расспрашивал о здоровье монарха, которого представляло посольство, и членов его семьи, затем вспоминал и осведомлялся о людях, известных ему в столице посла, или же в благосклонных выражениях отзывался о прежнем после, предшественнике нового. На все это уходило десять минут — ровно столько, сколько требовалось. Политических разговоров обычно можно было и не вести. Но Кангарова ни о чьем здоровье спрашивать, очевидно, не приходилось, предшественников у него не было и общих знакомых с ним, наверное, не оказалось бы. Король заговорил о Москве, сказал, что в молодости посетил ее и сохранил о ней самые лучшие воспоминания: это прекрасный город.

— Как хороша ваша столица, сир! — сказал посол, не без удовольствия произнося слово „сир“. — Меня очень в ней поражает грандиозная перспектива и вместе с ней какая-то уютность...

— Я очень рад, что она вам понравилась, господин посол. Надеюсь, что вы будете в ней себя чувствовать хорошо...

Король хотел было еще сказать несколько слов о необходимости установить самые добрые отношения между обеими странами и о том, что его правительство сделает для этого все возможное. Он даже начал было фразу, но остановился и отвел глаза в сторону. Совершенно неожиданно для себя самого он вдруг почувство-

вал, что продолжать аудиенцию не в состоянии: может выйти что-либо нехорошее, никогда с ним не бывавшее.

— Да, я надеюсь, что вы будете себя чувствовать у нас отлично, — торопливо проговорил король и поднялся, хоть вместо полагавшихся десяти минут прошло не более трех. — Очень рад был вас видеть, — сказал он, подал руку Кангарову и поспешно вышел.

Ровно через полминуты в гостиную к несколько озадаченному послу вошел обер-гофмаршал. Любезно занимая Кангарова разговором, он проводил его в гостиную, где посла ждали свита, министр, дежурный камергер и мрачный церемониймейстер. Секретарь озабоченно прошептал Кангарову: „Вы просили напомнить о визитах...“ „Ах, да, — сказал посол и обратился к министру: — Я собираюсь в ближайшие дни начать визиты... Членам семьи Его Величества и членам правительства, правда? Не укажете ли вы нам, в каком именно порядке следовало бы завезти карточки?..“ Министр немного уклончиво обещал прислать список. „По-моему, он должен начать со старика, — весело подумал обер-гофмаршал, — тот вполне способен приказать лакеям вышвырнуть его вон...“ Мысль о физиономии старого принца в ту минуту, когда ему подадут карточку посла, привела обер-гофмаршала в чрезвычайно радостное настроение. Он решил сейчас же сесть за мемуары.

Советник, секретарь и Вислиценус заняли свои места во второй карете. Базаров хохотал: „Ну и дурачье же!.. Однако, братишки, и мы с вами хороши болваны!..“ „Говорите за себя, товарищ“, — ответил секретарь обиженно. Вислиценус смотрел на выстроившийся во дворе отряд гвардейцев и во всех подробностях представлял себе, как сюда во дворец ворвется вооруженная толпа. „А может быть, и не дождемся“, — подумал он вслух. „Как вы сказали, товарищ?“ — переспросил секретарь. „Я сказал: „медленно прицелился он в неподвижно стоявшего Корнелиуса“, — проговорил Вислиценус. Секретарь вытаращил глаза. Кареты выехали на площадь. „Да здравствуют Советы!“ — закричал вдруг кто-то на тротуаре; еще несколько голосов жидко повторило крик. С восторженным ужасом — „демонстрация!“ — секретарь откинулся на спинку сиденья: дипломаты в демонстрациях участия не принимают. За каретами слышался приятный, мягкий, все ускоряющийся топот коней конвоя.

VIII.

Командарм Тамарин приехал в Париж под вечер. Он никогда во Франции не жил и знал ее гораздо хуже, чем Германию, в которой служил и бывал в продолжительных командировках. В последний раз посетил Париж лет двадцать пять тому назад, а до того был еще раза три; в 1900 году они с женой совершили свадебное путешествие на выставку. По случайности он всегда попадал во Францию весной, в ясную солнечную погоду, и отчасти поэтому в нем еще закрепилось то впечатление веселья, радости, беззаботной жизни и сплошного развлечения, которое по вековой традиции связывалось с Парижем у всех иностранцев, особенно у русских. Теперь был холодный зимний вечер.

Он купил на вокзале недорогой путеводитель и, стоя в очереди у барьера в таможенном сарае, просмотрел список гостиниц. С женой они жили в „Отель де Бад“, на бульваре, гостинице повыше среднего разряда, но и не очень роскошной: богаты никогда не были. В последний раз, приехав уже в генеральском чине и зная, что центр города передвинулся в Елисейские поля, остановился в „Элизе-Палас“. В путеводителе ни „Отель де Бад“, ни „Элизе-Палас“ не было, и это было ему неприятно, точно и с гостиницами ушел кусок жизни: уж в Париже-то ничто не должно было бы меняться, застой так застой. Ждали в таможне в прежние времена как будто не так долго, и чиновники были любезнее, и носильщики почтительней. Он дал носильщику три франка: что ж, прежних тридцать копеек, довольно, — тот едва поблагодарил.

„Chauffeur, êtes-vous libre?“* — спросил Тамарин; говорил по-французски, как русские образованные дворяне его круга и поколения: не очень хорошо, но гладко и бойко — иногда даже позволял себе прежде разные „Oh, la-là!“, и „Tu parles!“, и „Et ta sœur!“** Нерешительно осведомился об „Отель де Бад“ и „Элизе-Палас“. Шофер захотел и тоже сказал — но иначе — „Oh, la-là!“, давно и в помине нет ни „Элизе-Палас“, ни „Отель де Бад“. Тамарин подумал, что ему все равно в таких гостиницах и неудобно было бы останавливаться — государство пролетарское, да и не по карману: суточные ему полагались небольшие, а он еще хотел зака-

* „Такси свободно?“ (фр.)

** „О-ля-ля“, „Неужели!“, „И твоя сестра!..“ (фр.)

зять костюм. Велел ехать в Латинский квартал: от этой части города осталось у него приятное воспоминание. Остановился в гостинице, которая показалась ему не то чтобы студенческой, но и не роскошной. Слуги внесли его чемодан в комнату, приготовили ему ванну, говорили „Oui, Monsieur“, „Monsieur désire?“* — к этому „месье“ он все не мог привыкнуть — будто не к нему обращались. В ванной дали три полотенца и простыню. Он испытывал странное чувство, точно никогда не жил в гостиницах. Надел свой второй штатский костюм, лучший, неперелицованный, прослуживший всего три года, — заказал тогда, когда получил неожиданно гонорар за второе издание своего труда „Некоторые мысли о роли моторизованных частей в свете современной тактики“.

Затем надо было являться. Тамарин пробовал разоб- рать по плану, как пройти пешком или проехать в автобусе, но не разобрал и решил, что в первые два-три дня придется тратиться на автомобили. Вышел на ули- цу все с тем же странным чувством: в Париже!.. Из бесчисленных кофеен — что ни дом, то кофейня — доносились гул, смех, музыка. „Да, здесь ГПУ нет. Не убивай, не грабь, не воруй — и тогда живи как хочешь. Вот это и есть буржуазная мораль“ (он невольно теперь употреблял такие слова). В воздухе стоял тот же запах автомобильных испарений, навсегда связавшийся в его памяти с Парижем. Движение стало еще более здо- ровищным: просто улицы не перейти. Заметил новое: гвозди в мостовой, не сразу догадался об их назначе- нии: хорошо придумано. Исчезли лошади. Цилиндров совершенно не было видно: жаль, куда же они делись? Что еще?..

Он взглянул на часы и подошел к первому шоферу на стоянке. „Chauffeur, êtes-vous libre?“ — спросил он и вдруг мгновенно, сам почти не зная, понял, что это русский офицер, из *тех*!.. Чуть было не отшатнулся к следующему автомобилю — „нет, неловко...“ Тамарин указал неверный номер дома: не 79, а 59 и сел с мучи- тельно-тревожным чувством, точно сейчас что-то вы- пльвет наружу. Не было никаких оснований думать, что этот незнакомый ему человек может узнать его; да если б и узнал, то никакой беды не произошло бы. Однако чувство тревоги не покидало его всю дорогу. Выйдя из автомобиля, он поспешно расплатился и дал

* „Да, месье“, „Месье что-нибудь хочет?“ (*фр.*)

на чай два ф́ранка; шофер, приподняв фуражку, с чисто русским акцентом сказал: „Мерси боку, месье...“ Тамарин остановился у дома и при свете фонаря, точно боялся ошибиться, долго всматривался в номер, пока автомобиль не отъехал. Затем, нервно подергиваясь, пошел дальше, к 79-му номеру. „По возрасту, верно, капитан или, быть может, подполковник... Два ф́ранка на чай: двугривенный — „мерси боку, месье“... Что ж, это честный труд... Но правы были мы, а не они...“

Приняли его очень любезно, поговорили немного о служебных делах, видно, особой спешки не было, немного о московских новостях, осторожно и уклончиво с обеих сторон. Записали его адрес, против гостиницы никаких возражений не последовало. Дали советы, где и как лучше устроиться на продолжительное время, но ничего ему не навязывали — он опасался, что навязжут, — и попросили „зажаживать“. Все было очень корректно, даже проводили до лестницы. „Нет, *все-таки* они здесь стали европейцами“, — думал он, с облегчением выходя снова на улицу.

В свой квартал он вернулся пешком: кое-как заметил дорогу и, к некоторому своему удовлетворению, легко разыскал гостиницу. Однако подниматься не было смысла: что сейчас делать в номере? Настроение у Тамарина стало очень хорошее. „Вот привел Бог снова побывать в Париже...“

Он гулял, с любопытством всматриваясь в витрины, в надписи, в людей. „Да, хорошо живут...“ Прошел по бульвару, узнал Пантеон и обрадовался, что узнал. „А то, значит, была Сорбонна, ну да, как же...“ Справа чернел сад. Он не мог вспомнить, какой это сад, но и сад, довольно мрачный в зимний вечер, очень ему понравился. Свернул раза два, большая прелесть была и в старых узеньких улицах. Пронесшийся автобус осветил на мгновение своими огнями длинный, узкий, темный проход в стене старого дома. Там устроился старичок букинист. „Как хорошо! — подумал Тамарин. — И дому этому, верно, лет двести...“ Хотел даже порыться в книгах: книжные магазины уже были закрыты. „Нет, успеется...“ Багровым пламенем горело на стержне одинокое огромное пенсне — не жалеют света. У аптекарского магазина на стойке были выставлены тысячи разных баночек, коробочек, склянок, футляров — чего только у них нет! В витрине винной лавки стояло уж никак не менее сотни бутылок разной формы, глиняных сосудов, кувшинчиков — как хорошо, с каким вкусом

подано! На ободранной стене, под фонарем, висело несколько огромных афиш. „Non, tout de même!..“* — значилось огромными буквами на одной. „En prison les bandits!“[#] — орала другая. Все честные люди, еще не окончательно потерявшие совесть, призывались на большой митинг, на котором в числе других ораторов должен был выступить с протестом против возмутительных действий чилийского правительства знаменитый писатель Луи Этьенн Вермандуа (его имя было выделено в особую строчку). Тамарин читал с некоторым испугом — ничего не знал о возмутительных действиях чилийского правительства — и, дочитав почти до конца, увидел, что подпись была коммунистической партии. „Тьфу! Стоило приезжать!..“

На широкой улице открылась сиявшая разноцветными огнями кофейня. Закрытая терраса с жаровней — этого, кажется, тоже не было прежде: как умно! — была переполнена людьми. На стойке у входа в плетеных корзинах лежали груды устриц, раковин, каких-то морских чудовищ. „Clams“, „Claires extra“, „Armoricaines“, „Oursins“^Δ, — читал Тамарин, и слова какие приятные! Он почувствовал аппетит, заглянул в вывешенную карту, и в глазах замелькало от разных „Sole au Chablis“, „Rognon d'eau flambé à l'Armagnac“, „Pied de Porc Ste Ménehould“, „Faisan cocotte aux truffés“[∞]... Нерешительно посмотрел на цены: хорошо пообедать влетит франков в сорок, а то и в пятьдесят. Он мысленно подсчитал расходы за день: завтрак в вагоне-ресторане, носильщик, автомобиль — много ушло денег. „Ну, да это первый день, дорога, можно и выйти из суточных“.

Зашел в кофейню: дивно! Вероятно, если бы в прежние времена в Петербурге или Москве открылось подобное заведение, Тамарин пришел бы в ужас. Стены были трех оттенков желтого цвета, с неровными несимметричными зеркалами, с чем-то зеленым в нишах. Главная задача декоратора, очевидно, заключалась в том, чтобы никак нельзя было догадаться, откуда падает свет. Поэтому лампы тщательно скрывались, а там, где были видны, походили на тарелки для супа, на

* „Нет, ни в коем случае!..“ (фр.)

[#] „В тюрьму, бандиты!“ (фр.)

^Δ „Морские моллюски“, „Устрицы экстра“, „Омары по-арморикански“, „Морские ежи“ (фр.).

[∞] „Копыта в шабли“, „Почка теленка, вымоченная в арманьяке“, „Нога поросенка по св. Менеульд“, „Фазан с трюфелями“ (фр.).

сосуды для проявления фотографий или на оранжевые крышки. Впрочем, наряду с этим прячущимся стыдливым светом вызывающе играли красными, фиолетовыми, зелеными огнями другие лампы в форме длинных стеклянных труб: эти, очевидно, единственной целью могли иметь порчу зрения людям. Вместо потолка был купол святого Петра. Кофейня была переполнена так, что едва можно было протолкаться. „Кажется, наверху есть места“, — подумал Тамарин и стал подниматься по лестнице, каждая ступенька которой твердила непонятное слово: пергола*, пергола, пергола... „Ну ладно, слышал, что пергола“, — примирительно подумал он и занял место у перил открывавшегося в первый этаж провала.

Лакей в белой куртке подбежал к столику: сбоку вспыхнули две параллельно насаженные на вертикальный стержень суповые тарелки и, мило выделяясь, зажглась на столике маленькая лампочка под абажуром, ни за что другое себя не выдававшая. „Ах, как хорошо!“ — подумал Тамарин: в этой смиренной, не притворявшейся лампочке была особая прелесть. Подбежала дико разодетая женщина — не то албанка, не то мексиканка — и отобрала у него пальто и шляпу. Подбежал мальчик в зеленом мундире и предложил газеты. Подошел более солидный, чрезвычайно предупредительный человек в обыкновенном черном костюме, отодвинул стол и подал две карты. Место было не очень удобное: у стойки — „ничего, отлично“... Дама, обедавшая с молодым человеком за соседним столиком, бегло окинула взором Тамарина. „Хорошенькая...“

Он заглянул вниз, в провал. „Господи! Ни одного свободного места! А говорят, гибнут от кризиса. Нет, кажется, капитализм еще поживет... Прежде все-таки было элегантнее... Хорошеньких у нас, пожалуй, больше, но где уж! не та культура!..“ Дамы все были в мехах. „У которой одна чернобурая лисица, у которой две. Это у них, как у комдива два ромба, а у комкора три... А вот эта целый командарм: пелерина из лисиц! четыре ромба!..“ Ему было весело. Все вызывало у него восхищение: дамы, буржуазная культура, фрески, изображавшие голых женщин со змеями, — что ж, кто знает, может, и это очень хорошо? — омары, ярким нагло-красивым пятном выделявшиеся на низком белоснежном столике, и то, что на стойке рядом с ним

*Беседка, увитая зеленью (итал. pergola). — Прим. ред.

одних сортов горчицы было не менее десяти, и то, что соседям подавали блюда, горевшие бледно-синим пламенем, и то, что у них на столе одна бутылка стояла в ведерке, а другая лежала в продолговатой корзине.

Обед он заказал не гастрономический, хоть когда-то знал толк в еде. От непривычки разбегались глаза. Вина спросил лишь полбутылки, с неизвестным ему названием: шавиньоль. Никогда не пил много. Вино было хорошее, а еда — коктейль из устриц, какой-то Navarin de Homard, почки — была прямо превосходна: двадцать лет так не обедал! Тамарин не голодал в последнее время и в Москве, „но разве там теперь знают эти блюда и эти слова? От одних названий появляются аппетит. Право, почти как у Донона или в „Праге“ когда-то...“ Заиграла музыка: попури из „Кармен“. Тамарин засмеялся от радости, услышав знакомые с детства мелодии. Он пожалел, что не спросил хереса: „Папá, Царство Небесное, всегда пил херес, как столовое вино... Но в Париже надо пить французские вина...“

На арии тореадора настроение у него изменилось. Вокруг него люди, кто как умел, подпевали оркестру — точно все гордились, что знают эту арию, — и все с необычайной энергией, раскачиваясь, пели одно слово: „Тор-ре-адо-ор“... Почему-то Тамарин опять вспомнил о встрече с дипломатом на берлинском вокзале: это воспоминание неприятно беспокоило его всю дорогу. Вспомнил бал у *чарующего любезностью* Вильгельма, охоту в каком-то замке с трудным названием, подумал об артистке, с которой когда-то познакомил его этот дипломат: с ней весело прошло несколько месяцев. Это было тридцать пять лет тому назад, нет, больше: тридцать семь или тридцать восемь.

Потом мысли его перешли к жене: их брак был несчастлив, главным образом по его вине, — а тогда ему казалось, будто он кругом прав. „Так и не поняли друг друга до конца... Яковлев отлично это пел, лучше всех тореадоров, мы с ней были на его бенефисе“. Он с совершенной ясностью вспомнил тот вечер, зал Мариинского театра, неприятный разговор на извозчике, потом нелепую, начавшуюся с игры Фигнера, тяжелую ссору. „Я ей сказал... Нет, незачем вспоминать...“ Оркестр заиграл увертюру четвертого действия. Молодой человек за соседним столом потушил лампочку и снова зажег ее по требованию дамы, ударившей его по руке. „Такая лампочка у нас стояла на пианино, в диванной...“ Вспомнил во всех подробностях эту небольшую

комнату, оклеенную коричневыми, под кожу, обоями, лампу на кружевной салфеточке: „Больше всего на свете боялись поцарапать лак на пианино!..“ В диванной и произошла та ссора. Хотел разойтись, развестись? Она грозила покончить с собой... Стоило ли ссориться? Где она теперь? Кроме меня, и не помнит никто, а когда и я умру, то не останется ничего, вот как от салфеточки, от тех коричневых обоев или от съеденного коктейля из устриц...“

Ему стало страшно. В этой кофейне, где собралось несколько сот весело настроенных людей, он внезапно почувствовал себя как в пустыне: никого, ничего, ни души! Командарм второго ранга на службе у мировой социалистической революции... Пергола, пергола, пергола... Как же это случилось? Как все это могло быть? Зачем был этот вздор? Не только этот, а *весь* вздор? Почему так странно сложилась жизнь, теперь уже, верно, подходящая к концу? Все „пергола“... „Та-ра, та-ра“, — подпевала первой фразе увертюры много выпившая дама. Он хотел было встать и уйти, но подумал, что с этими мыслями никогда не заснет на новом месте: от них и в Москве, дома, где стены помогают, спасала только работа, упорная работа. „Что же делать? — думал он, с трудом справляясь с дыханием. — Зачем было все это? Да, поцарапали лак на пианино...“ Музыка оборвалась, слышались рукоплескания, снизу поднялся гул голосов, как будто все себя вознаграждали за отнятое у болтовни время. „Я люблю только хорошую музыку, — говорил молодой человек, — а если кто играет плохо, то лучше бы не играл совсем... Я сам играю очень хорошо, правда?“ „Ну да, конечно... Вы стали нахалом, Жюль“, — отвечала, заливаясь смехом, дама.

IX.

Револьвер был очень хороший: пятизарядный, с темной сетчатой рукояткой, с предохранителем, с мушкой в виде полумесяца. Браунинг стоил бы слишком дорого, да и не со ста шагов стрелять. Названия у револьвера, к сожалению, не было, — звучные, приятно-двойные названия оружейных фирм радуют слух: „Форе-Лепаж“, „Веблей энд Скотт“, „Холлэнд энд Холлэнд“. Об этом револьвере приказчик уклончиво сказал: „*Tina* „смит-я-вессон“, бельгийской работы, от-

личного качества, вы будете очень довольны, месье“. Альвера был в самом деле доволен. Бельгийский револьвер кармана не оттопыривал. По пути из Парижа в Лувесьен никто на карман никакого внимания не обращал.

Лес под вечер был пуст. „В самом деле, воздух чудесный. Это *они* отлично придумали: жить под Парижем в деревне, в своих виллах... Если я стану богат, может быть, сделаю то же самое...“ Он с любопытством смотрел на все вокруг себя: за всю жизнь был в лесу не более трех или четырех раз — в свое время на школьных экскурсиях. Деревьев он не знал и не различал. „Кажется, это дуб. А может быть, клен или орех? Следовало бы — когда-нибудь позднее — пополнить свое образование в этой области и вообще пройти систематический курс естествознания. Вот тогда и сделаю это, когда куплю тут виллу...“ Он подумал, что было бы, как *они* говорят, „цинично“ купить виллу в той самой деревне, где он собирался совершить убийство. „Собственно, „цинично“ также и учиться в этой деревне стрельбе. Но если *они* это считают циничным, то тем больше оснований именно так и поступать“.

Альвера оглянулся: никого. За четверть часа ходьбы по лесу он ни одной живой души не встретил. Все же свернул в чащу, прошел еще шагов сто — никого! — и стал выбирать дерево. Не было, впрочем, причины предпочесть одно дерево другому. Выбрал *дуб* потолще (окончательно остановился на том, что все это дубы) и тут только вспомнил, что нет мишени. „Во что же стрелять? Ах, какая досада!..“ Он стал рыться в карманах, надо бы найти что-либо цветное, яркое, но, кроме бумажника и *carte d'identité**, — не стрелять же в нее, — не оказалось ничего.

Во внутреннем кармане пальто была книга „Преступление и наказание“. Книга эта тоже была взята нарочно, назло *им*. Вырывать листок не хотелось: он любил книги. Желтоватая обложка едва ли могла послужить хорошей мишенью, белое будет выделяться лучше. Книга раскрылась на странице с заложенным углом: „*Raskolnikov se laissa tomber sur la chaise mais ne quitta pas des yeux le visage d'Ilya Petrovitch qui semblait fort désagréablement surpris. Tous deux pendant une minute s'entre-regardèrent et attendirent. On apporta de l'eau. — C'est moi... commença Raskolnikov.— Buvez une gorgée.*

*Удостоверение личности (*фр.*).

Raskolnikov repoussa d'une main le verre et doucement, avec des pauses et des reprises, mais distinctement il prononça:—C'est moi qui ai assassiné à coups de hache la vieille prêteuse sur gages, et se sœur Elisabeth et qui les ai volées...“*

На полях у этих строк было написано: „Un fameux cretin, celui-là!“ Это место книги всегда его веселило. „Да, совершенный кретин!“ — подумал он, понимая и русского автора, и кающегося студента. Подумал также, что надпись на полях может быть уликой, и вырвал страницу. Конец тома, с оглавлением, с объявлениями о других книгах, был не разрезан. Альвера рассеянно разодрал пальцем верх, с неудовольствием взглянул на образовавшиеся зазубрины и старательно выравнивал, оторвав треугольнички. Подошел к *дубу*, попытался прикрепить листок к стволу приблизительно на уровне головы, нацепил было на отступавший край коры — ветерок тотчас сорвал бумажку. Выругавшись, Альвера достал узенький костяной пятифранковый ножик и с трудом, морщась — всегда боялся сломать ноготь, — поднял единственное лезвие. Затем приложил листок к стволу и сильным ударом всадил нож через бумагу в дерево. Листок повис, только края немного загибались от ветерка. В этом *сильном ударе* ножа было нечто приятное, решительное, гюстав-эмаровское. Он подумал, что в нем еще сидит мальчишка, и усмехнулся. На листке следовало сделать черный кружок. Альвера полез в боковой карман за самопишущим пером и с досадой заметил, что оно — тоже дешевенькое и дрянное — свалилось со стерженьком с борта в глубь кармана. Опять в крышке будут чернила, пальцы измажутся, скверно... Действительно, весь конец ручки над крошечным, поддельного золота пером был в чернилах. Старательно взяв ручку повыше, он постарался начертить кружок, бумага не приставала к коре, чернила на поднятом пере не выступали. Встряхнул — последняя капля чернил сорвалась, резервуар был пуст, — раздраженно снял листок, потер его серединой о конец пера,

* „Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды.

— Это я... — начал было Раскольников.

— Выпейте воды. — Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил:

— Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил...“ (*Фр.*) — Ф.М.Достоевский. Собр. соч. в 12 т., М., 1982, т. 5, с. 516-517.

затем снова вонзил перочинный нож. Но на этот раз решительный удар не удался, лезвие захлопнулось, чуть царапнув руку. Он испуганно выронил ножик — нет, крови нет. Кое-как, уже без удара, Альвера прикрепил к дереву листок с размазавшимся в середине чернильным пятном. Затем старательно, как указывал приказчик, зарядил револьвер; патроны он вез отдельно: зачем рисковать в вагоне несчастным случаем?

Несколько раз передвинул вверх и вниз предохранитель. Не помнил твердо, в каком случае предохранитель действует: если кнопка наверху или если она внизу? „Кажется, если наверху. Но надо проверить...“ Разрядил, попробовал и опять зарядил: теперь механизм револьвера был ясен. Альвера старательно отметил пять шагов — в этом тоже было нечто приятное: не гюстав-эмаровское, а дуэльное. Оглянулся в последний раз — по-прежнему никого, — отставил назад левую ногу, чуть согнув колено, — говорят, отдача бывает сильна, — вытянул руку с револьвером, прищурил глаз, прицелился — мушка, чернильное пятно, все так — и выстрелил. Звук выстрела оказался гораздо слабее, чем он ожидал, а отдачи почти никакой, даже не заметил. Опять оглянулся, сунул в карман револьвер и подошел к дереву. К его разочарованию, дыры не было не только на чернильном пятне, но и в листке.

Снова отмерил расстояние, сделал шаги поменьше — а все-таки пять шагов, — и с неприятным чувством заметил, что, не переводя предохранителя, опустил в карман заряженный револьвер: это свидетельствовало о недостатке хладнокровия. „Надо взять себя в руки, — сказал он вслух и подумал, что очень трудно понять сущность того волевого усилия, которое обычно так называется. — Ну, вот я взял себя в руки, я теперь не таков, каким был только что: я себе сказал, что *ничто* не страшно: в любую минуту я могу покончить с собой, полминуты мучения, и все кончено, значит, бояться нечего. Об этой жизни, что ли, жалеть или о *них*?“ Он снова стал стрелять, теперь действительно спокойнее и лучше. Всего выпустил десять пуль (в коробочке было двадцать пять патронов), из них три попали в листок: две с краю, третья почти у чернильного пятна. Результат его удовлетворил. Главное — пока приучить себя к стрельбе и к обращению с оружием.

Выполнив то, что было назначено на сегодня, он с облегчением положил револьвер в карман пиджака, сунул книгу в карман пальто и наткнулся на скомкан-

ную бумажку. „Ах, какая досада!..“ Этот испорченный им лист из переписанной рукописи заказчика он по ошибке сложил было дома с другими, а в поезде, заметив ошибку, сунул во внутренний карман пальто. „Досадно, что не вспомнил: мишень была бы гораздо лучше, не требовалось вырывать страницу из книги...“

Альвера вернулся на большую дорогу и пошел по направлению к вокзалу. „Да, все дело лишь в том, чтобы придать убийству совершенно привычную форму. Надо выработать привычку к стрельбе, но этого, разумеется, недостаточно... Хорошо было бы для опыта застрелить собаку. Ощущение должно быть, в сущности, почти такое же, и главное отличие относится на счет страха гильотины. Убить человека очень просто: при некоторой привычке убивать можно так, как мясник убивает вола, без дешевеньких рассуждений, без Наполеона, без чьих-то открытий. У средневековых головорезов была такая привычка, и они отлично обходились без всякой философии. У какого-нибудь дюссельдорфского вампира привычка, вероятно, под конец выработалась, но там был сексуальный мотив, а это гадко и непонятно: такие люди — личная неприятность богословам со стороны природы“.

Лес кончился, появились, стали учащаться дома. Встретившаяся женщина посмотрела на Альвера, оглянулась и ускорила шаги. Он шел, с любопытством читая названия вилок, надписи, афиши. Два льва в кружочке стояли на задних лапах над перекрещенными ключами, с надписью: „La Vigie mobile. Propriété gardée“*, подумал, выгодное ли это дело и как это общество осуществляет надзор, еще не попались бы тогда его люди? Черная стрелка указывала дорогу в мэрию и церковь. В прямоугольнике, с вписанными в него желтым и черными треугольниками, — „как глупо и некрасиво!“ — две девочки шли, взявшись за руки, — „довольно противные девчонки, никакой беды не будет, если их раздавят“. Вдали как раз показался автомобиль. Альвера медленно шел ему навстречу и свернул только шагах в пяти; сидевший за рулем человек прокричал что-то нелюбезное. „Как странно, что мы обычно чувствуем себя в безопасности: одно неверное движение у этого кретина, мгновение невнимания, лишняя рюмка коньяку за его завтраком — и меня нет. Значит, каждый парижанин зависит от миллиона таких случай-

* „Подвижный надзор. Охраняемая собственность“ (фр.).

ностей, в Париже шоферов тысячи. Значит, вероятность гибели для каждого не намного меньше, чем у меня... Значит...“ Ему надоели эти вечные, нудные размышления. „Хочешь убить — убей, но не морочь голо у“, — сказал он сам себе. Затем его рассмешила надпись на заборе: „Défense de déposer et faire des Ordures sous peine d'amende“*. Особенно смешно было, что слово „Ordures“ напечатано с прописной буквы. Он рассеянно посмотрел на часы: до поезда оставалось восемнадцать минут — его часы на четыре минуты отставали. Рано.

От перекрестка шла тропинка к той вилле. Он хотел было подойти к ней и раздумал: в смысле тренировки это ничего не даст, и есть некоторый риск — вдруг встретишь этого кретина. „Он удивленно взглянет и скажет: „Как? Вы еще не уехали?“ Тогда надо будет сказать, что я забыл, на какой странице кончил переписку, и не знаю, какую ставить на продолжении. Это произведет на него благоприятное впечатление. Может быть, он даже растрогается и заплатит мне за пробелы. „За белые строки я, молодой человек, никогда из принципа не плачу: что не стоит труда, не должно и оплачиваться“. За бумагу он, вероятно, тоже из принципа не платит, и за мой проезд и потраченное время не заплатил, точно я обязан привозить ему работу в Лувесьен. „Вы могли послать ее мне по почте, молодой человек“, — сказал он голосом заказчика, хоть заказчик этих слов не говорил: о потраченном времени речи не было. „Я не мог сказать ему, что приехал на разведку, так как собираюсь его убить, — почти весело подумал он. — В случае, если поймают, я скажу, что убил его за неоплаченные белые строчки: это будет доказательством „морального идиотизма“, на суде очень хорошо быть моральным идиотом...“ Потом он лениво подумал о Жаклин: очень милая девочка.

Вдали просвистел паровоз, Альвера ахнул: „Опоздал! теперь ждать полчаса! — взглянул на часы, нет, до его поезда было еще минут двенадцать. — Это, вероятно, встречный поезд...“

Остановился перед большой белой афишей с зеленой каймой с изображением зеленого юноши и зеленой девушки необыкновенно бодрого вида. Какое-то гимнастическое общество приглашало молодых людей запи-

* „Запрещается сорить, сваливать Мусор. За нарушение штраф“ (Фр.).

сываться: „Pour une jeunesse saine, forte, joyeuse le sport c'est la joie et la santé...“ Но если они веселы и здоровы, то зачем же им еще веселье и здоровье? Какие кретины! „...La fédération sportive et gymnique du travail vous accueillera dans un de ses clubs...“². „Что такое „gymnique“? Я не знал, что есть такое слово... Собственно, они и меня приглашают, это я jeunesse saine, forte, joyeuse!..“ Он опять засмеялся, прочел всю афишу до конца, прочел и об условиях приема, и о членских взносах. Кандидатам в возрасте до 18 лет предлагалась скидка. „Жаль, я не подхожу: мне двадцать первый...“ Подумал, что там тоже по возрасту скидки не будет. Ему было вполне точно известно, кто по закону считается малолетним, кто несовершеннолетним. „В двадцать — отправят на гильотину очень просто...“

Он радостно представил себе, как остолбенеет Вермандуа, прочитав в газете об убийстве: „Его секретарь! Господи, его секретарь — и такое дело!..“ „Особенно он будет в ужасе от того, что надо будет давать показания, сначала следователю, потом на суде: какая скука, какая потеря времени! А журналисты! Ведь они явятся за интервью, набросятся, как коршуны, им за это платят франк за строчку: одно хорошее, приличное убийство — и можно жить припеваючи две недели! Впрочем, интервью, даже по такому делу, это тоже реклама, а плохой рекламы нет... Потом ему придет в голову, что ведь я с такой же легкостью мог бы убить его самого, он затрясется, вспотеет и похолодеет от ужаса. И я в самом деле мог бы убить этого пошлого маньяка. Но тогда на меня сразу пали бы подозрения: я единственный бедный человек, бывающий в его доме... Вермандуа коммунист или что-то в этом роде, но бедных знакомых он терпеть не может. Притом убийцу великого писателя полиция разыскивала бы получше. Зато если убить его, то можно надеяться на место в истории литературы. Кажется, такого случая не было? Да и ему, собственно, только это и могло бы обеспечить славу: его нынешнее бессмертие будет продолжаться ровно год, до приема в Академию его преемника. И сейчас уже никто его не читает: он уже, слава Богу, тридцать лет „cher maître“. Но когда он немного успокоится, то проявит великодушие и даже Подыщет мне защитника, среднего, не очень дорогого.

* „Для здоровой, крепкой, веселой молодежи спорт — это радость и здоровье...“ (Фр.)

“...Федерация спорта и оздоровительной гимнастики примет вас в один из своих клубов...“ (Фр.)

Впрочем, по его приглашению пойдет бесплатно и самый дорогой, им тоже нужна реклама... Быть может, он даже раз навестит меня в тюрьме и принесет четверть фунта ветчины... Нет, в тюрьму он не пойдет, скучно. Но на суд явится непременно и произнесет слезливое слово — что-нибудь о современной молодежи, о потере идеалов. Каждая газета напечатает строк по двадцать, этим тоже пренебрегать нельзя: будет „le grand écrivain“, „le célèbre écrivain“, „l'illustre écrivain“*. Присяжные растроганно его выслушают, затем вынесут вердикт без смягчающих обстоятельств, прежде всего потому, что кража, я мог, значит, обокрасть и их, и еще потому, что я „sale étranger“, „un de ces étrangers indésirables qui viennent chez nous et qui...“^Δ

До поезда оставалось семь минут: все-таки рано! Альвера остановился перед другой афишей, старой, по-луистлевшей. Местный отдел коммунистической партии приглашал всех явиться на митинг: „Pour (далее было стерт) ...liberté! Pour... blique des Soviets en France!“^Δ Альвера прочел афишу с отвращением: он терпеть не мог коммунистов.

Показался невысокий желто-серый вокзал. Через площадь поспешно проходили люди. „В толпе никто заметить не может... Хоть нечего замечать, да пока и ни к чему... Смотрите сколько вам угодно...“ Билета никто не спросил: контроля у входа не было. „Хороши порядки!“ Стал соображать, может ли при таких условиях недобросовестный пассажир обмануть железнодорожное ведомство. „В Париже при выходе спросят билет, но ведь я мог бы выйти из поезда на последней станции перед Парижем и купить там, так обошлось бы значительно дешевле. Неужели они об этом не подумали? Этакие кретины!“

Он прошелся по перрону, все с тем же напряженным любопытством читая надписи. „Электрический рельс на пути заряжен...“ „Да, ведь дорога электрическая. Если стать ногой на эту штуку, а другой на тот рельс, то конец. Легкий? Тот же электрический стул... На долю ни в чем невиновных людей очень часто выпадает худшая насильственная смерть, чем на долю так называе-

* „Крупный писатель“, „известный писатель“, „знаменитый писатель“ (фр.).

Δ „Грязный иностранец“, „один из этих нежелательных иностранцев, которые приезжают к нам и которые...“ (фр.)

Δ „За (...) свободу! За ...блику Советов во Франции!“ (фр.)

мых преступников...“ Он задумался, что хуже: электрический стул или гильотина? „В Синг-Синге, говорят, это длится несколько минут. Но когда падает, например, аэроплан, летчики тоже горят минуты две-три. А от какого-нибудь рака языка люди в мучениях умирают годами...“ Ему вспомнилось что-то неприятное: „Да, да, le k ratite interstitiel, l'h patite diffuse, les convulsions  pileptiformes, le retr cissement mitral...“* „Верно, и этот выродок с тиком, без моей помощи, умер бы от какой-либо гнусной мучительной болезни... Если будет погоня, можно будет вкочить на этот рельс. И тогда любезно протянуть им руку, пусть одним мерзавцем будет на свете меньше“.

Нервно зевая, он прошел до конца перрона, повернул назад, остановился перед огромным градусником, наверху которого красный и белый человечки с необыкновенно веселым видом несли какую-то бутылку. „Сен-Рафаэль Кэнкина“. „Кажется, никогда не пил или, по крайней мере, не помню вкуса... Вообще мало пил: „Jeunesse saine, joyeuse...“ какое было третье слово?“ Но третьего слова, к своему беспокойству, вспомнить не мог.

Вдали пропел петух. Альвера чрезвычайно удивился. Ему казалось, что петухи поют только на рассвете. Лишь теперь он заметил, что все это селение, Лувесьен, утопало в зелени. По обе стороны сквозного вокзала видны были высокие деревья, гряды цветов, цветы. „Да, красивое место... После дела можно было бы, пожалуй, тут купить виллу и поселиться... Можно было бы даже купить эту самую виллу, она, верно, будет продаваться с аукциона. Было бы забавно и окончательно рассеяло бы подозрения: какой же убийца купит дом, где „его будет посещать кровавый призрак“? Надо будет подать эту мысль адвокату. А Вермандуа, если он навестит меня в тюрьме, я скажу, что убил назло Достоевскому. Он будет в восторге и вставит в свой роман обо мне, какой блестящий парадокс: романы великого славянского моралиста только способствуют развитию преступности среди этих несчастных детей!“

Проходивший по перрону пассажир с любопытством посмотрел на невысокого, худого, безобразного юношу, на лице у которого повисло напряженное выражение страдания и ужаса, точно с ним только что случилось

* „...Воспаление роговой оболочки глаза, диффузный гепатит, эпилептические конвульсии, митральный стеноз...“ (Фр.)

большое несчастье. „Он так может и назвать роман: „Преступление в Лувьсьене“... Нет, для него это слишком бульварное заглавие, роман будет психологический, с блестящими парадоксами и с авансом в тридцать тысяч ффранков. Вот бы ему сказать: „Défense de faire des ordures...“* Он засмеялся. Вдали показался небольшой, странно медленно шедший зеленый поезд. Альвера удивился, что нет ни дыма, ни локомотива, опять вспомнил, что дорога электрическая — „ведь только что об этом думал“, — тяжело вздохнул и занял место в вагоне второго класса. „Так они это называют в насмешку над нами, на самом деле это четвертый класс. Они нарочно сделали здесь все как можно более неудобным и неприятным: нужно ведь наказать человека за то, что у него нет денег на более дорогой билет...“

Х.

Когда поезд пришел в Париж, было уже почти совсем темно. Альвера рассеянно направился к выходу. На этот раз билет спросили. „Нет, вероятно, обмануть этих бандитов трудно. Вся их жизнь построена на рутине — если б и рутина была негодной, они не могли бы существовать“. На улицах горели фонари. Последние лавки закрывались. Он ускорил шаги: дома никакой еды нет, кроме масла и оставшихся со вчерашнего дня трех — нет, двух — яиц. В его квартале съестные припасы стоили несколько дешевле, но ехать было далеко, надо все купить тотчас. Сосчитал мысленно свои деньги, когда выходил из дому, было пятьдесят пять ффранков, восемьдесят четыре получено за работу, на билет в оба конца истрачено восемь, и куплены билетки в автобус: шесть. Итого, должно быть сто двадцать пять. Опустив руку в карман — опять упало самопишущее перо, — не нашел сразу стофранковой ассигнации и похолодел от ужаса. „Ах, нет, вот она! слава Богу!..“ Мелочь тоже оказалась в целости, счет был верен. „Послезавтра получу у Вермандуа двести. Хватит...“

Свернув в боковую улицу, он остановился у лавки мясника. У дверей висела огромная окровавленная туша. Можно было купить за три ффранка бифштекс и дома зажарить. Но вид крови показался ему необыкновенно противным. Из двери вышел с палкой, напоминающей вилы, мясник, почти столь же окровавленный,

* „Запрещается сваливать мусор“ (фр.).

как туша, и у него на глазах закрыл лавку с видом несколько демонстративным, точно знал, что этот покупатель спросит именно один бифштекс: обойдусь и без твоих трех франков. Альвера купил в соседней лавке ветчины. „На три франка, нарезанной. И колбасы, на два франка, без чесноку“. Продавщица нарезала колбасу, как будто с демонстративным нетерпением, может быть, тоже для того, чтобы показать пренебрежение. Он следил за движением огромного ножа и думал, что у палача, вероятно, движения столь же ровны, ловки, привычны. „А эта ветчинная гильотина напоминает ту, настоящую...“ Купил еще сыру и два яблока с приятным сознанием, что не отпустит дерзкую продавщицу, пока всего не получит: теперь *и* закон действовал за него и против продавщицы. Расплачиваясь, тоже с приятным чувством подумал, что не вышел из бюджета ни на грош.

У лавки находилась стоянка автобуса, того самого, который был ему нужен. В автобусе оказалось свободным его излюбленное место: у окна, на скамейке отделения для двух пассажиров. Это было еще приятнее. Он положил на колени кульки, уперся в стену и устало откинулся на спинку. Соседка сзади, шляпу которой он задел, что-то пробормотала. Рядом с ним села какая-то дама, он не обратил на нее внимания, не почувствовал прикосновения ее тела, и только, когда она встала у моста, заметил, что она была молода и недурна собой, — сам удивился своей нечувствительности. „Однако, Жаклин...“

Автобус прошел мимо здания суда. Альвера лениво-приятно представил себе, как его будут судить: „В каком зале? куда выходят окна? не эти ли?“ Представил себе судей, прокурора. Присяжные удалятся в совещательную комнату, он останется с жандармом, который будет с состраданием *отводить глаза*, как полагается человеку из народа у гуманных писателей. „A Dieu dans ses pauvres ...“* „Бедные называются *Его* бедными, это, очевидно, насмешка: вот бы *Ему* сделать их богатыми...“ Автобус свернул на бульвар Араго. „Гильотину ставят тут между этими двумя деревьями...“ „Du courage, Alvera, l'heure de l'expiation est venue...“* Надо будет выдавить улыбку, выйдет натянутой, но если очень постараться, можно улыбнуться

* „Господь со своими бедными...“ (фр.)

* „Мужайтесь, Альвера, час искупленья настал...“ (фр.)

вполне прилично. „Я давно готов... Ну, а если не готов, тогда что: мы отложим?“ От взволнованных объятий зачитника можно отказаться. Папиросу, рюмку рома принять и сказать: „Merci, Monsieur, bien aimable...“* Потом вид машины и полагающийся „судорожный, нервный шок...“ Нет, не страшно. Во всяком случае, можно себя приучить, думая об этом постоянно. В смерти тоже, как это ни глупо, привычка играет некоторую роль. Застрелиться, повеситься особенно трудно потому, что револьвер, веревка нам непривычны. Отравиться же, наверное, легче: глотать порошки дело обыкновенное... Собственно, убийство может рассматриваться как наиболее редкая форма самоубийства...“

Он сошел на своем углу, поглощенный этой заинтересовавшей его мыслью. Поднялся на седьмой этаж: снимал комнату для прислуги, без права пользоваться подъемной машиной — „тоже в наказание за то, что нет денег“. Комната была без проточной воды, но недурная, прилично обставленная; мебель приобреталась им постепенно на толкучем рынке. Письменный стол под красное дерево был и совсем хорош. Все находилось в образцовом порядке. На столе были очень аккуратно расставлены чернильница, лампа, лодочка для перьев и карандашей. Каждая книга имела точно определенное место на полках — у него по тщательно, с номерами, составленному каталогу было двести сорок пять книг. Томик Достоевского значился под номером 196.

Альвера поставил книгу на место, еще раз пожалев о вырванной странице, и рассеянно спрятал простреленную бумажку в средний ящик письменного стола — в этом ящике лежало все важное: тетрадь, лицейский диплом, рекомендации, оплаченные счета. Затем он снял воротничок, повесил галстук на ленту, протянутую изнутри на доске шкафа, надел мягкие туфли и с досадой заметил, что правый носок продрался на большом пальце. Разложил на белом некрашеном столике съестные припасы, сходил в коридор за водой, заварил на спиртовке чай, зажег вторую лампу на письменном столе и увидел на столе счет электрического общества: забыл, совершенно забыл вчера послать деньги по счету! Квитанция доставлялась в первый раз, прервать ток никак не могли, все же это очень его взволновало. Он платил по счетам немедленно: и прачке, и булочнику, и газетчице. Записал в карманной тетради: непре-

* „Благодарю, месье, вы очень любезны...“ (фр.)

менно, первым делом завтра с утра послать. „Денег все-таки хватит“.

Он зарабатывал секретарским трудом и перепиской не менее восьмисот франков в месяц, а случалось, и всю тысячу. Острой нужды почти никогда не испытывал. Зимой появились было даже небольшие сбережения, но ушли на белье, на костюм, на обувь: для исполнения секретарских обязанностей при Вермандуа надо было одеваться прилично. „Этот прохвост одевается у лучшего портного. Один красный халат стоит, верно, больше, чем я зарабатываю в месяц... К Новому году можно было бы опять скопить тысячу...“ Сам удивился: какой же Новый год, какая тысяча, если состоится дело! На голод и нищету защитнику будет сылаться трудно, так что тем более *ces étrangers qui viennent chez nous...** Иностранцем Альвера, собственно, мог считаться лишь по паспорту: отец, бежавший из Южной Америки после какого-то переворота, привез его во Францию, когда ему не было трех лет. Он говорил только по-французски, ничего испанского не знал и не любил, своего длинного имени немного стыдился: Рамон Грегорио Гонзало, это Гонзало, казавшееся ему и глупым, и смешным, особенно его раздражало. В лицее он был Рэймон Альверá с ударением на последнем слоге, „но там, конечно, приплывет и Гонзало“.

В шкафу, приобретенном за пятьдесят франков и стоившем по меньшей мере двести (воспоминание об этой покупке было особенно приятно), справа от заканчивавших отдел белья аккуратно, столбиком, сложенных полотенец стояла банка с вишневым вареньем. В этом варенье было — он чувствовал — нечто одновременно и постыдное, и особенно уютное. Альвера поужинал с аппетитом, выпил стакан чаю, поставил на письменный стол другой, чуть не на треть наполненный вареньем, убрал остатки провизии, сполоснул посуду. Затем достал из ящика толстую тетрадь в красивом коленкоровом переплете. В ней был большой труд: „Энергетическое миропонимание“.

Он задумал работу еще в лицее, когда узнал, что энергия может быть представлена как произведение множителей напряженности и количества и что физические процессы идут с убыванием множителя напряженности. Мысль эта его заняла еще тогда, и он часто к ней возвращался. Позднее ему пришло в голову, что

*Эти иностранцы, которые приезжают к вам (*Фр.*).

можно создать социально-философскую систему, в основе которой лежала бы математическая формула: он представлял себе большую, красиво изданную книгу, где из такой формулы исходило бы все. Купил тетрадь и на первой странице неровной, справа чуть загибавшейся кверху строкой написал: $A=U+T \frac{dA}{dt}$. Теперь он уже не вполне твердо помнил, что в физике означают все эти буквы. Основой же его системы было то, что социальные и психологические процессы должны идти с возрастанием множителя напряженности. Для математической части труда было оставлено двадцать белых страниц — это можно заполнить позднее, после лучшего ознакомления с физикой и математикой. С 21-й страницы шла чистая социология — ее пока было тридцать семь страниц. На двухсотой странице, с закладкой, начинались стихи, переписанные в тетрадь набело, — концы строк все немного забегали вверх. Альвера окунул перо в чернильницу и почувствовал, что сегодня работа не пойдет. Лениво нарисовал на полях непристойный рисунок, тотчас об этом пожалел — зачем пачкать рукопись? — и с досадой спрятал тетрадь в ящик.

В комнате было холодно, много холоднее, чем на улице. „Уж не озноб ли?“ Его манило теплое одеяло постели. Однако совестно было ложиться *совсем* в десятом часу вечера. Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы лечь *временно*, накрывшись пальто; правда, если так проспять часа два, то уж потом не заснешь до утра. Он все же пошел на компромисс, взял с полки первую попавшуюся книгу — вышел № 64 — и лег, устроившись на постель так, чтобы не попасть в провал тюфяка. Провал, впрочем, тоже был, как все здесь, *свой* и уютный. Снизу доносилась музыка. Это в квартире шестого этажа играла на пианино дочь хозяйки. „Если в десять игра не прекратится, я пожалуюсь: она не имеет права...“ Он прислушался и не узнал, что играют. „Но что-то очень знакомое и банальное. Теперь надо было бы совершенно переделать музыку, так больше нельзя. Публика ничего не понимает: если пианист бьет по клавишам, как боксер, и изо всей силы нажимает на педаль, ей нравится *мощь* его игры; а если он играет пианиссимо, ей нравится *задушевность*...“

Пианистка перестала играть. Он читал, почти не думая над тем, что читает: знал, что, когда понадобится, подумает и составит *свое* мнение. Теперь удовольствие было автоматическое, почти такое, как от прогул-

ки или отдыха. Потом мысли его отвлеклись опять к философской работе. „Быть может, я злоупотребляю идеей привычки, множителем количества?“ Ему пришла в голову новая мысль, следовало бы тотчас ее записать, но садиться опять за стол не хотелось. Вздрагивая от холода и волнения — „кажется, в самом деле лихорадка: не может быть, чтобы летом в комнате было так холодно“, — он перелистал страницы. „Le cœur débordant de passion, la tête forte d'un enthousiasme raisonné (Альвера засмеялся), les yeux perdus dans la contemplation des splendeurs qu'elle entrevoit, l'humanité se dirige, irrésistible, vers la Terre promise où chacun pourra vivre dans la paix de son cœur et de sa conscience, aimant et aimé, sans contrainte et sans haine, sans envie, sans envie, sans entrave, dans le rayonnement bienfaisant des passions satisfaites, dans l'affinement vigoureux des facultés décuplées dans l'épanouissement fécond des originalités et des caprices (он засмеялся опять), dans la suave caresse des rêves et des aspirations vers le sublime et l'idéal, les sens apaisés par des fêtes de la chair réhabilitée, le cerveau élargi par la science fortifiée, l'oreille bercée par l'harmonique vibration des choses, le cœur gonflé de l'amour d'autrui...“*

Ему стало очень весело. Нет, право, анархисты еще глупее коммунистов. Этот отлично понимает, что убивать и воровать можно, но убивать и воровать он явно боится и потому придумывает всевозможные увертки: „отдельные акты воровства и убийства развращают и унижают человека“. Ну а меня не развращает и не унижает то, что я должен, как милости, искать работы у всевозможных негодяев, что я должен лебезить перед людьми, которых я презираю и ненавижу? Да, этот господин так же, как они все, делает карьеру на красивых фразмах: у социалистов все вакансии были заняты,

* „С переполненным страстью сердцем и окрыленное идущим от ума энтузиазмом (...), устремив взгляд в сияющие дали, человечество неуждимо стремится к земле обетованной, туда, где каждый сможет жить в мире со своим сердцем и совестью, любить и быть любимым, без принуждения и ненависти, не завидуя, свободно, согреваясь благодатными лучами удовлетворенной любви, совершенствуя свои способности, возросшие в десятки раз благодаря плодотворному развитию индивидуальных особенностей (...), упиваясь сладкими грезами и стремясь к возвышенному и идеальному, с чувствами, успокоенными торжеством восстановленной в своих правах плоти, с умом, просветленным окрепшей наукой, убаюканное гармоничным колебанием окружающего мира, с сердцем, переполненным любовью к ближнему...“ (Фр.)

поэтому он объявил себя анархистом, вот тоже очень красивое слово. „Погоди, погоди, я тебе покажу l'harmonique vibration des choses, — с внезапной злобой подумал он. — Точно люди живут без идеала, или для чего-нибудь, или почему-нибудь! Живут потому, что живут, умерли, ну и мертвы“.

Свет лампочки чуть утомлял глаза; они у него всегда были красные, немного опухшие: „хронический конъюнктивит, с этим не шутят“, — сказал студент-медик, бывший товарищ по лицу. Альвера высунул руку из-под пальто и повернул выключатель. В комнату проник бледный свет фонаря. Стало еще уютнее. „Так, быть может, крыса дорожит норой и находит ее уютной... Да, пока я не преступил их законов, сюда никто не ворвется, никто меня не потревожит, завтра я пойду в кофейню пить горячий кофе с круассанами, мне обеспечен завтрак, обед (разве только Вермандуа выгонит? Нет, не решится.), здесь все *мое* — что ж, *видимость* ли это или настоящая человеческая независимость? Анархисты орали на митинге, что во Франции тоже рабство, трехцветный фашизм, и в *этом* я был согласен с ними, но у входа на улице стоял отряд полиции, чтобы охранять их, если б на них напали коммунисты или правые. *Видимость?* И не глупость ли, не чудовищная ли глупость то, что я затеял?“ Он точно повторял беспристрастно доводы противной стороны. „Что ж, я могу передумать, еще есть время“.

Мысль об отсрочке была ему приятна. В эту минуту он был уверен, что передумает. „Да, уютная крысиная нора... Эта складчатая занавеска на стекле днем особенно уютна. Она похожа на спектр поглощения“. Сравнение с запомнившимся рисунком в учебнике доставило ему удовольствие. „Во всяком случае, эта ночь *моя*, пусть всего пять или шесть часов. Человеческая жизнь состоит из кусков, из маленьких, совсем маленьких кусочков, и каждый кусочек надо принимать и расценивать отдельно: „за *этот* кусочек благодарю“, хоть благодарить некого, и, быть может, ценнейшие куски жизни будут именно в тюрьме, *мои* пять-шесть часов в камере перед эшафотом. Общий же счет у всех одинаковый: чистый ноль...“ Он вспомнил, что по дороге из Лувесьена было еще что-то приятное, но другое, — теперь и свои, и чужие мысли он расценивал не по их существу, а по тому удовлетворению или раздражению, которое они у него вызывали. „Что же это было? Ах, да...“ Приятны в дороге были мысли об изумлении,

ужасе, растерянности Вермандуа, когда он прочтет в газете об аресте лувесьенского убийцы. Альвера засмеялся от радости — и через минуту заснул. В далекой древней стране пастушок поссорился с солнцем, и солнце решило ему отомстить и ввело закон, приятный закон, приятный для него и для потомства пастушка: *jeunesse saine, forte et joyeuse...** Да, вот третье слово, слава Богу! Потом был кошмар — горничная, проснувшись в соседней комнате, выругалась и сердито подумала, что надо будет пожаловаться консьержке на этого молодого урода, который по ночам кричит, как идиот, и будит людей, встающих в шесть часов утра.

XI.

„Уж не стал ли на старости лет сентиментален?“ — подумал с досадой Вислиценус. Он не мог справиться с волнением. Да, это была та самая улица, и в ней не изменилось почти ничего. Только с правой стороны, прямо против дома, где жил Ильич, теперь тянулось длинное красное здание. Прежде тут был сад какого-то церковного или монастырского учреждения — они никогда в точности не знали, какого именно, да и не интересовались. Кроме появления оскорбительно-нового здания, на крошечной улице все было то же. Так же тянулась по левую сторону однообразная громада высоких узких домов. Сердце у него забилося — „только этого не хватало!..“ В доме за четверть века не изменилось решительно ничего: те же балкончики на каждом этаже, те же непонятные хоботочки вокруг среднего балкона, та же стеклянная дверь в глубине темноватого входа — по вечерам они долго у нее стояли, повторяя, кто совсем робко, кто решительнее: „*Cordon, s'il vous plaît...*“* Ильич смертельно боялся историй с консьержками; с другой квартиры пришлось съехать именно из-за этих „*cordon, s'il vous plaît*“. То же низенькое окно погребя — отсюда он, когда начиналась весна, с радостным оживлением выводил свой велосипед. Вислиценус как живого увидел Ленина, у этого самого окна, без пиджака, с засученными рукавами по-провинциальному — на этой улице тогда можно было, — можно, верно, и теперь. „Ах, это вы, зд-г-австуйте, зд-г-австуйте.“

*Здоровая, крепкая и веселая молодежь (*фр.*)

„Откройте, пожалуйста...“ (*фр.*)

Отчего вы не ездите на велосипеде? Хотите, купим вам в г-азс-г-очку, полезно и для г-аботы, и для здо-г-овья, и такая г-адость...“ „Мне тогда стало смешно, что он „радость“ произносит почти так, как „гадость“, и я подумал, что, верно, он стал картавить в обществе евреев и от них же, родившись в Симбирске, научился говорить „пара дней“ и „пара франчков“, и я тогда устыдился, что подумал это... А вот этих „Piqués. Ventouses. Massages médicaux“* тогда, кажется, не было. Да. Не было“.

Из отворенного окна третьего этажа кто-то с удивлением смотрел на странного долговязого человека, который, расставив ноги, в позе, напоминавшей Эйфелеву башню, неподвижно стоял против двери дома. „Да, конечно, глупо, и в самом этом *паломничестве* есть нечто глупое и странное...“ Он хотел было подняться во второй этаж, позвонить и под каким-либо предлогом заглянуть в чужую квартиру: кто теперь там живет, не имея, конечно, понятия о своем предшественнике? что стоит в „кабинете“ в правом углу вместо низкого, широкого, покрытого чехлом дивана с шахматной доской на валике? „...Глупое, странное и тревожно-сентиментальное...“ Вислиценус отошел от двери и направился к Avenue d'Orléans.

Зажигались огни. Откуда-то издали доносилась музыка. Вся их жизнь когда-то проходила в этом квартале, между домом Ленина и типографией, в город (так и говорили: „в город“) ездили редко. Он восстанавливал в памяти все, умилялся, читая знакомые названия улиц, и сам недоумевал, что умиляется: не могли же измениться улицы. „Здесь покупал табак — на готовые папиросы денег не хватало, и в процессе набивания папирос было нечто успокоительное (значит, и тогда пошаливали нервы, с облегчением подумал он: если пошаливали и тогда, то не так страшно нынешнее). Тут в шесть часов покупал „Temps“. Вот он, все по-старому. Здесь брал в долг колбасу...“ В нем вдруг поднялась злоба при воспоминании о том, как однажды, когда долг дошел до тридцати франков, хозяин запретил дальше отпускать товар в кредит, и продавщица сконфуженно положила назад уже завернутый в бумагу кусок колбасы с начинкой и с желе, „вот с этим самым желе...“ Да, ничего отрадного не было, по крайней мере, в голоде, в

* „Уколы. Банки. Лечебный массаж“ (фр.).

погоне за грошовым заработком, даром расчувствовался... Изменились цены, он припоминал, сколько за все платил, было по-стариковски приятно и то, что все помнит, и то, что все стоило так дешево. „Но если появилась старческая размягченность, то надо закрывать лавочку!“ С жаровни издали потянуло чем-то ароматным, он не видел и не помнил, что это, но запах этот вдруг с необычайной силой напомнил ему молодость, прежний Париж.

Ничего не изменилось и в доме типографии. У того же старого магазина на улице были выставлены, разложены пестрые вещи, клеенка, щетки, платки, куски обоев, убогая роскошь для прельщения бедняков. Вислиценус ахнул: за кассой сидел тот же владелец, в черной ермолке, теперь глубокий старик. „Да, очень живучий народ и очень устойчивый быт...“ Но делать тут, как и перед домом Ленина, было решительно нечего, и незачем было приходить: жизнь та же, но теперь чужая и чуждая еще гораздо больше, чем когда-то. Звуки музыки все усиливались, он увидел карусели, начинался народный праздник. „Почему-то здесь и тогда постоянно устраивались праздники. Жизнелюбивый народ...“ Вид чужого веселья был ему неприятен.

Тягостное свидание было назначено на четверть восьмого, в *их* кофейне: Вислиценус адреса другой кофейни в Париже не помнил и дал этот. Знал, что разговор по важному политическому делу будет весьма неприятным, и рассчитывал закончить его в полчаса. В восемь был назначен обед в ресторане с приехавшим в Париж Кангаровым-Московским.

С ним он расстался довольно давно. Отношения по службе оставались у них прежние: корректные и холодные. Старались разговаривать друг с другом поменьше. При встрече Кангаров улыбался еще издали, но глаза у него желтели. Случалось в беседах обмениваться и неприятностями, но обычно в форме дружеских советов, по самым лучшим партийным побуждениям, вроде как Гоголь, по самым любвеобильным побуждениям, советовал Виельгорской не танцевать, ибо она кривобока. Вскоре после представления королю Вислиценус получил спешную командировку в Испанию. Там он пробыл много дольше, чем предполагалось. Кангарова же встретил в Париже неожиданно, в полпредстве, и опять посол сладко улыбнулся еще шагов за десять, крепко пожал руку и пригласил Вислиценуса в ресторан на обед.

„Пожалуйста, со всеми онерами, — сказал он и в объяснение приглашения добавил: — Хочет с вами встретиться Зигфрид Майер, немецкий эмигрант, знаете? Все ко мне пристаёт. Вот и приходите, чем назначать ему отдельное свидание... Если, разумеется, у вас не слишком важные секреты?“ — сказал он с улыбкой в полувопросительной форме. Вислиценус ничего не ответил. У Кангарова пожелтели глаза. „Заодно увидите Надежду Ивановну. Она *тоже* о вас спрашивала“. „Разве она здесь?“ — вспыхнув, поспешно спросил Вислиценус, за минуту до того собиравшийся отказаться от приглашения. „Да, я взял ее с собой, мне нужна переводчица: тонкости французского языка от меня ускользают, а она у меня дока по части языков“, — небрежно сказал посланец. „Что ж, я, пожалуй, приду, спасибо, мне и в самом деле надо повидать этого Майера, — так же небрежно ответил Вислиценус, — а как она вообще живет?“ „Кто?“ — „Надежда Ивановна“. — „Наденька? Ничего, процветает. В Париже как рыба в воде. Так, пожалуйста, ровно в восемь. Запишите адрес“. — „Слушаю-с“. Обоим было неловко. „Экий дурак, покраснел! — проклиная себя, подумал Вислиценус и тотчас простился с посланцем. — Конечно, он заметил, не мог не заметить...“

В кофейне он поспешно опустился на диван: вдруг почувствовал себя совсем плохо. Заколело в груди, точно кто-то вонзил в нее кол. Боль распространилась на плечо, перешла в руку. „Странно, этого, кажется, никогда не было? Неужели и это от астмы? Нет, конечно, порок сердца, что ж от себя скрывать и бояться слова? „Невроз“, „порок“ — не все ли равно? Важно то, что нехорошо дело...“ Лакей принес стакан молока. Юноша с соседнего столика со снисходительным пренебрежением взглянул на пившего молоко рыцаря. Сзади приятно-отчетливо, как тогда, щелкали бильярдные шары. На тех же местах по-прежнему играли в шахматы любители 14-го округа. Около досок лучших игроков, обмениваясь вполголоса замечаниями, так же толпились зрители... „Не хотите ли слона впе-г-ед? Вы, почтеннейший, иг-г-асте, как какой-нибудь па-г-шивый впе-г-едовец! Я вам не слона, а фе-г-зя могу дать“. — „Не хвались, идучи на рать“. — „Это вы г-ать? Хо-г-оша г-ать! Г-г-иг-г-ий, это он г-ать! Вам, уважаемый, в ду-г-ачки иг-г-ать, а не в шахматы!“ Волнение Вислиценуса переходило в галлюцинацию — „это от

того, что я что-то такое видел на сцене, в старых трагедиях, или читал, будто такие галлюцинации бывают. И мне теперь *должно* показаться, что Ильич займет вон то центральное место за столом, за *его* столом...“ И тотчас в самом деле Ленин занял это место, и вокруг него, как тогда, отвечая почтительным смехом на незатейливые шутки, разместились полуголодные, смешные, никому ненужные люди, однако чуть не перевернувшие весь мир. Теперь почти все они были в могиле или в тюрьме. Самые известные недавно были казнены. „Верно, и они перед смертью вспоминали эту кофейню, народные праздники на этой улице, квартиру из двух комнат, нашу типографию...“ „C'était une erreur! Il ne fallait pas sacrifier le pion!“ — „Vous n'y entendez rien, mon vieux“. — „C'était une erreur, vous dis-je. La combinaison était fausse!“ — слышался сердитый голос сзади. — „Да, да, la combinaison était fausse...“*

„Ошибка комбинации заключалась в том, что теория наша как-никак строилась на вере в человека, на вере в его достоинство, в возможность и необходимость его морального усовершенствования, — практика же всецело исходила из предпосылки, что человек глуп, что человек подл и что надо его — о, временно, разумеется, временно! — для успеха, ради идеи, сделать еще более глупым и подлым. Предпосылку эту выработал Ленин, но он скрывал ее от нас до поры до времени, пока не оказалось возможным начать применение выводов. Мы, когорты политического преступления, последовали за ним, как всегда за ним следовали, — он сумел воспитать в нас солдатские инстинкты и, как все полководцы, Божьей милостью, несложными способами добился нашей любви, страха и преданности.

Опыт произведен. Оказалось, что человеческая душа не выдерживает того предельного гнета, которому мы ее подвергли, — под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь. Мы разлагали их во имя социалистического идеала, они разложились просто, без „во имя“. Сами того не замечая, тоже понемногу, мы создали небывалое в мире общество. К исконному, первозданному человеческому хамству мы, первые из правителей, своего корректива не дали, убрав все другие, старые, испробованные. Случилось, однако, то, чего не

* „Это был ужас! Не надо было жертвовать пешку!“ — „Вы ничего в этом не понимаете, старина“. — „Это был ужас, говорю вам. Комбинация была ошибочной!“ (...) комбинация была ошибочной...“ (Фр)

предвидели и наши практики. Язва, которую они втирали в души управляемых, скоро переползла на правящих. Оказалось, что сила, всегда торжествовавшая в истории, для собственного существования, для того, чтобы не перестать быть силой, нуждается в каком-то сопротивлении окружающей среды. С уничтожением сопротивляемости подчиненных превратились в слизь и мы сами. Мы вогнали в них моральный сифилис, — они заразили им и нас, и все мы теперь развращенные, уничтоженные, искалеченные люди, потерявшие уважение и к другим, и к самим себе.

Если есть предмет, о котором, наверное, никогда не думал Ильич, то это именно счастье человечества и моральные качества людей. Это для него было пустое и скучное „само собой,“ как для шахматного игрока Божьей милостью пустое и скучное „само собой,“ — облагораживающее влияние шахмат и другая ерунда подобного рода. По существу же, все его мысли были сосредоточены на *игре*. Если б Ильич думал о людях часто, определенно, „художественно“, он не сделал бы ровно ничего. Сила его заключалась отчасти в том, что он об этом никогда не думал. Он *играл* и свою большую игру, игру мизантропического, бесчеловечного социализма, строил на вековой ненависти бедняков к богатым. Никто до Ленина не оценивал с такой пронизательностью значение этой силы, давшей нам победу и власть. *Эта* ненависть у нас получила удовлетворение, какого никогда нигде до того в истории не получала. Но радости от нее не хватило и для старшего поколения. Младшее, богачей не знавшее, ее понять не может. Нельзя жить ненавистью к тому, чего больше нет. Они богачей видят только в кинематографе и испытывают при этом не ненависть, а зависть. На Западе демократия губила и губит социализм, так как стала его суррогатом: она по столовой ложке дает народу то, что социализм обещает, не давая. По своей глупости эти ручные социалисты отстаивают демократию, не замечая, что она их медленно съедает и съест. Но, в отличие от нас, они имеют возможность, впрочем без всякого макиавеллизма, осторожно, не очень запальчиво, с выгодой для себя помахивать красной тряпкой. У нас ее больше нет. Красной тряпкой стали мы сами, хоть бык научился до поры до времени скрывать свои чувства. За нищету, за голод, за рабство, за унижения, за искалеченную душу, за собственную трусость, за собственную угодливость они нам теперь платят лютой, звериной злобой и, смут-

но чувствуя их глухую, невидимую, непроявляющуюся ненависть, мы в наших методах ничего изменить не можем. Круг этот заколдовали мы сами. Мы создали Брынские леса, а в Брынских лесах ничто не возможно, кроме атаманства. Вся наша история в последние годы свелась к схватке кандидатов в атаманы, почти без примеси идеи или с примесью совершенно произвольной, зависевшей только от обстоятельств. Вот из-за чего пролиты, льются, будут литься потоки крови — этого не предвидел и Ленин. Жизнь оказалась еще мизантропичнее, чем он, и вела нас куда придется, неизвестно куда, неизвестно зачем — компаса нет, никакой Полярной звезды не видно. Атаманом оказался, как почти всегда бывает в берлоге, наиболее смелый, твердый из кандидатов. Но и для него не могло пройти бесследно подобное двадцатилетие. Умный, хитрый, решительный атаман так долго выдумывал преступления и подбрасывал народу преступников, пока сам почти во все не поверил. Теперь настало царство полицейской мифологии, и она лишь увеличивает в стране глухую ненависть ко всем нам: народ никак не может понять, чем одни из нас хуже других, если этого не понимаем мы сами. А кто будет прав в историческом счете, неизвестно: может быть, Троцкий, может быть, Гитлер...

Не следуя нашей теории, порою почти о ней и не вспоминая, мы в своем ослеплении приписывали ей внутреннюю силу. Оказалось, что никакой силы в ней нет, что победу нам дали только наши методы и что точно таких же или еще лучших результатов можно добиться при какой угодно другой теории, даже самой низменной и нелепой. Мы не приняли во внимание иррациональной стороны ненависти. За пределами нашего пресса, вдали от него, нашлись люди, понявшие, что сила наша лишь в практике, что, кроме нее, у нас нет ничего, — они быстро усвоили данный нами миру урок вседозволенности, беззащитности, безнаказанности, они создали пресс, выкрашенный в другой цвет, но столь же легко, успешно, безошибочно превращающий людей в грязную слизь. Ошибаясь в применении закона больших чисел, мы думали, что во всяком человеческом обществе нам удастся поднять миллион бедных против десяти тысяч богатых. Оказалось, что так же легко поднять миллион против миллиона по другому признаку, выкинув иную приманку, бросив иной клич. В формуле „грабь награбленное“ оказалось психологически верным только „грабь“. Мы убеждали немца-

рабочего считать себя солью земли, так как он рабочий. Теперь он сошел с ума от радости оттого, что он немец. И если их „философия“ также дает людям счастье, то какие, собственно, основания предпочитать нашу?

Два человеческих стада выстроились одно против другого. Вождей еще удерживает ужас перед риском решения: как променять обеспеченные генеральские эполеты на игру, где в чет и нечет будут разыгрываться эполеты фельдмаршала или веревка палача! Их колебания — колебания перед ставкой *va banque* азартного игрока, всю жизнь занимавшегося крупной игрой. И участь человечества теперь зависит лишь от того, сумеют ли — и когда сумеют — очень смелые люди преодолеть в себе этот последний трепет.

Что ж, пусть преодолевают! Мы воевать не можем, — долго воевать не могут, вероятно, и они. Может быть, дело наше провалится. Но так оно провалится наверное. Надо довести дело до конца и довести его до конца скоро. Затяжка на годы еще мыслима, затяжка на десятилетия повлечет за собой моральную гибель человечества. Как ни ужасен наш опыт, его надо распространить на весь мир. Ничто не доказывает, что моральный сифилис наследствен. Выздоровевшее поколение еще может стать таким, о каком когда-то мечтали в этой кофейне лучшие и глупейшие из нас...“

На пороге кофейни показался человек очень высокого роста, в сером пальто, в мягкой серой шляпе. Вислиценус взглянул на него и вздрогнул. „Где это я его видел? — тревожно спросил себя он. — Однако и лицо же!“ Лицо у незнакомца в самом деле было грубое и гадкое. Он с минуту постоял у двери, обводя взглядом кофейню, точно кого-то искал. Взгляд его скользнул по Вислиценусу и задержался всего на мгновение, однако Вислиценус понял, что этот человек пришел к нему. Почему-то сердце у него снова застучало. Незнакомец, щурясь с недовольным видом, прошел мимо него в глубь кофейни, осмотрелся еще и там, повернулся с досадой и направился к выходу. На столике Вислиценуса оказалась записка. „Работа хорошая, — подумал он: записка была положена совершенно незаметно, — но к чему это?“ Человека в сером пальто уже в кофейне не было. Вислиценус подождал с минуту, по старой привычке к таким делам, автоматически: никто за ними не следил. Затем он развернул записку и прочел. Назначенное ему свидание отменялось.

ХII.

Надежда Ивановна в самом деле обрадовалась, когда Кангаров-Московский неожиданно (он готовил ей этот сюрприз) сообщил, что берет ее с собой в Париж. „Ты у меня, детка, будешь переводчицей, благодари папу и маму, что научили тебя иностранным языкам“, — сказал озабоченно-радостно посол. Теперь он уже без стеснения, открыто говорил ей „ты“, причем служащие посольства делали невинные лица: что ж, это совершенно естественно. Эдуард Степанович особенно ясно показывал всем своим видом: „Отчего же нет? Это совершенно в порядке вещей, и я тут решительно ничего не вижу; да если б и видел, то я — дипломат...“ Надежда Ивановна знала, что ее поездка с Кангаровым даст повод к злословию и к шуткам, но думала, что это ей совершенно безразлично. У нее вообще были холодные отношения с товарищами. „Говорят, ну и пусть говорят все, что им угодно“. Быть две-три недели в постоянном общении Кангарова ей не очень улыбалось, но когда же будет другой случай увидеть Париж? Все утверждали, что это лучший город в мире — после красной Москвы. Впрочем, рассуждать ей не приходилось: приказ начальства.

У Кангарова перед отъездом вышла ссора с женой. Елена Васильевна приняла мученический тон — из последнего действия „Марии Стюарт“: „Граф Лейстер, вы сдержали слово: — Вы обещали руку мне подать, — Чтоб вывести меня из заточения, — И... подаете“. Елене Васильевне из-за революции не удалось сыграть роль Марии Стюарт, но, по тому, как она *хотела* сыграть эту роль, краткая, заключительная сцена с графом Лейстером перед эшафотом выходила потрясающей, особенно должна была потрясать зрителей выраженная многого-го-го пауза: „И... подаете“ — после брошенного вполголоса, но с необычайной силой „подаете“ она, с высоко поднятой головой, быстро отходила в глубину сцены, а уничтоженный граф Лейстер стоял, закрыв лицо руками; затем публика сидела несколько минут в оцепенении и раздражалась бурей рукоплесканий, причем в театре долго, очень долго стоял рев и стон восторга: „За-поль-ская!..“, „Бр-ра-во!“, „За-поль-ская!..“ Особенно трогали Елену Васильевну несколько минут оцепенения перед бурей рукоплесканий. Хотя такой сцены нигде не было и не могло быть с сотворения мира, но об этих нескольких минутах она читала в биографиях

всех великих артисток и твердо рассчитывала то же увидеть в собственной юбилейной биографии с портретами, с надписью на обложке: „Е.В.Запольская“. Имя „Елена Васильевна“ ей, впрочем, не нравилось: было бы лучше называться Ариадной или, по крайней мере, Ириной.

Мученический тон жены, хорошо Кангарову известный, обычно приводил его в бешенство. Он попробовал огрызнуться, сказал, что едет в Париж по делам служебной необходимости, а ее оставляет, слава Богу, в достаточно хорошем месте: „Никогда так, голубушка, не жила“. Это вышло неудачно, и тон Елены Васильевны стал еще надменнее — тон действия третьего: „Какие речи слышать я должна! — Когда моя венчанная глава — Вам не священна, так мои страдания — Должны бы, сэр, для вас священны быть...“ У Елены Васильевны, как недавно выяснилось, давление крови было 19, и волновать ее не годилось. Расстались они весьма холодно. Наденька была совершенно не виновата в их ссоре, но отъезд произошел в настроении неприятном. „Температура десять градусов ниже абсолютного нуля, — радостно сказал Базаров, — амбассадерша поехала покупать серную кислоту“. „Не понимаю, что вы хотите сказать“, — холодно ответил Эдуард Степанович.

В дороге Кангаров достаточно надоел Наде отеческим отношением, „деткой“, анекдотами, шутками. Анекдоты и шутки у него всегда были одни и те же, и рассказывал он их не менее как два раза подряд, а в случае большого успеха главную фразу анекдота повторял с хохотом в третий раз, — обычно хохотал еще и перед тем, как приступить к рассказу: „Я вспомнил один очень смешной анекдот...“ Тем не менее путешествовали они приятно, вместе гуляли на станциях по перрону, вместе обедали в вагоне-ресторане. Кангаров знал толк в еде, хоть вырос в бедной семье. Надежда Ивановна невольно ему завидовала: с таким аппетитом и удовольствием он ел, критикуя каждое блюдо. „Я, детка, обедал в лучших ресторанах мира, — рассказывал посол, — но прямо тебе скажу: какие-нибудь кильки, рубленая селедка, малосольные огурцы стоят самых тончайших яств. И поверь, первый признак гастронома: ценить не только разные деликатесы, но и простые блюда — этим настоящий гастроном отличается от сноба. Со всем тем в Париже мы с тобой побегаем

по знаменитым ресторанам, готовят у них изумительно“. „В знаменитых ресторанах я не бывала, но, по-моему, у нас в Москве едят лучше, чем у них“, — сказала Надя. Кангаров на нее покосился.

Разговаривали они обо всем, кроме политики. Посол с большим увлечением говорил о любви, сладко поглядывая на Надежду Ивановну (что всегда ее веселило), о своих встречах, о своих вкусах. К удивлению Нади, оказалось, что он очень любит сельское хозяйство, огородное дело, цветоводство; у него даже оказались особые познания по тюльпанам; он произносил ученые названия, которых Надя никогда не слыхала: „*Tulipa rubescens*“, „*Rex gibbogum*“, и рассказывал о тюльпанах разные истории, вроде того, что название их происходит от сходства с турецким тюрбаном, что из-за „*Semper augustus*“ в Голландии произошел какой-то исторический крах и что на языке цветов тюльпан означает гордость (при этом многозначительно взглянул на Надю). В увлечении он даже нарисовал пышный тюльпан на оборотной стороне меню — вышло совсем недурно. „Странно! — подумала Надежда Ивановна. — Мне казалось, что, кроме карьеры и женщин, его ничто не интересует. Это в нем очень привлекательная черта... Право, нет плохих людей“. Разболтавшись, Кангаров сознался, что мечтает о своем „клочке земли“: иметь где-нибудь (он не говорил, где именно) свою дачку (чуть не сказал: виллу), сажать деревья, цветы, завести собак. „У вас положительно буржуазные идеалы“, — смеясь, сказала Надежда Ивановна. „Почему же буржуазные? Социализм обобществляет только орудия производства, а я рад был бы и вообще отойти от политики“. „Кто же тебе мешает? — подумала Надя и, чтобы не поддакивать однообразно во всем, поспорила: — Скоро соскучились бы на дачке с яблонями и с собаками“. „Я? Никогда! Ты меня не знаешь, — воскликнул посол вполне искренно и чуть было не добавил: — С Еленой Васильевной действительно повесился бы от тоски, а вот с тобой нет!..“ Он вздохнул.

В Париж они *прибыли* утром (Кангаров теперь не решительно говорил о себе: „я прибыл“ — и скромно опускал глаза). Остановились в очень хорошей гостинице; для себя посол взял номер из двух комнат с ванной, а для Надежды Ивановны небольшую, но хорошую комнату в другом этаже, чтобы не злословили. „Ну-с, детка, — сказал он, — теперь разделимся, и давай себя приводить в порядок... Выкупаемся после дороги, поз-

воним кому надо, а обедать будем вместе. До обеда ты, если хочешь, побегай по Парижу Ивановичу, славный городок, хоть август и не подходящее время для его осмотра“. Ему очень хотелось показать Надежде Ивановне Париж, но нельзя было требовать, чтобы детка ждала, пока он освободится. „Смотри только, не попади у меня под автобус. Это я тебе строго запрещаю“. Надежда Ивановна сделала испуганное лицо и тотчас исчезла в восторге от того, что освободилась: „Уф, отдохну!..“

В самом лучшем настроении духа Кангаров послал за газетами, уже раздевшись, принял их через дверь и с наслаждением опустился в ванну: очень любил читать в воде. Времени было еще много: звонить по телефону надлежало не раньше как через час. Он развернул газетный лист — и помертвел: в Москве преданы суду лица, еще недавно занимавшие самые высокие посты в государстве, а теперь обвинявшиеся в самых ужасных преступлениях. Сообщение это было настолько важно и сенсационно, что даже иностранные газеты передавали его с большими заголовками на первой странице. Из телеграмм следовало, что обвиняемые во всем сознались и покаялись. Однако на этом Кангаров даже не остановился: так бессмысленны были обвинения. „Господи, что же это он делает? — прошептал посол. — Ведь ближайшие соратники Ильича!“ Всех этих, очевидно, обреченных на казнь людей он очень хорошо знал, работал с ними, обедал, шутил, обменивался мыслями в течение многих лет.

С необычной быстротой он перебрал все свои прежние отношения с ними за последнее время и за все времена. „Нет, кажется, ничего *такого* нет“, — подумал он, едва передохнув. Но теперь никак нельзя было сказать, что, собственно, *такое* и что не *такое*. Карьера Кангарова по службе и в партии шла в разное время в разных комбинациях; были среди них и комбинации, которые теперь, очевидно, никак нельзя было считать похвальными. В его уме пронеслись ужасные мысли: „Вытащат „Бесстыдники, опомнитесь!““, снимут с должности, вызовут в Москву! Теперь кого снимают, того сажают в тюрьму, — в тюрьму это еще в лучшем случае! Если уж *теперь* он не пощадил! Отказаться, подать в отставку, стать невозвращенцем?..“ На мгновение он было даже подумал о том, как к нему отнеслась бы эмиграция. „Собственно, лично против меня они ничего

иметь не могут...“ Подумал и о денежных делах — на какие же *тогда* средства жить! Дикость этих мыслей поразила его. Он долго, смертельно бледный, сидел в ванне. „Что же теперь делать?“ Делать было нечего. По характеру московских событий они никакого отклика с его стороны не требовали. „Партия! Остается партия!“ — подумал он и попытался настроиться на *солдатский* тон, как в 1918 году: партия всегда права, партия требует, все для партии... Но сам почувствовал, что настроение старого капрала и прежде удавалось плохо, а уж теперь совсем не удается.

Кангаров вдруг вспомнил о Надежде Ивановне. Ему тотчас стало ясно, что все остальное: партия, карьера, приемы у королей, чисто спортивное удовольствие от удачных дипломатических ходов — все второй план. *Настоящее* было только одно: Надя. „Да, влюблен, совершенно влюблен, все для нее брошу и жить без нее не могу. Ничего мне другого не надо, лишь бы только там, где она...“ По сравнению с этим отпадали и карьерные соображения, и страх перед тем, что могло его ждать. „Вызовут, поеду, если она поедет! Но ведь там живо разлучат...“ Он с полной искренностью подумал, что в самом деле для него высшим счастьем было бы поселиться с Надей на небольшом участке земли, построить виллу, сажать цветы. „К чему эта мишура, министры, речи, аудиенции? Если я и стремился ко всему этому прежде, то имел этого достаточно, дальше идти некуда, какая еще может быть карьера, и зачем она мне?“

Несмотря на горячую ванну, зубы у него стучали. Он опять все мысленно перебрал, обстоятельнее, точнее: „Нет, *такого* ничего нет, даже если начнут с „Опомнитесь, бесстыдники!“ Могут погубить только, если *он* захочет погубить. Но ведь в этом нет ничего нового! И они в опале тоже не со вчерашнего дня, меня, однако, не трогали...“ Весьма важен был вопрос, как московские события отразятся на положении народного комиссара. О нем тоже можно было рассуждать разное: с одной стороны, по одной комбинации партийных, служебных и, главное, личных отношений у народного комиссара все как будто было в полном порядке; но, с другой стороны, по другой комбинации, этого никак нельзя было сказать. Кангаров подумал и о прочих своих товарищах по ведомству. Положение некоторых из них было хуже его собственного. Это немного его успокоило.

Он вышел из ванны и, завернувшись в простыню, стал говорить по телефону. Говорил он необыкновенно бодрым голосом, как ни в чем не бывало, и отвечали ему тоже как ни в чем не бывало и тоже необыкновенно бодрым голосом. Никакой речи о московских событиях не было, Кангаров лишь вскользь задал вопрос о здоровье народного комиссара и тут же подумал, что благо-разумнее было бы теперь такого вопроса не задавать. Народный комиссар, как оказалось, был вполне здоров. Разговор этот успокоил Кангарова. „Нет, при чем же тут я?“ — решил он и стал одеваться. Из другой телефонной беседы выяснилось, что дела очень много и что ему, вероятно, придется съездить в Амстердам. Это тоже его утешило: очевидно, никто и не думает, что в его положении произошла перемена. Когда пришла Надежда Ивановна, Кангаров был уже спокоен. Увидев ее, он опять почувствовал, что все остальное не так важно, лишь бы она находилась тут и вот так говорила: „Чудный город, чудный, но наша Москва, право, лучше!“ Он одобрительно кивал головой.

Затем началась работа, деловые завтраки, приемы. Никаких тревожных событий не было; грозу, очевидно, пронесло. В своем кругу они даже вскользь, очень осторожно, обсуждали события — „кто бы мог ждать от людей такого падения?“ А еще через несколько дней Кангарову пришлось выехать в Амстердам. Взять с собой туда Надежду Ивановну он никак не мог и, уезжая, поручил ее Тамарину. „С ним, по крайней мере, можно быть спокойным: не будет никакой хамской выходки, — подумал Кангаров и шутливо добавил: — Вы, Ваше Превосходительство, Командарм Иванович, держите ее строго, в случае чего в угол ставьте“. Надя сделала детское лицо. „Я его живо отошью“, — подумала она.

Отшивать командарма, однако, оказалось совершенно ненужным. К большой радости Надежды Ивановны, он тотчас сказал ей, что по утрам работает, а с семи часов вечера „весь к ее услугам“. Надя целыми днями бегала одна по Парижу, осматривала по путеводителю разные кварталы города, достопримечательности, музеи. На каждом шагу останавливалась перед витринами магазинов, вздыхала, составляла всякий раз новые бюджетные планы и нерешительно входила в магазин. Но чем больше вещей она приобретала, тем яснее становилась необходимость покупать еще. „Бездонная бочка, тут и сотни тысяч уйдут незаметно, беда“, — сокру-

шенно думала Надежда Ивановна. Сотен тысяч у нее не было.

Все в Париже нравилось ей чрезвычайно: улицы, здания, музеи и особенно Galeries Lafayette. Она с чувством обиды видела, что московское с этим нельзя сравнивать, и радовалась, когда вдруг находила что-либо такое, что в Москве было лучше. Так, парижская подземная дорога не была облицована мрамором, и это было очень приятно; но было бы еще много приятнее, если б в Париже вообще не оказалось подземной дороги. „А что у них она в десять раз длиннее, то ведь социалистическое строительство началось всего так недавно, — думала она и, встречаясь с Тамариным, неизменно с задором (хоть он нисколько не спорил) говорила: — Да, да, очень много интересного, но у нас гораздо лучше, гораздо!“ „Многое, конечно“, — поспешно соглашался Тамарин. „Не многое, а решительно все“.

В России все было гораздо лучше потому, что там была *своя* жизнь: хоть гадко, но весело. В Москве в Надежду Ивановну влюблялись четыре раза серьезно и семь раз *так*. Молодые люди приставали к ней с бескорыстным нахальством мухи: знает, что тотчас сгонят, если сядет на нос, и все-таки лезет. Сама Надя была тоже влюблена два раза — не то чтобы уж очень, но влюблена. „Если б хотела выйти замуж, то в два счета: Сашке Павловскому достаточно было бы мигнуть — он сошел бы с ума от радости“. Здесь никто, кроме старичков („положительно, это трагедия!“), не сходил с ума от любви к Надежде Ивановне. Сослуживцы, точно назло, оказались людьми неприятными или уж очень безобразными, как Эдуард Степанович. Надежда Ивановна, вслед за другими женщинами, нерешительно говорила, что для мужчины красота никакого значения не имеет; в действительности ей нравились только красивые мужчины, но она это тщательно скрывала, как черту постыдную и ненормальную. Все же Эдуард Степанович явно злоупотреблял мужским правом быть некрасивым. С „европейцами“ же Надежда Ивановна не познакомилась, и тайные надежды ее не сбылись: европейцы у ее ног не толпились. „Нет, они тут прозябают, задыхаются в своем богатстве, а у нас строится новая жизнь...“ Она горько сожалела, что добивалась и добилась продолжительной командировки за границу: дни текли нерадостно, ей казалось, что она дурнсеет, одну ночь она проплакала без всякой видимой причины: жизнь уходит, без *людей* везде тоска. Она и от самой

себя скрывала, что ей очень скучно в этом прославленном Париже.

Тамарин заходил за Надеждой Ивановной в семь часов. Они вместе обедали, затем отправлялись в театр, в кинематограф или в кофейню. Разговоры командарма были скучноваты, но уютно-скучноваты; можно было вдобавок не очень слушать: если она отвечала невпопад, он, в отличие от Кангарова, требовавшего к своим речам напряженного внимания, не обижался — даже тогда, когда она в середине его рассказа внезапно вставляла соображения о том, настоящий ли котик у дамы за соседним столом. Между тем и в кофейню, и в театр удобнее было ходить в обществе мужчины, при том столь осанистого, воспитанного старого человека. Наденька думала, что их все принимают за отца и дочь. Это ее забавляло; она невольно и обращаться стала с Тамариным почти так, как с отцом. Вот только платила она всегда за себя сама. Это правило Надежда Ивановна установила с первого же их посещения кофейни — Тамарин тогда даже вспыхнул: „Что вы, как вам не совестно?“ Но Надя настояла на своем: так было удобнее, да и денег, она догадывалась, у командарма было не очень много. Со второго дня они сговорились „раз навсегда“: везде платил Тамарин, а Надежда Ивановна затем ему отдавала свою часть, причем, принимая деньги, он всегда конфузился и старался произвести расчет так, чтобы на ее долю выходило меньше. „Нет, еще по крайней мере франк, вы „начая“ не считаете, Константин Александрович“. — „Какой пустяк! Неужели вам не стыдно?“ — „Нисколько не стыдно“.

Вначале Тамарин по восемнадцатилетней привычке разговаривал с Надеждой Ивановной сдержанно и осторожно, как со всеми. Потом стал несколько откровеннее, особенно когда узнал, что Надя — дочь профессора, что у них было небольшое имение и что ее отец был дворянин (она как-то вскользь шутили об этом упоминула). Все это решительно ни в чем никакой гарантии не давало. Но общее впечатление Тамарина от Наденьки было таково, что понемногу он стал смелее: прежде упоминал о начальстве не иначе как с достойно серьезным видом, потом — с легкой улыбкой, которую можно было понимать разное, а еще позднее заговорил почти откровенно: ясно почувствовал, что эта не донесет. Стал рассказывать ей и о прошлом, о своей прежней жизни, о своих родителях. Надя слушала без особого интереса, но не без любопытства: приблизи-

тельно так, как могла бы читать „Домострой“ или летопись Нестора.

Когда Кангаров вернулся, Надежда Ивановна с превеликим жаром сообщила, что командарм о ней заботился прямо как родной: „Удивительно милый старик, удивительно!“ В знак признательности Кангаров пригласил Тамарина на свой обед. „Да, он очень достойный человек и прекрасный беспартийный спец...“

ХIII.

Тамарин тоже был доволен Надеждой Ивановной. До ее приезда ему случалось проводить по нескольку дней подряд, не разговаривая ни с кем, кроме лакеев и лавочников. Это, впрочем, его почти не тяготило. Много лет он не чувствовал себя так хорошо, как теперь в Париже: ежедневно благословлял Бога за то, что досталась командировка, и с ужасом думал, что, быть может, скоро придется вернуться в Москву. При всей своей честности и служебной добросовестности он, сам почти того не замечая, немного затягивал работу, для которой был командирован.

Вставал он в шесть часов утра и часа полтора работал дома натошак — чай готовить по его системе было тут невозможно, да во Франции надо пить кофе. Обычно он завтракал в кофейне, отчасти из экономии — в гостинице дороже, — отчасти потому, что утренняя прогулка по Парижу доставляла ему большое удовольствие. В восьмом часу выходил из дому и направлялся в боковую улицу, к писчебумажной лавке. Газеты можно было купить и ближе, но писчебумажная лавка казалась ему более надежной: кроме французской газеты, он покупал русскую, эмигрантскую, и это удобнее было делать внутри лавки, чем в киоске на улице. Клад газеты в карман так, что видна была только французская, и отправлялся в кофейню, всегда одну и ту же. Там его уже знали в лицо. Гарсон, особенно приветливый в этой кофейне, после радостно-певучего „Bonjour, Monsieur“, не спрашивая заказа, приносил ему кофе и корзинку с круассанами и сам уже знал, сколько надо налить кофе, сколько молока. При этом обычно говорил: „Fait beau aujourd’hui, hein?“* — или что-нибудь такое. Никто здесь не знал ни его имени, ни национальности, ни положения, и Тамарин понимал, что если он

* „Хороша погода, а?“ (фр.)

скоростижно умрет в кофейне, то и приветливая хозяйка, и приветливый гарсон нисколько не огорчатся — разве только пожалеют, что стало одним клиентом меньше. Но в самых формах этих, в радостных улыбках, в „Fait beau aujourd'hui“ была человеческая приветливость, от которой он совершенно отвык в Москве. Люди здесь были равнодушны, но не отравляли друг другу жизни, не доносили, не служили секретными сотрудниками полиции.

В кофейне он оставался с полчаса и всегда удивлял гарсона тем, как, читая, разворачивал газету: на столе видна была только небольшая часть газетного листа, а уж заглавия никто прочесть не мог бы. Неприятностей с ним никогда не было, знакомых он в кофейне ни разу не встречал, шпионов тут ждать не приходилось, но так поступать было благоразумнее. Русскую газету он читал с удовольствием, это стало привычкой, от которой, он знал, в Москве будет отучиться нелегко. Буква ять и твердый знак вначале его поразили: он и умилялся — пахнуло старой жизнью, — и рассердился: „Какая оторванность у этих людей!..“ Собственно, из того, что в газете писалось о России, три четверти было правдой; командарм Тамарин от себя мог бы еще немало прибавить такого, чего люди, писавшие в эмигрантских газетах, не знали и знать не могли. И все-таки чтение его раздражало: „Нет, эти люди многого не понимают, то, да не то, чего-то эдакого им не хватает, — говорил он себе, хоть едва ли мог бы объяснить, чего именно не хватало этим людям. — Эдакая оторванность, эмигрантщина, да. Все же читать интереснее, чем то, что пишут у нас...“ Но он сам не вполне был уверен, где для него, собственно, „у нас“, и, бодрясь, только говорил мысленно: „Да, односторонни, узки... Нельзя же все эдак-то...“

Напившись кофе, Тамарин оставлял деньги на столике (в первые дни его изумляло, что это можно делать спокойно: никто денег не стащит), гулял по улицам левого берега или по Люксембургскому саду, затем, когда было совершенно необходимо, отправлялся по служебным делам, — большую часть своей работы делал дома. В двенадцатом часу обычно возвращался в гостиницу; он жил все в той же гостинице, в которую попал в день приезда в Париж. Его комнату убирали рано; вернувшись, он тотчас вновь садился за пишущую машину. Завтракал очень легко в своем номере — кусок ветчины, сухарь, незачем полнеть. В пять часов,

закончив трудовой день, снова гулял, с удовольствием чувствуя нарастание аппетита. Обедал плотно то в одном, то в другом ресторане из не очень дорогих и всегда выпивал полбутылки хорошего бордоского вина: эту роскошь (да еще покупку книг по военным вопросам) Тамарин себе разрешал: „В Москве такого вина не найдешь, а за кислятину платить раз в десять дороже“. Нередко отправлялся в кинематограф или в какой-либо легкий, немудреный театр — „без претензий, мило и весело, как умеют французы“.

Чаще, впрочем, он сидел по вечерам дома. С полчаса решал крестословицы, тоже из эмигрантских изданий: французские решать было очень трудно, хоть он недурно знал французский язык. Иногда раскладывал пасьянс — обычно загадывал, долго ли продлится командировка. В винт играть было не с кем; это составляло немалое лишение. Иногда вместо пасьянса Тамарин читал книги, и не только Клаузевица. Решил перечитать в Париже классиков, купил украдкой — в эмигрантском магазине — шеститомное эмигрантское издание Пушкина. „Что ж, Пушкина где угодно можно купить... Эх, однако, скверно издали!“ — подумал он, тоже с некоторой радостью, как Надежда Ивановна. Многие очень ему понравилось, особенно „Дубровский“ и „Повести Белкина“, но и то, чем он в душе не слишком восторгался, Тамарин читал с удовлетворением, вспоминая, как впервые это прочел полвека тому назад — „да, может, с тех пор и не читал. В этом-то главная прелесть классиков... Не говоря, конечно, об их достоинствах...“

Случалось, за книгой он думал о другом, о своих делах. Если бы твердо знать, что командировка затянется надолго, можно было бы снять комнату с кухней и ванной, купить радиоаппарат и новую пишущую машину. Прожить бы так в Париже остаток дней, спокойно, занимаясь полезным для русской армии трудом, не делая низостей, не подписывая гнусных телеграмм, никому почти не угождая (чуть-чуть угождать, впрочем, иногда приходилось и здесь). Только перед самой смертью, так, недели за две, когда уже нечего опасаться, вернуться бы домой, чтобы умереть в Петербурге, где родился. И как раз тогда, когда он об этом думал, Тамарин с сильным, ему самому непонятным волнением прочел у Пушкина: „Он сказал мне: „Будь покоен, — Скоро, скоро удостоен — Будешь Царствия Небес, —

Скоро странствию земному — Твоему придет конец. —
Уж готовит ангел смерти — Для тебя святой венец...“

Просьба Кангарова „взять под свое покровительство“ молоденькую секретаршу вначале была не слишком приятна Тамарину: он свыкся со своей парижской жизнью, ничего в ней менять не хотелось. Но девочка оказалась очень милой и скоро внушила ему ласковые, почти нежные чувства, смешанные с жалостью: „Они ведь все настоящей жизни и не видели, от рождения обижены Богом. А умненькая и способная“.

В день своего обеда Кангаров, который должен был до того побывать „у французов“, просил Тамарина заехать за Надей и привезти ее в ресторан. „Ей, бедняжке, одной боязно. Пожалуйста, Ваше Превосходительство, возьмите автомобиль за мой счет“. „С удовольствием привезу Надежду Ивановну“, — ответил, покраснев, Тамарин.

Заехал он за Надеждой Ивановной во фраке, что было уж слишком парадно для обеда в ресторане. После того как бюджет Тамарина в Париже определился окончательно, он подсчитал, что может истратить на гардероб до трех тысяч франков; заказал себе хороший костюм, *демисезонное* пальто, которое по своей демисезонности могло во Франции годиться на все времена года, и фрак. На визитку и смокинг денег не хватало. Сознание того, что он теперь хорошо или, по крайней мере, прилично одет, доставило Тамарину немалое удовлетворение. До войны он в России из штатского платья носил только охотничий костюм; но имел пиджак и фрак для поездок за границу и с улыбкой вспоминал, как по привычке по дороге на вокзал прикладывал руку к отсутствующему козырьку. После революции он приобрел привычку к штатскому платью, однако своего фрака ни разу в Москве не надевал, да едва ли и мог бы надеть; называл его допотопным и думал, что это слово тут почти верно даже в буквальном смысле. Перед отъездом он колебался, взять ли фрак с собой, попробовал надеть и только вздохнул: борты не сходились, застегнуть было бы невозможно. Ему вспомнилась и поразила бессмысленностью слов песенка: „Мой старый фрак, не покидай меня“. Старый фрак был в Москве продан. Новый, сшитый в Париже — „второй в жизни и последний“, — он впервые надел для кангаровского обеда. Опасаясь, как бы чего не напутать

после двадцати пяти лет, он за два дня до того нарочно пошел в оперу и присмотрелся, как у людей, затем купил все новое: рубашку, запонки, галстук. Оказалось, что галстуки теперь носили другие, какие-то сложные, каких в его время не было: несмотря на снисходительные объяснения приказчика, он и завязал этот нового типа галстук лишь с большим трудом. Когда туалет был закончен, Тамарин перед зеркалом пошатывавшегося шкафа с некоторым чувством жалости к самому себе улыбнулся своему удовлетворению: „точно юноша“ — так он почти полвека тому назад любовался собой, впервые надев великолепный гвардейский мундир.

В новеньком фраке он был, хоть по-старчески, чрезвычайно представительен и осанист. „Господи, как вы ослепительны, Константин Александрович! — сказала Надежда Ивановна. — Ужасно вам идет, уж-жа-асно! Прямо восторг!“ Он смущенно улыбался. „Я что? А вот вы, да!“ Наденька тоже была хорошо одета или, по крайней мере, так ему показалось. Он не знал, сколько беспокойства и волнения у нее из-за этого было: ей-то и справиться было не у кого. Кангаров только сказал: „Ты у меня, детка, приоденься, ну там всякие фиogli-мигли, что полагается, помни, что это первый ресторан в Париже, то есть в мире. И Вермандуа будет, — небрежно добавил полпред, — знаешь, знаменитый писатель: чуть что не так, он сейчас же заметит, высмеет, да еще в романе тебя изобразит“. Надежда Ивановна сделала наивно-испуганное лицо. Ее беседы с Кангаровым в последнее время сводились главным образом к несложной мимике. Она сама думала, что эта мимика стала в конце концов просто глупой. „Но зато очень удобно“.

В этот день Надежда Ивановна после долгих и мучительных колебаний выщипала себе брови; ей было очень совестно, вдобавок она не знала, как к этому отнесутся. К некоторой ее досаде, Тамарин совершенно не заметил новшества: был очень смущен, когда она, не вытерпев, сама ему об этом сообщила. „Нет, я нисколько не сержусь, — смеясь, говорила Надя в ответ на его сконфуженные слова, — до того ли вам, Константин Александрович...“ „Правда, не сердитесь? Но, милая, зачем же вы это сделали? У вас были очаровательные брови“. — „Да, да, так я вам теперь и поверю, что вы помните, какая я вообще. Но я еще и другое безумие

сделала! Меня надо связать“. — „Что такое?“ „Да вот купила... — она вынула из сумки эмалевую коробочку. — Vanity case“. „Что?“ — „Vanity case — так это называется“. Тамарин смеялся: „Вот так всегда: какой-нибудь остряк выдумает странное выражение, а затем оно приобретает право гражданства, и странности больше никто не замечает. Так было и с „адской машиной“. Сто лет тому назад...“ „Адская машина“ не интересовала Надежду Ивановну.

По непривычке к передвижению в автомобилях, не рассчитав расстояния и времени, они подъехали к ресторану за полчаса до обеда. Человек в ливрее бросился им навстречу. Надежда Ивановна вышла, волнуясь. Тамарин взглянул на часы и предложил зайти в кофейню рядом, а то ждать долго в кабинете будет неловко. Надя тотчас согласилась; отсрочка была ей приятна: она очень робела.

В кофейне они, как всегда, беседовали мило и нехитро. Командарм рассказывал о своей работе (она в этот день шла особенно удачно) и привел цитату из Клаузевица. Надежда Ивановна, не слушая, поддакивала, изредка вставляя: „Неужели? Как интересно!“ — и наудачу широко раскрывала глаза. Ее внимание занимал один красивый человек, сидевший рядом с ними. На вид ему было лет двадцать восемь или тридцать, но Надежде Ивановне почему-то казалось, что он старше. „Француз? Нет, не француз. Скорее англичанин...“ Ей не приходило в голову, что это может быть русский. Он тоже на нее посмотрел и, встретившись с ней взглядом, углубился в вечернюю газету; однако еще раза два от газеты отрывался и бросал беглый взгляд в ее сторону. Минут через десять он взглянул на часы, явно нехотя встал, положил деньги на подставку бокала. В проходе между столиками он нечаянно задел локтем Тамарина и сказал по-русски: „Виноват, извините, пожалуйста“. Командарм от неожиданности вздрогнул, Надя тоже почему-то испугалась. Молодой человек у двери снова на нее оглянулся. „Кажется, мы ничего *эдакого* не говорили?“ — с улыбкой не без смущения спросил Тамарин. „Конечно нет. Вы думаете, это белогвардеец?“ „Уж, во всяком случае, не советский, — смеясь, сказал командарм, — и одет не так, и что-то у них есть такое-эдакое...“ „Терпеть их не могу“, — заявила Надежда

*Карманый весессер (англ.).

Ивановна. „Да, у них у всех сказывается, знаете, оторванность... Оторванность... — поспешил заметить Тамарин. — Я, впрочем, никого из них не знаю“.

XIV.

Хозяин карусели зазывал публику. Дети, волнуясь, размещались на лошадках, свиньях, барашках с высунутыми языками. Матери и няньки давали последние наставления: не высовываться, держаться за шесты. Мальчик с решительным видом сел в лодочку воздушного шара. Крошечная девочка, сестра, с ужасом на него смотрела. Заиграла неизвестно откуда шедшая музыка, карусель закружилась. Дети, проносясь мимо Вислиценуса, хмуро-решительно держали поводья и рули. Два ездока рядом скакали на барашках: один взлетал, когда опускался другой. Карусель, дойдя до отпущенной ей предельной скорости — везде стоял крик и визг, — стала замедлять ход. Музыка замолчала. Карусель остановилась. Визг прекратился. Дети, кто с гордостью, кто с огорчением на лице, сходили с барашков, свиней, автомобилей. Перед Вислиценусом были облезшие черные звери.

XV.

Обед Кангарова устроился случайно. Людям, которые могли обедом интересоваться, он говорил, что должен оказать любезность одному международному финансисту: „с волками жить — по-волчьи выть“ (эту фразу ему приходилось повторять в последнее время весьма часто). Финансист-волк вел переговоры об очень большой сделке, Кангаров к ним прямого отношения не имел, но его из другого ведомства просили помочь; именно для этого дела он и приехал в Париж. За границей большие дела начинались, обсуждались и решались в дорогих ресторанах. Финансист кормил Кангарова в Париже и в Амстердаме, теперь надо было ответить обедом в его честь. В доме финансиста посол познакомился с Вермандуа и тотчас его пригласил, взяв внезапно натиска. Нельзя было не позвать знаменитого адвоката Серизье, который принял на себя труд юридического оформления дела. Заодно была приглашена одна очень знатная графская чета. Хуже были остальные гости. Надежду Ивановну Кангаров позвал

потому, что хотел побаловать детку, „и все-таки неловко, чтобы та дура была единственной дамой“, — пояснил он сам себе, разумея графиню. Тамарина следовало отблагодарить за внимание к Наденьке; командарм, человек осанистый, хорошо говоривший по-французски, вдобавок бывший царский генерал, явно не мог ничего испортить. Что до доктора Зигфрида Майера, то он чуть не сам назвался на обед, также используя прием внезапной атаки. С этим человеком, прежде в Германии влиятельным и важным, Кангаров в свое время поддерживал самые добрые отношения, часто с ним встречался на разных конференциях, бывал у него в доме. Теперь Зигфрид Майер оказался в эмиграции и, по-видимому, нуждался. Отказать ему в просьбе Кангаров не считал достойным — „нельзя быть свиньей“, — доктор Майер к тому же ссылаясь и на дело: ему чрезвычайно нужно было познакомиться с Вислиценусом, о приезде которого в Париж ему стало известно.

Услышав имя Вислиценуса, Кангаров насторожился. Звать на обед человека из „Люкса“ ему очень не хотелось. Однако и уклониться тоже было неудобно: „если у них есть дело, еще скажут, что я его сорвал!..“ О положении Вислиценуса в Москве ходили разные слухи: одни говорили, что он в большой милости, другие уверяли, что его карьера кончена. И то и другое было возможно. Однако, по некоторым намекам, шедшим от людей особенно осведомленных, Кангаров был склонен думать, что положение Вислиценуса пошатнулось. „Лучше бы не приглашать. Вообще, этот обед растет как лавина“, — недовольно подумал посол и все же, поколебавшись, решил исполнить просьбу Майера. „Но больше ни души не звать, довольно...“ Он делал вид, будто устраивает обед лишь по крайней необходимости. В действительности Кангаров был по природе очень гостеприимен. Кроме того, после недавних, еще не вполне отпавших волнений ему хотелось рассеяться — „забыться“, как он говорил Надежде Ивановне, не указывая, впрочем, причины волнения: „эх, все трывтрава...“ Приготовления к обеду его в самом деле рассеяли. Некоторая разнородность общества его не смущала: давно убедился в том, что с этими графинями церемониться незачем, и любил даже повторять вычитанные им в газете слова лорда Китченера: „У меня в жизни были два страшных врага: африканские комары и светские дамы“.

Когда управляющий рестораном показал ему проект меню, Кангаров с удовлетворением сказал: „Ça va, ça va“* — и лишь велел отменить коктейли, а вместо них подать пятидесятилетний херес из особого запаса, ошеломляющий и по цене, и по действию. „По крайней мере, будет весело“. Он знал по опыту, что на самых серьезных деловых и политических обедах ход и успех переговоров — не в главном, разумеется, а в существенных подробностях — часто зависит от того, создадут ли обстановка и особенно вино хорошее благожелательное настроение. На этом обеде, впрочем, деловой беседы не предвиделось: с финансистом уже почти все было обсуждено и решено; следовало лишь закрепить добрые отношения.

Кангаров приехал в ресторан минут за десять до назначенного времени, на случай, если б кто-либо из приглашенных явился рано. В сопровождении управляющего и метрдотеля он прошел в заказанный кабинет, окинул стол хозяйским взглядом и остался очень доволен. Все было отлично. На маленьком столике стыли в ведре со льдом шампанское и рейнвейн. Икра была не черная, а серая, с крупным зерном, та самая, которую он особенно любил. Бутылка хереса была так запылена, точно ее после пятидесяти лет только что выкопали из земли. Управляющий и метрдотель принимали последние распоряжения, почтительно добавляя: „Oui, Votre Excellence, Oui, Monsieur l’Ambassadeur“. Дверь отворилась, и в кабинет вошла Надежда Ивановна в сопровождении командарма Тамарина. Она показалась Кангарову ослепительно красивой. „Положительно влюблен, влюблен, как мальчишка!“ В отличие от Тамарина он тотчас заметил революцию в лице детки, замер от восторга и погрозил ей пальцем. Но Надя даже не улыбнулась в ответ — так она была взволнованна. „Буржуев испугалась!“ — презрительно ругнула она сама себя. Глаза у нее разбегались. Стол, длинный и узкий, как и кабинет, был убран ослепительно. „С кем меня посадят? Вот бы хорошо, если б со своими!.. А там за второй дверью что?“ В кабинет, кроме небольшой передней, выходила отделенная портьерой комнатка с диваном. „Верно, тут устраиваются оргии!“ — с жадным любопытством подумала Надежда Ивановна. На стенах были зеркала; Надя еще в передней увидела свое изображение в зеркале кабинета. „Нет, кажется, все как

* „Хорошо, хорошо“ (*Фр.*).

следует“, — решила она, довольная и бровями, и туалетом, и эмалевой коробочкой в сумке.

— Хороша, очень хороша, — ласково-небрежно сказал Кангаров. — Ай да мы! Шик, блеск, иммер элгант... Честь имею кланяться, Командарм Иванович, спасибо вам. Ну-с, что скажете об испанских делишках? Как-то наш Фердинанд изворачивается?

Тамарин начал было излагать свои соображения, но в кабинет как раз вошли Серизье и финансист.

— Вы нам, Командарм Иванович, изложите все это за обедом, только, пожалуйста, по-французски, говорить по-русски строго воспрещается, — поспешно сказал, отходя от него, посол.

Он познакомил гостей и, представляя Тамарина, до- бавил: „Один из лучших наших генералов“, — в разго- воре по-французски можно было употребить и слово „генерал“. Финансист с любопытством взглянул на ко- мандарма. „Мы как раз говорили об испанских делах“. „Я думаю, что после взятия повстанцами Бадахоса...“ — начал было Тамарин и запнулся. „Кто же их знает, что это за люди?“ „Чрезвычайно интересно будет узнать мнение большого советского специалиста“, — сказал поощрительно знаменитый адвокат. Лицо финансиста ничего не выражало, но мысли его можно было без риска перевести так: „Да, взяли Бадахос, возьмут и все остальное и перевешают вашего брата, и слава Богу. Ну а впредь до того можно и дела делать, и обедать, осо- бенно если здесь“. Надежда Ивановна старалась, скры- вая волнение, еще раз заглянуть в большое стенное зеркало, но так, чтобы никто не заметил этого по- стыдного действия. „Ах, подлец этакий, просто усташ какой-то!“ — со злобой подумал Кангаров: на пороге показался человек из „Люкса“, в наглом, рыжеватом, потертом пиджачке, с наглым, мягким, цветным ворот- ничком. „Этакий неуч, свинья и хам!“ — произнес мыс- ленно посол, крепко *по-товарищески* пожимая руку Вислиценусу.

XVI.

В это время Луи Этьенн Вермандуа еще только вы- ходил из своей квартиры. Работа его шла в тот день довольно необычно. Роман из древнегреческой жизни неожиданно получил новое направление. Одно из дей- ствующих лиц встретилось с Лисандром в другой, го- раздо более выигрышной и правдоподобной обстановке;

это вышло как-то само собой, но для объяснения действующее лицо должно было совершить поступок, которого оно первоначально не совершало; поступок этот по размышлению оказался вполне естественным и чрезвычайно подходящим для действующего лица; характер его становился гораздо более жизненным, действие романа более напряженным, и весь роман явно очень выигрывал. В совокупности это могло называться вдохновением, и Вермандуа испытал несколько минут истинного счастья. „Но как мне это раньше не приходило в голову? Впрочем, я тут, собственно, ни при чем: видно, и в самом деле герои художественных произведений живут самостоятельной жизнью, и то, что в связи с этим рассказывают о Флобере, о Стендале, о Толстом, не просто выдумка, пущенная в обращение их почтительными биографами, глубокомысленными критиками или, быть может, ими самими“.

Лисандром в романе уже с месяц назывался Анаксимандр; в белой рукописи не только везде было вставлено новое имя, но первоначальное — старательно вымарано: почему-то Вермандуа было совестно, что Анаксимандр стал Лисандром, совестно перед молодым секретарем, переписывавшим его роман. „Как ему объяснить, что Лисандр просто плох, тогда как Анаксимандр был ужасен и невозможен?“ Впрочем, то, вообще, что он писал романы, независимо от их достоинств и недостатков, вызывало у Вермандуа чувство смущения и неловкости перед всеми: он сам не знал, перед кем больше — перед пишущими или перед непишущими людьми, — и думал, что, например, у музыкантов или у живописцев таких чувств нет и не должно быть.

После намеченных перемен мысли Лисандра стали еще более мрачными, чем были раньше, и, к сожалению, выходило так, будто Лисандр был очень хорошо осведомлен о событиях, происходивших в Европе в двадцатом столетии, особенно после войны. Вермандуа быстро стал записывать в тетрадь перемены и новые мысли — теперь переделать надо было очень многое, а забыть так легко. В увлечении работой он не смотрел на часы, и, когда ее кончил, оказалось, что до обеда остается не более двадцати минут. Проклиная себя, он стал поспешно одеваться: „очень нужно было идти к этому господину“.

О Вермандуа недавно прошел в Париже слух, будто он вступил в коммунистическую партию. В минуты,

когда свет, издатели и то, что он уже называл, как другие, „буржуазной литературой“, становились ему особенно противны, Вермандуа говорил, что не сегодня-завтра окончателно примкнет к коммунистам. Тон его был такой, точно он кому-то грозил. Впрочем, он отлично знал, что и друзья, и враги в литературном мире отнесутся к этому вполне равнодушно: „Avez-vous entendu la dernière de Vermandois?.. Elle est bonne, n'est-ce pas?“* Что до политических деятелей, то они (это тоже знал), при всей своей почтительности к нему, никогда его всерьез не принимали. Часто просили о предисловиях к сборникам их речей или статей, но и то лишь потому, что une gréface de Vermandois# все еще довольно высоко расценивалось издателями: пятьсот лишних экземпляров. Обычно он и не отказывал в предисловиях, причем хвалил внушавшие ему отвращение сборники так неумеренно, что не знавшие его лично люди с недоумением пожимали плечами, а другие политические деятели скоро к нему обращались также с просьбами о предисловиях.

В партию он, однако, не вступил. Были многочисленные „за“ и „против“. „Отдельный человек теперь совершенно бесполезен, — говорил иногда в обществе Вермандуа, — в мире сейчас идет лишь одна борьба, и в ней надо выбрать себе место на той или на другой стороне. Оттенки не имеют никакого значения. У нас на выборах всегда выступает десять или пятнадцать по-разному называющихся партий, причем главная правая партия носит название левых республиканцев, — все это пустые слова. Так, лучшая улица Парижа называется полями, но никто ведь не думает, что на ней сеют пшеницу или пасут коров. В действительности во Франции всегда борются лишь две партии, представляющие реакцию и прогресс (он невольно морщился, произнося эти слова). И точно так же в той великой борьбе, которая теперь идет в мире, вступившем в период социальной революции и социальных катастроф, совершенно бессмысленно обольщаться словами и оттенками: хочешь служить делу — записывайся в партию...“

Это было главное „за“. Но имело известное значение и негласное „против“. Дело было даже не в происходившем в России терроре, который, вероятно, — кто их

* „Вы слышали последнюю новость о Вермандуа?.. Хорошо, не правда ли?..“ (Фр.)

#Предисловие Вермандуа (Фр.).

разберет? — оправдывался необходимостью и на расстоянии в тысячи километров не внушал Вермандуа особенного ужаса: казнь неизвестных ему людей не могла волновать его больше, чем землетрясение на Мартинике или холерная эпидемия в Китае. Гораздо хуже было то, что у коммунистов существовало твердое учение, не только обязательное для низов — с этим можно было бы примириться, — но вполне серьезно признававшееся гениальным и на верхах партии. Вермандуа с напряжением прочел несколько книг об этом учении, освежил в памяти еще несколько других и со вздохом признал, что это — философия для кухарок. „Что ж, и кухаркам нужна какая-нибудь философия, и, быть может, смысл политической жизни заключается в том, чтобы из нескольких плоских систем избрать наименее плоскую или наиболее заразительную? Но я не кухарка, да и нет гарантии, что наименее плоская система именно эта. Для общего же быстрого поглупения, для того, чтобы все стали лакеями и кухарками, нынешняя немецкая философия еще лучше: немцы — мастера непревзойденные...“ Кроме того, он чувствовал, что в случае вступления в партию ему придется по меньшей мере три раза в год выступать на митингах, нельзя ведь будет постоянно ограничиваться приветственным письмом, придется посылать разные телеграммы, хоронить знатных покойников. „Право, лучше подождать...“ Вермандуа объявил кому следовало, что пока не чувствует себя вполне созревшим для столь важного действия. Сказал он это с видом взволнованным, проникновенным и несколько загадочным, именно так, как требовалось, и слова его произвели сильнейшее впечатление.

Запонка вошла в тугой воротничок свободно, легко завязались тесемки на туфлях (надевать туфли ему в последнее время становилось все труднее), и ровно в восемь Вермандуа вышел на улицу. Собственно, можно было бы даже отправиться по подземной дороге: опоздать минут на пятнадцать или на двадцать — не беда. Но ехать к ресторану надо было с пересадкой, езда под землей, длинные коридоры с лестницами очень его утомляли — ничего не поделаешь, нужно потратиться на автомобиль. Вермандуа купил вечернюю газету и, садясь, пробежал ее: „все то же!“. Франция предлагала другим державам обсудить вопрос о невмешательстве и о локализации испанского конфликта. Это предложе-

ние, как сообщала газета, „оживленно обсуждалось в политических кругах всех столиц Европы...“ „Нет, все-таки лучше, когда страной правят жулики. Есть особая порода благороднейших людей, из-за которых погибают государства и происходят величайшие исторические катастрофы“.

Разносчик, получая деньги, окинул мрачным взглядом смокинг Вермандуа. „Non, vous avez beau dire, c'est un fameux type, ce Hitler!“* — сказал молодой человек рядом с ним. „Да, в самом деле, по-своему они правы. Если мы с Лисандром ничего, кроме эlegantного пессимизма, им предложить не можем, а Декларация прав человека пошла главным образом на благо всевозможным Стависким, то они правы, что любят силу, грубость, наглость и плюют на все остальное...“ „Народ радостно бросился в рабство“, „ruit in servitium“, — вспомнил он слова Тацита и с досадой подумал, что память, вечно подсказывающая цитаты, отравляет ему жизнь. „Что ж делать, все давно сказано. Но если бы память работала хуже, то у меня, как у людей невежественных, была бы иллюзия „нового слова“. Точно есть новые слова под солнцем!“ Он взглянул на небо. Солнца уже не было. Догоравший закат поразила его, точно он впервые это увидел. „Как беден язык самых великих мастеров! В молодости я был уверен, что можно и нужно придумывать для описания этого еще какие-то новые, верные, настоящие сравнения, образы, эпитеты, и ломал себе голову над тем, как бы по-новому описать закат, лес, море. Маньяк! Всю жизнь прожил маньяком!..“

Ему пришли те самые мысли, которые три тысячи лет одинаково приходят всем людям, умным и глупым, ученым и невежественным, при виде неба или кладбища. „Да, и это испанское восстание, и все, о чем сообщается в газетах, теперь для меня имеет не больше значения, чем обед у этого господина, которому, кроме икры и ананасов, необходим еще „блеск сверкающего слова Вермандуа“ (таково было обычное клише о нем у дружественных репортеров). Жить осталось, вероятно, еще года два или три, в лучшем — или в худшем случае — пять-шесть лет. Нового ждать давно нельзя ничего. И как это ни глупо, глупо до идиотизма, весь остаток жизни, должно быть, сведется к „сверканию“ на

* „Нет, вы напрасно говорите, это удивительный тип, Гитлер!“
(Фр.)

обедах у темных, невежественных людей (он тут же принял решение говорить весь вечер только о погоде). В сущности — несмотря на испытанное сегодня наслаждение, — можно было бы легко обойтись и без сверкающего грека Лисандра, и без тридцать седьмой по счету сверкающей книги, благо, старых тридцати шести почти никто не читает, — разве один француз из пяти тысяч. Триста лет тому назад немногочисленные, редко выходившие книги читались людьми для спасения души. Тридцать лет тому назад, когда я был одним из самых модных писателей Европы, мои книги читались для того, чтобы можно было щегольнуть в обществе цитатой и вызвать восторженную улыбку дам: „так говорит Вермандуа“. Теперь те, „пятитысячные“, пробегают мои произведения по привычке — надо же что-нибудь и почитать — или от скуки, когда нельзя ни пойти в театр, ни поиграть в бридж. Моя слава, как родовитость захудалых домов, *dogmit, non exstinguitur**. Но обольщаться не приходится: нет такого провинциального журналиста, который не был бы уверен, что где-то есть читатели, вырезающие его статьи и делающие из них выписки, и хуже всего то, что провинциальный журналист прав. Моим же „поклонникам“, как и читателям-врагам, достаточно известно, что я „уже все сказал и теперь перепеваю старое“ (это было клише о нем у репортеров враждебных, впрочем, довольно редких). То, что я теперь пишу гораздо лучше, чем в молодости, что я стал опытнее, учнее, умнее, что моя фраза стала чище, точнее, тверже, этого никто не видит, кроме нескольких таких же маньяков, как я, читающих мои новые произведения с ненавистью, с тем, чтобы наконец-то сказать искренно: „*Il est fini, Vermandois!*“**. Неискренно они говорят это все равно. Ну, и Бог с ними! Перед смертью я скажу, как лорд Голланд, которого хотел навестить в последнюю минуту его лютый враг. „Пусть придет, пусть придет: если я еще буду жив, то мне приятно будет его увидеть; а если я уже буду мертв, то ему приятно будет меня увидеть“.

Он подумал, что эту цитату надо будет при случае вспомнить в обществе, разумеется, не сегодня. Собственно, у него лютого врага в критике не было. Были критики, недостаточно с ним почтительные или менее

*Спит, не мертв (*лат.*).

**„Он кончился, Вермандуа!“ (*фр.*)

почтительные, чем с другими знаменитыми писателями. Он вздохнул: „Да, конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы с ним было как в Версале, где в присутствии Людовика XIV не позволялось кланяться никому другому...“ Были критики ласково-развязные — те, что, излагая содержание книг Бергсона, Франса, его самого, писали об авторах: „*наш философ*“, „*наш романист*“. Были критики, постоянно и без всякой видимой причины менявшие отношение к нему с приветливого на грубое, больше от собственной нервности, — вроде как герои и героини Достоевского в минуты особенного волнения вдруг почему-то (это всегда очень его смешило) переходят на „ты“: „А, так ты лжешь! Я вижу, ты лгал!“ — вскричала она“. Были — особенно в последнее время — критики, внешне весьма любезные, но неизменно вскользь упоминавшие, что его книги, к сожалению, больше не имеют вполне заслуженного ими успеха. „Надо было бы в самом деле основать что-либо вроде „обедов освистанных авторов“ Флобера, Тургенева, Доде, это очень мило, когда освистанные авторы — Флобер, Тургенев и Доде“. Были, наконец, критики, вполне разумные и добросовестные, — те, что всегда чрезвычайно его хвалили. „Жаль, каждому из нас приятно жаловаться на *травлю*... Особенно когда травли нет...“

Соображения эти заняли его, и он не сразу вернулся к прежнему ходу мыслей: „Да, зачем же жить в этой обстановке, с этими людьми? Гёте говорил Эккерману, что периоды общественного регресса и морального падения особенно благоприятны для мысли и внутренней жизни. Заработок? Но можно уехать куда-нибудь в глушь, где жизнь дешева, где есть озеро, лес, уехать, захватив с собой не шесть тысяч книг (это тоже мания), а сотню, но настоящих, так называемых вечных. Там поселиться до конца дней. Не с тем, конечно, чтобы „вернуться к народу и приобщать его к культуре“, как в последнее время требуют снобы еще какого-то нового, или, вернее, периодически вновь выплывающего образца, быть может, просто собирающиеся выставить свою кандидатуру в палату, — нет, уехать для того, чтобы в последние годы жизни не видеть ни снобов, ни неснобов, ни дураков, ни умных, ни врагов, ни поклонников и жить в обществе тех ста людей, которым посчастливилось первыми, надолго, навсегда сказать с достаточной силой правду о жизни и человеке. И, может быть, даже не писать, а просто жить для того же, для чего

Рабле хотел стать королем: „Afin de faire grand chère, pas ne travailler, point ne me soucier, et bien enrichir mes amis et tous gens de bien et de scavoir“*. Ну, без обогащения друзей и gens de bien можно бы и обойтись...“

Однако он чувствовал, что едва ли уедет в глушь: не был уверен, что там, в глуши, несмотря на лес, озеро и общение с великими, но умершими людьми, не соскучится по менее знатному обществу, и думал, что, видно, так до конца, до *тех* страшных дней, недель или месяцев, — об этом думать нельзя! — будет жить точно так, как живет уже лет двадцать. И ему снова показалось, что к концу идет вся цивилизация. Будет, вероятно, новая, но дрянная, еще неизмеримо более скверная, чем нынешняя. Если же этой новой цивилизации не будет, то разве лишь потому, что наука обо всем позаботится и даст дикарям возможность уничтожить решительно все, в том числе и самих себя, ибо разрушительная сила науки неизмеримо больше ее защитительной силы. В эту минуту он с особенной ясностью почувствовал, что дикари близко, совсем близко, дикари внешние и внутренние, что он окружен дикарями и что по улицам этого лучшего, самого цивилизованного в мире города сейчас, с наступлением ночи, уже бродят всякие темные, таинственные, страшные люди и замышляют ужасные преступления. Расплачиваясь, он подумал, что у шофера зверское лицо, и у подбежавшего, по-особенному, для унижения, одетого человека тоже, и такое же у метрдотеля, почтительно проводившего его в отдельный кабинет, знакомый ему лет сорок. Почти с ужасом здороваясь со странным человеком в рыжем пиджаке, с другими гостями, он со сладко-сконфуженной улыбкой рассыпался в извинениях и мягко всех упрекал за то, что не сели за стол без него. „Что вы, cher Maître, мы все только что съехались, вы несколько не опоздали“, — любезно сказал Кангаров, знакомя приглашенных со знаменитым гостем, который знал только финансиста и графскую чету. „Как не опоздал! Я очень прошу извинить меня, господа...“ „Akademische Viertelstunde“[#], — вставил доктор Зигфрид Майер и сам перевел свои слова на ужасный французский язык. „Вот у девочки лицо не зверское, а прелестное, и это самое лучшее в мире“, — подумал Вермандуа, с отвра-

*.Чтобы устраивать застолья, не работать, ни о чем не заботиться, обогащать своих друзей и всех добрых и ученых людей“ (*старофр.*).

[#]„Традиционные четверть часа“ (*нем.*).

щением прислушиваясь к акценту Майера (он сознавал, что это нехорошо, но терпеть не мог немцев: и левых, и правых, и всяких других). „К столу, дорогие друзья, к столу! Я рекомендую вам херес“, — весело сказал Кангаров-Московский.

XVII.

Убийство было назначено на 9 часов 15 минут. Время он рассчитал точно и составил расписание: в таком деле очень важен *темп*. Этот поезд из Парижа в Лувесен был почти всегда полон, как и обратный, привозивший запоздавших на даче парижан. Поезд приходил на лувесенскую станцию ровно в девять, от вокзала до виллы надо было идти семь минут. Приблизительно столько же он считал на разговор: нельзя же прямо, в передней, с первого слова стрелять. Затем четверть часа отводилась на поиски денег, минут десять в *запас*, на всякий случай, семь минут на возвращение. Дачные поезда по этой линии шли с совершенной точностью.

Позднее Альвера с удивлением вспоминал, что провел этот день в общем довольно спокойно, с внешней стороны почти так, как всегда. Накануне лег в постель в одиннадцать. Перед сном, замирая, думал: не откажется ли? Еще с месяц тому назад это было вполне возможно, хоть и нелегко. „Теперь нельзя. И почему же отказываться? Его, что ли, жаль? Старик скряга, отсчитывал сантимы за пробелы внизу страниц, но зла я от него не видел... Однако если с этим считаться, то никого нельзя убивать. С точки зрения Дарвина, его надо убить в первую очередь, так как он дегенерат: это видно и по его тикю“. У месье Шартье в самом деле часто дергались лицевые мускулы вокруг левого глаза. По-видимому, тик отравлял ему жизнь: он всегда поспешно отворачивался, стыдясь своего недостатка и стараясь его скрыть. „Странно все-таки, какие вещи отравляют существование людям...“ Обо всем этом Альвера думал *так*, не серьезно, не по-настоящему: уместны были по-настоящему только соображения о технической стороне дела. Тут тоже все было передумано: он не оставил без внимания ни одной подробности. Теперь перебирал их в мыслях бегло, конспективно, почти механически. „Да, конечно, отступить поздно“, — еще раз сказал он себе. Сам не мог бы объяснить, почему именно поздно и с каких пор поздно. Но это было так. В постели заставил себя еще почитать книгу: мемуары

Ласенэра. Хотя Альвера совершенно презирал этого человека, но, когда дошел до фразы: „В это время начался мой поединок с обществом. Я решил стать общественным бедствием“, чуть не прослезился от радости и умиления. Последние колебания у него исчезли. „Да, разумеется, все решено!“ Он тотчас заснул и спал если не вполне хорошо, то едва ли не спокойнее, чем обычно.

Все же проснулся он утром в ужасе, поднялся на постели и несколько минут просидел с широко раскрытыми глазами: „Сегодня!..“ Знал, что уж теперь решения ни за что не переменить. Ему даже казалось, что это больше от него не зависит. С утра весь день его беспокоила зевота, точно он провел бессонную ночь. Альвера умылся, выбрился, ни разу себя не порезав — „значит, руки не дрожат и *не будут* дрожать“, — оделся и, когда застегивал запонку, подумал, что *так* надо будет прожить еще двенадцать часов. Силы на мгновение его оставили. Справившись с собой, он постановил ни в чем не отступать от своего обычного времяпрепровождения: отступление от привычек могло бы вдобавок оказаться против него косвенной уликой. „Хоть уж если дело дойдет до таких улик, значит, я погиб...“ Альвера напился кофе; есть ему не хотелось, и все беспокоила зевота. Написал письмо портному — обстоятельство обоюдоострое: „С одной стороны, человек, идущий на убийство, не станет торговаться с портным из-за двадцати франков; но, с другой стороны, в случае провала, факт отягчающий: „какое хладнокровие! закоренелый злодей!“

В десять часов он отправился к Вермандуа. Старик, вопреки своему обыкновению, был, по-видимому, увлечен работой. Рассеянно поздоровался с секретарем, не отрываясь от стола, рассеянно сказал: „Да, да, так им и ответьте, мой друг“ — и, видимо, очень желал, чтобы его возможно скорее оставили в покое. Перед ним на столе лежала раскрытая папка греческого романа, он что-то необычно торопливо писал. Из обращения „*mon ami*“ Альвера сделал вывод, что старый маньяк чем-то доволен, вероятно, работой, иначе сказал бы более сдержанно: „*mon cher ami*“.

Впоследствии Вермандуа не мог себе простить, что не обратил в то утро никакого внимания на своего секретаря: это был, конечно, единственный случай поговорить с человеком, который рассчитывал вечером того же дня совершить убийство. „Но как же я, профессиональный наблюдатель, ничего тогда в нем не заме-

тил?!“ Надо было признать правду: он не заметил решительно ничего, все его мысли были заняты коринфской ветречей Лисандра. Альвера смотрел на старика с совершенным презрением: к собственному его удивлению, замысел внушал ему сознание большого *морального* превосходства над людьми, неспособными ни на что подобное. И опять он весело себе представил изумление Вермандуа в случае, если б завтра внезапно явилась полиция и сообщила, что его секретарь убил человека с целью грабежа. Было почти досадно, что этого не будет: преступление останется нераскрытым.

Закончив секретарскую работу, Альвера погулял по улицам, не переставая нервно зевать, затем позавтракал в дешевом ресторане: насильно себя заставил поесть в меру (он знал, сколько калорий дает каждое блюдо), не пил вина — „алкоголь для такого дела всего опаснее“, — но воды выпил очень много. Купил на ужин ветчины, отправился домой. Дома делать было нечего: обычно он в эти часы занимался перепиской или чтением. Попробовал читать, оказалось невозможным. Только пробежал газету, думая о том, что в ней будет напечатано завтра, вот здесь, на этом месте... Сел за письменный стол и за отсутствием другого дела стал снова конспективно проверять цепь своих умозаключений.

Способы уличения преступников сводились, как ему было известно, к сознанию, к свидетельским показаниям, к прямым и косвенным уликам. „О сознании речи нет — пусть сознается кретин Достоевского. Свидетельские показания? В этот поезд на станции садится в среднем человек восемь или десять. Если они все запомнят друг друга в лицо, то подозрения должны распределиться между четырьмя или пятью людьми: в самом деле, можно предположить, что остальные по той или иной причине окажутся вне подозрений. Но почему след должен вести именно к этому поезду? Убийство будет обнаружено на следующее утро, если поденщица в этот день приходит к месье Шартье. В противном случае узнают об убийстве еще позднее. Врачи устанавливают час смерти лишь с приблизительной точностью... „Меньен, основные данные, танатологическая фауна...“ — мелькали у него в голове обрывки из прочитанных научных трудов. „Хотя тут едва ли может идти речь о танатологической фауне... Предположим, они установят, что убийство произошло между семью и десятью вечера. За это время через Лувесьен проходит

около десяти поездов. Значит, подозрения уже распределятся приблизительно между сорока или пятьюдесятью людьми. Это можно было бы даже рассчитать математически точно... Впрочем, математически точно рассчитать нельзя, так как неточны предпосылки: почему именно половина пассажиров окажется вне подозрений? может быть, треть или две трети? И как на основании поездов, совершавшихся в разное время, в разные дни, в разные часы, сказать с уверенностью, что в среднем на станции в поезд садится именно десять человек, а не восемь и не пятнадцать?.. Как бы то ни было, это неопасно. Гораздо хуже, если кто-нибудь обратит внимание в Лувьсьене. Где же именно? На тропинке, что идет от большой дороги к вилле месье Шартье, я ни разу никого не встретил. Неужели сегодня встречу в первый раз? (Тогда, разумеется, страшно усиливается подозрение.) На большой дороге, напротив, в летний вечер всегда шляется немало людей, и местных, и парижан, — это не страшно именно потому, что их много. Самый опасный момент: переход с тропинки на дорогу. Но, во-первых, освещение там плохое, фонарь далеко. А, во-вторых, я постараюсь прошмыгнуть быстро, когда на дороге никого не будет. Полиции же и вообще, должно быть, три человека на всю деревню. Я за все время только раз встретил циклистов, да и те, кажется, ехали в Сен-Жермен...“ Он вышел в коридор, налил в графин воды, выпил залпом стакан и вернулся к своим мыслям:

„Допустим, однако, что кто-нибудь почему-либо обратит внимание. Допустим, что он, прочитав затем об убийстве, заявит о своих подозрениях полиции, хотя люди очень неохотно делают такие заявления: хлопотливо, придется выступать на допросе, на суде, да вдруг еще навлечешь подозрения на себя! (Другое дело, если меня поймают. Тогда мои фотографии появятся в газетах, и тогда меня *опознают* даже люди, никогда меня в глаза не видевшие.) Все же допустим, что кто-то заметит и отправится в полицию. Что же он покажет? Что видел молодого человека в темном костюме и в очках? Но темного костюма я носить больше не буду несколько месяцев, а очки — примета ложная, которая, следовательно, только собьет следствие... Вначале к тому же они, верно, будут искать среди лувьсьенских...“

Он опять примерил очки. Уже выработалась некоторая привычка: теперь носить их было не так странно и

неприятно, как раньше. Покупка сошла не совсем гладко. Оптик советовал сначала спросить врача: „У вас как будто конъюнктивит“. — „Да, я и лечусь у врача, он мне велел носить за работой очки...“ — „Какой же номер?“ — „Этого я не помню, но у меня близорукость очень слабая“. — „Врач не указал номер?“ Оптик пожал плечами и усадил его против доски с рядами букв разных размеров. Альвера притворился, что не разбирает только самых мелких букв. Очки были приобретены, но осталось смутно-неприятное чувство: проделано необдуманно, в научном убийстве и такая мелочь должна тщательно обдумываться вперед. Носить очки было странно, и тут тоже вышла неожиданность. Он опасался, что в очках будет видеть хуже; оказалось, напротив, что видит лучше и *по-новому*: люди, деревья, вещи стали иными. Решил все же снять очки при входе в дом меье Шартье, так как в очках никогда не стрелял. „Да еще у него могли бы возникнуть подозрения...“ В общем, очки были наиболее слабой технической выдумкой: не так они и меняют облик человека.

Походил, зевая, по комнате, выпил еще воды, поправил книгу, выдвинувшуюся из ряда на полке. Подумал даже, не поробовать ли над „Энергетическим миропониманием“? Это было бы высшим торжеством воли и духа: в такой день работать как ни в чем не бывало! Однако за работу не взялся — уже не стоило — и вернулся к уликам. Дактилоскопических отпечатков не будет. Он знал, что это самое страшное, и решил все проделать в перчатках. „Мера элементарная, безошибочная, и если преступники к ней прибегают сравнительно редко, то это лишний раз показывает, на какой низкой ступени стоит техника преступления. У сыска есть свои Шерлоки Холмсы, но их дело неизмеримо легче: они не убивают, а выслеживают, не нарушая ни человеческих, ни так называемых божеских законов. Убийца в отличие от сыщика связан всем: законами, страхом, обстановкой, сроком, отсутствием аппарата, „угрызениями совести“, — Альвера засмеялся. „Быть может, мое преступление будет первым научным убийством в истории!..“ К перчаткам он тоже привык: в последний раз стрелял в лесу в перчатках, дома в перчатках вынимал бумаги из ящиков. Чтобы не вызвать как-нибудь подозрений у заказчика, не снял перчаток, отдавая ему позавчера работу, сослался на какое-то накожное заболевание и тотчас пожалел, что сослался: „вдруг он мнительный человек, испугается заразы, не

даст продолжения рукописи?..“ Но у месье Шартье как раз дернулось лицо: он быстро отвернулся и не спросил ни слова о кожной болезни.

Не могло быть и косвенных улик. Старику его фамилия известна не была. Альвера к нему обратился по газетному объявлению, работу всегда приносил, — только при знакомстве пробормотал очень невнятно нечто вроде имени. По тому мычанию, которым Шартье, обращаясь к нему, сопровождал слово „месье“, ясно было, что он совершенно не знает, как зовут переписчика. „Да и не может знать... Едва ли этот одинокий деловой человек сообщил кому бы то ни было, что дает в переписку бумаги: это все деловые документы, люди о таких вещах распространяются неохотно. А если кому-либо и сказал, то какая же может быть связь между перепиской бумаг и преступлением? Но предположим опять худшее: допустим, он сообщил, например, своей поденщице, что переписчик возит к нему работу на дом. Людей, занимающихся перепиской профессионально, в Париже тысячи, и меня среди них нет, никто не знает, что я этим занимаюсь: я секретарь писателя Вермандуа, больше ничего. Пусть полиция и начнет поиски среди профессиональных переписчиков — лишний ложный след, отлично. Правда, у каждой пишущей машины есть нечто вроде своего почерка. Но почерк моего „Ремингтона“ они могут узнать только после того, как произведут у меня обыск. Тогда это может быть важной уликой, но тогда лишняя улика не идет в счет... Почему вообще попадаете большинство преступников? Прежде всего, по неопытности и легкомыслию: ничего заранее обдумать они не могут. Потом — болтовня; это люди из milieu*, где у полиции множество осведомителей. Затем дактилоскопические отпечатки. Научное преступление в девяти случаях из десяти должно сходиться безнаказанным. В моем деле самое опасное: „сбыть“.

Он вздохнул: здесь было самое слабое место так хорошо разработанного замысла. Альвера предполагал, что его заказчик человек состоятельный: это как будто вытекало и из отдававших им в переписку деловых бумаг. Жил он небогато: правда, своя вилла в Лувесьене — должна стоить тысяч полтора, — но прислуги у него не было: несколько раз в неделю приходила поденщица. Завтракал он в Париже, где проводил утро

*Преступный мир (*фр.*).

и часть дня. Ужинал, по-видимому, у себя, по-стариковски. „Холостяк или вдовец? Скорее вдовец... Знакомства у него, верно, только в Париже. Но если месье Шартье и богат, то какие же доказательства, что у него дома хранятся большие деньги? В бумажнике, когда он расплачивался, были довольно толстые пачки, и не только сотенные: была позавчера пачка крупных. Но, может быть, сегодня ее уже нет? Почему же, однако, все три раза бумажник был полон, а сегодня не будет? Конечно, должны быть деньги и в ящике письменного стола. Если не деньги, то ценные бумаги... — Альвера имел очень смутное понятие о ценных бумагах. — Еще можно ли будет продать? Может быть, номера где-нибудь записаны?.. Во всяком случае, несколько тысяч обеспечены, а с ценными бумагами, при удаче, тысяч пятьдесят...“

С усмешкой вспомнил, что, по данным какого-то криминалиста, уголовное убийство во Франции в среднем приносит убийце сорок франков. „Ну, а у меня будет не в среднем: все другое, и это будет другое... Стального шкафа я у него не видел. Но мало ли какие тайники могут быть у старого буржуа? Тысяч шесть-семь, если не больше, можно положить на его бриллиантовое кольцо. Должны быть и другие ценные вещи... Да, конечно, это слабое место... По теории вероятности, думаю, можно было бы вывести, что я вправе рассчитывать на десять тысяч, как на минимум (тогда, конечно, не стоит!), а как на максимум, тысяч на пятьдесят, пожалуй, даже на сто, если сбывать рационально“. У него и относительно сбыта была тщательно разработанная схема, на ней он теперь не остановился: все в свое время. „Во всяком случае, в первые шесть месяцев не менять в образе жизни решительно ничего. На это-то и попадают мальчишки: убил, ограбил и побежал в веселый дом, где его и ловят. Потом объявить Верманду, консьержке, всем, что я переезжаю в провинцию: климат и воздух Парижа расстроили здоровье, это вдобавок, верно, любой врач подтвердит. А из провинции еще так через полгода, продав все, начать настоящее большое дело...“ Тут опять было некоторое подобие слабого места в цепи: „Стоит ли? Обманывать себя незачем: в конце концов все должно кончиться гильотиной, должно почти математически...“

И опять, уже без прежнего увлечения, в тысячный, вероятно, раз он себе представил арест, тюрьму, суд, ожидание гильотины, казнь со всеми теми же подроб-

ностями, которые прежде его волновали, с „Мужайтесь, Альвера, час искупления настал!“, с рюмкой рома, со своими улыбками и ответами. „Да, страшного, кажется, ничего нет, но и радости тоже мало. И если ремесло убийцы безопаснее ремесла углекопа, то все-таки степень безопасности не такова, чтобы избирать это ремесло без вполне разумных проверенных оснований“. Так же лениво спросил себя: „Уж не вздор ли все это? не навязчивая ли идея сходящего с ума человека? — и так же отбросил это предположение. — Теперь, во всяком случае, рассуждать поздно, — тяжело зевнув, сказал он вслух и испугался: надо во что бы то ни стало отучиться от этой дурной и опасной привычки“.

Есть ему по-прежнему не хотелось, но он подумал, что нельзя уходить на дело, не подкрепившись: „Вдруг головокружение, обморок или что-нибудь такое — и пропал!..“ Заставил себя съесть кусок ветчины. Затем взглянул на часы, зевнул, почти весело потянулся, проверил револьвер, надел перчатки и вышел. В дороге он, подойдя к книжному магазину и как бы внимательно рассматривая близорукими глазами книги, вынул футляр, надел очки. Никто на это не обратил внимания — „совершенно естественно“... Этот прием был маленькой импровизацией: строгая предусмотрительность все же должна оставлять кое-что и на долю находчивости. Он остался собой доволен. С чувством некоторой неловкости, происходившей от очков, все же не совсем еще привычных, он отправился на вокзал. Альвера был спокоен, только зевота стала нестерпимой. И было приятное сознание, что никто из бесчисленных проходивших мимо него людей ничего не может прочесть в его намерениях и чувствах. „Да, да, иду нарушать человеческие и божеские законы, и никто из вас этого не видит, и я всех вас совершенно презираю, как, верно, волк презирает овец...“

XVIII.

— ...Если на то пошло, дорогой Вермандуа, — сказал финансист, — то не можете ли вы заодно сообщить мне дату конца мира? Она должна иметь некоторое значение для биржи.

— Которая, кстати, кажется, сегодня ужасна, — в полувопросительной форме заметил небрежно Серизье. Финансист, улыбаясь, пожал плечами и возвел глаза к потолку. Он о делах всегда говорил так, точно они его

совершенно не интересовали и разве только немного веселили: будто занимался он ими в шутку, или подчиняясь Божьей воле, или чтобы сделать кому-то одолжение. — Отличное вино херес, его можно, в сущности, пить к любому блюду.

— Отчего же вы не верите, господа, в близкий конец мира? — спросил Вермандуа с полуулыбкой, соответствовавшей его полушутливому тону: для серьезного разговора о таких предметах отдельный кабинет ресторана был местом неподходящим. — Наука, конечно, избегает обсуждения этого вопроса, так как ей совестно: зачем же в таком случае ее держать? Но, я помню, в свое время между двумя моими друзьями, очень почтенными естествоиспытателями, шел спор на страницах научного журнала. Один, исходя из мысли об истощении солнечной энергии, утверждал, что Земля непременно погибнет от холода. Другой, ссылаясь на работы великого Клаузиуса, говорил, что Земля погибнет не иначе как от жара.

— Это разногласие нас все-таки несколько утешает, — вставил Серизье. — Может быть, чтобы примирить двух великих ученых, температура Земли останется более или менее нормальной.

— Я предпочитаю холод. Обожаю зимний спорт и нигде не чувствую себя лучше, чем в Сен-Морице, — сказала графиня де Белланкомбр. — А вы?

— В общем, — продолжал Вермандуа, — так называемые точные науки, то есть науки, несколько менее неточные, чем другие, предусматривают немало печальных возможностей, при которых жизнь на нашей милой планете непременно должна погибнуть. Потеря кислорода в воздухе — раз; погружение материков — два; столкновение двух солнц — три; столкновение Земли с кометой — четыре... Других не помню, но...

— Не трудитесь вспоминать, *сег Мaitre*, первых четырех возможностей совершенно достаточно, чтобы отбить у нас аппетит.

— Тогда я протестую, — сказал Кангаров, — нас ждет утка с апельсинами.

— О-о!

— Будем надеяться, что Земля не столкнется с кометой до того, как нам подадут утку.

— Графиня, вы напрасно шутите. Известно ли вам, что Земля чуть было не столкнулась с кометой 1811 года, которая, впрочем, более замечательна тем, что дала Толстому возможность закончить том „Войны

и мира“ одним из лучших эффектов в истории литературы; он даже и назвал ее для большего эффекта кометой 1812 года. Если бы столкновение произошло, то совершенно одинаково сгорели бы, по соседству, Наполеон и Александр, а с ними заодно и все человечество.

— По радостному случаю избавления от такой катастрофы надо выпить еще, — предложил финансист. — Тем более что та же комета дала нам знаменитое вино.

— Да, но что, если она вернется? По-моему, она непременно должна вернуться. Это шло бы к общему разумному характеру нынешних событий.

— Как досадно, — сказал Серизье, отпивая глоток вина. — Я совершенно не чувствую себя способным к карьере Жанны д'Арк или Джордано Бруно. А вы?

— Почему такое пренебрежение к рейнвейну, господа? В вопросе о белых винах я германофил, — заявил Кангаров. — Нет, ради Бога, не курите до сыра...

— Я буду курить и в минуту конца мира.

— Если говорить без шуток, — сказала графиня, — то я во все эти ужасы совершенно не верю. Бог этого не допустит! — Она положила руку на рукав смокинга Кангарова. — Я знаю, вы безбожник. В политике я вам сочувствую, по крайней мере, на семьдесят пять процентов, меня все считают большевичкой. Но Бога я вам ни за что не отдам, — с улыбкой сказала она, — ни за что!

— Дорогая графиня, я не потребую от вас такой... Детка, как по-французски жертва? — по-русски обратился посол к Надежде Ивановне, сидевшей против него на другом конце стола.

Надежда Ивановна сначала приуныла, когда в кабинете появилась графская чета. Графиня была женщина средних лет — „и красоты совсем средней“, — но на ней были пелерина из черно-бурой лисицы и черное платье. „Тоже черное, а другое! Ах, Боже мой!“ — со вздохом подумала Надя. Сотуар* на шее у графини был совершенно неправдоподобный по длине нити и по качеству жемчужин, а браслетов она носила столько, что Надежда Ивановна чуть не ахнула. Если б это была какая-нибудь банкирша, то Надя приписала бы множество браслетов безвкусию: ей и по книгам, и по кинематографу было известно, что жены банкиров одеваются *безвкусно*, в отличие от аристократок. „Однако ведь насто-

* Шейная цепочка (фр. sautoir) — Прим. ред.

ящая графиня!“ Браслеты, сотуар и черно-бурая лисица графини де Белланкомбр были вне пределов возможностей и мечтаний Надежды Ивановны; зато она заметила для себя все остальное: сумку, чулки, особенно перчатки, какие-то странные, зеленоватые, которых Надя, опасаясь безвкусицы, никогда не купила бы в магазине. „Ничего, старушке никакие браслеты не помогут!“ — утешала себя она.

Кангаров не рассаживал гостей, с улыбкой предложив всем садиться „кто как и где хочет“. Но само собой вышло так, что наиболее почетные гости, графиня и Вермандуа, оказались справа и слева от хозяина; им же предназначалась и сладчайшая из его улыбок. По другую сторону графини сел Вислиценус, за ним доктор Майер, граф, Надежда Ивановна. За Вермандуа разместились финансист, Серизье, Тамарин. Таким образом, желание Надежды Ивановны исполнилось лишь наполовину: справа от нее оказался Константин Александрович; но слева был француз, да еще граф! — ни с каким графом Надежда Ивановна никогда за столом не сидела. „О чем же разговаривать с этим старичком?“ — с ужасом подумала она и бросила умоляющий о помощи взгляд Тамарину. Старичок, однако, оказался совершенно не страшный. Он любезно занимал ее несложными вопросами — давно ли она во Франции? нравится ли ей Париж? Иногда заговаривал со своим соседом слева, немцем; по-видимому, не видел ничего неприличного и в том, чтобы помолчать минуту-другую.

Лакей разлил херес. Надежда Ивановна выпила залпом и лишь потом подумала, что это неблагоразумно. Ей тотчас стало легче и веселее. В Москве она, случалось, выпивала и пять, и шесть рюмок водки или наливки и только раз в жизни была пьяна — в тот день, когда ее в первый раз поцеловал Сашка Павловский, говоривший, что она пьет с ним „нога в ногу“. К рыбе подали еще какое-то белое вино в красивых длинных и узких бутылках, каких Надя никогда не видела. Наде хотелось его попробовать, но она не знала, как это сделать: перед ней стояло несколько стаканов, — в какой наливать? — опять она стыдилась и того, что не знает правил буржуев, и того, что это ее конфузит: „стоит ли обращать внимание на их китайские церемонии!..“ Лакей налил ей вина, оно оказалось горьковатым — водка вкуснее, — но зато стало совсем легко. Надя искоса поглядывала, как ест граф трудную рыбу, и поступала так же, как он, и все выходило отлично, и

она не только больше не боялась старичка, но сама задавала ему светские вопросы. „Ничего, граф как граф. Смешные они, французы“, — шепнула Надежда Ивановна Тамарину. Старички на нее смотрели гораздо больше, чем на графиню; ей показалось даже, что графиня не совсем этим довольна. Это очень обрадовало Надежду Ивановну. „Так ей и надо, старой ведьме!..“

— Какое заблуждение, дорогая! — сказал Вермандуа. — Пророк Исаия говорит: „*Vox multitudinis in montibus quasi populorum frequentium. Ululate quia prope est dies Domini: quasi vastitas a Domino veniet... Ecce dies Domini veniet crudelis. Et visitabo super orbis mala. Et pretiosior erit vir auro et movebitur terra de loco suo...*“

— Какая память у этого человека! Но снизойдите к нашему невежеству и переведите.

— Цитирую и перевожу не дословно: „Шумен в горах гул многих народов. Войте, ибо близок день Господень. Почти все будет истреблено. Воздам вселенной за зло ее, и будет человек реже золота, и задрожит земля на месте своем...“ Нет злободневнее публицистов, чем библейские пророки: ведь это написано точно о нынешнем дне. „Шакалы, — говорит еще Исаия, — будут жить в пустых чертогах, и змеи в увеселительных садах...“ Тут он, может быть, и преувеличивает. Но и у пророка Иоила сказано: „Оставшееся от гусениц съела саранча, оставшееся от саранчи съели кузнечики, оставшееся от кузнечиков доели мошки... Рыдайте, пьяницы, о вине, которое отнято от уст ваших“. Пока нет ни кузнечиков, ни мошек, выпьем еще рейнвейна, — добавил Вермандуа. Все смеялись, кроме Вислиценуса и Тамарина. „А мне казалось, что это черта только русских людей: богохульствовать, выпивши“, — подумал командарм.

Ему было скучновато. Думал, что хорошо было бы поскорее вернуться в свой привычный, удобный, одинокий номер и лечь в постель с книгой. Впрочем, попав на этот обед, Константин Александрович старался извлечь из него, что можно, и отдавал должное винам, особенно хересу: „с потопа такого не пил...“ Вначале он потчевал Надю. „Только для вас, чтобы вас не обидеть“, — говорила Надя, все смелая от вин. „За папу... А теперь за маму...“ Потом Тамарину показалось, что его соседка выпила больше, чем нужно, и он перестал ее угощать.

— Ваши цитаты неубедительны, месье Вермандуа, — сказал Серизье, не желавший употреблять слово

„мэтр“: они оба были „мэтры“, хоть и в разном качестве. — Еврейские пророки имели в виду определенные события в жизни одного еврейского народа: кажется, разрушение Иерусалима, или Вавилон, или что-то еще такое, но никак не конец мира.

— Бедный человек! — ответил Вермандуа, сокрушенно качая головой. — А это из другого источника, что, тоже о Вавилоне? „*Audituri enim estis praelia et opiniones praeliorum. Videte ne turbemini, oportet enim hau fieri, sed nondum est finis. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum; et erunt pestilentiae et fames, et terral motus per loca. Haec autem initia sunt dolorum*“*. — Лицо его немного побледнело, и голос зазвучал необычно. Все замолчали, хоть никто цитаты не понял. — Кажется, тут цитирую без ошибок. Во всех отношениях, даже просто по звуку, по удельному весу слова, нет ничего сильнее и значительнее этих строк. До сих пор я никогда не мог понять, не мог охватить прямого смысла загадочной главы. Начинаю понимать только теперь: *Nondum est finis. Haec autem initia...*“* Заметьте, вся настоящая литература, церковная и светская, художественная и философская, все вообще, над чем три тысячи лет думают умнейшие из людей, это эсхатология в самом подлинном и достаточно страшном смысле. Обратитесь ли вы к литературе богословской — она необъятна, я едва ли знаю ее тысячную долю, — все отцы церкви, за исключением, кажется, св.Иренея, утверждали, что мир стар, что мир дряхл, что мир идет к концу, что мир — издыхающее тело, которое перед смертным часом грызут неизлечимые болезни, что мир — готовый рухнуть дом, от которого уже отваливаются камни, что настал закат мира: *in occasu saeculi summus...*

— Можно найти примеры и ближе, — на очень дурном французском языке вставил доктор Зигфрид Майер, давно чувствовавший, что надо и ему сказать хоть что-нибудь. — Фридрих Ницше прямо говорит, что скоро наступят конвульсии мира и что он последний философ: „*Den letzten Philosophen nenne ich mich, denn ich bin der letzte Mensch...*“

* „Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней“ (лат.). (Евангелие от Матфея. 24, 6-8).

* „Но это еще не конец. Все же это начало болезней...“ (лат.)

„У него в голосе две основные ноты, это напоминает сигнал парижской пожарной команды“, — подумал Вермандуа, не прекращавший наблюдений и во время своих монологов.

— Страшная мысль: что, если все они несут постыдную ерунду? — шепотом сказала Тамарину Надя. Командарм посмотрел на нее и вздохнул.

— Как замечательны эти слова Ницше! — сказала графиня, обращаясь к немцу. Она задумалась: уж не пригласить ли его на один из ближайших вторников. „Но он так плохо говорит по-французски... Посмотрим...“ Графиня была в хорошем настроении духа. Обед советского посла очень удался. В этой философской беседе необыкновенно левых людей было что-то очень поэтическое, что-то от последних римлян, или от византийцев, или от каких-то древних богословов, которые вели хитрый ученый спор в каком-то городе, осажденном какими-то варварами. Графиня не вполне ясно представляла себе, кто варвары и кто кого осаждает, но она была очень довольна.

Высоким светским положением графиня де Белланкомбр была обязана главным образом своей необычайной способности волноваться и как-то особенно напористо выражать волнение по самым разным, преимущественно политическим поводам. У нее были и другие данные для блестящего положения; но без этой способности ни одно из них ей такого положения создать не могло. Происхождения она была южноамериканского. Вермандуа, считавшийся у нее в доме своим человеком и потому позволявший себе иронические замечания о хозяйке не только за глаза, но и в глаза, говорил, что свою биографию она должна начинать со дня приезда в Париж: „Вашу раннюю юность надо пропускать, как Моммзен в своем знаменитом труде пропускает весь начальный период истории Рима, не заслуживающий, по своему легендарному характеру, внимания серьезного историка“. Графиня притворно сердилась: она, по ее словам, принадлежала к знатной испанской семье, почему-то утерявшей титул и давно переселившейся в Южную Америку; до падения монархии имела право на табурет при мадридском дворе; отец же ее мог оставаться в шляпе в присутствии испанского короля. Воспитывалась она во французском католическом монастыре и была набожна; благочестие в ней уживалось с необыкновенно левыми взглядами.

Брак ее с графом де Белланкомбр был устроен родителями по расчету. Она принесла в приданое мужу состояние большое, но не огромное. Муж, бывший много ее старше, дал ей титул звучный, но не исключительный по блеску. Брак оказался несчастливым: друзья говорили, что граф изменял жене „сколько мог и пока мог“; говорили также, что супруги терпеть не могут друг друга; они этого почти и не скрывали.

Политические деятели, бывавшие в салоне графини де Белланкомбр, приписывали ее высокое положение знатности и богатству; знатные и богатые люди приписывали его уму и образованию графини. Ее салон называли то „первым политическим салоном Парижа“, разумея качество, то „последним политическим салоном Парижа“, исходя из принятого взгляда, будто салоны исчезают или могут когда-либо исчезнуть. Впрочем, говорили это и о десятке других домов. Занимались в салоне не политическими идеями, а политическими людьми, причем признанного властителя, каким в других, сходных, гостиных были Клемансо, или Жюль Леметр, или Анатоль Франс, у графини не было. Считался салон левым, но бывали в нем и люди консервативных взглядов. Граф де Белланкомбр принадлежал к республиканскому союзу, иными словами, был монархистом. Впрочем, о нем никто не говорил и не думал. Интервьюерам, беспрестанно обращавшимся к графине и, по ее словам, отравлявшим ей жизнь, никогда и в голову не пришло бы обратиться к графу — разве только с анкетой о бридже, в котором он пользовался большим авторитетом. Но так как графиня себя называла „большевичкой на 75 процентов“, а граф сочувствовал монархистам, то в салоне встречались люди, едва между собой раскланивавшиеся в других местах, — говорили, что такое сочетание гостей может себе позволить только госпожа де Белланкомбр. Это было особенностью ее салона, благодаря которой им дорожили и левые, и правые: и тем и другим их собственная среда достаточно надоела; общество врагов в невражеской атмосфере было по ощущениям острее; многие предпочитали говорить любезности врагам, а не друзьям. У графини де Белланкомбр помирились два знаменитейших политических деятеля, и это упрочило славу салона, придав ему почти исторический характер.

Возраста у графини до недавнего времени не было. Ее специальностью была молодость духа; она прочно причислилась к молодым, и до некоторых пор это шло

отлично; но в последнее время юные дамы, с которыми она продавала шампанское на благотворительных базарах, говорили ей с искренним жаром: „Вы моложе нас всех!“ — и что-то в их сияющих улыбках было не совсем приятно графине; молодость духа действовала все же лишь до некоторого предела. Графиня была очень добра, часто устраивала разные благотворительные вечера, рассылала билеты, ездила с подписными листами; жертвовала и сама деньги, однако немного: большая часть ее вклада была натуральной и заключалась в инициативе, в советах, в общественной бодрости. Говорили, впрочем, что она благодетельствует некоторым людям тайно, но тут же добавляли, что это всего лучше и в религиозном, и в экономическом отношении.

Имел салон графини некоторые второстепенные особенности. Обедали в ее доме по-старинному, на полчаса раньше, чем в других местах. В числе блюд два или три были изобретены специально для салона бывавшим в нем известным гастрономом. Иностранцам было легче попасть в салон, чем французам, вроде как иностранцам легче, чем французам, получить орден Почетного легиона. Салон и вообще не считался особенно замкнутым — карьера была открыта талантам, — в дом графини мог попасть всякий знаменитый или подающий твердые надежды на славу человек, если он умел прилично себя вести и если все-таки не выходил из некоторых, хоть очень широких, политических пределов. Пределы же эти не были установлены раз навсегда и понемногу раздвигались в связи с общим ходом истории. Так, знаменитые немцы и мечтать не могли бы о салоне графини еще в 1920 году, но были в него допущены в 1922-м. Так и большевики появились в доме не сразу, притом сначала лишь к чаю, а не к обеду; графиня была одной из пяти или шести дам, каждая из которых гордилась тем, что первая начала принимать у себя большевиков и что именно ей подражали в этом другие (как версальские придворные стали подвергаться операции фистулы после того, как эта операция была сделана Людовику XIV). Для советских деятелей условие славы заменялось условием видного положения в партии или большой осведомленности в международной политике: советские дипломаты в последнее время ценились на вес золота. Французских коммунистов графиня еще не принимала. Ее большевистские симпатии отчасти вытекали из симпатий к России, отчасти с ними сплетались. Вермандуа советовал ей ду-

шиться смесью „Amou Daria“ и „Cuir de Russie“*, а на маленьком столике в гостиной держать томик Достоевского — „но, Боже вас избави, не большие его романы, — сейчас лучше всего „Вечный муж“, он в страшном повышении“.

Говорил он это благодушно, так как любил графиню де Белланкомбр или, по крайней мере, относился к ней с меньшим отвращением, чем к большинству других людей. Вдобавок привык к ее удобному, хорошо поставленному дому. Особенности ее снобизма были не очень ему интересны, знал он ее наизусть, да и думал, что знать, собственно, нечего. Удивляли его в графине лишь ее глаза — прекрасные, глубокие, черные, обведенные кругами, „не теми, что бывают при болезни почек“, и еще больше удивляло, что она была необыкновенно музыкальна, притом без всякой рисовки, без оглядки на моду, без желания непременно открыть своего гения, как Полина Меттерних „открыла Вагнера“. Графиня могла часами, с неподдельным наслаждением, слушать самую трудную, мало доступную музыку. В ее салоне изредка устраивались музыкальные вечера, всегда очень хорошие, ставившие слушателям требования, которых многие не выдерживали: незаметно исчезали или переходили в бильярдную. Графиня слушала, сидя на стуле, в странной, не светской позе, как-то набок, охватив правой рукой левое плечо, и глаза ее при этом принимали выражение, обычно называемое потусторонним. „Фальшиво-духовные глаза? Или что-то потерял Господь Бог, создавая душу этой неумной женщины“, — думал тогда, глядя на нее, Вермандуа.

— Мне было неизвестно это выражение Ницше, — сказал он немцу, лицо которого тотчас приняло такое выражение, точно он рад был сделать ценный подарок знаменитому человеку. — Но я именно и хотел сказать, что наряду с религиозной литературой то же самое говорила литература, в отношении благочестия весьма подозрительная. Первой можно дать конформистское истолкование, хоть слишком и в ней велика сила неконформистского выражения. Вторая же такому истолкованию не поддается никоим образом. Смутное или определенное сознание близости *конца* было у величайших мыслителей мира. Они утешались как могли. Платон где-то высказывает надежду, что через пять или через

* „Аму-Дарья“ и „Русская кожа“ (Фр.).

десять тысяч лет мир возродится; человеческая душа выберет для себя новое тело и снова воскреснет для земной жизни... Будем надеяться, что это так, — вздыхая, вставил он, — пять или десять тысяч лет как-нибудь переждать можно. На некоторое время я, пожалуй, теперь и не прочь бы закрыть глаза и заткнуть уши. В самом деле, было бы хорошо в первые пять тысяч лет после нынешних событий не читать никаких газет („и романов моего друга Эмиля“, — хотел было добавить он, но удержался из товарищеской корректности). С другой стороны, воскреснуть в новом, чужом и чуждом мире с воспоминанием о мире прошлом — это тоже, может быть, несколько скучновато. Как вы думаете, дорогой друг? Помните, кстати, что срок для каждой души, по Платону, может зависеть от ее качеств и от заслуг носителя ее первого тела. Имейте это в виду, — обратился он к финансисту, давно чувствуя, что надо понизить тон разговора.

— Не думаете ли вы, однако, что тут есть некоторое противоречие? — спросил в том же весело-ироническом тоне Серизье. — По вашим словам, решительно все умные и ученые люди всегда думали, что мир идет к концу. Однако мир, слава Богу, еще кое-как существует. Неужели были правы люди глупые и невежественные?

— Это, конечно, довод, не лишенный силы. Климент Римский отвечал на него так: „Безумцы говорят: „слышали мы это в дни отцов наших, и вот мы состарились, и ничего этого не было“. Взгляните же на дерево, — отвечает безумцам Климент, — сначала оно теряет листья, потом...“

— Ради Бога, довольно Климентов! — воскликнул Серизье, весьма сомневавшийся в том, что Вермандуа или вообще кто бы то ни был мог серьезно читать Климента Римского. „Едва ли он и цитирует по первоисточнику. А впрочем, от него станется...“

— Тем более что мы совершенно не знаем, кто был этот почтенный человек. Я, по крайней мере, понятия не имею, — сказал граф де Белланкомбр. Надежда Ивановна расхохоталась. Все взгляды обратились на нее. Кангаров ласково погрозил ей пальцем.

— Дети должны вести себя тихо, — по-русски сказал он, — особенно когда речь идет о таких предметах. Слышала, что скоро везде будут шакалы и змеи? А ты еще говоришь о прибавке жалованья! Манатки надо собирать, вот что... Прошу меня извинить, — весело

обратился он к гостям, — я прочел наставление этой девочке.

— Она совершенно права, что хохочет, — заступился за Надю Вермандуа. — Так, верно, в Трое молоденькие девочки хохотали, слушая доносившееся из башни пение безумной Кассандры.

— Я так и думал, что вы Кассандра, — сказал финансист. — Нет ничего благороднее и приятнее этой роли.

— „Je combien que idigne y fuz appellé“*, — как говорит наш учитель Рабле.

— Я не согласна, — возразила графиня. — Она сидела в башне и пела грустные песни, да? Что же тут хорошего?

— Мало, мало, — смеясь, подтвердил Вермандуа. — У Еврипида эта бестактная женщина даже танцует на развалинах Трои; все вышло так, как она предсказывала. Зато потом Аякс и Агамемнон поступили с ней очень нелюбезно. Не уточняю в присутствии милой барышни, — добавил он, сладко улыбнувшись Наде („еще один старичок!“ — победно подумала она и опустила глаза, очень похоже изобразив девичью стыдливость).

— Надо быть богословом или Вермандуа, чтобы помнить все это: и Еврипидов, и Климентов, — восторженно сказала графиня, сгоряча относя к богословам и Еврипида.

— Повторяю мое смиренное, нехитрое возражение, — сказал Серизье, не вполне довольный выпавшей ему скромной ролью в застольной беседе: знаменитый адвокат стоил знаменитого писателя. — Вы утверждаете, что мир идет к черту и все великие мыслители так говорили во все времена. Я на это отвечаю: во-первых, мир еще к черту не пошел; во-вторых, едва ли так говорили *все* великие мыслители; в-третьих, великим мыслителям свойственно ошибаться в суждении о своей эпохе, — они, случалось, громили ее, и проклинали, и предсказывали всевозможные ужасы, а позднее, через пятьдесят или через сто лет после таких утверждений, оказывалось, что эпоха была славной, великой, благотворной, что она сыграла огромную роль в шествии человечества к лучшему будущему. Так было и с английской революцией, и еще больше с нашей.

— Разумеется! — с большой энергией в интонации произнес Кангаров и стер с лица улыбку, почувствовав,

* „Признаю, что позвали меня, недостойного“ (*старофр.*).

что после философских пустяков разговор становится политическим, следовательно, серьезным, и теперь как-то касается большевиков. — Разумеется! Эти эпохи и создали царство духа, — почему-то брякнул он с еще большей силой.

— Заметьте, господа, что мы, как почти всегда бывает, несколько изменили в споре проблему спора, — сказал с улыбкой Вермандуа, бывший тоже в добром настроении. Данное им себе обещание говорить только о погоде было забыто в самом начале вечера. Он вел беседу в привычном ему стиле тех ученых благопристойных шуточек, которыми обмениваются на торжественных заседаниях старый и вновь принимаемый члены Французской академии. Но Вермандуа здесь, считаясь с низким уровнем аудитории, несколько упрощал этот стиль, что доставляло ему удовольствие: так Малларме мечтал о сотрудничестве в „Petit Journal“. — Мы говорили о конце мира. Вы теперь говорите о шествии человечества к лучшему будущему. Поставим же вопрос так: мир продолжается, развиваясь в твердо им принятом нынешнем направлении. Я с искренним вздохом спрашиваю: так ли уж ему необходимо *для этого* продолжаться? Недолгое царство духа, о котором вы говорите, дорогой посол, — обратился он к Кангарову с нежной улыбкой, — собственно, всегда было вполне конституционным, с весьма ограниченными правами монарха. Но теперь монарх лишился и фиктивной видимости власти. Миру было дано то, что в новейшей педагогике, кажется, называется предметным уроком. У человека есть очень большие достоинства; однако, к сожалению, он чрезвычайно глуп. И вам, большевикам, принадлежит бесспорная заслуга: вы первые в новейшей истории выяснили нам это с такой педагогической наглядностью. (Кангаров слабо улыбнулся, не зная, как отнестись к словам Вермандуа.) Теперь о всеобщем избирательном праве лучше не говорить, а бормотать, по возможности не глядя в глаза собеседнику. Бормотать же, конечно, можно и дальше: это единственное утешение, которое нам остается. Да еще, пожалуй, то, что человек, ныне лишенный всех прав состояния, в награду и утешение себе до поры до времени (скажем, до столкновения с кометой) быстро увеличивает свою так называемую „власть над природой“; да, да, аэропланы делают пятьсот километров в час, а скоро будут делать, вероятно, тысячу. Однако мне противны и эти аэропланы, и люди, которые на них летают. Чудеса эти

служат для того, чтобы с бешеным риском для почта-льона перевозить почту из Австралии, и еще для того, чтобы, при случае, сжечь Париж. Но из Австралии я получаю весьма мало писем, и в них нет ничего особенно спешного; а Парижем я, по привычке, несколько дорожу. У науки плюсы и минусы стоят рядышком, как *magiages u deuilс** в светской хронике газет...

— Вопрос о том, нужно ли миру продолжаться, не имеет разумного смысла, — прервал его адвокат. — Мир существует и, не в обиду вам будь сказано, будет существовать и дальше. Тогда возникает вопрос и о социальном, и о духовном прогрессе. Хоть убейте меня, я не вижу признаков близящегося столкновения земли с кометой; но если это столкновение неизбежно, то мы с вами тут решительно ничего поделать не можем. Устройство общества — другой вопрос.

— Вы увидите, будет так: земля столкнется с кометой как раз после того, как при участии французской социалистической партии и вашем, дорогой друг, на земле наступит идеальный общественный строй. То-то я повеселюсь, когда столпотворение выбросит меня из могилы, — сказал Вермандуа, снова снижая тон разговора; он всегда это делал вовремя, оправдывая свою репутацию превосходного *causeur*^а.

— Вы и в могиле будете лежать с саркастической улыбкой, — сказала графиня. — „Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire—Voltige-t-il encore sur tes os décharnés?..” Любите ли вы эти божественные стихи? „...Eh bien, qu'il soit permis d'en baisser la poussière—Au moins crédule enfant de ce siècle sans foi,—Et de pleurer, ô Christ! sur cette froide terre—Qui vivait de ta mort, et qui mourra sans toi!”^а — прочла она негромко. — Вы видите, я тоже могу приводить цитаты.

— Цитаты с такими нелюбезными словами! „Hideux sourire”. Не ожидал!

— Сравнение с Вольтером, даже при этом слове, не может быть нелюбезным, — сказал граф. — Кроме того, я, как вы знаете, не отвечаю за мою жену. Поэтому, пожалуйста, не посылайте мне секундантов.

*Объявления о браках и о ковчинах (*фр.*).

^аМастер светской беседы (*фр.*).

^а„Вольтер, твой гнусный смех

Над кладбищем витает, (...)

И к праху твоему я руку протяну;

И, распростершись ниц, я горько зарыдаю,

Христос, за всех отдавший жизнь одну!” (*фр.*) — *Пер. И. Ю. Наумовой.*

— Господа, идет утка! — воскликнул Вермандуа. — Объявляется небольшой антракт в нашей беседе.

— Налейте мне еще вина, вон того, — негромко сказала Надя Тамарину.

— Не много ли будет, Надежда Ивановна?

— Что же тут делать, если не есть и не пить?

— Кушайте на здоровье, а много пить нехорошо.

— Только попробовать: я этого еще не пила...

ХІХ.

На большой дороге он встретил на этот раз очень мало людей. Только из кофейни, расположенной поблизости от вокзала, доносился гул веселых голосов. Было даже не совсем приятно, что людей на дороге оказалось так мало: это не соответствовало его предположениям. „Все неожиданное досадно: ошибся в этом, могу ошибиться и в более важном...“ Альвера почти никакого волнения не испытывал и очень этим гордился; прошла даже и зевота. Только когда он подошел к углу боковой тропинки, дыхание у него прервалось. Как было предусмотрено, он сначала прошел по большой дороге дальше, лишь бросив искоса быстрый взгляд на тропинку. Там, приблизительно на ее середине, мягко выделялось на земле световое пятно: свет падал из окна виллы месье Шартье, никакого другого дома на тропинке не было. Альвера прошел по дороге шагов сто (это входило в расписание), затем с движением досады, будто что-то забыв (хоть никого поблизости не было), повернул назад. „Никого! Все в порядке...“ Он быстро свернул на тропинку и пошел в направлении к неправильному, расширявшемуся четырехугольнику мягкого света.

Вдруг он услышал музыку и замер: ничто не могло бы поразить его больше. „Что это? Какая музыка? Откуда музыка?..“ В ту же секунду Альвера почувствовал, что его заливает невыразимая радость, причину которой он понял не сразу. „Если у него гости, значит, дело откладывается: нет, срывается, без всякой моей вины!.. Но ведь никакого инструмента у него нет! — подумал он и ахнул: — Радио!.. Если радио, то, быть может, он слушает в одиночестве... Сейчас все решится...“ Альвера остановился шагах в пятнадцати от калитки, не вполне естественным, оперным жестом приложил руку к сердцу: оно почти не стучало. Пел мужской голос, ясно были слышны и слова: „...Et puis, cher,

се qui me décide—A quitter le monde galant...“* — с шутовски-поддельной интонацией веселья, подчеркнuto выкрикивал певец. Радиоаппарат поразила Альвера: он еще не мог себе уяснить, выгодно ли это или нет, чувствовал, однако, что было бы лучше без радиоаппарата. „Ну, да он закроет...“ Сделал нерешительно несколько шагов и увидел, что окно кабинета месье Шартье отворено! „Но как же я *этого* не предусмотрел! Что удивительного в том, что окно отворено в теплый вечер! Это очень важно, очень важно!.. Ведь если так, выстрел может быть слышен. Однако поблизости никакого жилья нет, по тропинке никто не ходит... Теперь радио может оказаться полезным: заглушить... Звук выстрела ведь очень слабый...“ Альвера снял очки, несколько раз мигнул, надел перчатки. Взглянул на часы: против расписания было опоздание в две минуты; оно не имело значения: запас был более чем достаточный. „C'est que ma bourse est vide, vide, — Vide que s'en est désolant“[#], — пел голос. Еще раз оглянулся — нигде никого не было видно — и перевел предохранитель револьвера движением, теперь совершенно привычным. „Я скажу: „Кажется, у вас гости, месье Шартье? Тогда не беспокойтесь: вот рукопись, мы сочтемся в следующий раз...“ Этого следующего раза уже, наверное, никогда не будет: когда же он мне снова назначит свидание вечером? И раз я выдержу еще месяц или хотя бы только неделю такой жизни?..“ — „...Or pour peu qu'on y réfléchisse, — Quand on n'a pas le sou, vois-tu...“^Δ — Альвера быстро отворил калитку, прошел через палисадник и позвонил. Послышались заглушаемые музыкой неторопливые шаги. „Кто тут?“ — спросил за дверь старик. „Это я. Переписчик“, — ответил Альвера (только дыхание было все-таки не совсем такое, как всегда). „Ах, это вы, мм... Я и забыл“, — сказал месье Шартье, отворяя дверь. „...Il est temps de lâcher le vice — Pour revenir revenir à la vertu...“^В

— Здравствуйте, молодой человек, я совсем забыл, что вы должны приехать. Входите... — На вешалке была только одна шляпа. „Его или чужая?“

* „А потом, дорогой, для меня решено — Покинуть этот благородный мир...“ (Фр.)

[#] „Мой кошелек пуст, пуст, — Пуст, что весьма огорчительно“ (Фр.)

^Δ „...Однако стоит только об этом поразмышлять — Когда нет ни су, видишь ли...“ (Фр.)

^В „...Пора оставить порок — Чтобы вернуться к добродетели...“ (Фр.)

— Но, кажется, я вам помешал? У вас гости, месье Шартье, — спросил Альвера и даже улыбнулся. „Голос дрогнул, но лишь чуть-чуть, а улыбка совсем приличная...“

— Какие гости у старика в десятом часу вечера! — весело сказал месье Шартье, повышая голос, чтобы покрыть доносившуюся из кабинета музыку. — Нет, я один, это у меня радио: обзавелся аппаратом на старости лет.

— В самом деле? Поздравляю вас, — сказал Альвера. Дыхание у него на мгновение пересеклось совсем. „Ну и отлично. Сейчас конец!..“

— Отличный аппарат. Семь ламп, три гаммы волн... Входите...

— Мне совестно беспокоить вас...

— Какое же беспокойство? Это мне совестно, что вы сюда для этого приехали. Правда, работа срочная, но можно было в конце концов и послать по почте. Вы говорили, впрочем, что приезжаете сюда подышать свежим воздухом? Пожалуйста.

Они вошли в кабинет. Это была довольно большая, выстланная бобриком комната с обыкновенной недорогой мебелью, с окном, выходящим в палисадник. На комод стоял новенький, сиявший лаком палисандра радиоаппарат. Месье Шартье подвел к нему гостя, он, видимо, все еще наслаждался покупкой. „Стрелять, когда вынет бумажник, — вспомнил Альвера. — Но окно? Не затворить ли незаметно? Нет, нельзя.“

— Все привезли? Спасибо, — сказал старик и, не слушая ответа, наклонился над ящиком. „Вот теперь... Нет, не отступать от плана: когда ползет за бумажником...“ Месье Шартье повернул ручку и с улыбкой оглянулся. Звуки стали несколько менее сильными. — Антифадинг, супергетеродин, — сказал он, наслаждаясь как будто и новой терминологией, — последнее слово техники.

— Я, к сожалению, ничего в этом не понимаю... Но если семь гамм волн, то вы, верно, можете слушать и Америку?

— Три гаммы волн, — ответил, засмеявшись, месье Шартье. — Семь ламп. Разумеется, и Америку, и колонии, и Москву — все могу слушать. Ну, давайте вашу штуку. Тридцать две страницы. Значит, вам следует сорок восемь франков. Сейчас хотите или все сразу?

— Если можно, сейчас. Мне надо платить за квартиру.

— За квартиру? — удивленно спросил старик. — Кто же теперь платит за квартиру? Ведь у нас не октябрь.

— У меня комната. Я плачу помесечно.

— Отчего же вы лучше не снимете годовую квартиру? Вам будет стоить дешевле.

— Тогда надо платить сразу за три месяца вперед да еще залог, а у меня никогда нет свободных денег.

— Нет денег, — недоверчиво протянул месье Шартье. Ему, очевидно, было трудно поверить, что есть люди, у которых нет *таких* денег. — Да много ли для этого нужно? Вы сколько платите?

— Сто пятьдесят в месяц... „Что же это? Время уходит“, — со злобой подумал он, чувствуя, что *не может* выйти выстрелом из этой неожиданной, не входившей в расписание беседы. — Сто пятьдесят в месяц.

— Ну, вот видите, — сказал месье Шартье. — Это значит тысяча восемьсот в год. А квартиру вы можете получить с кухней за тысячу двести, даже, при удаче, за тысячу. Теперь, верно, можно найти и такую, чтобы без залога. Неужели у вас нет трехсот франков?

— Нет, — ответил глухим голосом Альвера и, холодея, опустил руку в карман. Месье Шартье задумался.

— Послушайте, — сказал он (Альвера разжал в кармане рукоятку револьвера, точно это „послушайте“ обязывало его к продолжению разговора). — У меня будет еще очень много работы. Вы переписываете отлично, это что и говорить. Хотите, я вам дам вперед франков двести? Вы снимете квартиру и понемногу мне все выплатите, а? Вы славный молодой человек, вот и работу вы мне привозите на дом, это мне очень удобно. Я вам потом заплачу и за проезд, не думайте, что я не помню, — сказал он, видимо, находясь в порыве великодушия, и снова шагнул к комоду. Аппарат засипел. „Turlututu“, — прогоготал хор. Послышался женский голос:

„Hier à midi, la gantière
Vit arriver un Brésilien...“*

Мужской голос ответил:

„Il lui dit: Voulez-vous, gantière,
Vendre des gants au Brésilien?“**

* „Вчера в полдень перчаточница
Увидела приехавшего бразильца...“ (фр.)

** „Он ей сказал: „Не продадите ли,
Перчаточница, перчатки бразильцу?“ (фр.)

— Прелесть! — сказал месье Шартье и засмеялся. — Любите оперетку, молодой человек? Это одна из лучших Оффенбаха... — Он повернул ручку аппарата, звуки стали громче. — Нет никакого смысла снимать комнату помесечно, — убежденно сказал старик, опять несколько повышая голос и с улыбкой прислушиваясь к певцам. „...C'est mon état, dit la gantière, — Quelle couleur, beau Brésilien?“* — повторил он за певицей, изображая пение и улыбкой, и поднятием плеча, и легким подтаптыванием. — Полтораста — двести франков я вам могу дать, а остальное вы где-нибудь достанете. Обзаведетесь своим углом, это отлично. „...Sang de bœuf, charmante gantière, — Lui riposta le Brésilien...“* — Так вам сорок восемь? Дайте мне два франка сдачи. — Он опустил руку в карман за бумажником. Вдруг левая часть его лица исказилась страшной гримасой, мускулы дернулись раз, затем жутко-быстро еще и еще. Месье Шартье поспешно отвернулся. И точно тик разрешил последние колебания Альвера — он выхватил револьвер и выстрелил в затылок старика. Выстрел прозвучал гулко, гораздо громче, чем там, в лесу. Месье Шартье ахнул, повернулся, лицо его все дергалось, глаза выкатились. Он открыл рот, сделал шажок, поднял руку и упал. Альвера с ужасом взглянул в сторону окна. Месье Шартье, дергаясь, судорожно повернулся на бобрике, как-то скрючившись набок, и затих. Он был убит наповал. В комнату ворвался оглушительный хор, радостно, с торжеством повторивший слова певца:

„...Et dans la main de la gantière
Tremblait la main du Brésilien...“^Δ

Полицейские велосипедисты, проезжавшие по дороге в Париж, слышали гулкий, четкий звук: не то выстрел, не то разрыв шины. Они замедлили ход, прислушиваясь. Ничего тревожного слышно не было. „Как будто со стороны виллы отца Шартье...“ Издали донеслась музыка. „Это он на днях купил радиоаппарат, — с завистью сказал один полицейский, мечтавший о радио и собиравший рекламные объявления магазинов, — дал две тысячи двести, все сразу, без рассрочки“. „Нажился

* „...Это моя обязанность, — сказала перчаточница. —

Какого цвета, прекрасный бразилец?“ (Фр.)

* „...Цвета бычьей крови, очаровательная перчаточница, — Парировал бразилец...“ (Фр.)

^Δ „...И в руке перчаточницы

Дрожала рука бразильца...“ (Фр.)

на бирже, играл на понижение“, — проворчал другой. „Разве послушать? Кажется, что-то веселенькое...“ — „По тропинке ехать неудобно, а впрочем, все равно“. Они свернули на тропинку и подъехали к вилле. Ничего подозрительного не было. Из растворенного окна неслись веселые куплеты. „Отличный аппарат! Электродинамический громкоговоритель, пуш-пюльль“*, — огорченно сказал первый полицейский, — мне бы такой! Хорошо богатым людям“. „Я даром бы не взял, это еще хуже, чем купить канарейку...“ С музыкой внезапно произошло нечто странное, послышался дикий рев. „Эх, старый болван! Купил такой аппарат и не умеет с ним обращаться! Месье Шартье! — закричал он в окно. — Да вы не ту ручку вертите!..“ Какая-то тень скользнула по стене и исчезла. „Месье Шартье!“ — прокричал снова полицейский. Тень метнулась в сторону — что-то слишком быстро для старого человека. Полицейские переглянулись. Первый с решительным видом отвел свой велосипед к дереву.

Минута ужаса, вызванного в особенности неожиданной силой выстрела, прошла. Он с торжеством прислушивался к себе. Экзамен был выдержан превосходно. Альвера не чувствовал ни раскаяния, ни ужаса. Как он и думал, все оказалось вздором: особенно эти *ими* выдуманные *угрызения совести*. Только дышать ему как будто было немного труднее, чем всегда. Позднее ему казалось, что сделанное им еще *не дошло* в ту минуту до его сознания, что он просто еще не воспринимал случившегося. Но сам отвечал, что этого не могло быть: все произошло по плану, ощущения убийцы были им до убийства перечувствованы сто раз и при проверке оказались верными.

Сохраняя хладнокровие, он положил револьвер в карман, наклонился над телом: старик был мертв. „Смотреть, разумеется, неприятно, ведь так же неприятно было бы смотреть, если б я убил его в бою или на дуэли“. Еще подумал, что в чисто техническом отношении все сошло прекрасно: убил одним выстрелом, сразу, во второй раз стрелять не пришлось: предусматривалась и такая возможность — придется *добивать*, тогда, конечно, тоже выстрелом, хоть это увеличивает риск: на нож, на кастет, он чувствовал, у него не хватило бы нервной силы.

* Двухтактная схема (англ. push-pull). — Прим. ред.

Альвера взглянул на часы: почти никакого опоздания. На поиски денег оставалось еще тринадцать минут. Он осмотрелся, осторожно (хоть крови было мало) подул выроненный стариком бумажник, бегло-равнодушно заглянул в него: „Да, кажется, денег порядочно. Считать? Нет, потом“. Сунул бумажник в карман, оглянулся и подумал, что начать поиски надо со среднего ящика стола — ключ торчал в замке. „Да, все идет отлично“, — мысленно повторил он, переводя дыхание, снова взглянул на старика, вздрогнул и поспешно отошел, точно старик мог схватить его с полу.

Прокрался к двери (подумал, что красться, собственно, незачем), заглянул в соседнюю комнату, оказалось, что это столовая. „Здесь что же может быть? Серебро?.. Серебра, конечно, не трогать, его сбыть будет очень трудно. Значит, осмотреть ящики стола и пройти в спальню, она, очевидно, там, за столовой. Но как все это сделать за четверть часа?“ Только теперь он понял, что расписание составил неправильно: в пятнадцать минут обыскать дом, совершенно не зная, где что может храниться, невысказанно! „Как же я мог допустить такую грубую ошибку?“ — тревожно подумал он, и в первый раз хладнокровие ему изменило. „Отлично идет, отлично...“ Опять оглянулся, прошел снова на цыпочках мимо тела, взглянул на лицо старика. Ему показалось, что оно искажено тиком. Почему-то это ударило его по нервам. Руки стали дрожать.

Растворенное окно вызывало у него все большую тревогу. „С тропинки заглянуть невозможно, окно слишком высоко. Подойти и затворить? Рискованно: вдруг кто-либо пройдет и увидит. Выстрела никто не слышал, никакого жилья поблизости нет. Да и радио!..“ Он ахнул: точно сейчас только заметил, что радио продолжает орать! „...Partez, s'écria la gantière, — Partez, séduisant Brésilien...“* — пела женщина. Альвера вдруг затрясся слабой дрожью. „Что за вздор! — подумал он, стараясь успокоить себя. — Все сошло отлично. Опоздание? В крайнем случае я могу остаться до следующего поезда. Он проходит получасом позднее. Правда, в нем пассажиров меньше, но это не так важно... Тогда на поиски останется сорок пять минут, больше чем достаточно“. Но мысль о том, чтобы провести *здесь* еще три четверти часа, показалась ему очень неприятной, почти

* „...Уезжайте, — воскликнула перчаточница, — Уезжайте, обольстительный бразилец...“ (Фр.)

нестерпимой: он испытывал потребность что-то делать, делать быстро и энергично: „Сейчас приступить к поискам, сейчас же, сию секунду! Если за тринадцать — теперь уже за двенадцать — минут найду, уйти; если нет, остаться до следующего поезда... И тогда, разумеется, уйти ровно за семь минут. Не забыть перед уходом закрыть это проклятое радио!.. Иначе оно будет орать всю ночь, соседи обратят внимание, темп будет потерян. Но, собственно, его можно закрыть уже и сейчас: если кто и пройдет, вполне естественно, что старик в десятом часу прекратит музыку. Да, конечно, сейчас закрыть“, — подумал он с нарастающей смутной безотчетной тревогой. Руки дрожали все сильнее. Альвера на цыпочках приблизился к аппарату и опять прислушался. „...Tu veux donc, coquine gantière...“* — пел шутовской голос. „Странно, что где-то идет оперетка, люди слушают, хохочут, и я тоже слушаю... Но ведь и они могут меня слышать!..“ Он тут же выругал себя за глупость: его слышать по радио никак не могли. „Кажется, начинаю терять самообладание... Да, непременно сейчас, сейчас закрыть это проклятое радио!..“ Альвера наудачу повернул один из кружков аппарата. К крайнему его смятению, аппарат не только не замолк, а, напротив, загредел страшно. Альвера отдернул руку от кружка, снова за него схватился и стал вертеть. Голос бразильца ревел совершенно дико, точно в насмешку. Им овладел ужас. „Что же это?! — задыхаясь, подумал он. — Ведь люди нагрянут! Бросить? Пусть орет? Нет, нельзя, нельзя, сбегутся...“ Он схватился обеими руками за кружки, потянул их, нажал на них. Бразилец, издеваясь, ревел все страшнее: „...Tu veux la mort de Brésilien...“** С яростью он изо всей силы ударил кулаком по аппарату, толкнул его к стене, схватился за сердце уже не оперным, а настоящим движением, чувствовал, что задыхается. И в ту же минуту не из аппарата, а из окна послышался голос — не механический, не мертвый, а живой, настоящий, сиплый: „Месье Шартье...“

Дальше он не слышал. Альвера застыл на мгновение от ужаса. Низко согнувшись, скользнул куда-то в сторону, перебежал в угол. Он прислонился к стене, вынул из кармана револьвер, судорожно крепко сжал рукоятку. „Еще есть четыре патрона...“ Теперь понял то, что

* „...Ты хочешь, стало быть, жестокая перчаточница...“ (фр.)

** „...Ты хочешь смерти бразильца...“ (фр.)

кричали с тропинки. Мысль его работала напряженно. „Прокричать: „Я ложусь спать, оставьте меня в покое?..“ Но они узнают по голосу. Не отвечать ничего? Подойти к окну и убить его? Лучше всего не отвечать... Может, он прокричит и пройдет мимо. Если позвонит, тоже не отзываться. Пойдет за полицией? Но пока он придет, я успею скрыться“. „...Et voilà comment la gantière...“* — орал диким голосом бразилец. За окном слышался шум уже не с тропинки, а из палисадника; кто-то как будто пытался вскарабкаться на окно. Альвера поднял револьвер. В окне, как постепенно слагающиеся фигуры на экране кинематографа, появились кепи, усатое лицо, синие плечи. „Полиция! — с остановившимся дыханием подумал он. — Почему же полиция?..“ На усатом лице скользнул испуг. Раздался выстрел, полицейский вскрикнул и не то нырнул, не то свалился. Альвера бросился к двери. Вдогонку завыл гогочущий хор:

„...Et voilà comment la gantière
Sauva les jours du Brésilien...“[^]

Он отворил дверь, перебежал через палисадник. Кто-то у калитки отшатнулся в сторону. Альвера понесся по тропинке. За ним, разрезая рев радио, раздался пронзительный, протяжный, непрекращающийся свисток. „Погоня! Все пропало!“ — успел подумать он, задыхаясь. Выбежал на большую дорогу, кто-то шарахнулся к стене. „Господи, что это!“ — взвизгнул женский голос. Где-то зажглись огни, где-то стали отворяться ставни. „A l'assassin!..“[^] — раздался отчаянный крик. Альвера бежал, уже понимая, что бежать некуда, что спастись невозможно: гильотина! Крики за ним все учащались. Особенно страшен был этот злобный, непрерывный, все усиливающийся свист. Вдали мелькнули огни кофейни. Сбоку, со стороны железнодорожного полотна, слышался свисток паровоза. „Этот мой поезд!.. Вскочить... билет... заплачу штраф“, — обезумев, думал он. Сзади прогремел выстрел. Альвера оглянулся на бегу: полицейский на велосипеде был шагах в двадцати от него. Он выстрелил в полицейского, почти не целясь, бросил в него револьвером и снова

* „...И вот так перчаточница...“ (Фр.)

^ „...И вот так перчаточница

Спасла жизнь бразильцу...“ (Фр.)

^ „Убийца!..“ (Фр.)

побежал, уже из последних сил. Кто-то в ужасе прижался к забору. Альвера вспомнил об электрическом рельсе. „Да, больше ничего не остается... Синг-Синг... Только бы добежать!..“ „А l'assassin!“ — неся гул злобных, отчаянных голосов. На пороге кофейни появился человек с поднятой бутылкой. „Но если я не убил полицейского, может, гильотины не будет“, — подумал Альвера. Он почувствовал удар, острую боль во рту, в голове, схватился за подбородок, пошатнулся, обливаясь кровью, и упал.

XX.

— ...Мозг Кювье весил 1800 граммов, и на этом была в спешном порядке построена гипотеза о связи между гениальностью человека и весом его мозга. Но позднее оказалось, что мозг лакея Кювье весит еще на 200 граммов больше. Боюсь, как бы с вашей исторической миссией пролетариата не случилось того же: вдруг окажется, что какая-нибудь другая социальная группа еще лучше, чем пролетариат? Ну, не намного, но лучше? Например, гитлеровские дружинники, а?

— Вы несколько упрощаете дело. Думаю, что и та психо-физиологическая теория строилась не только на мозге Кювье. Что до научной теории прогресса, то она создана Марксом на основе вполне достаточного числа фактов.

— Научная теория прогресса совершенно невозможна, дорогой месье Серизье, — сказал Вермандуа. — Она невозможна потому, что в основе социальных явлений лежит человек, то есть нечто неопределенное, переменчивое и противоречивое. Между тем ваша наука рассматривает человека как единицу определенную и неизменную, по крайней мере в течение довольно большого промежутка времени. Ваша наука, правда, допускает, что в пору каменного века или хотя бы пятьсот лет тому назад человек был не таков, как теперь. Но для нашего времени она пользуется фиктивным понятием человека новой истории, произвольно его деля по классовым признакам и произвольно считая неизменными общие человеческие свойства. Ваша наука исходит из понятий буржуа, крестьянин, пролетарий приблизительно так, как химия пользуется понятиями кислорода или азота. Но азот и кислород всегда одинаковы; они через тысячу лет будут точно такие же, как сейчас.

Человек же, все равно пролетарий или буржуа, только в том и неизменен, что меняет свою коллективную душу каждый день. Сегодня он хочет демократии, завтра гитлеровщины, послезавтра чего-нибудь еще (Вермандуа покосился на Кангарова). На таком шатком понятии никакой теории прогресса построить нельзя. Ваша наука думает, что человек знает, чего хочет, а он совершенно этого не знает. Ваша наука думает, что человек руководится своими интересами, а он руководится черт знает чем.

— Напротив, — сказал Серизье, с трудом скрывая раздражение. — По-моему, и сравнение ваше говорит против вас же. Азот и кислород при температуре в 500 градусов и при давлении в 500 атмосфер проявляют, вероятно, не те свойства, что при нормальном давлении и при нормальной температуре. Точно так же поведение человека определяется условиями, в которые его ставит история. При ненормальной температуре общества, при ненормальном социальном давлении из рабочего может выработаться гитлеровец. Социология изучает воздействие социальных условий на человека, как химия изучает свойства веществ в разных физических условиях.

— Вы забываете, что свойства кислорода при определенной температуре, при определенном давлении всегда одинаковы. Химик их знает или может изучить с точностью. Социолог же не знает решительно ничего: в одних и тех же условиях человека одной и той же социальной категории, скажем, одного и того же класса — хоть границы между классами теперь совершенно не такие, какими были при Марксе, — этого человека может потянуть и на строй Гитлера, и на строй Сталина, — сказал, не удержавшись, Вермандуа.

— Не думаете ли вы, господа, — поспешно вмешался Кангаров, — не думаете ли вы, что лакей Кювье мог быть гениальным человеком, которому помешал развиться несправедливый общественный строй?.. Разве нельзя допустить, что он... Мне трудно выразить эту мысль настоящим словом... Как сказать, что лакей Кювье был гениальным человеком в потенции? — по-русски обратился он к Наде. — Как по-французски „в потенции“? Переведи этим красавцам.

— Я и по-русски не знаю, что это такое, — со смехом сказала Надежда Ивановна.

— Дерзкая девчонка, кажется, ты напилась? погоди...

— Я знаю, что теперь принято иронически относиться к марксизму, — начал Серизье, ясно показывая тоном, что теперь намерен говорить он и не даст себя перебить. „У него голос радиоспикера“, — подумал Вермандуа и изобразил на лице внимание. — Марксизм, конечно, не берется объяснить все на свете...

— Напротив, именно он берется.

— Позвольте мне говорить, я не кончил, — сердито сказал адвокат. Все с удивлением на него взглянули. — Если сторонниками марксизма и допускались некоторые увлечения, то ведь нет молодых учений без крайностей. Но что же, господа, вы противопоставляете нашим взглядам? Не буду говорить о столкновении солнц, об исчезновении кислорода и о прочих ужасах: право, это не так интересно. А вне этого вы против нас выдвигаете идеи, отличающиеся тем, что спорить о них совершенно невозможно. Слова „Бог“, „верховное начало“, „разумное начало“, „руководящее начало“ имеют каждое по несколько смыслов, и всякий употребляющий их человек, как я много раз убеждался, сам употребляет их в разных смыслах, в зависимости от того, с кем он говорит и что ему удобнее для его словесных конструкций. Здесь с сотворения мира ничего, кроме общих мест, не было, это были общие места и при Адаме, — вставил он с улыбкой, как прибегал иногда к шутке и к улыбке в самых патетических речах на суде. — Дело лишь в том, что в одни исторические периоды обладают агрессивной силой общие места месье Омэ, а в другие периоды агрессивная сила переходит к общим местам противоположным. Сейчас именно такой период, период *ваших* общих мест, — закончил он, показывая интонацией, что теперь готов предоставить слово à son honorable adversaire et ami*. Но и тон его, и улыбка, и слова были так неприятны, что всем стало неловко. „Озлобленный человек. Ах да, опять не попал в совет“, — подумал Вермандуа.

Люди, знавшие Серизье, радостно говорили, что из-за неудач у него все портится характер. Причислить его к неудачникам было с внешней стороны трудно. Серизье зарабатывал большие деньги адвокатской практикой, занимал немалое положение и в политическом мире. Неудачником он мог считаться по сравне-

*Своему уважаемому сопернику и другу (*фр.*).

нию не с большинством других людей, а с тем человеком, которым он должен был стать по надеждам (или опасениям) людей, знавших его лет пятнадцать тому назад. В *первый* десяток лиц своей профессии он не попал; во *втором* десятке занимал место по праву. Серизье недавно в третий раз баллотировался в совет парижских адвокатов и получил довольно приличное число голосов, настолько, однако, недостаточное, что недоброжелатели с торжеством поясняли: „Это для него катастрофа! Он совершенно убит!“ Побывал он министром, но без блеска, на второстепенной должности, и вдобавок попал в исключительный по недолговечности кабинет, так что и называться потом в обществе „Monsieur le Ministre“ ему было несколько совестно, хоть и приятно. Вождем социалистической партии Серизье также не стал. Напротив, его отношения с партией становились понемногу все холоднее; в последнее время он даже и состоял в ней как-то на отлете. Тут имело значение многое. Для главы социалистов Серизье был слишком занят адвокатской практикой, имел слишком мало свободного времени, зарабатывал слишком много денег. В злополучный кабинет он пошел не вопреки воле партии, но без ее благословения; и теперь, собственно, уже было не совсем ясно, социалист ли он еще или нет: в партийных изданиях его пока называли товарищем; однако ясно чувствовалось, что в любой день, и даже очень скоро, могут, чего доброго, поставить перед его фамилией роковую букву М. Серизье оказался в партии ненужным или не очень нужным человеком. Более молодые, напористые люди, без шума, без скандалов, вначале медленно, с почетом и с поклонами, затем понемногу все скорее и нелюбезнее, оттеснили его вниз по наклону партийной карьеры. Так он и сам в свое время поступал с прежним партийным вождем Шазалем, но ему казалось, что тогда было совершенно другое дело: тогда борьба была идейная.

А главное, с Серизье случилось худшее из карьерных несчастий: без всякой видимой причины его вдруг перестали принимать всерьез. Он вел большие и громкие дела, получал огромные гонорары, имел законное право до конца своих дней называться в обществе „Monsieur le Ministre“ и как будто состоял на верхах французской парламентской жизни. Но при упоминании его имени у всех появлялась легкая улыбка — непоправимая катастрофа для человека. Улыбка эта

словно означала, что о нем известно нечто смешное, больше ни у кого споров не вызывающее по своей явной и общепризнанной забавности. Ничего такого в действительности не было: особенных грехов за Серизье не значилось, от своих политических убеждений он не отказывался, грязных дел никогда не вел (хоть вел иногда такие дела, от которых отказался бы, если б гонорар был значительно меньше). Его репутацию нельзя было считать дурной, но она стала несерьезной — это было еще хуже. Как на беду, он еще очень, почти до смешного, растолстел. И теперь всем было ясно, что из второго десятка в первый Серизье никогда не перейдет. В более светлые минуты он и сам это чувствовал. У него в жизни были три честолюбивые мечты: стать главой адвокатского совета в Париже, стать главой партии, стать главой правительства. Он видел, что ни одной из них осуществиться не суждено.

Вермандуа развел руками.

— Вы, собственно, напрасно обращались ко мне, дорогой друг, — сказал он, как бы нарочно подчеркивая любезной интонацией неучтивость тона адвоката. — Я за „разумные силы“ в мире никакой ответственности принять не могу. Что до вашего молодого учения, которому без малого сто лет, то я против него ничего не имею, да если б и имел, то не стал бы огорчать вас и нашего гостеприимного хозяина. Все другие социальные религии провалились в такой же мере, как оно; вероятно, провалятся и социальные религии, идущие им на смену. Крушение общественных учений сводится к тому, что история неизменно оказывается глупее самого глупого из них... Вы любите кинематограф, графия? — спросил он, стараясь по привычке опытного говоруна придавать монологу характер разговора, и, не дослушав ее ответа: „Терпеть не могу, никогда не хожу!“ — продолжал: — Я очень люблю, но, видно, ничего не понимаю: за всю жизнь ни разу не улыбнулся, глядя на Шарло и на dessins animés*, при виде которых и толпа, и элита одинаково гогочут от радости. Мне доставляют удовольствие и даже пользу те фильмы, где люди несутся на конях, стреляют из браунингов и выскакивают из аэропланов. Это, правда, школа гангстеров, но одновременно и школа энергии. В умные театры я не хожу, а в кинематографе бываю не менее

*Мультипликационные фильмы (*фр.*).

одного раза в неделю. Но в чем разница между моей консьержкой и мною? Моя консьержка всегда все схватывает на лету в самом запутанном любовном или полицейском фильме: она сразу понимает и что происходит, и какими побуждениями руководятся действующие лица, и зачем баронет хочет отравить разбойника, и почему модистка обвиняет себя в преступлении, которого она не совершала. Я же начинаю понимать интригу не скоро, иногда ухожу из кинематографа, так и не поняв некоторых ее пружин. Происходит это оттого, что я не могу поспеть за глупостью фавулы: мне трудно из всех неправдоподобных и глупых комбинаций сразу напасть на ту, самую неправдоподобную, самую глупую, совершенно идиотскую, которую обычно избирает сценарист. По такой же точно причине меня до сих пор удивляют исторические события. Ничего умного, ничего хорошего я от истории, кажется, не жду. Но она неизменно выбирает нечто настолько чудовищное по глупости и мерзости, что мне остается лишь разводиться руками: не догадался, не подумал, не предвидел!

— Позвольте мне, так сказать, в качестве консьержки, с этим не согласиться, — раздраженно смеясь, сказал Серизье. — Или уж тогда напишите свой собственный курс мировой истории. Предлагаю вам заголовки некоторых глав: „Восстание 14 июля 1789 года подавлено властями. Комендант де Лонэ несколькими меткими выстрелами разогнал взбунтовавшуюся чернь...“ Или так: „Немецкие войска 11 ноября 1918 года вступают в Париж. Вильгельм II в Версале объявляется повелителем мира...“

— Я предлагаю и заключительную главу, — сказала графиня. — „По приговору восстановленного инквизиционного трибунала книги Луи Этьенна Вермандуа сжигаются на костре. Затем сжигается и он сам, причем предварительно ему отрезают язык“.

— Сжечь его на костре не худо, — вставил с аنا-толь-франсовской улыбкой финансист, — но зачем же отрезать язык? Он говорит довольно занимательно.

— Лучше пусть его заставят отречься, как Галилея. Пусть он под пыткой признает, что история представляет собой подлинное торжество разума.

— Обещаю вам оглушительное *errug si tuove*...*
Нельзя ли ананас препарировать по моей системе? —

*И все-таки она вертится (*итал.*).

обратился Вермандуа к метрдотелю. — Две ложки кирша, затем сахар, мараскин и одна капля арманьяка, только одна капля.

— Вполне одобряю, это лучше, чем ваша философия истории, дорогой месье Вермандуа, — сказал Серизье, смягченный успехом своей шутки. — Вы, очевидно, поставили себе целью в жизни — лишить людей надежды.

— Я, например, только и живу надеждой на переход общества к социалистическому строю, а он хочет лишить меня и этой надежды! — заметил финансист. Все смеялись.

— Однако, господа, у нас и в самом деле жгут теперь книги на кострах, — выговорил с трудом доктор Зигфрид Майер. — Может быть, даже и ваши? — обратился он к Вермандуа.

— Неужели? Какая реклама для его издателя!

— Кажется, я еще не удостоился этой чести, — небрежно сказал Вермандуа, не совсем довольный фамильярным тоном беседы: теперь не только финансист, но и другие, мало с ним знакомые гости говорили о нем *он*. — Очень рад вашему замечанию, месье... — обратился он к немцу, фамилии которого не знал. — Ведь, правда, вы были бы удивлены, если б вам десять лет тому назад сказали, что в Германии установится гитлеровский строй?

— Лично я не был бы удивлен, — восторженно ответил Майер. — Зная Германию, зная тех якобы республиканцев, которые у нас правили, я всегда говорил, что...

— Тогда вы человек исключительной проницательности. А я не мог себе представить, как в кинематографе не могу предвидеть, что маркиза себя нататуирует и бросится в море, дабы навести подозрения своего мужа на преступную красавицу.

— И все-таки с отступлениями назад, с уклонами в сторону история идет к социалистическому строю, как бы вы над этим ни насмехались, дорогой друг, — сказал Серизье. — Что прошло, то прошло. Заметьте, даже австрийский маляр, который, прочно засев на престоле Гогенцоллернов, видимо, не прочь присоединить к нему еще и престол Габсбургов, все же монархии не восстановил, капиталистов старается не баловать, по крайней мере, открыто и к идеям манчестерской школы не вернулся. Несправедливые социальные формы понемногу отживают везде.

— Они полежат в исторической могиле и затем, быть может, благополучно, хоть не без червей, воскреснут: дайте только отдохнуть одному поколению или подрасти другому. Исторические гробницы, в отличие от настоящих, строятся с расчетом на воскресение.

— „И возвратится ветер на круги своя“? Это несколько старо.

— И не вполне верно. Возвращающийся ветер не совсем таков, каким был прежний: он хуже или, по крайней мере, противнее, у него нет прежней свежести, нет наивности первого зефира... Быть может, эта милая барышня увидит восстановление капитализма у себя на родине. Но боюсь, новый капитализм будет без мягких гуманных заводчиков и без свободы стачек.

— Никогда у нас никакого капитализма не будет! — бойко сказала Надя, довольно свободно справляясь с французской фразой. „Ничего, отлично вышло“.

— Слышите, неисправимый мизантроп, — с легкой тревогой вставил Кангаров, неопределенно бегая по столу глазами.

— Никто не может сказать с уверенностью, что именно соблазнит человеческую романтику после установления социалистического строя. Вполне допускаю, что душу людей потянет именно к восстановлению социального неравенства посредством ли переворота или неспешной эволюции. Появятся капиталисты-революционеры и капиталисты-эволюционеры; каждая из этих групп создаст свою теорию социального прогресса. Кто же им может помешать иметь о прогрессе свое мнение?.. Но во всяком случае, что бы с миром ни случилось, можно сказать с уверенностью: хуже, чем теперь, не будет. Еще никогда, кажется, в истории не было столь мерзкого, как в наши дни, противоречия между красивыми речами и скверными поступками. В былые времена — несколько их не идеализирую — одни произносили хорошие слова и не делали сознательно нехороших дел; другие делали сознательно нехорошие дела, но не произносили хороших слов. Или, по крайней мере, прежде это противоречие было менее заметно. Если все будет идти по нынешнему и если XXI столетие наступит, то наши политические, наши философские идеи окажутся до смешного бесполезными — вроде как в странах полярного климата были бы до смешного бесполезны красивые южные дворцы с террасами, со сквозными галереями. Диктаторы далеких веков ставили себе определенную цель, в большинстве случаев

разумную, — у римлян даже в законе указывалась цель избрания диктатора: *dictator rei gerundae causa**. Теперь в Европе негритянским нравам соответствуют негритянские царьки. Все это, как говорит один мой приятель, кончится как Марна: в Шарантоне. Разумеется, в мировом Шарантоне. И право, не надо бы кричать ни о 14 июля, ни об 11 ноября теперь, когда в Берлине сидит Гитлер, а... (он хотел добавить: „а в Москве Сталин“, но опять вовремя спохватился). От идей обеих этих дат уже не сохранилось ничего; может быть, скоро ничего не сохранится, к несчастью, и от их материального содержания. Эльзас два раза переходил от немцев к французам и обратно и, верно, будет переходить еще двадцать два раза. В конце концов же им завладеют какие-нибудь монголы, так как от Европы останутся более или менее интересные, хоть смешные идеи, но не останутся живых людей.

— Кассандра, не танцуйте над развалинами еще не развалившейся Трои. Что бы вы ни говорили, отжившее не вернется.

Вермандуа оглянулся на графиню и ласково ей улыбнулся.

— Знаю, что я всем надоел. Стоит ли нам огорчаться и огорчать других? Есть прекрасные женщины, прекрасные книги, прекрасные земли. Отжившее не вернется? Готов об этом пожалеть. Мне досадно, что я, по главной неосторожности своей жизни, явился на свет Божий в XIX веке. Надо было родиться лет триста тому назад. Я бы был любовником Нинон де Ланкло, знал бы рыцарей в латах, видел бы пап, носивших бороду. Вместо жуликов-издателей меня кормил бы Людовик XIV.

— Может быть, вблизи все это было и не так уж мило.

— Даже наверное. Но люди любят разнообразие. Гёте говорил: „Человечество, точно больной в постели, все мечется с одного бока на другой, как бы улечься покойнее“. Еще ярче выразил эту мысль Лютер: „Мир, что пьяный мужик верхом на осле: поддержишь его слева, он падает направо; поддержишь его справа, он падает налево...“

— Дорогой друг, вы положительно злоупотребляете цитатами.

— Это худший из моих пороков... И я нисколько не

*Диктатор для пользы дела (*лат.*).

удивлюсь, если в Германии на смену Гитлеру придет немецкий Сталин...

— Амись! — воскликнул Кангаров. Но французы не поняли его восклицания, так как он произносил „amigne“.

— ...А в России на смену Сталину придет русский Гитлер, — закончил за Вермандуа банкир, не очень церемонившийся с хозяином: договор о сделке уже был подписан.

— Это *вы* сказали, неисправимый буржуа, — примитивно произнес Вермандуа.

— Как вы советуете, *cher maître*? Кирш, мараскин и арманьяк? — опять поспешно спросил Кангаров, с неприятным чувством оглянувшись на Вислиценуса.

XXI.

К кофе гости за столом переместились. Кангаров покинул свое место и, перенося с собой стул, стал подсаживаться то к одному гостю, то к другому: поговорил с графиней, с Серизье, сел между Тамариным и Надей; это была конечная цель его маневра. Обед удался на славу, приглашенные получили все, на что могли рассчитывать, от мыслей Вермандуа до хереса и шампанского; теперь хозяин мог подумать и о своем удовольствии, тем более что общий разговор не умолкал ни на минуту. Не принимал в нем участия только Вислиценус. „Хоть бы из приличия слово сказал. Ну, да черт с ним!..“ — подумал Кангаров, но не очень сердито: так был доволен своим вечером.

— Правда, обед был на ять, Командарм Иванович? — спросил он, садясь между Тамариным и Надеждой Ивановной. — Я думаю, можно теперь поболтать и по-русски, они не слышат.

— Отличный обед, тут кормят на славу, — ответил Тамарин и на всякий случай добавил: — По крайней мере, если судить по нынешнему. — Не надо было думать, что он иногда и один заходит в столь дорогой ресторан. Тамарин в самом деле тут не был двадцать пять лет; в начале обеда он старался вспомнить, когда именно и с кем был в этом ресторане в последний раз. Воспоминание о потонувшем мире было теперь ему так странно. Здесь его больше всего смущала разнородность общества; вся его жизнь прошла в обществах

весьма однородных: сначала среди гвардейского офицерства, позднее в советской бюрократии. И хотя Надежда Ивановна к его обществу отнюдь не принадлежала, он тут, естественно, держался ее — вроде как теснятся инстинктивно друг к другу, делая вид, что находят все очень интересным и хорошим, христиане, случайно попавшие в синагогу или мечеть.

— Вот куда уходят народные деньги! — сказала Надя. Вернее, чуть заплетавшийся язык ее сам выговорил почему-то эти слова, вероятно, по принципу наименьшего усилия: ей часто случалось их произносить. Если б не вино, она и в шутку не позволила бы себе здесь таких слов, несмотря на отеческое отношение к ней Кангарова. Посол, однако, не рассердился.

— А что, если я тебе ушки надеру за такие за слова? — ласково сказал он. — По существу, ты, конечно, права, но с волками жить — по-волчьи выть... Все-таки вкусно, — добавил он с легким вздохом, как бы показывавшим, что мысль о народных деньгах отравляет ему удовольствие от обеда. — В будущем все так будут есть каждый день. У меня в жизни — не скрываю, хоть немного и стыдно, — это большое удовольствие. Тебе как понравилась утка с апельсинами?

— Вкусно-то вкусно, но апельсины тут ни к чему, а утки у нас в Москве бывают и пожирнее.

— „Пожирнее“, — передразнил Кангаров, чувствуя снова, что улыбка этой девочки, ее глаза — „сейчас пьяненькие, нагленькие“, — для него дороже и важнее всего на свете. — „Пожирнее!..“ — Кто-то тронул его сзади за плечо, он с неудовольствием оглянулся; за его стулом стоял с заговорщическим видом доктор Зигфрид Майер.

— Moment, — сказал он, — ein Moment. — Кангаров неохотно встал и отошел с ним к окну.

— В чем дело?

— Вы, надеюсь, не забыли? — таинственным тоном спросил немец, показывая взглядом в сторону Вислиценуса.

— Не забыл чего? Ах да, вы хотели с ним поговорить. Но ведь я нарочно посадил вас рядом, — солгал Кангаров.

— Я хотел бы поговорить с ним наедине... Двое составляют компанию, а трое нет, — любезно осклабясь, сказал Майер.

— Так выйдите в коридор, — с досадой предложил посол. Его раздражало это дело, которое упорно держа-

ли от него в секрете. — Он, кажется, говорит по-немецки, лакеи ваших тайн не поймут... А то еще проще, ступайте в этот кабинетик, вас там никто подслушивать не будет, — добавил он, показав на портьеру. Майер одобительно кивнул головой. — Я ему сейчас скажу.

Когда Вислиценус мрачно вышел с Майером в комнату за портьерой, Кангаров занял его место рядом с графиней, немного с ней поговорил, втравил ее в разговор мужчин об испанских делах и вернулся к Надежде Ивановне. „Теперь бы еще этого сплавить“, — подумал он и обратился к Тамарину:

— Эти красавцы все жаждут узнать ваше мнение о падении Бадахоса, Командарм Иванович. Я-то его знаю. Может, вы им осветите?

— Не посрамите советской земли, Константин Александрович, — сказала Надя, сама удивляясь своей развязности.

— Да, в самом деле, постоит за нашу стратегическую школу. Ведь вы первый знаток. Блесните, блесните перед ними.

— Да какая же в этой войне стратегия! — возразил Тамарин, вместе и польщенный, и сконфуженный. Он и вообще не умел блистать, а тут надо было блистать по-французски. Однако он послушно пересел на место Вислиценуса и вмешался в разговор, который через минуту его увлек, несмотря на полную уверенность командарма в совершенной некомпетентности штатских слушателей. Ужасы испанской войны вызывали у Тамарина сожаление, — „хоть какие же войны без ужасов?“ — но война радостно его волновала. Он следил за ней по газетам, как шахматный игрок, не участвующий в международном турнире, следит за тем, проверяется ли другими его идея.

— Я им подкинул Бадахос, теперь у нас есть добрых полчаса! — сказал тихо Кангаров, наклоняясь к Надежде Ивановне. Почему-то он на этот вечер возлагал большие надежды. С ужасом и счастьем он почувствовал, что почти собой не владеет. „Все равно! Все другое мне все равно! Теперь или никогда!..“ — Я надеюсь, Бадахос тебя не так интересует?

— Нет, не так. А вас?

— Меня интересуешь только ты, и ты отлично это знаешь, скверная девчонка, — сказал он, не смягчая теперь своих слов обычной сладкой улыбкой. Она наи-

вно-изумленно открыла рот. „Эти губки, я с ума схожу!..“ Замирая, он совсем приблизил к ней лицо.

— Хочешь, детка, еще бенедиктина?.. Это мой любимый ликер.

— Хочу.

— Пей... Не так пьешь, дуручка. И я с тобой выпью... А потом я тебе что-то скажу...

— Ничего не скажете, и не надо... Да вы что ж себе в мою рюмку наливаете! У вас есть своя.

— Узнаю все твои мысли. А хочешь узнать мои? — почти прошептал Кангаров. Вермандуа издали бросил на них свой профессиональный взгляд. „Уже его любовница или только скоро будет? — с завистью спросил себя он. — Он смотрит на нее, как фэрагонаровский амур, снимающий рубашку с красавицы...“

Вислиценус действительно молчал все время обеда, несмотря на попытки графини ввести его в разговор. Мрачное настроение им овладело тотчас после прихода в ресторан. Еще в дверях кабинета он увидел Надежду Ивановну и сам испугался своей радости. „Как похорошела!..“ Помахав ей рукой, он поздоровался с хозяином, еле назвал гостям (которые, глядя на него, старались скрыть удивление) одну из своих фамилий — первую, что пришла в голову, — и подошел к Наде. Ему, однако, показалось, что она совершенно не обрадовалась встрече. Это было неверно: напротив, Надежде Ивановне в ее первоначальном смущении было приятно всякое знакомое лицо; от растерянности она изображала светское спокойствие.

— Я так рад вас видеть! — произнес Вислиценус, крепко пожимая ей руку.

— Я тоже очень рада, — холодно ответила она и подумала: „Как он постарел! Совсем старик. Или болен?..“ — Давно ли вы здесь?

— Я? Нет, не очень давно... Совсем недавно, — осекшись, ответил Вислиценус.

— И надолго в Париж?

— Да... А вы цветете, — сказал Вислиценус и удивился пошлости своих слов. — Вы надолго в Париж? — спросил он то же самое, что она. — Но как же... Как живем?

— Вашими молитвами, — столь же развязно ответила Надежда Ивановна. К ним подошел Тамарин, также державшийся русских в этом смешанном, непривычном

обществе. Он приветливо поздоровался с Вислиценусом, кое-как завел с ним вполголоса, по-русски, не очень оживленный разговор; Надя изредка вставляла невпопад светские замечания. Затем появился старый французский писатель, и все стали рассаживаться. Вислиценус на минуту замешкался, места рядом с Надеждой Ивановной оказались занятыми.

Он сел на первый свободный стул, рядом с графиней де Белланкомбр. По рыжему пиджаку и по виду соседа графиня догадалась, что он здесь был самый левый — „большевистский фанатик!“ Она уже перевидала немало большевиков, но ни одного фанатика до сих пор не встретила и была поэтому особенно любезна. Кангаров, вначале с тревогой на них поглядывавший, скоро успокоился. „В самом деле, ее фраками и смокингами не удивишь. Для нее, быть может, в этом пиджачке, в мягком воротничке, в желтых ботинках есть даже какое-то очарование“.

За обедом Вислиценус мало ел и много пил, пил все, что наливал лакей: херес, рейнвейн, красное вино, шампанское, ликеры. В молодости у него бывали периоды, когда он пил запоем, потом бросал совершенно; в Москве как-то снова запил, бросил и в последние годы не пил ничего. Некоторая устойчивость к вину у него оставалась; Вислиценус не опьянел и не повеселел, только стал еще бледнее, и сердце начало постукивать. Он до грубости односложно отвечал графине и что-то невнятно бормотал в ответ соседу справа, который на немецком языке излагал ему соображения о неминуемом близком падении Гитлера.

Впрочем, уже с хереса гостям, не желавшим разговаривать, необходимости в этом и не было. Вермандуа овладел беседой и почти не умолкал, так что командарм с удовлетворением думал: „Ну, у этого инициативы не вырвешь“. „Собственно, чего же я ждал? Что она бросится мне на шею? Разумеется, я ей чужой человек, и надо совершенно утратить над собой контроль, чтобы мечтать о каком-то вздоре... Обидно? Но жизнь подавляющего большинства людей состоит из обид, унижений, оскорблений. Одним больше, одним меньше...“ Вислиценус старался не смотреть на Надежду Ивановну и все время ее видел: против него на стене висело зеркало. „Ну да, пора забыть о вздоре, когда стоишь одной ногой в могиле, и слава Богу, что стоишь...“ Иногда он заставлял себя прислушиваться к тому, что говорил Вермандуа, и раздражался еще больше, быть

может, потому, что находил в его мыслях некоторое сходство со своими.

„Плоско не то, *что* он говорит, плоско, *как* он говорит, — думал Вислиценус, искоса бросая мрачные взгляды на Вермандуа. — Одна кокетливая улыбочка чего стоит! Он, великий, гениальный писатель, любит кинематограф! Он ходит в кинематограф, как простой смертный! Но, разумеется, все же не так, как простой смертный... Конец мира, конец цивилизации — отчего же не поговорить и об этом? Так же легко он мог бы доказывать и обратное: что мир никогда не кончится и что цивилизация переживает небывалый расцвет. Лучший довод в пользу конца цивилизации — это он сам. И серьезнейшие из его мыслей, как кровь вне человеческого тела, свертываются оттого, что он их произносит... Эти салонные болтуны говорят об инквизиторах с полной уверенностью в своем моральном превосходстве. Но первые, *настоящие* инквизиторы, оклеветаны — как *были* оклеветаны первые, настоящие большевики. Вопреки тому, что о них думают, они, конечно, верили в то, что делали и говорили. Не сразу и мы превратились в инквизицию без веры в Бога. Настоящие злодеи проливают кровь из выгоды, по привычке, равнодушно... — Вислиценус вспомнил со злобной радостью то, что прочел обедом о мировых событиях в вечерней газете. — У них крови меньше, но грязи, пожалуй, больше, чем у нас. Да не меньше и крови: у них нет чрезвычайек, но та война, которую они теперь готовят, унесет уже не десять миллионов людей, как прошлая, а двадцать или тридцать. *Сальдо* крови еще, пожалуй, окажется в нашу пользу, хоть мы и уморили голодом, частью сознательно, частью по глупости, по неумению, по бестолковщине, несколько миллионов крестьян, — думал он, все по своей привычке к балансам и определениям. — Но если и прав этот ученый болтун, если цивилизация кончается, то не все ли равно для тех, кто, как я, скоро, очень скоро должен сыграть в ящик?..“ Вислиценуса вдруг поразило это ходячее в Москве выражение, точно он его услышал в первый раз в жизни. „*Сыграть в ящик...*“ „Наглое, циничное, прекрасное выражение, одно из лучших приобретений нашего языка...“

Раза два его через стол о чем-то спрашивал Тамарин, раз и Надя спросила: „Как же вы все-таки поживаете?“ „Кажется, и имя-отчество забыла, — подумал он и хотел было ответить: Ничего, думаю скоро сыграть

в ящик, — но ответил: — Ничего, спасибо, вы как?“ Однако она уже заговорила со стариком-французом. Потом, к концу обеда, к ней подсел Кангаров, и почему-то это было Вислиценусу чрезвычайно неприятно. Он отвернулся, стал мрачен, как туча, и пил все больше. „Вздор, конечно... Как многие грубые натуры, он склонен к платоническим увлечениям. Противен этот запах еды, вина, папирос... Все противно!..“ Вдруг у него закружилась голова, в верхнюю часть груди снова возник кол, и заболела рука, и сердце застучало страшно, как никогда до того не стучало. „Если сейчас сыграю в ящик здесь, большая будет неприятность этому прохвосту, — подумал он. — Зато у нас кое-кто будет очень доволен...“

И снова, как тогда в кофейне, но по-иному, его пронзила мысль о расстрелянных в Москве людях, старых товарищах, теперь уже гнивших в безвестной могиле. „Я почти никого из них не любил. Но какие бы они ни были, эти люди прожили всю жизнь во имя революционной идеи — и умерли опозоренными, купаясь в грязи. Был до войны революционер, просидевший двадцать лет в Шлиссельбурге и затем, по выходе из крепости, поступивший на службу в охранку. Они свою жизнь наладили почти столь же разумно...“ В этой обстановке дорогого ресторана, за уставленным бутылками столом мысль о погибших в застенке людях была по неожиданности особенно дика и страшна. Сердце у него стучало все сильнее. Вислиценус взглянул в зеркало и над лысиной финансиста увидел свое лицо. „Да, краше в гроб кладут, в *ящик*...“ Внезапно в зеркале показался *ящик* — не гроб, а именно ящик и какой-то странный, грубый, неоструганный, желтоватый, точно из-под посуды, с соломой. Им овладел непонятный ужас. „Кажется, я в самом деле начинаю сходить с ума. Вторая галлюцинация за день!..“

— Товарищ Дакочи, с вами хотел бы уединиться этот почтенный тевтон, — сказал за ним неприятный голос. — Что с вами? Вы нездоровы?

— Нет, пустяки, выпил чуть больше, чем нужно. Ну, что ж, я готов с ним поговорить. Но где же?

— Если хотите, пройдите с ним вон туда. Там вам никто не помешает. Этот кабинетик с диваном, верно, служил грандюкам* и их дамам не для политических бесед. Были грандюки, товарищ Вислиценус, а теперь

*От фр. *grands-ducs* — великие князья. — Прим. ред.

мы с вами... Лучше всего туда пройдите. Если ненадолго, то никто и не заметит.

Пока Кангаров говорил с Майером и Вислиценусом, Надежду Ивановну очень любезно занимал граф де Белланкомбр. Но, в отличие от других старичков, он от ее близости явно не испытывал ни волнения, ни радости — Надя, как всегда, это тотчас почувствовала с легкой досадой. „Может быть, для него существуют только графини и княгини? Ну и пусть радуется на свою красавицу!..“ Впрочем, на свою красавицу граф радовался тоже не слишком: почти на нее не смотрел, а когда смотрел, то без особой нежности. Граф очень мало ел, пил только минеральную воду и совершенно не слушал того, что говорили за столом. „Верно, недоволен, что попал в дурное общество“, — подумала Надя, с неудовольствием сознавая, что, несмотря на ее взгляды, ей внушает — не уважение, конечно, но какой-то повышенный интерес графский титул этого старичка.

Она ошибалась. Граф действительно всех участников обеда, в их числе и свою жену, считал людьми дурного общества; но это было ему совершенно безразлично, так как в столь же дурном обществе он находился почти всегда: и в разных правлениях, в которых состоял или числился членом, и в клубах, где играл в бридж с банкирами, с промышленниками, с мнимыми, да и с настоящими аристократами, которые, с точки зрения его деда, были бы немногим лучше большевиков и социалистов. Разговоры за столом не интересовали графа: он такие же, или немного лучшие, или немного худшие разговоры слышал раза два в неделю в салоне своей жены. Вермандуа, как хорошо знал граф, мог так же гладко и учено, с цитатами и с афоризмами говорить о чем угодно. Женщины давно волновали графа лишь теоретически, да и то не очень. У него к ним теперь было ласково-ироническое отношение, осложненное приятными воспоминаниями да еще тем, что почти все они необыкновенно бестолково играли в бридж (не верили, что не имеют об игре и понятия). А так как врачи строго запретили графу спиртные напитки, предписали диету, на ночь же настойчиво советовали есть очень мало и по возможности лишь фрукты и овощи, то он скучал на всех обедах, одинаково с большевиками и с герцогами.

Занимал его главным образом вопрос: когда кончится обед? Если б гости разошлись в одиннадцать, он мог

бы еще заехать в клуб и там сыграть несколько робберов. Граф считался одним из лучших знатоков бриджа во Франции, его именем была названа какая-то *im passe**, и в клубах его участия в партии добивались как особой чести и радости; он это шутливо приписывал „мазохизму“: люди, игравшие с ним, имели разве двадцать шансов из ста на выигрыш при случайной партии и ни одного шанса при партии постоянной. Играл он всегда очень спокойно, без споров (впрочем, спорить с ним никто и не решился бы), без попреков, без замечаний, самые трудные комбинации разыгрывал, как будто почти не думая, чрезвычайно быстро и притом так, что обычно и в этот, и на следующий день в клубе почтительно обсуждали его розыгрыш.

Шансов, что вечер советского посла кончится в одиннадцать, было, он чувствовал, очень мало. Первую, не серьезную, предварительную *заявку* о том, что пора по домам, сделает кто-либо, скорее всего Вермандуа, еще не скоро: для выражения благодарности хозяйину за обед потребуется полтора или два часа послеобеденной беседы. Граф знал также, что эта первая предварительная заявка об уходе будет сразу решительно отклонена, даже почти без слов, просто выражением ужаса, обиды и отчаяния на лице хозяина. Потом, минут через двадцать, можно будет сделать вторую заявку, на которую хозяин ответит уже менее решительным протестом, а еще минут через десять гости по-настоящему простятся и разъедутся. Но тогда, в первом часу ночи, жена, конечно, потребует, чтобы он с ней вернулся домой. Таким образом, на партию в этот вечер рассчитывать не приходилось. Граф ел салат, пил виши, говорил изредка несколько слов соседям, иногда, не очень похоже, делал вид, будто с интересом прислушивается к умной беседе, и думал, что, если б не проклятое приглашение и не его жена, можно было бы теперь в клубе, за столом, с надеждой сдавать карты или разыгрывать трудную партию, при общем сосредоточенном внимании — у него за спиной, следя за его игрой, обычно толпились люди; он принимал это как должное и не раздражался даже тогда, когда подходили лица, заведомо приносящие несчастье. „Как все-таки нет у людей мужества откровенно раз навсегда предпочесть настоящие, искренние, неподдельные удовольствия — глупым и притворным?..“

*Комбинация в бридже (*фр.*).

Встретившись взглядом с Тамариным, который думал о постели и о томике Клаузевица, граф инстинктом почувствовал в нем союзника и улыбнулся: знал, что на всех званных обедах существуют правительственная партия, вполне всем довольная, и оппозиция, иронически порицающая или даже (в зависимости от темперамента) проклинаящая обед и хозяев. Здесь, он чувствовал, оппозицию составляли он сам, этот старый генерал и странный человек, сидевший рядом с его женой.

Он видел также, что странный человек интересуется графиню. „Верно, скоро будет у нас в салоне“. Граф вздохнул и тихо спросил соседа слева, кто этот человек. Узнав, что это известный революционер, член Коммунистического Интернационала, называющийся в настоящее время Вислиценусом, граф одобрительно кивнул головой, несколько подняв брови кверху, в доказательство того, что слышал, понимает и ценит. Теперь было ясно, что человек в рыжем пиджаке непременно будет почетным гостем их дома. „Все-таки чего ей нужно? Можно было понять, когда она гонялась за лордом Бальфуром... Но теперь, кажется, у нас перебивали все“. Он лениво еще подумал, что следовало бы у кого-нибудь узнать, кто сосед слева. „А впрочем, совершенно все равно...“

Вислиценус, преодолевая сильную боль (теперь перескочившую на лопатку), угрюмо слушал немца. Он и вообще недолюбливал либералов, радикалов, умеренных социалистов. Немецкие же демократы были особенно ему неприятны оттого, что без единого выстрела, без малейшей попытки сопротивления отдали власть Гитлеру, да еще потому, что в былые времена всячески заигрывали с большевиками и рассыпались перед ними в любезностях (изредка делая, впрочем, оговорки относительно „эксцессов“). Передовые адвокаты, оказавшиеся одновременно специалистами по русской душе и по макиавеллической внешней политике, демократические банкиры, громившие юнкеров и помещиков и устраивавшие королевские обеды, на которых за стулом каждого гостя стоял лакей в коротких брюках и шелковых чулках, либеральные писатели, считавшие Ленина слишком умеренным человеком, скупленные дельцами газеты, ежедневно печатавшие своднические объявления и в каком-то высшем смысле требовавшие, чтобы Россия довела до конца, непременно до конца, свой великий социальный опыт, — вызывали у него

чувство, близкое к отвращению. Все эти люди верили в свободу, пока она обеспечивала им хорошее общественное положение. Быть может, своего класса они и не предавали, так как их программа, поскольку дело касалось Германии, была вполне умеренной и буржуазной: ширь их натуры сказывалась лишь в отношении России. Но это были типичные предатели идеи, хотя бы и скверной, но ими усвоенной: идеи либерализма XIX столетия. Разумеется, их услугами можно и должно было пользоваться, пока они составляли правящий класс; однако Вислиценус со дня прихода к власти Гитлера ловил себя на злорадном чувстве в отношении этих людей.

Доктор Майер был, по его мнению, характерным их представителем. В дни его светского и политического величия Вислиценус был у него раза два или три. Майер, побывавший в министрах (это было сказкой его жизни, скрашивавшей и теперь ему существование), тогда принимал „весь Берлин“. Впоследствии люди из „всего Берлина“, которые еще весьма недавно сочли бы для себя большой честью и успехом приглашение в дом Зигфрида Майера, старательно не узнавали его на улицах. Он бежал в Чехословакию, перекочевал в Швейцарию, затем во Францию и, как говорили, бедствовал во всех трех странах. По мнению Вислиценуса, самым удивительным в этом деле было то, что такой человек не вывез за границу денег.

Майер начал с очередных похвал великому опыту (об „эксцессах“ более речи не было), высказал мнение, что мировой демократии должно опереться на СССР — было бы глупо лишать себя столь могущественного союзника в борьбе с общим врагом, — сообщил, что был бы счастлив отправиться в Москву.

„Чего хочет? Зачем язык чешет?“ — хмуро спрашивал себя Вислиценус. Был, впрочем, почему-то почти уверен, что его собеседник хочет денег, но не знал каких, за что и в какой форме. „Написал книгу и желает продать ее Госиздату? (Это был наиболее распространённый вид подкупа.) Но ведь, кажется, он человек не пишущий...“ Поговорив несколько минут на общие темы, Майер сказал, что у него есть важные документы, которые должны чрезвычайно заинтересовать советское правительство или Коммунистический Интернационал — „или оба эти учреждения“, — с улыбкой осведомленного человека добавил он. „Вот оно что“, — подумал Вислиценус. Это также было для него дело

привычное. Такие покупки отчасти входили в его ведение, особенно прежде, и людям, ими интересовавшимся, об этом было понаслышке известно. Сообщив кратко содержание бумаг, Майер объяснил, что они находятся у другого лица, которое готово было бы их *уступить* на известных началах. Вислиценус нетерпеливо кивнул головой: и слово „уступить“, и ссылка на „другое лицо“ были в таких случаях почти обязательными.

Предложение показалось ему интересным: дело шло о документах, весьма неприятных германскому правительству. Он ответил то, что всегда отвечал на подобные предложения: в принципе отчего же не купить, но надо посмотреть на документы, кога в мешке не покупают, — не знал иностранных выражений, соответствующих этой русской поговорке, и обычно дословно ее переводил, причем все продавцы сразу понимали, хоть некоторые принимали оскорбленный вид. Несколько оскорбленное выражение появилось и на лице доктора Зигфрида Майера.

— За подлинность документов и за представляемый ими исключительный интерес отвечаю я, — сказал он, подчеркнув последнее слово, и на мгновение остановился. В его глазах промелькнула скрытая робость: робость человека, очень понизившегося в общественном отношении, всякую минуту ожидающего грубостей. Он тоскливо вспомнил, что денег у него осталось не более как на три месяца жизни. Вислиценус ничего не сказал, не выразив ни доверия, ни недоверия к гарантии. — Я не знаю, согласится ли мой знакомый показать документы, не имея уверенности в том, что они будут приобретены...

— А не согласится, так и не надо, — равнодушно, совершенно по-купечески ответил Вислиценус. — Документы не слишком важные: ничего злободневного в них нет, они имеют скорее историческое значение.

— Методы этих господ не изменились, а здесь дело идет о свидетельских показаниях очевидца и участника событий...

Он сообщил некоторые подробности, и Вислиценус не без удивления убедился, что „другое лицо“ действительно существует. Майер, очевидно, желал лишь получить посредническое вознаграждение от продажи. В этом ничего худого не было, он был человек ограбленный и нуждающийся. Как будто не приходилось сомневаться и в подлинности документов (документы, заведомо подложные приобретались лишь редко, в ис-

ключительных случаях и по дешевой цене). После недолгих переговоров решено было встретиться снова с тем, что придет и другое лицо.

— Со своей стороны я ставлю лишь условие, чтобы документы по приобретении были тотчас опубликованы. Этого требуют интересы мировой демократии! — с силой сказал доктор Майер и покраснел: по выражению лица Вислиценуса понял, что никаких *требований* он заявлять не может и что защищать мировую демократию ему не годится. Они обменялись номерами телефонов, и оба с неприятным чувством вернулись в кабинет.

Надежда Ивановна незаметно вышла в переднюю, вынула у зеркала из сумки эмалевую коробочку, снова ею полюбовалась, попудрила нос, лоб, ямочку подбородка, с наслаждением вдыхая еще не привычный запах новой, дорогой пудры; что-то поправила в волосах, не вполне уверенно провела одной новенькой штучкой по бровям, другой — по губам. Видела, что ничего по-настоящему поправлять не надо, все отлично. Голова у нее кружилась, ей было весело, так весело, как давно не было. „Да что же, собственно, хорошего случилось? Ну, прекрасный обед, вино, ликеры. Не успех же у старичков? У амбассадера успех сегодня даже слишком большой... Зачем они так расставили зеркала: одно здесь, а другое в кабинете? Отсюда видно, что там происходит, даже в той комнатке... Если оргии, то это неудобно...“ Ей почему-то вспомнился красивый молодой человек, сидевший в кофейне рядом с ней и Тама-риным. „Неужели белогвардеец? Жаль...“

В зеркале отразилась фигура входившего в переднюю Кангарова. Вид у него был какой-то особенный, ухарский, игриво-разбойничий, точно он подкрадывался к кому-то с кистенем. Надежда Ивановна почему-то сделала сначала вид, будто его не заметила, затем буд-то — *слабо ахнула* — будто недовольна.

— А, и вы тут, — *процедила* она, как в романах гордые неприступные красавицы „процеживают сквозь зубы“ презрительные замечания. И так как в эту минуту она проводила новенькой штучкой по губам, то голос ее прозвучал комически-неестественно.

— „И вы тут“, — передразнил Кангаров, низко к ней наклоняясь. От него сильно пахло вином, но это не было неприятно Надежде Ивановне, как не были неприятны его близость, выражение его глаз. „Отсюда не видно, а если и видно, мне все равно! — все набираясь ухарски-

разбойничьего духа, подумал он. — Скандал так скандал!..“

— Гостей, значит, бросили? Хорош хозяин, — сказала Надя, пряча эмалевую коробку в сумку.

— Значит, бросил. Ты довольна, детка? Тебе весело? — спросил он тихо, вдруг заколебавшись между игривым и отеческим тоном.

— Да, правда, очень весело. Ей-богу! Страшно вам благодарна, что вы меня пригласили...

— А если благодарна, так благодари, — прошептал он и поцеловал ее в шею, у корней волос. Она опять *слабо ахнула*, теперь уже без притворства. „Однако!..“ Этого у них никогда не было. Хотела было рассердиться — не вышло, не рассердилась. „Однако нахал порядочный!“ — сказала она мысленно и собралась было сказать что-то не мысленно, но Кангарова в передней уже не было. Взволнованный и счастливый, он скользнул — именно скользнул, точно на коньках, — назад к гостям. В ту же секунду Надежда Ивановна встретила глазами в зеркале с входившим в кабинет из маленькой комнаты Вислиценусом. Ей показалось, что он *остановился у двери как вкопанный*. „Неужели видел?“

Вислиценус не видел поцелуя и не останавливался у дверей как вкопанный. Но он видел, что Кангаров вышел из передней, где был вдвоем с Надей, видел, что оба они смущены, что лица у них странные. То чувство отвращения, которое Вислиценус испытывал во все время обеда и которое еще усилилось от разговора с немцем, стало совершенно непреодолимым. Он посидел несколько минут, разговаривая кое-как с Тамариным — в этом обществе один командарм не внушал ему отвращения и злобы, — затем, не прощаясь, вышел в коридор и подал вскочившему со стула мальчику свой номерок. В коридоре появился вышедший за ним Кангаров.

— Что вы, дорогой мой, а-л'англэз*? — изображая шутовское возмущение, сказал посол. — Отчего же так рано? Нет, я вас не отпускаю.

— Извините, я очень устал.

— Но ведь еще страшно рано! Надеюсь, вы успели переговорить с Майером?

*Уходить по-английски, не попрощавшись (*φр. à l'anglaise*). — *Прим. ред.*

— Успел.

— Очень рад, что хоть чему-нибудь мог послужить этот мой несчастный обед, — сказал Кангаров, покачивая головой с улыбкой, означавшей: „Ох, тяжело! Ну, да вы сами понимаете, отчего я вынужден заниматься столь неприятными делами...“ Он с полминуты подождал, как бы ожидая, что Вислиценус скажет: „Нет, что вы, что вы! Вечер был очаровательный!“ Но Вислиценус ничего не сказал, взял помятую, с выцветшей лентой, серую шляпу, которую с недоумением подал ему мальчик, и дал на чай франк. „Только компрометирует!“ — подумал Кангаров и произнес с крайним огорчением в голосе:

— Нет, вы в самом деле уходите? Вы в метро? Тут, налево, вы знаете, в двух шагах. Вам далеко?

— Далеко.

— Еще рано, времени до последнего метро сколько угодно, хотя бы вам и с двумя пересадками. А то, может, еще посидели бы? И Нади вы ведь сто лет не видели. Посидели бы, право, если вам не было слишком скучно, Коминтерн Иванович? — полувопросительно сказал Кангаров. Он был так счастлив, что в самом деле почти обрадовался бы, если б согласился еще посидеть этот неприятный гость. Злоба, душившая Вислиценуса, вдруг прорвалась.

— Скучно не было, а было противно, очень противно, — сказал он и направился к дверям, бросив на ходу „до свидания“. Кангаров несколько оторопел. „Что это? Или он спятил?“ — спросил себя посол, вначале преимущественно с изумлением. Хотел было даже окликнуть Вислиценуса, но дверь уже закрылась. Только через минуту изумление посла перешло в негодование. „Этакий хам и негодяй“.

— Месье тоже желает получить вещи? — небрежно спросил мальчик, недовольный „начаем“. Кангаров озадаченно смотрел на дверь. Радостное настроение с него как рукой сняло. „Что за невежа и хам! Что он имел в виду? Какая муха его укусила? Нет, это ему так не пройдет!“ — с бешенством подумал он.

— Месье желает получить вещи? — повторил мальчик.

— Я вам не месье, а Ваше Превосходительство! — *оборвал* его сердито Кангаров и, *повернувшись на каблуках*, пошел назад в кабинет. У портьеры он увидел Надю. „Что, если этот господин в нее влюблен?! Нет, все

это так не пройдет этому *троцкисту*, я его выведу на чистую воду!“ — решительно сказал себе он.

— Господа, никто ничего не пьет, — упавшим голосом сказал посол, сделав над собой усилие и механически впадая в свой хозяйский, гусарско-шутливый тон. — Так нельзя, господа, просто безобразие! Не велеть ли откупорить еще бутылку коньяка, а? Нет возражений? Принято.

— Мы вполне оценили это произведение эпохи великого императора.

— О человеческое легковерие! Вы вправду верите, что в мире еще существует наполеоновский коньяк? У человечества должно было хватить разума, чтобы его выпить и за одно столетие.

— Слышите? Наш дорогой Вермандуа заговорил о человеческом разуме!

— Он не верит ни в социализм, ни в коньяк.

— Коньяк очень недурен, но, по-моему, настоящее чудо был их херес.

— Он не *был*, он *есть*. Я его теперь пью как ликер.

XXII.

Гости разъехались несколько раньше, чем предвидел граф. Без четверти одиннадцать Вермандуа нерешительно сказал: „Однако поздно, господа. Не пора ли по домам, хоть здесь так приятно...“ Лицо Кангарова действительно выразило: „Что ж, если вы желаете меня погубить, то уходите, — но что-то в этом выражении пробудило у графа надежды на клуб. — Нет, нет, шэр мэтр, мы вас не отпустим. Вы не захотите лишиться нас удовольствия слушать вас и дальше“, — сказал Кангаров. Вермандуа безропотно подчинился, подумав с досадой, что за автомобиль придется платить по ночному тарифу. Графиня затеяла напоследок с хозяином политический спор, который все слушали вяло: споров за вечер было достаточно. „Да, да, вы во многом правы, скажу больше, вы правы почти во всем, — мягко говорила графиня, — но я не могу признать, что в СССР (она с легким оттенком демонстрации произносила URSS слитно: „юрс“) есть полная свобода печати, и нам, друзьям вашим, больно, что вы кое в чем следуете фашистским методам... Не сердитесь на меня: оговариваюсь, быть может, я недостаточно знаю положение в вашей прекрасной стране...“ „У нее вид кинематографической шпионки, раскаявшейся вследствие любви к неприятелю“.

тельскому контрразведчику, — подумал Вермандуа. — Было бы хорошо, если б старая дура подвезла меня на своем автомобиле. Но она не подвезет“.

Через полчаса граф сделал отчаянную попытку прогнаться в клуб: чужая первая заявка облегчала его собственную. Неожиданно графа поддержали другие гости: „да, в самом деле, очень поздно, пора“. Кангаров еще немного поспорил, сделал таинственный знак метрдотелю и отошел с ним в угол кабинета. Гости тотчас оживленно между собой заговорили. Посол взял с подноса счет, мысленно ужаснулся — „просто бандиты!“ — и заплатил. Хотя деньги он почти всегда расходовал казенные, у него при всяком платеже был такой вид, точно он отдавал свою последнюю копейку.

Затем хозяин с приятной улыбкой вернулся к гостям. „Так вы в самом деле уходите? Почему же так рано?“ При очень сильном натиске гостей можно было удержать в повиновении еще минут двадцать. Но настроение у Кангарова было омрачено инцидентом с Вислиценусом. „Какое же рано? Я регулярно ложусь в одиннадцать“, — сообщил финансист. „Я в десять всегда уже лежу в кровати с книгой“, — добавил Серизье. Каким-то странным образом неизменно выходило, что появившиеся везде светские люди уже лежат в кровати с книгой кто в одиннадцать, кто в десять. „Необыкновенно приятный вечер. Мы надеемся, до скорого свидания“, — сказала графиня многозначительным тоном, не уточняя, однако, своей надежды: она пока не намерена была звать к обеду Кангарова; кроме того, рядом с ним стоял Серизье, приглашать которого графиня и вообще не собиралась. Знаменитый адвокат отвернулся и заговорил с финансистом. „Непременно... Скоро, очень скоро“, — повторял с жаром, но неопределенно Вермандуа: это ни к чему не обязывало, да и неясно было, кто кого приглашает. Он еще о чем-то пошутил, не особенно заботясь о блеске ввиду позднего времени. Опустил руку в жилетный карман в надежде найти там три франка и, не найдя, с досадой дал пять подававшему пальто лакею. Внизу тоже все произошло по-предусмотренному. Финансист и граф любезно, но с твердым в голосе расчетом на отказ, сказали: „Хотите мы вас подвезем, cher maître?“ — и он так же любезно ответил: „Что вы, что вы, нам совсем не по дороге“.

В автомобиле он откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги и наконец-то беззастенчиво, *цинично* зев-

нул. „Слава Богу, конечно!.. Сейчас ванна, постель...“ Так, в полублаженном состоянии, ожидая состояния блаженного, он пролежал с полдороги. Думал, что обед был превосходный, что не надо было все же пить так много вина, что девочка, называвшаяся секретаршей посла, очень мила, — и досталась такому человеку! Когда автомобиль проходил мимо фонарей, Вермандуа подозрительно-сумрачно вглядывался в счетчик, но ничего рассмотреть на циферблате не мог. „Будет от пятнадцати до двадцати франков, в зависимости от того, благородный ли человек шофер и по совести ли выберет дорогу...“ Вспоминал с ленивым удивлением, что в былые времена любил эти двухчасовые обеды из семи блюд с убийственным смешением напитков, с непрекращающейся ни на минуту беседой, которую, по его положению, всегда требовалось вести блистательно. Не без удовлетворения решил, что и в этот вечер блистал вполне достаточно, особенно для таких слушателей. „Общество, разумеется, было среднее. Но у нас (он разумел писателей) надо вечно держаться настороже: от собратьев ничего не ждешь, кроме колких, неприятных, даже грубых слов; мы живем в атмосфере неуважения, неприязни, ненависти друг к другу. Здесь, по крайней мере, этого не было и следов: одни слушали с восхищением, другие равнодушно, третьи совсем не слушали, как девочка, с которой не удалось обменяться десятью словами, но злобы не было ни у кого, и неприятностей ни от кого ждать не приходилось. Разница в умственном уровне? Но в своем кругу мы разговариваем главным образом о сплетнях, об издателях, о гонорах. Мне показалось бы просто диким заговорить с Эмилем о конце культуры или о социалистическом строе — он, вероятно, радостно подумал бы, что я окончательно выжил из ума!..“

Ночной воздух, лежащее положение освежили Вермандуа. Он вернулся мыслью к роману. „Завтра сяду за стол в семь часов утра. Лишь бы хорошо выспаться...“ Вино обеспечивало, он знал, не более трех или четырех часов сна. „Разве принять гарденал? Но тогда с утра работать будет нелегко“. Ему захотелось, чтобы скорее наступило утро: так тянуло его к принявшей новый ход работе. Автомобиль, наконец, остановился; счетчик показывал восемнадцать франков; шофер оказался человеком средних моральных качеств.

Вермандуа отворил ключом дверь и вошел в переднюю с не совсем приятным чувством, как почти всегда

ночью: безлюдность этой сравнительно большой квартиры его немного тяготила. Расположение комнат было неудобное и неуютное. Из передней дверь открывалась в гостиную, комнату ненужную и нелюбимую. Отделана она была очень давно, когда появились как-то лишние деньги. Мебель была старинная и, вероятно, поддельная. На стене висел Ван Лоо, в точности неизвестно какой именно: куплен был как Карль, но, по мнению особенно компетентных людей, был скорее Жан Батист, если не Жюль Сезар. Другой достопримечательностью комнаты был необыкновенный совершенно ни для чего непригодный столик, из тех, что в восемнадцатом веке назывались афинскими: раззолоченной бронзы, с порфировой доской. Он и куплен был едва ли не благодаря названию; более тонкие из гостей, которым Вермандуа показывал свои старинные вещи, это понимали и улыбками давали почувствовать, что понимают: где же и быть афинским столикам XVIII столетия, как не у Луи Этьенна Вермандуа?

В темноте он осторожно прошел по гостиной; в ней и электрические выключатели были размещены неудобно: зажечь свет можно было только на пороге кабинета. Несмотря на привычку, Вермандуа что-то задел, поскользнулся и пробормотал ругательство. Ощупью разыскал выключатель и зажег в гостиной свет. На стоявшем у двери афинском столике не было ничего. Приходившие с последней почтой письма старуха обычно раскладывала на столике, находя, вероятно, что надо же хоть как-нибудь использовать этот ни для чего ненужный предмет. Вермандуа вспомнил, что последняя почта пришла еще до его отъезда на обед. Он зажег свет в кабинете и погасил в гостиной. „Царство лжи — царство правды: в гостиной все лживо и претенциозно; в кабинете ничто себя не выдает ни за что другое; обыкновенный красный уютный бобрик, полки, вертящаяся этажерка, американский письменный стол, все не смешная, полезная, искренняя дрянь“. Кабинет был *честной* комнатой его квартиры.

С необыкновенным наслаждением он снял тугой воротник, смокинг, надел мягкие туфли, расстегнул пуговицы жилета и брюк и почти повалился в глубокое кожаное с темно-желтой подушкой кресло у письменного стола. Это был предварительный отдых перед сном. „В сущности, лучшие радости жизни — элементарные: после пяти часов мучения снять идиотский воротничок, имеющий единственной целью резать человеку шею...

Или в жаркий день выпить залпом стакан ледяной воды...“ В поисках других элементарных радостей подумал о секретарше советского посла и вздохнул: „О чем я думал? не записать ли? Да, кабинет — частная комната. Здесь я в своей естественной и законной обстановке, как зверь в лесу или как папа в Сикстинской капелле... Хотя папе, быть может, в Сикстинской капелле бывает иногда и немного совестно...“

Лежать так, без воротничка, опустив подбородок на шею, было очень хорошо. Вермандуа все же лениво подумал, что пора пойти в ванную; в постели будет еще лучше. „А то не сесть ли за работу? Сначала будет трудно, потом понемногу войдешь...“ Он нерешительно взглянул на стол. Сбоку, на видном месте, лежала в картонной папке рукопись романа. „Нет, начинать в час ночи не годится, но просмотреть сделанное до обеда, это можно...“

Он тяжело встал, опираясь на ручки кресла, ужаснулся усилию, которое пришлось для этого сделать, пересел на стул, надел очки и придвинул к себе папку. Только теперь Вермандуа ясно понял, что его приятное настроение во время обеда и словоохотливость держались в нем не только за счет вина, но и за счет скрытого полусознательного запаса радости, единственной причиной которого были именно перемены в романе, новые возможности, открывавшиеся благодаря коринфской встрече Лисандра. В последнем счете настроение духа у Вермандуа, несмотря на его презрение к литературе, определялось преимущественно ходом его работы. „Да, это была счастливая мысль!“ — опять радостно подумал он, вынимая из папки соединенные зажимом исписанные вдоль и поперек листки.

Он стал читать. Лицо его потемнело. „Что же это?..“ Новая редакция главы была явно не только не лучше, а гораздо хуже старой! Сердце у Вермандуа упало. Он бросил основной текст, стал разбирать поправки, сокращенные указания, заметки для памяти, сделанные на полях или снизу вверх, наискось пересекавшие строчки основного текста. Почти все это никуда не годилось. И ему одно за другим стали приходиться в голову соображения, вследствие которых коринфская встреча Лисандра была неудачной, нисколько не выигрышной и даже просто невозможной. „Но ведь это ужасно! Как же я сразу не подумал?.. Это было затмение, настоящее затмение!..“

Почти с отчаянием Вермандуа положил листы в папку. „Господи, что же теперь делать?..“ Он подумал в сотый раз, что нужно, необходимо навсегда бросить это ужасное, постыдное ремесло выдумщика, и в сотый раз ответил себе, что бросить невозможно: весь смысл жизни был в писательском призвании, почти вся ее радость — в том, что, частью условно, частью вполне верно называлось вдохновением. „А вдруг завтра снова все просмотрю, и опять покажется иным: ведь не идиот же я был пять часов тому назад! Пойти спать, а завтра с утра сесть за работу со свежей головой...“ Но он знал, что уж теперь никак заснуть не удастся.

Вермандуа тяжело вздохнул, положил рукопись назад в папку и прошел в ванную. По дороге с отвращением оглядел нечестную гостиную. „Да, разумеется, Жюль-Сезар, и скверный! А если и Карль, то радость тоже не велика. И имени такого нет: почему *Карль*, а не Шарль? И афинский столик дрянной, и все эти мастера, создавшие мебель XVIII века, „чудо французского вкуса“, были инородцы, в большинстве немцы: Ризенер, Жакоб, Крамер, Вейсвейлер, Бенеман, Швердфегер... И поскорее продать всю эту дрянь, пока за нее еще, по человеческой глупости, можно получить немалые деньги!..“

В ванной комнате он сел на неудобный, с прямой спинкой, деревянный стул и рассеянно уставился на лившуюся из крана воду. Думал о многом сразу, но преимущественно о том, что жить этой скверной искусственной жизнью больше невозможно и незачем: нервы обнажены совершенно, любая мелкая неприятность кажется несчастьем, а несколько более серьезная — катастрофой. „В самом деле, что же случилось сегодня? Ну, оказалась неудачной мысль о коринфской встрече. Но ведь еще вчера ее вовсе не было, и ничего...“ Это рассуждение его не утешило. Все представлялось ему в очень мрачном виде, особенно люди, особенно он сам. „Вот и за этим идиотским обедом распустил перья, старый павлин, нес вздор. С душой графиней, с Серизье, с жуликом послом говорил о конце мира, „рассыпал блестящие парадоксы“ — это моя специальность, как утка в *La Tour d'Argent*. Высказывал эсхатологические мысли, точно эсхатология не есть профессия для человека в семидесятилетнем возрасте! Цитировал сто тысяч человек, кого только не цитировал! Больше никогда, никогда не буду, даю честное слово!“ — с чувством

стыда, тоже в сотый раз, совершенно искренно сказал себе он.

Вода, вопреки договору с хозяином дома, была не горячая, а разве чуть теплая: и посидеть в ванне нельзя, и сон окончательно сорвешь. Это чрезвычайно его раздражило. „Завтра же ему написать: сказать Альвера, чтобы написал на машинке, иначе он еще продаст автограф, мерзавец этакий!.. От холодной воды после такого обеда может случиться удар...“ Хотя он знал (или так как знал), что едва ли с ним удар случится в эту ночь — давление крови шестнадцать, — с полной ясностью себе представил, как будет хрипеть в ванне до утра, пока не придет старуха. „Она бросится за консьержкой, консьержка прибежит сюда, они общими силами постараются поднять меня и перенести на постель...“ Трагическое безобразие этой сцены поразило его и заняло. „Через полчаса придет доктор, констатирует смерть и с торжественным видом позвонит куда следует: „Луи Этьенн Вермандуа скончался!“ Через час прискачут журналисты, откуда-то появится какая-то книга (или нет: кажется, листы с черной каемкой) и начнут расписываться друзья. Тот молодой психопат сообщит репортерам подробности моего образа жизни, колеблясь между горем — „больше не будет жалованья“ — и радостью, — „вот ты отправился к отцам, а я еще лет пятьдесят проживу!“ Графиня, как „ближайший друг“, будет, *сдерживая глугие рыдания*, принимать представителей президента республики и министра народного просвещения. „Еще вчера мы с ним провели вечер, он был весел и блестящ, как никогда...“ В Академии произойдет сильное волнение: неожиданно открылась вакансия, на которую никто из собратьев и не надеялся... Эмиль придет с постной физиономией и, расписываясь со своим росчерком, выдавит: „Какая потеря!“ Журналисты тотчас запишут: „Какая потеря!“ — сказал он“.

Мысли эти, несмотря на иронический тон, его взволновали: ему показалось даже, что с ним и в самом деле произошел какой-то *припадок*. Правда, это лишь показалось: все-таки знал, что припадка не было и что давление крови шестнадцать. „Ну, не сегодня, так через год, особенно если из-за всего волноваться, как сумасшедший. Нет, положительно, бросить Париж, продать Ван Лоо, продать всю эту фарфоровую и порфирную дрянь, выручить что можно, благо ценность дряни допняется моей славой: „из коллекции Луи Этьенна

Вермандуа“, и уехать, — и пусть романы пишет, до самой своей безвременной кончины, мой друг Эмиль!..“ Как всегда, мысль, что Эмиль теперь пишет плохо, очень плохо, с каждой книгой все хуже, немного утешила Вермандуа. „Если б и вправду сейчас умирать, то было бы маленьким утешением, что больше никогда не увижу Эмиля...“ Он разделся и, стараясь не глядеть с отвращением на свое старческое тело, сел в воду.

В ванне настроение у него становилось все мрачнее. Иронический тон чувств отлетел совершенно. Теперь в самом деле был припадок: припадок полного, казалось бы, беспричинного отчаяния. Он не видел просвета ни в чем: все было гадко, плоско, ужасно, ни о чем без стыда нельзя было вспомнить. И по сравнению с этим, собственным, личным, отходило на второй план то, что мир приближался к бездне, — нет, не отходило на второй план, но так тесно переплеталось, что было невозможно отделить одно от другого. От еле теплой воды у Вермандуа застучали зубы, он опять, с тем же морально-тяжким усилием, встал, закончил свой ночной туалет, вошел в спальню и лег в постель. Погасил было свет и полежал с четверть часа в надежде, что заснет; затем почувствовал, что заснуть нельзя и что нет силы бороться с тоской. Он снова зажег лампу и взял со столика книгу.

Это было французское издание разговоров Гёте с канцлером Мюллером — вполне приличная *livre de chevet**, такая, которую можно было смело назвать в задумчиво-глубокой беседе с интервьюером. На прошлой неделе Вермандуа и в самом деле сказал явившемуся за задумчиво-глубокой беседой журналисту, что предпочитает эту книгу Эккерману: „У Эккермана парадный Гёте в понимании недалекого, если не глупого, юноши. А у Мюллера Гёте непричесанный и капризный, в спорах с умным, пожившим и культурным человеком“. Ему потом было совестно, что он назвал Эккермана недалеким юношей, это было клише, и неверное клише. А дня через три он с ужасом и отвращением прочел украшенное его портретом интервью, где что-то говорилось о „cet immense bonhomme de Johann-Wolfgang vu par Louis-Etienne Vermandois“#, и даже нельзя было понять, просто ли это пошлая фраза или в

*Настольная книга (*фр.*).

„Этой необъятной личности Иоганна Вольфганга, рассматриваемой Луи Этьенном Вермандуа“ (*фр.*).

почтительной форме коварная насмешка — глаза и улыбка у интервьюера были хитрые.

Он перелистал книгу с предвзятым сознательным недоброжелательством, „так, собственно, и надо читать всех замечательных писателей, если не хочешь попасть к ним в рабство...“ — „Жизнь госпожи Крюденер подобна древесным опилкам: из нее в лучшем случае можно извлечь немного пепла для производства мыла...“ — Образ из тех, что годятся для беседы или для черновика, но в беловую рукопись Гёте попасть не могли. Да и о какой человеческой жизни, собственно, нельзя было бы сказать того же самого?.. — „Надо было бы, чтоб немцы были рассеяны, как евреи, по всему лицу земли: только тогда они и могли бы дать меру своих способностей...“ — Это был тоже „сверкающий парадокс“, и политический деятель, канцлер Мюллер, вероятно, слушал его с уныло-покорным видом: нельзя же помешать великому человеку, да еще в 80 лет, говорить какой ему угодно вздор... — „Цензура полезна, так как приучает к полускрытому, и потому более тонкому и остроумному, выражению мыслей. Прямое выражение мысли обычно тяжеловато...“ — Может быть. Однако это довод, придуманный нарочно для оправдания веймарских цензур. Он верил в свободу духа и в блага цензуры, в величие дела французской революции и в величие дома Ротшильдов, издевался над бессмертием души, но находил, что мир погибнет, если обер-гофмаршал женится церковным браком на еврейке... Впрочем, очень многое говорил, конечно, назло своим собеседникам: его, должно быть, интеллигентное лицо канцлера Мюллера раздражало еще больше, чем восторженно-наивная физиономия Эккермана: „как бы не пропустить какой-нибудь новой гениальной мысли Его Превосходительства...“ И самое замечательное то, что в такой нелепой обстановке, из этих долготелних ежедневных интервью он сумел создать интереснейшие, ценные книги.

Даже в редкие минуты профессиональной мании величия, вообще ему почти не свойственной, Вермандуа не сравнивал себя с Гёте. Но ему приятно было видеть, что и этот навсегда, на весь мир прославленный человек жил почти в такой же обстановке, как он, так же тяготился людьми, так же не мог без них обойтись, так же терпел обиды, так же подчинялся требованиям своего общества. „Самый Мефистофель его — общедоступный, конформистский черт: недаром им трепетно восторгается десяток поколений немецкого юношества, и

недаром он в опере теряет так мало по сравнению с поэмой...“

— Требовал себе права не верить ни во что, в минуты откровенности не скрывал, что ни во что и не верит. — Издевался над глупостью королей, над зверством революций, над истинами откровения, над верой, над собственным своим неверием. — И больше всего завидовал простодушным людям, все равно портным или художникам. Гайдна спросили, отчего так радостны его мессы. — „Оттого, что, когда я благодарю Творца, я всегда неопишимо счастлив“. Услышав это, престарелый Гёте прослезился.

Вермандуа в смертельной тоске отложил книгу. „Да, так больше жить невозможно... Чем жить? Для чего жить? Допустим, я сейчас умру: поднимет ли мою душу близость смерти? Нет, едва ли, и я не могу этого приписывать только собственному ничтожеству, вот и этот человек, один из величайших в мире, почти так же был опутан жалкими чувствами — не так же, пусть по-своему, а все-таки был опутан, — и в ненужно откровенные свои минуты сам в этом сознавался — не одному себе, но и другим людям. Старый, так много знавший, так много о разном, обо всем, о жизни думавший человек, чему ты можешь научить, без „парадоксов“, без стихов, без звонких речей, чему ты можешь *по-настоящему* научить другого старого человека, которому тоже осталось жить недолго? Не заглядывая в книги, помня только общий твой облик, посметь думать за тебя, попытаться, не пользуясь твоими словами, проникнуть в твою не книжную, а *настоящую* „мудрость“?

— Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл. Пусть портной шьет возможно лучше, пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд... Не уверять, что трудишься для самого себя, — ведь и он мечтал об огромной аудитории и откровенно советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки... Не задевать предрассудков, по крайней мере, грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия, профессия политического донкихота, такая же, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара... Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру

отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра. На склоне дней знаменитый врач говорил, что верит только в пять или шесть испытанных лекарств вроде хинина. Бесспорные принципы добра почти так же немногочисленны... Для себя же, для немногих свободных людей можно пойти и дальше. „Холодное наблюдение“ имеет свою ценность. В мысли, как в жизни, всего выше можно подняться при пониженном душевном жаре. Рядовые удачники жизни „горят“, но у Наполеона сердце билось со скоростью 60 ударов в минуту.

— И как кровь возвращается по венам в сердце, отдав по пути свои питательные вещества, так всего дороже *возвращающиеся* в сердце, больше ничего не питающие истины. Эти истины беречь про себя и в то время, когда больше не ждешь ничего, кроме пристойных некрологов. Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира.

Он снова раскрыл книгу. В ней ничего этого не было.

Часть вторая

I.

Подъемной машины в особняке знаменитого врача не было. Вислиценус медленно поднялся по лестнице. Он замечал, что боли (упорно не хотел называть их *припадками*) появляются чаще всего при подъеме. „Хорош, очень хорош, — подумал он в недавно принятом тоне насмешки над собою, точно он был мнимый больной. — Вот как оно отлично совпало: сразу и инвалид, и *пат...*“

В первой комнате бельэтажа сидела некрасивая девица в черном платье, с лицом, очевидно, испуганным раз на всю жизнь. Узнав фамилию, она нервно справилась по тетради в кожаном переплете и с видимым облегчением сказала: „Да, да, вы записаны на 3 часа 30. Но вам придется подождать: к профессору недавно вошли, и другой пациент ожидает в приемной. Точно рассчитать профессор никогда не может...“ Она говорила „профессор“, без фамилии, таким тоном, будто других профессоров на свете не существовало. Говорила негромким голосом, как в больнице, и, невольно этому подчиняясь, Вислиценус столь же тихо спросил, где приемная. „Налево первая дверь“, — изумленно сказала она, как будто он сам был обязан это знать.

„Нет, не пришла“, — с некоторым разочарованием подумал Вислиценус, войдя в приемную. Эта комната, впрочем, больше походила на библиотеку. Стены были выстланы книгами. Посредине стоял стол с сиротливым номером иллюстрированного журнала; еще было несколько кресел и стульев, расставленных как на сцене передового театра. У камина сидел старик, почему-то державший в руке светлые перчатки. Вислиценус слегка ему поклонился и раздражился, получив в ответ удивленный взгляд. „Много, много хамов развелось на свете“, — подумал он и, отвернувшись, сел у окна. „Оно на улицу. Посмотрим, что *гороховое пальто...* Да, тут как тут“. Филер, неотступно следовавший за ним по пятам от самого дома, был не в гороховом пальто, а в сером, но так называть его было приятно по воспомина-

ниям молодости. Низкорослый плюгавый человек медленно гулял по противоположному тротуару, и по его виду нельзя было сказать, кто он такой по национальности.

„Экий, однако, болван“, — подумал, усмехаясь, Вислиценус. Его раздражала младенческая техника слезки. „За старым революционером этот шпик следит так элементарно и грубо, как за каким-либо студентиком-пижоном“. Он и думал на устарелом языке своей молодости: *шпики* старого времени вызывали у него теперь некоторое умиление. Ему вдруг вспомнилась ссылка — Енисей, сорокаградусный мороз, Марья Васильевна, жарко натопленная комната с продавленным ситцевым диваном, горячий чай с клубничным вареньем, книга Бельтова в красном коленкоровом переплете — все сразу, все как одно, — и он почувствовал такую тоску, точно то было самое лучшее время его жизни. „Может, и действительно было самое лучшее“.

С воспоминаниями о поэзии ссылки и о поэтических шпиках тоже лучше всего было, как он знал по опыту, бороться иронией да еще деловитостью. „Ну хорошо, кто же этот нынешний не поэтический шпик? Я говорю себе, что заметил его тотчас. Вероятно, так оно и было; слава Богу, кое-какой опыт есть. Все же тут логическая несообразность: заметил — когда заметил, а установлена слезка, быть может, давно. Так кто же: гестапо или ГПУ?“ — в десятый раз спросил себя он, стараясь теперь рассуждать хладнокровно; в первую минуту, когда заметил слезку, почувствовал боль в сердце и удушье с тяжелой тоской — то самое, чего не хотел называть припадками. „Почему же такое волнение, молодой человек? Казалось бы, это для вас дело довольно привычное! Можно сказать, под всеми широтами. Да, *было* привычное, недавно отвык. В последние годы все больше сам устанавливал слезку за другими... Разумеется, есть нечто неизбежно-трагикомическое в переходе от революции к правительству, от правительства к революции. Кажется, это явление новейшее: прежде этого не могло быть, по крайней мере, в таком масштабе... Ну, и черт с ними!“

Он отошел к столу, взял иллюстрированный журнал и вернулся на свое место. Ждавший приема старик с любопытством на него поглядывал. „Если бы работа у них была тонкая, то именно этот пациент, пришедший раньше меня, должен был бы оказаться шпиком, как в уголовном романе. Технически это было бы не так

трудно сделать...“ От скуки он стал соображать, как именно это можно было бы устроить: посадить шпиона в приемную врача для наблюдения над человеком, который должен к врачу прийти. „Фантазия полицейских руководителей почти всегда питается уголовными романами, и все они до таких романов охотники необычайные. И Феликс их любил, и скотина Генрих тоже... Да и я любил: и тогда, когда был дичью, и тогда, когда сам стал охотником. Да, есть, есть трагикомическое в этих переходах! Что ж, быть дичью, пожалуй, мне лучше, больше к лицу, больше соответствует всей жизни, — подумал он и ответил себе: — Неправда, не лучше, а хуже, гораздо хуже. Но узнать, что я буду *первого в мире*, они никак не могли, кто бы они ни были. Нешто если Надя у них на службе“, — с улыбкой сказал себе Вислиценус.

Лениво скользнул глазами по объявлениям, по цезарям в футбольных костюмах, по красавицам, улыбавшимся ослепительной улыбкой из окон автомобилей, по знаменитым людям, восхвалявшим минеральные воды, зубные порошки и безопасные бритвы. Все это было ему приятно, как лишнее, незначительное, но забавное свидетельство о пошлости и продажности буржуазного мира. „*Ne pas connaître Unic c'est aller nu pieds...*“ „*Le Burberry est chaud. Le Burberry est frais...*“* — читал он. Потом ему надоело, заглянул в отдел политической хроники. Японские генералы с женскими именами одерживали победы на Дальнем Востоке; журнал не вполне одобрительно отдавал должное таланту генералов, истреблявших при помощи аэропланов по тысяче и по две беззащитных людей в день. Что-то такое же происходило и в Испании, „но тут у генералов имена среднего рода“. И кто-то кому-то делал *энергичное представление*, и кто-то кому-то заявлял *самый решительный протест*.

Он положил журнал на колени и задумался. „Все скверно, все мерзко, все, политическое, личное, всякое. И астма — хорошо еще, если астма, — и эти испано-японские дела, и слезка, и торжество зла в мире“. Заодно снова подумал, что Надя могла бы прийти сюда, хоть теперь и это большого значения не имеет. „Разлюбил, разлюбил. Кармен этакая. Да, перестал валять дурака. Вероятно, тоже из-за астмы и из-за Москвы“.

* „Не знать „Уник“ — это ходить босым...“, „Бюрбери“ — тепло, „Бюрбери“ — прохлада...“ (фр.)

Надежда Ивановна позвонила ему по телефону три дня тому назад. Узнав ее голос, он обрадовался, но совсем не так, как обрадовался бы год тому назад. Надя сообщила, что приехала в Париж ненадолго („с ним, конечно“, — подумал он) и очень, очень хочет его повидать. „Я слышала, что вы плохо себя чувствуете? что с вами? здоровье неважное?“ — „Да, не очень хорошее“. — „Кто вас лечит?“ — „Никто не лечит“. — „Помилуйте, это совершенно невозможно!“ — „Возможно, как видите. Да мне еще в Москве врач сказал, что это астма и что тут делать нечего“. — „В Москве! Вы шутите! Сколько же времени прошло с Москвы! Вам необходимо теперь же пойти к врачу, и к хорошему, к настоящему“. — „Вот еще! Что за нежности“. — „Не нежности, а непременно пойдите. Я это вам обстряпаю, а до того и улаживаться ни о чем не хочу. Завтра же вам позвоню. До свидания“. Она повесила трубку. На следующее утро позвонила опять: „Ну вот, все устроено. Вы послезавтра в 3 часа 30 у Фуко“. — „У какого Фуко? Что за ерунда?“ — „Нет, не ерунда, а делайте, что я вам говорю, иначе я вас больше знать не желаю. Послушайте, это вам будет стоить триста франчиков, но на такие вещи денег жалеть нельзя. Вы поставите в счет, а если у вас сейчас нет, то возьмите у меня!“ — „Какие триста франков, в чем дело? Это доктор, что ли?“ — „Это знаменитый профессор. Неужели вы не слышали: Фуко? Он теперь первый в мире по сердечным болезням и берет шестьсот, но я для вас устроила за триста“. — „Да помилуйте, зачем я к нему пойду? У меня решительно ничего серьезного нет“. — „Ну так вот, он так и скажет, что у вас решительно ничего серьезного нет. А я, по крайней мере, буду спокойна. Вы не только нужны партии, вы нужны и мне. Кроме того, я вас записала, так что, если вы откажетесь, то мне придется выложить триста франчей своих, и без всякой пользы. Нет, право, пойдите, ну, для меня, для моего успокоения!“ — „Лицемерка, вы так обо мне тревожитесь? А хоть одну строчку за все время написали?“ — „Я не мастерица писать письма. У Гоголя сказано: „письма пишут аптекари“. А я другое пишу...“ — „Что?“ — „Да и вы мне тоже ни одной строчки не написали. Так пойдете?“ — „Ну, что ж, если вы требуете“. — „Требую, требую, категорически требую! Спасибо, милый!“ (Это „милый“ все-таки очень его тронуло; в действительности она на мгновение забыла имя-отчество Вислиценуса.) „Значит, послезавтра, в половине четвертого“. — „А почему

мне у этого Фуко скидка?“ „Ах, это целая история... Я ведь здесь с амбассадером, — сказала она, и ему показалось, что в голосе ее прозвучала злоба, — вы, верно, слышали?“ „Нет, я не знал (так и есть), но какое же это имеет сюда отношение?“ — холодно спросил он. „Такое, что амбассадер тоже лечится у этого профессора Фуко. Он, видите ли, помешался на своих болезнях, хоть здоров как бык. Зафатигела* я с ним совсем, описать вам не могу, как зафатигела! Ну так, естественно, амбассадер платит по полному тарифу, шесть билетиков, я на этом основании добилась через нашего врача скидки для вас“. — „Совершенно напрасно. Я не желаю быть бесплатным приложением к вашему амбассадеру“. „Во-первых, не бесплатным. Во-вторых, вы можете заплатить ему хоть тысячу двести, мне все равно. А в-третьих, амбассадер не мой... Если б вы знали, как я им поужинала! Да и они все! У них там теперь пошел такой хамеж! Ну, да об этом по телефону говорить незачем. А насчет платы, если два пациента, то Фуко всегда делает скидку“, — экспромтом солгала она; в действительности профессор ответил, что вопрос о деньгах не имеет значения. „Что? Ну так, знайте, что, если вы не пойдете, то я о вас больше слышать не хочу!“ — „Ну, хорошо, хорошо, не сердитесь, вы очень милы. А повидать вас вообще можно?“ — „Разумеется, не можно, а должно! Я вам позвоню, и мы условимся. Запишите адрес Фуко, хоть он, конечно, есть в анньюэре“...“

Вислиценус отошел от телефона с улыбкой: конечно, это очень мило с ее стороны. Однако прежде, год тому назад, ее заботливость тронула и взволновала бы его гораздо больше. Что-то проскользнуло и неприятное в разговоре — в ее новом, развязном тоне, даже в языке: это был какой-то загранично-советский жаргон, на котором в России не говорили — так выражались советские молодые люди, прожившие год во Франции и уверенные, что раскусили западную культуру и, в частности, насквозь постигли все самое что ни есть парижское. „Да, но не это главное неприятное... А вдруг правда?!“ Месяца два тому назад при нем советский человек сообщил, что Кангаров-Московский *живет* со своей секретаршей. „Нет, вранье. Не живет, разве живнул“, — ответил другой. „Только кушнул, вы думаете?“ Висли-

*От фр. fatigue — усталость. — Прим. ред.

*От фр. annuaire — ежегодный справочник. — Прим. ред.

ценус ничего не сказал, в скандале было бы нечто глупо-рыцарское. Он не поверил, но не раз потом почти с физическим отвращением вспоминал этот разговор.

О необходимости же серьезного лечения подумывал и сам: у него за последние два месяца раза три были сердечные боли, с каждым разом все более острые. При случайном разговоре знакомый, не врач, но интересовавшийся медициной, сказал, что по симптомам это скорее не астма, а *ложная* грудная жаба. „Может быть, даже не ложная, а правдивая?“ — неудачно и невесело пошутил Вислиценус. „Может быть, хоть едва ли, — равнодушно ответил знакомый, — да и ту теперь отлично лечат“. Вислиценус был почти рад, что дело устроилось само собой. „Триста франков — деньги, но *теперь* и с деньгами все неясно: если прекратят выплату жалованья, тогда эти триста франков ровно ничего не меняют“.

„А может быть, мое письмо было *все-таки* слишком резко? — Он опять все проверил по датам. — Письмо в Москву пришло тринадцать дней тому назад. Слежка замечена позавчера. Разумеется, одиннадцати дней достаточно для принятия решения и для установления слежки. Быстро? Но *он* все делает быстро. Что сподвижник Ильича, это теперь никакого значения не имеет: скорее довод в пользу этой гипотезы...“ У Вислиценуса закололо в груди. „Нет, нет, это гестапо“, — сказал он себе и мотнул головой. Доводы в пользу гипотезы гестапо были тоже вполне серьезные: „Документ у Зигфрида Майера приобретен, за Майером у тех, конечно, слежка была, проследили встречу и на всякий случай установили наблюдение. Вполне возможно. Даже правдоподобно...“ Он равнодушно подумал, что, может быть, и сам Майер состоит на службе у германской политической полиции. Вислиценус видел на своем веку столько разных провокаторов и людей двойной жизни, что относился к ним как к явлению нормальному, даже без особого любопытства, тем более что, по его наблюдениям, почти все они были одинаковые, малоинтересные и несколько не сложные люди. В своей прежней революционной работе, встречаясь с неизвестными товарищами, он даже обычно, ради осторожности, исходил из предположения, что это провокаторы. Не чувствовал он к ним и особой гадливости, впрочем, и вообще плохо верил в искренность чувства гадливости человека к человеку. „Нет, *все-таки* мало вероятно, что Майер — агент гестапо. Вероятно, пронюхали о продаже доку-

мента. Он для них представляет интерес: не очень большой — за народной любовью они не гонятся, — но все-таки. Отчего же им было не установить наблюдение? Если я купил, то, значит, могу купить и еще что-либо: хотят выяснить, какие еще есть продавцы. Это им важно, очень важно...“

Первый пациент по-прежнему поглядывал в его сторону с интересом. Вислиценус посмотрел на него с отвращением и злобой (пациент тотчас отвернулся). Он встал, прошелся по комнате, остановился у книжных полок. „Странно!“ На полке стояли какие-то труды о колдовстве, о черной магии, о средневековых процессах ведьм. Впрочем, они занимали только одну полку; далее следовали медицинские и естественно-научные издания, журналы и книги по сердечным болезням. „Если порок сердца, то не приходится особенно думать о том, от кого слезка. Личная инвалидность все покроет“. Все же, возвращаясь на место, он снова взглянул в окно. Сыщик по-прежнему ходил по противоположному тротуару. „Техника поразительная! Неужели и здесь развал? А поставлено было это дело у нас недурно. На немца мало похож. Это ничего не доказывает. Во всяком случае, надо быть готовым и к отставке... Но если уходить, уходить из партии, из Коминтерна, отовсюду, то куда же? К Троцкому?“ Он терпеть не мог Троцкого и вдобавок знал, что никакой организации у Четвертого Интернационала нет: все это полицейская выдумка. Мысль о Втором Интернационале у него только скользнула: „Куда угодно, но не к этим слюнявым гуманистам, пятьдесят лет все и всех обличавшим, а затем так хорошо доказавшим свое собственное полное убожество: уж эти проиграли все свои сражения! А мы?..“

Опять у него появились давние, теперь почти привычные тоскливые мысли, что все было ни к чему, что вся жизнь оказалась ошибкой, что от прежних верований не осталось почти ничего ни у кого. Эти мысли особенно усилились после покупки документа у Майера. „Да, да, в чем разница? У них конюшня с арийскими рысаками, у нас коммунистический зверинец или тоже конюшня, вырабатывающая таких рысаков, как Кангаров, да Кангаровыми, в сущности, и руководимая. Будущее? Но какое будущее может выйти из *такого* настоящего! Мы создали первую, лучшую в мире школу прохвостов, — незачем же себя обманывать мыслями о будущем! „Плановое хозяйство“? „Сытость“? „Дешевые дома“? Или „раскрепощение“ и „карьера открыта талан-

там“? Но все это у немцев лучше, чем у нас: они и сытее, и дома у них почище, и план практичнее, и их „таланты“ пробиваются вернее. Вероятно, они нас и съедят. Так что Ильич, быть может, всю жизнь проработал — на создание арийской конюшни. Во все времена моральные и политические банкроты объявляли, что опыт их не удался не по их вине, что им принадлежит будущее, что потомство их оправдает, что все рассудит суд истории. И мы, конечно, — кто останется жить, — будем долбить то же самое. Но сейчас, сейчас что делать? Где выход? Есть ли выход? Лично я, во всяком случае, никуда подвинуться не могу. Да, пат, пат! Жизнь мне — и не мне одному — дала не мат, а пат!..“

Со стороны профессорского кабинета послышались голоса; очевидно, отворилась первая внутренняя дверь. Вислиценус встрепнулся. „Значит, никакой опасности?“ „Ни малейшей, мадемуазель, ни малейшей, ведь я вам и тогда все ясно сказал, — произнес скучающий, немного раздраженный старческий голос, — господин посол на редкость здоровый человек“. На пороге появились Надя, за ней Кангаров и старый профессор. Он слегка поклонился сидевшим в приемной людям, бросив на них вопросительный взгляд: кто первый? Пациент у камина встал с решительным видом, предупреждая возможность незаконного захвата очереди. „До свидания, мадемуазель. До свидания, господин посол, будьте совершенно спокойны“, — сказал профессор, впуская нового пациента. Дверь за ними затворилась.

Надя чуть не ахнула, увидев Вислиценуса. „Господи, его просто узнать нельзя! За год состарился лет на пятнадцать!..“ Кангаров-Московский смутился чрезвычайно; эта встреча оказалась для него совершенно неожиданной; он даже в первую минуту отступил в сторону, оставив их вдвоем, так что они оказались как бы в положении шаров в начале карамбольной партии. „Мы, однако, с ним уже встречались после того инцидента в ресторане“, — с недоумением подумал Вислиценус, поздоровавшись с Надеждой Ивановной и заметив растерянность посла. Они в самом деле раз встретились в прошлый приезд Кангарова в Париж и холодно обменялись несколькими словами. Вислиценус догадывался — да и знал по некоторым сообщениям, — что нажил в Кангарове смертельного врага. „Ну как знаешь: хочешь — здоровайся, не хочешь — тем приятнее...“ Кан-

гаров нерешительно сделал два шага вперед, поздоровался и снова отступил на позицию первого, начинающего партию бильярдного шара. Он был, видимо, крайне расстроен встречей. Надя заговорила сразу о нескольких предметах: о здоровье Вислиценуса — „вид у вас, право, скорее хороший“, — о Париже — „ах, какой город! Москва не Москва, но всегда приезжаю с восторгом!“ — о профессоре — „нет, это прямо замечательный человек: все понимает с полуслова и все видит насквозь!“

— Так-таки все насквозь? Увидим, увидим. Я только по вашему требованию пришел: не очень верю врачам и не люблю лечиться.

— Есть врачи и врачи. Ведь это мировое светило. И какой внимательный! Разговаривал с нами полчаса! Будете меня благодарить!

— У вас какая болезнь? — сухо спросил Кангаров, нервно оглядываясь по сторонам.

— Кто-то сказал, что по симптомам ложная грудная жаба. А в Москве говорили, будто астма.

— Но ведь это, насколько мне известно, разные вещи?

— Вот я и пришел выяснять, по настоянию Надежды Ивановны. Впрочем, хрен редьки не слаще.

— Желаю хорошего диагноза. Дитя мое, нам надо торопиться.

— Да, правда. Вот что, — обратилась Надя к Вислиценусу. — Вы завтра вечером свободны?

— Детка, ты, кажется, забываешь, что мы завтра выезжаем за город.

— К той старой дуре? Совершенно забыла. Тогда обстригаем это послезавтра. Я вам позволю, в девять утра не слишком для вас рано? Отлично, значит, я вам звякну послезавтра в девять. Пойдите, а как же я буду знать, что вам сказал Фуко по сути дела?

— Вот тогда и узнаете.

— Послезавтра? Нет, я хочу знать раньше. Но, в самом деле, сегодня мы в разгоне, и позвонить будет неоткуда. Хорошо, послезавтра. Я уверена, причем, что вы совершенно здоровы. Вид у вас вполне приличный, только немного усталый, верно, вы...

— Надя, я спешу.

— Если вы спешите, — сказала сердито Надя, повернувшись к Кангарову, — то ведь услуги переводчицы вам, кажется, сегодня больше не понадобятся? — Она подчеркнула слово „переводчицы“. — Со всем тем, я

сейчас послушно последую за вами. Надо исполнять консинь* строгого начальства, — обратилась она, при-
нужденно смеясь, к Вислиценусу. — Вот что еще вы
мне скажите: вы с нашим командармом Тамариным
хороши?

— Никогда его не вижу.

— Но звать вас с ним можно?

— Очень рад.

— *Есть*, как говорит у нас один наш сослуживец. Я
вас позову с ним... Впрочем, еще не знаю. Оказывается,
мы пробудем во Франции больше, чем предполагалось.
Есть!

Она, сияя улыбкой, протянула ему обе руки. Висли-
ценус смотрел на нее с грустью: *от этого* тоже ничего
не осталось. „Вылечился не на 100, но на 75 процентов.
Вот бы и от астмы так! Она ли стала другая, или я, или
мы оба? — думал он, провожая их взглядом. Кангаров
явно от него бежал. — Должно быть, уже кое-что про-
нюхал. Сейчас он будет ее ругать. Впрочем, она тоже не
так жаждет меня видеть: „я вас позову с ним“, то есть
отделаюсь сразу от обоих старичков“. Он подошел к
окну и, увидев сыщика, с улыбкой подумал, что если
плюгавый человек от ГПУ, то в донесении будет упомя-
нут и Кангаров. „Еще там вообразят, что он назначил
мне здесь конспиративное свидание“. Эта мысль доста-
вила ему удовольствие. Надя и Кангаров вышли из
подъезда. Они шли молча. „Верно, на лестнице нача-
лась *семейная сцена*. И это „если вы спешите“ тоже
вышло по-семейному, хоть она, кажется, именно хоте-
ла показать, что он *только* начальство. Показывай что
хочешь, если уже надо что-то показывать. Мне все
равно. Или почти все равно...“

II.

Профессор Альбер Фуко, старый бездетный вдовец,
по внешности напоминавший Клемансо и с 1918 года
почти бессознательно чуть подчеркивавший это сход-
ство, с раннего утра работал в своем кабинете. До боль-
ницы он обычно читал новые журналы и исследования,
относившиеся к разным областям медицины, в особен-
ности к тем, в которых он был признанным королем.
Его имя встречалось в чужих работах постоянно, почти
всегда с самыми лестными эпитетами. Были весьма

*Инструкция (*фр. consigne*). — *Прим. ред.*

лестные слова и в работе, попавшейся ему в это утро. Тем не менее в ней его теория подвергалась критике, столь же резкой по существу, сколь вежливой и почтительной по форме. Статья крайне задела профессора Фуко. Хотя по привычке он, читая, со злобой бормотал: „Этакий осел!..“ „Какой, однако, невежда!“ — все же чувствовал, что работа серьезная, что над ней надо очень подумать.

Ровно в 8 часов 30 в кабинет испуганно постучал камердинер и сообщил, что автомобиль подан. По дороге в больницу профессор обдумывал свою лекцию. Он, собственно, не собирался говорить о том вопросе, к которому относились возражения новой работы. Но теперь решил его коснуться, пока начерно, и заранее предвкушал удовольствие от своего ответа.

В больнице появление профессора Фуко, как всегда, вызвало панический трепет: все подтянулись, ассистенты, врачи, сиделки, сторожа, даже больные. Профессор переходил от кровати к кровати, вглядывался в больных холодным, пронизательным, все сразу замечающим взглядом, задавал короткие вопросы, осматривал новых пациентов и ставил диагноз, не обращая почти никакого внимания на почтительные соображения робко следовавшего за ним врача. Несмотря на страх и нелюбовь, которые он внушал большинству окружающих (студенты и врачи называли его l'animal*), слушали профессора благоговейно, порою с истинным восторгом: он все знал, все видел насквозь и в несколько минут замечал то, чего не могли заметить люди, месяцами следившие за больным. В больнице и в медицинском мире его окружала атмосфера подобострастия, трепета, зависти и восхищения; помимо того, что почти все врачи так или иначе от него зависели по конкурсам, диссертациям, местам, практике, он считался гордостью французской науки, гениальным диагностом и первым в мире врачом по сердечным болезням.

Все же лекция, которую он прочел, вызвала после его ухода у наиболее одаренных слушателей, не вполне слепо в него веривших, некоторое смущение, вздохи, покачивания головой. Он говорил очень хорошо и в защите теории, носившей его имя, проявил обычную ясность мысли, обычный логический блеск. Доводы старого профессора были сильны и еще усиливались от его громадного авторитета. Тем не менее даже в со-

*Животное (фр.).

бственной его больнице лучшие врачи считали теорию Фуко устарелой, неверной, опровергнутой новейшими данными французской, австрийской, американской науки. Ближайший его ученик — тот, которому, по общему молчаливому признанию, должны были со временем достаться больница и кафедра профессора, — слушая, с грустью думал, что великий диагност на старости лет все больше становится душителем мысли и препятствием к развитию медицины: всем было известно, что недавно карьера одного молодого даровитейшего врача, осмелившегося выступить против теории Фуко, была им безжалостно разбита.

Утро в больнице прошло спокойно: грозы, брани, разносов не случилось. Затем профессор посетил двух больных на дому. Оба визита его раздражили. Первый пациент был здоровый человек, очевидно, считавший, что его богатство дает ему право отнимать даром время у профессора Фуко. Второй пациент, напротив, умирал — тут к старому профессору, как это бывало очень часто, обратились в минуту последней крайности: уж если он не поможет, то не поможет никто. Старик только развел руками и, удалившись на совещание с постоянным врачом больного, не спросив мнения товарища даже из вежливости, сердито сказал, что совершенно напрасно было его вызывать: „Vous finirez par me faire voir le pante réfrigé...“* Он любил грубый медицинский жаргон. „Ничем на тебя, животное, не угодишь! — подумал с недоумением врач. — Приехал на десять минут, получил огромный гонорар, какого никому не платят, казалось бы, благодари...“

Вернувшись в свой особняк, профессор Фуко очень плотно позавтракал. В его годы полагалось бы есть поменьше, но он не хотел лишать себя последнего удовольствия: к собственной досаде, замечал, что это удовольствие занимает в его жизни все большее место. В виде уступки медицине или, точнее, химии (в нее верил больше, чем в медицину) он ел богатые витаминами вещества — в витамины поверил далеко не сразу, но поверил. После завтрака он лег спать на четверть часа: камердинеру всегда приказывалось будить его ровно через пятнадцать минут; засыпал он тотчас, и короткий сон его освежал. Затем он сел за письменный стол и стал читать: остававшийся до приема пациентов час

* „Кончится тем, что вы будете вызывать меня к покойникам!..“
(Фр.)

предназначался для чтения книг, не имевших отношения к медицине. Читал он преимущественно труды по истории человеческого невежества, а также книги обспризнанных мыслителей, выдержавших испытание столетий. Теперь читал Спинозу, которого особенно любил: понимал его по-своему и между строчками произведений Спинозы усматривал мировоззрение, довольно близкое к своему собственному.

„Божье могущество, — читал он в этот день, — делится на обычное и необычное. Его обычное могущество заключается в том, что Он поддерживает мир в определенном установленном порядке. Необычным же своим могуществом Он пользуется тогда, когда желает что-либо совершить вне законов природы: например, чудеса, вроде того, что Он дает речь ослице или разрешает появление ангелов и прочее тому подобное. Можно, впрочем, с полным основанием усомниться в этом последнем роде могущества Божия, ибо чудо было бы еще большим, ежели бы Он правил миром по раз навсегда данным и неизменным законам вместо того, чтобы в угоду неразумию людей изменять законы, столь превосходно Им установленные по Его собственной воле...“ „Sacré Juif“*, — пробормотал с усмешкой профессор. Был очень доволен тем, что нашел новое подтверждение своему пониманию Спинозы, и решил обратиться на эту страницу внимание своих товарищей философов. Выписки не сделал, так как память у него, громадная от природы и развитая бесчисленными труднейшими экзаменами, и теперь, на исходе седьмого десятка, служила ему без отказа, так же безошибочно, как тридцать лет тому назад. Подумал, что и собственная его жизнь идет по раз навсегда установленным законам. Если что нарушить в этом размеренном по часам огромном труде, все пойдет прахом: „заговорит ослица“...

Отрываться от книги ему не хотелось, но в 2 часа 30 начинался прием пациентов на дому. Секретарша испуганно подала ему список. Он сердито пробежал: „Много есть на свете богатых болванов...“ Профессор зарабатывал огромные деньги — говорили, что у него двадцать пять или тридцать миллионов, — и не проживал четверти своего дохода — пропорция, редкая даже во Франции. Деньги мало интересовали Фуко, тем более что его наследниками были какие-то племянники и

* „Проклятый еврей“ (*Фр.*).

внучатые племянницы (большую часть своего богатства он завещал Пастеровскому институту). С пациентов у себя на дому он брал обычно по шестьсот франков; иногда сам удивлялся, почему именно шестьсот — и цифра ведь какая-то неровная. Впрочем, часто делал отступления от правил, особенно, если болезнь у пациента была интересная. Нередко отсылал богатых больных к своим ученикам и, напротив, лечил совершенно бесплатно бедняков. Не всем людям, называвшим его l'animal за резкость и суровость, было известно, что он немало жертвует на благотворительные дела и раздаст просителям, притом без малейшего шума. Реклама была ему совершенно не нужна: он состоял членом многих академий и ученых обществ, имел большой офицерский крест Почетного легиона и несколько иностранных, преимущественно экзотических орденов; его неоднократно вызывали за границу или в колонии к разным королям, шахам, магараджам, как и к просто богатым до ошаления людям.

Первый пациент, советский посол, являлся уже вторично, хотя сразу был поставлен вполне успокоительный диагноз. „Этому господину лечиться не от чего, кроме неизлечимой мнительности и столь же неизлечимой глупости...“ Люди сами по себе мало интересовали профессора Фуко, но для того, чтобы разгадывать их болезни и, когда можно (то есть сравнительно редко), их лечить, надо было понимать умственное и душевное устройство каждого больного. Профессор и в самом деле был чрезвычайно проницателен. Так, после первого же приема Кангарова он не только раз навсегда, на всю жизнь, запомнил все особенности его организма, в медицинском отношении не интересные, но и очень верно определил характер пациента. Спросил себя, кем при этом господине состоит пришедшая с ним очень милая и хорошенькая девушка, и, собственно, больше из-за нее не ответил отказом на радостную просьбу посла: „Быть может, вы, господин профессор, разрешите снова явиться к вам с электрокардиограммой и с анализом?“ „Буду очень рад, хоть в этом никакой необходимости нет“, — сказал он сухо. Поэтому теперь пришлось снова потерять полчаса времени, которое гораздо лучше было бы потратить на чтение Спинозы.

Второй пациент был несколько более интересен. Болезнь у него была самая обыкновенная, классическая грудная жаба, без осложнений, ничем не любопытная и

не очень страшная. Профессор Фуко предписал больному покой, легкую диету, воздержание от табака и крепких напитков и, на случай припадков, тринитрин. При этом подумал, что совершенно то же самое предписал бы любой начинающий врач за тридцать франков, без рентгеновского аппарата и без электрокардиограммы. „Диагноз вполне благоприятный, но старайтесь избегать каких бы то ни было волнений... Вы забыли ваши перчатки... Ко мне приходится вам больше незачем“, — повторил он больному, отворяя дверь, и легким наклоном головы пригласил в кабинет Вислиценуса.

„Ну, покажи, покажи, какие вы, первые в мире, — подумал Вислиценус, входя в кабинет. — По виду ясно, что состоит во всех филантропических и душевспасительных обществах. А, впрочем, лицо умное... Врачи его поколения, кажется, носили бороду“. Он настраивал себя на иронический лад, но в действительности волновался — и стыдился этого. „Сейчас буду знать, что и как... У него приемная похожа на библиотеку, а кабинет на физический институт. Это рентгеновский аппарат, а что это за машина?“ Письменного стола не было. В углу комнаты стоял низкий круглый столик с двумя креслами, без письменных принадлежностей: только на камине у рентгеновского аппарата лежало множество очиненных цветных карандашей.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал профессор, показывая на кресло у столика. — Скверная погода, не правда ли? — Убедившись, что пациент владеет французским языком, спросил, давно ли он в Париже, нравится ли ему Франция, хорошо ли теперь в России. Почти не слушая ответов (впрочем, весьма коротких), профессор внимательно вглядывался в пациента. И ему тотчас, еще до осмотра, до первого медицинского вопроса, почти без доказательств, просто по интуиции стало ясно, что это тяжело больной человек, по-видимому, много живший, с организмом очень изношенным и, вероятно, безнадежным. Он даже заранее поставил интуитивно первую догадку о болезни: тоже грудная жаба, но неизмеримо хуже и опаснее, чем у предыдущего, неинтересного пациента. „А сколько же теперь жителей в Москве? — спросил он и достал из ящика карточку. — Неужели три с половиной миллиона?.. Как, кстати, пишется ваша фамилия? Тэ-эс или зет? Был такой знаменитый химик... Значит, Москва догоняет понемногу Париж?..“ Продолжая беседу, он вскользь спрашивал и записывал карманным пером сведения о пациенте: воз-

раст, национальность, место жительства. „Вы жена-ты?.. И никогда не были женаты? Так... До войны ведь было всего миллиона полтора? Очень интересно, очень интересно... А ваша профессия?“

— Я революционер, — сказал Вислиценус и сам понял, что ответ вышел глупый. „Но какую же было объявить профессию?“ — с досадой подумал он и поправился: — Советский служащий. — Профессор положил на стол карточку и устался на пациента. Несмотря на 45-летнюю практику, он такой ответ слышал впервые.

— Очень интересно, — сказал он без улыбки, точно так же, как о том, что в Москве теперь три с половиной миллиона жителей. — Конечно, это такая же профессия, как всякая иная. Мы, французы, от нее только отвыкли. Я думал, что немного отвыкли и у вас? Может быть, ваша профессия больше изнашивает людей, чем другие? — Он помолчал с полминуты, вопросительно глядя на собеседника. Вислиценус ничего не говорил. — Эта милая барышня сказала мне, что вы жалуетесь на сердце?.. Кстати, она родственница вашего посла?

— Нет, переводчица и секретарша, — кратко ответил Вислиценус. Профессор посмотрел на него.

— Очень мила и хороша собой... Так, переводчица и секретарша, — протянул равнодушно профессор, поглядывая на пациента. — Значит, вы жалуетесь на сердце. Боли, да?

Он приступил к медицинскому допросу. Спрашивал он кратко, ответы улавливал с полуслова или даже подсказывал, тотчас прекращая пояснения пациента и вслух переводя его затрудненные слова на медицинский язык. Казалось, он лучше больного знал, что именно больной испытывает. „Douleur précordiale avec sensation de constriction thoracique... Irradiation bronchiales... Sensation d'angoisse allant jusqu'à l'impression de mort imminentel“*, — как будто не без удовольствия говорил он с видом полного одобрения, точно все это было превосходно и очень благоприятно для пациента. — Ваши объяснения мне не нужны, — холодно прервал профессор, когда больной стал объяснять ему собственный взгляд на свою болезнь. Вислиценус невольно смутился. — У вас был сифилис? —

* „Боль в области сердца, захватывающая грудную клетку и отдающая в предплечье... Ощущение тревоги, доходящее до чувства неминуемой скорой смерти“ (фр.).

деловито спросил Фуко, как о чем-то само собой разумеющемся. — Не было сифилиса? — повторил он вопрос не то удивленно, не то с сожалением. — Наверное не было? Но вы, конечно, всю жизнь боялись сифилиса. У вас подагра, да? Намек на подагру, так... Отлично. Пожалуйте сюда, к рентгеновскому аппарату“.

Он взял с каминя цветной карандаш, пустил в ход аппарат и стал что-то чертить. Увидел с удовлетворением, что его интуитивный предположительный диагноз был совершенно правилен: грудная жаба с сильнейшим повреждением аорты, с другими осложнениями. „Ему осталось жить три месяца, много четыре“, — подумал он почти с удовольствием от точности своего предсказания: чувство жалости давно было у него вытравлено, как не могло бы не быть вытравлено у всякого нормального человека, видевшего на своем веку столько горя, страданий и смертей, сколько он. „Очень хорошо, очень хорошо“, — повторил он несколько раз.

Вислиценус смотрел на него с надеждой. Из достоинства не хотел спрашивать, есть ли непосредственная опасность: „Ничего, ждал долго, могу подождать еще пять минут! Колдуй сколько хочешь...“ Все же его беспокоило и неприятно удивляло, что старик ничего не говорит первый, точно испытывая его мужество и выдержку. Профессор зажег свет. С лица его исчезло скупающее выражение, он смотрел на Вислиценуса ласково, с благодарностью, почти с любовью. Это был очень интересный случай, редкий по сочетанию осложнений. „Очень хорошо, отлично“, — повторил он.

— Что, господин профессор, это опасно? — спросил, не выдержав, Вислиценус.

— Сейчас вам скажу. Я еще не составил себе определенного мнения. Разрешите попросить вас перейти сюда, к электрокардиографу.

Он подвел больного к сооружению, стоявшему посредине комнаты, уложил на кушетку, попросил засучить штанину, накрыл какой-то пробковой тканью, положил что-то мокрое на ногу, пустил в ход аппарат и опять стал колдовать. „Это электроды... Что-то помню из физики: электроды, электроны... Надо будет, разумеется, сделать поправку на его поправку к моей мнительности, — устало думал Вислиценус. — Если он скажет: „особенной опасности я не вижу“, значит, опасно. Если он скажет: „опасно“, значит, это смерть. Но когда? Через год? Через два?..“ Он еще подумал, что люди, пославшие „гороховое пальто“, быть может, ста-

раются совершенно напрасно. Профессор остановил аппарат. Ему было совершенно ясно все: теперь он твердо знал, как именно умрет пациент, почти безошибочно знал, когда он умрет. Этот редкий и ценный случай прекрасно укладывался в теорию профессора Фуко.

— Особенной опасности не вижу, — сказал он уверенно. — У вас грудная жаба... Вы можете одеться.

Усадил пациента в кресло у столика и кратко, деловито, точно изложил ему режим. Пить спиртные напитки нельзя, разве лишь в очень небольших количествах. Курить тоже нельзя. Есть можно что угодно, разумеется, ничем не злоупотребляя. „А главное, покой, старайтесь не тревожиться и не волноваться, — говорил профессор, сам дивясь психологической нелепости своего совета. — Вы одинокий человек?“

— Да.

— Но может быть, есть кто-либо, кому я мог бы поподробнее объяснить режим для вас? Может быть, мне позвонят по телефону или зайдут ко мне? Да хотя бы эта милая барышня? Нет? Она вам чужая? Так... Ну что ж, это не беда. Да, собственно, и режим не сложный. Могли бы вы уехать в деревню? Это было бы отлично. Свежий воздух очень поддерживает сердце.

— Боюсь, что это невозможно.

— Ну, тогда оставайтесь в городе. У него есть свои преимущества („Le Burberry est chaud. Le Burberry est frais“, — сказал себе Вислиценус). А на случай припадка я вам дам лекарство.

— Необходимо ли быть под наблюдением врача?

— Это, конечно, не мешает. Ваш доктор опытный человек, — сказал профессор. Он считал этого доктора невеждой и ничтожеством, но так же относился к громадному большинству других врачей: интуиции настоящего диагноста не видел ни в ком, как не видел и подлинной научной культуры: химию и бактериологию почти все знали очень плохо; некоторые же по самоуверенности, непониманию и невежеству вполне заслуживали каторжных работ: у них на совести было гораздо больше убийств, чем значилось за Тропманом или за Ландрю. — Через полгода я рад бы был снова вас повидать, — сказал он, твердо зная, что через полгода этот человек будет в могиле. Подумал, что надо будет о дне его смерти справиться, для таблицы, у посольского врача. Профессор снова заговорил о политике. „Гораздо умнее и значительнее своего посла“, — сделал он вывод, не по ответам пациента, кратким и совершенно

не интересным, а по его виду, по выражению лица. „Жаль, что нельзя им поменяться болезнями. — Он терпеть не мог коммунистов, но имел слабость к умным людям. Не переставая разговаривать, профессор что-то писал на листочке. — Здесь я все указал“. — Он приподнялся в кресле.

— Очень вас благодарю, — сказал Вислиценус, вставая и кладя на стол триста франков. — Мне сказали, господин профессор, что вы почему-то назначили мне льготную цену... Я, конечно...

— Это никакого значения не имеет, — прервал его Фуко. — Если вам трудно, вы можете даже не платить ничего.

— Что вы, нет, нет, — сказал, вспыхнув, Вислиценус. — Еще раз очень вас благодарю. — Профессор проводил его до двери. В приемной уже сидели два новых пациента. — Очень рад был с вами познакомиться. Если вам что понадобится, пожалуйста, обращайтесь ко мне когда угодно. Я всегда буду к вашим услугам... Прошу вас, — обратился он, наклоня голову, к новому пациенту.

III.

„Похоже, что каюк, — устало подумал, спускаясь по лестнице, Вислиценус. — Особенно то, что он хотел поговорить с близкими людьми... Ну что ж, я этого ждал и не боюсь... — Он был так расстроен, что при выходе забыл взглянуть на сыщика; вспомнил, лишь отойдя в боковую улицу. — Как будто исчез? Черт с ним! Какое это может иметь теперь значение!..“

Уже зажигались огни. Дул ветер. „Холодно... Надо было бы зайти в кофейню и вопреки запрету выпить чего-либо крепкого, перно что ли?“ Этот напиток был приятен тем, что напоминал абсент, а с ним молодость, довоенное время. „Тогда говорили: „L'heure saint de l'absinthe...“* Ну что ж, сказал *первый в мире*, теперь и сомневаться нечего. Грудная *жаба*, название какое скверное!..“

С гадливостью он приложил руку к груди, точно там теперь в самом деле притаилась какая-то жаба. С дерева упал на решетку желтый лист. „Вот и поэтический образ, хоть, кажется, немного истрепанный...“ Вдруг он почувствовал боль — ту самую, мгновенную, бешено

*Священный час абсента (*фр.*).

нараставшую, с удушьем, с тоской, с ужасным ощущением быстро приближающейся смерти. „Припадок... Сейчас конец!.. Нет, только не сейчас! Еще немного, еще хоть несколько дней!“

Он остановился, задыхаясь, и прислонился к стене. Прохожий с недоумением на него взглянул и ускорил шаги. Боль все росла, росла до предела, еще секунда — и разорвется сердце! Тупым взглядом он смотрел на желтый лист, на мокрую решетку под деревом. „Неужели *тут*? Неужели *сию минуту*? Не может быть!..“ Еще подумал, что если сейчас умрет, то это будет от посещения врача, от волнения, и с невыразимым облегчением почувствовал, что боль слабеет... „Начинает проходить...“

Пошатываясь, он отодвинулся от стены. „Нет, не упал... Вон скамейка, надо до нее дойти. Да, проходит!..“ Вислиценус бессильно опустился на скамейку против сапожного магазина. Несмотря на слабый свет кончающегося дня, в витрине между ровно выстроенными высокими сапогами он видел свое искаженное лицо. Удушье проходило, но мысли еще связывались плохо. Он обливался потом. „Это был сильнейший припадок, такого еще не случалось ни разу... Может, и жаль, что не сыграл в ящик“. Огромная черная тень быстро пересекла на мокром буром тротуаре проблеск освещенной витрины. В стекле скользнул высокий человек с поднятым воротником, прошедший позади скамейки по мостовой. „Кажется, знакомый, — подумал с ужасом Вислиценус, — но где же я его видел?..“ Он собрал силы и повернулся. Высокий человек скрылся за углом. „Нет, вздор... Вот она, „*impression de mort imminente*...“ Прошла боль, сейчас пройдет совсем... Еще не прошла, но проходит, совсем проходит...“ Он приподнялся, снова опустился на скамейку, затем встал и, пошатываясь, пошел дальше.

IV.

Автомобиль Серизье остановился у ворот тюрьмы. Несмотря на многолетнюю привычку, адвокат всегда входил в тюремное здание с очень неприятным чувством, близким к физической брезгливости. На этот раз свидание с преступником накануне процесса было особенно ему тяжело. У него и вообще не лежала душа к делам подобного рода. Тут не было спора, диалектики,

разбора улик; не было и никаких шансов на успех. Правда, ввиду явной безнадежности дела, защитника никто не мог обвинить ни в чем. Тем не менее, несмотря на вызванный делом шум, Серизье искренне сожалел, что принял на себя защиту.

На следующее же утро после убийства полиция явилась за справками к Вермандуа. Он совершенно растерялся и долго не мог прийти в себя от изумления и ужаса. Слушал, вытаращив глаза, ахая, вскрикивая, и на почтительные вопросы производивших дознание людей отвечал сбивчиво и смущенно, точно в чем-то обвиняли его самого, точно на него отчасти ложились вина, позор и ответственность. После ухода полиции в его дом нагрянули репортеры. Преступление было сенсационным и само по себе (как нарочно, в этот день других сенсаций не было), но интерес к делу увеличивался именно оттого, что убийца был секретарем знаменитого писателя. Вермандуа окончательно расстроился. В растерянности он принял первого репортера, принял второго, затем, схватившись за голову, приказал старухе больше никого не пускать и выключил телефонный аппарат.

Оставшись один в кабинете, он пришел в себя не сразу. „Что такое? Что за человек?! И как же я ничего не видел? Правда, я всегда считал его психопатом, но ведь не в этом же смысле!.. Хочу проникнуть в душу каких-то Лисандров, а рядом со мной бродит, проводит часы убийца, и я ничего, ровно ничего не вижу!..“ Ему пришло в голову, что Альвера мог отлично убить его самого. Он содрогнулся. „Только такого конца не хватало!..“

Старуха принесла газеты. Всюду были, с небольшими вариантами, огромные заголовки: „Двойное убийство в Лувесьене“. Хоть Вермандуа принял только двух репортеров, интервью с ним были помещены в шести или семи газетах. Кое-где появился даже его портрет, рядом с портретом убийцы в наручниках. В одной из бесед ему приписывалось намерение взять на себя защиту Альвера. „Но ведь, в самом деле, надо с кем-нибудь поговорить!..“ Он вспомнил о Серизье, с которым обедал накануне у Кангарова. Собственно, для защиты уголовного убийцы можно было бы найти и более подходящего человека. „Все равно, и этот годится! Все они друг друга стоят. Этот хоть по знакомству возьмет не очень дорого...“

От денег Серизье тотчас отказался еще при первой телефонной беседе. Он вообще не любил выступать бес­ платно: отсутствие гонорара ослабляло удовольствие от защиты. Но у него были твердые правила. „О плате не может быть речи, дорогой друг“. — „Почему же?“ — „Потому, что у вас нет никаких причин платить за этого подающего надежды юношу. С какой стати я буду брать *ваши* деньги? Скажу, впрочем, откровенно, я от этого дела не в восторге. К тому же я не специалист по делам такого рода, хотя мне, конечно, и случается выступать в уголовном суде...“ „Ваши уголовные речи — истинный шедевр мысли и стиля! — сказал Вермандуа. — Я их в газетах читал с восторгом“. „Все ты врешь! Обрадовался, что не возьму денег, — подумал Серизье, все же польщенный замечанием. — Сердечно вас благодарю, но, право, вам лучше было бы обратиться к специали­сту“. „Я верю вам, и только вам!“ — „Позвольте мне подумать. Пока я лишь бегло пробежал газету. Во всяком случае, если я приму на себя защиту, то по чувству профессионального долга и чтобы быть вам приятным“. „Ну, об этом мы еще поговорим!“ — многозначительно угрожающим голосом объявил Вермандуа, понимая, что денег платить не придется. Как он ни привык к тому, что в его лице оказываются услуги французской куль­туры, все же был тронут. „Он заплатил бы тысячу франков и тогда приставал бы ко мне каждый день, да еще всем рассказывал бы, что я с него содрал состояние“, — улыбаясь, подумал Серизье. „Я прочту о деле подробнее и тотчас заеду к вам“. — „Не хотите ли, чтобы я к вам приехал? Готов с радостью“. — „Нет, нет. Да мне и нужно быть сегодня в ваших краях“.

Серизье прочел газетные отчеты. В вечерних изда­ниях сообщалось, что раненный в Лувесьене полицей­ский скончался в страшных мучениях. „На что же тут можно надеяться?“ — подумал он со вздохом. Отсту­пать, однако, было поздно. Он отправился к Вермандуа и долго с удивлением его слушал.

— Да, вам не очень повезло в выборе секретаря, дорогой друг, — сказал он с улыбкой.

— Ах, я в совершеннейшем ужасе! Я был бы не более изумлен, если б мне сказали, что вы совершили убий­ство. Или я сам.

— Значит, он был со странностями? Вы думаете, сумасшедший?

— Я ничего не думаю. Я просто ничего не понимаю.

— Что за молодежь теперь пошла! — воскликнул Серизье и высказал свои мысли о молодежи, о чрезмерном увлечении спортом, о вредной роли газет и особенно кинематографа. — Ведь этот многообещающий юноша мог убить и вас.

— Об этом я не подумал! В самом деле, зачем ему было ездить так далеко, в Люсьен (Вермандуа произнес по-старинному Люсьен, а не Лувесьен. Серизье тотчас это усвоил.). Такие гроши он мог бы найти и у меня. Но как вы думаете, есть ли надежда на спасение его головы?

— Меньше чем мало. Вернее, никакой, после смерти полицейского. Посудите сами, какие же тут могут быть смягчающие обстоятельства? Мне, вероятно, придется доказывать, что он сумасшедший. Не скрою, однако, это на присяжных теперь действует слабо, особенно в Париже. Дело, вероятно, будет слушаться в версальском суде, это почти то же самое. У него по крайней мере есть мать?

— Не знаю. Помнится, он говорил, что у него нет никого.

— Ну, вот. Значит, не будет и *слез престарелой матери*. Впрочем, они тоже больше не действуют, как и то, что „несчастный юноша никогда не знал родительской ласки“. Во всяком случае, я сделаю для вашего Раскольниково все, что могу. А вы, конечно, напишете нам об этом роман, — сказал, смеясь, Серизье.

— Как же, как же. Поль Бурже написал бы непременно и сделал бы мальчишку незаконным сыном герцога, сведенным с доброго пути франкмасоном. Жаль, что Поль Бурже умер. А что до Раскольниково, то вы непременно перечтите этот шедевр: там в большом городе, в столице, все друг друга знают и постоянно друг с другом встречаются: этот Сви... Сви... — как его? — по счастливой случайности живет рядом с той ангелоподобной проституткой и, естественно, подслушивает исповедь благородного убийцы ангелоподобной проститутке. Я, конечно, не Достоевский, но я остановился бы перед столь удобным для романиста стечением обстоятельств: в Петербурге ведь все-таки было больше двух меблированных комнат? А его ужасный французский язык, которым он явно гордился, постоянно вставляя в текст французские фразы: наши переводчики их благочестиво сохранили, как святыню! Это не мешало ему презирать и ненавидеть нас, как, впрочем, и все народы. Он был убежден, что, прожив в Париже две недели,

постиг Францию, французов, особенности и тайны нашего характера, понял все, все, все. А больше всего везде в Западной Европе его поражала грязь: он, видите ли, в Сибири, на каторге, привык к чистоте... Но я отвлекся: не люблю этого человека, хоть восхищаюсь великим писателем. Нет, нет, сцена убийства изумительна, перечтите „Преступление и наказание“, непременно перечтите перед процессом. Хотя на Раскольникове, кажется, выезжает третье поколение адвокатов?.. Кстати, дорогой друг, или, вернее, некстати: я настаиваю на том, чтобы вы приняли от меня гонорар.

— Об этом, повторяю, не может быть речи. Вы окажете вашему милому секретарю другую услугу: разумеется, вы будете главным свидетелем защиты.

— Что вы! Разве я должен выступать на суде?

— А то как же? Вы будете его защищать одним своим присутствием в зале.

— Нет, полноте! В самом деле, без этого нельзя обойтись?

— Совершенно невозможно.

— Ах, Господи! Этого я никак не ожидал!

— Дорогой друг, как же вы могли этого не ожидать? Это элементарно.

— Элементарно, но крайне неприятно. А если меня не будет в Париже? Я ведь часто отлучаюсь.

— Вы, конечно, нарочно для этого вернетесь. Вы будете *совестью* присяжных! — сказал адвокат в восторге.

Первое впечатление от преступника было у Серизье самое неблагоприятное, хоть, естественно, ничего хорошего он и не ожидал. Помимо отталкивающей наружности Альвера был высокомерен и как будто в себя влюблен. О степени его умственного развития судить было трудно вследствие его молчаливости. Он и на вопросы отвечал односложно; попытки же подойти к нему *душевно* не дали ничего: на лице молодого человека только выражалась злоба. „Может быть, вы голодали?“ — спрашивал Серизье. „Завтракал и обедал каждый день“. — „Не толкнула ли вас на преступление любовь к какой-либо женщине, которой вы хотели помочь?“ Альвера засмеялся. Он объяснил, что убил Шартье, желая его ограбить. В сущности, непонятно было даже, в чем состоит его анархизм и чем сам он отличается от обыкновенных уголовных преступников. При разгово-

ре он зевал, не то естественно, не то из хвастовства. По всему чувствовалось, что молодой преступник мало дорожит защитой и не был бы особенно огорчен, если бы и вообще остался без адвоката. „Просто дегенерат“, — подумал Серизье.

Так он сказал по телефону в тот же день Вермандуа. „Да неужто он в самом деле мог быть у вас секретарем?“ — „Уверяю вас, что он справлялся со своей задачей прекрасно. Он бакалавр, прекрасно кончил курс в лицее и очень много читал“. — „Не знаю. Мне он казался злым и тупым дегенератом. Может быть, это объясняется тем, что при аресте его сильно избили, на него смотреть страшно. Во всяком случае, как я ни старался выудить что-либо в его пользу, мне это совершенно не удалось. Он давал следователю показания, которые окончательно его губят“. — „Несчастный! Неужели ничего нельзя сделать?“ — „Я буду стоять на том, что при первых показаниях ум у него был помрачен, что их нельзя принимать в расчет. Достаточно вам сказать, что он безоговорочно признал заранее обдуманное намерение!“ — „Какой ужас!“ — „Посмотрим, что скажут эксперты. Но еще раз повторяю: это дело безнадежно“. — „Дорогой друг, сделайте что можете. Я всецело на вас полагаюсь“.

Затем Серизье видел своего подзащитного еще два. Альвера не то плохо понимал его осторожные намеки, не то и не хотел защищаться. Ничего хорошего не дала и экспертиза, признавшая убийцу человеком совершенно нормальным. Увидев заключение экспертов, Серизье только пожал плечами.

Теперь, перед началом процесса, он по долгу добросовестного адвоката считал необходимым еще раз поговорить с подсудимым. План защиты у него был готов, но он не мог не понимать, что этот план стоит недорого: юноша, почти ребенок, тяжелые бытовые условия, отсутствие семьи, нездоровая наследственность, дурное чтение, нелепые идеи, так часто смешиваемые с социалистическими, затем навязчивая мысль о мести обществу, об убийстве, все же лишь чисто теоретическая, — и, наконец, в роковой вечер внезапное умопомешательство... Серизье сам плохо во все это верил; понимал добавок, что прокурор, как назло человек способный, без большого труда опровергнет его доводы: нищеты не было, тяжкую наследственность установить трудно, преступник — молодой человек, но отнюдь не дитя.

Никакой другой системы защиты Серизье придумать не мог. Положение преступника еще ухудшалось оттого, что убит был полицейский; это почти исключало и возможность смягчения приговора главой государства. Вдобавок убийца носил иностранное имя, хотя не мог раздражить присяжных иностранным выговором. Причина преступления, что бы ни говорили об анархизме (да еще выгодно ли об этом говорить?), была самая отталкивающая: грабеж. Серизье и сам, если б оказался присяжным, едва ли проявил бы снисходительность к такому убийце. „Нет и одного шанса из ста на спасение его головы“, — думал адвокат, входя в мрачное здание. В воображении у него мелькало все связанное с подобными делами: ожидание приговора, кроткие слова утешения, взволнованные рукопожатия, быть может, обморок („дайте ему воды!“), визит к президенту республики, одинаково неприятный обеим сторонам и, наконец, заключительная сцена, при которой по обычаю надлежало присутствовать защитнику. При его добrote и нервности все это было крайне тяжело.

Морщась от неприятного запаха тюремных коридоров, Серизье прошел в парлуар*. Он сел у столика и с тяжелым чувством стал соображать, как внушить подзащитному план показаний: „ехал к Шартье, ни о чем дурном не думая, — вдруг, не знаю, что со мной случилось!“ *Подсказывать* подзащитному показания не полагалось. Правда, так поступали многие адвокаты; Серизье этого не любил, но другого выхода не видел. Во внезапном умопомешательстве еще, быть может, была малая, хоть совершенно ничтожная надежда на спасение головы Альвера. Между тем от молодого дегенерата можно было ждать всяческих неожиданностей: мог заупрямиться на своем анархизме и на ненависти к буржуазному миру, мог, пожалуй, объявить, что гордится своим делом, мог, напротив, совершенно лишиться мужества и вызвать полное отвращение у присяжных. Давно не видел своего подзащитного, Серизье побаивался слез и сейчас; он знал, как сламыкает людей продолжительное тюремное заключение. Если б мальчишка заплакал на суде, то, в хорошую минуту, при хорошем исполнении, это еще могло бы быть полезно. Но тут, в парлуаре, слезы были бы совершенно ни к чему.

*Приемвая (фр. parloir). — Прим. ред.

Альвера находился в тюрьме уже более года. Тюремное заключение оказалось не таким, каким он себе его представлял: в некоторых отношениях было лучше, в других хуже. Он предполагал, что дни и ночи будет думать о ждущей его участи, в действительности думал о ней теперь довольно редко и, как ему казалось, почти равнодушно. Страдал он в тюрьме преимущественно от дурных условий жизни, от скуки и от безделья.

Он очень изменился. Перемена произошла в нем не столько от преступления и от ожидания казни, сколько от страшного удара бутылкой, полученного им при аресте. В первые дни мучительная боль заглушала у него все другие чувства; вначале он давал показания, почти ничего не соображая. Тюремный врач сказал, что у этого заключенного, вероятно, будет горячка или воспаление мозга, тогда придется перевезти его в больницу. Но горячки с ним не случилось, и он оставался в камере.

Дантист удалил корни разбитых и выбитых зубов, изо рта перестала сочиться кровь со слюной, боль по-немногу прошла, и лицо перестало быть опухшим, — насколько он мог судить на ощупь да еще по отражению от поверхности блестящих предметов, изредка ему попадавшихся (в камере таких предметов не было, но они были у следователя). Все же удар очень на нем отразился. В редкие минуты *прежней* душевной жизни, преимущественно по ночам, ему казалось, что он впал или впадает в идиотизм. „Может быть, этот удар лишь вызвал быстрое развитие идиотического начала, которое было во мне и прежде?“ — с усмешкой думал он. Но так как сам это думал, то этому почти не верил.

Свое положение он обсудил *трезво* и относительно своей участи не заблуждался, особенно после того, как узнал, что раненный им полицейский умер. Само по себе это на него не произвело большого впечатления, но он понял, что *кончено*, что никаких шансов на спасение жизни у него нет: грабитель, убил двух человек, в том числе *их* полицейского, иностранец, *sale étranger**. Впрочем, один шанс из тысячи был: если б в составе присяжных подобрались в большинстве враги существующего строя, коммунисты, анархисты, левые социалисты. Это было совершенно невероятно: „Шесть —

*Грязный иностранец (*фр.*).

или даже семь? — человек из двенадцати! Да они, конечно, и подбирают людей для своего суда...”

Не раз ему приходила мысль о самоубийстве. Способ мог быть как будто только один: разбить себе голову о стену. Он часто приглядывался к стене, которая снизу метра на два почему-то была выкрашена черной краской, пахнувшей чем-то вроде креозота. Если заложить руки назад и с разбега удариться головой? Но какой разбег на три шага, и силы не хватит, и, вернее, не умрешь, а лишь причинишь себе тяжкую рану, и совсем превратишься в идиота. Да и не стоит: такая смерть мучительнее гильотины. Повеситься было крайне трудно: против этого властями принимались меры. Зарезаться? Тоже почти невозможно. Парикмахер, обходивший заключенных раз в неделю, не выпускал бритвы из рук. Альвера от бритья отказался из брезгливости: ему были противны бритвенные принадлежности тюрьмы. Он отпустил бороду — этим вдобавок скрывались следы удара, — вначале целый день нервно ерошил щетину, потом привык. Обдумав *все*, он оставил мысль о самоубийстве.

Как ни странно, к своему делу он в мыслях почти никогда не возвращался. В первую же ночь, наполовину в бреду, вспомнил было кабинет месье Шартье, затрясая слабой дрожью — и позднее запретил себе об этом думать, чтобы не ослабеть: когда приходили воспоминания, дергался, мотал головой и действительно отгонял мысли об этой сцене, что ставил себе в большую заслугу. Вел он себя именно так, как решил прежде, считаясь с возможностью неудачи: тогда решено было — в случае провала изображать *гордую усмешку*, он ее и изображал, больше, впрочем, именно по воспоминаниям. Так себя вели Анри, Казерио, другие знаменитые анархисты. Ему, правда, иногда казалось, что дела Казерио или Анри были выигрышнее: может быть, не стоило убивать несчастного небогатого старика? Но это большого значения не имело — Равашоль совершал именно такие убийства, не говоря уже о Ласенэре. Альвера старался об этом не думать, отгородившись от всего и от всех гордой усмешкой. Изредка сочинял план защитительной речи: собирался сказать *им* всю правду. Газет в тюрьме не было, и ему не было известно, много ли шума произвело его преступление. Но в коридорах, когда его вели к следователю, люди смотрели на него с ужасом и любопытством, кое-кто высовывался из дверей, щелкали аппаратами фотогра-

фы. Он поэтому догадывался, что шума было немало. То же чувствовалось и в неопределенно-почтительном отношении к нему товарищей по заключению. Все это было скорее приятно. Когда первый фотограф навел на него аппарат, Альвера не сделал обычной непонятной попытки закрыться руками в наручниках, а, напротив, приостановился с усмешкой: „Хочешь снимать — сделай одолжение“.

В первый же день какими-то окольными путями до него дошли предложения двух адвокатов взять на себя его защиту. Это тоже свидетельствовало о шуме. Он и в том своем состоянии понял, что, верно, адвокаты молодые, желающие сделать себе карьеру на его славе. Тогда же откуда-то появился Серизье. Имя это было ему знакомо по парламентским отчетам газет, но он не был уверен, что толстый адвокат — тот самый: может быть, однофамилец? Спросить казалось неудобным: в таком вопросе было бы, он чувствовал, нечто светское и, следовательно, никак не подобающее его положению. Позднее, при прогулке по двору, он от другого заключенного узнал, что это *тот* Серизье. „T'as de la veine, c'est un as! Un ancien ministre!“* — сказал ему заключенный с деланной завистью: настоящей зависти к нему, конечно, никто чувствовать не мог; в тюрьме все понимали, что его песенка спета. Он усмехнулся, однако был доволен — больше, впрочем, из тщеславия. Почему-то его еще заинтересовало, получил ли адвокат от Вермандуа деньги и сколько именно. Но спросить об этом тоже было неудобно.

Первая беседа с защитником продолжалась всего минут пятнадцать. Альвера даже плохо помнил в подробностях, о чем они, собственно, говорили. Смутно вспоминал, что Серизье хотел *добраться до его души* и был, видимо, недоволен, не добравшись. Адвокат сказал, что *все* будет зависеть от состава присяжных: заранее ничего предвидеть нельзя.

— Безнадежных дел нет, мой друг, — заявил он бодрым и энергичным тоном и вскользь, намеками дал понять, что будет строить защиту на внезапном умопомешательстве.

— На внезапном? — переспросил Альвера и замолчал. На прощание Серизье, пожелав ему бодрости, сообщил, что сидеть придется долго (этим давал понять,

* „Тебе повезло, это мастер своего дела! Бывший министр!“ (Фр.)

что до казни еще, во всяком случае, остается немало времени).

— Пока вас будет посещать моя помощница. Она очень дельная, толковая барышня, и все будет мне докладывать подробно и точно. Вы можете быть совершенно спокойны: я буду следить за вашим делом самым внимательным образом. Когда подойдет время, опять сюда приеду...

— Вы знаете, я ничего не могу заплатить, — угрюмо, с усмешкой сказал Альвера. — У меня, правда, было своих несколько сот франков, но этого вам мало, и я не знаю, где они теперь. А то, что у меня нашли, это *его* деньги. Ими я, очевидно, распоряжаться не могу, да и вам, верно, было бы неприятно.

— Оставим это, — ответил сухо адвокат (однако нахал порядочный или же совершенно бессознательный субъект, подумал он). — Я вас защищаю не ради гонорара... Итак, вы можете *все* передавать мне через мадемуазель Мортье.

Он простился и как-то демонстративно подал руку, точно *пересиливая себя* по возвышенным соображениям. „Du courage, du courage...“* — сказал еще раз Серизье.

На следующий день явилась к Альвера в тюрьму молоденькая и хорошенькая барышня, только что зачисленная в парижскую адвокатскую корпорацию и, к великому своему счастью, попавшая к Серизье, благодаря особой протекции (знаменитый адвокат, впрочем, был всегда окружен женщинами). Мадемуазель Мортье быстро встала, когда в *parloir* ввели преступника, и порывисто с ним поздоровалась. Но на лице ее мелькнул ужас, быть может, вызванный его разбитым опухшим лицом с огромным кровоподтеком. Альвера показалось, что защитница его боится: она проводила сторожей беспокойным взглядом. Заговорила она быстро, в преувеличенно *обыкновенном* тоне, точно разговаривала о самых обыкновенных предметах. Мадемуазель Мортье была влюблена в свое дело, в корпорацию, в Серизье, в батоннье#, в свод законов и больше всего в тогу, которую уже надевала раза четыре в суде (кроме того, часто примеряла дома).

На память, но с совершенной точностью (недавно сдавала экзамены и как раз перед уходом в тюрьму

* „Мужайтесь, мужайтесь...“ (*фр.*)

#Старшина сословия адвокатов (*фр.* bâtonnier). — *Прим. ред.*

заглянула в уголовный кодекс) она разъяснила Серизье, что, по букве и смыслу статей 295 и следующих, причинение смерти другому человеку есть убийство, homicide; если же оно совершается умышленно, то из homicide становится meurtre; а если доказано и заранее обдуманное намерение, то meurtre переходит в assassinat. Кроме того, есть особые виды убийства, как отцеубийство, детоубийство и отравление; наконец, есть еще западня, guet-apens. Но так как под отцеубийством, parricide, разумеется убийство отца или матери, а под детоубийством, infanticide, убийство младенца, то статьи 299 и 300 к нему никак отнесены быть не могут, объяснила она радостно-обнадеживающим тоном. Не может быть отнесена к нему и статья 298 о западне, ибо, по точному смыслу и букве этой статьи, le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence*. Между тем всего этого не было. К нему могут быть отнесены либо статья 295 о meurtre, если не будет доказано заранее обдуманное намерение, либо статья 302 об assassinat, если будет доказано заранее обдуманное намерение.

— А для меня в чем разница? — спросил угрюмо Альвера. Ему было совестно, что лицо у него разбито и что говорит он неясно, пришепетывая из-за выбитых зубов и сочащейся крови.

— За assassinat, по букве и смыслу 302-й статьи, полагается смертная казнь, — грациозно опустив глаза, сказала мадемуазель Мортье тоном извинения, показывавшим, что она этой статьи совершенно не одобряет.

— А за meurtre?

— За meurtre полагаются пожизненные каторжные работы. Отсюда вы видите, какое значение для нас имеет вопрос о заранее обдуманном намерении. — Она стала подробно ему объяснять, как заранее обдуманное намерение понимается в законе и в судебной практике и чем préméditation* отличается от volonté criminelle^Δ. Эти объяснения, недавно ею самой усвоенные, доставляли ей большое удовольствие. Альвера слушал почти рассеянно, думая, что при убийстве их полицейского вопрос о заранее обдуманном намерении не может иметь никакого значения. Молодая защитница ускольз-

*Заманить человека в западню — это его выследить и где-то подкараулить с целью убийства или причинения вреда (фр.).

^ΔПреднамеренность (фр.).

^ΔЗлонамеренность (фр.).

нула, как ангел-утешитель, и тоже сказала, подобно Серизье, но несколько иначе, нараспев: „Du courage! Du courage!“

Затем еще была медицинская экспертиза. Ему задавались разные глупые вопросы. Альвера чувствовал, что его признали бы здоровым, даже если бы он в самом деле был сумасшедшим, так как *они* защищают существующий строй и убеждены, что все преступники прикидываются умалишенными, и им все это смертельно надоело.

Потянулась обыкновенная тюремная жизнь, несложная, однообразная, скучная. Вставали в 5.30 по звонку, в 6 подавали кружку черного кофе и хлеб, на весь день, в 9 — суп с мясом, в 4 — снова тот же суп. Еды было достаточно, чтобы не умереть, но в течение круглых суток он чувствовал голод. Затем ему сообщили, что на его имя доставлено от Вермандуа двести франков и что на эти деньги он может кое-что себе заказывать в тюремной лавке. Когда на следующее утро отворилась дверь и ему подали с повозочки колбасу и плитку шоколада, он набросился на них с жадностью и тут только почувствовал, что по-настоящему вошел в тюремную жизнь, что стал настоящим арестантом.

Еда теперь была, в сущности, главным интересом его жизни. Он знал, какой суп подается в разные дни недели, какие продукты всего лучше и дешевле в тюремной лавке. Как ему было ни стыдно, с тревогой себя спрашивал, что будет, когда деньги Вермандуа выйдут, и пришлет ли тот еще. С пропуском в три дня пришли сто франков; время от времени доставлялись деньги и дальше.

Кроме недостатка и дурного качества еды Альвера больше всего страдал от скуки. Можно было получать книги из тюремной библиотеки, но выдавались они лишь раз в неделю. Хуже всего было вечером и ночью. Свет гасился очень рано. Спал он плохо из-за запаха креозота (голова болела почти всегда), из-за грубого белья, еще из-за клопов — борьба с ними была одним из главных занятий заключенных и одной из главных тем бесед на прогулках. Гуляли они на круглом дворе, разделенном по радиусам расходящимися стенками: в середине круга находился сторож, который мог таким образом наблюдать за всеми секторами одновременно. На каждом дворике гуляли по два-три человека. Аль-

вера, как заведомый и единственный смертник, был главной достопримечательностью тюрьмы и пользовался некоторым признанием не только заключенных, но и сторожей. Обращение с ним, как, впрочем, со всеми, было вежливое. Некоторые из товарищей по тюрьме пытались его расспрашивать о *деле*. Он упорно уклонялся и переводил разговор на суп или на клопов.

От *гордой усмешки*, он чувствовал, оставалось уже немного, — да еще возможна ли гордая усмешка при клопах, при мыслях о колбасе, при соображениях о том, доставит ли подлец Вермандуа из жалости какую-либо подачку? Альвера понемногу пришел к мысли, что об этом особенно заботиться *теперь* не стоит: верно, Анри и Казерио чувствовали то же самое. Лучше всего было именно жить так дальше, *по кусочкам*, со дня на день. Другой человек? Ну что ж, другой, но уже высказавший свои мысли миру и достаточно проявивший бесстрашие. Чтобы не отступать от плана, он по-прежнему нацеплял на себя гордую усмешку, когда отправлялся на допрос или на свидание с защитником, но все меньше думал о своей защитительной речи. По-прежнему он запрещал себе возвращаться мысленно к убийству. Однако иногда — впрочем, все реже — по ночам у него бывали тяжелые минуты *пробуждения*.

VI.

Глазок отворился, кто-то заглянул; затем отворилась и дверь. Вошедший сторож сказал, что приехал адвокат: надо идти в парлуар. „Можно, можно“, — небрежно ответил Альвера. Он был рад; преимущественно рад развлечению, все же было приятно и то, что о нем думают. Его почти задело, что в коридорах на него не смотрели, что никаких фотографов не было: „Уж если процесс, то лучше сенсационный, чем простой... Впрочем, откуда же здесь, в тюрьме, взяться фотографам?“

С готовой легкой усмешкой он вошел в комнату для свиданий и небрежно поклонился защитнику, вглядываясь вопросительно: нет ли еще каких-нибудь дурных вестей? Серизье встал ему навстречу и сказал: „Здравствуйте, мой друг“, стараясь вложить в интонацию возможно больше теплоты. Сторож вышел. Они сели за столик.

— Как вы себя чувствуете? — спросил адвокат.

— Ничего, благодарю вас, — ответил Альвера. Ему хотелось добавить: „А вы как?“ — но он понимал, что это неудобно.

— Я рад, что вы настроены бодро. Ну что ж, завтра суд...

— Да, суд.

— Я хотел с вами еще кое о чем побеседовать перед началом процесса. Но сначала по существу. — Серизье сделал паузу и продолжал особенно проникновенным тоном. — Буду с вами совершенно откровенен. Вы юноша... образованный (он хотел было сказать: разумный), вы сами понимаете: дело ваше тяжелое, очень тяжелое...

— Я знаю.

— Вы должны быть готовы ко всему.

— Я ко всему и готов.

— Однако это несколько не значит, что я считаю ваше положение безнадежным...

— А я считаю.

— Напрасно. Надежда есть. Разумеется, только на смягчающие обстоятельства.

— То есть на бессрочную каторгу?

— Может быть, и не на бессрочную, а, скажем, на двадцатилетнюю, — сказал сухо Серизье, недовольный тоном вопроса („все-таки не рассчитывал же он, что его за это дельце наградят орденом!“).

— Я предпочитаю гильотину.

— Да, да, да, знаю. Так говорят часто, но это всегда неправда. Вы очень молоды, вы можете отбыть двадцать лет и вернуться в жизнь еще далеко не старым человеком. Условия каторги у нас теперь гораздо лучше, чем были лет тридцать тому назад. Наконец, могут быть всякие непредвиденные события, амнистия, общее сокращение наказаний.

— Это, например, если у президента родится сын?

— Нет, не если у президента родится сын, — сказал уже с раздражением адвокат. Он тотчас сдержался, имея дело с обреченным человеком. — Представьте себе хотя бы новое 11 ноября. Ведь война может теперь вспыхнуть в любой день. Вполне возможно, что очень многие из ни в чем неповинных парижан умрут гораздо раньше каторжников в Кайснне. Там вы, по крайней мере, застрахованы от воздушных налетов, — добавил он с улыбкой. — Притом, мой друг, вы знали, на что шли, когда в *минуту умопомешательства* (он под-

черкнул эти слова) совершили страшное преступление...

— Тут логическое противоречие, мэтр, — сказал с усмешкой Альвера. — Если знал, на что иду, то не было минуты умопомешательства; а если была минута умопомешательства, то, значит, не знал, на что иду.

— А верно что? — озадаченно спросил Серизье и тотчас пожалел о вопросе: в таких случаях лучше было не добиваться откровенности от подзащитного; она могла стеснить защиту.

— Верно то, что я был совершенно здоров и остался совершенно здоров.

— *Entendons-nous**, — сказал проникновенно адвокат (эти слова можно было понимать двояко). — Я, конечно, не говорю, что вы сумасшедший в настоящем смысле слова. Но никак не могу согласиться и с тем, что вы теперь утверждаете из юношеской гордости. — Альвера пожал плечами. — Вы в своем собственном деле не судья. Может быть, мне ваше душевное состояние в *ту минуту* понятнее, чем вам самому. Вам оно даже, я уверен, совсем непонятно. Я совершенно убежден, — произнес Серизье подчеркнутым тоном, — что вы тогда отправились в Люсьен („почему в „Люсьен“? — неприятно удивился Альвера) с самыми мирными намерениями.

— Знаю, знаю, у вас вообще была эта навязчивая идея, ну, убийство, месть, анархизм, знаю. Такие случаи известны судебной психопатологии. — Альвера опять пожал плечами. — Но если бы не внезапное умопомешательство, вы никогда Шартье не убили бы. Вы сдали бы ему рукопись и мирно вернулись бы домой... Мой друг, я в этом убежден, совершенно убежден, и моя главная задача будет заключаться в том, чтобы убедить в этом присяжных. У меня есть доказательства, много доказательств, вы напрасно улыбаетесь. Например, рукопись старика переписана вами прекрасно. Если б вы были уверены, что идете на убийство, разве вы озаботились бы перепиской? Разве в таком состоянии можно переписать, да еще без ошибок, тридцать страниц? Вы просто приготовили бы какой-нибудь пакет и выстрелили бы в Шартье еще до того, как он его развернул бы. А эта история с радиоаппаратом! — Лицо у Альвера вдруг дернулось. Серизье на мгновение остановился, глядя на него, и продолжал. — Разве здоровый

* „Давайте договоримся“, или „услышим друг друга“ (*фр.*).

человек стал бы зачем-то вертеть ручку аппарата, рискуя собрать под окном весь Люсьен? Здоровый человек либо оставил бы аппарат в покое, либо вынул бы штепсель. Каждый ребенок знает, что достаточно прервать ток — и аппарат перестанет работать... Видите, вы побелели, и лицо у вас дергается при одном воспоминании... Вот хотя бы то, что у вас при одном воспоминании судорожно дергается лицо, может повлиять в вашу пользу на присяжных. ("Надеюсь, понял", — подумал Серизье.) Во всяком случае, вы должны твердо помнить, мой друг, — с силой сказал адвокат. — *Ваша единственная надежда на спасение жизни в том, что присяжные признают, как я, что вы действовали в состоянии умопомешательства.* И вы, разумеется, не должны мальчишески на меня дуться, если я на суде пойду даже дальше моей действительной мысли в описании вашего душевного склада. Предположим, вы из упрямства, из заносчивости на суде объявите, что вы были здоровы, хоть я этому и верить не хочу. Тогда *мне* вы именно этим и докажете, что вы сумасшедший. Но присяжные и суд в такие тонкости не входят, особенно при неблагоприятной экспертизе, как *наша*. Имейте это в виду! Если же я докажу присяжным, что вы действовали в состоянии невменяемости, и если они поверят в ваше раскаяние, то я очень, очень надеюсь на смягчающие обстоятельства. Какие могут быть доказательства заранее обдуманного намерения? Револьвер? Но может быть, вы носили револьвер при себе всегда... Это одна из ваших многочисленных странностей...

— Это именно так и было. Месяца три носил постоянно.

— Неужели? Но отчего же вы мне этого не сказали раньше? Ведь это очень важно!.. Не видел ли у вас кто-нибудь револьвера? Не мог ли бы кто-нибудь засвидетельствовать? Это необычайно важно!

— Нет, я, разумеется, никому не показывал.

— А зачем вы его купили? Не из ваших ли анархических убеждений? Не потому ли, что анархистулагается быть вооруженным? Или просто по мальчишеской любви к оружию? По воспоминаниям о романах Буссенара и Гюстава Эмара?

— Я купил револьвер, чтобы убить Шартье.

Серизье посмотрел на него с раздражением.

— Вам, конечно, виднее. Но если вы намерены на суде осложнять мою задачу, то лучше скажите мне прямо! Я могу отказаться от защиты, а вы обойдетесь

без защитника или пригласите кого-либо другого... Вы уже достаточно себе повредили показаниями у следователя.

— Я вам очень благодарен, мэтр, — поспешно сказал Альвера.

— А если благодарны, то постарайтесь понять то, что я говорю. В десятый раз повторяю вам: ваша *единственная* надежда, что присяжные могут признать отсутствие заранее обдуманного намерения. Если они признают заранее обдуманное намерение, то надежды у вас быть не может, вы будете казнены, — сказал Серизье в раздражении: этого говорить не полагалось. — Когда вы вернетесь в камеру, подумайте обо всем этом хорошенько... А теперь у меня есть еще и небольшое дело...

Он заговорил о дополнительной экспертизе. Это, собственно, был предлог: ему не хотелось допустить мысль, что он приехал для обучения подзащитного показаниям. Поговорив минут десять, Серизье встал и простился. Альвера сделал какое-то движение. Адвокату стало его жаль. „Какие ночи, должно быть, проводит этот несчастный! — подумал он и самым бодрым голосом сказал: — Ну, не теряйте надежды, мой друг. Я очень, очень надеюсь на смягчающие обстоятельства. Суд присяжных всегда лотерея, но есть основания думать, что присяжные примут во внимание ваше *искреннее раскаяние* и вашу юность... Кстати, отчего бы вам не побриться? Доказать заранее обдуманное намерение прокурору будет трудно, если только вы ему в этом не поможете... До скорого свидания, мой друг“, — он поспешно вышел с чувством большого облегчения. „Слава Богу, плача не было...“

„Да, да, это знает каждый ребенок! — думал Альвера, вернувшись в камеру. — Все погибло из-за одной минуты растерянности. Но кто же мог *предвидеть* радиоаппарат? Дело было рассчитано научно, во всех подробностях, за исключением одной, которую предусмотреть не мог никто в мире. Конечно, если б тогда не трогать аппарата, соседи обратили бы внимание не раньше чем часа через два, а скорее на следующее утро. Если б прервать ток, никто и вообще не обратил бы внимания до прихода поденщика. В обоих случаях я был бы спасен. В Париже они *не могли* меня найти. Но богат не был бы, нет, здесь тоже была ошибка...“ Из вопросов он знал, что при нем, в бумажнике месяце

Шартье, было найдено всего 1500 франков. Это в первую минуту его поразило: значит, и тут расчет оказался неверным! „Ну что ж, не рассчитал, провалился, как дурак, как мальчишка. Теперь придется „заплатить свой долг обществу“. Сколько раз об этом будет сказано на суде и *потом*, в газетных отчетах: „Il paya sa dette à la société“*. Он усмехнулся: „Мой долг их обществу! И хорош способ уплаты долга!..“

К его удивлению, сторож вошел в камеру несколько раньше обычного времени и спустил на ночь койку, с утра прикреплявшуюся к стене. „Вероятно, это именно мне *теперь* делаются поблажки“, — почти весело подумал он. Тотчас по уходе сторожа Альвера разделся и лег. В камере было довольно холодно. Он обогрелся под одеялом и радостно вспомнил свои мысли о том, что человеческая жизнь состоит из кусочков. „Да, да, это было верно, и я в самом деле благодарен вот за этот кусочек, за свою последнюю ночь... Впрочем, не последнюю: дело едва ли кончится в один день. И почему же после приговора начнутся какие-то иные дни и ночи? Разве я не знаю приговора заранее? Что же изменится? Адвокат патетически заявил, что подаст жалобу, кассационную, или апелляционную, или как это у них называется? Я для приличия поломаюсь — хотя зачем приличие? — и соглашусь: подавай. Это займет не меньше месяца“. Ему не раз хотелось спросить у Серизье, сколько времени обычно проходит между приговором в первой инстанции и отклонением жалобы во второй; но спрашивать было стыдно, не спросил. „Стоит ли в самом деле подавать жалобу? Разумный ответ: конечно, не стоит. Из-за нескольких недель жизни — такой жизни! — незачем лишаться красивой формулы: „он отказался подать апелляционную жалобу“. С другой же стороны, теперь красивые формулы тоже ни к чему, и никакого значения не может иметь фраза в отчете газет, которых я вдобавок и не прочту. Все-таки еще надо будет подумать...“ Он знал, однако, твердо, что согласится на подачу жалобы. „Да и нельзя не согласиться: ведь останется еще целый месяц *кусочков*! У многих других и этого нет. И если в самом деле будет война, то миллионы „ни в чем неповинных“ французов умрут гораздо более страшной смертью, разорванные на части, сожженные, отравленные газами, и это очень хорошо, и дай Бог только, чтобы такой же — нет, еще

* „Он заплатил свой долг обществу“ (Фр.).

худшей — смертью погибли миллионы немцев! Пусть они все истребят друг друга, туда им дорога, их обществу, которому я скоро заплачу свой „долг“...“

Он долго об этом думал: когда именно начался „долг“, — очевидно, еще до появления на свет? Из тех бумаг было совершенно ясно, что отец заболел за год до его рождения. Альвера с усмешкой вспоминал, сколько горя и ужаса причинили ему эти бумаги, письма, рецепты, анализ крови. Это свалилось тогда так внезапно. „Отсюда все и пошло. Отсюда и пошел „мой долг обществу“. Теперь эти мысли не возбуждали в нем ни ужаса, ни отвращения. „Да, наследственный сифилитик, природный кандидат в идиоты или в дом умалишенных... Kératite interstitiel, convulsions épileptiformes*... Какой же мог быть другой путь? Нет, философской ошибки не было. Жизнь есть произведение множителей количества и напряженности... $A=U+T \times (d^A/dT)$, — вспомнил он и обрадовался, что помнит. — Где теперь моя тетрадь? И весь смысл жизни в том, чтобы увеличить множитель напряженности, чтобы жить как можно напряженнее, опаснее, острее, все равно как. И я это сделал! Глупая случайная ошибка все погубила, то есть свела до минимума множитель количества, но множителя напряженности она не коснулась. А как считать множитель количества: двадцать лет? оставшийся месяц?“ Он вдруг вспомнил, что после отклонения апелляционной жалобы можно еще подать просьбу о помиловании президенту республики. „Это самое малое неделя! Еще неделя жизни!“ Им овладела радость: кто-то вдруг подарил ему неделю жизни. „Неловко подавать? Вздор! Подает адвокат *вопреки моей воле*...“ Еще неделя кусочков жизни — вот таких, как сейчас: тепло, клопов нет, чего же еще?

Лампочка погасла. Он скоро задремал. Ему снился страшный сон, тот, который уже снился ему однажды, давно, сон о пастушке, поссорившемся с солнцем. Солнце мстило пастушку. Пастушок играл на чем-то, на свирели, что ли? Играл что-то очень страшное. Альвера не улавливал ни мелодии, ни слов. „Du courage, du courage“, — пела прелестная мадемуазель Мортье. Он потащил ее, с восторгом думал, что это чудесно, и упивался любовью, насилуем... „Défense de déposer et faire des Ordures“, — строго говорил кто-то с забора у

*Интерстициальный кератит, эпилептические конвульсии... (фр.)

тропинки, у той тропинки. Две девочки, взявшись за руки, шли в черно-желтом треугольничке. Пронесся автомобиль и протрубил, и вдруг трубный звук его стал расти, страшно расти и слился со свирелью, и Альвера уловил мелодию и в ужасе бросился бежать, но автомобиль несся за ним и гремел: „...Tu veux donc, cruelle gantière, —Tu veux la mort du Brésilien!..“

Он проснулся с криком и, задыхаясь, сел на постели. Где-то гремели засовы. По ночам, каждые два часа, сторожа обходили тюрьму, отворяя и затворяя двери; гул разносился по всей тюрьме. „Это за мной — туда!“ — подумал он, трясаясь от ужаса. В ту же секунду он увидел перед собой внизу месье Шартье, с дергающимися от тика лицом, с выкатившимися глазами. „Молодой человек, я вам дам вперед двести франков, вы снимете квартиру, вы славный молодой человек“, — говорил, дергаясь, месье Шартье. Засовы гремели. Альвера, откинув голову, изо всей силы ударился ею о стену и лишился чувств.

VII.

Толстый, коренастый, необыкновенно бодрого вида певец уже поблагодарил сердце за то, что оно такое. Закуска была очень хороша. „Не то, конечно, что у покойного Дюнона, но во французском ресторане средней руки такой не получишь“, — сказал Наде с приятным удивлением командарм Тамарин. „Всегда меня слушайте, я вас худому не научу, — ответила Надя. — Видите, *наше поет*. Уж если они поют наше!.. Все-таки я очень довольна вечером, а вы?“ „А я и подавно“, — ответил совершенно искренне командарм.

Кангаров неожиданно решил провести весь отпуск в уединенном санатории под Парижем. Он со вздохами всем сообщал, что таково строжайшее предписание врачей: „Ничего, товарищи, не подделаешь, сам Альбер Фуко строго-настрого приказал: сердце очень стало пошаливать“. В действительности профессор в ответ на его вопрос, не следовало ли бы ему немного отдохнуть в санатории, ответил, что ничего против этого не имеет. „В каком же именно, господин профессор?“ — „В каком хотите“.

У Кангарова в последние месяцы развилась необычайная мнительность. Надежда Ивановна, не стесня-

ясь, говорила, что у него началась мания преследования, и про себя объясняла это московскими процессами. События и в самом деле отразились на его физическом состоянии: он боялся теперь всех и всего, избегал людей, старался писать по возможности меньше писем; развертывая советские газеты, бледнел и читал их порою с настоящим ужасом. Вначале Наде казалось, будто он притворяется тяжело больным человеком именно для того, чтобы, в случае вызова, отказаться от поездки в Москву. Потом она убедилась, что он сам убежден в своей тяжелой болезни. Иногда на него находили и настоящие припадки бешенства. Надя огрызалась, но слабо: фикция его *болезненной горячности* была официально признана и ею; Кангаров теперь не говорил, а *брякал*; он был человек, режущий правду-матку.

Жить при нем становилось ей все труднее. Надежда Ивановна не была любовницей Кангарова, — самая мысль эта показалась бы ей гадкой. Но под предлогом отеческой любви к ней, потом и без всяких предлогов он наедине позволял себе больше того, что могло быть оправдано шутливостью. Этому легко было положить конец вначале. „Если бы сразу послать его к черту, с него как рукой бы сняло! — с досадой думала теперь Надя, и сама не могла понять, почему тотчас этого не сделала: — Может, в самом деле я развратная?“ Кангаров не раз, блестя глазами, говорил ей, что в тихом омуте черти водятся. Понемногу становилось все труднее прекратить вольности, „да как-то было бы и глупо“. Еще позднее произошла бурная сцена с Еленой Васильевной, — Надя плакала два дня от обиды и злости. Ей стало известно, что все сослуживцы считают ее любовницей Кангарова. Она изумилась: „Какое, однако, дурачье! Это просто смешно!“ — и предписала себе: „Ноль внимания!“ Оказалось, однако, что это не только смешно, но и очень неприятно.

Неожиданно она получила повышение по службе: должность переписчицы как-то объединили с занятиями переводчицы и личной секретарши, провели по штату или по двум штатам, и она стала получать вдвое больше жалованья. В связи со сплетнями повышение принимало как будто нехороший характер. Но отказаться от двойного жалованья, которое давало ей возможность — наконец-то — одеться по-настоящему, Надя не могла и не хотела, тем более что никакой — или почти никакой — вины за собой не знала, да и в

самом деле была при Кангарове переписчицей, переводчицей и секретаршей: „Глупо было бы отказываться из-за того, что говорят какие-то мерзавцы и негодяи!“ В последнее время мысли обо всем этом стали для Надежды Ивановны настоящим кошмаром. Она плакала по ночам, говорила себе, что подаст прошение о переводе в Москву, но все не подавала и даже не знала, как это сделать: через Кангарова? помимо него?

Однажды она решилась осторожно с ним заговорить о переводе в Россию — он сразу побагровел, и глаза у него пожелтели. „Ты что, с ума сошла, что ли? Какая муха тебя укусила! В Москву? Куда в Москву? На какую работу? Кто тебе даст службу, если ты уйдешь после того, что я для тебя сделал? И ты что же меня совсем погубить хочешь! Да никогда я тебя не отпущу, и сию же минуту выбей это у себя из глупой головы!“ Он говорил с убеждением, с любовью, с отчаянием, с угрозой. Наде было и жалко его, и смешно, и немного страшно. Она не думала, чтобы он стал ей мстить в случае ее ухода, даже была уверена, что не станет, но не могла не знать, что помимо его воли ей работу в Москве получить будет нелегко. Да Надежде Ивановне и не так хотелось возвращаться; вернее, то хотелось, то приходила охота: уж очень невеселые шли из России вести — если даже продажная капиталистическая печать на три четверти врет, то ведь четвертая доля — правда? И еще: любовь Кангарова немного — самую малость — ее трогала, хоть была смешна. „Ведь человек с ума сходит!..“

В тот же день он вечером пришел к ней и долго со слезами в голосе говорил, что „в принципе твердо решил на развод с Еленой Васильевной, но надо подождать, надо непременно немного подождать“. Объяснял он свою мысль с жаром, хоть малопонятно. Надя поняла, что *в такое время* он опасается действий, которые могли бы быть истолкованы как *личная распушенность*, или что-то в этом роде, с усвоением морали классовых врагов. При этом он многозначительно на нее смотрел, — Надя видела, что он собирается после развода на ней жениться. Это было тоже и смешно, и противно, и почти умилительно. „А вдруг он в самом деле болен и еще умрет, если я его пошлю к черту?“ — сказала она себе. Все осталось по-старому. Только при каждом намеке, при каждой улыбке сослуживцев она вздрагивала и сдерживалась. „Хамеж полный“. Надежда Ивановна иногда чувствовала, что сама немного за-

ражается „хамежем“, — как уже усвоила себе, частью невольно-механически, частью из щегольства, некоторые разгворные особенности своих товарищей.

Сообщение о санатории она приняла с худо скрытым озлоблением. Кангаров взял ее в отпуск с тем, чтобы „сначала посидеть с неделю в Парижске, затем где-нибудь на Кот-д’Азюре или еще лучше в Италии, где меньше белогвардейской сволочи...“ Поездка в его обществе у нее никакого восторга не вызывала и раньше; все же для Ривьеры, для Италии еще можно было бы на это пойти. Сидеть же с ним в дождливую осень где-то за городом в глуши, в санатории было почти невыносимо.

Потом она решила, что, может быть, это и к лучшему: „Буду уезжать в Париж каждый день и на целый день...“ Официально она сопровождала посла как личная секретарша. В действительности почти никакой работы у нее не было, особенно с той поры, как Кангаров стал избегать людей и писем. „Держать меня на цепи он не посмеет. Если ты в санатории, то лечись, и никакой секретарши тебе не надо. А что нужно, буду делать рано утром, пока он еще поживает. Если же он начнет скандалить, то без стеснения сообщу ему, что уезжаю, и действительно уеду: хоть умру, а вернусь в Москву“.

Было у нее еще другое маленькое утешение. Надя за полтора года своего пребывания за границей пробовала свои силы в разном, — не век же быть переписчицей или хотя бы секретаршей. Пробовала писать акварелью, выжигать по дереву, заинтересовалась даже внешкольным обучением. Из этого ничего не выходило. С горя она стала вести дневник и записывала „все, что было за день“. Сначала писала кратко, потом стала писать гораздо подробнее, с отступлениями. А еще через некоторое время ей показалось, что некоторые страницы, право, очень милы, совсем как в книгах настоящих писателей, где есть настоящие дневники. „Что, если написать рассказ и через Женьку переслать в их редакцию!..“ Весь тот вечер и часть ночи она провела в мечтах о литературной славе и рано утром села за работу. Теперь за городом, осенью, можно было бы привести рассказ в надлежащий вид — все писатели работали больше за городом: Пушкин, Толстой, кто-то, кажется, еще лучше всего работали осенью, это сообщалось и в газетах.

В санаторий она и пригласила Вислиценуса. Из-за него, после их встречи у профессора, Кангаров устроил Наде настоящую сцену, которую начал тогда в самом деле еще на лестнице. Узнав, что она позвала Вислиценуса еще и за город, посол пришел в совершенную ярость. „Ты как знаешь! — кричал он с искаженным лицом и с пожелтевшими глазами. — А я этого нахалатроцкиста к себе на порог не пущу!“ — „Да он на ваш порог и не явится, он на *мой* порог“. — „Это все равно! Ты поддерживаешь отношения со всеми моими врагами, это просто какой-то заговор!“ — „Какой заговор? Опомнитесь! Человек придет ко мне выпить чаю, а вы говорите заговор“. — „Заговор против моего спокойствия, а я болен и нуждаюсь в покое! Я не хочу, чтобы ты пила чай с этим наглецом. Я его знать не желаю и к нему не выйду!“ — „Да, повторяю, он не к вам едет. Если вам его вид так неприятен, вы можете не показываться или хотя бы уехать на этот день в Париж. Он придет в среду в шестом часу“. — „Я именно так и сделаю, если ты так со мной поступаешь!“ „Ну и отлично, видите, как все просто разрешается и незачем кричать, — подчеркнуто спокойно говорила она с тайным восторгом: понимала, что, помимо всего прочего, он ревнует ее к Вислиценусу, — а так как вы столь близко принимаете к сердцу мои встречи, то во избежание новых недоразумений хочу у вас узнать: Константина Александровича можно к нам звать?“ „Какого еще, к черту, Константина Александровича?“ — „Командарма Тамарина“. — „Этого глупого старика можешь звать хоть каждый день“. — „Ну, вот как хорошо. Теперь, по крайней мере, знаю“.

Тамарина Надежда Ивановна, однако, позвала не в санаторий. Она в самом деле, быть может, предпочла бы отделаться от обоих старичков сразу, но по тону Вислиценуса поняла, что надо звать каждого отдельно. Кроме того, Надя не так уж была занята и молодых знакомых в Париже не имела. С Вислиценусом ей всегда бывало тяжело. С Тамариным тяжело не было, только было скучновато: „Он прелесть что за человек, командарм, хоть в больших количествах невыносим, как канчуки, по мнению гоголевских бурсаков...“ Решила *потратить* на Тамарина целый вечер и, чтобы поменьше утруждать себя разговором, предложила по телефону пойти вместе в театр.

Тамарин очень ей обрадовался. „В театр, с вами? С радостью! В какой же, Надежда Ивановна?“ „Вам все

равно в какой? Тогда давайте пойдём в...“ — она назвала театр. „Это где ужасы?“ — „Да, да, но там не только ужасы, и говорят, что очень мило. Я все парижские театры видела, а в этом не была никогда. Согласны?“ — „Куда прикажете“. — „Так завтра встретимся у кассы, в три четверти девятого“. — „Слушаюсь“. — „Ну, так пока“. — „Не пока, а до свидания“. Она засмеялась: „Узнаю вас, мой милый ментор. Помните, как вы меня воспитывали, когда амбассадер уезжал в Амстердам. А я все забываю, что вы современник Аксакова и Карамзина“.

Встретились они радостно и даже поцеловались к смущению и удовольствию командарма, к некоторому удивлению стоявшей у кассы публики (раздались даже смешки). Долго и бестолково говорили: „как вы?“, „ну, что?“, „да так, живу вопреки всему“, „почему же вопреки всему?“, „да уж так“... Затем купили билеты: „Сегодня я плачу, это я вас пригласила“. — „Ни за что! что вы!“ — „Ах, какой вы, Константин Александрович, почему же я не могу никуда вас пригласить?“ — „Да уж так, знаете“. — „Хотите, я вам предлагаю почетное соглашение, sur un pied d'égalité absolue*, как между великими державами — я покупаю билеты, а вы после театра угощаете меня ужином: признаюсь вам, я не успела пообедать, только съела сэндвич в кофейне“. Тамарин рассмеялся: „Как это хорошо вышло! Представьте, и я нынче не обедал, но не случайно, а умышленно: хотел просить вас сделать мне удовольствие поужинать со мною“. — „Неужели?! Вы самый милый из командармов. Впрочем, я ни одного другого командарма не знаю... Но тогда за билеты плачу я“. — „Ни за что! Вы приезжая, стало быть, моя гостья...“ Разговор кончился тем, что Надежда Ивановна заплатила за свой билет и решила ресторан выбрать поскромнее.

Тамарин, по словам Нади, „скис“, увидев сводчатый дубовый потолок зала, какие-то статуи ангелов, узкие двери наподобие крестов. „Это они часовню пытаются пародировать, что ли?“ — хмуро спросил он: терпеть не мог таких вещей. Еще больше огорчился Константин Александрович, когда на сцене появились свирепый средневековый *bâtard***, пытающий для своего удоволь-

*Совершенно на равных (*φр.*).

**Внебрачный сын аристократа (*φр.*).

ствия врагов, камера пыток, люди с обнаженными торсами, по которым струилась кровь. „Что за ерунда, — говорил он, — ну и театрик вы выбрали, Надежда Ивановна“. „А мне, напротив, очень интересно, — говорила Надя, — прекрасный спектакль“. „Да где же вы таких батаров видели! А если они в средние века были, то теперь не средние века!“ Когда в другой пьеске ворвавшиеся в крепость китайские боксеры стали выкалывать глаза пленным, Тамарин решительно запротестовал: „Надежда Ивановна, милая, нет моих сил смотреть на эту чушь! Неужели вам интересно?“ „Страшно интересно, и я ни за что не ушла бы, но, каюсь, мне ужасно хочется есть“. „Вот то-то и оно! Пойдем, милая. Бог с ними, с батарами и с боксерами!“

— Вот как, стало быть, выходит, — сказал на улице командарм, — я думал, мы будем ужинать, а на самом деле будем скорее обедать: еще нет десяти часов. Куда же мы пойдем? Вы устрицы любите?

— Устрицы? — переспросила Надя и задумалась. — Нет, вот что: я хочу шашлыка! И еще я хочу выпить с вами водки. Не о-де-ви*, а настоящей водки! И еще я хочу к водке закуски: не французские ордевы** из раковинок, капусты и картошки с прованским маслом, а чтобы в закуску входили семга, баклажанная икра и селедка: настоящая дунайская селедка! И еще я хочу...

— Милая, — сказал, смеясь, Тамарин, — мы родились хоть в разное время, но под одной планетой: я тоже люблю все это. Но вы забываете, что мы не в Москве и не в Тмутаракани, а в Париже.

— Это вы забываете, что в Париже есть русские рестораны. И один из них находится недалеко отсюда, и там есть все, к чему рвется моя душа. Мы с вами туда и пойдем!

— Помилуйте! Ведь это эмигрантское заведение.

— А мне все равно, какой у них шашлык, эмигрантский или советский, и какая водка, революционная или белогвардейская. Все наши там перебивали, почему же мы не можем туда пойти?

— Да как-то это неудобно.

— Ничего неудобного! Говорю вам, что там все наши бывают довольно часто.

— Будто?

*Водка (*фр.* can-de-vie). — *Прим. ред.*

**От *фр.* hors-d'œuvre — закуска. — *Прим. ред.*

— Не будто, а факт. Амбассадера я туда не повела бы, ему по его положению нельзя, а нам с вами можно, мы люди маленькие, незаметные.

— Да ведь и меня могут узнать.

— Вас? Опомнитесь! Это после двадцати лет? Сами же говорили, что вы тогда еще бакенбарды носили! А если и узнают, то нам на них наплевать. Неужто вы боитесь?

— Не боюсь, но на грубости нарываться не хотелось бы.

— Никто вас не узнает, и никаких грубостей не будет, уж я вам ручаюсь. Подумайте, шашлык!

— Шашлык, говорите? Шашлык — вещь великая, что и говорить.

Через десять минут они входили в ресторан. Тамарин был очень смущен, — „по-французски, что ли, говорить?“ — но Надя сразу заговорила по-русски, хоть негромко. Им отвели в углу небольшой стол, накрытый пестрой скатертью, с пестрыми салфеточками, сложенными треугольничками по тарелкам. Надежда Ивановна была тоже немного смущена — „верно, все белогвардейцы“, — это было и интересно, и страшновато.

Лакей подал им листок, исписанный вкось чернилами между печатных строк. Тамарин окинул лакея взглядом — „нет, слава Богу, не офицер“ — и углубился в карту, где на французском языке значились разные *kilkis, pirojoks, bitkis* и *pelmenis*. „Значит, закусочку закажем, Надежда Ивановна?“ „Закажем“, — она не добавила его имени-отчества. „И водочки прикажете?“ — „А водочки это уж обязательно. Какая у вас есть?“ — „Зубровочка есть, польская, белая головка“. — „Неужто есть белая головка?“ — „Так точно“. — „Давайте ее сюда“. — „Слушаю-с. А из закусочки что прикажете? Селедочку-гарни, грибков, семги, форшмачку-с?“ „Да, да, отлично“, — говорил командарм и невольно сам удивлялся: „совсем как в былые времена, только что не „ваше превосходительство“, а я не на „ты“. — „Икорки не прикажете? Есть свежая, отличнейшая“. — „Как насчет икорки, Надежда Ивановна?“ „Нет, я не очень люблю“, — сказала Надя, не желавшая разорять Тамарина: догадывалась, что он с нее денег на этот раз не возьмет. „Ну, тогда не надо, — с некоторым облегчением сказал командарм, — а насчет шашлыка вы были правы: вот *chachliks caucasiens*, все у них во множественном числе“. „Шашлык самый лучший. Две

порции прикажете?“ — „Ну да, не одну же на двоих“. Лакей почтительно улыбнулся и отошел.

Тамарин вздохнул свободно. „Все очень мило, право...“ Он осматрелся и увидел на стенах портреты генералов в мундирах старой армии. Все это были люди, которых он когда-то знал; некоторых знал очень близко, во всяком случае, гораздо ближе, чем знали их хозяева ресторана. Это было ему неприятно. „А вино?“ — спросила Надежда Ивановна. „Да, конечно“, — рассеянно ответил он и постучала ножом по стакану. Лакей стоял в нескольких шагах у стойки, но, хотя это не был офицер, не говорить же было: „Человек“. „Пожалуйста, дайте нам карту вин“. — „Слушаю-с...“ „Все-таки здесь есть нечто приятно-благородное, не кабацкое, несмотря на кабацкий вид: атмосфера разбитых жизней, — подумал Тамарин: этого не сказал бы даже Надежде Ивановне, — все мы одинаково несчастны“. „Как, у вас есть кавказские вина! — сказал он радостно. — „Kardanach“ — ведь это карданах?“ — „Так точно, во всем Париже только у нас найдете, случайно получили“. „Дайте, дайте бутылочку... Было когда-то мое любимое, — взволнованно пояснил он Наде, — я его и в Петербурге пивал, у Куба было большое французское, а у Пивато было замечательный карданах, и в Кисловодске тоже, и еще в Москве, на Тверской, в кабаке, которого вы и не помните, вас тогда на свете не было, там только и давали вино и сыр. Но откуда же у них карданах? Еще настоящий ли? Очень приятное вино, и бьет не в голову, а в ноги“.

После водки, оказавшейся отличной, после первого стакана карданаха, оказавшегося настоящим, после начала *программы*, оказавшейся весьма приличной, стала совсем весело. Они говорили о спектакле, командарм сказал, что это чудь: „Я седьмой десяток живу и таких ужасей не видел“. „А вдруг еще увидите“. — „Едва ли. Нет, нет, кайтесь, в театр вы меня повели неудачно“. — „Но зато в ресторан удачно. Вы больше не сожалеете, что сюда пришли?“ — „Напротив, чрезвычайно вам благодарен. Право, тут очень мило, и продукты первый сорт. И даже обстановка...“ Он запнулся. „Ну, что обстановка? Точно я не знаю, что в вас сидит золотопогонник!“ — „Что вы, помилуйте, Надежда Ивановна“. „Вот что, не называйте меня Надежда Ивановна, это смешно. Называйте меня Надя“.

Еще минут через десять языки у них развязались. Тамарин признался Наде, что с одним из висевших на

стене золотопогонников он кончал академию и был на „ты“, а под начальством другого проделал чуть не всю войну. „Что же это были за люди?“ — „Они, милая, быть может, заблуждались, но...“ — „Как? Только „быть может?“ „Наверное“, — смеясь, поправился командарм (без водки и карданаха он и наедине с Надей не позволил бы себе тут засмеяться). „Заблуждались, конечно, и наделали пропасть ошибок, а люди были высокопорядочные, патриоты!..“ С своей стороны — откровенность за откровенность — Надя дала понять, что очень не любит Кангарова и что ей с ним тяжело.

— Вы думаете, я не знаю, что обо мне говорят? — спросила она, вдруг густо краснея. — Вы понимаете, о чем я говорю?

— Нет, милая, я не знаю...

— Вероятно, знаете и не хотите мне сказать, потому что вы джентльмен, а они все... Ну, одним словом, говорят, будто я живу с Кангаровым...

— Милая, что вы!

— Я думала, что и вы слышали (Тамарин в самом деле слышал и даже, услышав об этом, в свое время расстроился). Все говорят, а это совершенная ложь и клевета! Клянусь вам, — продолжала Надежда Ивановна, положив руку на рукав командарма, точно он выражал недоверие, — клянусь вам, что это совершенная неправда! — Она залпом выпила бокал вина. Тамарин смотрел на нее испуганно. — Уж если на то пошло, то он в самом деле приставал ко мне и пристаёт. Он действительно в меня влюблен! Вероятно, я могла бы устроить так, чтобы он развелся со своей мордой и женился на мне. Но я слышать не хочу. Ведь он... (Она хотела сказать: „Ведь он старик“ — и спохватилась.) Я его не люблю. И как человека не люблю, и так. Разве я виновата, что он меня не отпускает? Я его секретарша и должна с ним ездить, если он на этом настаивает и если он о моей репутации не думает. Вы меня осуждаете?

— Помилуйте,нисколько.

— Не осуждаете, потому что вы джентльмен, потому что вы не так воспитаны... А они... Разве у нас человеческие отношения? Ведь мы все друг друга ненавидим, готовы сказать друг о друге что угодно, рады съесть друг друга... Нет, я брошу все и уеду в Россию! Я уже хотела, да он не допустил. — У нее на глазах выступили слезы. — Я больше так не могу!

— А в России лучше?

— Может, и не лучше, а другое. Там есть и это, но есть еще что-то, воздух, не знаю, как сказать. Да и заняты там все гораздо больше, чем тут у нас. Наконец, там есть молодежь, настоящая. Вы на меня не сердитесь, что я это говорю. Я вас очень люблю, очень. Но здесь вокруг меня все пожилые люди, самому молодому лет сорок... Ну, не будем об этом говорить, послушаем лучше, что он там поет. Опять о сердце! — „Спи, мое бедное сердце, — Прошлое вновь не вернется“, — пел певец. — Все о сердце поют, а сердца у нас, может быть, ни у кого и нет.

— Зачем так мрачно, милая Надежда Иван... Надя? — ласково спросил Тамарин. Ему в самом деле было ее жаль; слова ее о Кангарове были очень ему приятны. — Вы молоды...

— Проходит моя молодость, Константин Александрович. „Прошлое вновь не вернется“, — повторила она за певцом. — Ну, да я вернусь в Москву и заживу как следует... Каждый должен сидеть там, где нужно, на своем месте, я на своем, вы на своем, Вислиценус еще на третьем... Кстати, знаете ли вы, что он, бедный, очень болен?

— Нет, я не знал. А что такое?

— Я его свела с профессором Фуко. Знаете, первый в мире по сердечным болезням? У него амбассадер лечит от своих воображаемых болезней. А у того не воображаемая... Я хотела было позвать его сегодня с нами в театр, да не решилась, не зная, как вы к нему отнесетесь.

— Отчего же? Я решительно ничего против него не имею.

— А вы ничего о нем не слышали? Говорят, что он попал в немилость.

— В Москве? Нет, я не слыхал.

— Амбассадер даже очень сердится, что я с ним вожусь. А я, напротив, назло подчеркиваю свою независимость: при всех пригласила его к нам в санаторий, нарочно в полпредстве, при всех. Он у меня будет в среду к чаю. Ну, и была мне гонка от амбассадера: во-первых, я не должна была вообще звать Вислиценуса — раз; во-вторых, я не должна была его звать в резиденцию амбассадера — два; в-третьих, уж если зову, то не должна была объявлять об этом гласно — три. Я его дегонфлировала*! Что мы рабы, что ли?

*От фр. dégonfler — разоблачить. — Прим. ред.

Хотите, Константин Александрович, приезжайте ко мне тоже в среду, а? Место чудное. Совершенно в стороне от дороги, тишина, уединение, прелесть! Приедете?

— Нет, что же... Меня уж, пожалуйста, извините.

— Ну, как знаете. — Она взглянула на него и улыбнулась. — Выпьем еще вина, а?

— Отчего ж? Но ничего не осталось. Мы с вами выпили всю бутылочку.

— Вношу чисто фактическую поправку: три четверти бутылочки выпили вы. Так закажем еще одну? Где наша не пропадала?

Они еще долго дружески-задушевно беседовали о разных предметах. Надя совершенно успокоилась: что-то приятно-успокоительное было во всем облике Тамарина, и еще очень ее обрадовало то, что он ничего о ней не слышал („кажется, правду говорит: Константин Александрович и не умеет врать“) и не придавал ее сообщению ни малейшего значения („разумеется, пустяки, и не стоит об этом думать“). Неожиданно для самой себя Надежда Ивановна рассказала Тамарину, что стала *писать*. Он сначала было не понял. „Как писать, дорогая?“ — „Да так, представьте, пишу рассказ или даже целую повесть“. — „Это зачем же, собственно?“ „Как зачем? — озадаченно переспросила Надя. — Зачем все писатели пишут“. „Вот как? Интересно, очень интересно. Не прочтете ли?“ — „Ни за что!“ — „Жаль, — Константину Александровичу показалось, однако, что, может быть, Надя и прочтет, если очень попросить, — очень жаль. Из какой же жизни?“ „Ничего вам не скажу, хоть убейте“. — „Ну вот! Почему? Так вы, значит, хотите стать писательницей?“ — „А вдруг? Чем черт не шутит?“

Она сообщила ему все свои последние планы. „...Так или иначе, рано или поздно я перевода в Москву добьюсь, от Европы я вот как зафатигела“. — „Не говорите „зафатигела“. Сами же писательницей хотите стать, а у них там первое дело слог и все такое...“ — „Вы совершенно правы. У нас все так говорят, это как зараза. Вот и еще причина, почему мне надо вернуться в Россию. Но вы меня не перебивайте. Значит, я возвращаюсь. На месяц-другой у меня денег всегда хватит. Тогда одно из двух. Либо у меня нет таланта, ну что ж делать? Значит, буду дальше тянуть лямку, но у себя в Москве. У меня будет двухлетний стаж и три языка. Это не фунт изюму, правда?“ „Не фунт изюму“, — подтвердил Тамарин. „...Или же у меня есть — не талант,

конечно, а так хоть что-нибудь вроде, и мой рассказ примут. Тогда я сейчас же брошу службу и становлюсь свободным человеком — ах, просто мечта-а-ю! буду настоящей писательницей!“ — „И будете“. Она еще рассказала, что из Москвы один молодой человек прислал ей удивительное письмо. „Ну, вот как хорошо. Милый?“ — „Очень. Инженер, только что кончил курс. Но вы, ради Бога, ничего не подумайте! Решительно ничего нет, и было это три месяца тому назад. С той поры от него ни звука“. — „Да я ничего не думаю. Я только спрашиваю, милый ли?“ Надя засмеялась: „Страшно! И вы тоже страшно милый. И вы знаете, я вам одному, пожалуй, решила бы прочесть свой рассказ!“ „Я буду счастлив“. — „Может быть, конечно, я ошибаюсь, но, право, мой рассказ очень недурен. Мне чертовски нравится. Только интрига не вытанцовывается“. „Против кого интрига?“ — „Нет, интрига!.. Фабула! Никак не могу придумать фабулу... Однако бросим обо мне. Расскажите лучше о себе. Я вас еще ни о чем не расспросила“. — „Да что же мне, старику, о себе рассказывать?“

Все же Тамарин сообщил, что его работа разрастается, что одна ее глава — о тактике моторизованных частей в Испании — уже появилась в печати и обратила на себя внимание: ее два раза цитировали в иностранных специальных изданиях. „Я поэтому недели две тому назад обратился в Москву с ходатайством о продлении командировки: ведь все-таки это будет капитальный и нужный труд. Использованы решительно все материалы, а у нас это мало кто знает, да и на Западе испанский опыт еще не учтен. Вы скажете: какие же там были моторизованные части! А все-таки на Эстрамадурском фронте...“ — „Да разве вам хочется, чтобы вашу командировку продлили?“ „Еще бы! — сказал он с жаром и пояснил, поправляясь: — Ведь жаль было бы оставить эту работу незавершенной, а тут у меня есть все источники...“ С своей стороны Надя терпеливо выслушала его мысли о том, что показал опыт испанской войны в вопросах тактики моторизованных частей.

Счет Тамарин спросил лишь в двенадцатом часу. Как он ни пригибал к тарелочке верхнюю половину сложенного вдвое листка, точно в этом листке было нечто в высшей степени непристойное, Надя заглянула и вскрикнула: „Я вас разорила!“ „Да что вы, напротив, счет вполне божеский, и мне было так приятно...“ — „А

мне-то! Давно так не проводила вечера... Разумеется, все это совершенно между нами, Константин Александрович! Особенно моя горе-литература... — „Помилуйте, разве я не понимаю?“ — „Я только вам об этом и сказала, потому что в жизни не видала такого джентльмена, как вы... Ах, если бы все были такие!..“ Ее глаза открылись наполнились слезами, но на этот раз больше от вина.

Тамарин бросил последний смущенный взгляд на висевшие на стене портреты. Провожали его и Надю с поклонами и с почетом. „Очень хорошо поужинали“, — сказал хозяину осмелевший командарм, широко давая „на чай“ подававшему пальто человеку. „Прикажете такси позвать?“ — спросил человек. „Да, надо бы, я вас подвезу, милая“, — сказал Тамарин („милая“ говорить было легче, чем с непривычки „Надя“). „Ни за что! Метро отлично действует, у меня только одна пересадка...“ Он проводил ее до подземной дороги. Ему самому удобнее было ехать с другой станции, и он хотел еще пройтись. На прощание Надя снова его обняла и поцеловала. „Вы страшно милый, совершенный джентльмен! — сказала она, видимо, довольная этим непривычным ей определением. — Значит, пока. Ах, виновата, не буду: до свидания! Жаль все-таки, что вы не хотите приехать с Вислиценусом. И вы!“ — лукаво подчеркнула Надежда Ивановна и побежала вниз по лестнице.

VIII.

„Очень милая девочка, — думал Тамарин, не очень задетый ее последними словами, — прелестная девочка. Испорченная, конечно, их уродливой жизнью, но по натуре прелестная“. Приятное впечатление от вечера, карданаха и поцелуя действовало на командарма. Он даже шел еще бодрее обычного, с такой выправкой, что слепому было бы ясно: старый офицер. „А еще есть люди, ругающие жизнь! Разве не чудесен был весь этот вечер?“ Несмотря на свою бережливость и потерю привычки к таким расходам, он почти не жалел об истраченных ста сорока франках. „Куда же беречь? Все-таки ведь и жалованья не проживаю, и место, кажется, обеспечено...“

Не совсем приятны были только последние сказанные Надей слова. „Дразнит тем, будто и я испугался

этого... как его?.. — Он пожал плечами. — Было бы более чем глупо рисковать *всем* ради удовольствия встречи с полоумным субъектом, имевшим несчастье попасть в опалу к другим полоумным. Притом мужество — самое относительное понятие“. Тамарин знал, что он человек храбрый, — на войне часто бывал под огнем, подавая солдатам пример спокойного мужества. Но он знал также, что скандалов терпеть не может и сделает все возможное ради избежания скандала, а равно и для сохранения должности, на которой можно приносить пользу России и русской армии. „Совершенно не вижу, чего тут стыдиться. Ну, да она *так* сказала“.

В самом лучшем настроении духа он вышел на ярко освещенную огневыми рекламами площадь, где имя знаменитого скульптора было почтено множеством сомнительных учреждений. „Экая странная площадь, — подумал Тамарин, почти никогда здесь не бывавший, — все дома разные по величине, по цвету, по стилю, будто каждая эпоха хотела тут расписаться. И скверно расписались...“ На бульваре света сразу убавлялось вдвое, а вверх уходили почти темные, таинственные, пустынные и мрачные улицы или тупики, и бродили по ним одинокие фигуры, ничего хорошего с виду не обещающие. Вдоль тротуаров бульвара стояли многочисленные автомобили, все без шоферов, и Тамарин себя спрашивал, куда же девались шоферы, — точно в сказке о Басарге-купце стоят у берега триста тридцать три судна, и ни на одном нет ни живой души. Он шел по бульвару, всему тут благодушно удивляясь: оживлению, людям, вывескам, дико освещенным барам с двусмысленными названиями, кабаку с входом в виде оскаленной челюсти, кабаку, завешенному черным гробовым сукном, и еще более открытым ночью магазинам: „Ну, съестные припасы я еще понимаю, — думал он, глядя на колбасы и полусырое мясо с отвращением не в меру сытого человека, — ну, аптека, это хорошо, эти *Vlenyl* и *Santal Bleu** тут даже вполне уместны — кому как утешение, кому как *temento mori*.“

Но какой же человек в своем уме пойдет ночью покупать книги, или отдавать в починку самопишущее перо, или заказывать билет на пароход дальнего плаванья?.. Мимо него проходили с ухарским видом странно, не по сезону одетые молодые люди, иные просто в пид-

*Блевил и Голубой савдал (*фр.*).

жачке; они шли, заложив руки в карманы и закутав шею, и у всех во рту папироска, и не иначе как набок, под острым углом. По виду, конечно, ничего о них не скажешь: может, честнейшие юноши, а может, они только что зарезали старушку и идут отдыхать вот сюда, где учат, как по всем правилам резать старушек, в кинематограф „permanent“*. Как не порадоваться, что такое сокровище — „permanent!..“ На кинематографической афише был изображен злодей-мулат, и точно такой же злодей-мулат шел тут по улице под руку с женщиной, на лице которой были написаны покорность и счастье: с этим красавцем в огонь и воду! „C'est fantastique, je te dis, chéri, que c'est fantastique!“[†] — говорила женщина. Мирно шли супруги, видимо, жители квартала, в руку отца впился ребенок-сын, и на них с благодушным видом смотрел старичок в белом колпаке, быть может, полвека торговавший каштанами на этом самом месте и знавший всех убийц, переходивших с этой улицы в тюрьму и на эшафот. „Да, c'est fantastique, как тут все совмещается. В сущности, тут только видимость разврата, как везде во Франции, целый день идет трудовая, честная, будничная, почти провинциальная жизнь. Верно, нигде в мире нет такого контраста между дневной и ночной жизнью, как здесь...“

Мысли его опять перешли к Наде. Ему было очень приятно то, что она просила его называть ее Надей и что она не любовница Кангарова. „Почти голову на отсечение дам, что это мерзкая клевета! — подумал он, и сам устыдился своего мысленного „почти“. — Два раза, однако, поцеловался“. Ему пришло в голову, что, может быть, и его жизнь еще не совсем кончена. „Ну, ерунда, ерунда...“ Приятная улыбка не покидала его и в подземной дороге. Для завершения впечатления богатой беззаботной жизни он купил билет первого класса.

Хозяин гостиницы еще не спал — Тамарин вообще не мог понять, когда спит этот человек. Они дружески поздоровались — командарм в гостинице считался самым лучшим, солидным и спокойным жильцом; по счету он платил в тот же день, когда счет предъявлялся. „On vous a fait parvenir un paquet“[‡], — сказал хозяин, подчеркивая интонацией, что пакет исходил от какого-то важного „он“. Объяснил, что привезли через десять

* „Без перерыва“ (фр.).

† „Невероятно, слышишь, дорогой, просто невероятно!..“ (фр.)

‡ „Вам передали пакет“ (фр.).

минут после ухода Тамарина и оставили под расписку. Хозяин достал большой конверт, положенный им не в *casier**, а в ящик конторки. „Что такое?“ — тревожно спросил себя Тамарин. Он поблагодарил хозяина и еще в подъемной машине стал распечатывать конверт. Под первым конвертом оказался второй. „Так и есть, ответ из Москвы!“ — подумал Тамарин, машинально пряча и первый разорванный конверт в карман. Руки у него немного дрожали. Он хотел было загадать, продлена ли в Москве командировка, — „дай-то, Господи!“ — но не загадал. Машина остановилась. Тамарин отворил дверь своего номера — руки дрожали все сильнее, — зажег свет, распечатал, не садясь, не снимая пальто, второй конверт — и помертвел. Это был приказ о немедленном отъезде в Испанию.

IX.

Заседание суда начиналось в час дня — самое неудобное время: как быть с завтраком, если надо ехать в Версаль? Вермандуа решил позавтракать в одном версальском ресторане, где хозяин, человек с совестью, отлично жарил бараньи котлеты и считал по ценам, доступным для бедного, очень бедного, хотя знаменитого писателя. Аванс под все не выходявший греческий роман уже давно был целиком истрачен, а куда ушли деньги, совершенно непонятно. Завтрак в одиночестве, хороший, с полубутылкой бордоского вина (больше нельзя), был в последнее время одним из немногих оставшихся в жизни удовольствий.

Легкая боль в боку отравила то праздничное, давно забытое, что было в отъезде с утра за город и что на этот раз совершенно не соответствовало причине поездки. Накануне позвонила по телефону графиня де Белланкомбр и предложила ехать вместе в ее автомобиле. „Катастрофа!“ — подумал он с ужасом в спешных поисках предлога для отказа. „Я был бы счастлив!.. Но позвольте, вы-то зачем едете на это дело?“ — „Ах, мне очень интересно. Согласитесь, что дело удивительное и в социальном, и в психологическом отношении. Ведь это же Раскольников! А главное, мне хочется услышать вас!“ — „Дорогой друг, вы говорите так, точно я буду петь партию Зигфрида! Я не тенор, я свидетель“. — „Но

*Шкафчик (*фр.*).

вы не совсем обыкновенный свидетель. Так едем? — „Я в отчаянии... Вы когда выезжаете?“ — „Ровно в одиннадцатый“. — „Это ужасно! У меня в двенадцать назначено деловое свидание“. „Как жаль! — сказала графиня. — Мы возем Серизье, он достал нам билеты в суд. Право, он очень милый человек, у меня напрасно было против него преубеждение“. „Милейший человек. Если б только он не называл себя социалистом“. — „Оставьте, пожалуйста. Так никак не можете? Неужели нельзя отложить это свидание? Мы вместе позавтракаем в Трианоне, а?“ — „Я в совершенном отчаянии, но это невозможно: проклятая деловая встреча со скучнейшим человеком назначена ровно на двенадцать“. — „Ну, так мы будем вместе обедать или ужинать в зависимости от того, когда кончится этот ужасный процесс... А может быть, вы не очень любите Серизье?“ — „Я его обожаю!“ („Попал-таки вождь пролетариата в графский дом“, — сказал себе Вермандуа и подумал, что о нем самом, вероятно, говорят приблизительно то же.) — „Значит, до завтра. Вы не можете себе представить, как меня волнует это дело и этот несчастный юноша. Я не сплю вторую ночь“. — „Мне известна нежность вашей ангельской души“. — „Ах, не шутите, все это ужасно! Что за молодежь теперь пошла! Так до завтра“. „До завтра, до свидания, дорогая“, — сказал он с облегчением.

Были, конечно, плюсы и минусы. Плюс: не надо разговаривать три часа с этой старой душой, с ее идиотическим мужем и с вождем пролетариата. Минус: автомобиль пришлось нанять на свои деньги. Но, с другой стороны, давно следовало бы сделать старой дуре какую-нибудь *politesse**. Вермандуа был с графиней в столь дружеских отношениях, что и цветов почти никогда не приносил, а если приносил, то дешевенькие, в виде *charmante pensée*†: „Друг мой, увидел сегодня первые фиалки и подумал о вас“. *Charmante pensée* применялась и в отношении других дам, у которых он обедал (впрочем, обедал почти всегда по их настоящему требованию); в зависимости от сезона фиалки заменялись другими недорогими цветами: „Друг мой, сегодня появился первый ландыш, я надеюсь, вы его еще не видели...“ Но теперь, при самой экономной разновидности дружеских отношений, грозно надвигалась необхо-

*Любезность (*фр.*).

†Милая фантазия (*фр.*).

димось что-то сделать. „А если бы я поехал в их автомобиле и завтракал с ними в Трианоне, это было бы *последней каплей*, переполняющей чашу. Пришлось бы по меньшей мере позвать их на обед!..“ Его не так пугали расходы по обеду; но в последний год Вермандуа все чаще себе говорил, что, когда жить осталось очень, очень мало, то странно и глупо тратить время на общение с людьми, да еще неинтересными. „Пока можно подождать с обедом: была лишь *предпоследняя* капля. У минуса оказался свой дополнительный плюсики...“

По дороге в Версаль он мрачно думал о том, сколько места занимают в его жизни совершенно ничтожные дела и соображения, — такие, какие могли бы быть у любого лавочника или маркиза. „Надо, надо иметь сердце горé“, — подумал он (хоть думал это серьезно и печально, но подобные слова и мысленно не мог произнести иначе как в кавычках). Немногочисленные друзья Вермандуа находили, что он очень изменился в последние годы, стал чрезвычайно нервен и раздражителен. „Вы не видите, в нем произошел настоящий душевный перелом! Положительно, это *кризис!*“ — говорила графиня с радостно-испуганным видом, точно речь шла о серьезной болезни, принявшей, к счастью, благоприятный оборот.

Говорили, что и здоровье его вдруг сильно пошатнулось. Действительно, при очередном визите к врачу неожиданно-негаданно (в мыслях ничего такого не имел!) выяснилось, что сразу пришли в расстройство и почки, и печень, и что-то еще, а давление крови вдруг оказалось равным двадцати, и требовалось его понизить возможно скорее. „Но ведь прошлый раз все было в порядке?“ — горестно-изумленно говорил Вермандуа с выражением обиды и упрека в голосе. Врач, очевидно, не чувствующий за собой вины, пожал плечами: „Удивляться надо именно тому, что все до сих пор было в порядке. Все-таки не забывайте, что вы вступили в восьмой десяток...“ Это выражение, хотя и бесспорно верное, не понравилось Вермандуа: не деликатно выражаются люди. „Un septagénaire“* — и слово какое неприятное! „Вы, однако, несколько не должны тревожиться, — объяснил врач, — опасности нет ни малейшей. В семьдесят лет органы человеческого тела и не могут работать, как в двадцать. В ваши годы человек почти

* „Семидесятилетний старик“ (фр.).

всегда живет не на проценты с капитала, а на капитал, но капитал вашего организма большой, и если его беречь, то хватит надолго“. Доктор любил выражаться образно. Он еще усилил разные запретительные меры, дал лекарства, и давление крови скоро дошло до восемнадцати. Встречая теперь в газетах слова „septagénaire“ или „vieillard“* (иногда писали еще противнее: „un septagénaire robuste“**), Вермандуа морщился с самым неприятным чувством. „Да, как незаметно пришла старость! Как я мог допустить до этого!..“

И словно врач сглазил, тотчас после визита появилась легкая боль в боку, пока очень легкая. Кроме того, из-за политических событий в мире отвращение от людей еще усилилось у Вермандуа и приняло острую форму. Это было, в сущности, как он себе говорил, единственной постоянной величиной в его умственном и душевном уравнении: все остальное менялось беспрепятственно, с быстротой, его самого удивлявшей и тревожившей. Нехороши были и денежные дела: не кончив греческого романа, он не мог взять аванс под другой. В общем, трудно было даже сказать, что теперь главное: боль в боку, давление крови, невидимое, неощущаемое, но где-то делающее свое скверное дело, или безденежье, или то, что творилось в мире, — а вернее, все это взятое вместе. Друзья Вермандуа замечали, что изменился самый тон его разговоров, прежде почти всегда благодушно-насмешливый до утомительности: он стал выражаться резко, начал терять прежнюю словоохотливость, а иногда (впрочем, не так часто) в гостях молчал весь вечер, особенно в тех домах, куда его приглашали именно для того, чтобы угостить им собравшихся, как гастрономов угощают старым коньяком. „Пусть угощают одним моим именем!..“

Жаловались на Вермандуа и его политические единомышленники: коммунисты и друзья коммунистов сокрушенно отмечали в нем новое, старческое равнодушие. Он оставил без ответа — впрочем, больше по забывчивости — два приглашения на митинги. Протесты еще подписывал, но неохотно. За подписью под последним протестом к нему приезжал немецкий эмигрант Зигфрид Майер и что-то говорил на ужасном французском языке, и надо было его слушать с горячим сочувствием, и на прощание требовалось крепко-

* „Старик“ (фр.).

** „Крепкий семидесятилетний старик“ (фр.).

прочувствованно пожать руку, и Вермандуа проделал все это, однако немецкий эмигрант был ему чрезвычайно противен. „Я следил за собой, чтобы не сказать: „Хайль Гитлер!..“ Впрочем, если бы приехал в гости реакционер, то мне тотчас захотелось бы послать приветственную телеграмму Сталину...“ Не так давно он получил предложение съездить в Москву, причем вскользь было сказано, что Государственное издательство было бы радо выпустить русский перевод книги, которую он мог бы написать о своем путешествии, разумеется, на самых лучших условиях. Хотя деньги были ему очень нужны, он ответил вежливо-уклончиво. „Да, слаб человек, и в особенно опасные минуты надо бы иметь перед глазами какое-либо наглядное, страшное изображение, — вот как автомобилисты на опасных поворотах дороги предупреждают дощечками с изображением черепа и скрещенных костей...“ Однако в делах житейских большевистское настроение у него сказывалось еще с большей силой, чем прежде. Он считал себя единственной во Франции знаменитостью без состояния и иногда подолгу думал о том, что сделает, если выиграет миллионы в национальную лотерею (впрочем, билетов не покупал, разве только навязывали случайно). Богатых же людей Вермандуа ненавидел все сильнее.

За заставой Сен-Клу его машину обогнал огромный великолепный автомобиль, в котором сидели господин и дама. Несмотря на то, что люди были ему незнакомы, он и на этот раз почувствовал припадок ненависти. Разумеется, литература, кроме бульварной, водевильной и кинематографической, решительно никому не нужна, это баловство другой эпохи, иначе и у старого писателя был бы свой автомобиль, как у хамов и спекулянтов. Печень и воображение сразу подсказали ему *все*: богатый биржевик, здоровый, невежественный, хитрый, только что наживший миллионы, везет за город любовницу. Или, может быть, они бегут в Америку? Ведь война не за горами. Эти люди, которым место на каторге, пользуются защитой законов и общественно-го строя. Они принимают министров и писателей, они жертвуют деньги на благотворительные дела, они получают ордена, они общество, они интеллигенция, они рассуждают о литературе. „Я уверен, у него в чемодане роман Эмиля (надеюсь, не мой). Да, я отлично понимаю Альвера, — кровожадно подумал Вермандуа, — убил одного из таких господ, экое преступление! Их всех со

временем повесят на фонарях, и очень хорошо сделают. Жаль только, что многие из них умрут раньше естественной смерти...“

Затем боль в боку прошла, и мысли его стали менее жестокими. Он с усмешкой подумал, что все-таки не может себя причислить к числу жертв общественного строя, хотя едет на taxi вместо собственного автомобиля. „Не со вчерашнего дня все это существует, и думали об этом немало умных людей, и ничего они не придумали, кроме разве фонарей. Черт с ними, со спекулянтами!..“ „Черт с ними“ всегда несколько его успокаивало.

Осеннее утро было очень хорошо — „просто вставляй описание природы, как это делает Эмиль на каждой десятой странице своих мануфактурных изделий“. Вермандуа, щурясь, читал названия улиц (зрение тоже слабело) и думал, что в самих именах этих — Севр, Вирофле, Версаль — есть нечто прелестное, пленительно-нежное, чего нет нигде в других странах. Эта дорога была когда-то центральной артерией мира. Теперь, на разных Avenue de Versailles и Avenue de Paris, за каждый камень, за разваливающиеся дома, за трехсотлетние лачуги еще цеплялась небогатая, серая, скучная жизнь или, свалив их, строила что-то свое, тоже небогатое, серое, плоское, скучное. „Да, судьбы Европы решались между Тюильри и Версалем. Плохо решались? Все же несколько лучше, чем теперь!..“ Автомобиль замедлил ход, пропуская встречный воз, запряженный гнедым першероном. В виде этой огромной, тяжелой, неторопливой, необыкновенно *симпатичной* лошади было что-то успокоительное, тоже бесспорно доказывавшее превосходство старого времени над новым.

В Версале Вермандуа велел шоферу остановиться у дворца и с досадой почувствовал, что в ресторан идти незачем: есть совершенно не хочется. До начала заседания оставалось более часа. Он немного погулял по городу, остановился по непреодолимой привычке у витрины книжного магазина и увидел новую книгу Эмиля. На бумажной ленте было написано: „Vient de paraître. Enfin le livre qu'on attendait*“. Вермандуа выругался. „Он теперь пишет по роману каждые шесть месяцев. Какое счастье, что ему за семьдесят пять!“ (Эмиль всегда мысленно накидывал года три или четыре, и было очень приятно, что Эмиль еще старше его.) Прошел в сад и подумал, что, быть может, находится тут в

* „Последняя новинка. Вот наконец та книга, которую вы ждали“ (фр.).

последний раз в жизни: „Надо бы проститься...“ Он довольно часто прощался с разными знаменитыми местами. В отношении Севильи или Венеции это все-таки было естественно. Но в душе он не верил, что может навсегда расстаться с Версалем: настолько это было *свое*, коренное, от него неотделимое. Вермандуа остановился на лестнице и в тысячный раз полюбовался единственным в мире зрелищем.

„Версаль, что такое Версаль? — думал он. — Порядок? Разум Франции? Французская гармония? Французский здравый смысл? Все это не помешало драгоннадам, отмене Нантского эдикта*, бессмысленным войнам. Но порядок Людовика XIV действительно ничего не теряет по сравнению с нынешним хаосом. Расин мог не бояться, что в одну прекрасную ночь его отравят ядовитыми газами. Он знал также, что его ни в каком случае не повесит взбунтовавшаяся чернь. Расин жил в своем доме, со своим садом, со своими лошадьми, собаками. Нельзя подходить к миру с точки зрения одного Расина. Однако и рядовому французскому крестьянину жилось тогда все-таки более спокойно, чем теперь, — разумеется, если он был католик. Зачем же ему было становиться протестантом? Он одинаково мало понимал в Боссюэ и в Лютере... По существу, как писатель Боссюэ выше Лютера, как мыслители оба они вполне стоят друг друга... Монархической идее принадлежит прошлое, — а вдруг ей принадлежит и будущее? Маловероятно? Но на моих глазах происходили события еще гораздо менее вероятные.

В этом дворце, в этом парке нет на самом деле той ясности, которую обычно им приписывают, но в них есть необыкновенное величие и необыкновенная уверенность, — их строил человек, знавший или, по крайней мере, убежденный, что строит на столетия. Ни наша трещащая по всем швам демократия, ни тем менее Гитлер и Сталин этой уверенности не имеют: как приступить к постройке Версальского дворца (во всех фигуральных смыслах слова), когда во вторник в палате опаснейшая интерпелляция#? Зачем строить Версаль, если задолго до окончания постройки, быть может, ока-

* Драгоннады — во Франции с 1681 г. принудительные постой драгун, имевшие целью терроризировать гугенотов. Драгунам дозволялись „необходимые бесчинства“. Нантский эдикт, гарантировавший права гугенотов, отменен Людовиком XIV в 1685 г. — *Прим. ред.*

От фр. *interpellation* — запрос депутата. — *Прим. ред.*

жешься на фонаре? Версаль неповторим, как неповторимы площадь св.Марка или парижский собор Божьей Матери. При Людовике XIV этому не грозила ни малейшая опасность, тогда как теперь все может быть разрушено самолетами в несколько минут. Разумеется, человечество идет назад, несмотря на технический прогресс или, вернее, вследствие технического прогресса. Абсолютное количество зла растет в мире со сказочной быстротой. Что до зла относительного, приходящегося в среднем на долю одного человека, то об этом судить трудно. Вероятно, и оно выросло со времен Людовика, ибо твердая уверенность в загробной жизни с огромным избытком покрывала отсутствие оспопрививания и железных дорог...“

Вполне безнадежные с циничным оттенком мысли тоже всегда немного его успокаивали, как „черт с ними“. Вермандуа погулял по саду. *Прощание* решительно не выходило, но свое обычное действие версальское зрелище произвело. „Только мы, французы, это чувствуем, и только мы могли это создать. При чем тут, в сущности, Людовик XIV? Это создал французский народ. Король, в жилах которого была разве десятая доля чисто французской крови, быть может, чувствовал это меньше, чем вон тот садовник, всю жизнь подрезывавший кусты в волшебном саду. И уж во всяком случае меньше, чем я. Утрачен ли нами гений наших предков? Быть может, прадеды этого садовника работали тут при Людовике, и почему же им было превосходить своего потомка? Изменилось другое: простые люди Франции, познав прелесть земной курицы в супе, о которой только мечтал Генрих IV (да и то не мечтал, а врал для потомства) и которую им все-таки дала демократия, стали производить за одну ночь меньше потомства, чем прежде. И с неумолимостью закона больших чисел на авансцену истории выдвигаются другие народы, гораздо менее одаренные, но и менее заботящиеся о супе своих детей и внуков. Под руководством полоумных вождей они в рекордное время (судьба породила их для идиотских рекордов) построят Коричневый дом, вдвое больший, чем Версальский дворец“.

Вермандуа прошел назад, с отвращением поглядывая на собравшихся у входа во дворец туристов. Среди них преобладали именно люди, не заботящиеся о воскресной курице в супе потомства. „Приехали любоваться, а скоро, может, прилетят, чтобы сжечь...“ Он обвел глазами толпу немцев (или людей, казавшихся ему

немцами) и опять почувствовал припадок острой злобы. „Да, я могу под нее подвести идейную основу: в самом деле, мне трудно любить тех, кто завтра явится сжигать мои сокровища. Но дело все-таки не в одной идейной основе. Что же делать, если это у меня в крови, как у собак нелюбовь к кошкам, если у расового кретинизма есть отдаленная биологическая природа. Зная же это чувство за самим собой, как могу я возмущаться им в невежественном маляре? То, что хочет сделать Гитлер, испокон веков делали другие, и среди них больше всего было именно французов, и уж я-то никак не могу говорить, что „времена изменились“: люди как были звери, так зверьми и остались. В чем же разница, которую я лишь чувствую и которая для меня имеет большую несомненность, чем математические истины? Какой *идеей* можно прикрыть завоевания Людовика XIV? Универсальность французской культуры? Вовсе не так было необходимо, чтобы голландские и немецкие лавочники изучали в школе, а затем всю жизнь уродовали наш божественный язык. Но все же мне ясно: одно дело Людовик и тем более Наполеон, и другое дело — невежда, написавший бездарную книгу, — события, быть может, сделают ее гениальной на зло и на посрамление тому, что еще останется от человеческого разума, столь раздутого рекламой XVIII столетия. Конечно, эстетическое чувство не мирится с возможностью мировой гегемонии Германии вообще и нынешней Германии, в частности. Однако эстетическое чувство — мерило ненадежное... Какая досада, что среди них по ошибке родились Гёте и Шопенгауэр! Шиллера и Канта я им, так и быть, дарю...”

Он устроился на террасе кофейни. Есть ему по-прежнему не хотелось — „да, скоро, верно, отпадет и эта радость“, — заказал сэндвич и чашку кофе, неожиданно оказавшегося недурным. Вдруг его окликнул знакомый голос. Оглянувшись с досадой, Вермандуа увидел графиню де Белланкомбр. Ее сопровождал муж, на лице которого висела такая улыбка, точно он рассчитывал сейчас же услышать что-то чрезвычайно остроумное. „Как? Вы уже здесь? А деловое свидание?“ — „Дорогая графиня, я только что приехал“. „Понимаю! Вы просто хотели от меня отделаться“, — смеясь, сказала графиня тоном, явно показывавшим, что она подобное предположение считает совершенно невозможным. Вермандуа улыбнулся, и его улыбка свидетельствовала о том же: „вот ведь какие можно высказывать

смешные предположения“. „Ваш туалет умопомрачитель! — сказал он по привычке, хоть едва ли заметил вообще, как одета графиня. — Неужели вы успели позавтракать в Трианоне?“ — „Конечно, успели, очень приятно позавтракали, ваш друг Серизье очень мил. Мы пошли погулять, так как еще рано. Сначала его проводили в суд. Ах, там уважение к нему необычайное: все, адвокаты, чиновники, подходили к нему, чуть ли не представлялись!..“ — „Так каждый американский гражданин имеет право пожать руку президенту Соединенных Штатов“. Графиня засмеялась. Смех и улыбка у нее были очень милые, детские. „Я рада, что вы опять в хорошем настроении... Но какая удача, дорогой друг! Я всегда мечтала — осмотреть *наши* Версаль под вашим руководством!“ — „Благодарю за это „наш“...“ Граф де Белланкомбр мрачно подумал, что и экзотическая жена его, и этот ученый внук лавочника имеют одинаковое право называть *его* Версаль „нашим“. — „Полноте, дорогая, вы здесь все знаете так же хорошо, как я“. — „Знаю, но, разумеется, не так, как вы. Жаль только, что остается всего четверть часа, надо идти на процесс этого несчастного“. — „Графиня, вы точно хотите дать тему для передового романиста или для репортера социалистической газеты: „Гадко было смотреть на эту толпу *разряженных дам*, явившихся сюда, как на зрелище, полюбоваться видом обреченного человека“. Хотя и то сказать, зачем же передовые газеты печатают подробнейшие отчеты о подобных процессах, если им это зрелище так гадко?“ — „Но вы переводите разговор. Умоляю вас, объясняйте, рассказывайте. Ведь вы, не смотря на ваши взгляды, человек восемнадцатого столетия. Когда я разговариваю с вами, мне всегда кажется, что вы сейчас вытащите табакерку с нюхательным табаком. Почему вы не носите кафтана и башмаков с красными каблукками?..“

Граф удовлетворенно подумал, что теперь разговаривать станет легче: и ученая, и неученая шарманки заведены. Действительно, по дороге в суд Вермандуа в своем прежнем тоне рассказывал анекдоты о Версале, впрочем, особенно не стараясь: знал, что этим собеседникам по полному их невежеству можно сообщать и общеизвестное. „...Вот отсюда поднялся шар Монгольфье“. — „Как, разве это было в Версале?“ — „Да, здесь произошло это роковое событие, которое окончательно погубит цивилизацию, впрочем, близкую и к естественной смерти“. „Кто погубит? Воздушные шары?“ — „Ска-

жем, аэроплан, не все ли равно? Все это великолепие будет сожжено и разрушено... Вы помните фантазию Себастьяна Мерсье?" — "Я всегда восхищаюсь вашей учтивой манерой выражаться: не „не помню“, а не знаю, и честно в этом сознаюсь". — "Бывают и еще более позорные признания. Себастьян Мерсье, памфлетист XVIII века, написал книжку: „2440 год“. Автор, видите ли, просыпается в 2440 году в Версале и ничего не узнает: груды развалин, и на них плачет седой нищий — ничего не осталось от лучшего в мире дворца, созданного гением и гордостью одного человека". — "А нищий отчего плачет? Ему-то что?" — "Ваш вопрос не лишен основательности, но, разумеется, этот нищий — сам Людовик XIV, тоже как-то воскресший в 2440 году". — "Какой ужас!" — "Самое замечательное в этой плохой книжке то, что она была написана за несколько лет до великой революции. Помните, один из идиотов Конвента предлагал повесить на Версальском дворце надпись: „Maison à louer"*, а другой требовал, чтобы место дворца тиранов было распахано плугом. Плугом! Тогда еще не было аэропланов". — "С вами погуляешь, тотчас становится весело. Сколько времени, однако, вы нам еще даете? Если до 2440 года, то я, пожалуй, согласна". — "Нет, нет, афоризм „после нас хоть потоп“ устарел. Мы с вами еще покатаемся по волнам потопа".

Они шли неторопливо, Вермандуа все говорил: он действительно знал анекдоты о каждом версальском камне. Рассказывать было легче, чем разговаривать с графиней, которая, впрочем, не давала инициативе перейти окончательно в руки противника. „...Согласитесь, однако, что без Людовика XIV всего этого не было бы! Общий стиль Версаля создал именно он". — "Разумеется. Я этого не отрицаю. Знаете ли вы, кстати, откуда взялся стиль этих старых домов: тесаный камень, перемежающийся кирпичом? Желая унижить вельмож, Людовик запретил им строить дома целиком из тесаного камня: пусть не смеют за мной гоняться! Тогда гений наших архитекторов и создал эту очаровательную выдумку: кирпич с камнем. Так создался в мире архитектурный стиль семнадцатого века". — "А сады?" — "Сады создал не король, а Ленотр". "Но король за это пожаловал ему дворянство", — сухо сказал граф. "Это верно. Ленотр в ответ попросил, чтобы на его дворянском гербе изобразили лопату и серп, он был человек с

* „Дом сдается“ (фр.).

большим достоинством“. — „Милый обличитель тиранов, что бы вы ни говорили, я вечно буду благодарна королю-солнцу за ту прекрасную мысль, которая пришла ему в голову, на нашу общую радость: создать Версаль“. — „Я тоже. Эта мысль, кстати, пришла королю-солнцу потому, что из Сен-Жерменского дворца ему была видна королевская усыпальница в Сен-Дени: он не хотел постоянно иметь перед глазами место своего будущего упокоения. Капризы деспотов имеют иногда самые неожиданные и благотворные последствия для искусства. Вот граф недоволен Сталиным, а может быть, сейчас какой-нибудь неизвестный советский поэт пишет в честь диктатора оду, которая окажется чудом поэзии“. „Какой парадокс! — сказал граф, понимавший, что на десять замечаний его спутников он все же обязан вставлять хоть одно, — большевистский диктатор и Людовик XIV! Во всяком случае, вы не можете отрицать, что при короле-солнце не было той безответственности и тех злоупотреблений, какие сейчас происходят во всем мире. Николай Фуке все-таки за хищения в казне просидел девятнадцать лет в крепости и там умер. Мыслимо ли это теперь? Тогда был человек, ни в ком не нуждавшийся и стоявший выше подозрений. Есть ли такие люди теперь?“ „Людовику XIV действительно незачем было производить хищения у частных лиц: он совершенно свободно и открыто грабил государство“, — сказал Вермандуа, тотчас позабывший свои недавние мысли. „Ах, я обожаю здания конюшен! — поспешно заметила графиня, почувствовавшая некоторую раздраженность в разговоре, — расскажите нам о конюшнях“. Вермандуа сообщил, сколько лошадей было у Людовика XIV, и какие были кареты, и кто ездил на лошадях масти *gris perle*^{*}, а кто на лошадях масти *feuille morte*[†]. „Когда вас не станет, не будет больше и Версаля: в самом деле, кто еще, кроме вас...“ „И десятка других чудаков“. — „...Кто еще, кроме вас, знает все это? Молодое поколение думает только о спорте. Кстати, по поводу молодого поколения, нам надо торопиться“. „Да, да, — ответил, морщась, Вермандуа. Он вдруг с неприятным чувством вспомнил, что сейчас придется давать показания. — Вот и суд. На этом месте *le grand veneux*[‡]...“ „Пора бы все-таки шарманке остановиться!“ — сердито подумал граф, бывший вообще в

*Жемчужно-серый (*фр.*).

†Цвета опавших листьев (*фр.*).

‡Главный ловчий (*фр.*).

очень дурном настроении духа: он совершенно не желал присутствовать на процессе, — если дело затянется, то и бриджа вечером не будет.

У входа в здание суда пристав и полицейские проверяли билеты. В *галерее* было наскоро устроено несколько телефонных будок. Фотографы узнали Вермандуа. Тотчас вспыхнул магний. Графиня застыла с очаровательной улыбкой: вот что значит случайно оказаться в обществе знаменитого человека. „Свидетели сюда. Прошу вас, мэтр“, — почтительно сказал пристав, показывая, что знает, с кем имеет дело. Приняв подобающий случаю вид, Вермандуа *проследовал* на полагавшееся свидетелю место. Возбуждение, вызванное у него чашкой крепкого кофе, сразу исчезло. Он подумал, что так неприятно входить только в больницы, в полицейские учреждения и в суды.

Х.

Гул пробежал по залу. В отгороженное для подсудимого подобие клетки вошел в сопровождении полицейских Альвера. Это было отступлением от правил: председатель разрешил показать фотоаграфам преступника до начала заседания. Фотографы, разместившиеся где кто мог — в проходе перед адвокатской скамьей, позади председательского стола, на перилах помещения для присяжных, — щелкали аппаратами при вспышках магния.

Преступник стоял на своем месте, опустив низко голову. Впечатление он сразу произвел самое неблагоприятное. Бывалые судебные хроникеры тотчас отнесли Альвера к разряду симулянтов. „Увидите, он будет изображать дурачка“, — прошептал кто-то у скамьи защиты. Мадемуазель Мортье, очень милая и изящная в своей новенькой тоге, с негодованием оглянулась на говорившего. Серизье еще не появился. Свидетели заняли свои места. „Слава Богу, их всего четыре. К обеду кончим“, — довольно громко сказал репортер вечерней газеты. „Ну, это еще неизвестно. Считайте: прокурор час, защитник полтора...“ — „Полтора говорить не будет, в таком деле ничего не выжмешь“. — „Он выжмет! Когда смертный приговор, им совестно говорить меньше чем полтора часа...“

Вермандуа с изумлением и ужасом смотрел на своего бывшего секретаря. „Просто другой человек, узнать нельзя! Но как я раньше не видел, что у него лицо

дегенерата? И эти потухшие идиотические глаза!..“ Он встретился взглядом с Альвера, тот вздрогнул и отвернулся. Вермандуа старательно закивал головой, изображая на лице бодрую, приветливую улыбку. Публика, переполнившая оба яруса зала, была, видимо, разочарована преступником. „Как на боях быков неинтересного быка встречают свистом...“ Шептались и присяжные, не знавшие, можно ли им шептаться.

Послышались два удара, звонок, все встали. В зал вошли судьи. Председатель, седенький, очень добродушный старичок в очках, сел на свое кресло, окинул взглядом места для публики, для присяжных, для журналистов, пожал плечами при виде фотографов, теперь снимающих судейский стол, и стал шептаться с соседом, ожидая конца беспорядка. Вид его ясно говорил, что это — совершенное неприличие, но что же делать? Интерес публики к судебным делам вообще был мало понятен председателю, а интерес к этому процессу непонятен совершенно. Конечно, требовалось, чтобы он сам, прокурор, защитник, присяжные проделали полагавшееся; однако ни малейшего сомнения в исходе дела не было. Председатель знал наизусть все, что скажет прокурор, и все, что скажет защитник. В показаниях подсудимого еще могли быть кое-какие варианты (тоже определенные и давно известные), но и это ни малейшего значения не имело. Пошептавшись с соседом, старичок в мантии слабо улыбнулся Серизье, еще кое-кому в зале, затем внимательно, но без всякого интереса оглядел подсудимого и тоже решил, что намечается вариант симуляции сумасшествия или идиотизма. Это был и вообще невыгодный для обвиняемого вариант, а в настоящем деле, ввиду вполне определенной экспертизы, вариант совершенно безнадежный. Во всяком случае, дело было легкое, никакого напряжения со стороны председателя не требовавшее. Он был этому рад не по лени — работал целый день, — а потому, что, будучи человеком очень добрым, не любил сурового пристрастного допроса, к которому по долгу службы приходилось прибегать весьма часто. Предпочитал в суде тон благодушный, почти отеческий; при разборе дел об убийствах такой тон был, однако, неуместен. Председатель подождал конца балагана, укоризненно взглянул на фотографов и обратился к Альвера. На лице у старика тотчас появилось выражение, приблизительно означавшее: „ну, ври, ври, только не задерживай“.

— Accusé, voulez-vous donner vos nom et prénom?*

Еле расслышав ответ, он задал второй вопрос:

— Entendez-vous bien quand je vous parle?#

— Oui, Monsieur le Président^Δ, — сказал Альвера несколько громче. Все жадно его слушали. Председатель смотрел на него поверх очков: „Ну да, намерен разыгрывать идиота“. Спросив о том, где и когда родился обвиняемый, он сказал: „Садитесь“, („Сесть! Сесть!“ — прошептал полицейский), старческой скороговоркой произнес, обращаясь к Серизье: „Je rappelle au Défenseur les termes de l'article 311 et l'invite à s'y conformer...“[□]

При этом председатель снова слегка улыбнулся знаменитому адвокату: что ж делать, закон. Затем он повернулся направо и совершенно другим, хоть не менее привычным тоном произнес:

— Messieurs les Jurés, voulez-vous vous lever.[□]

Присяжные встали. Медленно, торжественно, раздельно председатель отчеканил наизусть:

— La Cour va recevoir votre serment. Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé Alvera Ramon Gregorio Gonzalo (он еле заметно пожал плечами), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre...+ (он остановился и помол-

*— Обвиняемый, можете ли вы назвать свое имя и фамилию? (Фр.)

#— Вам хорошо слышно то, что я говорю? (Фр.)

Δ— Да, господин председатель (Фр.).

□ „Напоминаю защитнику о статье 311 и предлагаю ее иметь в виду...“ (Фр.)

□— Господа присяжные, прошу вас встать (Фр.).

+— Сейчас суд примет вашу клятву. Вы клянетесь и обещаете перед Богом и людьми внимательнейшим образом рассмотреть обвинения, выдвинутые против подсудимого Альвера Рамона Грегорико Гонзало (...), клянетесь уважать как интересы подсудимого, так и интересы общества, которое его обвиняет; клянетесь не общаться ни с кем до момента объявления вашего решения; не прислушиваться ни к ненависти, ни к злобе, ни к страху, ни к симпатии; клянетесь принять решение по рассмотрении всех доводов защиты и обвинения, следуя велению своей совести и внутреннего убеждения, с беспристрастностью и твердостью, подобающими свободному и честному человеку... (Фр.)

чал, как бы вопросительно глядя на присяжных). A l'appel de son nom, chacun des jurés répondra en levant la main: „Je le jure“*.

После того как присяжные, откликаясь на именной вызов, один за другим сказали: „Je le jure“, председатель пригласил обвиняемого внимательно слушать все, что будет говориться, и велел огласить обвинительный акт.

Альвера не слушал ничего. У него мучительно болела голова. Он расшиб ее ночью очень сильно. Однако, кроме огромной шишки под волосами, никаких наружных повреждений не было. Сторож утром заметил, что заключенный смертник сегодня не в таком состоянии, как обычно, но это было естественно перед решением судьбы. „А может, и притворяется?“ Разобрав, что у заключенного болит голова, сторож принес ему из аптечки облатку кальмина. Для заявки врачу оснований не было, да не было уже и времени. Альвера без чужой помощи надел вместо арестантского свое прежнее платье. Он кое-как соображал, что происходит, но все было очень, очень туманно и с каждой минутой туманнее. Есть ему не хотелось, он еле притронулся к еде, хотя еда в этот день была значительно лучше обычной. Перед уводом в суд через внутренний двор (тюрьма была рядом) преступнику дали чашку кофе, и он ненадолго почувствовал себя бодрее.

Пока человек в странном костюме скучно и монотонно читал обвинительный акт, Альвера осматривал зал. Из людей его интересовал только Вермандуа; поспешно спросил себя, надо ли поклониться, и решил, что не надо: отвернулся, сделал вид, будто не видит. Снова подумал он о своем бывшем патроне лишь гораздо позднее — и уже больше не мог его найти; зачем-то старался вспомнить, когда именно удалили из зала свидетелей: до допроса, или после допроса, или перед чтением обвинительного акта.

Других людей он не знал, кроме защитника и помощницы. Альвера обратил внимание на то, что все здесь, в зале, скромное, дешевенькое. Стены были выкрашены желтой краской с коричневым бордюром — подумал, что эти два цвета, коричневый и желтый, не идут друг к другу: „Какой же надо было взять? синий?“

*Услышав свое имя, каждый из присяжных должен поднять руку и ответить: „Клянусь“ (*фр.*).

черный?“ Против него была высокая дверь, тоже коричневая — куда она ведет, что за ней? Заметил, что из шести ламп, спускавшихся с потолка на стержнях, горят только четыре, а те две, что подальше от председателя суда, не горят. „Почему? Неужто из экономии? Или испортились? Как же тут меняют лампочки? Высоко на стуле не доберешься, верно, принесят лестницу. Но и при четырех света достаточно, должно быть, очень сильные лампочки...“ Заметил и то, что выключатель находился позади кресла председателя: „Разве он сам тушит?“ Позади судейского стола, подальше, висела еще какая-то бумажка с надписью, но что написано, разглядеть было со скамьи подсудимых невозможно. На стенах были большие картонные плакаты: „Défense absolue de fumeé et de cracher“* — и один из них висел около стоявшего на полке мраморного бюста женщины с распущенными волосами. Альвера догадался, что это богиня правосудия, Фемида, подумал, что она была чья-то дочь, Юпитера, что ли? нет, не Юпитера, и что ее рисовали с повязкой на глазах, с весами в одной руке и с мечом в другой, вспомнил картинку из лицейской книги. „Но у той как будто ни меча, ни весов“. Это было ему неприятно: „Если не Фемида, так кто же?..“ Затем он осмотрел сидевших за столами людей в красных и черных мантиях — тех самых людей, которые должны его приговорить к смертной казни.

Они не произвели на него никакого впечатления. „Напрасно не носят париков, ведь лысые же, в париках было бы лучше...“ Стол тоже был какой-то убогий: зеленое сукно едва спускалось с краев, точно не хватило денег на больший кусок сукна, и стояли на столе простые фаянсовые вещи, дешевенькие лампочки. Альвера прикинул в уме: тридцать франков, не больше. „Моя стоила девятнадцать франков девяносто“. На мгновение у него сжалось сердце: вспомнил о своей комнатке, о вещах, которые покупал с такой любовью, подолгу присматриваясь в магазинах, соображая, где дешевле и лучше. Но тотчас он оставил эти воспоминания и стал снова рассеянно разглядывать публику. Часть ее стояла за барьером внизу, часть в верхнем этаже. „Неужели нельзя было поставить для них стулья или хоть скамьи? Странно... Что ж, они будут так стоять до вечера, тесно прижатые один к другому?“

* „Категорически запрещено курить и плевать“ (фр.).

Подумал, что уж ему-то, во всяком случае, придется здесь сидеть до конца, то есть часов до шести или до семи? „Сегодня, наверное, не кончим...“ Он устроился поудобнее на твердой скамье, точно все дело для него заключалось только в неудобстве и скуке. Сел как-то набок, опустив на левую руку все сильнее болевшую голову. Публика стояла от него довольно далеко, при усилившейся у него близорукости он лиц почти не мог разглядеть. Потом попробовал прислушаться к тому, что невнятно и скучно читал человек в странном костюме, но не мог: неприятно, ни к чему. Все же, когда в обвинительном акте впервые была упомянута его фамилия, он вздрогнул, — как в лицее при неожиданном вызове к доске. И с этой минуты сознание у него стало быстро тускнеть. В конце чтения длинного обвинительного акта он уже плохо понимал то, что происходило. Ему все больше хотелось спать.

Серизье приподнялся и шепотом обратился к своему подзащитному с каким-то незначительным вопросом. Мгновенно вскочила и мадемуазель Мортье, сидевшая рядом с патроном и счастливая до пределов возможно: в газетах ее фамилия упоминалась теперь неизменно; по направлению фотографических аппаратов ей было ясно, что она будет на всех снимках. Мадемуазель Мортье тоже наклонилась к Альвера, и вид у нее был при этом такой, точно от вопроса Серизье зависело решительно все. Альвера посмотрел на своих защитников мутным взглядом, хотел что-то ответить и не ответил. „Что это с ним сегодня?“ — подумал с недоумением Серизье (он ничего не знал о случившемся ночью). Бестолковые ответы Альвера на первые вопросы председателя удивили адвоката. „Очевидно, решил притворяться идиотом — уж слишком грубо! Впрочем, все равно он погиб“, — подумал Серизье. Не получив ответа, он сделал жест, означавший „ладно, потом“, и грузно опустился на скамью

В зале было много версальских адвокатов, пришедших послушать знаменитого столичного товарища. Похожая на мужчину дама в тоге, в очках, с злыми глазами, с пышной шевелюрой, поглядывая с ненавистью на мадемуазель Мортье, вполголоса, но все же довольно явственно объясняла знакомому, что Серизье совершенно не годится для такой защиты. „Надо было обратиться к... — говорила она, называя имена. — Серизье все-таки второй сорт“. — „Вермандуа заплатил ему

большие деньги?“ — „Вероятно. Даром он выступать не станет“. — „Во всяком случае, очень мило с его стороны“. — „Со стороны Вермандуа? При его заработках пять или даже десять тысяч никакого значения не имеют“. — „Какое у него умное лицо!“ — „У Альвера? Помнитесь: лицо совершенного кретина!“ — „Нет, я говорю о Вермандуа“. — „Ах, о Вермандуа, да... Впрочем, тоже ничего особенного. Да и писатель он никакой, это совершенно раздутая знаменитость...“ — „Нет, все-таки не говорите, у него есть замечательные вещи...“ — „Какие?“ — „Да вот хотя бы... Сейчас не могу вспомнить заглавий, но очень интересные“. — „Ни одной. Решительно ни одной. Он давно исписался“.

XI.

Свидетели в отведенной им комнате почтительно предложили Вермандуа самое лучшее место, стул под лампой. Он поблагодарил и ласково-демократически обменялся с ними несколькими словами. Это все были простые люди: полицейский, задержавший Альвера, булочник, нанесший ему при аресте страшный удар бутылкой, консьержка дома, в котором жил преступник. Отдав долг демократизму, Вермандуа развернул полуденную газету. Однако читать ему не хотелось. Он все морщился с крайне неприятным чувством, вспоминая лицо убийцы... „...C'est malheureux quand même! Quelle figure qu'il a!“* — говорила вполголоса консьержка.

Скоро в зал позвали первого свидетеля, за ним всего минут через пять второго. „Слава Богу, долго не держат, дело идет быстро...“ Наконец, пристав, почтительно наклонив голову, пригласил Вермандуа. Нерешительной, чуть семенящей походкой он вышел к тому месту, откуда полагалось показывать. По залу пробежал гул, снова вспыхнул магний, защелкали аппараты. Председатель терпеливо подождал, вздохнул и почтительно обратился к свидетелю. Не спросил об имени и профессии — сам назвал их — и привел Вермандуа к присяге.

— ...Что вы можете показать по этому делу?

— Я предпочел бы отвечать на вопросы.

* „...Все же он несчастный! А какое у него лицо!“ (фр.)

— Обвиняемый был вашим секретарем до того дня, когда совершил свое преступление?.. Вы его знали. Какого мнения вы о нем были?

— самого лучшего. Он всегда производил на меня отличное впечатление. Был в высшей степени исправен и добросовестен в работе, справлялся с ней превосходно, был всегда учтив и любезен („уже клятвoprеступник“, — подумал Вермандуа). У меня, кажется, никогда не было более исправного и толкового секретаря.

— Угодно ли сторонам?.. — спросил председатель, подавляя зевок.

— Замечали ли вы в Альвера когда-либо признаки душевной ненормальности? — спросил прокурор.

— Никогда. Это был очень милый, образованный и разумный молодой человек, — ответил Вермандуа и спохватился. Серизье тотчас пришел ему на помощь.

— Значит, он своими душевными качествами всегда производил на вас вполне благоприятное впечатление?

— В высшей степени благоприятное.

— Вы, наш знаменитый писатель (Вермандуа сделал сконфуженный жест и склонил голову набок), вы, один из всеми признанных сердцеведов, должны понимать психологию людей. Какое объяснение вы можете дать этому преступлению?

— Могу сказать только одно: я был совершенно поражен! Просто не мог прийти в себя от изумления. Это ужасное дело так не связывалось в моем уме с милым молодым человеком, которого я знал... Ничем, кроме внезапного умопомешательства, я его преступления объяснить не могу.

— Господа присяжные, я прошу вас запомнить эти слова, особенно для нас ценные в связи с личностью человека, от которого они исходят, — произнес Серизье проникновенным голосом.

— Я желал бы задать еще вопрос, — сказал прокурор. — Нуждался ли Альвера?

— Этого я не могу сказать. Авансов он у меня, кажется, не брал, хотя я, конечно, не отказал бы ему в авансе.

— Авансов не брал ни разу, хотя мог брать? Отсюда ведь с полной очевидностью следует, что обвиняемый в деньгах не нуждался.

— Я этого не знаю, — ответил Вермандуа, смутившись: опять показал не то, что нужно. На лице у Серизье было недовольное выражение.

— Разрешите спросить вас, какое жалование он у вас получал? — спросил ласково прокурор.

— Свидетель, вы имеете право не отвечать на вопросы, если вы этого не желаете, — разъяснил председатель. Оба они почувствовали некоторую неловкость. Присяжные насторожились: им было интересно, но все понимали, что не отвечать на такие вопросы — несомненное право каждого гражданина: на этом строится государственный порядок.

— Он у меня получал пятьсот франков в месяц. Это, конечно, небольшая сумма по нынешним временам. Правда, мой секретарь и работал всего по два часа в день. Я собирался увеличить его жалование по своей инициативе, он об этом не просил, но я не успел... („Да, не очень щедро платил великий писатель“, — подумал Серизье.)

— Была ли у него еще какая-либо работа?

— Не знаю. Помнится, он занимался перепиской или чем-то таким.

— Я отлично понимаю, что вы не могли платить дороже за столь незначительный труд, — сказал прокурор еще более ласковым голосом. Ему было особенно приятно использовать свидетеля защиты, благо представлялся удобный случай. — Но я хотел бы раз навсегда положить конец сказкам относительно *нищеты* этого молодого человека. Он получал у вас пятьсот франков в месяц. Деньги не столь уж малые, господа присяжные заседатели. Каждый из нас знает честных людей, которые и такого заработка не имеют. Кроме того, как удостоверил свидетель, у Альвера были еще другие заработки...

— Это неверно, — вмешался Серизье, — свидетель этого не удостоверял. Он сказал, что о других заработках подсудимого не имеет сведений.

— Простите, свидетель заявил, что другие заработки у Альвера были: переписка и что-то еще. Мы это, впрочем, знали и до показания свидетеля. Именно работа по переписке и свела обвиняемого с несчастным Шартье, о котором все-таки не следовало бы забывать и защитнику...

— Я ни о чем не забываю! — сказал Серизье, вставая и повышая голос (всем стало ясно, что готовится *инцидент*). — Я ни о чем не забываю! Память жертвы для нас так же священна, как для представителя обвинения, и мы не позволим никому нас обвинять в обратном! (мадемуазель Мортье, тоже привстав, смотрела с него-

дованием на прокурора: да, мы не позволим!..) — Но это сейчас к делу не относится, господин генеральный адвокат! Побочные заработки Альвера составляли совершенные гроши. Несчастный вел полуголодное существование, я это докажу в своей речи. И я решительно протестую против попыток придать показаниям свидетеля тот смысл, которого они не имели и иметь не могли!

— А я решительно протестую, — сказал прокурор, тоже вскочив и повысив голос, — против попыток защиты набросить тень на государственного обвинителя, представляющего интересы общества! Я свидетельских показаний не извращаю, мэтр Серизье!

— Я этого и не говорил!

— Вы именно это сказали! Это слышали все!

Поднялся крик и гул. Репортер вечерней газеты радостно написал на листке посредине строчки слово „инцидент“, подчеркнул его два раза и стал писать со скоростью ста слов в минуту: „Brusque sursaut de flammes. L'avocat général acère ses griffes, mais il a affaire à forte partie. M^c Cerisier bondit. La voix, si riche d'accents, du célèbre avocat, gronde. Dans un superbe mouvement d'éloquence il conjure son éminent adversaire...“* Прокурор и адвокат, стоя, орала друг на друга, и действительно, звучный голос Серизье заглушал голос его противника: „Il ne me plaît pas que...“ — „Maître, je ne suis ici ni pour vous plaire ni pour vous déplaire!..“ — „...Tant qu'il s'agira de parler pour l'infortune, il sortira de mon cœur des accents...“ — „Maître, vos accents ne m'ôteront pas le courage de mon devoir!“ — „...Monsieur l'avocat général, je représente ici les intérêts sacrés! Je m'appelle la Défense!..“* В зале произошло *сильное движение*. Только председатель слушал совершенно равнодушно, даже без малейшего интереса. Он знал, что *инциденты* необходимы вообще, а на таком процессе в особенности: и прокурору, и защитнику хочется оживить дебаты и прочистить голос. Когда они покричали минуты две

* „Неожиданный всплеск эмоций. Прокурор выпускает когти, но он имеет дело с сильным противником. Мэтр Серизье вскакивает. Гремит столь богатый интонациями голос знаменитого адвоката. Увлеченный потоком красноречия, он заклинает своего выдающегося соперника...“ (Фр.)

* „Мне не нравится, что...“ — „Мэтр, я здесь вовсе не для того, чтобы вам нравиться или не нравиться!..“ — „Когда я выступаю в защиту попавшего в беду, мое сердце не может оставаться безучастным!..“ — „Мэтр, ваши чувства не способны лишить меня сознания моего долга!“ — „Господин прокурор, я представляю здесь общественные интересы! И имя им — Защита!..“ (Фр.)

или три, ровно столько, сколько было нужно, председатель предложил им успокоиться. Сначала, впрочем, и сам хотел было немного покипятиться для порядка, но раздумал.

— Альвера, — обратился он к подсудимому. — Не скажете ли вы нам сами, сколько вы зарабатывали в месяц? („Встать, встать!“ — прошептал полицейский рядом с подсудимым.) Альвера встал и уставился мутным взглядом на председателя. Тот повторил вопрос.

— Я... я зарабатывал много, — сказал глухо Альвера и сел. По залу пробежал ропот. „Симуляция скверная“, — пробормотал журналист. Прокурор многозначительно обвел взглядом ложу присяжных и скамейки журналистов.

— Господа присяжные, — сказал он подчеркнуто спокойным тоном, — вопрос о средствах подсудимого мы подробно рассмотрим позднее, как это и обещает мой красноречивый противник. Все же я хотел бы, чтобы вы запомнили факты. Альвера получал у свидетеля регулярно вполне обеспеченное жалованье в пятьсот франков в месяц. Кроме того, у него была переписка, оплачивавшаяся из расчета: полтора франка за страницу машинного текста. Он сам показал на предварительном следствии, что за рукопись, переписанную для зверски убитого им человека, который давал ему средства к существованию, он должен был в день убийства получить сорок восемь франков. Эта рукопись была последней частью заказа. В общем заказ несчастного Шартье дал убийце около двухсот франков. Допустим, что такие заказы бывали не каждый день... Хотя переписку в Париже достать нетрудно: есть люди и даже целые бюро, только этим и существующие... Допустим, что переписка давала обвиняемому всего пятьсот франков, или четыреста, или даже триста в месяц. Значит, у него был доход восемьсот; не так мало для одинокого человека. Я, конечно, не знаю, что считает „совершенными грошами“ один из самых прославленных адвокатов Франции, — сказал прокурор язвительно (Серизье изобразил на лице негодование, хотя эти слова противника были ему приятны), — но не у всех французских граждан есть миллионы, господа присяжные заседатели. Может быть, не все миллионеры и среди вас, и уж, конечно, вы знаете во Франции, как и я, честных людей, которые работают целый день, живут тоже на восемьсот франков в месяц или даже на еще меньшую сумму, однако убийствами и грабежом не за-

нимаются, в отличие от этого иностранного юноши, так отплатившего нам за оказанное ему гостеприимство.

Он сел. По скамьям присяжных пробежал и тотчас замолк одобрительный гул. Серизье почувствовал, что по этому вопросу потерпел полное поражение; быть может, даже роковое; впрочем, он все равно по-прежнему не имел ни малейшей надежды на спасение головы подсудимого.

— Оставим этот вопрос, оставим демагогию, — сказал он со *сдержанным негодованием* (голос его и выражение лица ясно показывали, что негодование именно сдерживается). — Для вас, господа присяжные, не имеет и не может иметь никакого значения, иностранец ли обвиняемый или не иностранец. Мы — во Франции, господин генеральный адвокат, во Франции, у которой есть тысячелетние традиции правосудия (эти слова могли бы при желании дать возможность создать новый инцидент, но оба противника были удовлетворены первым и ко второму не очень стремились). К тому же какой иностранец Альвера? Вы его слышали, господа присяжные, он говорит по-французски, как мы с вами... Возвращаясь к свидетелю, я его просил бы сказать несколько подробнее о личности подсудимого.

Вермандуа вздохнул и произнес свое слово. Теперь был очень осторожен, точно имел дело с мошенниками, — но надо было помогать одному извратителю истины против другого. Кратко упомянул об ужасной обстановке, в которой прошли годы детства Альвера, о новой психологии, создавшейся у людей после войны. „Вы поймете мою мысль, господа судьи, — сказал он, стараясь говорить возможно более ясно, естественно и вразумительно. — В те ужасные четыре года люди привыкли к мысли, что убить человека очень просто (по залу пронесся легкий ропот: может быть, у другого писателя столь осторожно выраженная мысль сошла бы гладко, но коммунистические симпатии Вермандуа были слишком известны. Прокурор пожал плечами). — Вы понимаете, господа судьи, что я не сравниваю ремесло солдата с ремеслом убийцы, но я говорю об атмосфере, в которой выросло это несчастное поколение...“ Затем он перешел к вредной роли кинематографа (о газетах не упомянул: в зале было много журналистов, незачем раздражать печать). Упомянул и о соблазнах большого города, особенно страшных для бедного молодого человека, не могущего себе позволить ничего, кроме самого необходимого. И наконец, пере-

шел к необыкновенной нервности Альвера. „Он всегда производил на меня впечатление человека весьма порядочного (прокурор опять пожал плечами), но неуравновешенного и болезненно воспринимающего социальные контрасты и социальные несправедливости“. На эту тему Вермандуа говорил минут пять, и говорил хорошо, хоть ему было очень совестно. Зал слушал его настороженно, как будто с некоторой враждебностью. Не слушали только два человека: Альвера, который по-прежнему сидел, изогнувшись набок, закрыв лицо левой рукой, да еще председатель: он все это слышал тысячу раз, знал заранее наизусть и совершенно этим не интересовался: надо это слушать, как надо спрашивать свидетелей: „Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и только правду?“

— Благодарю вас, — сказал с чувством Серизье, когда Вермандуа кончил. — Мы не забудем, что это блестящее слово, столь исполненное человечности, доброты, мудрости, принадлежит не только писателю, составляющему гордость Франции, но и признанному во всем мире знатоку человеческой души. Господа присяжные, быть может, вы признаете вместе со мной, что психологические наблюдения г. Луи Этьенна Вермандуа стоят заключения трех средних врачей, экспертов, особенно если принять во внимание, что господа эксперты говорили с несчастным Альвера десять минут, а наш знаменитый писатель знал его чрезвычайно близко. Я больше вопросов не имею, — сказал защитник, садясь с таким видом, точно теперь уже не могло быть ни малейших сомнений в оправдательном вердикте.

Узнав, что и прокурор больше не имеет вопросов, председатель поблагодарил свидетеля и сообщил ему, что он теперь имеет право остаться в зале. Вермандуа поклонился, сел поближе к выходу и минуты через три незаметно вышел.

На улице он немного отдышался, но тоска и отвращение у него все росли. Увидев кофейню, он поспешно туда направился, занял место в самом дальнем углу и, несмотря на запрещение врача, несмотря на повышенное давление крови, спросил большую рюмку армянского коньяка.

ХII.

К великой радости репортеров, дело шло быстрее, чем ожидали. Свидетелей было мало, эксперты оказа-

лись не словоохотливые, прокурор говорил всего полчаса. По общему мнению, речь его была очень сильна. „Далеко пойдет! Прекрасный оратор, — заметил с уважением в тоне сотрудник вечерней газеты, хоть ему за долгие годы работы одинаково надоели и красноречивые прокуроры, и красноречивые адвокаты. Он уже успел пробежать в своей газете отчет о первой части заседания (секретарь редакции ничего не выпустил, *инцидент* дал не менее шестидесяти франков). — Ваше счастье, все пойдет вам, утренней печати“, — весело сказал он соседу. „При некоторой удаче вердикта можно ждать к семи“. — „Не думаю. Когда выносятся смертный приговор, присяжным всегда совестно совещаться недолго: они будут делать вид, что взвешивают все самым тщательным образом“. — „А что же тут, собственно, взвешивать?“ — „Разумеется, нечего. Прокурор мог ограничиться одной фразой: „требую его головы“, этого было бы совершенно достаточно“. — „Серьезь, кажется, сегодня в ударе“. — „Как мне надоел этот субъект, и сказать вам не могу. В палате и в партии его больше не слушают, а уж здесь он распушит перья: тут обязаны слушать“. — „Вот Вермандуа. Я думал, он уехал домой, нет, вернулся все-таки“. — „Надо же иметь совесть...“

Трибуны для публики были теперь менее полны, чем в начале заседания: и стоять было утомительно, и преступник всех разочаровал, и дело оказалось не очень интересным: в сущности, обыкновенное убийство с целью грабежа, прикрытое какими-то анархическими штуками, от которых на суде обвиняемый, по-видимому, вообще отказался. Его ответы были бессодержательны до нелепости; если симуляция, то очень неумелая. Граф де Белланкомбр уехал в самом дурном настроении духа. Ссоры с женой не было, но вышел холодок: она непременно желала остаться. „В таком случае я пришлю за вами машину, я очень устал, я поеду домой“. — „Сделайте одолжение“. — „Если вы готовы уехать тотчас после речи — как его? — вашего друга, то я могу вас подождать“. — „Я останусь до конца: до приговора“.

Председатель предоставил слово защитнику. В зале опять *произошло движение*. Серизье встал, оправил привычным движением рукава тоги и обвел медленным взглядом зал. Его судебные речи не имели такого отклика в печати, как политические. Тем не менее он

очень волновался, главным образом по доброте: дело шло о человеческой жизни. Как старый адвокат, он отлично знал, что спасти Альвера может разве только чудо. Но это ни в чем не меняло его человеческого и профессионального долга: надо сделать все, решительно все для спасения головы подзащитного. План речи был давно готов, ход судебного разбирательства почти ничего не изменил, но вопрос, как подойти к присяжным, оставался для защитника неясным, сколько он к ним ни приглядывался во время заседания. Серизье занял позицию — партнеров было несколько: прокурор, присяжные, журналисты, публика, — помолчал выжидательно с минуту — в зале установилась полная тишина — и начал тихим голосом:

— Messieurs de la Cour, messieurs les Jurés*... — так, несколько по-старинному, он всегда начинал свои судебные речи. Помолчал еще немного и заговорил медленно, делая для начала остановки после каждых двух-трех слов. — Très brèves... très sincères, très simples... seront les observations que j'ai à vous présenter...“* „Это значит, не менее чем полтора часа“, — решил про себя председатель.

Вермандуа оставался в кофейне очень долго. Забыв о давлении крови, вопреки всем врачебным указаниям, он за первой рюмкой арманьяка спросил вторую, и, хотя выпил их чуть не залпом, настроение у него лучше не стало. „В моем показании ничего постыдного не было, — угрюмо думал он. — Если и сказал несколько слов, которых говорить не следовало, то это было тотчас исправлено. Я говорил разумно, не мямлил, не запутался. Все, что я мог сделать, я сделал, и этот человек с языком без костей (разумелся Серизье), конечно, сумеет использовать мое показание. А если газеты останутся недовольны, то, видит Бог, мне это совершенно безразлично“. (Он мысленно себя проверил: действительно ли видит это Бог? Да, почти безразлично.) „В чем же дело и почему у меня такое ощущение, будто я участвовал в недостойном деле? Суд? Право карать? „Не судите да не судимы будете“? Нет, все это ко мне не относится и относиться не может. Я государственный, суда никогда не отрицал“.

*— Господа судьи, господа присяжные заседатели... (фр.)

“— Замечания, которые я хочу представить на ваше рассмотрение, будут очень короткими, искренними и простыми (фр.).

Он вынул из кармана газету. Агония Гихона... Аэропланы генерала Франко потопили снова английский пароход... По опубликованным в Токио данным, китайцы с начала мирного проникновения японцев в Китай потеряли не менее ста тысяч человек убитыми... В Берлине за попытку воссоздания коммунистической партии казнены Адольф Рейнте и Роберт Штамм... В Белоруссии четырнадцать советских служащих признались, что подмешивали толченое стекло в муку для Красной армии, и приговорены к смертной казни... Последнее сообщение было особенно неприятно Вермандуа: оно не укладывалось в графу фашистских зверств. Но и независимо от этого такая концентрация зла в одном номере газеты поразила его, несмотря на приобретенную в последние годы привычку. „Да, черт делает что может, он на прямом пути к всемогуществу...“

Вбежавший в кофейню разносчик принес вечернюю газету. Непонятным чудом в ней уже описывалось его появление в суде. Инцидент был подан в особенно эффектной форме, с большим заголовком, — Вермандуа и не заметил, что все это было так драматично. Поместили и его фотографию, правда, старую. „Это из их коллекции на случай внезапной смерти. Скверная фотография, надо бы дать им другую. Снимок из зала суда, верно, попадает в следующее издание. Или то были фотографии утренних газет?“ Репортер писал об его показании без враждебности: газета была скорее правая, но Вермандуа находилась в очень добрых отношениях с главным редактором, в газете был даже как-то напечатан его рассказ. Смысл заметки был тот, что знаменитый писатель со свойственной ему гуманностью развивал очень благородные и возвышенные мысли, однако злодея нужно казнить. Назван был Вермандуа: „le célèbre écrivain“*. Это все же чуть-чуть его задело: могли сказать „l'illustre écrivain“**...

Он расплатился и снова отправился в суд. Там его почтительно пропустили, уже не спросив билета. И опять Вермандуа охватило чувство вроде того, что бывает у здорового человека при входе в больницу с ее лекарственным запахом и гигиенической чистотой: как бы уйти возможно скорее и возможно дальше. Когда он на цыпочках вошел в зал суда, Серизье начинал речь. Вермандуа сел не на прежнее место, а поближе к выхо-

* „Известный писатель“ (фр.).

** „Выдающийся писатель“ (фр.).

ду. „Надо будет улучшить минуту и убежать...“ Немного посидеть было необходимо ради графини и особенно из уважения к бесплатно защищавшему адвокату. „Послушаем, послушаем, что он скажет...“

Серизье говорил о жалкой, нерадостной жизни несчастного юноши, об ужасной атмосфере, в которой воспитывается молодое поколение бедных, о социальных контрастах между небывалой роскошью людей, создавших на войне огромные состояния, и нищетой низших классов. „Конечно, он рискует, — мрачно думал Вермандуа, — для завтрашнего номера социалистической газеты все это превосходно, но как отнесутся присяжные? Впрочем, и я говорил то же самое, да ничего другого и нельзя сказать...“

Он взглянул на присяжных. „Как будто слушают внимательно, но, судя по их лицам, речь должна производить на них как раз обратное впечатление. Особенно вон тот: просто Торквемада“. Вермандуа перевел взгляд на судейский стол. „Эти совершенно не слушают, особенно председатель. Да и в самом деле он все это слышал тысячу раз: ведь это и в восемнадцатом веке были общие места, а теперь каждый адвокат хранит в памяти сотни таких штампов, не только готовых мыслей, но и готовых слов. Их гуманные пассажи даже узнать можно по необыкновенной красоте и правильности, как по необыкновенной красоте и правильности легко отличить фальшивые зубы. Тут нет и не может быть плагиата, так как и дословное заимствование здесь необходимость: в мире совершались сотни тысяч преступлений, и выступали по ним сотни тысяч адвокатов, и о доброй половине преступников можно было сказать приблизительно то, что он сейчас говорит. Было бы нетрудно заменить его граммофоном, как и прокурора... Точно так же здесь предрешено *все*: вердикт, приговор, казнь. Бездушный аппарат, тщательно, хоть неумело скрывающий свою полную бездушность и даже прикидывающийся особенно гуманным. Именно поэтому работа налаженной веками, торжественной, внешне красивой, а внутренне безобразной машины и создает впечатление ненужной зловещей комедии...“ Он вздрогнул, услышав свою фамилию. „...Monsieur Louis Etienne Vermandois — говорил вкрадчиво-почтительно Серизье, — avec son intelligence supérieure de grand écrivain, avec sa lucidité de psychologie connaissant les abîmes de l'âme humaine, Monsieur Vermandois, gloire des

lettres françaises, n'est-il pas venu vous demander miséricorde pour le pauvre déséquilibré... Ah, Messieurs les Jurés, Dieu soit s'il y a des heures poignantes dans le ministère que je tâche de remplir (он повысил голос). C'est une noble mission que la nôtre, Messieurs les Jurés! Quand un homme, un malheureux, est abandonné par ses amis, traqué par les pouvoirs publics, maudit par tout le monde, c'est une noble mission, vous dis-je, que de le défendre contre tous! C'est ainsi, Messieurs les Jurés, qu'un prêtre se dresse devant le condamné, s'attache à lui et l'accompagne jusqu'au lieu de l'exécution à travers les clameurs et les hurlements de la foule qui ne veut pas comprendre...“*

По местам для публики пробежал тотчас подавленный гул восхищения. „Он в самом деле говорит очень хорошо. Где же мне до него? То, что я сказал в нескольких словах, он размажет на час, а если будет нужно, и на три часа, и речь его будет литься так же плавно, и так же будут на месте доводы, числа, наклонения, роды, и он не сделает ни единой ошибки против их отвратительного ораторского жаргона, и будут чередоваться модуляции, повышения, понижения голоса, на которые я не мог бы пойти даже под страхом смертной казни. Но почему у меня раздражение против него? Он добросовестно изучил дело, защищает превосходно, тратит время, отказывается от денег. Правда, он делает это для меня и не сделал бы, вероятно, если б Альвера не был моим секретарем. Правда, с такой же легкостью он мог бы произнести по этому делу и обвинительную речь, если б его пригласили на роль гражданского истца. Они требуют оправдания или казни в зависимости от того, кто первый к ним обратился... Но с моей стороны не очень достойно вспоминать об этом теперь... Эта хорошенькая барышня, его помощница, по-видимому, влюблена в него, — вот на меня чита-

* „Монсеньор Луи Этьенн Вермандуа (...), наделенный возвышенным умом великого писателя, прозорливостью психолога, проникающего в самую глубину человеческой души, этот господин Вермандуа, слава французской литературы, пришел просить вас быть милосердными к бедному безумцу... О господа присяжные, видит Бог, как горестна бывает порой миссия, которую я пытаюсь исполнять (...). Мы выполняем благородную миссию, господа присяжные! Если человека, несчастного человека, покинули друзья, преследуют власти, если он проклят всем светом, то это благородная миссия, говорю я вам, защищать его от всех! Господа присяжные, вот так же перед приговоренным появляется священник и неотступно следует за ним, провожая его до самого места казни сквозь вопли и рев толпы, не желающей ничего понимать...“ (Фр.)

тельницы не смотрят с таким восторгом в глазах... Прокурор что-то записывает, у него тоже создан шедевр на эту же тему: так Корнель и Расин писали „Bégénice“ — один назло другому. Но прокурор знает, что *победа* ему обеспечена. Да и Серизье мне говорит, что не имеет ни малейшей надежды на смягчающие обстоятельства... Все предрешиено, следовательно, все комедия. И вообще о правосудии можно было говорить лишь до появления государственного бандитизма. Теперь, когда в мире „законными правительствами“ вполне безнаказанно совершаются чудовищные по бесстыдству преступления, уголовный суд стал полным торжеством лицемерия. Но именно этого адвокат сказать не может...“ Он прислушался. Серизье переходил к разбору улики. Закончив общую социально-философскую часть своей речи, он доказывал, что заранее обдуманного намерения не было и что собственное признание Альвера тут никакого значения иметь не может:

— ...Avoué, Monsieur l'avocat général? Oui, Monsieur l'avocat général, Alvera a tout avoué! La volonté criminelle? Il l'a reconnue. La préméditation? Il l'a reconnue aussi. Il a tout reconnu, il a tout reconnu, la tête fracassée par un terrible coup de bouteille, il a tout reconnu après un interrogatoire dont je n'ai pas été témoin, après un interrogatoire de quelques heures dans lequel il ne fut pas soutenu par son défenseur...(прокурор возмущенно пожал плечами). Ah, Monsieur l'avocat général, si la torture existait aujourd'hui, si un homme se présentait dans cette enceinte, dégagé de ses fers, mais la figure ensanglantée et les os brisés, lui diriez-vous en voyant couler son sang, lui diriez-vous: tu n'as rien à dire: tu as avoué!..*

Прокурор вскочил с негодованием. Даже председатель несколько насторожился. Все репортеры в зале записывали с необыкновенной быстротой, гул в публике усилился. Однако инцидента не вышло. Серизье отступил с боями: он признал, что физических насилий

*— ...Сознался, господин прокурор? Да, господин прокурор, Альвера во всем сознался. Злонамеренность? Он это признал. Преднамеренность? И это он признал. Он во всем сознался, он во всем сознался, потому что ему раскрыли голову ужасным ударом бутылки, он сознался после допроса, который длился несколько часов и где он не был поддержан своим защитником... (...) О господин прокурор, если бы в наше время применялись пытки и человек представил бы перед вами освобожденный от кандалов, но с окровавленным лицом и переломанными костями, могли бы вы, видя, как он истекает кровью, могли бы вы сказать ему: ты сознался!.. (Фр.)

над Альвера при допросе не было, но обратил внимание присяжных на сильнейшее моральное давление, которое должен был испытать неуравновешенный юноша, с сознанием, помраченным страшным ударом при аресте. Затем он очень ясно, толково и логично разобрал вопросы о переписанной рукописи, о револьвере, об украденной сумме денег и доказал, что заранее обдуманного намерения не могло быть и не было. Система его доводов была умна и убедительна. Серизье теперь говорил без пафоса, очень просто, в духе новой школы Анри Робера. От вопроса о заранее обдуманном намерении он перешел к экспертизе и как следует расправился с экспертами: отпустив им несколько очень сдержанных похвал, явно походявших на насмешку, искусно дал понять присяжным, что это весьма незначительные врачи, отнюдь не ученые, в сущности, простые чиновники, вдобавок отнесшиеся к делу не слишком добросовестно: выяснил, что на исследование Альвера они потратили не более четверти часа времени, — конечно, время этих князей науки драгоценно, но здесь дело идет о человеческой жизни!.. Он процитировал что-то из книги настоящего князя науки, знаменитого профессора Фуко: в книге говорилось о крайнем легкомыслии судебных экспертиз и приводились убедительные примеры. Этой цитатой Серизье всегда пользовался в тех случаях, когда надо было поколебать впечатление от экспертизы; для обратных случаев он имел цитату из труда другой знаменитости. И наконец, медленно, с расстановкой, проникновенным тоном он напомнил присяжным, что для них мнение экспертов совершенно не обязательно: таков основной принцип всего французского законодательства. Перейдя в область гражданского права, гораздо более ему привычную, Серизье прочел статью 323, прямо предписывающую суду не считаться с экспертизой, если она противоречит внутреннему убеждению судей. „...Quant au code d'Instruction Criminelle, il n'avait même pas à affirmer cette règle qui est le corollaire indiscutable du régime des preuves morales...“* Кроме председателя, все слушали его очень внимательно. Речь имела явный и большой успех. „Он просто гениален! Изумительная речь! Теперь смягчающие обстоятельства обеспечены, я ручаюсь!“ —

* „...Что до Уголовного кодекса, то он и не обязан был утверждать это правило, так как оно бесспорным образом вытекает из раздела моральных доказательств...“ (Фр.)

восторженно шептала незнакомому соседу графиня де Белланкомбр.

„Да, без них было бы, разумеется, гораздо хуже, — думал Вермандуа, совершенно примиренный с защитником, — и слова его о пытке, по существу, справедливы. Наш судебный аппарат неизмеримо выше существовавшего до революции, неизмеримо выше и того, который действует в странах фашистской диктатуры (он опять с неудовольствием вспомнил о не укладывающихся в графу людях, расстрелянных за подмешивание толченого стекла в муку для Красной армии). Суд присяжных, как они ни тупы (он взглянул на Торквемаду), бесспорно, лучший из всех существующих судов. Но мы, по косности нашей, ухитрились и его превратить в мертвую бездушную машину. И приблизительно то же самое можно сказать о всех наших свободных учреждениях. При своем несовершенстве, при всех своих огромных недостатках они лучшие в мире. Однако беда, великая беда в том, что отлетел от них дух человечности, составлявший главную их силу, что мы потеряли чувства гражданской гордости, что мы слова „декларация прав человека“ не можем произнести без улыбки, хотя в этой декларации каждое слово — правда, обогретенная кровью. Беда в том, что наши учреждения разъедены косностью, равнодушием, корыстью, интригой, что мы ухитрились изъять из них духовную сущность и тем самым их обратили в нелепую и ненужную пантомиму. Люди, создавшие свободные учреждения, не предвидели духа, в котором их создание будет осуществляться поколением, больше ничем, кроме денег, не интересующимся или соскучившимся по новому, непривычному и неизмеримо сквернейшему. Говорят, что это новое „несвойственно французскому характеру“. Если по стечению трагических обстоятельств среди безоружного народа окажется вооруженной многочисленная шайка разбойников, то она с нашим национальным характером считаться не будет или его переделает...“

Ему вспомнились слова, которые он цитировал на обеде у Кангарова: „Non dum est finis. Haec autem initia...“ И тут же подумал, что за этот день перешел от большевистских настроений к монархическим, а от монархических к еще каким-то демократическим особого оттенка. „В самом деле, надо бы лечиться...“ Но он тотчас себе ответил, что никакое лечение не поможет. „Ярлыка своего я, вероятно, никогда не изменю,

а взгляды для внутреннего потребления буду менять часто, иногда, как сегодня, в пределах нескольких часов...“ Внезапно он встретился взглядом с графиней де Белланкомбр, которая восторженно ему улыбнулась и свела руки, как бы аплодируя. Было, впрочем, не совсем ясно, к кому относятся ее восторги: к его ли показанию или к речи защитника? Графиня протелеграфировала, что взволнована до последней крайности и что им надо возможно скорее объединиться. Вермандуа закивал головой в знак того, что понял: „Непременно, непременно. Он кончает...“ Голос Серизье снова повысился. В обдуманых переходах от строго логического анализа к высокому подъему была особенность его таланта. Все почувствовали, что речь его подходит к концу.

„...L'heure est venue pour vous, Messieurs les Jurés, de tendre une main secourable à un pauvre dément. Si vous trouvez que l'action qui vous est dénoncée est due à un cœur endurci et sanguinaire... si vous trouvez que cet enfant de vingt ans n'a pas été assez malheureux, alors condamnez-le sans pitié.. Mais une erreur de jugement est vite commise, Messieurs, et les morts ne reviennent pas. Le couperet de la guillotine tombe dans un sens unique, l'échafaud est, hélas, irréparable. Je vous abandonne une âme malade et tourmentée, je vous livre Gonzalo Alvera, triste victime d'une triste fatalité! Serez-vous inflexibles? Ah, puisse-je vous épargner un repentir! Au milieu des incertitudes morales, mettez la main sur votre conscience et prononcez. J'ai rempli mon devoir... Messieurs les Jurés, allez remplir le vôtre... Nous attendons de vous la vie ou la mort... Allez!..“*

Последние слова его были произнесены задыхающимся шепотом, чем и оправдывалась их форма. Сери-

* „...Господа присяжные, настало время, когда вы должны протянуть спасительную руку бедному безумцу. Если вы считаете, что все, о чем здесь говорили, было совершено человеком с ожесточенным сердцем, кровожадным, если вы считаете, что этот двадцатилетний ребенок был недостаточно несчастен, тогда вынесите ему безжалостный приговор... Но, господа, легко совершить судебную ошибку, а мертвые не возвращаются. Нож гильотины движется только в одном направлении, эшафот, увы, означает смерть. Я оставляю вам большую и измученную душу, я вручаю вам Гонзало Альвера, плачевную жертву плачевной судьбы! Останетесь ли вы непреклонными? О, если бы я мог избавить вас от раскаяния! Во власти душевной неуверенности прислушайтесь к голосу своей совести и объявите свое решение. Я исполнил свой долг... Господа присяжные, исполните же и вы ваш... Мы ждем от вас жизни или смерти... Слово за вами!..“ (Фр.)

зь тяжело опустился на скамью, измученный и счастливый. В зале, естественно, не аплодировали, но по выражению лиц, по шедшим к нему *токам* восторга, да и по собственному ощущению он понимал, что говорил превосходно, что произвел сильное впечатление, что сделал все для спасения несчастного преступника. Мадемуазель Мортье только протянула к нему руки — слова были излишни. Вытирая лоб платком, он повернулся к Альвера и сказал ему несколько одобрительных слов, — тот по-прежнему молча смотрел на него мутным взглядом.

Прокурор, вполне уверенный в результатах процесса, ограничился лишь весьма кратким возражением: заявил протест против странных намеков по адресу следственных властей и ответил на доводы защитника об отсутствии заранее обдуманного намерения. Серизье тоже сказал всего несколько слов, зная, что добавить к речи больше нечего. И, хотя прокурор говорил об „*insinuations qui ne sauraient atteindre la justice française*“*, а защитник воскликнул: „*Pourquoi cette affirmation inexacte, indigne de vous et de nous, Monsieur l'avocat général?*“* — тон обоих противников был весьма любезный, и каждый из них с величайшей похвалой отозвался о таланте другого.

Вермандуа смотрел на присяжных. „Торквемада угрюмо молчит. Его не прошибло...“ Он на цыпочках вышел в тускло освещенную двумя лампочками галерею и наткнулся на графиню де Белланкомбр, которая умоляла пристава пропустить ее к защитнику. Графиня была в необычайном возбуждении. Увидев Вермандуа, она метнулась к нему и схватила его за руки. „Ах, это было изумительно! Я в жизни не слышала такой речи! Я просто потрясена! А вы?“ — „Я тоже, дорогая“. — „Нет, вы не так говорите! Он превзошел самого себя. И не я одна это думаю: около меня дико восторгались люди, которые, наверное, не любят социалистов“. — „Да, я с вами согласен. Очень хорошая речь“. „Очень хорошая речь!“ Не очень хорошая, а изумительная! — воскликнула графиня и, очевидно, по-своему объяснив себе умеренность похвалы, добавила: — Ваше показание было тоже необыкновенное! Как жаль, что вы гово-

* „Инсинуациях, не способных задеть французское правосудие“ (Фр.).

* „Господин прокурор, к чему же такое неточное утверждение, недостойное вас, а для нас оскорбительное?“ (Фр.)

рили только четыре минуты: я смотрела на часы. Вы были совестью суда, и я совершенно уверена, что ваше показание и эта речь спасут ему голову, я уверена совершенно!“ „Не надейтесь, дорогой друг, нет ни одного шанса из тысячи“. — „Вы ошибаетесь! Я уверена, что вы ошибаетесь!.. Вы, кажется, большей части дебатов и не слышали?“ — „Да, я сначала был заперт в комнате свидетелей, а затем отправился на свежий воздух отдышаться. Это как в кинематографе, когда быстро и бес-связно показывают наиболее завлекательные сцены из фильма, который пойдет только на будущей неделе... А где граф?“ — „Он уехал. Обещал прислать за мной автомобиль, но боюсь, что я не дождусь, тогда, надеюсь, вы меня довезете?“ („Верх удачи, — подумал Верман-дуа, — и болтать с ней час, и еще платить за автомоби-ль“.) — „Я буду счастлив...“ Она вдруг бросилась к двери. Там показался Серизье. „Сейчас бежать? Нет, нельзя: решительно не на что сослаться“. Он подошел к адвокату и тоже наговорил ему комплиментов.

— ...Это одна из лучших речей, которые я когда-либо в жизни слышал.

— Полноте, вы меня конфузите.

— Думаете ли вы, что есть надежда?

— Ни малейшей.

— Не может быть! Я не верю! — сказала графиня. — Вот вы увидите, что они признают смягчающие обстоя-тельства! Я непременно хочу быть при объявлении вер-дикта. Когда, по-вашему, он будет вынесен?

— Помилуйте, как же я могу это знать?

— Но есть ли у нас час времени?

— Думаю, что есть. Во всяком случае, присяжным заказан обед.

— Если так, то нельзя ли нам втроем пообедать в ресторане?

— Это, к сожалению, невозможно. Я не могу поки-нуть здание суда. Мало ли что может быть.

— Тогда с вами вдвоем, дорогой друг?

— Я очень рад, — ответил Вермандуа без восторга: плати и за обед, и за автомобиль. „Но зато приема она у меня тогда не дождется!“

— Хотите сейчас? Ведь мы завтракали очень рано... Постойте, — сказала она, обращаясь к адвокату. — А этот несчастный? Он получит обед?

— Да, конечно.

— Нельзя ли что-нибудь для него сделать. Ну, бу-тылку вина, сладкое что-нибудь. Умоляю вас... — Она

поспешно вынула из сумки сто франков. — Вы все можете, вы здесь царите, я видела. Нельзя ли передать эти деньги ему?

— Ему нельзя, но тюремному начальству для него можно, у них там есть кантина*, и я знаю, что кто-то посылал ему туда деньги, — сказал Серизье, давая понять, что кто-то это Вермандуа. — Кое-что сделал для него и я... Я передам деньги.

— Отлично, благодарю вас! Но если можно, чтобы ему и сегодня, сейчас дали чего-нибудь, вина или коньяку, а? Благодарю вас, дорогой друг! („Он уже тоже дорогой друг. Какое быстрое повышение в чине.“) Пойдем, пойдем... Но предупреждаю вас, наскоро я почти ничего есть не буду. Поэтому не надо в Трианон, пойдем куда-нибудь ближе. Если вы мне дадите немного холодного мяса с салатом и бокал шампанского, я буду вам благодарна навек... У меня расхотелись нервы!.. Вот и это освещение...“ „Что холодное мясо, это хорошо. Но еще шампанским ее поить!“ — подумал Вермандуа, впрочем, благодушно: ему самому хотелось поесть и выпить. — Вы знаете, я в суде, кажется, сто лет не бывала, и все себе представляла по „Воскресению“ Толстого. Вы помните?

— Кто же этого не помнит?

— Однако это карикатура, не правда ли, дорогой друг?

— Я не нахожу, но, как вы знаете, я чужд христианским настроениям. Кроме того, Толстой пошел по линии наименьшего сопротивления, положив в основу своего романа случай судебной ошибки. Ведь судебная ошибка все же не общее правило ваших учреждений. И наконец, меня всегда угнетали гуманные клише, даже толстовские, — сказал Вермандуа и пожалел о сказанном: в гуманных клише кроме Толстого мог быть сегодня признан виновным и Серизье, да и он сам.

— Я догадываюсь, что вы относитесь к суду вообще иронически. Совершенно напрасно, — возразил адвокат, прикрывая улыбкой легкое раздражение: ему не понравился тон Вермандуа. — Извините меня, иронизировать очень легко, и смешные стороны можно найти в чем угодно. Гуманные клише вам не нравятся, но кары тоже вам не нравятся. Чего же вы хотите? Думаю, что в гуманности надо знать меру. Господа скептики, а

*От фр. *cantine* — столовая. — *Прим. ред.*

равно и крайние гуманисты, отрицающие право судить и карать, пока ничего лучшего вместо „наших учреждений“, вместо суда присяжных и уголовного кодекса не изобрели. И пока они ничего лучшего не изобретут, мы вправе не очень считаться с их насмешливо-враждебным отношением к суду и к адвокату. Я принципиальный противник смертной казни, но я не нахожу, что убийц надо отпускать на свободу или помещать в больницы, если, разумеется, они в самом деле не душевнобольные.

— Ах, не говорите этого, ради Бога! — сказала графиня. — Вот мы сейчас пойдем в ресторан, будем пить шампанское, а этого несчастного отведут в камеру, где он будет месяц или два ждать казни?.. Нет, нет, я этому не верю! Я просто не могу, не могу этому поверить после вашей речи, после вашего показания! — Полузакрыв глаза, она поднесла к вискам ладони. Вдруг у нее на глазах выступили слезы. Она еще хотела что-то сказать и заплакала. Вермандуа смотрел на нее с удивлением. „Да, она очень добра, и, в сущности, я совершенно напрасно над ней потешаюсь...“ „Извините меня, я дура, — с трудом выговорила графиня, — но я все воспринимаю музыкально, и это тоже, и здесь очень страшное, правда? Я уверена, вы понимаете?.. Вот эти тусклые лампы... Должно быть, и у Альвера в камере такой странный свет...“

Серизье смущенно отошел, тоже очень удивленный. Он ничего музыкально не воспринимал, однако и ему стало страшно. Удовлетворение от блестящей речи у него сразу исчезло. Он подумал о том, что теперь мог переживать Альвера. „Надо подойти к нему и сказать что-нибудь, слова ободрения... Но какие слова? Язык не повернется. Да, хуже всего эти часы ожидания приговора...“ Нелегко было вообще говорить с человеком, которого он только что публично называл на все лады полудиотом и полоумным („правда, я его предупредил, что это говорится для присяжных“); но еще тягостнее было то, что слова ободрения могли звучать лишь крайне фальшиво: ни малейшей надежды на спасение головы преступника у него не было. Серизье не сомневался, что Альвера притворяется сумасшедшим. „Еще вчера он беседовал со мной довольно разумно...“ Мысль о том, что в человеке может в один день произойти важная перемена, была чужда адвокату. Он изобразил на лице бодрую улыбку и быстро прошел к подсудимому.

ХIII.

„И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофе из громадной чашки, нежась на эластическом упругом диване...“*

Вислиценус засмеялся и положил корешком вверх раскрытый толстый том Гоголя. „Я и не знал, что парижские кофейни так ослепительны. Точно так же описывал он красоты Днепра и римское небо... Вот и я отдаюсь „сибаритскому наслаждению“. Этот номер гостиницы, конечно, не так великолепен, тут нет модных фресок за стеклом и благородного приспешника-гарсона, но я тоже нежусь на эластическом упругом диване и если сегодня освобожусь рано, то пойду вечером в облитый золотом кинематограф. Сибаритство вправду существует на все возрасты и на все карманы...“

Он был настроен прекрасно. Чувствовал себя значительно лучше, вероятно, оттого, что бросил курить. Сначала решил было бросить сразу, раз навсегда, потом разрешил себе постепенность: пять папирос в день, три, две. Теперь Вислиценус выкуривал за день одну папиросу, позволяя себе ее днем в шестом часу, и с утра ждал этой минуты. Сердечных припадков не было уже довольно давно. „Да, это и есть счастье, — думал он, вспоминая ужасную, нестерпимо нарастающую боль с „*sensation de mort imminente*“. — Счастье просто и элементарно: отсутствие болезни, отсутствие нищеты — синоним практической свободы, той свободы, которая, как бы ни лгали люди, для них неизмеримо ценнее, чем право участия в выборной комедии или право чтения дрянных книг и газет“.

Хоть ему было несколько стыдно, он не мог не сознавать, что его душевному спокойствию способствовало и прекращение слежки. На улицах он больше не замечал плюгавого человека неизвестной национальности. Слежка вызывала у него не страх, а душевную тревогу,

*Неточная цитата из: Н. В. Гоголь, Рим. Собр. соч. в 6-ти томах, М., 1949 г., т. 3, с. 192.

особенно неприятную потому, что вопрос „гестапо или ГПУ“? так решен и не был. „Во всяком случае, они поступили правильно, уничтожив этот ненужный расход: матерый зверь одряхлел, больше не страшен и ничего злодейского не предпримет. Матерый зверь теперь и свое *освобождение* видит в том, что сбросил с себя шкуру зверя...“

„Да, освобождение, — думал Вислиценус, — ведь еще месяц тому назад я размышлял о самоубийстве. Люди, боящиеся смерти, говорят, что самоубийство — выход малодушный. Это вздор, конечно. Я знал немало людей, покончивших с собой, и среди них ни одного труса не было, тогда как те, что обвиняли их в малодушии, действительно не всегда принадлежали к храбрецам. Никаких теоретических возражений против самоубийства у меня нет и теперь: в жизни могут быть и часто бывают положения, когда в самом деле ничего другого не остается. Именно смерть *непостыдная*, даже, быть может, единственная непостыдная? Но я-то, я теперь зачем стал бы кончать с собой? От страха смерти? Ведь это просто глупо: грудная жаба не рак, особыми мучениями не грозит, умрешь в одну минуту. Или из-за *пата*? Да вот же нашел какой-то выход. Позорный? Нет, ничего позорного в нем нет. Я ни от чего не отказываюсь. Я даже не считаю свою жизнь ошибкой. Не было ошибки, пока я искренно или *почти* искренно вслед за какими-то, тоже *почти* искренними народолюбцами хотел расплыться в народной массе, сохранив факел, или светоч, или еще что-то в этом роде. Все остальное лишь логически, на основании разных Энгельсов и Бельтовых, умственной второстепенности которых я тогда не замечал, вытекало из факела. Может быть, и желание расплыться было не так у нас сильно? Да, конечно, Ильич был великий политический шахматист и любил людей, даже своих, не больше, чем Ласкер любит пешки своей партии. Силу его, помимо гениальности, именно составляла ненависть ко всему *ихнему*, — то, что было и у меня и что, к сожалению, стало исчезать или, вернее, распространилось также на *наше*. Однако лживости у нас у всех, у *пешек*, тогда не было. Лживой насквозь была только пора после смерти Ильича, когда личный, годами накопившийся капитал порядочности, веры, убеждений уже был почти целиком растрочен после первых кровавых лет, а мы еще продолжали твердить о факеле, о светлом будущем, о революционном подъеме, о мировом пожаре и т.п. Троцкий

продолжает верить в это и по сей день или, ради биографа, делает вид, будто верит. На самом деле всем нам понемногу стало ясно, что, хотя враг побежден, а выходит кабак (он употребил мысленно более крепкое слово). Привычка к брошюрному мировоззрению осталась — так вышедший в люди мещанин продолжает пить чай вприкуску. Остался условный и смешной жаргон вроде спортивного: один теннисист *побил* другого теннисиста, и могучая рыжая кобыла *отомстила* за свое поражение на прошлогодних скачках — этого не надо понимать дословно... Буржуазную мораль мы отвергли — и, разумеется, отлично сделали, — но так называемая революционная выветрилась очень быстро. На самом деле и тогда, в краткие годы празднования победы, все уже было как сейчас. С той, правда, важной для нас разницей, что при евреях, при Троцком, Каменеве, Зиновьеве, как прежде при Ильиче, террора против своих не было — просто евреи не догадались, — а грузин первый догадался, что отлично можно и против своих: как это скажется в расчете на десятилетия — неизвестно, а сейчас, в расчете на годы или месяцы, — даже очень выгодно... Я тогда совсем собрался в Китай поднимать желтую расу, так удачно подняв белую...

Он лениво взял было книгу: уж очень ему надоели эти мысли, тон которых больше не отвечал его планам. „Нет, что-то все же недодумано... Нет, нет, я не „кающийся большевик“, да и в „кающемся дворянине“ больше не верю. И то была такая же — ну, пусть чуть лучшая — олеография, олеографическая выдумка народолюбцев, прикрывавшая борьбу за власть (как у декабристов), или честолюбие, или просто спортивные инстинкты и моду; тогда привилегированную молодежь тянуло на революцию, как еще раньше на службу в гвардии, а теперь на теннис и на велосипедные рекорды. Дальше что? Если даже по таким побуждениям взялись в молодости за факелы и мы, то это решительно ничего не меняет в ценности дела. Нет, я отказываюсь лишь от немногого, преимущественно от олеографии. Но в мои годы каждый человек имеет право на отставку с мундиром и пенсией, я не виноват, что по случайности одновременно с выслугой лет заметил простую элементарную жизнь, простое, элементарное „счастье“, которое проглядел за Бельтовыми и Энгельсами. Революционный мундир я навсегда снимаю, а пенсия моя очень скромная: хлеб, уха, дешевенькое вино да солнце на

остающиеся год или два жизни. И очень может быть, что ничего нового тут нет и что в этом своем освобождении я *перекликаюсь* (по ныне принятому, хоть идиотскому выражению) с многими другими революционерами, жившими и умершими давным давно. Счастье? Что такое счастье? Вполне возможно, что молодые арийские жеребята в расистской конюшне вполне счастливы. Конюшенная философия отлично может давать счастье, но я ее не хочу и никакой теперь не хочу, и пусть гады истребляют гадов, а я и перед негодами распаркиваться перед смертью не стану...“

Он подумал, что и к Наде идти незачем. „У нее в глазах *скользила боль*, та боль, которая как будто что-то „искупает“. Может быть, боль оттого, что она любовница Кангарова? Или просто оттого, что ей очень, очень хочется выйти замуж. Со мной она тогда чувствовала себя неловко, и выражение у нее было такое, какое может быть у человека, выходящего из уборной и натыкающегося на знакомую даму... Я больше не люблю ее, иначе мне не хотелось бы думать о ней цинично. Да, верно, я и прежде ее не любил, и никого вообще в жизни не любил по-настоящему. Разве в ссылке Марью Васильевну? Но это было от скуки, и физиология прикрывалась олеографически „единомыслием“, так что я и сам не могу сказать, в кого я, собственно, был влюблен, в женщину или в большевичку, и был ли вообще влюблен или „искал верного товарища по работе“: мы тогда ухитрились и самих себя обманывать с большим искусством. Я долго себя уверял, что у *борца* для личной жизни нет времени: борцы — монахи революции. Возможно, что я проворонил жизнь или лучшее в жизни. А когда *влюбился* (взять в кавычки?), вышло еще глупее, да вдобавок и гадко. Даже поэтам — а уж на что ловкие и опытные лгуны! — не удалось сделать поэтической старческую любовь. Для стариков это, разумеется, драма, но на свете есть много довольно противных драм. Люди же молодые — а тут хозяева они — всегда над этим смеялись, и, несмотря на более или менее талантливое творчество престарелых поэтов, влюбленный старик в литературе — почти такая же комическая фигура, как развратный *старичок* (или *старикашка*), да, в сущности, и большой разницы нет. Знай сверчок свой скверный одинокий шесток. Что делать? Есть философия, есть карты, есть политика, рыбная ловля, мысли о бессмертии души, собирание почтовых марок... Мало ли что можно делать, да где же сказано, что

человек всегда может найти вполне удобный для себя выход? — опять подумал он. — Надя, конечно, надо мной смеялась, и она была права, и незачем обманывать себя мыслью, что, если бы Надя *жила* со мной, а не с Кангаровым, то это было бы неизмеримо лучше, чище и благороднее. Да, разумеется, деревня, глушь, больше ничего не остается. И газет читать не буду или уж разве местную французскую. А выйдут деньги, тогда увидим. Ведь и грудная жаба обо мне все же вспомнит рано или поздно, вернее рано. Во всяком случае, не будет того чувства, которое было до сих пор: чувства человека в лифте, застрявшем между двумя этажами...”

После окончательного расчета по должности у него осталось восемь тысяч франков собственных — гораздо больше, чем он думал. Сдав деньги, он отнес свой остаток в банк, — ему с непривычки было смешно, что у него теперь собственный „текущий счет“: отрицателям и врагам буржуазной цивилизации постоянно приходится пользоваться ее *благами*. По дороге из банка домой он остановился на набережной. Убогие парижские рыболовы сидели над водой с удочками — этот вид всегда его смешил: рыбная ловля на Сене! Вспомнил с обычным умилением Енисей — и вдруг мысли об *освобождении*, давно у него носившиеся, определились поновому. „Да, ведь *это* еще остается!“ — подумал Вислиценус с внезапно нахлынувшей радостью. „Зачем же тогда сидеть в Париже, где восемь тысяч уйдут в полгода? Лучше уехать в глушь, там жизнь втрое дешевле и в сто раз спокойнее. Человек создан для солнца и для деревни...” Почему-то ему вспомнился Каstellан, крошечный городок в Провансе, в котором он был когда-то проездом, еще до войны. В воспоминании осталась прелестная старинная площадь, залитая, до глазной боли, белым южным светом. Больше не помнил решительно ничего. „Может быть, там и реки нет или в ней нет ни единой рыбы? Во всяком случае, и река, и рыба найдутся где-нибудь поблизости, в какой-либо деревушке, столь же милой, столь же солнечной, столь же уютной. Поезжу, поищу, там и поселюсь на остаток своих дней. Жить, где тебя никто не знает, вставать с зарей, ложиться с заходом солнца. Что ж, целый день заниматься рыбной ловлей, как порою на Енисее? Тогда была Марья Васильевна и на полках всевозможные Энгельсы — теперь уж без Энгельсов. Правда, и Енисей в Провансе нет, но ведь дело не в улове. В той идилличе-

ской ссылке была еще охота. С грудной жабой охотиться нельзя, да и дорого, а рыбная ловля почти ничего не стоит и не так утомляет, напротив. Если же станет скучно, то буду писать воспоминания, — подумал он с усмешкой, — американский издатель ведь теперь для оставшихся политических деятелей разновидность американского дядюшки. Денег хватит больше чем на год. В деревушке, верно, можно жить и на пятьсот франков в месяц. Какие расходы? Сниму избу, они теперь во Франции отдаются чуть ли не даром. Мяса все равно лучше есть поменьше, будет своя рыба, а к ней картошка, хлеб, дешевенькое местное вино, которое у них иногда бывает лучше дорогих, прославленных. Еще расходы на газету, на бумагу, на рыболовную снасть, на спиртовую лампу. Разве мне впервой жить на гроши? Да я всю жизнь до революции жил рублей на двадцать пять в месяц... Как же я не подумал об этом раньше? Но раньше я не знал, что у меня останется восемь тысяч. Жить в месте, где нет ни одного русского, ни ГПУ, ни гестапо, ни Нади, ни Кангарова. Год проживу спокойно, а там будет видно. Скорее всего, умру, и меня похоронят на казенный счет по распоряжению мэра. И вот как закончит свою довольно бурную жизнь человек, называвшийся Неем, Чацким, Ураловым, Кирджали, Дакочи, Вислиценусом и черт знает как еще... Полагалось бы, разумеется, „умереть на руках“ у кого-нибудь (тоже идиотское выражение: никто никогда ни на чьих руках и ни в чьих „объятиях“ не умирал), но можно отлично умереть без „рук“, без „урны“, без речей, без вранья, без „Памяти старого борца“... Он был счастлив, как давно не был.

На следующий день Вислиценус обошел несколько магазинов, торговавших рыболовными принадлежностями; долго присматривался к витринам, затем вошел, справлялся о ценах, брал прейскуранты, где были. Он купил все, что требовалось, истратил около трехсот франков и как зачарованный не мог налюбоваться купленным. „В сущности, я не могу и сам сказать, где причина и где следствие: уйду ли я в символический Каstellан от политического пата, или пат образовался оттого, что я почувствовал потребность уйти? Вернее, тут нет ни причины, ни следствия: это случилось одновременно. Но *служить* больше я не могу. Все преступления, все гнусности, всю пролитую кровь можно было терпеть, пока была вера, что мы строим новую жизнь; а когда оказалось, что все, к общей искренней или злоб-

ной радости, ведет благополучно в кабак, то и делать мне с ними больше нечего. Уйти к другим? Печатать в капиталистических изданиях разоблачения о наших делах и людях? Нет, слуга покорный!“ — думал он с отвращением.

С рыбной ловлей был отчасти связан и Гоголь. Вислиценус вспомнил, что в „Мертвых душах“ очень сообразительно описана рыбная ловля у Петуха. Он разыскал это место, прочел и решил перечитать все. „Ведь, собственно, самые лучшие книги — те, что впервые читаешь между пятнадцатую и восемнадцатую годами. В Каstellан захвачу с собой несколько *таких* книг...“ Вначале, впрочем, многое его раздражило: и уверенно-неправильный язык („нет тут у писателей никакого божественного права“), и то, что Гоголь великосветские сплетни называл „камеражами“, очевидно, производя слово от „камеры“, и то, что он — как-то с вызовом или для увеселения читателей? — говорил „свекруха“ вместо „свекровь“, „скандальоз“ вместо „скандал“; что в доме Костанжогло (необычайно противный — тоже с вызовом противный — субъект) не было „фресков“; что бабы называют помещика „серебро ты сердечное“, что Улинька была „блистающего“ роста, что она „в двух-трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель перенес бы их тотчас на мрамор...“ Раздражила его и болтливость — „отчего же не употребить этого слова?“ „Какому счастливцу принадлежал этот закоулок? А помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому тридцатичетырехлетнему господину, коллежскому секретарю, неженатому, холостому человеку. Что же за человек такой, какого нрава, каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников? Разумеется, следует расспросить у соседей...“ „Тут все лишнее, что ни слово. Если *господин* тридцатичетырехлетний, то незачем разъяснять, что молодой, а если холостой, то, естественно, неженатый, и уезд назван Тремалаханским из остроумия, чтобы посмешить, и все это в общем недалеко ушло от „шпремен зи дейтчей“ и „можете себе вообразить, сударь ты мой“ его же почтмейстеров. Капитан Копейкин — пародия на самого автора, и рассказывал капитан не менее интересно, чем сам он писал...“ Вислиценус продолжал читать с насмешкой (теперь везде и во всем видел ложь). „Очень

талантливый, гениальный был обманщик, но обманщик. Никаких *идеалов* у него не было, все это вранье, его „идеалы“ — такая же фальшивка, как благородные приспешники парижской кофейни. С истинным удовольствием он описывал только Ноздревых и Коробочек (их-то описал бесподобно). А что скромно обещал подать читателям „мужа, одаренного божескими доблестями“ (неужто „божескими“?), и „чудную русскую девицу, какой не сыскать в мире“, мужа и девицу, перед которыми „мертвыми покажутся все добродетельные люди других племен“ (уж будто все?), то от этих олеографий он первый помер бы со скуки, это был обман, самое обыкновенное национальное бахвальство, как у разных Загоскиных, вдобавок неискреннее: старался *подмаслить* цензуру, как Коробочка заседателя, да и Загоскиных боялся, — подхалимаж той эпохи. Думал, что положил конец „Юриям Милославским“, а его собственные олеографические Муразовы ничем не лучше „Юриев Милославских“, даже хуже, потому что с претензиями, с философией и с вызовом: „откупщик? презираете? а он в сто раз лучше вас всех?..“

Прочитав до конца книгу, Вислиценус, снова ее перелистывая, думал о ней и, как ни странно, по поводу нее — о себе, о своей жизни, о своем деле, о большевиках. „Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны быть помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядиться в армяки и будут мужики... Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Князь был в самом расстроенном состоянии духа...“ „Это ему казалось смешным пределом глупого и невозможного. А вот мы, если мужиков во фраки не нарядили, то уж помещиков в армяки наверное. И его добродетельный князь с „насильственными мерами“ (фигура умолчания) — тот же высокопоставленный стахановец из наших художественных шедевров, такой же выдуманный, такой же глупый и такой же скверный. „Само собой разумеется, что пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии...“ Вот в чем добродетельный князь и его создатель видели правосудие! Недалеко же ушли от нас. У наших нынешних гоголят невинные, правда, никогда не страдают...“

Ему самому стало совестно. „Какое же тут сравнение? Ведь это одна из самых прелестных, изумительных книг, существующих в мире! „Мертвые души“ можно читать десять и пятьдесят раз, я впервые прочел в

корпусе, читал в эмиграции, читал в тюрьме, читал в ссылке, читаю теперь тут, и всегда с наслаждением, и, разумеется, не оттого, что в ней разоблачаются взяточники и мошенники. Он хотел *заклеймить* и неожиданно „возвел в перл создания“ — выражение гадкое, однако это так: возвел. Мне все равно, брали взятки или нет его чиновники — хоть каждый из них вышел симпатичнее Костанжогло, — но жизнь их была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мне при чтении этой книги всегда — задолго до *освобождения* — хотелось жить во время Чичикова, путешествовать в его бричке, есть в его гостинице поросенка с хреном, запивать фруктовой блины у Коробочки, возить с собой том „Герцогины Лавальер“, ловить рыбу у Петра Петровича Петуха и разговаривать с ним (он премильный) или хотя бы с Селифаном — уж лучше, чем с Кангаровым-Московским...“

„Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было: ничего не пособил дядя Митяй. „Стой, стой! — кричали мужики: садись-ка, ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй...“ „В этом удивительном человеке, в числе десятка других персонажей, сидел и газетный фельетонист. Пушкин, Толстой не унизились бы до такого остроумия. Да он и сам не знал, во имя чего издевается над мужиками. Чичиков торговал мертвыми душами, а надо было торговать живыми. С точки зрения дяди Митяя, пожалуй, было приятнее, чтобы продавались мертвые души, а не живые, в том числе его собственная. Дядя Митяй был вправе не разделять идейного возмущения автора. Но мы кое-как сделали мораль басни комической бессмыслицей: от красавца Костанжогло ничего не осталось, а дядя Митяй, слава Богу, здравствует...“

Только теперь Вислиценусу стало ясно, почему он вдруг впал в нелепую мысленную полемику с Гоголем. „Да, конечно, это был великий, гениальный писатель, и у него *было* божественное право, и он мог пользоваться любыми выражениями, — вот как Достоевский писал „текущий момент“, хоть этого выражения теперь себе не позволяют и провинциальные журналисты. Книга эта вышла о вечном, но совершенно не так, как того хотел автор. О вечном, или о долгом, и уж во всяком случае, и о нас: мы сторона в этом деле. Никуда не неслась Русь, „как необгонимая тройка“, и в его время, — но у него это был стилистический прием, а у нас на этом строилось все! В Руси дяди Митяя мы, больше-

вики, изменили немногим больше, чем добродетельный князь и благочестивый откупщик. Хотели натравить дядю Митяя на дядю Миняя, пользуясь тем, что у одного десятина земли и двумя коровенками больше. Но ведь и это не удалось, хоть мы очень старались и хоть натравливание — самый легкий вид политической работы. Да, разумеется, Чичиков сидит в комиссии Госплана, Манилов пишет статьи в газетах, Ки́фа Мокиевич состоит в союзе безбожников, „насильственные действия“ стали более жестокими, внуки князя роют каналы, — но дядя Митяй остался в своей деревне, да, в сущности, почти и не изменился, хоть записался в колхоз. Мы кончимся, как кончились князья-стахановцы, а это море останется, и что с ним будет, никому неизвестно. Вероятно, в конце концов все выйдет, как хочет дядя Митяй, — да будет его святая воля...“

Однако настроиться на весело-циничный лад ему не удалось. „Что же мы сделали? Для чего опоганили жизнь и себя? Для чего отправили на тот свет миллионы людей? Для чего научили весь мир никогда невиданному по беззастенчивости злу? Объявили, что все позволено, показали, что все позволено, а свелось дело к перемещению Чичикова и Ки́фы Мокиевича, только без *органичности* гоголевской жизни, без ее уюта и раздолья — некуда больше скакать тройке, достаточно проскакала, — и вместо социалистического мужа с божескими доблестями выходит на сцену крепкий звереныш, получивший воспитание в приюте для беспризорных и высшее образование в комсомоле...“

Вислиценус взглянул на часы: пора ехать к Наде. „Посижу полчаса, поболтаем о пустяках, она скажет, что у меня прекрасный вид, что грудная жаба — пустая болезнь, что я на пути к полному выздоровлению, лишь бы строго соблюдать предписания профессора Фуко. Кангаров, вероятно, не появится: благоразумнее не встречаться с опальным боярином. Ну, поеду, если уловлено. Ей это еще менее нужно, чем мне, но и время наше не столь уж драгоценно. Останусь у нее до шести, затем назад, пообедаю, и либо в кинематограф, либо домой, доканчивать „Рим“. Жаль, скверная погода...“ Вспомнил с досадой, что вечером назначено свидание с Зигфридом Майером. „Чего еще этому нужно? Ведь сказал же ему, что еду сегодня за город, в санаторий, что вернусь поздно, что послезавтра уезжаю. Нет, необ-

ходимо встретиться! Какие-нибудь сплетни, любопытный человечек, все ему надо знать: куда, когда, зачем... Надо бы позвонить, что не приду..."

Он лениво (сразу обленился после *освобождения*) поднялся с дивана и стал одеваться: на диване лежал без пиджака, по-гоголевски уютно. Взглянул с досадой на пиджачок: пятна, и пуговица висит на ниточке. Вислиценус достал из шкафа второй, более новый костюм. Рассеянно рассовал по карманам бумажник, перо, мелочь, автобусные билетки. Надел воротничок, язычок высовывается — все равно („а год тому назад так к ней не пошел бы“). Справился по записной книжке, как ехать. Надя все объяснила по телефону подробно. „Если по железной дороге, то быстрее, и от вокзала к нам ближе. Но автобусы ходят на ять, я вам советую поехать в автобусе, всего пятьдесят минут езды, отличная прогулка. Надо слезть там, где увидите кабачок „Taverne du Puits sans vin“*, такое странное название... Да вам и кондуктор покажет, они знают, туда теперь все ездят в автобусах, кроме буржуев, у которых свои машины. А от остановки идти минут десять, надеюсь, это вас не пугает?“

Вислиценус вышел из гостиницы, оглянулся: нет шпика. С приятным чувством он отправился к подземной дороге, спустился на станцию, дышать тотчас стало тяжело. „Это не от грудной жабы, метро отравляет жизнь и здоровым: ведь рассадник микробов, сюда солнце никогда не проникает...“ Вспомнил, что скоро наступит час папиросы, и с неудовольствием заметил, что не взял с собой портсигара: в пиджак и жилет переложил вещи из старого костюма, а в брюки нет; он папиросы и спички носил в кармане брюк. „Куплю по дороге другие, запаса тогда хватит в Провансе надолго. А если целый месяц не будет припадков, то можно и увеличить немного норму...“

XIV.

„Вам тут выходить, месье, — сказал необыкновенно болтливый кондуктор, почти не умолкавший за все время поездки, — вот по этой дороге пойдете вверх, второй поворот направо и прямо к роще. За ней увидите сана-

* „Таверна „Источник без вина“ (фр.).

торий, большое здание, три этажа. Слепой еще ошибется, а уж кривой ни за что“. „Идти минут десять?“ — „Это как идти. Скороход добежит и в пять, а так, дай Бог, чтобы в четверть часа. Радости в такую погоду мало, лучше сидеть дома“. Пассажир в черном пальто соскочил, оглянулся и поднял воротник пальто. „Чтобы жить в этом санатории, надо сначала купить свой автомобиль, тогда очень удобно, а то...“ — „Значит, по этой дороге прямо?“ — „По этой самой, второй поворот направо. Если же вам не к спеху, то можно посидеть тут в кабачке и выпить глоток вина, вон тот месть так и делает...“ „Нестерпимый народ — присяжные весельчаки, славящиеся на весь околоток остроумием“, — подумал Вислиценус, чувствуя, что ему неприятна демократическая фамильярность. Он поблагодарил кондуктора и вышел из автокара. „Удачного лечения, местье“, — пожелал кондуктор и как-то особенно жизнерадостно дернул звонок. „Может быть, и в самом деле переждать дождь: лучше опоздать, чем прийти в невозможном виде. Вот она, „Taverne du Puits sans vin“... Это был убогий кабачок в древнем полуразвалившемся одноэтажном строении. „Домику лет триста, только во Франции такие встречаешь“.

Человек в черном пальто посторонился на пороге, но сам не вошел, видимо, не соблазнившись. В неуютном полутемном кабачке у стойки женщина с фигурой, напоминавшей криволинейную, болтала с блузником в синих, вытертых до пределов возможного панталонах. В углу за столиком сидели еще два человека. Больше не было никого. „Стакан горячего вина“, — спросил Вислиценус, садясь за столик у окна. „Закурить? Нет, там, за чаем: будут сразу все наслаждения — папироса, Надя, чай... Я тоже впадаю в тон этого кондуктора“.

Он отодвинул занавеску. Небо было гнетущее, безнадежно серое; место поразило его унылым, почти злоеющим видом: тощие мокрые деревья, уходящая вверх к роще скучная дорога. „Какой был смысл устраивать тут кабачок? Неужели только для автобусов? Впрочем, во всей Франции тысячи кабачков существуют неизвестно как и зачем: кормится при них хозяин, больше ему ничего и не нужно. „Taverne du Puits sans vin“? Верно, что-то произошло в этой лагуне сто или двести лет тому назад, люди и забыли давно, что именно, но кабачок, пережив пятьдесят владельцев, сохранил то же название“.

Кринолинного вида хозяйка принесла вино, ругнула погоду и из уважения к новому человеку повернула выключатель. Осветились полки с бесчисленными бутылками: полными и пустыми, в стоячем и в лежачем виде. „Vous vous guinez, patronne“*, — сказал, смеясь, блузник. Вислиценус отхлебнул вина и задумался о том же: о новой жизни в солнечном Провансе. „В эти часы буду в своей избе заниматься домашним хозяйством: варить уху, что ли? — в самих словах этих было нечто, вызывавшее у него улыбку. — Не забыл ли, как варят, с енисейских времен? На столе свежий хлеб, деревенское масло, соленое, чудесное, бутылка вина, потом чай. В самом деле, что же еще нужно для счастья?..“ Ему вдруг стало весело. „А может быть, удастся себя починить на свежем воздухе? Может, лет десять проскриплю — чем черт не шутит? А чем бы еще мог пошутить черт? Вдруг Надя приедет ко мне в гости? Ведь и Кангаров болен. Было бы весьма кстати, если б его похоронили с „Вы жертвою пали...“ на Красной площади... Удивительно, что каждый из нас непременно кому-нибудь от всей души желает скорой смерти...“

Допив вино, взглянул в окно — дождь как будто стал затихать. „Нельзя дольше ждать: стемнеет, дороги не найдешь...“ „Quel sale temps“**, — сказала снова хозяйка, получая деньги. „Да, жаль, что жить пришлось в такое sale temps, — весело подумал он, — в двадцать первом веке, верно, будет лучше. Но и в двадцатом ничего, если на юге, на солнце, подальше от людей...“ Вислиценус вышел из кабачка и с наслаждением вдохнул сырой — „деревенский!“ — воздух. Он направился по указанной ему дороге; подъем был довольно крутой: „Как бы от подъема еще не приключился в гостях припадок, только этого не хватало бы...“

За кабачком потянулся забор с сиротливыми, разодранными афишами, голые кусты, росшие косо — под неправдоподобным углом к земле. Проехал велосипедист, видимо, направлявшийся в кабачок. Мелькнуло еще какое-то жилое строение с освещенным окном. Затем пошли пустыри. День кончался, но еще не совсем стемнело. Где-то вдали просвистел паровоз — в протяжном злобно свистке было что-то совершенно неожиданное, — откуда тут железная дорога? „В самом

* „Вы себя разорите, хозяйка“ (фр.).

** „Какое грязное время“ (фр.).

деле, она сказала, что в санаторий можно ехать и по железной дороге. Вероятно, вокзал по другую сторону...“ Из-за дождя Вислиценус шел довольно быстро. „Эх, мокрый приду, башмаки грязные, — подумал он. — Чай будет, надеюсь, горячий...“ Он радостно вспомнил о папиросе. „А Надя? Да, *все-таки* с удовольствием повидаю и Надю... Вот сейчас первый поворот. Второй, должно быть, вон там, где неприятно светится дорога. Неуютно это, когда два света...“

Впереди кто-то показался на углу, оглянулся и пошел дальше, тоже в направлении к второму повороту. „Что это случилось неприятное?“ — беспокойно подумал Вислиценус. Далеко, справа, наверху вдруг зажглись правильным рядом крошечные огоньки. „Это, верно, санаторий. Конечно, идти еще минут десять. И полдороги не сделал... Да ведь это тот, что ехал со мной в автобусе! — внезапно с очень неприятным недоумением вспомнил он. — Где же этот субъект был, пока я сидел в кабачке?..“ Вислиценус остановился, повернулся назад и увидел, что за ним, на некотором расстоянии, так шагах в двадцати, идут два человека. Сердце у него сильно забилося: это были те самые люди, которые одновременно с ним молча сидели в углу кабачка. „Да, конечно, те же!.. Конечно!..“ Несмотря на сумерки, опистаться было невозможно. „Что такое?.. Неужели?..“ Он поспешно опустил руку в задний карман брюк — и с ужасом вспомнил, что вместе с папиросами оставил дома револьвер. Сорвавшись с места, он быстро пошел дальше. „Как же это может быть?.. Майер?.. Да, я ему сказал, куда еду. Но если не Майер?..“ Дрожащий красноватый свет на дороге у второго поворота усилился. „Там кто-то едет...“ Еще ускорив шаги, Вислиценус снова оглянулся: те тоже шли быстрее. „Нет сомнения!..“ Поспешно, почти бегом, он подошел к повороту. Справа, по боковой дороге, совсем близко, очень медленно ехал огромный автомобиль с низкими красными огнями. „Что это!“ — сказал шепотом Вислиценус и остановился. Сердце стучало все страшнее. Вдруг он почувствовал боль, ту самую, режущую, нарастающую с бешеной быстротой. „Припадок! Сейчас смерть! Гестапо или ГПУ? Но если ГПУ, то Надя!..“ Рядом с шофером сидел рыжий человек с зверским лицом. „Это он! Но где же, где я его видел?!“ — задыхаясь от невыносимой боли, успел подумать Вислиценус. Он схватился рукой за сердце. Мелькнул желтоватый дощатый ящик.

„С ума сойти!“ — подумала Надежда Ивановна и со вздохом положила на стол прекрасное самопишущее перо с модным, прозрачным резервуаром — подарок Кангарова-Московского ко дню ее рождения. „Разорился на этот паркер, — сказал он, вручая подарок и целуя ее (самый обыкновенный отеческий, вдобавок праздничный поцелуй), — хоть и не полагается называть цену подарка, а тебе по секрету скажу: триста пятьдесят франчей...“ Она взглянула на часы: четверть шестого. Вислиценус обещал приехать в пять. Правда, точно рассчитать поездку из Парижа в санаторий нелегко: автобусы по этой линии ходят не очень регулярно. „Может, дождь задержал?.. Просидел, верно, часа полтора. До обеда успею еще немного поработать и, разумеется, после обеда весь вечер!..“ Надя с некоторой гордостью вспомнила, что, когда вечером работаешь, то потом заснуть трудно: так и у всех писателей, даже у самых настоящих. „Ничего не поделаешь...“ Она шла и на бессонную ночь — или, вернее, на бессонный вечер, — через полчаса все-таки засыпала, несмотря на напряженную умственную работу.

Ожидание гостя мешало творчеству. „Чуть только распишешься, он, красавец, придет, надо будет спрашивать его о здоровье и делать вид, что очень интересуешься. Зачем я его позвала?“ — с досадой подумала Надежда Ивановна. Она пересилила себя — нельзя терять время, — снова взяла перо и стала править конец главы: „Все было объято оранжевым пожаром осени. Под ногами как-то тяжело вздыхали лужи. Евгений Горский вошел в мастерскую. „Еремеич! — светло сказал он. — Нынче выпустим шестьдесят первый. Будем соревноваться, старик. Небось, работаем на оборону, на оборону нашей советской страны!“ „И то будем, Евгений Евгеньевич, — ответил Еремеич, — мы тоже кой-что понимаем, чай, недаром прошли гражданскую“. „Небось, Царицына не забыл, браток?“ — „Не такой был переплет, чтоб забыть!..“ Недобрый огонек вспыхнул в стальных глазах стоявшего у мотора Карталинского“.

С Карталинским дело не ладилось. Человек, выдающий иностранным фашистам и белогвардейцам тайны авиационного производства СССР, очевидно, никакого снисхождения не заслуживал и не мог рассчитывать на снисхождение. Значит, высшая мера? Но применять

высшую меру Надежде Ивановне не хотелось. Прежде всего, описывать расстрел нельзя: не напечатают. Надя и не знала в точности, как и где производятся расстрелы; слышала только передававшиеся шепотом рассказы о „корабле смерти“, о „черном вороне“ — вероятно, устарелые. Да и неприятно описывать казнь, хотя бы казнь диверсанта и вредителя. „Дать десять лет? Нет, за это десяти лет никогда не дадут...“ А главное, человек со стальными глазами был не так уж отвратителен Надежде Ивановне: ей было жаль Карталинского.

Надя погрешила против совести: тему выбрала отчасти с расчетом на то, чтобы легче было устроить. Женька, работавший в одном из московских журналов, посоветовал прислать редакции на выбор два рассказа: „Который лучше понравится, тот и поместим“ (Надежда Ивановна, конечно, понимала, что „поместим“ было сказано для большего величия вместо „поместят“). Он дал еще совет — пусть хоть один из рассказов будет о вредительстве: „Если о вредителях и диверсантах, то нам трудно отказать, тут, понимаешь, запятая“. Это не очень понравилось Наде: ее первый рассказ был просто о любви, об одной истории, случившейся с молодой, очень красивой советской девушкой, служившей по дипломатическому ведомству за границей. Сюда никак нельзя было прицепить вредителей и диверсантов.

Второй рассказ пришлось написать иначе. Впрочем, это тоже была история молодой, очень красивой советской девушки, и тоже история любовная, однако на фоне диверсии и вредительства. Действие происходило на авиационном заводе. Надя никогда в жизни авиационных заводов не видела, но на одном из них служил Василий Васильевич, молодой инженер, приславший из Москвы милое письмо — „объяснение в любви не объяснение в любви, а так вроде“. Он был портретно изображен под именем Евгения Евгеньевича (Евгений было любимое имя Надежды Ивановны); только глаза были другие, черные, чтобы никто из читателей не догадался, а если догадается сам Василий Васильевич, то ничего, пусть. Евгений Евгеньевич был инженер-летчик. У Нади возникли сомнения: бывают ли инженеры-летчики? Может быть, сами инженеры никогда не летают? Однако для интриги это было необходимо: именно во время полета в душу Евгения Горского закрадывалось страшное подозрение.

„Все-таки что же это с Вислиценусом?“ — подумала Надя с недоумением. На столе был приготовлен чай, не

санаторский, а собственный. „Детка, они за тэ-комплэ* берут двенадцать франчей с рыла, — объяснил Надежде Ивановне Кангаров, в тоне которого чувствовалось уважение к людям, умеющим так драться, — а за рюмку дрянного порто — десять!“ Она приняла это к сведению. Вдобавок не хотела, чтобы угощение ее гостя было поставлено в общий счет, хотя Кангаров предоставил ей полную свободу: „Лопай, дитя мое, что хочешь. Захочешь птичьего молока — требуй!“ — ласково-отечески говорил он. Птичьего молока в санатории не было, а чай был неважный: поджаренный хлеб с маслом — „за версту слышно, как жуешь“, — лимон, молоко и в умеренном количестве печенье. Надя все сделала на свои деньги, очень хорошо и без больших затрат. Утром съездила в Париж, купила обыкновенный *râté* вместо страсбургского пирога, красную икру вместо зернистой и баниульс вместо портвейна — „выдам за портвейн, не такой уж он знаток, не разберет“. На круглом столе стояли графин, торт, сэндвичи трех сортов (третий был специальностью Нади: что-то сложное, неясное, увенчанное кусочком томата). Право заваривать чай было ею молчаливо завоевано под предлогом, что она пьет чай порусски. „Ох, недоволен управляющий: коситесь на наш чайник“, — сказала в первый раз Надежда Ивановна. „Пусть этот вор и мошенник перекосит свои бесстыжие глаза“, — возмущенно ответил Кангаров-Московский.

„Не психуйте, Станислав Михайлович, — спокойно повелительно сказала Оля. Карталинский вспыхнул. „Вы раскаетесь!“ — произнес он грязным голосом. „Не думаю. Не пришлось бы раскаться вам. Советскому Союзу не нужны такие люди, как вы“. В эту минуту дверь моторной мастерской с криканьем отворилась, пропев ласково ноту „ми“, и послышался натужный гул самолета...“

Этой фразой Надежда Ивановна осталась довольна, тут править нечего. Очень хорош *грязный* голос, лишь бы в типографии не набрали „грозный“. Одно только было досадно: о двери, поющей ноту „ля“, она, помнится, читала у кого-то из знаменитых советских авторов. „Ну, за несколько лет, верно, все забыли, да у меня не „ля“, а „ми“, не все же двери одинаково настроены, и не всем писателям иметь абсолютный слух“, — лукаво

*Чай со сладостями (*фр.* *thé complet*). — *Прим. ред.*

*Пирог (*фр.*).

подумала Надя. Главное все-таки не в подробностях; подробности прелестные, как у самых лучших писателей. Главное в интриге: что же делать с Карталиным?

На минуту она отвлеклась и размечталась. „Рассказ примут и тотчас напечатают, он будет иметь успех — ну, не очень большой, не *шумный*, а все-таки, — заплачат деньги, пригласят писать постоянно, придут запросы из других журналов. Дальше могу писать по рассказу в неделю. Очень скоро наберется на книгу...“ Она представила себе томик небольшого формата, в темно-синем переплете, с серебряной надписью, или в сером, с надписью в два цвета: красный и черный, и чтобы в кружке был какой-нибудь рисуночек, а на обороте тисненые цифры: „4 р. 50 к.“. Заглянула мысленно и на последнюю страницу: „Отв. редактор... Техредактор... Корректор... Уполном. Главлита... Тираж 40.000...“ „Отчего же не может быть сорок тысяч?“ И еще будет обращение: „Читатель! Сообщи свой отзыв об этой книге, как о содержании, так и об оформлении, указав возраст и профессию“. Надежда Ивановна представила себе, как ей за границу будут пересылаться сотни отзывов от людей разных возрастов и профессий. „Кое-кому надо будет отвечать. Ну что ж, писатели всегда этим занимались... Но Карталинский? Все-таки как быть с Карталиным?“

Об этом она думала много и упорно. Было намечено несколько вариантов. По первому, на завод просто являлись представители особого отдела, и читателю предоставлялось догадаться об участии диверсанта. По второму варианту, отвечая на вопрос районного прокурора Томилиной, Карталинский холодно говорил: „Вы правы. Я разоблачен. Дальнейшие объяснения считаю излишними“. И по застывшей маске его лица никто не мог сделать вывода о том, что испытывало в эту минуту страшное подобие человека. Этот вариант нравился Надежде Ивановне, тут страшное подобие человека было не так уж безнадежно отвратительно. „Евгений Горский должен получить награду. Неприятно... Оле это будет не совсем по душе: ее жених получил награду за разоблачение человека, которого расстреляют. Мне, по крайней мере, было бы не по душе. Какую, кстати, награду за это дают? Можно спросить у Вислиценуса, он, наверное, знает“.

Надежда Ивановна снова взглянула на часы и встрепенулась: что же это, тридцать пять минут шестого!

„Неужели не нашел? Или просто забыл?“ Она хотела было позвонить по телефону, но сообразила, что не имеет смысла: если Вислиценус забыл, то теперь выезжать не стоит: от него ехать полтора часа... „Подождет он, пока я его позову опять! Так не поступают!.. Если дождь, так на то есть зонтики“. Она подошла к круглому столику и съела сэндвич, все размышляя о конце рассказа. Насчет сообщника Карталинского сомнений быть не могло. Надя вернулась к письменному столу, перелистала рукопись и прочла: „Врешь, очкастый боров!“ — заревел Цымбал и, изогнувшись, со страшной силой ударил Шейдлера по переносице. Шейдлер вскрикнул истошным нутряным криком и упал, обливаясь густой, иссиня-багровой кровью. „Дела-то, ахти, дела-то!“ — прошептала с ужасом в голосе старая Матвеевна“.

Это тоже было недурно, право, очень недурно. Но Карталинский? Был еще третий вариант: в диверсанта влюблялась Томила. „Ваша судьба в моих руках, — сказала тихо районный прокурор („сказала“? „сказал“? Нет, „сказала“). — Я могла бы направить дело на прекращение или, во всяком случае, в обвинительном заключении ударить по Карлу Шейдлеру. Но...“ Допустимость этого варианта вызывала большие сомнения: и районный прокурор не пошла бы, верно, на такой риск, и не начинать же еще новое вредительское дело с районным прокурором, и редактор едва ли напечатает. „С ума сойти!“ — опять сказала себе Надежда Ивановна. Вдруг ее озарило. В камере районного прокурора, наверное, был портрет Сталина. Что, если, взглянув на это лицо, Карталинский в порыве душевного раскаяния перейдет на сторону советской власти! Тогда ему можно назначить три года работ, он перекуется и станет новым человеком!

Надя задумалась: ей было неловко. „В чем дело! Все так пишут! Неправдоподобно? Но такой перелом надо, разумеется, подготовить психологически. Можно будет показать, что Карталинский уже давно сомневался в фашистском деле, что он лишь подчинялся шантажу Шейдлера. Нужно все это хорошенько вылизать изнутри, как делали Толстой и Достоевский. Я, конечно, не Толстой и не Достоевский, но я говорю о методах... Во всяком случае, при таком конце напечатают непременно. Разве только если это уже у кого-нибудь из писателей есть? Нет, кажется, нет... Похожее есть, а такого

нет. И авиационные заводы тоже не очень использованы“. Надежда Ивановна, приступая к рассказу, просмотрела все журналы за три года. „Главное, попасть в первый раз, чтоб где-нибудь напечатали. А потом я совсем иначе буду писать, без всякого подхалимажа. Только бы поместили, Господи, только бы поместили! Ну, хорошо, натяжка, подхалимаж, вранье, но ведь это деталь, а все остальное, право, очень мило. Притом ведь это новелла...“ Слово „новелла“ действительно значилось в подзаголовке рассказа. Это означало, что рассказ не вполне бытовой. То есть он, пожалуй, реалистический, но с некоторым скрытым символическим смыслом. „Ей-богу, есть символика, — думала Надя с обидой на критиков, которые еще могли признать ее „бытовичкой“, — она знала, что рассказы с символикой по рангу самые высшие, — я хотела сказать... Ну да все равно, это дело критиков выяснить, что я хотела сказать... А вдруг редактор струсит, что новелла, давно что-то никто новелл не пишет. Неужели не примут?..“ Надежда Ивановна тут же твердо решила остановиться на четвертом варианте. „Уж тогда не посмеют не принять! Да и в художественном отношении это неплохо: Карталинский такой человек, что вполне мог перековаться. И критики пусть тогда попробуют ругать...“ Она снова испуганно себе представила все, что вообще способны написать критики: „У автора заметно старание, но, к сожалению, нет никакого таланта...“ „Неопытность и беспомощность молодой писательницы вызывают улыбку сострадания...“ „Как жаль, что автор „новеллы“ („непременно возьмет в кавычки, проклятый“) не занимается каким-нибудь полезным трудом...“ Или просто: „Какая бездарная пошлятина напечатана в последней книге журнала!..“ „Неужто они будут, однако, такие подлецы и негодяи!“ — в ужасе думала Надежда Ивановна.

Она отложила тетрадку. „Вечером буду писать, а завтра все непременно кончу. Перепишу в двух экземплярах, один оставляю себе, другой пошлю Женьке. Или нет, лучше в трех: в одном журнале не примут, пошлю в другой. Ведь у них „рукописи не возвращаются“, так „разбойники“ и объявляют... Значит, Вислиценус не придет? Либо он заболел, либо это большое свинство! Если он придет в шесть, то рискует встретить амбасадера...“ Надежда Ивановна засмеялась, представляя себе эту встречу. „А когда-то амбасадер говорил „Ко-

мандарм Иванович“... Она отщипнула и съела мармеладку с торта. Хотя Вислиценус поступил с ней так безобразно, Наде было весело. „Был бы Женька тут, можно было бы с ним потанцевать под радио...“ Надежда Ивановна подошла к аппарату и пустила в ход колдовство. Мерный благородный голос спикера сообщал новости: „...Le duc et la duchesse de Windsor ont terminé leur voyage à travers l'Allemagne, après avoir eu l'occasion de visiter en détail, sous la conduite du docteur Ley, chef du front du travail, la plupart des organisations du parti national-socialiste... «On parle beaucoup ces temps-ci d'entente cordiale, de solidarité des démocraties française et britannique. Il convient de signaler le rôle patriotique considérable que jouent les «Fines gueules», cette élite gastronomique française, qui rend aujourd'hui visite à nos amis d'outre-Manche. Les marchands de vin de la Cité, aux traditions et privilèges séculaires, ont organisé en leur honneur une brillante réception dans une charmante hostellerie des bord de la Tamise, dont le propriétaire, un viel ami de la France, a amassé quelques poudreuses bouteilles...» «M. Dominique Cerisier fera signer demain son pourvoi en cassation à Gonzalo Alvera condamné à mort, pour un double assassinat, par la Cour d'assises de Versailles...» «Le célèbre orchestre de Cuban Boys nous est revenu après une tournée triomphale à l'étranger. Il nous apporte le *Chévévé*, un lamento nègre d'une rare beauté. Jamais encore l'âme noire, sauvage et sentimentale à la fois, ne s'est exprimée aussi fidèlement et avec une telle puissance...»*

* „...Герцог и герцогиня Виндзорские вернулись из поездки по Германии, где они имели возможность подробно ознакомиться в сопровождении доктора Лея, руководителя Трудового фронта, со многими организациями национал-социалистической партии...“ „Сейчас много говорят о сердечном согласии и солидарности французских и британских демократов. Уместно будет упомянуть о значительном патристическом вкладе элиты французской гастрономии, организации „Герман“, представители которой находятся сейчас с ответным визитом по ту сторону Ла-Манша. Винооторговцы из Сити, наследники вековых традиций и привилегий, организовали в их честь блестящий прием в очаровательном особняке на берегу Темзы, владелец которого, старинный друг Франции, обладает неплохой коллекцией выдержанных вин...“ „Завтра мэтр Доминик Серизье подаст кассационную жалобу от имени Альвера Гонзало, приговоренного к смерти судом присяжных в Версале...“ „Знаменитый оркестр „Кубинские ребята“ возвращается из своего триумфального зарубежного турне. Они везут нам „Шевере“, на редкость красивый негритянский блюз. Никогда еще одновременно дикая и сентиментальная негритянская душа не выражала себя столь верно и с такой силой...“ (фр.)

XVI.

В последние дни перед отъездом в Испанию командарм Тамарин был занят почти непрерывно; вещи стал укладывать лишь часа за два до отхода поезда. Он терпеть не мог спешки и волновался: не опоздать бы. Чемодан, когда-то превосходный, купленный задолго до войны в английском магазине, все же приготовил еще с утра. Сложил обувь, книги, белье, платье, кое-что из съестных припасов — вышло не очень хорошо, — Константин Александрович только вздыхал, вспоминая о денщике. Но и без денщика, если б не спешка, сложил бы все гораздо лучше. Сапоги, завернутые в газетную бумагу, лежали рядом с колбасой и чаем, книги — поверх воротничков, а в новом пиджаке рукава не были сложены к локтям вдвое. Крышку чемодана удалось придавить лишь с великим трудом. Тамарин даже присел на стул, чтобы отдышаться: „Ох, состарился...“. Когда ремни были затянуты крепко-накрепко, оказалось, что сбоку высовывается что-то белое: носовой платок, что ли? Константин Александрович сердито подоткнул, как мог, это белое под крышку, взглянул на часы, ахнул, быстро побросал в несесер туалетные вещи и послал за автомобилем. Пишущая машина уже находилась в черной коробке; она, на своих пуговках, улеглась в коробку хорошо и ровно. В последнюю минуту оказалось, что карманный испанский словарь лежит на ночном столике (командарм в последние дни, как ни был занят, спешно изучал испанский язык). „Оно и лучше: пригодится в дороге...“ Сунул словарь в карман. „Ну, что еще забыл? Паспорт есть, бумаги есть, деньги есть, ключ есть“. Тамарин простился с хозяином — „через месяц назад к вам, немного отдохну на юге“, — выслушал пожелания доброго пути и хорошей погоды, протянул руку и лакею, почувствовав в этом что-то неприятное: точно он этим рукопожатием награждал или что-то кому-то доказывал. По счету, с процентами прислуге, было уплачено с утра. „Дать ему еще или не давать?“ Константин Александрович сунул лакею двадцать франков, пересчитал вещи и вздохнул свободно.

Приехал он на вокзал все же чуть не за полчаса до отхода поезда. Тут тоже вышла было неприятность: не успел спросить номер носильщика. „Куда же этот болван запропастился? Ведь каких-нибудь десять минут осталось, а его все нет! Сбежал, что ли, с вещами!..“

Однако носильщик появился на перроне вовремя. Константин Александрович радостно с ним расплатился, осведомился и у него, и у кондуктора, верно ли, что никакой пересадки не будет, пересчитал вещи — чемодан, несессер, машинка, — повесил пальто — не забыть, значит, что теперь уже не три штуки, а четыре, — и, наконец, успокоился. Ему самому было совестно: стал совершенным провинциалом. Однако пассажиры второго класса признали в нем человека хорошего общества, высшего по сравнению с ними: вид у него, как всегда, был осанистый и барский.

Место, заказанное за три дня вперед, было хорошее: в углу и лицом к локомотиву. Ехать в спальном вагоне Тamarin не решился: вдруг на вокзале следят, еще полагается ли тратиться на спальный вагон? Сначала он читал было газету — с утра не успел прочесть, а вечерней не купил. Потом, часов в десять, соседи погасили лампочку — как всегда, было легкое сомнение: пора ли гасить? а если кто хочет еще читать? — все молчаливо сошлись: пора.

Спал Константин Александрович плохо: отвык путешествовать, опять грустно думал, что и в мелочах прорывается старость. „Прежде не сел бы в вагон, не надев дорожной фуражки и перчаток. Одеколон тоже забыл...“ Устроиться в углу никак не удавалось: то голове неудобно, то ноги затекают. Менял положение, в первую минуту казалось: теперь будет отлично, затем снова оказывалось нехорошо. Особенно мешали спать тревожные мысли все о том же, об этой злополучной командировке в Испанию.

Собственно, в поручении начальства не было ничего худого: ему предписывалось на месте ознакомиться с положением на мадридском фронте и представить в Москву доклад. „Миссия чисто военная, никакого отношения к ГПУ и ко всему такому...“ Задача была даже почетная, свидетельствовавшая о доверии к нему военного ведомства. Кроме того, она была интересна, давала возможность снова увидеть войну — хоть плохонькую, но войну — и проверить положения его труда о роли моторизованных частей. Тем не менее Тamarin дорого дал бы за освобождение от этой командировки: так была спокойна и приятна его жизнь в Париже. „Послали в Испанию, могут тотчас затем вызвать в Москву...“

В близком к границе французском городке его ждали на вокзале и тотчас проводили куда следовало. Был приготовлен утренний завтрак, плотный и очень хоро-

ший. У подъезда стоял огромный новенький „бьюик“. Первое впечатление Константина Александровича было благоприятное: поездка организована хорошо. Выпив большую рюмку коньяка, он сел в автомобиль — чемодан, несессер, машина — и выехал из городка. Утро было свежее, солнечное. Тамарин, утомленный ночью в вагоне, задремал и проснулся лишь у границы.

Это было какое-то подобие станции, хоть как будто не железнодорожной. Стояло очень много грузовиков и автомобилей разного вида. Всюду висели флаги, афиши, плакаты. „Точно ярмарка!“ — подумал Константин Александрович, испуганно читая надписи на ходу медленно пробиравшегося вперед „бьюика“. „Partido Socialista Unificado...“ „Confederación Nacional del Trabajo“... „Federación Anarquista Ibérica“...*

Автомобиль остановился перед большим строением. Оттуда доносился сильный резкий голос, не такой, каким в жизни говорят люди: голос митингового оратора. „Что это здесь происходит? Митинг?“ К „бьюику“ подошел седой человек в полувоенном костюме, в черно-красном берете, с черно-красным шарфом. Шофер что-то сказал вполголоса. Человек в берете отдал честь сжатым кулаком. Тамарин только изумленно на него взглянул — не знал, как следует отвечать. „Неужели это серьезно?“ „Взяв бумаги командарма, седой человек отрекомендовался по-французски: начальник местного отдела Investigación (Константин Александрович догадался, что это полиция), анархист. „Ваши документы будут сейчас готовы, — сказал он очень любезно, крепко пожимая гостю руку, — не хотите ли закусить?“ „Благодарю вас... Тут, кажется, происходит собрание?“ „Да, республика получила в дар несколько амбулаторий от английской рабочей партии, — холодно сказал анархист. — И еще кое-что пришло из Москвы... Правда, из Москвы не в дар, а за деньги, за наличное золото, — неожиданно добавил он, видимо, не удержавшись. — Мы очень благодарны. Сейчас там будет выступать ваш соотечественник. Быть может, вы желаете послушать?“ „Этого добра только не хватало! Стоило приезжать в Испанию“, — подумал Константин Александрович. Анархист взглянул на него и усмехнулся, точно поняв его мысль. „С дороги вам следовало бы подкрепиться. Не взыщите: у нас угощение плохое“.

* „Объединенная социалистическая партия“, „Национальная конфедерация труда“, „Иберийская федерация анархистов“ (исп.).

Он проводил гостя в буфет, сказал несколько слов буфетчику и откланялся. Буфетчик приветствовал гостя тоже сжатым кулаком. Угощение в самом деле было очень скромное: на столе стояли две бутылки, сухари, колбаса. „Я могу приготовить шоколад“, — сказал нерешительно буфетчик на ломаном французском языке. Тамарин поспешил отказаться: „Вот вина я выпью с удовольствием“.

В буфете никого больше не было. „Верно, все там?.. Вино недурное, крепче французского... К колбасе лучше не прикасаться. Как бы только они не обиделись...“ Константин Александрович держал себя очень осторожно. „Надеюсь, тут принимают французские деньги“. Он хотел подозвать буфетчика, но не знал, как это сделать, „стучать по стакану невежливо“, — и произнес что-то неопределенное, подняв монету. Буфетчик подошел к нему и, улыбаясь, отказался от платы. „Ами, ами русо“, — сказал он и сам предложил разменять франки на песеты. „Благодарю вас, да, пожалуйста“, — попросил Тамарин. „Вот где он меня нагреет!“ К его удивлению, буфетчик назвал ту самую цифру, которую Константину Александровичу указали в Париже. „Официальный курс? Значит, и за обмен ничего не взял? Приятный народ!“ „У вас деньги еще старые?“ — спросил он, увидев на монетах изображение Альфонса XIII. Буфетчик засмеялся. Из-за стены раздались рукоплекания. Тот же голос особенно громко и радостно что-то прокричал по-испански. Рукоплекания усилились, затем установилась тишина, Константин Александрович услышал на необыкновенно высокой ноте давно знакомое: „Та-варищи и граждане-е!“ „Наши, голубчики!“ Он вдруг неожиданно для самого себя испытал чувство, близкое к физическому отвращению. „Да, вот именно: „Из ми-илых уст вдруг услышал я Р-радной страны р-радную речь!..“ Тамарин послушал с минуту: неестественно высокие выкрики чередовались с испанскими фразами, тоже на высокой ноте, но пониже: очевидно, переводчик пытался попасть в тон оратору. „И не попадешь: тот дурак сразу начал с верхнего „до“, — думал командарм, перебирая на столе и изучая незнакомые ему монеты. Буфетчик что-то говорил, по-видимому, любезное и приветливое. Константин Александрович так же приветливо кивал головой.

Все здесь было странно и забавно: то, что люди приветствовали друг друга сжатым кулаком, то, что говорили „Salud“, то, что валявшаяся на столе газета

называлась „Solidaridad Obrera“*, то, что слова кончались на os: „Mineros Asturios“[†], то, что из окна виднелось черно-красное полотно с надписью: „...Miguel Bakunin“. „И буфетчик не буфетчик, а кабльеро — с каким достоинством держится. Да и полицейский скорее приятный: лицо умное, видел, должно быть, на своем веку немало. Это я понимаю: анархисты заведуют полицией“. Константин Александрович очень ценил полицию как важное государственное учреждение; но была у него к ней и родовая дворянская брезгливость.

— Вот ваши документы, — сказал начальник *Investigación*, — это „хоха де рута“. „Что такое хоха де рута? Рута, верно, дорога? Значит, подорожная“, — сообразил Тамарин, приятно кивая головой. „У вас могут также спросить в дороге пароль“. „Ах, пароль?“ Немного к нему наклонившись, анархист произнес вполголоса: „Durruti. Todos para uno“[‡]. „Durruti. Todos para uno?“ — сконфуженно повторял Константин Александрович, точно ему было совестно. Они вышли, буфетчик пожелал счастливого пути и крепко пожал руку Тамарину. „...Фашистским палачам испанского народа!“ — дико прокричал голос за стеной. Раздались громоподобные рукоплескания, продолжавшиеся минуты три. Затем что-то было объявлено по-испански, рукоплескания повторились, на этот раз довольно жидкие, и послышалась совершенно другая речь: какой-то голос, не митинговый, а человеческий, очень просто говорил что-то простое, по-английски. „Точно после балагана попал в порядочное общество...“

Начальник полиции посоветовал отдать подорожную шоферу, протислся и тоже пожелал счастливого пути. „Salud“, — сказал, осмелев, Тамарин. „Это грех сказать, полиция у них любезная. Ну-с, первый номер прошел вполне благополучно. Дай Бог, чтобы так шло и дальше...“ Мимо них поплыло еще несколько плакатов, они проехали под большим красно-желто-фиолетовым флагом, затем под другим желто-красным в полосках и понеслись по дороге. Вначале Тамарин с любопытством ко всему приглядывался. „Пока трудно предположить, что в стране идет гражданская война. Правда, отсюда далеко, но все-таки... Пароля не забыть: „Durruti. Todos para uno...“ „Durruti. Todos para uno...“

* „Рабочая солидарность“ (исп.).

† „Шахтеры Астурии“ (исп.).

‡ „Дуррути. Все за одного“ (исп.).

Дорога была очень хорошая, почти не хуже французских. Вдали виднелись снеговые горы. Вид гор всегда утомлял Константина Александровича, ему казалось, что красота их преувеличивается. „Страна как будто бедная, особенно после Франции...“ Изредка проходили бородатые люди с мешками, с тяжелой палкой через плечо. Навстречу автомобилю прошла запряженная мулом странного вида тележка, сколоченная, верно, лет сто тому назад. Правил мулом маленький мальчик, а сзади величественно раскинулся старый красивый человек с седой бородой, в красном жилете, в огромной шляпе, с кивжалом. Он равнодушно, без малейшего любопытства оглянул „бьюик“, даже и не оглянул: автомобиль прошел в его поле зрения, а он только не отвел глаз. „Красота! Ведь прямо испанский гранд, даром что мужик!“ — с восхищением подумал Константин Александрович, повеселевший от холодка, от вина, от белого солнечного дня. Ему все больше нравились испанцы.

Тамарин устроился в автомобиле поудобнее и стал соображать, как дальше распределится его время. Первая остановка была назначена в городе, где он должен был от уполномоченного лица получить справку, как ехать дальше. Это свидание не очень улыбалось Константину Александровичу. „Нет, конечно, не чекист!“ Командарм взглянул на часы, времени было еще много. Он вытянул ноги и опять задремал, изредка просыпаясь и оглядывая изумленным взглядом дорогу, поля, людей.

В город они приехали не скоро. „Хороший город... И женщины как будто славненькие. Но, право, ничего испанского... Хоть бы одна была в шляпе. Мантильи где же? „От Севильи до Гренады“, — лениво думал Тамарин по пути к дому уполномоченного лица. Какое это было уполномоченное лицо, он в точности не знал. „Посол не посол, консул не консул и уж, конечно, не чекист. Да мне все равно, хоть бы и чекист: получу от него справки, как ехать, где остановиться, и прощайте, товарищ“, — нерешительно сказал себе командарм, чувствуя, что в действительности это не все равно.

Уполномоченный принял его в хорошем помещении, по-видимому, прежде бывшем конторой. Из-за заваленного бумагами американского стола поднялся еще молодой, приятного вида человек, весьма приветливо встретивший Тамарина. „Нет, разумеется, не чекист. И кажется, русский, великоросс“, — с облегчением поду-

мал Константин Александрович. „Да, да, меня предупредили из Парижа о вашем приезде. Жаль только, что предупредили всего за день. Но я страшно рад, что наконец-то сюда отправили вас. Давно пора!“

Уполномоченный с первых слов наговорил Тамарину любезностей. Слова его показывали, что он отлично знает, с кем имеет дело, высоко ценит собеседника и придает его приезду огромное значение: теперь все пойдет по-новому. Хотя Константин Александрович не был тщеславен, тон уполномоченного не мог не быть ему приятным. Вместе с тем Тамарин чувствовал и смущение: очевидно, с его поездкой связывались какие-то преувеличенные, ни с чем не сообразные ожидания. Он хотел было сразу объяснить, что это неверно, что у него чисто осведомительная командировка, но не объяснил: „Кто там у них знает, что можно говорить, чего нельзя? Если ему так сообщили, то пусть так и будет“. Константин Александрович в Париже несколько отвык от советских нравов, однако твердо помнил, что надо по возможности держать язык за зубами. „Конечно, не чекист. Вполне культурный человек, право, как будто *наш*. Это новая школа: не Кангаров!“ Уполномоченный говорил о гражданской войне улыбаясь, в тоне веселом, как будто означавшем: „Забавный, забавный народ, и война у них забавная, и все тотчас рассылалось бы, если б не мы“.

— ...Ну, обо всем этом уж коли говорить, так надо бы долго, досконально, по сути дела, — сказал он. — Вы когда хотите ехать в Мадрид, Константин Александрович?

— Да вы и мое имя-отчество знаете? Удивительно.

— Ничего удивительного, как не знать? Вас все знают.

— Благодарю вас... Когда ехать? Хоть сейчас.

— Помилуйте! Это по-суворовски, я понимаю, но ведь и Суворов, верно, на ночь останавливался, правда? Да и накормить вас нужно. Нет, мы вот что сделаем. Милости просим у меня откусать и переночевать. Комната есть, постель есть. А завтра езжайте на заре, как раз к вечеру и попадете в Мадрид. Идет?

— И сам не знаю, — нерешительно сказал Константин Александрович. Ему очень хотелось принять приглашение, но он не знал, имеет ли право. Хотя в его задаче не было ничего особенно срочного, все же он получил инструкцию ехать „с максимальной скоростью“. „Понятие растяжимое...“ — Право, не знаю. —

Тамарин полусознательно хотел взвалить ответственность на доводы уполномоченного.

— Разумеется, поступайте, как признаете необходимым, — сказал тот, будто угадав его чувства. — Но ведь опять же как вы сейчас поедете? Авто, правда, есть, очень хороший... Ваш? Нет, ваш должен вернуться во Францию, разве вам не сказали? Такое у *них* правило, — пояснил уполномоченный. „У *них*“ как будто их сблизило. Оба, однако, тотчас испугались. — Я вам дам отличнейший „бьюик“, за этим дело не станет. Но вот насчет переводчицы будет хуже.

— Какой переводчицы?

— Ведь вы по-испански не говорите? Значит, вам необходима переводчица? У нас орудуют почему-то все переводчицы, а не переводчики. Отлично справляются с делом и не трусят. Даром что молоденькие. На ять у нас растет молодежь. Но как на беду, обе мои переводчицы заняты. Если бы меня предупредили о вашем приезде дня за четыре, — неодобрительно сказал уполномоченный. — Ну так вот что мы с вами сделаем, Константин Александрович. Для вас уже приготовлен шофер (он произнес это слово с ударением на первом слоге. „Нет, не *наш*“, — подумал Тамарин.). Это немец-интербригадник. Он был ранен под Мадридом, и я его посадил на шоферскую работу. Не беспокойтесь, не завезет и не опрокинет, он свое дело знает. Но по-испански он ни бэ ни мэ. То есть бэ и мэ, пожалуй, знает, да этого вам мало. Зато в телохранители я вам дам настоящего испанца, который говорит по-французски. Вы по-французски говорите? Ну, вот и отлично. Славный юноша, партиец.

— Зачем же телохранитель?

— Так полагается.

— Разве дорога небезопасна?

— Это как сказать? Бомбеж такой бывает с аэропланов, что только держись. И бомбят, и бреющим полетом пулеметят. В городах у нас теперь есть зенитки, хоть мало, а вдоль дорог зениток не расставишь.

— Чем же тут может быть полезен телохранитель?

— Всякое бывает, — уклончиво ответил уполномоченный. — Так полагается. Да вот он будет у вас и переводчиком... Вы на сколько времени в Мадрид едете? — быстро спросил он. — На две-три недели? Отлично, тогда он может совсем при вас остаться, на обратном пути мне его сдадите. Идет?

— Сердечно вас благодарю.

— Рад стараться, ваше превосходительство, — весело сказал уполномоченный. („Вот это он сказал, как Кангаров“.) — Так вы меня малость подождите здесь, Константин Александрович, я начтет всего распоряжусь, и пойдем обедать. — Он направился было к дверям, но, как будто что-то вспомнив, остановился, вернулся к американскому столу, передвинул в рассеянности пепельницу, столь же рассеянно опустил крышку стола и вышел. „Ох, нет, не *наш*, совсем не наш!“ — подумал Константин Александрович без обиды, но огорченно, точно поступок уполномоченного сразу показал ему разницу между старой и новой Россией. „Господи, лишь бы туда не вызвали!“

— Ну, вот все и сделано, — сказал уполномоченный, вернувшись через несколько минут. — Шофер заказан — раз. Телохранитель заказан — два. Он, кстати, в восторге от того, что будет вас сопровождать. Комната для вас готова — три. И наконец, обед, ежели еще не готов, то скоро будет готов, — четыре. Пожалуйста к столу, Константин Александрович. Никого больше не будет, только мы с вами оба два.

Они прошли в другую комнату (комнат, по-видимому, было много). Там, на столе, покрытом довольно чистой белой скатертью, Тамарин с удовлетворением увидел две бутылки и несколько сортов закусок, среди них паюсную икру.

— Могу, к счастью, нынче накормить вас как следует. Как раз получил из Москвы посылочку. И водочки прислали, и даже икорки, баловство, — сказал уполномоченный, точно оправдываясь, но, увидев, что взгляд гостя ласково остановился на белой бутылке, засмеялся. — Баловство, да кого же и баловать, как не нас? Жизнь собачья!.. Потребляете, ваше превосходительство? Одобряю. А то что ж, „Жомини да Жомини, а о водке ни полслова“... Хотя Константину Александровичу теперь было уже вполне ясно, что уполномоченный не *наш*, старая, почтенная, выдержавшая все исторические перемены прибаутка и вид водки вызвали душевное единение; оба повеселели.

— Еще по одной... Вот так. Икорки прошу отведать, неделю тому назад была в Москве. Ну-с, теперь, пожалуйста, можно вернуться и к Жомини. Вы хотите знать мое мнение? Извольте.

Он изложил свой взгляд на положение в Испании.

Говорил уполномоченный очень гладко, Константин Александрович даже подивился гладкости его речи. „Способный, бестия, и все они, молодые, способные: не такая школа жизни, как была у нас“. Он внимательно слушал то, что говорил уполномоченный. Многие казалось Тамарину совершенной ерундой, но говорил молодой человек так гладко, так уверенно и, главное, так напористо, что Константин Александрович не чувствовал себя в силах противостоять этому напору, происшедшему, по-видимому, даже не от внутреннего убеждения, а от темперамента, от устройства горла и головных связок говорившего. Смысл, если не буквальный, то подразумевавшийся, слов уполномоченного заключался в том, что испанцы решительно ничего в своей гражданской войне не понимают, что их нужно совершенно устранить от руководства операциями и что необходимо взять все в свои руки. „Чьи ж это? В твои, что ли?“ — спросил мысленно Тамарин, впрочем, довольно благодушно после третьей рюмки водки.

— Ну а техническая сторона как? — осторожно спросил он, воспользовавшись минутой, когда его собеседник поднес к губам стакан. — Каково тут соотношение сил?

— Самолетов у них много больше. Считаем у них до семисот, из которых примерно сто дали немцы, а остальное итальяшки. Зато наземных войск больше у нас, и, главное, народ с нами. По сути дела, это самое важное.

— А тачки, артиллерия, командный состав?

— Танков и артиллерии тоже у них больше. А командный состав у них блатной. Вы скажете, ведь у Франко все кадровые офицеры. Но что такое, позвольте спросить, испанские кадровые офицеры? Это не французские, не германские, не наши, а простые пронунциантшики*, ничего в войне не смыслящие. Сам Франко шляпа-шляпписсима.

— Неужели ни одного дельного нет? — усомнился Константин Александрович (хоть в душе был почти согласен: ни одного знающего теорию человека). Он назвал несколько попадавшихся в газетах имен. Уполномоченный каждый раз уверенно говорил: „шляпа“, „старая шляпа“ или произносил другие, более сильные слова.

*От исп. *pronunciamento* — призыв к перевороту. — *Прим. ред.*

— Вот бы я не сказал... А как у вас? — спросил Тамарин и пожалел об обмолвке, надо было сказать „у нас“.

— У нас, если хотите знать, тоже хлам. Среди интербригадников есть несколько хороших офицеров, французы, немцы. Командовать батальоном или, пожалуй, полком они могут. Ну, еще Модесто, Листер, я не говорю, — весело сказал хозяин, явно показывая интонацией, *что говорит*. — Отличнейшие ребята, но сомневаюсь штоп.

— А сам Миаха?

— ... Извините выражанс, — ответил, смеясь, уполномоченный. — Впрочем, беру назад, он у нас национальный герой. Да ведь не в нем сила! По сути дела, все в том, что сделает Европа. Вот об этом мне было бы особенно интересно узнать ваше мнение...

Подали жаркое, разговор на несколько минут прервался. Константину Александровичу, однако, не пришлось высказать свое мнение о том, что сделает Европа: уполномоченный говорил все время, все с той же необыкновенной, подавлявшей Тамарина напористостью. Он по-своему произносил имена европейских министров: в имени Даладье произносил „е“, как в слове „копье“ (Константин Александрович даже вздрогнул от неожиданности), а в имени Хор-Белиша делал ударение на „е“, причем в московском говорке его тут как-то чувствовалось давно отмененное ять. Судил он об европейских министрах чрезвычайно уверенно, читал в их душах, как в книге, и каждому из них приписывал особые, неизменно коварные замыслы. Тамарин сам не очень разбирался в политике, все же ему было ясно, что этот молодой человек ничего в ней не смыслит — почти как в военном деле, о котором он тоже попутно высказывал соображения, употребляя разные ученые слова. „Эх ты, уж тут-то помолчал бы, что ты, болван, понимаешь? Политика еще туда-сюда, а в нашем деле только тебя с твоим марксистским анализом не хватало!“ — думал Константин Александрович. Он слушал вежливо и терпеливо, но когда дело зашло о противоречиях между интересами крупной и средней английской буржуазии, почувствовал смертельную скуку, не без труда подавил зевок и, хоть при этом губы сжал плотно, испугался: вдруг тот заметил по подбородку и шее?

— Да, да, политика Парижа и особенно Лондона не ясна, — торопливо сказал Тамарин.

— Как не ясна? Очень ясна! Эти ставленники Сити ненавидят испанскую революцию и во сне видят, как бы ее задушить. Разумеется, из ненависти к нам!

— Возможно, конечно. В отношении Германии и Италии это несомненно так.

— О тех гадах я не говорю. С Германией у нас борьба открытая, не на жизнь, а на смерть! Либо мы, либо они! — энергично сказал уполномоченный и налил себе вина.

— А ваш общий прогноз, поскольку дело идет об Испании?

Уполномоченный поставил стакан на стол и подозрительно взглянул на гостя:

— Прогноз? Разумеется, мы победим! Обязательно победим!

— Я тоже надеюсь. Я только хотел знать, на чем, в частности, основываются ваши надежды?

— Это не надежды, а стопроцентная уверенность. Основывается же она на том, что народ на нашей стороне, — раз. Наши солдаты дерутся как звери. Один пятый полк чего стоит! Это, я вам скажу, наша комса, на ять люди! Затем, с той стороны в штабах те же шляпы да вдобавок еще гнусы — два. А главное, мы победим потому, что так нам велел товарищ Сталин, — три!

— Это, конечно, — поспешно согласился Константин Александрович. — Очень хорошее жаркое. Значит, как будто насчет продуктов тут пока жаловаться грех?

— Нет, обобщать не надо! — несколько уклончиво пояснил уполномоченный. — А вы очень мало взяли. Выпьем еще?

— Пожалуй... Вы сами ведете хозяйство? Не женаты?

— Женат, да жена и ребенок в Москве, — сказал со вздохом уполномоченный. — „Вероятно, оставили заложниками?“ — подумал Тамарин и тоже сочувственно вздохнул. Хозяин взглянул на него искоса. Они выпили. — С вашего разрешения, я прошусь с вами после обеда: мне еще до поздней ночи работать. А вам советую лечь пораньше: дорога в Мадрид долгая. Я велю вас разбудить в шесть часов.

— Если можно, я просил бы даже в пять, — сказал Константин Александрович, искупая ранним часом то, что остался ночевать.

— Можно и в пять. Езжайте раненько, если не в суворовской кибиточке, то на „бьюике“... Гениальный

человек был Суворов, правда? Такого полководца в Европе никогда не было, правда, ваше превосходительство? Да и где им до нас! Ведь если правду сказать, то они нам в подметки не годятся... Допьем бутылку, Константин Александрович? Вино у них недурное, но наше крымское лучше.

— Допьем. Крымское я не так любил, а вот кавказское, особенно карданах, чудесное вино и бьет не в голову, а в ноги, — заметил грустно Тamarin. — Это тоже хорошее. Большое вам спасибо за гостеприимство. Я еще хотел получить у вас некоторые практические справки...

— К вашим услугам. Бензин для авто обеспечен, у шофера будет бумажонка. И хоха де рута тоже будет у него. Да, вам надо знать новый пароль. До Мадрида будет: „Lenin dos dos“*.

— Ах, „Lenin dos dos“? Это легче запомнить. Я прежний чуть было не забыл. „Durruti. Todos para uno“. Впрочем, в дороге ни разу не спросили. Покорнейше благодарю вас за хлопоты. А где бы мне в Мадриде остановиться?

— Разумеется, я могу в два счета устроить вас в гостинице. Но мой совет: остановитесь там, где останавливаюсь я. Там и спокойнее, и, правду сказать, лучше... — Он назвал адрес. — Нет, вам записывать незачем: и шофер ваш, и телохранитель знают это место, они много раз туда ездили, я им скажу.

— Очень, очень благодарю. И еще один вопрос... Это, конечно, мелочь, я все-таки хотел бы знать ваше мнение. Я захватил с собой мундир, но, право, не знаю, как быть: мундир ли носить или штатское платье? С одной стороны, как будто ясно, что штатское, а с другой — к военным ездить и на фронт лучше бы в мундире. Я забыл в Париже спросить, такая досада.

Уполномоченный задумался.

— По общему правилу, наши носят здесь штатское. Но на фронт ездили и в мундире, ведь дело пошло начистоту. По-моему, вы можете надеть мундир.

— Я тоже так думаю.

— Почтения будет больше. Мы здесь теперь первые люди. Никогда еще, Константин Александрович, авторитет нашего государства не был так велик, как теперь.

— Это что и говорить, — уныло сказал Тamarin.

* „Ленин два-два“ (исп.).

XVII.

Константин Александрович долго не мог заснуть в доме советского уполномоченного. Все старался привести в порядок свои первые впечатления от Испании. Думал, не забыл ли о чем-либо важном, не сказал ли чего лишнего. „Нет, кажется, все в порядке. Какие же могут быть впечатления от одного дня, от поездки в автомобиле? Кажется, прекрасная страна и народ прекрасный. Отлично могли бы жить без того, чтобы резать друг друга. Бог их ведает, почему у них эта гражданская война? Может быть, они и сами этого не знают? А может, они-то знают, да нам непонятно. Разве в Европе что-нибудь понимают в нашей революции? Или разве можно понять, что такое происходит в Китае? Я за несколько лет, ежедневно читая газеты, только два имени и запомнил: Сунь Ятсен и Чан Кайши. И еще есть какой-то „христианский генерал“, кажется, главный разбойник. Но все это меня не касается: мое дело изучить положение на месте и представить в Москву доклад. Разумеется, изучить положение будет не легко, не понимая по-испански. Кое-что все-таки было интересно в том, что рассказывал этот товарищ с языком без костей... Нет, кажется, ничего лишнего я ему не сказал, — думал в кровати Тамарин. — Нелепая война, что и говорить. Люди одной крови, одного языка, одной веры режут друг друга из-за идей, которые девяти десятым из них совершенно не интересны. А тут еще наши вмешались (он опять вспомнил „т-та-варищи и граждане!“ на границе). Без них такие дела не делаются. А я на них работаю... Что-то очень холодно в Испании. Уж не простудился ли в дороге? Очень хороша была водка у товарища... — Тамарин вспомнил свой обед с Надеей в Париже и вздохнул. — Где-то моя милая Надя? Так и проститься не успел. Надо ей послать открытку из Мадрида. Командировка секретная, но, Бог даст, Надя генералу Франко о ней не сообщит...“ Он уже дремал, когда на улице послышался дикий крик. „Segeno!“ — орал кто-то с наслаждением. „Что за черт! Это что же? Приглашают ложиться спать?“ „Segeno“ значит „тихо“. Хорош способ устанавливать ночную тишину, — подумал Константин Александрович, улыбаясь. — Право, очень, очень мило. Прямо „Кармен“ в „Музыкальной драме“!..“ Сторож орал уже довольно далеко. Тотчас после его предписания шум на улице уси-

лился. С грохотом проехали грузовики. Тамарин так с улыбкой и заснул.

Разбудили его не в пять, как было условлено, а в четверть седьмого. Он умылся, стараясь не шуметь, и вынул из чемодана военную форму. Она слежалась и немного пахла нафталином. Это было досадно Константину Александровичу: как-никак, он здесь представлял русскую армию. Достал английские бритвы, взял лучшую, „Tuesday“, и выбрился очень тщательно. Натянуть сапоги оказалось труднее, чем было прежде, в России: отвык. „Молода была — янычар была. Стара стала — ... стала!“ — вспомнил он поговорку, которую в его полку произносили с сильным грузинским акцентом и приписывали князю Багратиону, герою Отечественной войны. Несмотря на ранний час, для Константина Александровича был приготовлен завтрак. Его принес на подносе пожилой испанец, накануне подававший обед. Приготовлена была и корзинка с провизией на дорогу. „Нет, право, он очень милый и любезный человек, — думал об уполномоченном Тамарин, сам удивляясь своему „нет, право“, — *просто* очень милый человек. Жаль, что старая Россия плохо понимает новую...“ Вопрос о „на-чае“, еще более чем всегда неприятный Константину Александровичу, разрешился хорошо: немного поколебавшись — можно ли давать на чай испанскому товарищу и если можно, то сколько, — он пожал ему руку, и при рукопожатии, как когда-то гонорар врачам, сунул приготовленную ассигнацию. Испанец ответил рукопожатием, спрятал деньги и очень просто, с достоинством поблагодарил. „Замечательно: настоящий гидальго, — с искренним удивлением подумал Тамарин, спускаясь по лестнице. — А странно, что у товарища прислуживает не русский: это не полагается...“

Вышел он еще более подтянутый, чем обычно: почти как в лучшие, гвардейские времена. При его осанистой фигуре на нем и помятая шинель сидела хорошо. У подъезда стоял большой автомобиль, новенький, очень хороший „бьюик“. Два человека вскочили и отдали честь сжатым кулаком, причем один вытянулся и превратился в статую. Невытянувшийся был еще совсем юноша. „Ах, тот испанский телохранитель!“ — догадался Константин Александрович, сдержав улыбку. Он никогда в жизни не видел лучше вооруженного человека: у юноши были и винтовка, и ручные гранаты на поясе, и сабля, и два пистолета, и кинжал. Опытный взгляд командарма сразу признал русские казенные восьмиза-

рядные пистолеты; винтовка была неизвестного ему образца, а ручные гранаты маленькие, не то польские, не то чехословацкие. „Ничего тут не поймешь: сами они какие-то радикалы, и помогают им и наши, и демократы, и даже фашисты. Правда, за деньги. Правда и то, что помогают мало. „Вот вам на две копейки оружия, и отвяжитесь, проклятые!“ — подумал Тамарин, довольно бойко отвечая на новое приветствие: вытянул руку, но в виде компромисса кулака не сжал, только свел пальцы. Юноша восторженно на него глядел. Несмотря на обилие оружия, ничего военного в наружности молодого испанца не было. Зато шофер, неестественно светлый блондин, лет тридцати, с красной нашивкой на рукаве, был настоящий солдат. У него и приветствие сжатым кулаком вышло по-военному. Тамарин не без удовольствия окинул взглядом его окаменевшую фигуру. „Да, немец! — вспомнил он. — Может быть, для военного эдакое приветствие и не так нелепо“.

— Какие будут приказания? — переспросил Константин Александрович телохранителя, обратившегося к нему с вопросом на французском языке. — Да вот поедем. У вас все готово?

— О да! — с восторгом сказал телохранитель. Немец тоже что-то сказал по-французски. Понять его слова было не совсем легко, но прозвучали они как „так точно-Ваше-Высоко-превосходительство“. Это показало приятной музыкой Константину Александровичу: он за двадцать лет отвык от таких интонаций. „Не отвечать же: „С Богом, ребята“? Этого по-французски не скажешь, да и вообще тут было бы, пожалуй, неуместно: ни Бога, ни ребят“. Он что-то одобрительно пробурчал и сел в автомобиль. Телохранитель с гордостью снял чехол со стоявшего в автомобиле пулемета и, к удовлетворению Тамарина, занял место рядом с шофером. „Слава Богу, не надо будет разговаривать“. По просьбе телохранителя Константин Александрович отдал ему подорожную.

На улице уже собрались зеваки: военная форма командарма вызвала любопытство. Подъехала тележка, запряженная ослом. Чудовищно-безобразная старуха пропела: „*Agua! Quién quiere agua!*“ Тамарин взглянул на нее с изумлением, но и с некоторым удовольствием: эта женщина, правившая ослом, торговавшая водою, вполне отвечала его представлениям об Испании. Те-

* „Вода! Кто хочет воды!“ (исп.)

телохранитель подошел к тележке, очень вежливо поднял фуражку и купил бутылку воды. „Agua, agua! Más fresca que la nieve“*, — запела старуха. Немец с недовольным видом передвинул бутылку, что-то пробормотал и, выпучив глаза, уставился на командарма в ожидании приказаний. „Мы можем ехать“, — по-немецки сказал Константин Александрович. Лицо шофера просветлело, он опять произнес неясные звуки с той же интонацией. Автомобиль медленно, затем ускоряя ход, пошел по еще пустоватым улицам города. У заставы он остановился. Телохранитель таинственно, с видимым наслаждением, произнес новый пароль „Lenin dos dos“ вместо прежнего „Todos para uno“ и показал подорожную. Начальник караула пробежал ее, вернул и отдал честь. „Бьюик“ покатило дальше.

Здесь, в отличие от той дороги, по которой Тамарин ехал от французской границы, война чувствовалась беспрестанно. Контроль был гораздо серьезнее. У мостов, на перекрестках автомобиль останавливали патрули. У одного моста республиканский офицер, подозрительно взглядевшись в шофера и, по-видимому, признав в нем немца, потребовал его бумаги. Шофер вынул из кармана аккуратно сложенную в кожаную обертку книжечку с наклеенными слева голубыми марками. „República Española“, „Brigadas internacionales“, „Grado Sargento“** — увидел, наклонившись, Тамарин. Офицер обменялся замечаниями с телохранителем (Тамарин не понял ни слова) и кивнул головой. Солдаты, отдав честь, пропустили „бьюик“. Но вид республиканской армии не внушал ему большого доверия. Раза три они обгоняли шедшие по дороге воинские части. Константин Александрович внимательно их осматривал. Его неприятно удивило разнообразие форм: были тут и пестрые мундиры королевских времен, и рубашки защитного цвета, и синие блузы, и кожаные куртки, и африканские бурнусы, и даже какие-то странно надетые, несерьезные пелерины. Так же разнообразно было вооружение. Шли солдаты нехорошо: и командарм, и шофер поглядывали на них неодобрительно. „Да, само по себе это не имеет значения. Есть отличные армии, с виду неказистые, как, например, японская“, — думал командарм, немного кривя душой: он не любил неказистых армий, и ему было трудно отделить боевую цен-

* „Вода, вода! Свежее, чем снег“ (исп.).

** „Испанская республика“, „Интернациональные бригады“, „Звание сержант“ (исп.).

ность войск от их внешнего вида и выправки. „Что бы там ни говорили, наша прежняя гвардия да еще прежняя прусская были лучшими войсками в мире. Но и у испанцев человеческий материал должен быть недурной. Их пехота издавна славилась... Жаль, что нет порядка“.

Порядка действительно было мало. По измученным и злым лицам проходивших солдат Константин Александрович догадывался, что идут они давно и что кормят их плохо. На полустанке, у которого дорога пересекала железнодорожное полотно, стояло множество пустых вагонов, вагонов с солдатами, и опять-таки по разным для штатского глаза неуловимым признакам Тамарину было ясно, что вагоны эти стоят здесь не первый день, а может быть, и не первую неделю. При цистернах с нефтью не было ни аэропланов, ни зенитной артиллерии. „Чего проще их взорвать? Почему же те не налетают? В гражданской войне шпионаж всегда очень прост, сочувствующих должно быть немало, этим у тех, тем у этих. Если те не знают, значит, и там растяпы. А если знают и все-таки не взрывают, то тем паче“.

Думал он и о своем докладе. „Выяснить, какая из двух сторон имеет больше шансов на победу! А как это выяснить? Допустим, что в Мадриде мне удастся получить материалы об их собственных силах. Они будут, как водится, привирать, я, как водится, сделаю на это поправку. Съезжу, разумеется, на все фронты, куда пустят. Но сведения о силах противника? Допустим, что у них есть донесения агентов, расчеты, сводки. На этот материал положиться нельзя. И если даже эти сведения верны сегодня, то будут ли они верны завтра? Немцы и итальяшки могут доставить Франко сколько угодно оружия, аэропланов и даже людей. А Франция и Англия? Известное дело: „демократии“! — При всем своем либерализме Константин Александрович невысоко расценивал военную приспособленность демократий. — Но и об этом я ничего знать не могу. Тут уравнение с многими неизвестными, — подумал он привычной формулой. — Если судить с чисто военной точки зрения, то ни та, ни другая сторона не могут рассчитывать на победу: одна слабее другой. Главное неизвестное — дух той и другой стороны. Как же я могу об этом судить? Между тем ответственность большая: скажешь одно, выйдет другое...“

Тамарин с неудовольствием вспомнил свое неудач-

ное предсказание относительно абиссинской войны. „Правда, тогда ошибся не я один. Ошиблись крупнейшие военные авторитеты мира. Один тот красавец что написал!.. А ведь если вспыхнет европейская война, то именно он, верно, и будет командовать французской армией, хотя он и стар. Никто ему его предсказания не напомнит. У нас дело другое, могут поставить к стенке и без войны: ошибся насчет Амба-Аладжи, еще раз ошибиться в Испании — каюк. Боюсь? Нет, но неприятно...“ Константину Александровичу вспомнились его мысли о мужестве. В своей физической храбрости он был совершенно уверен. „А то, что они называют моральным мужеством, это вещь сложная“.

Испанский пейзаж ему не нравился. Все было голо, выжжено солнцем, бесцветно — только разные оттенки серого цвета. Такое же было и небо: бело-серое, мутное, как вода с молоком, иногда, при редком появлении солнца, переходившее в желто-серый цвет, — подобный пейзаж, по мнению Тамарина, приличествовал Африке, а не Испании. Но, в отличие от Африки, было холодно. „Пожалуй, *couleur locale** есть, а эдакого испанистого маловато“, — думал Константин Александрович, собирая все, что в его памяти хранилось об Испании. Хранилось немного: „Кармен“, кастаньеты, мантильи, дуэнья, веревочные лестницы и статуя командора. „Уж солнцу бы тут полагалось быть. Это против игры. Еже ты Испания, то чтобы было солнце...“ Он совсем продрог в своей застегнутой шинели. Есть ему еще не хотелось, но согреться крепким напитком было бы хорошо. Тамарин все чаще поглядывал на корзинку с провизией. „Что бы в ней могло быть? Едва ли он догадался вложить какую-нибудь бутылочку. Но кто его знает, может, на счастье, и догадался?“

В одиннадцатом часу они подъехали к селению, которое могло быть большой деревней или крошечным городком. Шофер остановился у гаража, показал еще какую-то бумажку, тоже сложенную необыкновенно аккуратно, и потребовал бензина. Его требование не вызвало радости у гаражиста. Однако тот уग्रиво подчинился. Пока автомобиль запасался горючим, Тамарин гулял, разминая ноги и стараясь согреться. На площади была наглухо запертая церковка. „Кажется, старая и благородного стиля“, — подумал он нерешительно: архитектурный стиль — дело темное. „Может, тут Серван-

*Местный колорит (фр.).

тес бывал или какой-нибудь Лопе де Вега... Был такой, а что написал, не знаю: не читал, жаль..." Вокруг него собралось несколько мальчишек: его шинель и здесь произвела впечатление — он, впрочем, не знал, какое именно. Во втором этаже небольшого домика женщина сердито захлопнула окно и прокричала что-то едва ли лестное. Константин Александрович отошел. В окне лавки съестных припасов были только колбаса сомнительного вида, грязные овощи и пустые бутылки. В стекле была огромная трещина. Вздохнув при виде бутылки, Тамарин взглянул на часы. „Время для фриш-тика“*. Он иногда себе позволял такие слова: его отец принадлежал к поколению, которое говорило „фриш-тик“, „пашпорт“, „Штокгольм“ и в котором сыновья называли отца „батьюшка“.

Телохранитель смущенно спросил Тамарина, не разрешит ли он немного отдохнуть и перекусить. „Да, разумеется, — поспешно подтвердил Константин Александрович, — нам кое-что дали в дорогу. Вон корзинка... Тут в автомобиле и закусим?“ Молодой человек вспыхнул и, запинаясь, пояснил, что корзинка дана не им: у них есть своя еда. Он добавил, что немного дальше, за углом, есть кофейня. Правда, едва ли там можно достать еду, но, быть может, что-нибудь все-таки найдется. „Отлично! Вот туда и пойдем“. Телохранитель бросился к шоферу и что-то ему сказал. Немец, видимо, тоже обрадовался, но, как показалось Тамарину, сразу потерял к нему уважение.

Константин Александрович хотел было взять корзинку, — на лице телохранителя изобразился такой ужас, точно тяжесть корзинки могла раздавить русского генерала, — молодой человек схватил ее и понес. Шофер тщательно запер автомобиль, показывая выражением лица, что он никому здесь не доверяет. До кофейни идти было недалеко. На углу телохранитель показал командарму здание, развороченное воздушным снарядом. Два этажа его были открыты, как полки этажерки. Очень пострадал и соседний кинематограф. На полуобвалившейся стене висела разорванная, облупившаяся по краям, но еще свежая по краске афиша, что-то напомнившая Тамарину. „Кажется, стиль рюсс?“ На афише были изображены длинноволосый геркулес в красной рубашке с обнаженной шашкой, еще какой-то другой человек, густо окровавленный, с выколотыми

*От нем. Frühstück — завтрак. — Прим. ред.

глазами, затем блестящий бал в зале непостижимых размеров, что-то еще.

„Ишь в какой мы моде!“ — со смешанными чувствами подумал Константин Александрович. Юноша взволнованно пояснил, что в прошлый свой приезд видел здесь эти самые русские фильмы, а как раз на следующий вечер произошла воздушная бомбардировка и погибло множество женщин и детей. „Ох, уж эти мне женщины и дети!“ — недоверчиво подумал Тамарин и сделал фальшиво-испуганное лицо, как полагается делать при получении известия о смерти чужих людей. Из приличия они пошли дальше молча. По дороге им попались в самом деле главным образом женщины и дети. Но на углу, перед очень старым двухэтажным домом из тесаного камня, толпились мужчины, в большинстве вооруженные, в военных или полувоенных нарядах, в странных, с прорезами для рук, мантиях на красной подкладке. В полусознательной памяти Константина Александровича на мгновение всплыла *его* красная подкладка, — он вздохнул, так и не сознав, почему вздыхает. „Живописно, грех сказать! Это, по крайней мере, испанисто...“

Их оглядели с любопытством. Некоторые военные отдали честь командарму, но не все. Кое-кто поспешно отвернулся. В домике стоял адский гул. „Может, домик как домик, а может, тут эдакий Лопе де Вега и жил!..“ Наверху, прорезав крики и смех, страшно захрипел радиоаппарат. Толпа устремилась в домик, шум еще усилился. „Это здешний республиканский клуб, — объявил телохранитель. — Тут же теперь помещается штаб...“ Он назвал номер бригады. „Вы зашли бы узнать: уж не случилось ли что-либо важное?“ — предложил Константин Александрович. „Мы можем зайти все, никто ничего не скажет“. Тамарин с недоумением взглянул на немца. Тот засмеялся и махнул рукой.

Они поднялись по каменной лестнице и вошли в большую переполненную людьми комнату со сводчатым потолком, каменным полом. В комнате галдели люди, стучали пишущие машинки, трещал телефон, что-то выкрикивал радиоаппарат. Беспреданно входили все новые посетители, в пелеринах, в плащах, в сапогах, начищенных до изумительного блеска. Но и тех, которые носили военную форму, Тамарин не мог серьезно считать офицерами, как не мог серьезно признать, что это заведение — какой бы ни был штаб, хотя бы и незначительной воинской части. В комнате стоял

густой дым. У Константина Александровича немного закружилась голова. Телохранитель вернулся от радиоаппарата и заявил, что одержана большая победа, но подробности разобрать было трудно. „Quatsch!“* — решительно сказал немец. „Пойдем“, — приказал Константин Александрович. Ему было и смешно, и обидно. „Правда, это глушь и далеко от фронта...“

Кофейня была именно такая, какой ждал от Испании Тамарин. Собственно, это была не кофейня, а харчевня. Правая часть дома, очевидно, предназначалась для скота. „Сюда, должно быть, и сейчас приезжают на ослах или на мулах. Уж здесь-то, наверное, бывали Дон Кихот и Санчо Пансо...“ Слева была кухня, тоже из тех, что описываются в старых романах, с большим очагом, с веревками, подвешенными к бревнам потолка. „Это для окороков, что ли?“ К кухне примыкала довольно большая комната с деревянными столами, со стульями старинной формы, со столиком хозяйки на возвышении. Хозяйка, почтенная усатая женщина, взглянула на военного гостя с явным беспокойством. Поговорив с ней, телохранитель печально сказал, что еды никакой нет, только... Он произнес какое-то трудное длинное слово. „Что такое авельянос? Ну, авельянос так авельянос, — благодушно согласился Тамарин, — а вот нет ли у нее вина? Хереса, например?“ Этот вопрос как будто удивил телохранителя. Он снова обратился к хозяйке и, вернувшись, сообщил, что херес есть, сейчас дадут. Немец одобрительно кивнул головой, словно показывая, что и он заказал бы то же самое. Шофер и телохранитель, очевидно, не решались сесть без приглашения. „Что ж, садитесь“, — предложил Тамарин: он хотел было добавить: „граждане“, но язык по-французски слова citoyens не выговорил; по-русски в свое время, в Москве, почему-то выходило гораздо легче, особенно с 1920 года: в начале революции Константину Александровичу все казалось, что его называют гражданином в насмешку.

Они выбрали стол в углу. Тамарин сел на скамью, его спутники заняли стулья по другую сторону стола. На третий стул телохранитель положил один из своих пистолетов, поставив в углу винтовку. Вторым пистолетом он пользовался, как певица розой или платочком во время исполнения романса, чтобы занять руки.

— А вы бы спрятали оба пистолета, опасности пока никакой, — благодушно посоветовал ему Тамарин.

* „Ерунда!“ (нем.)

Юноша смущенно улынулся. Немец развернул свой перевязанный кулек, вынул хлеб, колбасу и спрятал веревочку. Тамарин поднял крышку корзинки. Оба спутника его ахнули: там были ветчина, жареная курица, пирожки, фрукты; нашлись даже вилка, нож, горчица. „Какой любезный человек!“ — опять подумал, веселея, Константин Александрович. Ему стало совестно перед спутниками, старавшимися не смотреть на корзину. „Наши-то, слава Богу, питаются здесь не так, как эти!..“

— Вот мы все это разделим, как следует, на три части, — особенно веселым тоном сказал он и стал делить прилипшую к бумаге ветчину. Телохранитель покраснел. — А вы мне зато дадите вашей колбасы, она, кажется, очень вкусная, — деликатно добавил Константин Александрович.

Хозяйка принесла херес, стаканы и густой напиток, оказавшийся чем-то вроде шоколада. Тамарин разлил вино по стаканам. „О, ради Бога, мне не надо так много!“ — с искренним испугом воскликнул телохранитель. Он действительно только отпил из стакана и отставил его в сторону. Немец взглянул на него с презрением, залпом выпил полный стакан и посмотрел на марку бутылки. Константин Александрович тотчас налил ему еще вина. В кофейню вошли два старых испанца, вежливо раскланявшиеся сначала с хозяйкой, потом с Тамариным и его спутниками. Шофер и телохранитель живо съели свои порции ветчины, курицы, пирожков. „Верно, давно такого пира не видели...“

— В берлинском ресторане Кемпинского был тоже очень хороший херес, — сказал немец. Тамарин подлил ему еще. — О, я сказал не для этого, — пояснил шофер и очень поблагодарил Константина Александровича, хотя и без прежней скороговорки. — В свое время, до Гитлера, я часто бывал у Кемпинского и начинал именно с хереса, а иногда и с икры. *Caviar im Eisblock**. Замечательная закуска! — добавил он с легким поклоном, желая, очевидно, сказать комплимент русскому. — Я не знаю лучше закуски. Разве рейнлакс под майонезом?

Шофер сообщил, что он родом из Магдебурга, сын государственного чиновника, доктор философии Берлинского университета, занимал очень хорошее положение в социал-демократической партии, работал в

*Икра во льду (нем.).

разных ее учреждениях, писал в печати и на следующих выборах имел бы большие шансы пройти в рейхстаг.

— Моя кандидатура уже обсуждалась в партии. Но из-за господина Гитлера я должен был бежать, хотя я коренной стопроцентный ариец. В моих жилах нет ни одной капли еврейской крови... Разумеется, я не антисемит, — поспешно добавил он, — у меня близкие друзья евреи. Я только констатирую факт.

— Здесь вы в чине сержанта?

— Был ранен, представлен к награде и еще три месяца тому назад должен был получить офицерский чин. Но при здешних порядках производство задержалось, — ответил угрюмо немец. По его тону легко было понять, что он о здешних порядках самого невысокого мнения. Тамарин сочувственно покачал головой и обратился к испанцу по-французски:

— Вы, вероятно, не знаете немецкого языка?

— Ни одного слова! — сердито ответил немец за молодого человека. — К счастью, я владею французским языком, хотя многое забыл. У нас в доме была швейцарская гувернантка.

— Ну вот и отлично, значит, у нас есть общий язык, — сказал Константин Александрович и навел беседу на военные дела. Телохранитель заявил, что в победе не может быть ни малейшего сомнения.

— Почему же вы так думаете? — осторожно спросил Тамарин.

— Потому что весь наш народ ненавидит фашистов. Они воюют из-за классовых интересов, а у нас дух! Ах, какой у нас дух! — горячо воскликнул телохранитель. — Мы голодаем, у нас мало оружия, мы погибаем от пуль, от голода, от болезней, но мы победим.

— Правильно, — сказал Тамарин. „Какие же это у них болезни? Не слышно, чтобы был сыпняк? — невольно заинтересовался он, вспомнив гражданскую войну в России, — умирать так умирать, но не от сыпных же вшей...“ Испанец что-то рассказывал о войне, довольно сбивчиво, отчасти из-за волнения, которое у него вызывала личность советского генерала, отчасти из-за недостаточного знания языка. Впрочем, говорил он на французском бойко, с акцентом забавным, но много менее противным, чем у немца. Из разговора выяснилось, что он сын рабочего из Ируна, работал в мастерской с двенадцати лет, сначала примкнул к анархистам и только

позднее понял, что это была тяжкая ошибка, что анархисты группа не пролетарская, а мелкобуржуазная.

— Не так ли? — почтительно обратился он к командру.

— Да, разумеется, — подтвердил энергично Константин Александрович, произнося мысленно непечатные слова.

— К партии же я примкнул всего два года тому назад, — продолжал испанец. В дальнейшем он говорил о коммунистах просто „партия“; так английские министры, произнося слова „правительство его величества“, имеют в виду только британское правительство, а не кабинеты других монархических стран. — После анархистов я было примкнул к троцкистам. Это тоже была тяжкая ошибка. — „Примкнул, примкнул... Эх, дурак мальчишка!“ — с сожалением думал Тамарин.

— Дух, конечно, великая вещь, что и говорить, но одним духом против танков и аэропланов воевать нельзя. Нужны еще оружие, порядок и дисциплина, — сказал он не совсем согласно с прежними своими одобрительными словами.

— Das sag ich ja eben*, — решительно подтвердил немец и даже закивал головой от удовольствия.

— Я нисколько не возражаю, но, конечно, дисциплина свободная, — ответил телохранитель и заговорил о высоких боевых качествах республиканской армии. Шофер слушал с презрительной усмешкой.

— А ваше мнение? — обратился к нему Тамарин.

— Мое мнение? — переспросил по-немецки шофер. — Мое мнение то, что решение конфликта не зависит нисколько ни от Мадрида, ни от Франко. Все будет решено в Берлине. Если господину Гитлеру угодно будет прислать сюда германские войска, то они, разумеется, и победят. А если воевать будут они (он пренебрежительно кивнул на испанца) да еще итальянские господа, то... — шофер махнул рукой.

— Вот как? — спросил Константин Александрович, в душе вполне согласный с немцем. „Только будь ты хоть трижды социалист, а говоришь ты о своем герр-Гитлере не так, как о „die italienischen Herren““, — подумал он, подливая себе остаток вина. Испанец неожиданно спросил, знал ли он Чапаева, и, видимо, огорчился, получив отрицательный ответ. Ему очень понравился этот фильм.

*Как раз это я и говорю (нем.).

„Итальянские господа“ (нем.).

— И „Мишель Строгофф“ тоже... Правда ли, что царь собственноручно вырывал бороды у бояр?

— Только за особо важные поступки. Не чаще двух раз в месяц, — сказал Константин Александрович, опять произнося мысленно непечатные слова, и тотчас пожалел о своей шутке. Телохранитель, широко раскрыв глаза, рассказал о зверствах испанских фашистов. Тут были сожжение живых людей, пытки, особенно выкалывание глаз.

— Вы сами это видели?

— Как выкалывают, не видел, конечно, а трупы с выколотыми глазами видел, — сказал несколько обижено молодой человек. Тамарин вдруг вспомнил спектакль, на котором был с Надей в парижском театре ужасов. „А может быть, и врешь, пан писарь, — подумал он неуверенно. — Хотя ничего невозможного, собственно, нет...“

— А у вас как? Нет зверств?

— Нет и не может быть, это клевета наших врагов, — ответил испанец тоже без уверенности в тоне. Шофер пожал плечами. — Неправда! Мы просто расстреливаем шпионов, — обратился к нему телохранитель. „Верно, и те и другие привирают, — утешил себя Константин Александрович. — Вот тебе и театр ужасов! Теперь и в театр ходить не надо...“

За столом, где сидели два испанца, вдруг поднялся шум. Оба старика вскочили с мест и заговорили одновременно очень повышенными голосами. „Что это? Хорошо, что кинжалов при них нет, — сказал Тамарин, — о чем это они?“ Телохранитель с любопытством прислушался. Хозяйка кофейни тоже подняла голову, впрочем, без большого интереса. Старики дико орала друг на друга, размахивая руками; лица у них были искажены бешенством. Константину Александровичу, не понимавшему ни единого слова, казалось, что они тотчас бросятся друг на друга. „Так его, валяй“, — думал Тамарин, повеселевший от хереса. Понемногу, однако, голоса стали понижаться, от бешеного крика до крика обыкновенного, затем до нормального разговора. Лица у сердившихся осветились улыбкой, они снова сели и заговорили очень просто и дружелюбно. Один из них повернулся к хозяйке, приподнял шляпу и заказал две чашки авельяноса. „Кажется, литературный спор“, — объяснил без малейшего удивления телохранитель. Шофер снова пожал плечами и, заглянув в корзинку, сказал с сожалением:

— Ничего не осталось на ужин...

— Поужинаем в Мадриде, — ответил Константин Александрович. Он был доволен завтраком. Общение почти на началах равенства с этими людьми доставляло ему некоторое удовлетворение, его самого удивлявшее: несмотря на революцию и советский строй, опыт говорил ему, что такое общение генерала с нижними чинами вредно и недопустимо. „Правда, они испанцы и сознательные... Как только мои солдаты в 1917 году стали сознательными, все пошло к черту...“

Шофер осведомился у Тамарина, знал ли он Ленина. Теперь Константину Александровичу показалось, что немцу хотелось бы и Ленина обозначить каким-либо титулом: „Знали ли вы, ваше превосходительство, его превосходительство Ленина?“

— Нет, не встречал.

— А Сталина? — взволнованно спросил телохранитель. Глаза у него заблестели.

— Тоже не знаю, — ответил Тамарин. Оба его собеседника были, видимо, разочарованы. Разговор стал вялым. „Что, если отсюда написать открытку Наде?“ — подумал Константин Александрович. „Здесь, наверное, есть почтовый ящик?“ — спросил он. „Очень сомнительно, — ответил немец, — у них почтовые ящики привешиваются к трамваям“. „Конечно, есть ящик! Как раз напротив кофейни“, — обиженно возразил телохранитель. Он достал у хозяйки открытку с видом городка. Тамарин вынул самопишущее перо и написал несколько строк. „Я могу опустить“, — предложил шофер. „Да, пожалуйста“, — согласился Константин Александрович не совсем охотно: любил для верности отправлять письма собственноручно. Немец взял открытку, бегло взглянул на адрес, увидел слово „мадемуазель“ и улыбнулся с видом джентльменского понимания. „Олл райт“, — сказал шофер. Как почти все немцы, он был англоман и, ругая англичан, в душе считал их высшей расой. Вернувшись через минуту, он угрюмо-иронически сообщил, что ящик закрыт, и вернул открытку.

— Вы, кажется, написали по-русски? — спросил он. — По-французски вернее. И лучше опустить в Мадриде.

— Почему же нельзя отсюда писать по-русски? — спросил сердито Тамарин. — Ну, поедем, пора. В Мадриде, верно, будем не раньше семи?

— Дай Бог, чтобы в восемь. А бензина проклятый гаражист дал маловато. Клялся, что у него больше нет. Хорошо, если найдем в дороге.

— Как же будет, если не найдем?

— Быть может, хватит. Вот только не придется ли сделать крюк у Мадрида?

— Почему крюк?

— Один участок дороги очень опасен. Разрешите показать.

Он вынул тетрадку, на картонной обложке которой было выведено прекрасными каллиграфическими буквами: „Дневник революционного бойца“, заглянул в нее, но не вырвал листочка, спрятал тетрадку и на куске бумаги от ветчины провел несколько кривых черт с кружочками.

— *Da haben wir Madrid, Puerta del Sol**, — сказал он, кладя крошку хлеба на центральный кружочек, и стал называть пункты: Мората-Тахуна, Серро Рохо, Карбансель Бахо. Константин Александрович знал приблизительное расположение мадридского фронта и все же не представлял себе, что надо будет просхатать так близко от неприятеля. „Хороши у них коммуникационные линии!“ Он подумал также, что если б его взяли в плен, то расстреляли бы немедленно без разговоров. Эта мысль была не столь неприятна, сколь неожиданна: в тех войнах, в которых он участвовал, пленных генералов не расстреливали.

— Когда мы там будем, уже будет совершенно темно. К счастью, я хорошо знаю дорогу. Я под Мадридом был ранен... Если бы на другом фронте, может быть, уже был бы офицером. Но мадридские порядки! — сказал немец и безнадежно махнул рукой. Телохраниль поднялся, оправляя пояс с ручными гранатами, и неосторожно уронил солонку. Он побледнел, поспешно отворил окно и вылил во двор остатки воды в стакане. Тамарин выпучил глаза.

— Это у них дурная примета. Просыпал соль, надо вылить воду. Он суеверен, как баба. Он и амулет какой-то при себе носит... Тоже марксист! — по-немецки сказал шофер с презрением.

XVIII.

Уже начинало темнеть, когда послышалась отдаленная артиллерийская пальба. Константин Александрович и сам не думал, что эти звуки так на него подействуют: „вот довелось через двадцать лет снова увидеть

*Вот это Мадрид, Пуэрта дель Соль (нем.).

войну!“ В последние годы ему не раз приходила мысль, что, в сущности, он по натуре не военный, что если бы его в свое время отдали не в корпус, а в гимназию, то он отлично мог бы стать профессором физики или истории. Эта мысль удовольствия ему не доставляла. Теперь, услышав далекий, глухой, ни на что другое не похожий гул, Тамарин испытывал радостное волнение.

С холма, по словам немца, можно было ознакомиться с общей картиной мадридского фронта. Тамарин вышел из автомобиля, достал полевой бинокль и книжечку. Увидеть можно было немного. Тем не менее он набросал что-то вроде плана. Телохранитель смотрел на него восторженно, как, должно быть, накануне Аустерлица молодые адъютанты смотрели на Наполеона: с выраженным на лице убеждением, что они присутствуют при зарождении гениальных мыслей. Чтобы его не разочаровывать, Константин Александрович составлял план немного дольше, чем было нужно. Шофер проверял бензин, ругаясь вполголоса.

Число караулов увеличилось. Контроль становился все строже. На перекрестках и у мостов офицеры в хаки осматривали подорожную все более внимательно. Они хмуро задавали телохранителю вопросы, по-видимому, не совсем приятные, так как он вспыхивал, оглядываясь на командарма, а затем смущенно и уклончиво объяснял, что спрашивали о разных пустяках.

На одном из перекрестков шофер, остановившись, вынул карту и сумрачно задал несколько вопросов стоявшим без офицера караульным. Те отвечали охотно, что-то показывая на дороге жестами и отрицательно мотая головой. Шофер взглянул на часы, еще подумал, оглянувшись на Тамарина, снова сел за руль, хотел было что-то сказать, не сказал и поехал дальше. Караульные что-то прокричали ему в след. Он только ускорил ход автомобиля. Константин Александрович, задремавший на своих приятных мыслях, скоро заежился от ветра. „Ох, простудился, так и есть!“ — подумал он в полудремоте. Через несколько минут он проснулся от холода, от резкого ускорения хода. Автомобиль несся с бешеной быстротой, такой скорости они до сих пор нигде себе не позволяли. Тамарин и вообще никогда в жизни так быстро не ездил. Моргая глазами и сжась, он соображал, в чем дело. Немец наклонился над рулем, как жокей над скачущей лошадью. Рядом с ним телохранитель с бледным, взволнованным лицом тоже наклонился, сжимая одной рукой колено, держа другую на

гранате. „Что такое? Что это происходит?“ — Константину Александровичу неловко было сказать, что не надо лететь так быстро, что это без нужды рисковать жизнью. Вдруг — не сразу — ему пришла мысль об измене: что, если эти люди везут его к фашистам! В ту же минуту слева промелькнули холмы, и шофер стал замедлять ход. Он обменялся несколькими словами с испанцем, захохотал и, твердо держа руль, откинувшись на спинку сиденья. Телохранитель разжал руки и с восторгом повернулся к командарму. „Ça c'est bien*, — сказал он. — Ça c'est bien...“ Немец с довольным видом объяснил, что они пронесли по чрезвычайно опасному месту. „Теперь дальше все спокойно. Иначе надо было сделать громадный крюк, а у меня уже почти нет бензина“, — сказал он. Тамарин хотел сделать ему выговор: он не имел ни малейшего права так рисковать без разрешения. Однако Константину Александровичу было неловко из-за его мимолетных подозрений, и он выговора шоферу не сделал. „Ну, что ж, победителей не судят“, — начал было он, но затруднился в переводе этих слов на немецкий или французский язык и лишь одобрительно кивнул головой.

Когда они приехали в Мадрид, было уже совсем темно. Стрельба затихла. „Бьюик“, медленно лавируя, прошел через ход в странной зигзагообразной баррикаде. Тамарин, еще в Париже старательно изучивший план Мадрида, сначала старался ориентироваться, но в темноте не мог ничего разобрать. Он был взволнован преимущественно из-за военной редкости положения: осажденная столица. „И эта тьма! Никогда эдакого города не видел!..“ Зажженные фонари попадались крайне редко, автомобиль проходил по освещенным оазисам, и снова все погружалось во тьму. Нельзя было даже понять, каким образом умудряется править шофер. „Где же это мы? Все еще на окраинах ли или в середине города?“ У фонарей попадались люди, большей частью военные. Из домов с затворенными ставнями как будто доносились голоса. В одном доме сквозь приотворенный ставень промелькнули люди за столиками в освещенной комнате, и вид кофейни почему-то сразу успокоил Тамарина. „Все рассмотрю завтра, теперь и глядеть нечего. Поесть бы, лечь поскорее под теплое одеяло и отдохнуть...“ Константин Александрович чувствовал себя нехорошо и был утомлен дорогой. „Вот ведь стран-

* „Вот это хорошо“ (фр.).

но! Уж на что комфорт: один в прекраснейшем автомобиле, а устал больше, чем от переезда в теплушке...“ Впрочем, он тут же себе ответил, что в пору русских путешествий в теплушках был на двадцать лет моложе, — и опять с печальной усмешкой вспомнил поговорку князя Багратиона.

Автомобиль остановился на коротенькой узкой улице, в конце которой горел фонарь. Тамарин увидел длинный трехэтажный довольно мрачный дом. Стена была снизу обложена мешками с песком. „Это здесь“, — сказал, соскакивая, телохранитель. Он взбежал на крыльцо и постучал в дверь. Блеснул синеватый свет, на крыльце появилась женщина с карманным фонарем. Телохранитель снял фуражку, раскланялся и, показав бумажку, что-то вполголоса объяснил. Женщина кивнула головой и с улыбкой заговорила очень быстро. „Слава Богу! Значит, есть комната?“ — спросил Константин Александрович, выходя из автомобиля. Под его ногами что-то неприятно треснуло и захрустело. Тротуар был засыпан осколками. Окна с выбитыми стеклами были завешены или заклеены. На двух окнах висели полуоторванные ставни. Тамарин хотел было взять чемодан, но телохранитель снова бросился к нему так, точно могло произойти несчастье. „Все сейчас будет доставлено в вашу комнату, — сказал он, — как раз оказалась одна, очень хорошая. Ничего, что в третьем этаже?“ „Разумеется, ничего! Какие пустяки“. „Во втором этаже тоже есть комнаты, но они сейчас заняты. Здесь есть и русские“, — радостно сообщил телохранитель. Константин Александрович поморщился. „Верно, чекисты“, — подумал он. „А вы где останавливаетесь?“ — „Для нас тут места нет. Мы будем спать в гараже...“ Испанка потащила чемодан и тотчас, тяжело опустив руки, уронила его на осколки стекла. Шофер сердито отстранил ее и сам бережно внес чемодан и пишущую машинку в дом. „Даже стекла подмести не могли!“ — возмущенно пробормотал он по-немецки, вернувшись на крыльцо и соскребая осколки с сапог о верхнюю ступень лесенки. „Когда прикажете завтра заехать?“ — спросил он Тамарина. „Пожалуйста, ровно в семь“. Тамарин простился со своими спутниками. Они, особенно испанец, были, видимо, огорчены разлукой с ним.

Испанка, подняв выше головы фонарь, пропустила Тамарина вперед. Он с недоумением остановился в темноте за порогом. Затворив за собой дверь, она поверну-

ла выключатель. В огромной люстре зажглась одна лампочка. „Кажется, богатый дом? На гостиницу непохоже“, — удивленно подумал командарм. В большом холле были картины, статуи, высокие вазы. Справа была большая дверь, у которой стоял вооруженный человек. „Сюда?“ — спросил Константин Александрович, показывая рукой в сторону двери. Женщина с испугом замотала отрицательно головой, показала на лестницу и заговорила еще быстрее. Тамарин развел руками и пожалел, что отпустил своих спутников: „С этой не сговоришься. А миловидна... Не Кармен, а скорее Микаэла... Кажется, ту звали Микаэла?“

На площадке стоял вооруженный человек в кожаной куртке, как будто не солдат, но и не штатский. Он с меньшим любопытством, чем другие, взглянул на шинель командарма и равнодушно отдал честь сжатым кулаком, видимо, мало заботясь о парадной стороне жеста: просто тыкнул рукой вверх. Из коридора второго этажа слышалось равномерное трещание пишущих машинок. „Не поймешь, что это такое“, — подумал Константин Александрович, не без тревоги оглядываясь по сторонам. На площадке третьего этажа никого не было. Они свернули по коридору налево. Из-за стены машинки трещали и тут. Испанка остановилась у последней двери, отворила ее ключом и повернула выключатель. Тамарин с удовлетворением увидел вполне приличную, хоть небольшую комнату. „Вот и отлично. Мерси. Грациа“, — сказал он, стараясь вспомнить, как надо благодарить по-испански. Женщина говорила так же необычайно быстро, с преобладанием звуков „р-р“ и „х-х“. „Хоть бы замолчала, а то и слушать неловко, не отвечая ни слова, — подумал он, беспомощно улыбаясь. — Курузов тотчас взял бы эту Микаэлу за подбородок...“ Быть может, в другое время Константин Александрович и поступил бы, как Курузов, но теперь он только и желал, чтобы Микаэла оставила его в покое. У него болела голова.

Одеяла и подушки не было. В комнате стояла металлическая кровать с голым матрацем. Оставшись один, Тамарин первым делом осмотрел матрац и остался доволен. „Кажется, насекомых опасаться не надо, это главное...“ Подошел к окну и чуть отодвинул черную занавесь. Стекла не было — лишь зазубрины у рамы. Окно выходило на ту же еле освещенную узкую, наклонную улицу. Из нижнего этажа противоположного дома слышался разговор. В мирных голосах было что-

то успокоительное. „Странная жизнь, но жизнь. Издали все кажется хуже и страшнее. Живут как все мы... Сильно дует. Это весьма некстати...“

Не снимая шинели, он сел в кресло и, опустив голову, вздрагивая всем телом, просидел так минуты две или три, с ужасом думая о предстоящей работе. „Открыть чемодан, достать несессер, разложить вещи, стащить сапоги, умыться...“ В углу комнаты на табурете стояли миски и кувшин с водой. „Ох, горячую ванну принять бы!“ — подумал он со вздохом, понимая, что о ванне в осажденном городе и говорить неприлично. За исключением первобытного умывальника, все в комнате было удовлетворительно: письменный стол с ящиками — „очень пригодится“, — этажерка, зеркальный шкаф, висячее зеркало против шкафа. Были даже картинки по стенам. Сделав над собой усилие, он разделся и начал мыться, стараясь возможно бережливее расходовать воду. Но только он намылил лицо, как в дверь постучали. Микаэла, сверкая зубами, стыдливо остановилась на пороге и передала ему простыню, одеяло, заменявший подушку валик. „Мерси. Грация... Мульти, мульти грация“, — импровизировал по разным воспоминаниям Константина Александровича, прикрывая рукой шею и щурясь от пощипывавшего глаза мыла. Он закончил туалет и кое-как постелил постель — вышло недурно. Все больше дрожа от холода, повесил в шкафу платье, положил в комод белье, на комод свои книги и колбасу. Комната приняла почти уютный вид. Только из завешенного окна дуло довольно сильно.

Опять послышался стук. Появилась та же Микаэла, нагруженная еще больше прежнего: в правой руке у нее была дымящаяся кастрюля, в левой — небольшой кусок хлеба, вилка, ложка и стакан, прижатый изнутри пальцем к хлебу, под мышкой — бутылка. Тамарин, благодаря и кланяясь, пролил немного жидкости из кастрюли. „Ну, зачем это? Покорнейше благодарю“, — говорил он, окончательно переходя на русский язык („уж если она все равно и по-французски не понимает!“). „Тортильяс“, — с гордостью сказала испанка. „Тортильяс“, — повторил командарм.

В кастрюле оказался какой-то соус из риса с редкими кусочками мяса, густо посыпанный перцем. Константин Александровича позабавило то, что он ест блюдо, называющееся „тортильяс“. Оно было съедобно, но аппетита у Тамарина не было: „Теперь ясно, что нездоров...“ Вино было довольно приятное. На бутылке

не было надписи. „Верно, тоже называется как-нибудь так... Совсем тореадором стану здесь“. На вилке и ложке была корона. „Вот оно что! Очевидно, дом какого-то герцога или маркиза? Батюшка, царство ему небесное, знал все эдакое: какие у кого короны, сколько дужек, обручей, листков. Восемь листков — это, помнится, у герцогов... Где-то теперь герцог с герцогиней? И уж, верю, никак не думают, что в их доме живет старый царский генерал!.. Странно, странно... Комната, впрочем, не герцогская. Может, тут жила какая-нибудь экономка или гувернантка?“ Он с удовлетворением посмотрел на письменный стол, заглянул в чернильницу, в ней все высохло, по-видимому, уже очень давно: „завтра первым делом купить чернил и наполнить самопишущее перо“. Просмотрел книги, стоявшие на этажерке. Они в большинстве ему не понравились: „La influencia militar en los destinos de Espana“*, „De octubre gojo a mi destierro“ por León Trotsky. Вот его только не хватало! „De octubre gojo“ — „от красного октября“, ясное дело. Заглянул в свой словарь: „Destino“... „Destillador“... „Destierro“ — „изгнание“. „От красного октября до моего изгнания“, — отлично все появлялось. „Верно, после гувернантки тут жил кто-нибудь еще?..“ Константин Александрович осмотрел и картинку над комодом, она изображала что-то ему знакомое. Не без труда в слабо освещенной комнате разобрал надпись: „Кузница Вулкана“ Веласкеса. „Ишь ты!“ Попробовал понять, что означают эти свирепые голые босые люди, но ничего о Вулкане не вспомнил. „Кажется, какой-то был бог? Что-то ковал... Бог и ковал... „Лемносский бог тебя сковал...“ Ничего не помню...“ Опять подошел к окну. „Веревочная лестница, испаночка, герцогинечка с кастаньетами... Неужто и на лестнице с кастаньетами?“ Но темная узенькая улица ничего такого в его воображении не вызвала. „Да, теперь не до испаночек и не до герцогинечек!“ — угрюмо пробормотал он.

Он надел пижаму и лег в постель, оказавшуюся довольно жесткой. Накрылся одеялом, с наслаждением вытянулся, с еще большим наслаждением распустил мускулы. „Да, все-таки и без испаночек есть и на старости лет блаженные минуты“. Хотел было по привычке почитать книгу, но Клаузевиц остался на комоду: забыл положить его на стул, придвинутый к кровати вместо ночного столика. Вставать ему не хотелось: хо-

* „Влияние военных на судьбы Испании“ (исп.).

лодно. Он повернул выключатель, находившийся, к счастью, под рукой.

Проснулся он от сильного грохота. Константин Александрович вскочил: „Что такое?“ С улицы доносились крики, внизу как будто бежало множество людей. Тамарин протянул руку к выключателю, не без труда нашел его, шаря рукой по стене, повернул — лампа не зажглась. Было совершенно темно, еще темнее, чем вечером. Крики на улице усилились. Вдруг раздался сильный взрыв. „Бомбардировка!“ Сердце у него забилося. „Потерял привычку!..“ Слегка трясущейся рукой он снова, несколько раз, резко повернул выключатель, точно от силы движения лампочка могла зажечься — и сообразил, что ток должна была выключить станция. Константин Александрович пытался разыскать ногами туфли, не нашел и босой по каменному полу осторожно стал пробираться к окну, вытянув вперед левую руку, ориентируясь больше по току холодного воздуха. Споткнулся, чуть не упал; но добрался и отодвинул занавеску. Почти не стало светлее. Крики неслись откуда-то слева. Очевидно, люди бежали и прятались. Страшный взрыв повторился — как будто еще ближе, — и, сливаясь с ним, послышались долгий, нестерпимо нараставший грохот, затем женский крик, визг, плач. Тамарин понял, что где-то совсем близко рухнул дом. „Быть может, сейчас смерть!..“ Он перекрестился, взглянув на потолок, и уже спокойно стал соображать, что именно произойдет. „Задавить — не задавит: верхний этаж...“ Раздался третий взрыв, за ним четвертый, пятый. Удары следовали один за другим, но удалялись с непостижимой быстротой, трудно было даже понять, как люди передвигаются столь быстро. „Ведь разве только минута прошла, а он, может быть, уже у Гетафе... Пронесло... Да, пронесло!..“

Крики на улице ослабели и изменились. Послышались веселые голоса, точно спасшиеся поздравляли друг друга. Еще раздался глухой удар, но уж совсем далеко. Вдруг в комнате зажглась лампочка, на улице что-то слабо засветилось очень бледным синеватым светом. Пронесся радостный гул: „А-а-а!“ Улица стала заполняться людьми. Куда-то быстро проехал большой автомобиль неприятного вида. Тамарину хотелось узнать, куда упали снаряды, близко ли отсюда разрушен дом, но спросить было не у кого. „Все-таки у них поряд-

док: и „скорая помощь“ действует, и ток выключили, как следует“.

С улицы его окликнули знакомые голоса: это были его спутники. „Вот как! И вы здесь?!“ — радостно сказал Тамарин и зачем-то попросил их подняться. Пока они поднимались, он надевал только что повешенный в шкаф халат и думал, что принимать их в халате неудобно. Испанец был теперь в сандалиях на босу ногу и даже оружия имел с собой меньше. Шофер был так же по форме одет и так же подтянут, как днем. „Ну, что? В чем же было дело?“ — спросил Константин Александрович. Телохранитель взволнованно рассказал, что на расстоянии трехсот метров отсюда упал тяжелый снаряд; рухнул большой дом, убито человек двадцать женщин и детей, раненых еще гораздо больше. „Пятая колонна сигнализирует“, — с таинственным видом сообщил он и объяснил незнакомое командарму выражение: летчикам подают знаки оставшиеся в Мадриде тайные фашисты. „Одного из них только что нашли: у него горел фонарь“. — „И что же?“ „Выбросили из окна, — ответил весело немец, — это здесь такое правило, когда не меньше шести этажей“. „Мы уже исполнили ваш приказ, — поспешил перевести разговор телохранитель, — достали бензин, съездили в штаб, сделали заявку и получили пропуск куда угодно“. Он подал Тамарину билетик. „Это отлично, что так скоро. Значит, завтра в семь“, — сказал командарм, не удивлявшийся больше испанским порядкам. „Сегодня ночью ожидается большое сражение, — понизив голос, сказал телохранитель, — мне только что сообщили. Мы атакуем клинику в Университетском городке. Она в руках фашистов. Это величайший секрет“. „Я никому не расскажу. Ведь Университетский городок близко?“ — „Со всем близко. Туда идут с Пуэрта дель Соль трамвай 22 и 12“. Тамарин только вздохнул: клиника, большое сражение, трамвай идет на поле сражения! „Для штурма клиники мои стратегические познания не нужны...“ Телохранитель посмотрел на него сочувственно-тревожно. „Надеюсь, вы не заболели? — сказал он. — Здесь очень легко простудиться. В Мадриде есть такая поговорка: надо тепло одеваться до сорок первого мая“. Константин Александрович слабо улыбнулся и отпустил их. Он в самом деле чувствовал себя все хуже.

Тамарин взглянул на часы и ахнул: еще не было двенадцати часов. Впереди была долгая ночь, конечно, бессонная: сон сорван. „Разве принять снотворное?“

Константин Александрович всегда возил с собой аптечку. В лучшие времена это был изящный ящичек с перегородками, отделениями, скляночками, теперь — старая коробочка от конфет. Изменились и лекарства: о фенацетинах и антипиринах времен его молодости уже не было слышно. „Гарденаль? Подожду немного: если не засну, приму...“

Он положил суконный халат поверх одеяла и снова лег. Подумал, что хорошо было бы положить на ноги еще что-либо. Лихорадочная дрожь была сама по себе почти приятна, — если бы знать, что так можно лежать долго, очень долго, — вечность. Тамарин чувствовал теперь такую физическую и душевную усталость, точно ему было сто лет. „Не дай, Господи, всерьез заболеть здесь! Ни души!“ — подумал он с ужасом, замотав головой. „Хорошо, что несколько не испугался. Страшен тут только звуковой эффект, особенно от рухнувшего дома. Артиллерия другое дело: опасности больше, но звуковое впечатление не такое“. Еще приятно было, что он снова попал на войну, но теперь это чувство в нем было гораздо слабее, чем несколько часов тому назад. „Да, батареи, боксеры... Выбрасывают из окон, быть может, и вправду выкалывают глаза... Те во имя Христа, эти во имя свободы... И те и другие, разумеется, бесстыдно лгут. Свобода! Разве она так живет в душах людей, вот как у батюшки, у его сверстников жила, например, „честь мундира“! Отцам нашим было ясно как день, что мундиру изменять нельзя, ни при каких условиях нельзя, что есть вещи с мундиром несовместимые и потому невозможные, что, когда надо умирать за мундир, то, значит, надо, и нечего рассуждать. А что же у этих несовместимо с их мундиром свободы? У них процент дезертиров, изменников, предателей не в десять раз, а в десять тысяч раз больше, чем был у тех... Кроме того, разве они введут свободу, если победят? Только что глаз не будут выкалывать, да и то неизвестно... Разумеется, есть осмысленные войны, но эта бессмысленная... А самое бессмысленное то, что здесь оказался я. Почему русский человек, бывший помещик Орловской губернии, русский генерал — уж не знаю, бывший или не бывший, — оказался участником гражданской войны в Испании!.. Правда, дед участвовал в венгерской кампании, а нам до Венгрии было тогда столько же дела, как теперь до Испании. Однако офицеры Николая I твердо верили во все то, во что верил сам Николай I. А я? Мне что у Миахи, что у Франко, по

существо, все равно, и для меня разницы между ними нет: все они генералы из музыкальной драмы...”

Он подумал также, что, если б его убили в эту первую же ночь, то никто, пожалуй, никогда не доискался бы, что с ним стало. „Какая уж там регистрация! Кто будет наводить справки о чужом человеке, без родных, без друзей? Ну, положим, эти молодые люди заявили бы. Все-таки, быть может, сообщили бы в Москву“. Снизу из окон первого этажа донеслись еще голоса, теперь совершенно спокойные и веселые. Люди укладывались спать и шутливо переговаривались: сегодня спаслись, — кто завтра? „Да, глупо, глупо. Странно, что преобладает над всем глупость... Да еще скука...”

Вдруг где-то внизу послышалась музыка. Тамарин с изумлением прислушался: гитара? Играли что-то очень знакомое. К инструменту присоединился голос, довольно приятный тенорок, певший по-русски. „...Я возвращался на рассвете. — Всегда был весел, водку пил“, — пел тенорок. „Что за чудеса!..“ — „И на цыганском факультете. — Образова-образование получил...“ Кто-то весело засмеялся. „Да, ведь тут еще русские! А я думал, чекисты! Ясно, что офицеры“, — подумал радостно Константин Александрович, хоть это, собственно, ни из чего не следовало. „...Летя на тройке полупьяный — Я буду вспоминать о вас. — И по щеке моей румяной — Слеза скати-слеза скатится с пьяных глаз...“ У Константина Александровича неожиданно тоже появилась на щеке слеза. „Очень милый голос. И совсем так поет, как мы пели...“ Ему внезапно вспомнилась другая ночь, давняя, очень давняя, праздник Александрийского полка, почти пятьдесят лет прошло. „...А кто там в траурной венгерке, — Чей взор исполнен дивных чар? — Я узнаю тебя бессмертный...“ Тамарин увидел перед собой залу собрания, уставленный бутылками стол, поющую толпу офицеров, веселое лицо будущего царя, размахивавшего руками в такт песни. „Если бы тогда колдун предсказал, эдакий вещий Олег! Зачем это было? Кому все это было нужно?“

Пение оборвалось. Послышалось крепкое русское ругательство, за ним смех, треск разбившегося стакана. „Верно, они знают мое имя? Уж не зайти ли? — подумал Константин Александрович. — Нет, нельзя: миссия секретная. Конечно, они имя должны знать. Эдак-то года через три уже никто не будет знать на всей земле. На всей земле! „Я узнаю тебя, бессмертный!“ Не узнаю и не бессмертный, и ничего не понимаю: как это *оттуда*

пришел *сюда*? Точно мой разум и воля в этом и не участвовали! Да они и в самом деле не участвовали. И так, конечно, у всех, кроме разве каких-либо необыкновенных людей: идешь в одну сторону, попадаешь в противоположную... Нет, разумеется, нельзя к ним зайти. Разве в случае крайности, если совсем расхворюсь? Но я *уже* болен! Уж не схватил ли я в самом деле тиф? Хотя нет: у тифа инку... инкубационный период...“ Слово „инкубационный“ мысленно выговорилось у него не сразу. „Что-то такое еще есть на „инку“? Инкубы... Инкунабулы... Вздор!.. Пить очень хочется... Тифа быть не может. Говорят, здесь какая-то местная лихорадка, тотчас сваливает человека...“

Тамарин встал, налил себе трясушимися руками вино и выпил залпом. „Может быть, все-таки засну? Крепкое вино... Почитать на ночь...“ Он просмотрел книги на комод. Был очередной томик Клаузевица, были самоучитель и словарь испанского языка, был путеводитель по Мадриду, был тот же парижский том Пушкина. „Отлично сделал, что захватил!“ Снова лег, подождал несколько минут, чтобы согреться, не согрелся и с усилием открыл книгу. Вернее, она сама открылась на закладке, и опять, но еще с гораздо большим волнением, чем тогда в Париже, Константин Александрович прочел: „Он сказал мне: „Будь покоен, — Скоро, скоро удостоен — Будешь Царствия Небес, — Скоро странствию земному — Твоему придет конец. — Уж готовит ангел смерти — Для тебя святой венец“.

XIX.

Так, дрожа в лихорадке, не смыкая глаз, с трудом переводя дыхание, он пролежал очень долго, быть может, три, быть может, четыре часа. Несколько раз зажигал лампочку, смотрел на часы, старательно всматривался в стрелки, старался разобрать, который час, и все ошибался. Свет резал его воспаленные глаза, и он тотчас тушил его. „Болен, совсем болен, — тоскливо думал он, соображая, что бы такое сделать. — Близких людей нет больше нигде в мире, позади кладбище из людей, когда-то бывших близкими. А тут нет даже и просто знакомых, которые хотя бы приблизительно знали, кто я...“ К концу этой долгой ночи мысли его стали путаться. Он понимал, что у него сильный жар. „Верно, градусов 39, а то и 40?“ Долго старался вспомнить, какой это

счет: по Цельсию или по Реомюру. Но вспомнить не мог и очень волновался, что не может. „И кто такой Цельсий, не помню... Реомюр — да... Я в детстве страшно боялся слов „антонов огонь“: Какой Антон? Какой огонь?.. Это сюда ни малейшего отношения не имеет. У меня лихорадка или, может быть, тиф, но антонов огонь тут совершенно ни при чем. Это тревожно... очень тревожно...“ Потом с радостью вспомнил, что Реомюра звали Антуаном: „Значит, какая-то связь есть, значит, все-таки не совсем спятил!“

Запах еды, оставшейся в кастрюле, был ему противен. Он с усилием встал и выставил кастрюлю в пустой коридор. Откуда-то все еще доносилось трещание пишущей машинки — теперь как будто одной. „Вот как! Значит, тут можно стучать до поздней ночи! — подумал Тамарин, привыкший к французским порядкам. — Что, если и мне сесть за работу? Принять лекарство и сесть за работу?“ Он разыскал аптечку; из двух коробочек высыпались порошки. „Вот это, кажется, аспирин, — подумал он и проглотил одну за другой три пилюли, запив вином. — А что было в другой коробочке?“ Вспомнил, что это были прессованные порошки, рекомендованные аптекарем для возбуждения умственной деятельности и энергии — как-то купил в Париже, заметив за собой усталость. „Вдруг ошибся? Очень похожие пилюли. Только те надо было принимать „по одной в день, не злоупотребляя“, говорил тот старичок на углу бульвара Сен-Мишель. Кажется, в самом деле ошибся: эти пилюли горьковатые...“ Он стакан за стаканом допил остаток вина из бутылки. „Хорошее вино, но много крепче французского...“

Пишущая машинка стояла на комод. Сбоку она показалась ему похожей в миниатюре на броненосец. „У Франко есть броненосцы, это надо будет отметить в докладе... Я писал в книге, что пока еще нельзя предсказать результат борьбы морского флота с воздушным: нет данных... А мне, собственно, все равно“, — бормотал Константин Александрович, не имевший вообще привычки говорить с собой вслух. Лента на машине сильно истрепалась, кое-где разорвалась на полоски, но у него была запасная. Он стал ее вставлять. „Совершенно все равно, — бормотал он, — что Франко, что Миаха... Если эти, здешние, немного чище и привлекательней, то разве потому, что они пачкают только свободу, которую одни ленивые не пачкали и не компрометировали — и черт с ней! Пусть ее и компрометируют,

и пачкают! А те, фашисты, свои гнусности прикрывают не свободой, а другим, и это гнуснее, потому что тут истинное кощунство... Настоящий верующий человек это иначе как кощунством и не может назвать!..“

Вставить кончик ленты под стерженек валика Тамарину удалось лишь с трудом, хотя он привык к этой операции и даже любил ее; несмотря на свою бережливость, он ленты в Москве и в Париже менял очень часто — ему нравилась черная четкая печать. Пальцы у него испачкались от свежей краски. Воды в кувшине почти не оставалось, он вылил остаток в миску, но только размазал краску на руках, и на полотенце остались черные пятна — „просто неловко перед этой Микаэлой... Нет, так нельзя писать! Уж не выйти ли на улицу, а?“

Константин Александрович очень обрадовался этой мысли и поспешно стал одеваться. „Пропуск есть, могу ходить где хочу, смотреть что хочу. Дверь там внизу была на задвижке, без ключа... Вдруг еще бои увижу! Да, ведь ночью бои!“ — еще больше обрадовался он. Усталость с него сняло как рукой. Но соображал он все хуже. „Согрелся от вина, отличное вино... Да, открытку опустить!“ Открытка Наде по-прежнему лежала в кармане шинели. Надев шинель, Тамарин на цыпочках вышел из комнаты. Пишущая машина все стучала. „Уж не галлюцинация ли это? Нет, никогда в жизни никаких галлюцинаций у меня не было. Во всяком случае, это была бы очень странная галлюцинация“.

Внизу, в холле, на диване полудрэмал вооруженный сторож. Как раз в ту минуту, когда Тамарин спускался по лестнице, у дверей дома остановился автомобиль. В холл вошел высокого роста седой человек в темном, поношенном штатском пальто. „Кажется, это *наш!* Чуть ли я не видел его в Москве, в какой-то комиссии? Латыш“, — подумал с очень неприятным чувством Константин Александрович. Сторож вскочил, на лице его изобразился ужас. Вытянулся с испуганным видом и часовой у двери холла. Штатский человек прошел в дверь, сделав вид, будто не замечает Тамарина.

Ночь была странная. Быть может, в последние годы жизни переселившегося в Испанию грека, самого непонятого из великих художников, в те годы, когда на него надвинулось умопомешательство, он по ночам здесь видел это фигурное пятнистое небо. Резкий ветер гнал облака, красноватая, огромная луна показывалась

лишь на мгновение. Тамарин взглянул на небо, изумился и простоял с минуту неподвижно. Ему пришла была мысль, что он в бреду, что надо тотчас вернуться и лечь в постель. „Какой вздор!.. Странно, все очень странно, — сказал он себе и, застегнув шинель, быстро пошел налево. — Испанисто, очень испанисто! Никогда такой ночи не видел“. Было очень холодно, улицы были пусты, фонари встречались редко. У одного из них ему бросилась в глаза какая-то высокая тумба. Он не сразу догадался, что это почтовый ящик, но догадался. Константин Александрович опустил открытку — „разумеется, почтовый ящик: не может быть ни малейших сомнений“ — и почувствовал большое облегчение. Его и в обычном состоянии немного беспокоили неотправленные письма. Теперь же он вздохнул так радостно, точно найти почтовый ящик в большом городе было необыкновенной удачей. „Значит, след не затеряется!.. Да, торжество зла, и я во всем участвую, дурак на службе у злодеев. Впрочем, другие не лучше их, не умнее меня...“

Не очень далеко раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий. Тамарин обрадовался чрезвычайно. „Вот, вот, туда и надо идти!“ — сказал себе он и ускорил шаги. Все чаще попадались разрушенные дома. „Странно еще, что их так мало! Если бы немцы бабахнули по настоящему, то ничего бы от города не осталось“. Слева показалась высокая колонна с шаром на верхушке. „Памятник? Некому было ставить и не за что. Не велика беда, если и снесут. А потом вы снесите их памятники, и тоже будет отлично“, — кому-то посоветовал он. Константин Александрович еще больше обрадовался, увидев слабо освещенную кофейню с полуотворенной дверью. Он вошел, что-то пробормотал и тыкнул пальцем в первую попавшуюся бутылку. Свет шел от жаровни, на которой жарилась рыба. Старик-кабатчик налил посетителю рюмку, не обратив ни малейшего внимания на его шинель. „Может, он так же не обратил бы внимания, если б к нему зашел Гитлер в германском мундире, — подумал Тамарин, — это и есть мудрец!“ Он проглотил одну рюмку, потребовал другую, расплатился. Снова загремели выстрелы, послышалось трещанье пулеметов. „Университетский городок?“ — спросил с радостью Константин Александрович, вспомнив приблизительно, как по-испански называл это место телохранитель. Старик равнодушно кивнул головой и передвинул блюдо на жаровне. Тамарин только теперь почувствовал

сильный неприятный запах рыбы и с отвращением
большого человека выбежал из кабака.

И точно жизнь хотела удивить его в последний раз, — луна вышла из-под туч, осветив красноватым светом гибнущий город. Константин Александрович ахнул. „Феерично, феерично! — бормотал он. — Кажется, так хорошо говорить: „феерично“? Если угодно, можно разобрать вывески. Не при луне, так при фонаре... Здесь и фонарей как будто больше. „Pelluqueria“ — парикмахерская! — обрадовался он. — „Confiteria“, „Camiseria“* — все понимаю! „Carpinteria“[†]. Что такое „Carpinteria“? „Asegurado da incendios“ — „застраховано от пожара“. На каждом доме „застраховано от пожара...“ Вот тебе и „asegurado“. Россия тоже была „asegurada de incendious“. И мы все“.

На углу часовой сделал было нерешительно движение в направлении к нему, но, разглядев форму, отдал честь и не остановил его. Тамарин вышел на большую площадь. Везде были залитые лунным светом развалины. Справа горело большое здание. Константин Александрович засмеялся. „Вот ведь и там, у Веласкеса, свет от огня кузницы. Кунштюк![‡] Здесь жизнь устроила кунштюк!.. Cine „Las Flores“[§]. Да оно застраховано! Оно застраховано!“

Впереди вниз шла узкая дорога, от которой кривые тропинки поднимались по другую сторону в гору. Только теперь Тамарин заметил, что на невысокой горе стоят большие несимметричные здания. Он догадался, что это и есть Университетский городок, и, быстро перейдя дорогу, стал подниматься по тропинке. Над его головой разорвался снаряд. „Кажется, я попал к штурму?“ — подумал он. К зданию бежали люди с винтовками наперевес. „Эх, дурачьё! Как идут! Ведь их сметут пулеметным огнем!..“

Впереди нападавших человек в куртке, с необыкновенно четкими, как в кинематографе, движениями, по-видимому, в отличие от других, знал толк в такой войне. Пробежав шагов двадцать, он оглянулся, что-то закричал и припал к земле. Не все сделали то же самое. В ту же секунду затрещали пулеметы. Выждав с минуту, человек в куртке, изогнувшись, бросился зигзагом вперед, откинув далеко назад правую руку с гранатой.

* „Сорочки“ (исп.).

† „Столярная мастерская“ (исп.).

‡ От нем. Kunststück — проделка, фокус. — Прим. ред.

§ Кино „Цветы“ (исп.).

Некоторые из бежавших за ним людей повалились. Тамарин ахнул и побежал за ними, на бегу выхватывая саблю. „Ребята!.. Todos para uno!.. Lenin dos dos!“ — закричал он не своим голосом. Раздался сильный взрыв. Тамарин метнулся в сторону, выронил саблю, поднял обе руки и упал. Раскаты взрыва, затихая, слились с пулеметным огнем.

XX.

В день исчезновения Вислиценуса Кангаров вернулся в санаторий в девятом часу, нарочно опоздал, чтобы ни в коем случае не встретиться с гостем. Настроение у него было очень дурное. Он думал, что надо выдержать характер и не разговаривать с Надей по крайней мере два дня. Не то чтобы совсем ничего не говорить: отрывисто сказать: „Доброе утро“, или „Денег не нужно?“, или „К обеду уже звонили?“ — и это, конечно, всегда можно и ни к чему не обязывает, но *разговаривать* не следует. „Пусть знает, что я действительно сердит и что она поступила безобразно, пригласив этого хама! Разумеется, я ее не ревную, было бы в высшей степени глупо ревновать ее вообще, а к этому старику в особенности. Я отлично знаю, что она его не любит, пригласила по глупости да еще потому, что хотела показать свою независимость: я—де свободна, я—де могу принимать кого хочу!“ (Как многие люди еврейского происхождения, Кангаров особенно любил частицы „де“, „мол“ и другие слова подобного рода.) „Теперь я и в самом деле еще ничего не могу ни приказывать ей, ни запрещать, — думал он с нежным замираньем сердца, — но она могла бы понять, что status quo продлится недолго: наши отношения понемногу выясняются“.

По дороге он смягчился и, когда автомобиль подъезжал к санаторию, уже был готов сократить Наде срок наказания до одного дня: „ведь больше всего наказываю самого себя“. Однако настроение у него хорошим не стало. „Из визита проклятого Вислиценуса может выйти большая неприятность: за мной уже, конечно, следят!“ Он сам сначала этому не поверил, затем, поверив, ужаснулся, затем снова не поверил: „Вздор! Что я сделал? Кого может интересовать Надя?.. Но вообще все плохо, очень плохо, очень плохо!..“

Мысли Кангарова перешли на здоровье. Он значительно увеличился в весе, много ел, объясняя Наде, что у него *ложный аппетит*. Врач санатория говорил, что

лучше бы не слишком полнеть, однако беды большой нет: главное нервы, нервы. „Посмотрел бы я на него самого, какие у него были бы нервы, если бы он оказался в моей шкуре“, — с горькой улыбкой подумал Кангаров, разумея не то политические огорчения, не то Елену Васильевну, которая, наверное, откажет в разводе, не то состояние своего здоровья. В последнее время он очень опасался рака и все к себе присматривался: не появилось ли где какое-либо подобие опухоли? „Почему же вы думаете, что у вас рак?“ — спрашивала Надя. „Ты, детка, вероятно, и вообще не слышала, что сорок восемь лет — это раковый возраст? Возраст, особенно предрасположенный для рака“. — „Действительно, не слышала, но ведь не вам одному сорок восемь лет“ („ох, больше“). — „Глупышка, с тобой нельзя серьезно разговаривать. Я тебе куплю куклу“. „Да, разумеется, ревновать было бы недостойно и ее, и меня: она чистый ребенок, — подумал Кангаров, входя в подъезд, — пожалуй, можно заговорить и сегодня“.

„Что, давно, конечно, все пообедали?“ — спросил он швейцара. „Пообедали, господин посол, но повар ждет господина посла.“ „Напрасно: оставили бы мне просто что-нибудь холодное“, — отрывисто сказал Кангаров. Он в душе надеялся на ответ: „Все другие пообедали, но мадемуазель Надин ждет господина посла“. Кассирша спрятала бумаги в ящик, ласково улыбнулась и спросила: „Господин посол не промок? Скверная погода, хотя, я уверена, еще будут превосходные дни, как всегда у нас в этом месяце“. „Нет, я не промок“ („какие, однако, бумаги она так быстро спрятала, когда меня увидела?“). „Писем не было?“ — „Только газеты, господин посол“. Кангаров вздохнул с некоторым облегчением; в последнее время очень не любил получать письма: почти всегда неприятности. „Мадемуазель Надин у себя?“ — „Кажется, в гостиной слушает музыку. Прикажете позвать, господин посол?“ — „Нет, не надо, я сначала пообедаю, но, пожалуйста, пусть мне подадут только одно какое-нибудь блюдо и пусть повар уходит“. — „Помилуйте, господин посол, он ждет господина посла. Господин посол так редко опаздывает“.

Общая почтительность в санатории всегда смягчала Кангарова. Вначале он, как обычно советские люди в чужом обществе, тревожно ждал неприятностей. Не только неприятностей не было — советский посол оказался в санатории самым почетным гостем. Кангаров прошел в столовую, с жадностью съел все, выпил пол-

бутылки вина и еще подобрел. „В самом деле, что ж ей было меня ждать? Проголодалась, должно быть, бедняжка“. После обеда он спустился в гостиную. Надя слушала радиоаппарат, так что можно было не разговаривать. Посол с легкой улыбкой кивнул ей головой. Улыбка предназначалась исключительно для публики — в гостиной сидело еще несколько человек, — Надя должна была понять, что улыбка очень холодная и что он сердит. Надежда Ивановна хотела было ему сказать, что Вислиценус не приехал и не счел нужным извиниться, этакое свинство! Но она тоже выдержала характер: ты молчишь, ну и я молчу, кто кого перемолчит?

Перемолчала она. На следующее утро Кангаров сначала небрежно уронил „как живем?“, затем добавил: „после кофейку поработаем“. Кофеек тоже не подействовал на Надю: она приняла тон служащей, знающей свои обязанности и исполняющей приказание начальства. Кангаров продиктовал ей письмо, едва ли не для того и предназначавшееся, чтобы восстановить отношения. От делового разговора они кое-как перешли к неделовому. Но о Вислиценусе не было сказано ни слова.

Вечером кассирша подала послу недельный счет; просматривая дополнительные расходы, он с удивлением заметил, что чай помечен не был. „Вы ничего не забыли? Кажется, вчера у мадемуазель были к чаю гости?“ — небрежно спросил он. „Нет, господин посол. Вчера к нам вообще никто не приезжал, из-за дурной погоды“, — ответила кассирша, насторожившись не без любопытства: отношения между господином послом и мадемуазель Надин очень ее интересовали. „Значит, этот гусь не приехал? Может, она позвонила ему, чтобы он не приезжал? Увидела, что я сержусь, и позвонила?..“ Сердце Кангарова наполнилось радостью. Он ни о чем не спрашивал Надю, но стал нежен, как прежде.

Дня через три после этого Кангаров утром, позавтракав, устроился на диване в своей комнате и развернул газету. Он читал в газетах все, больше от скуки: дела у него, в сущности, было очень мало, хоть порою он жаловался на переутомление. На четвертой странице ему вдруг попалась небольшая заметка: „Исчезновение русского“. Хозяин гостиницы (указывался адрес) сообщил полиции, что из своего номера исчез (указывалось число), никого не предупредив и оставив в комнате вещи, русский, довольно долго там живший. Фамилия была переврана, но Кангаров знал, что в этой гостинице жи-

вет Вислиценус. Почему-то заметка чрезвычайно взволновала посла. У него началось даже сердцебиение, не вымышленное, а настоящее. „Да, число то самое, когда он должен был быть у Нади!“ (Кангаров проверил это только теперь, а *почувствовал*, что число то самое, сразу в первую же секунду.) „Но какая связь? Число тут абсолютно никакой роли не играет... Да и вообще, что такое? В чем дело? Ну, исчез, дальше что? Он мог *просто* уехать, не оставив адреса. Разумеется, мог, это даже на него похоже... При его делишках всегда мог понадобиться срочный отъезд на несколько дней. Почему не предупредил хозяина? Да мало ли почему? Может быть, просто не успел. Или не подумал, что хозяин тотчас сообщит полиции. Мало ли что могло быть!.. Или уехал, не желая платить по счету. Всех вещей у него, верно, была пара штанов...“

Доводы эти Кангарова не убедили. Он спустился вниз, достал еще две газеты и снова поднялся к себе, — почему-то затворил дверь на ключ. Одна из газет сообщала дословно то же самое, только фамилия была перевернута по-иному. В другой о происшествии ничего не сообщалось. Почему-то это немного его успокоило. Он походил по комнате. „Вероятно, пустяки! *Просто*, куда-нибудь уехал. Да и что же может быть другое? И сенсации никакой нет. Разве *так* сообщают о...“

Прихода в санаторий полуденных газет он не дождался. Хотел было послать за ними мальчика на вокзал, куда они приходили немного раньше, но почему-то раздумал и пошел сам. Развернул газету, оглянувшись, еще на дороге. О происшествии не было ни слова. „Разумеется, вздор“. Кангаров вернулся, оглядывая подозрительным взглядом немногочисленных встречных прохожих. Внимательно вгляделся в кассиршу, — как будто она улыбается несколько странно? Поднявшись к себе, он спрятал было в ящик те газеты, в которых сообщалось о происшествии, передумал, изорвал на мелкие клочки и выбросил в уборную. Надежда Ивановна просматривала первую и третью страницы газет лишь под вечер, да и то не всегда и бегло (что повергало его в изумление: как можно до вечера прожить, ничего не зная!).

Кангаров всегда жаловался Наде, что по ночам „не смыкает глаз“ — она недоверчиво сочувствовала, — на этот раз он и в самом деле спал очень плохо. Много думал о своем положении, о прошлом, вспомнил с ужасом свою статью „Опомнитесь, бесстыдники!“ На следу-

ющее утро он без всякой причины отправился в Париж. Ни с кем разговаривать по этому делу („да какое же дело?“) было невозможно, Кангаров надеялся, что, быть может, с ним заговорят, то есть кто-нибудь что-нибудь шепнет. Никто ничего не сказал. Это можно было тоже понимать по-разному. Однако он как будто немного успокоился: успокоительно было главным образом то, что никакого шума происшествие не вызвало. И газеты, и, по-видимому, полиция им совершенно не интересовались. „Да и чем же тут интересоваться?.. Все-таки надо обдумать положение“. Собственно, и *положения* никакого не было, и обдумыванием нельзя было назвать неясный ход беспорядочно перебегавших мыслей Кангарова. Он вдруг решил, что пора покинуть Францию. Это зависело только от него: числился в отпуске по болезни и мог, конечно, сократить свой отпуск.

— Детка, — сказал вечером Кангаров Наде, — сообщая тебе важную новость: мы завтра возвращаемся.

Надежда Ивановна удивленно на него взглянула.

— Завтра?

— Так точно. Завтра, непременно завтра. А что?

— Ничего. Но почему вдруг такая спешка? Ведь ваш отпуск кончается только через десять дней? И вы хотели еще раз побывать у профессора Фуко.

— Нет, я раздумал, да и никогда, собственно, не хотел. Он уже сказал все, что знает, и ничем мне не помог. К тому же оказались разные дела, пора и на работу... А разве тебе хотелось бы еще тут со мной посидеть? Ты ведь и то жаловалась на скуку в санатории.

— Я тут ни при чем: вы решаете. Но разве непременно надо завтра? Мне хотелось бы еще побывать в Париже.

— Это зачем? Если тебе нужны какие-нибудь тряпки, то купишь там, или отложи до следующего приезда.

— Да, кое-что надо бы и купить, и повидать кой-кого.

— Кого это?

— Да хотя бы Вислиценуса, которого вы так обожаете, — сказала Надя, чтобы позлить Кангарова.

— Вислиценуса? Он, говорят, уехал, — небрежно сказал посол, очень обрадованный тем, что ей о Вислиценусе ничего не известно.

— Куда уехал?

— В командировку, что ли? Не знаю.

— Может быть, он тоже ускакал в Испанию?

— Почему „тоже“?

Кангаров вдруг почувствовал, что его заливают радостью. „Но как же мне это не пришло в голову? Конечно, он ускакал в Испанию, именно ускакал! Тогда все более или менее объясняется!“

— Потому что в Испанию, оказывается, уехал командарм Тамарин. Я неожиданно получила от него сегодня открытку из Мадрида. Уехал, ничего не сказав, не простился.

— Глупышка! О служебных командировках вообще трубить у нас не полагается, а о командировках в Испанию тем паче. Да, ты угадала, Вислиценус, я слышал, уехал в Мадрид Иванович, но, пожалуйста, никому об этом ни звука не говори. Да и тот глупый старик не имел никакого права посылать тебе из Испании открытки. Об этом, прошу тебя, тоже молчок. Ты еще и его подведешь!

Кангаров смутно чувствовал, что дело все-таки разъясняется далеко не удовлетворительно — даже в Испанию не было надобности уезжать *так*: можно было сказать хозяину об отъезде, не сообщая, разумеется, куда едешь; можно было увезти вещи и заплатить по счету. Но точно что-то в нем переломилось: он теперь твердо верил, что Вислиценус уехал в Испанию. Никаких следов тревоги у него не осталось, она внезапно сменилась приливом радости, бодрости, счастья. „Вот Наденька тут! Какое значение имеет все остальное!“

— Детка! — сказал он сияя. — Милое дитя мое! Решено и подписано, мы едем завтра, значит, вещи надо уложить еще сегодня. Давай сейчас же этим займемся, я все сделаю. Что же касается финтифлюшек, то, если тебе нужны такие, какие можно достать в Париже сразу, не выходя из магазина, изволь: по дороге на вокзал мы остановимся где нужно и все купим. Я найду с тобой, ужасно люблю, как ты покупаешь тряпки! Если ты протранжирилась, то аванс к твоим услугам. Ты только составь заранее списочек финтифлюшек, которых просит твоя душа.

— Никаких финтифлюшек моя душа не просит, — ответила сердито Надежда Ивановна.

Ей, собственно, было все равно: санаторий очень надоел, Кангаров надоел хуже горькой редьки, но и там будет не лучше. В общем, *все* теперь зависело от ответа редакции: примут ли новеллу или нет? Новелла была отправлена Женке с препроводительным письмом, в

котором, несмотря на небрежную форму, было обдуманно каждое слово (черновик переделывался два раза). Надежда Ивановна *совершенно не верила*, что рассказ будет принят: „Поверь, Женька, я не заблуждаюсь, отлично знаю, что это пустячок, ерунда, и посылаю так, от фанаберии, как ты говорил тогда в Сокольниках. Не сомневаюсь, что они не возьмут, и будут правы. Мне совершенно все равно, я несколько огорчена не буду: написала от нечего делать...“ Дальше следовала подробная инструкция, как действовать и что сказать редакторам (Надя знала, что она много умнее Женьки). Рукопись и письмо она послала заказным письмом. На почте сказали, что дешевле послать как „*imprimé*“*. Надежда Ивановна поколебалась, денег у нее было мало (просто непонятно, куда уходят). Все же послала в запечатанном конверте: вернее и как-то солиднее.

Теперь она ждала ответа. В самом положении этом, Надя чувствовала, было нечто нестерпимо банальное. „Кажется, везде описывается: начинающий автор ждет ответа редакции относительно первого своего произведения. Но это для других. Для меня от этого зависит теперь судьба“. Ответа еще быть не могло, даже по телеграфу. Надежда Ивановна не просила о телеграмме, это было невозможно ввиду полного равнодушия к судьбе рассказа. Но она понимала, что если примут, то от Женьки ответ придет по телеграфу: „Он все сделает: был влюблен и говорил разные слова“ (упоминание о Сокольниках было сделано не случайно: Надя и это обдумала, хоть ей было немного совестно). В письме она просила никому не говорить ни слова; однако надежды на исполнение своей просьбы не имела: понимала, что этого и требовать от человека нельзя, „я сама тоже всем разболтала бы“. „Ну, и пусть! Откажут, так что же? Нинка будет издеваться, — Надежда Ивановна представила себе все самое обидное, что может сказать Нинка по случаю ее провала, — но, во-первых, она все равно издевается не над этим, так над другим, такой собачий характер, ее все знают. Во-вторых, ничего позорного нет, что не приняла первого рассказа (Надя в душе знала, что будет все равно и второй), это случилось с самыми знаменитыми писателями. В-третьих, новелла могла не подойти по направлению или по жанру. В-четвертых, ну плохой первый рассказ, что за беда? В-пятых, сама Нинка не то что новеллы, а письма грамот-

*Печатный текст (*фр.*).

но написать не умеет. В-шестых...“ В-шестых, выходило все-таки неприятно, что будут смеяться и злорадствовать. „Что ж делать, любишь кататься, люби и саночки возить“. Но саночки она чувствовала, а какое катание, было не вполне ясно. Надежда Ивановна предполагала, если примут новеллу, бросить службу, вернуться в Москву и стать настоящей писательницей — „профессиональной“, — выражение это она читала в газетах, оно было ей и приятно, и немного странно: почему-то вызывало в памяти „профессиональную проституцию“.

Надя села за стол и написала: „Женька, еще пара слов в дополнение к прежнему. Мы возвращаемся раньше времени: завтра. Наш старый адрес ты знаешь, повторю на всякий случай, зная твою дурью голову (следовал адрес). Ты, верно, уже скоро будешь иметь ответ относительно моей штуkenции. Хотя, повторяю, я о сем беспокоюсь очень мало, все же... (следовало повторение инструкции). Если бы не ты, то не приняли бы, наверное. Но, зная твои связи и влияние, я немного рассчитываю. Чем черт не шутит!“ Насчет связей и влияния было придумано тонко. „Пара слов“ превратилась в четыре страницы, затем Надя еще довольно долго ходила по своей комнате и вещи стала укладывать не скоро.

Надежда Ивановна догадывалась, что на обратном пути Кангаров будет опять говорить о любви. Это было тяжело, скучно и даже не смешно; она чувствовала, что обманывает его и нехорошо обманывает: „Надо было сразу его оборвать“. Но обрывать Надя не умела, во всей этой истории с Кангаровым запуталась и не знала, как из нее выйти. Вдобавок Кангаров в последнее время немного пугал ее: она замечала за ним странности. „Кажется, выживает из ума. И пьет больше, чем нужно бы. Жаль его: он все-таки недурной человек“.

Так и на этот раз. На вокзале Кангаров вел себя несколько странно: на лестнице, на перроне все нервно оглядывался по сторонам, всматривался в проходивших людей, быстро пробежал по коридору вагона, заглядывая в другие отделения. „Да что это, он в самом деле боится слезки?“ — с недоумением спрашивала себя Надежда Ивановна. По-видимому, ничего подозрительного Кангаров не нашел. Когда поезд тронулся, он сразу очень повеселел, принял хорошо ей известный ухарский разбойничий вид, достал плоскую бутылочку коньяку, дорожный стаканчик и предложил ей выпить.

Надя знала, что он скажет: „Теперь узнаю все твои мысли“, выпьет два стаканчика и добавит: „Великая вещь — Коньячок Иванович!“ Кангаров именно так и сделал. „Жаль, закусь нечем. Для тебя, впрочем, детка, найдутся конфетки...“ Достал конфеты, отличную большую коробку, вынул длинный с завитками шоколадный цилиндрик, разломал пополам, сунул половину ей в рот, другую съел сам. Все это было довольно обычно, хоть, как всегда, несколько ей противно, но затем он вдруг, с неожиданной силой приподнял ее и посадил к себе на колени. „Что за безобразие! Оставьте меня! Слышите, сейчас же пустите! — сказала она и сразу почувствовала, что сказала это хотя сердито, но тоном ниже, чем следовало бы, — пустите, слышите!“ „Какая злая!..“ Он отпустил ее не сразу, пробуя, можно ли не отпускать. Надежда Ивановна вырвалась и села в угол. „Это становится просто невозможным!“ „Дурочка...“ „Вы сам дурак!“ — сказала она и вдруг почувствовала, что это слово, неожиданно у нее вырвавшееся, многое меняет: „открылась новая глава“. Кангаров постоянно отечески называл ее дурочкой, но ей никак не приходилось называть дураком полномочного представителя великой державы, „хоть это святая истина“. Полномочный представитель тоже несколько опешил, засмеялся не совсем естественно, но потрепал ее по колену. „Обиделась! Экая ты... Послушай лучше, что я тебе скажу“. — „Ничего умного вы сказать не можете, лучше молчите“. Надежда Ивановна шла напролом: все равно после „дурака“ оставаться на службе невозможно. „Дерзкая девчонка, как ты смеешь так говорить со своим начальником? — шепотом проговорил Кангаров, — с начальником, который тебе предлагает...“ „Что предлагает? Что вы мне предлагаете?“ — „Предлагает тебе руку и сердце, говоря высоким стилем“. „Да быть не может“, — сказала Надя иронически. „Значит, так, если я тебе говорю!“ „Но вы, собственно, как будто женаты“. — „Ты отлично знаешь, что я развожусь... Развожусь не из-за тебя, а во всяком случае. Что же ты скажешь?“ — „Я так поражена честью, что ничего сказать не могу“. „Ах, брось этот тон! Послушай, Надя, ты умная девочка, ты отлично знаешь, что я в тебя влюблен. Хочешь ты быть моей женой? — он чуть было, по какому-то литературному воспоминанию молодости, не добавил: „перед Богом и перед людьми“, — скажи: да или нет?“ „Нет“. „Ты говоришь „нет“, а я чувствую, что ты говоришь „да“!“ — „Чувствуйте, я не могу запретить

вам чувствовать“. — „Ты меня не любишь?“ — „Я вас очень люблю, но...“ Она хотела сказать, как говорилось у них в школе: „но издали“. „Ты хочешь сказать: как друга? Да, я буду тебе и другом. Я знаю, что я вдвое старше тебя“ („а не втрое?“ — мысленно поправила она), но я не чувствую себя старым! („это очень утешительно“), я влюбился в тебя, как мальчик, я все для тебя сделаю, Надя!“ Она хотела было выдержать иронический тон, но понимала, что это становится невозможным. „Я очень тронута“. „С другой стороны, подумай, — сказал он убедительным шепотком, — ты умница, красавица, все это так. Однако до сих пор тебе никто предложений не делал...“ Надя густо покраснела. „Я хочу сказать, что едва ли ты с другим будешь иметь столь блестящее положение, как со мной“, — поспешил поправиться он, почувствовав ошибку. „Если вы...“ — „Нет, нет, ты пойми, ты пойми мою мысль. Я об одном тебя прошу: не говори „нет“, не лишай меня надежды, скажи: позвольте мне подумать. Насчет развода не беспокойся. Я его добьюсь“. — „Добивайтесь чего вам угодно!“ — „Надя!“ — „А о моей горькой участи, пожалуйста, не тревожьтесь!“ — „Нет, я напрасно сказал, что ты умна. Ты дурочка: разве можно придираться к слову? Надя, милая, подумай. Скажи: позвольте мне подумать“. „Позвольте мне подумать“, — повторила она насмешливо, в точности воспроизводя его интонацию. „Но скажи мне „да“ как можно скорее“. — „Слушаю-с“. — „Ах, какая ты! Надо же мне знать!“ — „Это для развода? Но ведь вы, кажется, разводитесь во всяком случае“. „Во всяком случае! — подтвердил он радостно, — ну, вот и отлично, вот мы наконец поговорили. Больше я ни-ни, ни гу-гу. Хочешь читать газету, читай...“ Надежда Ивановна пожалала плечами. „Милая, только не мучь меня долго! Я знаю, что ты врешь, будто ты до сих пор не догадывалась“. — „Отстаньте. Вы только что сами сказали: я ни-ни, ни гу-гу“. „Ни гу-гу! Ни гу-гу! — с восторгом повторил он. — Вот только поцелую... Нет, ручку, ручку!.. И ни гу-гу...“

Закрывшись газетой, Надя с изумлением думала о случившемся. „Более идиотского объяснения в любви, вероятно, никогда в истории не было! Но я действительно понятия не имела, что он готов и на развод: я думала, он хочет *так!*..“ Тотчас Надежде Ивановне стало ясно, что в этом-то неловкость и стыд: „Значит, пока он хотел *так*, мне было только смешно и гадко, а теперь?“ Она сама не знала, что теперь. „Ясно, что он понял „нет“ как

крик победителя! Да ведь все-таки я сказала „нет“, вольно ж ему понимать по-своему! Но я-то, я-то сама как понимала: совсем „нет“, на все сто процентов „нет“ или только на девяносто процентов?“

Надя ужаснулась. „Неужели хоть на минуту могло прийти в голову, что я за него пойду! Нет, неправда, *это* не приходило. Он, как в старых романах писали, „блестящая партия“, и влюблен в меня, и он мне, как ни странно, не отвратен, но все-таки об этом и думать глупо. Надо сказать ему, чтобы он выбил себе дурь из головы: еще в самом деле вздумает разводиться со своей красоткой. А впрочем, это его дело, я ему сказала: нет, и кончено. А если он все равно с ней разводится, то могу только его поздравить. Воображаю, какую физиономию она сделает!..“ Мысль о физиономии Елены Васильевны была единственным приятным во всем этом деле. „А самое неприятное? Да, ужасно то, что он правду сказал: предложений никто не делал, и не предвидится. Василий Васильевич в мыслях меня не имеет. Влюблялись, да и то не очень, только мальчишки: Сашка, Женька. Для меня люди моложе тридцати не существуют... И не старше сорока ну, с натяжкой, сорока пяти. Я не пушкинская Мария, и он не Мазепа, да и за Мазепу я тоже не пошла бы. Какие, однако, глупые мысли лезут в голову, — сама удивилась Надежда Ивановна. — Но это, правда, ужасно! Если до сих пор не влюблялись, то дальше и тем более не будут. Значит, нет ничего!..“ Надя еще приблизила к лицу газету. „Если я сейчас разревусь, он подумает, что это от счастья... Что же ему сказать? Надо бы просто уйти и бросить службу. Но как жить? Чем жить? Если бы хоть скорее был ответ от редакции! Господи, какой угодно обет бы дала, лишь бы приняли! Уехать так? Но ведь и на билет не хватит денег, а он не даст и не отпустит... В Москве Нинка будет говорить, что виконта за границей найти не удалось. Ну и пусть говорит. Сама она тоже не вышла ни за виконта, ни за невиконта!“ — с неожиданной злобой подумала Надежда Ивановна. Почему-то ей вспомнился молодой человек, тот красивый „белогвардеец“, которого они с Тамариным видели в кофейне перед большим обедом. Надя вздохнула.

Послышался звонок, в дверь их отделения постучали. Человек в синей куртке предлагал билетики на завтрак в вагон-ресторан. „Да, да, два места. На первую серию, — восторженувшись, весело сказал Кангаров. — Мы и винца с тобой выпьем. Хочешь, спросим шампан-

ского? По сегодняшнему случаю. Винават, винават, знаю, что никакого случая не было: ты мне ответа не дала, слышал, слышал!“

XXI.

На вокзале их встречал только Эдуард Степанович, наиболее близкий человек в полпредстве. При виде Надежды Ивановны он улыбнулся особенно достойно-радостно, и лицо его ясно выразило: „Я тут ничего, решительно ничего странного не нахожу“.

„...Вы очень пополнели, но вид немного усталый с дороги“. „Нет, я вообще устал, — сказал отрывисто Кангаров. — Ну что? какие неприятности? выкладывайте сразу“. Оказалось, что особых неприятностей нет: есть только пропасть забот важнейшего государственного и дипломатического порядка. На лице Эдуарда Степановича появилось чрезвычайно озабоченное, хоть тоже в высшей степени достойное выражение. Он явно не хотел говорить в присутствии Надежды Ивановны о государственных делах. „Господи, какой скучный!“ — подумала Надя. Эдуард Степанович не был ей неприятен; она знала, что он человек порядочный, самый порядочный из всех ее сослуживцев: не донесет, не насплетничает, не сделает никакой гадости. Но от самого его вида, от голоса и говора веяло скукой. После двух минут разговора на вокзале Надежде Ивановне показалось, будто она никуда не уезжала, всю жизнь прожила с Эдуардом Степановичем, и конца этому не будет. „...Что вы говорите: Елена Васильевна?..“ Эдуард Степанович, собственно, ничего о Елене Васильевне не говорил. Он учтиво подождал с полминуты, не будет ли *конкретного вопроса*, — не следует перебивать начальника. Убедившись, что конкретного вопроса не будет, не сказал, а *сдержанно произнес*: „Елена Васильевна вполне здорова. Но мы не знали в точности, когда именно вы приезжаете“. Вид его опять показывал, что со свойственным ему тактом он не считает возможным касаться вопросов *больных*, — так он в беседах с иностранцами замолкал, если случайно речь заходила о пропаганде Коминтерна. Эдуард Степанович сообщил новости из *осведомленных кругов*. „Кроме того, у короля готовится большой бал со всем тра-ла-ла. Давно уже такого при дворе не было“. „С чего бы это Король Иванович так развеселился?“ Эдуард Степанович солидно-дипломатически пожал плечами. „Ну а вы

как? Все побеждаете женские сердца?“ „Спасибо, я уже смеялся“, — сказал Эдуард Степанович.

Когда на следующее утро Надежда Ивановна явилась на службу, Базаров в юмористической форме рассказывал двум другим служащим о встрече амбассадера и амбассадерши. „...Раскатов грома не было. Но Ленуся развода не дает“. — „Все вы врете: ничего вы слышать не могли“. — „Слышать-то он, понятно, ничего не слышал, а что у них к загсу идет, это факт“. „Похоже что. Но денюжат от амбассадера Ленуся получит немного, у него у самого не то чтобы густо, алименты будут средние. Ведь и для Надьки нужно приблещать... А, Надежда Ивановна, с приездом“, — улыбаясь, обратился Базаров к входившей Наде. Она догадалась, что говорили о ней нехорошее, и покраснела. „Все злые, все хамы! Есть ли еще добрые люди?“

Елена Васильевна встретила просьбу мужа с холодной спокойной яростью. Кангаров говорил *негромким взволнованным* голосом, стараясь вложить в свои слова возможно больше *искреннего уважения* и даже *тихой нежности*. Общий смысл его слов был такой: что ж делать, случилось несчастье, люди, когда-то горячо любившие друг друга, вдруг почувствовали, что они друг друга больше не любят; при таких условиях совместная жизнь становится бессмысленной и невозможной; поэтому, полностью сохраняя глубокое уважение и тихие дружеские чувства, обе стороны должны дать друг другу свободу.

По лицу Елены Васильевны во время монолога ее мужа трудно было разобрать что бы то ни было: слушала, не перебивая, спокойно, даже с легкой улыбкой, впрочем, скорее ничего доброго не предвещавшей. Неожиданного в словах Кангарова было для нее не так много: Елена Васильевна не сомневалась, что ее муж в связи с Надей. „Все-таки какая наглость! — подумала она. — Разумеется, ни за что!“

— Как прикажете понимать „дать свободу“? Это означает: развод? — спросила она улыбаясь.

— Милая, посуди сама: если два человека замечают... — начал Кангаров, ободренный было ее спокойствием: он ждал криков и истерики. Елена Васильевна его перебила:

— Если два человека замечают, что вы живете с этой горняшкой, то я вам развода не дам.

— Ленуся, как тебе не стыдно! Я понимаю, что ты взволнована, но пойми же...

— Я нисколько не взволнована. Отчего бы мне волноваться? Я не так страстно вас люблю.

— Я и говорю, что при таких условиях выясняется...

— При таких условиях выясняется, что вы дурак, — сказала ледяным тоном Елена Васильевна. Кангаров опять немного опешил: на протяжении двух дней от обеих услышал одно и то же. Глаза у него пожелтели от злости.

— На грубости я отвечать не буду!

— Это не грубость, а святая истина. Вам шестой десяток, из вас песок сыплется, и вы дали этой интриганке с лицом смазливой горняшки свести вас с ума или с того, что вы считаете умом. Как же мне называть вас иначе, как дураком?

— На грубости я отвечать не буду, — повторил Кангаров, сдерживаясь: „не надо ее раздражать“. Негромкий взволнованный голос все-таки теперь уже не совсем подходил. — Не буду отвечать и на намеки, столь же лишённые основания, сколь недостойные тебя, меня, нашего прошлого, — сказал он *с силой*. — Я просто тебя спрашиваю, какие логические выводы ты делаешь из того, что ты же сама говоришь? Можем ли мы быть мужем и женой при таком твоём отношении ко мне? Можем ли мы...

— Вы совершенно напрасно расточаете красноречие. Я вам развода н-не д-дам!

— Милая, почему же?

— Потому.

— Это не ответ. Будем рассуждать как здравомыслящие люди. Два человека...

— Не дам и не дам. Так и зарубите у себя на носу: ни-ког-да!

— Позволь тебе, однако, сказать в таком случае, что я могу обойтись и без твоего согласия. Мы живем не в буржуазном государстве, а социалистическом: у нас человека не закабаляют и не...

Елена Васильевна расхохоталась самым демоническим своим смехом:

— Посмотрим! Думаю и даже убеждена, что вы в *ваших* интересах на скандал не пойдете. В Москве *этого* теперь не любят.

— Чего не любят? На какой скандал? В чем скандал? Подумай о том, что ты говоришь! Ленуся, пойми же, что

я не хочу ссориться с тобой. Зачем ты меня оскорбляешь? Разве я виноват, что... Разве тут есть виноватые?

— Вы, очевидно, думаете, что если вам хочется пробираться по ночам к этой горняшке не крадучись, а открыто, то это Божья воля? Это не Божья воля! Она, разумеется, плевать хотела на вас как на такового. Надо быть идиотом, чтобы думать, что вы еще можете нравиться женщинам, хотя бы горняшкам. Она хочет стать женой полпреда, только и всего. Через год она вас бросит, разумеется, ободрав вас как липку.

— Бесплезно продолжать этот разговор! — сказал, еле сдерживаясь, Кангаров. Глаза его от бешенства стали шафранными. — Но если ты говоришь о моем официальном положении, то я должен сделать тебе другое признание, которое непосредственно тебя касается. Я не хотел говорить до сих пор, но теперь больше молчать не могу. Мое положение в Москве очень поколебалось.

— Почему? Вы врете.

— Я сам не знаю почему. Ты мне не веришь в личных интимных делах, пусть! Но я не давал тебе права сомневаться в моей политической работе, — сказал он с еще большей силой: как будто *клянуло*. — Вероятно, меня оговорили враги. Ты сама знаешь, что творится в Москве. Кое-что я слышал теперь в Париже.

— Что ты слышал?

— Не могу сказать, я связан. Но положение мое, прямо скажу тебе, плохое. Теперь сделай выводы. Я могу слететь в любую минуту, да и только ли слететь? Ты меня знаешь: если меня вызовут в Москву, я выеду в тот же день, что бы меня там ни ждало. Я не обману доверия партии и советского государства, поставившего меня на высоту, — сказал Кангаров тоном закалывающегося Катона.

— Что такое ты слышал о Москве? Мне ты можешь сказать.

— Не могу даже тебе. Но хорошего мало... Итак, предположим на мгновение, что это будет так. Я не говорю, что это непременно будет так, — добавил он для большего правдоподобия и тут же подумал, что, к несчастью, тут далеко не все выдумки. — Но предположим на мгновение, что это будет так: меня вызывают в Москву. При тех отношениях, которые, к сожалению, между нами установились, могу ли я связывать тебя своей участью?

— А ее можете?

— Кого ее? Опомнись, Ленуся!

— Вы не хотите, однако, меня уверить, что вы добиаетесь развода не для женитьбы на ней. Если не для этого, то для чего вам развод?

— Не будем отвлекаться, я не намерен заниматься бреднями. Я только тебя спрашиваю: могу ли я тебя связывать своей участью? Готова ли ты на это?

Тут произошло неожиданное. Елена Васильевна встала, в волнении прошлась по комнате и, остановившись перед мужем, положила ему руку на плечо.

— Ты можешь обо мне думать что тебе угодно, но я в беде мужа не покину! — сказала она проникновенно. Это было уже не из трагедии, а из Аввакумова жития: „Долго ли мука сия, протопоп, будет?“ — „Марковна, до самая смерти“. — „Добро, Петрович, ино еще побредем“. Но Елена Васильевна никакой роли тут не вспоминала: разве только отрывки из „Русских женщин“, которые иногда читала в Москве на вечерах. Она была искренне взволнована. — Я тебе была верна в счастье, буду верна и в несчастье.

— Повесть... Но вправе ли я, Ленуся, принимать твою жертву?

— Тут у тебя нет ни права, ни неправы. Это мое дело, и что бы ты обо мне ни думал, я не то, что некоторые... Бросим этот разговор!

— Ленуся, я страшно тронут, но пойми...

— Бросим этот разговор! — повторила Елена Васильевна и вышла из комнаты: королева расстается с графом Лейстером, лучшая сцена Ермоловой.

„Это катастрофа! — подумал с ужасом Кангаров, опускаясь на диван, — это катастрофа! Я ждал чего угодно, только не этого...“ Посидев неподвижно минуты две, он положил голову на валик дивана, хотел поднять на диван ноги и не поднял, зажег стенную лампочку и снова ее погасил. „Что же теперь делать? Да, конечно, можно развестись против ее воли. Поехать в Москву? Но отпустят ли оттуда назад? А с Наденькой пока что делать? Взять с собой, она со мной сюда не вернется. Ей даже сказать нельзя: она тотчас уедет! Но если Наденька от меня уйдет, я погиб!“ Он взглянул на изогнутый в виде вопросительного знака крюк стенной лампы. „Ведь она и так почти отказала мне. Нет, не отказала, но еще все висит на волоске! Я храбрился с ней, храбрился с собой, а все висит на волоске, точно я этого не понимаю! Эта гадина права, я стар, жизнь моя на исходе, начало конца! Разве стариков любят? „Из вас песок

сыплется, — вспомнил он, — а она права! Может быть, это преступление — связывать со своей кончающейся жизнью молодое существо?“ С отчаянием Кангаров подумал, что, хотя бы это было преступление, он от Нади отказаться не может: в этом смысл жизни, весь смысл жизни. „Но, быть может, она любит другого? Вислиценуса? Нет, этот был такой же осел, как и я. Другой, молодой, один из ее московских мальчишек, какой-нибудь Петька или Ванька? Или тот курносый Василий Васильевич, фотография которого стоит у нее на столе? Вот к нему она и уедет!“ С ужасом и ненавистью он представил себе их встречу в Москве, сцену на квартире у этого Василия Васильевича. „Но если так, то жизнь мне не нужна! На все наплевать!“ Сердце у него стучало. „Припадок? Нет, какие припадки! Где-то было лекарство... Какое теперь лекарство!“ Перед креслом стоял передвижной столик с ликерами. Кангаров налил чего-то из графина, выпил залпом, налил из другого, выпил еще, пробсжал по комнате. Курносый тридцатилетний человек насмешливо, победоносно улыбался ему, обвиняя в постели полуодетую Надю. „Сейчас, сию минуту кончать! Револьвера нет, пойду куплю, там есть оружейный магазин. Нужно разрешение? Нет, я покажу свои бумаги. Долго, далеко...“ Вдруг его налитые кровью глаза снова остановились на лампе, приделанной к стене над диваном. „Да, это крепкое бра, выдержит пять пудов. Надо попробовать...“ Дыхание пресеклось у него совершенно. Ему вспомнился товарищ, повесившийся тридцать лет тому назад в Женеве в той гостинице, где они жили. „На подтяжках? Нет, кажется, на веревке. Веревка найдется, вон там есть. Скандал? Все равно, мне теперь все равно! С улицы увидят? Плевать! Есть портьеры“. Дрожащей рукой он задернул портьеру на одном окне, хотел было задернуть на другом, не задернул, залпом выпил еще полный стакан ликера и, пошатываясь, не спуская глаз с крючка, подошел к стене. Он стал позади изголовья, отодвинул диван, взялся рукой за крюк и сильно потянул его книзу. Крюк выдержал. Кангаров схватился за него обеими руками и повис, поджав ноги. Неприятно хрустнул под мышками и нелепо растопырился снизу пиджак. Крюк вырвался из стены, посыпалась известь, послышался треск разбившегося стекла. Кангаров споткнулся, упал на колени, быстро поднялся и бессмысленным взглядом уставился на пол.

В дверь постучали, вошел Эдуард Степанович и остановился в недоумении. „Что это случилось? Лампа вывалилась?“ „Лампа вывалилась“, — бессмысленно повторил посол. „Я сейчас скажу, чтобы убрали“. Он хотел было спросить Кангарова о здоровье, но раздумал. „Здесь вообще неважно работают. Я на днях стал на стул, чтобы достать книгу, моментально ножка треснула... Я вам не мешаю? Я хотел вам передать: это от короля, — сказал, подавая большой конверт, Эдуард Степанович так почтительно-торжественно, будто король сам только что это принес. — Разрешите вскрыть?“ Кангаров кивнул головой. „Темновато тут. Да, это приглашение от короля вам и Елене Васильевне... Я потом у вас попрошу для моей коллекции, если вы не собираете... Говорят, бал по великолепию затмит все! Они это красиво делают, лучше, чем у нас на Спиридоновке“. „Чем у нас на Спиридоновке“, — повторил Кангаров.

XXII.

„Кажется, никакого раута у них сегодня нет? — с легким недоумением спросил себя Серизье, войдя в вестибюль особняка Белланкомбров, — зачем же, собственно, нужно было звать меня так настойчиво?“ Знаменитый адвокат уже несколько недель был своим человеком у графини, и приглашения в этот дом сами по себе ему больше удовольствия не доставляли: в его собственном кругу все знали, что он здесь свой человек; это уже стало частью его светского капитала. Почему-то он думал, что сегодня маленький *раут*, и надел смокинг. „Отличное клише для бульварного романа или для фильма: „Блестящий раут во дворце графини де Белланкомбр. Дамы в бальных платьях, музыка, шампанское. Тотчас по окончании раута знаменитый адвокат Серизье уезжает прямо на...“ Он вздрогнул и подумал, что настраивать себя в этот вечер на иронический лад и бессовестно, и незачем, и не удастся. По дороге из дому он все не мог решить, сказать ли или нет, где он должен быть на рассвете.

Своей грузной, переваливающейся походкой он поднялся по лестнице, с легкой досадой чувствуя, что уже поддается *ауре* дома. К этой ауре он был чувствительнее других людей. Серизье не подлаживался к пожеланиям хозяев тех домов, в которых бывал: он был чело-

век независимый и чуждый подхалимства. Тем не менее у графов де Белланкомбр он говорил и держал себя не так, как в салонах богатых банкиров, а в этих салонах не так, как, например, у профессоров и писателей. Мало того, он себя и *чувствовал* разным человеком в разных домах. В доме графини де Белланкомбр Серизье чувствовал себя левым социалистом, отстаивающим начало коллективизма и Великой Революции в обществе *сi-devant'ов**, — но что же делать, если эти *сi-devant'ы* все-таки чрезвычайно милые люди, очень его любящие? Поэтому великие начала нужно отстаивать по возможности шутливо, хотя при случае можно и огрызнуться. Такова была его аура в этом доме, и это была очень приятная аура.

Старик-граф встретил Серизье в первой из четырех гостиных дома. Встретил его с таким выражением, будто тотчас ждал чего-то очень остроумного и смешного. Это выражение хозяин дома нацепил на лицо по рассеянности: оно вообще предназначалось для Вермандуа. Граф де Белланкомбр в этот день играл в клубе в бридж до обеда, заранее себя вознаграждая за потерянный вечер, и разыграл партию, которую зрители с восторгом называли гениальной, классической, исторической. Но как настоящий художник, он строго относился к своему творчеству и теперь, оглядываясь назад, думал, что его новшество не было вполне безупречным: как Наполеону под Маренго, ему на помощь пришла судьба. Мысль об исторической партии занимала его весь вечер. Он и за обедом отвечал жене невпопад. Это случалось с ним вообще не часто: беседа графа никогда не отличалась блеском, но он слушал собеседников с достаточным вниманием, а сам высказывал мысли понятные, общедоступные, добротные, такие, что не подведут и подвести не могут. За оригинальностью граф и не гонялся. Вдобавок по опыту своего же салона, считавшегося одним из наиболее блестящих в Париже, то есть в мире, он знал, что девять десятых знаменитых людей в девяти случаях из десяти говорят общие места. В ту минуту, когда граф встретился с Серизье в первой гостиной, он думал о возможном варианте исторической партии и поэтому нечаянно нацепил не ту улыбку. Вернувшись во второй салон, он тотчас перевел ее по назначению.

Великий писатель сидел на *своем* месте в этой второй гостиной, которая специально предназначалась для

*Бывшие (*фр.*).

музыки: в ней были рояль, фисгармония и огромный радиоаппарат.

— Как я рада! Вы видите, у нас сегодня больше никого нет, кроме нашего друга. Я вам позвонила просто потому, что мне очень, очень хотелось повидать вас перед нашим отъездом. У вас не было ничего лучшего в этот вечер? — любезно сказала хозяйка.

— Я был чрезвычайно рад. Вы когда едете? — спросил Серизье, осторожно садясь в кресло. Он знал, что эти шесть хрупких и некрасивых кресел составляют вместе с висевшими на стенах картинами Наттье, Ларжилльера, Риго и с лефевровскими гобеленами главное сокровище второго салона графини. Кресла эти, несомненно, способствовали ауре, но он боялся, как бы они не сломались под его немалой тяжестью (хозяин дома тоже этого побаивался).

— Завтра утром. Ведь чтение назначено на вторник.

— Какое чтение?

— Разве вы не видели в газетах? Наш друг приглашен прочесть там отрывок из своего нового романа. Его чтение устраивает одно из первых в мире литературных обществ. Оно находится под покровительством королевской семьи.

— Я не знал.

— Было во всех газетах, — обиженно пояснила графиня, — наш друг не так часто выезжает за границу читать свои произведения. Он и в Париже не очень нас этим балует. („Еще бы! В Париже не нашлось бы дураков, чтобы заполнить зал“, — одновременно подумали граф и Серизье.)

— Чрезвычайно интересно. Как жаль, что мне не удастся послушать вас, дорогой друг.

— Вы ничего не потеряете: кого это может интересовать? — угрюмо проворчал Вермандуа. („Никого решительно“, — тотчас мысленно согласились они.)

— Если бы это не интересовало всю аристократию европейской мысли, то, во-первых, об этом не трубили бы газеты, а во-вторых, антрепренер не предложил бы вам условия, которые сделали бы честь какой-нибудь примадонне, — сказала графиня с улыбкой, протягивая новому гостю чашку, — не очень крепкий, один кусок сахара, без лимона, я знаю. — Она всегда сама разливала чай, и то, что графиня де Белланкомбр знает, какой чай пьет Серизье, тоже было частью его светского капитала. — А мы как раз о вас вспоминали. Вы у меня в прошлый раз назвали Тернера Бодлером живописи. Как

это верно и глубоко! — Вермандуа, очевидно, бывший не в духе, только мрачно посмотрел на адвоката. — Именно Бодлер, — повторила с задумчивой улыбкой графиня, — или отчасти Китс... Вы любите Китса, дорогой друг?

— Об английской поэзии могут судить только англичане, как о французской только французы. Быть может, вообще о литературе следовало бы говорить только писателям, — сказал Вермандуа. Графиня слабо засмеялась, Серизье пожал плечами, — но, уж во всяком случае, люди, судящие о стиле иностранных писателей, лицемеры или шарлатаны.

— Вы, однако, не будете отрицать, дорогой друг, что Х. (она назвала известного французского писателя) понял душу Англии и знает ее литературу.

— Я его не читал и читать не буду. Я не прочел всего Вольтера и забыл половину Монтеня, неужели вы думаете, что я стану на старости лет изучать гениального месье Х.? К тому же синхронизация литературной моды осуществляется плохо: в Лондоне считают последним словом нашего искусства то, над чем у нас давно смеются. Не менее верно должно быть и обратное.

Графиня вздохнула и, снова обратившись к Серизье, перевела разговор на политические предметы. „Я, правда, рассчитывал, что он очутится в *fourchette**, — размышлял граф, — да, очень редкое стечение карт...“ „...Но кто несет ответственность, если не Гитлер!“ — „Об этом двух мнений нет, однако доля ответственности лежит на политике Англии. Нужно было одно из двух: либо объявить Гитлеру...“ „Ах, все лучше, чем война!“ — воскликнула графиня, закрывая с ужасом глаза, точно уже видела перед собой горы окровавленных трупов. „В том, что война ужасна, не может быть сомнений, как и в том, что она ничего не разрешает. Но каким способом можно избежать войны? Я думаю, что твердость в отношении Гитлера...“ „В этом, конечно, основной вопрос: до какого предела могут идти уступки Гитлеру“, — подтвердил рассеянно граф, думавший о том, насколько разумнее и приятнее было бы играть в бридж, чем вести этот общий, надоевший, везде теперь одинаковый разговор. „Видно, я до конца моих дней обречен слушать мысли о Гитлере!“ — подумал Вермандуа. Он тяжело поднялся с кресла.

*Вилка (в карточной игре) (*фр.*).

— Дорогая, я попрошу вашего разрешения воспользоваться телефоном. Этот господин не звонил?

— Нет, не звонил, — смущенно ответила графиня, — вероятно, произошло недоразумение.

— Ваш издатель? — ласковым тоном не то спросил, не то уточнил граф. — Пойдемте, дорогой друг, я вас провожу.

— Я очень за него боюсь! — испуганным полупшепотом сказала графиня, оставшись вдвоем с Серизье. — Он в ужасном настроении. Как вы его нашли? У него лицо стало в последнее время еще более *потусторонним*.

— Не знаю, потустороннее ли у него лицо, но вид у него действительно нехороший. Он как будто сдает. Что с ним такое?

— Все подобралось сразу. Вам известно, что он никогда не был оптимистом. В отличие от меня, — с улыбкой добавила она. — Но эти ужасные события в мире произвели на него сильнейшее впечатление. Он говорит, что его пессимизм никогда не поспевал за жизнью, что люди еще глупее и еще гнуснее, чем он думал. По его словам, наступило начало конца культуры, свободы, всех тех идей, которым мы служили. Иногда он говорит даже, что никогда никакой культуры и вообще не было, что это был миф, один из многочисленных мифов, придуманных людьми для самоутешения. Вы скажете, что тут противоречие? Но противоречиями его не удивишь, он сам видит, что противоречит себе на каждом шагу. По его словам — я, конечно, их плохо передаю, — в мире в последнее столетие намечалось некоторое подобие рациональной цивилизации, однако первобытная природа человека радостно выперла наружу, и это подобие теперь гниет, разлагается, заражает... Да и не передашь всего, что он говорит!.. Вдобавок у него нет денег...

— Неужели? — с любопытством спросил Серизье. „Ах, вот оно что. Отсюда и конец культуры“, — подумал он.

— Я это могу сказать вам, потому что знаю, как вы его любите. Издатель его эксплуатирует. Между тем он так щепетилен в денежных делах! Мы были бы счастливы оказать ему помощь, но об этом с ним и заговорить нельзя. Так тяжело думать, что у такого человека нет денег! Он должен работать как вол в свои семьдесят лет (ему больше, подумал Серизье). Он, которому мы все обязаны шедеврами!.. Я теперь устроила ему это

приглашение за границу. Антрепренер платит ему десять тысяч франков за один вечер и обещает золотые горы в дальнейшем: поездку по всему миру, радиопередачи...

— Ну вот, вы видите. Бедность нашего друга весьма относительная, — сказал Серизье. „Десять тысяч франков за полтора часа ерунды о конце мира“, — с досадой подумал он.

— Может быть, поездка его развлечет, хотя он не любит читать. Будут банкеты в его честь, речи, правда? Я написала нашему послу, он мой приятель, мы все будем приглашены на бал к королю. Ведь это будет ему интересно. Что вы об этом думаете?

— Думаю, что очень приятно иметь такого друга, как вы! — сказал Серизье вполне искренне. „При случае и я куда-нибудь с ней поеду, она все может“, — подумал он. — Но каково же будет нашему другу, с его коммунистическими симпатиями, на королевском балу? — спросил он смеясь.

— Ах, его коммунистические симпатии! Я знаю им цену. Я и сама начинаю разочаровываться в Советах... Уже поговорили, мой друг? — обратилась графиня к Вермандуа, который вернулся в гостиную мрачнее тучи. — Не застали? Я так и думала.

— Но если этот издатель сам назначил час? Очень странная манера! — всеело возразил граф и замолчал под гневным взглядом жены.

— Вы поедете к нему, как только мы вернемся. Когда он прочтет отчеты о вашем чтении, он станет сговорчивее, ручаюсь вам!.. Кто хочет еще чаю? Так вы, значит, думаете, что испанские события выяснят карты? — спросила она Серизье. Политический разговор возобновился.

Вермандуа даже не делал вида, будто слушает. Издатель явно не соглашался на требуемый им аванс. Уступка означала бы не только денежную потерю, но и укол самолюбию. И снова он подумал, что он во Франции единственный знаменитый человек без денег. „Надо было писать фильмы или такие романы, как пишет Эмиль. И как они все! И этот пошлый нарцисс-адвокат, у него тоже, разумеется, на первом месте в жизни деньги, хотя он не только говорит, но и думает, что у него на первом месте „идеи“, их дешевенькие, грошовые политические идеи“. В эту минуту (как, впрочем, довольно часто) он по-настоящему нанавидел всех богатых людей. „Если начнется мировая война или если комму-

нисты придут к власти, у них, Бог даст, все отберут. Нет худа без добра, — думал он, радостно представляя себе Серизье без денег. — И у старой дуры убавится коммунистических симпатий!“ Впрочем, старая дура, то есть графиня, раздражала его гораздо меньше или, вернее, раздражение от нее было более привычным. Граф был просто никто. „Но вид этого господина действует мне на нервы, как вид бормашины в кабинете зубного врача. Самое противное в нем — именно сочетание проплеванной души с „политическим идеализмом“. А самое забавное то, что „политический идеализм“ у него и у них — у всех — почти искренний. Когда они выходят на трибуну, они действительно забывают и свои адвокатские делишки, и свои кулуарные комбинации. Способность к маскам стала частью их природы. Поэтому, становясь министрами, они могут в любую минуту надеть любую маску. Дантон? Могу быть Дантоном. Макиавелли? Могу быть Макиавелли. Кавеньяк? Могу быть Кавеньяком... Впрочем, и в Дантоне, верно, сидел Серизье. У людей 1793 года масштаб был не карликовый, и от них все же меньше отдавало универсальным магазином, и играли они *премьеру*, а это трехсотое представление, однако по какой-то линии и Серизье — Дантонов правнук. Исторические трагедии, от французской революции до землетрясения в Сан-Франциско, неизменно заканчиваются пошлостью, кинематографической или какой-нибудь другой“.

„... Но Франция к войне не готова“. — „Гитлер никогда на войну не решится, поверьте мне, это чистейший блеф. Да если и не блеф, то неужели вы серьезно думаете, что Германия и Италия могут сопротивляться коалиции из Франции, Англии и России“. — „Я, впрочем, надеюсь, что Муссолини обманывает Гитлера, он гораздо умнее его и тоньше, это человек латинской цивилизации...“ Вермандуа по обыкновению почувствовал то желание поговорить, за которое сам себя бранил.

— В Европе только один человек теперь знает твердо, чего хочет, — безапелляционным тоном сказал он, — и этот единственный человек тупой злодей, и то, чего он хочет, невообразимо по глупости, ужасу и мерзости. Если *это* могло случиться, то биологическое выражение „*homo sapiens*“ надо поскорее убрать ввиду его совершенно неприличного нахальства. И тогда на чем же мы будем строить демократию? В мысли классиков демократического мифотворчества она строилась на вере в человеческий разум. Но теперь с полной очевид-

ностью выяснилось, что народ править не может по тысяче причин, из которых первая та, что он чрезвычайно глуп. Это не значит, конечно, что люди в пиджаках и смокингах, — он покосился на Серизье, — много умнее народа. За приход Гитлера к власти они несут не меньшую ответственность, чем народ, призвавший к власти их самих. К несчастью, из социально-политических программ, существующих ныне в мире, грандиозные — мерзки и идиотичны, а сколько-нибудь разумные — убоги и мелки до отвращения. Выбирая между планами Гитлера и повышением подоходного налога на пять сантимов, немецкий homo sapiens предпочел Гитлера. В эпоху „народовластия“ создан новый, или давно забытый род оружия. Были инфантерия, артиллерия, кавалерия, теперь появилась еще мистика. Или, если хотите, кавалерия исчезла, и вместо нее появилась мистика. И мы забыли ею обзавестись, как в 1914 году забыли обзавестись тяжелыми орудиями! Напротив, мы очень тщательно рационализировали все, что могли, вплоть до сохранившихся во Франции остатков веры. Это было простое упущение, хотя и очень важное. Немцы создали мистику человека с усиками. Мы могли бы придумать что-нибудь в этом роде, это не так трудно. Например, мистику жены президента сената, а? Два года подготовки, миллиард на подкуп печати, и у нас была бы отличнейшая мистика жены президента сената, а? Вот на что надо было тратить деньги, а не на линию Мажино. Мы не догадались. Это очень печально. Мы из-за этого проиграем войну.

— Почему непременно с *усиками*? У Гитлера, правда, усики, но у вашего Сталина большие пышные усы, — вставил граф. Он терпеть не мог Вермандуа не столько за большевистские симпатии, сколько за то, что друг его жены превратил его дом в свой салон и мешал ему играть в бридж.

— Магоммет знал, что делал, установив для своей особы девяносто девять лестных эпитетов, — продолжал Вермандуа. — Но, во-первых, этого мало: почему только девяносто девять? А во-вторых, техника обоготворения людей с усиками и с усами сделала большие успехи со времен Магоммета. Радиоаппараты нанесли делу свободы тягчайший удар. И вообще, завоевания науки оказались очень полезными для дела опошления культуры. Увидите, настанет время, когда репродукции Веласкесов станут прекраснее, чем Веласкесы.

— Я не совсем понимаю, при чем тут Магометы и Веласкесы, — сказал Серизье, пожимая плечами: теперь был случай огрызнуться. — Но лишь слепые или не желающие видеть люди могут утверждать, будто демократия дала людям только „пять сантимов“. Слышали ли вы, дорогой друг, о некоем президенте Рузвельте и об его программе? Я не вхожу в рассмотрение вопроса о том, есть ли... есть ли, скажем, маленькая нескромность в противопоставлении себя человечеству: человек, мол, чрезвычайно глуп, тогда как я... Извините меня, но сказать, что человек глуп, — значит не сказать ровно ничего: если он глуп, постараемся сделать его умнее. Для того чтобы „поумнеть“, этому глупому homo sapiens нужно быть свободным в течение немалого времени: в рабстве и в невежестве не поумнеешь. Только осуществляя народоправство, человек и может научиться править.

— Это, может быть, и верно. Но, к сожалению, курс обучения народоправству обычно закрывается преждевременно, до окончания учебных занятий: люди с усиками и с усами закрывают этот курс, не выжидая того времени, когда народ научится править. Кстати сказать, эти люди с усиками и с усами принадлежат по своим моральным качествам, а иногда, хоть реже, и по уместным, к подонкам общества, но генеалогия у них самая демократическая: они все выходят из народа. Гитлер — маляр, Муссолини — сын кузнеца, Сталин — сын сапожника. Наш гостеприимный хозяин, кажется, двенадцатый граф в своем древнем роде. Мне неприятно огорчать его констатированием того факта, что аристократия больше диктаторов не производит.

— Две поправки, — сказал граф. — Первая: я не двенадцатый, а шестнадцатый...

— Мой друг, вы теряете случай помолчать, — сказала с улыбкой графиня, впрочем, довольная его замечанием.

— Вторая: Пилсудский был если не аристократ, то, по крайней мере, дворянин. — Граф успокоился: после этой вставки он мог минут пять не принимать никакого участия в разговоре.

— Если человек дурен, то надо создать такие социальные учреждения, которые сделают его лучше, — сказал Серизье. — Слова же о божественной искорке в душе человека остаются вечно верными.

— Да что в его „божественной искорке“, если он с божественной искоркой ничего, кроме гадостей, не дела-

ет! — с досадой перебил его Вермандуа. — Надоели мне эти божественные искорки! И чем меньше у народа этих искорок, тем могущественней он становится. В силу общего „закона истории“ — от этих двух слов, кстати сказать, у меня стягивается рот, как от скишего вина, — в силу „закона истории“ культура народа по мере ее роста медленно, но верно ведет его к гибели. Спартанцы побеждают афинян, римляне греков, варвары римлян.

— Однако в прошлую войну победили демократические свободные народы.

— Они победили не потому, что были свободны, а несмотря на то, что были свободны. На известной высоте культурного развития народ начинает терять интерес к войне, к военному делу и к военной славе. Человеческое лицемерие тотчас находит увертку: любовь к военному делу и к военной славе не означает будто бы любви к войне. Это вздор. Без любви к войне не может быть любви к военному делу. Никогда не воевавший генерал — глупейший парадокс. Хороший военный не может искренно желать, чтобы его жизнь прошла без единой войны. И в этом, конечно, если не главная, то одна из главных причин возникновения войн. Чем сильнее в стране рабья психология, тем легче в ней привить воинственность. Чем слабее общественный контроль над министрами, тем больше времени они могут уделять технической работе вместо парламентских запросов и кулуарных интриг. Чем менее свободна страна, тем легче правителям скрывать свои вооружения, тем легче им принимать быстрые решения, тем удобнее им воевать. Поэтому, по общему правилу, в пределах одного континента обычно не высшая культура побеждает низшую, а низшая высшую. В результате же поражения страны высшей культуры, естественно, теряют и свою свободу. Тогда в них начинается переоценка ценностей, и меньшее предрасположение к идиотизму объявляется падением государственного инстинкта. Быть может, впрочем, и основательно: связь этого полумифического инстинкта с ценностями разума и нравственности больше чем сомнительна. У нас во Франции государственный инстинкт действовал лучше всего в ту пору, когда на одного грамотного француза было девяносто девять неграмотных и когда голодного человека подвергали четвертованию за кражу курицы... Одним словом, это дарвинский отбор наоборот. Положение было бы совершенно катастрофическим, если бы по

чистой случайности, самое могущественное государство в мире, Соединенные Штаты, не было одновременно демократией и если бы у этого государства не было еще добавочно сильного защитника: Атлантического океана. Но что сказали бы классики демократического мифотворчества, если бы по другой случайности больше всего людей, богатства и заводов было у Германии? Свободный человек *был* как солдат лучше раба, когда раб был вооружен луком, а свободный человек — ружьем. В условиях же равной материальной культуры они, в самом благоприятном для нас случае, равны. К несчастью, рабский строй создался в очень могущественных странах: в России и в Германии. Пока фашизм существовал только в Италии, он решительно никого не пугал: мы могли благодушно хохотать при виде того, как Муссолини *сверкал* мечом из разлезавшегося картона. Точно так же, если бы коммунизм установился, например, в Португалии, о нем скоро осталось бы приятное воспоминание, как о милой шутке, притом короткой, как все хорошие шутки. Теперь столкновение очень вероятно. Если бы Вселенная состояла только из свободных стран, мир был бы почти обеспечен. Если бы она состояла только из стран диктатуры, мир был бы возможен, хотя и маловероятен. При одновременном же существовании диктатур и демократий войну можно считать неизбежной.

— Дорогой друг, у вас стали появляться опасные обмолвки: вы валите в одну кучу фашизм и коммунизм!

— Простая обмолвка. Диктатура же в могущественных странах особенно опасна для других стран в тех случаях, когда в могущественной стране живет глупый народ. Поэтому германская диктатура много опаснее русской. Гегемония немцев в мире была бы вызовом остаткам разума, вызовом, слишком вопиющим даже для моей исторической философии.

— Это нехорошо и не идет вам: ненавидеть целый народ, — строго сказала графиня.

— Все это прекрасно, — заметил Серизье. — Но опыт учит нас тому, что трагические предсказания не сбываются. Токвиль предсказывал близкую гибель Соединенных Штатов. Эдгар Кине предсказывал скорую гибель Англии. Вы предсказываете конец культуры. Дорогой друг, право, вы становитесь слишком мрачны!

— Все больше думаю, что мир должен проделать курс лечения правдой от своих бесчисленных болезней. А предварительно и из правды должна быть выжата

розовая водица, почему-то постоянно к ней прилипающая. Я этим заданием руководился и в своей литературной деятельности. Критика часто меня попрекала тем, будто я „сгущаю черные краски“, „вижу только мрачные стороны жизни“ и т.д. Как бы назвать греческим словом „курс лечения горькой правдой“?

— Не знаю, как назвать, но не всякая правда горька и не все горькое правда.

— Это из Лапалисса? — спросил раздраженно Вермандуа.

— Дорогие друзья, — поспешно сказала хозяйка дома, — я „хочу внести предложение“... Кажется, так говорят у вас в парламенте?.. Сегодня N. (она назвала фамилию знаменитого дирижера) исполняет в Лондоне „Реквием“ Моцарта. Это начнется через несколько минут. Что, если бы мы послушали? Никто не возражает?

— Ничто мне теперь не может быть приятнее, чем музыка „Реквиема“, — сказал Вермандуа. Серизье тоже утвердительно кивнул головой. Граф подумал, что уж лучше „Реквием“, чем этот разговор. Он подошел к аппарату и занялся им.

— Все-таки было бы недурно, дорогой друг, если бы вы несколько уточнили вашу программу, — сказал Серизье. — Народ глуп, но и люди в пиджаках ненамного умнее. Демократия никуда не годится, но и диктатура тоже никуда не годится. Ради Бога, скажите нам раз навсегда, чего вы хотите.

— Я, кажется, не говорил, что демократия *никуда* не годится. По общему правилу, и в демократиях, и в диктатурах естественный отбор приводит к власти людей хитрых и бессовестных. Но в странах свободных он преимущественно развивает в конкурентах дарования интригана, а в странах поработанных — дарования бандита. Первое неизмеримо лучше второго. Конечно, процент жуликов при всех видах государственного строя приблизительно одинаков благодаря закону больших чисел. Люди, утверждающие, что диктатура приводит к власти честный правящий персонал, бесстыдно лгут. Но в практическом отношении они совершенно правы: правящий персонал диктатуры прежде всего объявляет себя идеально честным и при полном отсутствии возражений скоро утверждает в этом достоинстве „безошибочный здравый смысл народа“, — кажется, так говорят классики демократического мифотворчества?.. Думаю, что существо и атрибуты демократии надо расчленивать. Игра в министры, культ

некомпетентности, торжество невежества, царство денег, продажность в грубых и тонких, в явных и скрытых формах — это демократия. Однако свобода мысли, свобода слова, человеческая независимость — это тоже демократия. Расчленим. Мы почему-то думали, что свобода мысли и человеческая независимость неразрывно связаны с народовластием. Оказалось, однако, что эта предустановленная гармония — чистейший миф: рядовой человек не очень дорожит собственной свободой и уж совершенно не настаивает на том, чтобы свято оберегалась свобода чужая. Мысли о возможной тирании народа не новы. Если память мне не изменяет, их высказывал сам Бланки, который выгодно отличался от большинства революционеров кроме душевной чистоты еще и тем, что он совершенно не верил в свое собственное дело. А если эта предустановленная гармония миф, то я чувствую себя в силах обойтись без народовластия: оно дает не больше гарантий нормальной человеческой жизни, чем умеренная монархия и чем сколько-нибудь культурная диктатура. Свобода, равенство, братство! Без равенства я могу обойтись, братства я даром не возьму, но свобода мне необходима... Вы говорите: надо создать учреждения. К сожалению, опыт показывает, что никакие учреждения ничего гарантировать не могут, так как, по общему правилу, скоро надоедают людям и начинают вызывать у них отвращение. Присущая человеку потребность поворачиваться в его вечном полусонном состоянии на другой бок исключает возможность непрерывного социально-политического прогресса.

— „Mesdames et Messieurs, vous allez entendre...“* — начал проникновенным голосом спикер. Графиня изобразила на лице страдальческую гримасу. Граф закрыл аппарат.

— Я его знаю, он будет пять минут рассказывать нам историю „Реквисма“, то, что знает каждый ребенок!

— Да, о лакее, который явился к Моцарту за „Реквиемом“, заказанным его хозяином. И о том, что Моцарт принял лакея в серой ливрее за посланца рая или ада, — мрачно сказал Вермандуа. — Моцарт умер не от скорбных предчувствий, а от какой-то прозаической внутренней болезни, в которой немалую роль сыграло его хроническое безденежье. („Все-таки он отводит деньгам чрезмерную роль: о Моцарте судит по себе“, —

* „Дамы, господа, сейчас вы услышите...“ (фр.)

подумал Серизье.) Нет ни малейших оснований и в той клеветнической сплетне, будто Моцарта отравил Сальери. Римский-Корсаков, очевидно, введенный в заблуждение каким-то невежественным либреттистом, использовал эту сплетню для скучноватой оперы. Гораздо правдивее легенда, связанная со словами „Реквиема“. По преданию, стихи „Dies Irae“*, действительно, замечательные по ритму, силе и тяжести слов, написал в тюрьме в свою последнюю ночь страшный преступник тринадцатого столетия, приговоренный за что-то к смертной казни... — Лицо у Серизье вдруг дернулось. Вермандуа удивленно посмотрел на него и продолжал. — Остальное вы, разумеется, угадываете: утром преступника повели на эшафот, по дороге он стал вслух читать свои стихи, потрясенные инквизиторы тотчас его помиловали... Жаль, что ГПУ и гестапо не так восприимчивы к чарам искусства... Все-таки пустите аппарат, дорогой друг: не опоздать бы.

„...Et le plus grand musicien de tous les siècles expira dans les bras de ses amis inconsolables après avoir entendu les sons de son immortel chef-d'œuvre que vous allez entendre...“#

XXIII.

— „...Quid sum miser tunc dicturus... Cum vix justus sit securus...“^Δ Если суд так суров, что едва спасется праведник, то почему бы слегка и не погрешить? — сказал с улыбкой Серизье. Графиня погрозила ему пальцем. — Да, вы правы, после этого шедевра надо молчать и молчать. Не так ли, дорогой друг? — обратился он к Вермандуа, который с закрытыми глазами молча сидел в кресле. Он не принял участия в первом обмене впечатлениями. „Как он, однако, стар, теперь ему на вид можно дать восемьдесят лет!“ — подумал адвокат. Вермандуа открыл глаза. Графиня испуганно на него смотрела.

— Я тоже очень взволнована, — сказала она. — Вам, неверующим мужчинам, это и почувствовать трудно.

* „День гнева“ (лат.).

„...На первых тактах своего бессмертного шедевра, который вы сейчас услышите, величайший музыкант всех времен испустил дух на руках своих безутешных друзей...“ (Фр.)

^Δ „...Что я, злосчастный, тогда скажу... Когда и праведник едва ли спасется...“ (лат.)

— Моцарт был масон, — возразил Серизье. — В его ложе работа шла под его музыку... Но в самом деле, весте споры после „Реквиема“!..

— Да тут есть и ответ на наш спор, — сказал Вермандуа еще мрачнее прежнего. — Над этим „Реквиемом“ поработали ученики Моцарта и, по-видимому, украсили его по-своему. Но „Dies Irae“ и „Tuba mirum“* и „Rex tremendae Majestatis“[#] — это Моцарт. Тут, конечно, одна из высочайших вершин искусства. Тут все обнажено, тут предельная откровенность, после этого в течение двух-трех часов трудно лгать даже такому живому существу, как человек... И, как всегда, правда предельно противоречива! Субъективная правда так легко, так незаметно переходит в объективную ложь. В отличие от Валаама он, конечно, хотел благословить; тем не менее все время кажется, будто он проклинает. Ведь Моцарт любил жизнь так, как, быть может, ее не любил никто другой. И вдруг этакая неожиданность! — мог ли он думать! — оказывается, он умрет! Господи, да как же это? Да что же это такое? Вены не будет, Вены с ее церквами, с ее Пратером, с ресторанчиками, с жгучим кофе, с красным вином, не будет Зальцбурга с его горами и небом, не будет солнца, — не будет музыки! Нет, Господи, что же это!.. Надо что-нибудь придумать!.. Он придумал. Соломинки для утопающих почти всегда есть, и даже изумительно, сколько утопающих ежегодно во всем мире спасается благодаря разным соломинкам. Тогда в мире были крепки две веры. Одна, старая, испытанная, вековая, подобревшая за свое бурное тысячелетнее существование, была еще у людей в крови. Другая, новая, молодая, воинственная, только создавалась. И обе предлагали ему утешение. Вы говорите, он был масон. Да, Моцарт был масон. Но он был и католик. Старая вера обещала вечную жизнь в лучшем мире, обещала тоже что-то вроде любви, высшей вечной духовной любви. „Господи! Да мне не это нужно. Я не об этой любви плачу! Ведь это же игра словом!..“ Старая вера обещала и музыку, и вечную музыку вечной жизни. „Но ведь мне *другой* музыки жалко, жалко *моей*, зачем мне беззвучная музыка душ, к которой у меня, у Моцарта, быть может, не окажется ни слуха, ни таланта. Ведь я *эту* музыку знаю, ведь для меня в *этой* музыке главный смысл, главная радость суще-

* „Труба, издающая дивный звук“ (лат.).

„Царь, ужасающий величием“ (лат.).

ствования, ведь я в *этой* музыке создал и хочу еще создавать творения, каких никто другой создать не может!..“ Было и другое утешение: масонское, просветительное, „свободомыслящее“. Оно было хуже, много хуже. Вера в разум, вера в справедливость, надежда на такую земную жизнь, которая по комфорту почти равна райской. „Ну а мне-то что, ведь я до нее не доживу?“ Просветительная вера тут скромно вздыхает. Но и ради нее люди, умные люди идут если не на костер, то, скажем, на баррикады. Моцарт хватался и за эту соломинку. В конце концов он *примирился* — что же ему было делать? Мы все примираемся. Только, в отличие от нас, он все это высказал в бессмертном шедевре. Сказал всю правду и другим лгать не велел. И кажется, смутно поверил в *Rex tremendae Majestatis*... Вот что *было* в его время, вот что *было* еще недавно, когда я начинал жизнь. Теперь все это из жизни выпало: и первой веры мало, и вторая выпадает, и заполнить образовавшуюся бездну нечем: третьей веры нет! Чем вы замените прежнее? Что вы дадите вместо „Реквиема“? Предположений, разумеется, сколько угодно, за этим остановки не бывает. Но все это разогретые блюда, семьдесят седьмые дешевые издания, бледные, плоские варианты умирающей веры. Ни из-за всеобщего избирательного права, ни ради райского сада вокруг хрустального дворца ГПУ ни один идиот на костер не пойдет — или пойдут именно только идиоты. Да у людей и вообще пропала охота идти на костры за что бы то ни было, слишком много было костров, и слишком много дураков на них сгорело, не правда ли, дорогой друг? — вызывающим тоном обратился он к Серизье. — Вот вы, например, не только не пойдете на костер, но не пойдете и на самую безопасную парижскую баррикадочку перед грозной перспективой штурма со стороны безбидных парижских полицейских. Потому, во-первых, что полицейские могут намять шею, потому, во-вторых, что за баррикады можно угодить на три месяца в тюрьму, и потому, в-третьих, что кто же будет в это время вести ваш адвокатский кабинет? А если так, то нельзя, каюсь, быть вполне уверенным в прочности демократического строя где бы то ни было, а в частности, в нашей усталой стране. Да и у первой веры защитники могли бы быть лучше, — сказал он, покосившись в сторону графа, который, впрочем, не очень его слушал. Серизье пожал плечами и взглянул на хозяйку дома, как бы приглашая ее отметить, что он не задирает, а его задирают.

Графиня испуганно насторожилась, приготовляясь к вмешательству в разговор. „О нет. Это не имеет никакого значения. Я не принимаю его всерьез“, — тотчас ответила ей успокоительная улыбка адвоката.

— Аргумент о баррикадах позвольте отклонить, — сказал он. — Если я на баррикады и не пойду, — хотя почему вы знаете, могут так меня разозлить, что пойду и я, — то другие, помоложе, наверное, пойдут. Вы слишком рано хороните ту самую идею, которая, по вашим же словам, — вы еще их не забыли? — вам дорога. Напрасно вы думаете, что идея свободы больше не вызывает энтузиазма в мире. Могу вас уверить, что она энтузиазм вызывает. И равенство, братство вызывают энтузиазм тоже... Вечна и культура, что бы вы там ни говорили. Не исчезнет она и не может исчезнуть, куда она денется, полноте! Вы третьей веры пока не придумали, но я вполне доволен и второй.

— А я первой, — холодно сказал хозяин дома. — Ее, во всяком случае, дорогой друг, вы похоронили рано. Она переживет и вторую, и третью, и тридцать третью.

— Я рад за вас, дорогие друзья. Моцарт прав: ну, придумай себе сказку и „примиришь“, выбери какую угодно: хочешь рациональную, хочешь иррациональную, хочешь земную, хочешь потустороннюю — и жди своего „Rex tremendae Majestatis“. Но для вас, дорогие друзья, будет *земной* „Rex tremendae Majestatis“, и будет им либо человек с усами, либо человек с усиками... Человечество идет к помойной яме, и самое лучшее бжгать за ним с факелами, уверяя, что это не помойная яма, а хрустальный дворец. Это много приятнее, чем оставаться вне жизни с нетвердым сознанием сомнительной правоты. Разве дорого стоит сказать: „Разум провалился, обойдемся и без разума!“ А вот я не могу. Видно, что-то уж очень прочно меня связало с XIX веком и с веком, ему предшествовавшим, еще более наивным. Посмеиваюсь иногда над ними, но ими живу, в них живу и с ними умру... И еще одно, — неожиданно, и, как всем показалось, некстати сказал он, — меня часто бранили за интернационализм, однако самый лучший, самый счастливый мир — пусть не помойная яма, а действительно хрустальный дворец, — но без руководящей роли Франции, без *ее* культуры, без французского языка он мне не нужен, он просто мне неинтересен! А мы усталая страна, мы старая страна, мы самая древняя из когда-либо существовавших стран, наша цивилизация просуществовала дольше греческой и

была не ниже ее. И я надеюсь умереть, не дождавшись ее „Реквиема“!

Все смотрели на него с удивлением. Вермандуа встал, тяжело опираясь на кресло, и протиснулся с хозяйкой.

— Вам нельзя так волноваться. Куда же вы спешите? Впрочем, в самом деле сегодня лучше лечь раньше.

— Кажется, никто из нас Франции не хоронил, — с недоумением сказал Серизье, крепко пожимая ему руку. — Ну, желаю вам большого успеха. Очень жаль, что я не могу быть на вашем чтении. Счастливого пути. — Он хотел было тоже уйти, но графиня его задержала.

— Ах, я так за него боюсь, — опять сказала она, когда Вермандуа вышел в сопровождении хозяина дома. — Я не хотела вам говорить, но скажу, я знаю, как вы его любите и цените. Его здоровье нехорошо, совсем нехорошо. Вдобавок его лечит какой-то идиот или убийца. Представьте, он в последний раз сказал нашему другу, что у него давление 22!

— Это не так уж много. Живут и при 26, и теперь легко понижают, — заметил адвокат, тоже в последнее время интересовавшийся давлением крови.

— Но кто же сообщает пациенту такие вещи! Я устроила этому врачу сцену по телефону... Я не подумала, что „Реквием“ может его расстроить... Вы напомнили нашему другу, что мы завтра за ним заедем? — строго спросила она вернувшегося мужа.

— Да, я напомнил, — ответил граф. Он очень скучал весь вечер, но ему было приятно, что еще больше скучали гости, помешавшие ему играть в бридж. Графиня задумчиво смотрела на Серизье. „Какие, однако, у нее прекрасные и добрые глаза! Этот исписавшийся писатель — путаник и кривляка, но она по-настоящему его обожает! Очень добрая, хорошая женщина!“ — подумал Серизье. Он вдруг вспомнил, где будет на рассвете, вздрогнул и тоже стал прощаться.

XXIV.

„Да, есть, вероятно, доля правды в том, что говорил старый Нарцисс, — с неприятным чувством думал Серизье, поднимаясь по лестнице своего дома. — Этот „Реквием“ действительно обнажает душу, и после него нельзя не быть правдивым хоть с самим собою... Но чем же я виноват? Я сделал все возможное для спасения

того несчастного юноши. Я бесплатно защищал его так, как если бы мой гонорар составлял сотни тысяч“. Он проверил себя: это было совершенно верно; он был чрезвычайно добросовестный адвокат. „Я и еду туда для того, чтобы хоть как-нибудь поддержать его морально. И я не виноват в том, что живу, что останусь жив после того, как его казнят. И если я поехал к графине, то потому, во-первых, что мне не хотелось обижать ее отказом, и потому, во-вторых, что этот вечер в одиночестве был бы совершенно нестерпим. Конечно, в бульварном фильме можно было бы и тут дать клише: „После блестящего приема в доме графини де Белланкомбр знаменитый адвокат возвращается в свою удобную, роскошную квартиру и ложится спать в белоснежную постель...“

Самоанализ был для него, как для большинства людей, трудным, неприятным и непривычным делом. Он вошел в свой кабинет, зажег настольную лампу, снял смокинг, жилет и повесил их на спинку кресла. Обыкновенно он перед сном варил себе липовую настойку. Не было причины отказываться от этого и сейчас. „Ну, что ж? Как по правдивому ключу „Реквиема“? Серизье, по совести, не мог себе сказать, что *не в состоянии* выпить чашку настойки накануне казни подзащитного. Прислушался: правдивый ключ „Реквиема“ не открывал в его душе ничего нового. „Через пять часов молодой человек, совершивший тяжкое преступление, умрет страшной смертью... Почему страшной? Рак или чахотка, от которой в эту ночь умрут тысячи людей, гораздо страшнее. Просто умрет необычной смертью. И было бы лицемерием, если бы я утверждал, что не могу из-за этого жить так, как жил до сих пор. Ведь все равно придется завтра делать все то, что на завтра назначено...“ Он, морщась, вспомнил, что на следующий день назначены два деловых свидания и деловой завтрак. Отменить это было невозможно или, по крайней мере, неудобно, тем более что один из клиентов специально для свидания с ним приезжал из Фонтенбло. С еще более неприятным чувством он подумал, что во время завтрака знакомые уже будут из газет знать, где он был ночью. „Сначала из приличия не спросят. А может быть, спросят с первых же слов. Но потом, во всяком случае, разговор неизбежно коснется и этого. Что же тогда? Делать вид, будто я не в состоянии есть? Передавать свои гуманные впечатления? Рассказывать, *волнуясь и вздрагивая*? Да, лицемерное суще-

ство человек, и „Реквием“ действует недолго...“ Серизье подумал с некоторым облегчением, что графиня и Вермандау не прочтут: они уезжают утром, в утренних газетах еще не будет отчета, хотя, верно, будет какой-нибудь корректный и гнусный намек о „Bois de justice“* (какое гнусное выражение!), о палаче, который... „Заранее у них о таких вещах писать не полагается, но легкий намек необходим: мы отлично знали, но... Зато через день все распишут как следует: репортеры на этом набивают строчки. Они относятся к таким делам с профессиональным равнодушием, и я ничего возразить не могу, потому что отношусь так же... Да, самое страшное именно это: полное равнодушие человека к человеку. Люди в большинстве по природе не злы и не жестоки, они просто равнодушны и вдобавок слабы...“

Налив себе чашку настойки, он вернулся в кабинет и вдруг, опять поморщившись, вспомнил, что надо приготовить костюм. В этот день до смокинга на нем был коричневый костюм с темно-красным галстуком. Нигде не существовало и не могло существовать правды о том, как должен быть одет адвокат, отправляющийся на казнь своего подзащитного. „Впрочем, правила есть: ведь совершенно ясно, что я не мог бы быть ни в смокинге, ни в светлом костюме! Надо одеться так, как я оделся бы, отправляясь на похороны знакомого. Или разве чуть строже...“ Он достал из шкафа пиджак, приближающийся по цвету к черному, и темно-синий, почти черный галстук. „Да, гадко, отвратительно, все отвратительно... Что же теперь делать?..“

До казни оставалось четыре с половиной часа. „Я не лягу: все равно не сомкнул бы глаз. Провести остаток ночи в кресле? Надо взять книгу, иначе я сойду с ума“. Но в ключе „Реквиема“ ему было ясно, что он с ума не сойдет. „Люди сходят с ума от повреждений мозга, от удара, от сифилиса, но не от волнения, особенно не от волнения за чужой счет. Что же читать? Какую-нибудь философскую книгу? Или бульварный роман?“ Серизье проверил себя: нет, читать это ему не хотелось. Вспомнил, что в одной ученой работе есть подробное описание того, как казнят людей. При своей прекрасной памяти он без труда установил, в какой работе находится это описание; разыскал в своей огромной библиотеке прекрасно переплетенный чистенький том и сел в глубокое кресло. Почему-то ему неловко было надеть халат. Он

* „Гильотина“ (буквально: лес правосудия) (*фр.*).

только и расстегнул брюки, воротничок рубашки, подвинул лампу и поставил чашку на столик рядом с креслом.

„Dès qu'un homme est condamné à mort, sa vie devient sacrée... L'homme est vivement dépouillé de tous ses vêtements, qu'on jette bien vite loin de lui, afin qu'il ne puisse les atteindre, car peut-être y a-t-il caché une arme ou du poison; rien ne trouve grâce, pas même les souliers, pas même les bas. Quand il est nu, comme Dieu l'a créé, on lui fait endosser le costume de prisonniers, la dure chemise, le pantalon, la vareuse de grosse laine grise, les forts chaussons feutrés: il a l'habillement complet, sauf la cravate, sauf le mouchoir, car il pourrait essayer de s'étrangler...“*

„Да, это ужасно, но я всегда был противником смертной казни, — подумал он, — в социалистическом обществе ее не будет. Если русские социалисты ее применяют, то ведь мы за них ответственности не несем. Мы их поддерживаем — поскольку поддерживаем — потому, что это великий социальный опыт и потому, что нам это предписывают весьма серьезные тактические соображения... А за что мы несем ответственность?“ — спросил себя он. И в ключе „Реквиема“ он неожиданно себе ответил, что они не несут ответственности ни за что, и ни за кого, и всего менее за самих себя, что они, пожалуй, самые безответственные люди в нынешнем мире, хотя в нем и очень трудно побить рекорд безответственности. Серизье отрицательно замотал головой с очень неприятным чувством, отпил глоток настойки и, повернув страницу, продолжал читать:

„...La tête, séparée vers la quatrième vertèbre cervicale, est lancée dans le panier, pendant que l'exécuté, d'une seule impulsion de la main, y fait glisser le corps sur le plan incliné. La rapidité de l'action est inexprimable, et la mort est d'une telle instantanéité qu'il est difficile de la comprendre. Le glaive oblique et alourdi de plomb agit à la fois comme coin, comme masse et comme faux; il tombe d'une hauteur de 2,80m; il pèse 60 kilogrammes, ce qui, en

*„С момента вынесения человеку смертного приговора его жизнь становится проклятием... С него быстро сбрасывают все его одежды и кидают их подальше от него, так, чтобы он не смог до них добраться, ибо вдруг он спрятал там оружие или яд; не оставляют ничего, даже обуви, даже носков. Когда он остается нагим, в чем мать родила, на него напяливают арестантскую одежду, грубую рубаху, штаны, блузу из толстой серой фланели, грубые ботинки, подбитые войлоком: он одет полностью, но у него нет ни галстука, ни носового платка, чтобы он не смог предпринять попытку удавиться...“ (Фр.)

tenant compte de l'action de la pesanteur, produit un travail équivalent à 168 kilogrammètres. La chute, calculée mathématiquement, dure $\frac{3}{4}$ de seconde (exactement 0,75.562)**.

„Ученый человек, и как отвратительны приложения науки! — подумал адвокат. — Конечно, немного стыдно за человечество...“ Серизье посмотрел на часы и подумал, что Альвера еще спит. „Если в его положении можно спать. Только часа через три к нему зайдут в камеру. Вероятно, его разбудит стук шагов, голоса... „Альвера, час искупления настал. Мужайтесь!“ Рюмка рома, папироса, туалет...“ Он вздрагивал, думая об этом, вспоминая аудиенцию у главы государства, одинаково тягостную обеим сторонам. „Я не сказал ему о деле ничего нового, дело он знал, он очень добросовестный человек. Но почему этот почтенный инженер решает вопрос о помиловании осужденных преступников? Какое ему чувствовать, что все же в конечном счете от него зависит жизнь человека! Присяжные вынесли вердикт, судьи произнесли приговор, он может помиловать, может не помиловать, это зависит от него, он рискует только тем, что его за решение выругает правая или левая печать. Он легко принимает такие решения... А мало ли в какое положение может его самого поставить жизнь, нынешняя жизнь? Он сказал мне, что подумает, и я почтительно наклонил голову в знак уважения к его благодати... Президент в помиловании отказал. И это тоже не мешает ему после обеда потягивать кофе с ликерами“. Он читал дальше и думал, что за известным пределом ужас научного описания больше на него не действует, — либо больше не действует ключ „Реквиема“.

„On traverse les allées pleines de cyprès, où les tombes amoncelées semblent manquer de place et se pressent les unes contre les autres, on franchit une vaste palissade en planches, et l'on pénètre dans la partie réservée aux suppliciés: c'est le *Champ de navets*. Rien n'est plus désolé: la terre grise et laide est bosselée çà et là; de larges tranchées

*...Голова, отсеченная в районе четвертого шейного позвонка, летит в корзину, а в это время палач одним маховением руки туда же сталкивает по наклонной доске тело. Скорость действия неопи-суема, и смерть настолько мгновенна, что ее трудно осознать. Косой меч, утяжеленный свинцом, действует одновременно и как клин, и как кувалда; он падает с высоты 2,80 м, весит 60 кг, что, учитывая силу тяжести, производит работу, равную 168 килограммометрам. Падение, подсчитанное математически, длится $\frac{3}{4}$ секунды (точнее 0,75.562)“ (Фр.).

сont ouvertes et attendent leur proie... Le cadavre a les yeux ouverts ou selon que le glaive l'a frappé pendant qu'il ouvrait ou fermait les yeux. On enlève au corps les entraves qui lui liaient les jambes, les poignets et les bras; s'il porte quelque vêtement qui ne soit pas absolument hors d'usage, ceux qui l'ont amené s'en emparent; puis on traîne le panier près de la fosse, on le penche, et l'on verse le cadavre, qui tombe avec des mouvements étranges, sinistres, car il a conservé son élasticité, et il semble faire des gestes que l'absence de tête rend grotesquement horribles. On peut remarquer sur le cadavre le même phénomène physique que produit la mort par suspension ou strangulation...^{*}

...Он проснулся. У кресла на столике горела лампочка с матовым абажуром, на ковре лежала свалившаяся книга. Серизье взглянул на часы, ахнул и сорвался с места. „Без пяти четыре! Опоздал!“ Сердце у него забилося. Надев туфли, он бросился в ванную, провел щеткой и гребешком по волосам. Было ясно, что вовремя поспеть невозможно, даже если на улице тотчас найти автомобиль. „Позвонить в гараж? Нет, это будет еще дольше!“ Он кое-как повязал синий галстук, надел жилет, пиджак — и вспомнил, что на нем брюки от смокинга. С проклятием сбросил их, сорвав с подтяжками пуговицу, механическим движением подобрал ее, надел другие брюки, надел пальто и выбежал. Забыл потушить лампу, метнулся было назад, махнул рукой и побежал вниз. „Нет, разумеется, не поспею! Лучше не ездить, сослаться на болезнь, на принципиальные сомнения?..“

Из-за угла показался автомобиль. Серизье отчаянным голосом окликнул шофера. „В Версаль! Там я вам скажу куда!“ Шофер как будто заколебался. „Лишних двадцать франков, лишь бы ехать быстро! Как можно

* „Проходят кипарисовыми аллеями, где могилам, кажется, не хватает места, и они жмутся одна к другой, затем, преодолев дощатую изгородь, попадают на участок, предназначенный для казненных: это *Рпейное поле*. Нет ничего более унылого: безобразная серая земля, горбящаяся здесь и там, широкие рвы вырыты и дожидаются своей добычи... у головы трупа открыты или закрыты глаза в зависимости от того, открыл или закрыл их приговоренный, когда нож опускался. Тело освобождают от пут, которыми были связаны ноги, руки и запястья; если одежда еще не пришла в негодность, она достается тем, кто его привез; затем корзину тащат ко рву, наклоняют и сбрасывают труп, который, падая, производит зловещие и странные движения, так как он еще не очошел, и эти жесты, при отсутствии головы, кажутся до гротеска безобразными. На трупе можно заметить те же физические изменения, что производит казнь через повешение или удушение...“ (Фр.)

быстрее!..“ Задыхаясь от бега и волнения, он вскочил в автомобиль, застегнул пуговицы жилета, застегнул пальто. При свете фонаря мелькнули большие висячие часы: две минуты пятого. „Это могло случиться со всяким, — повторял он себе, — я не виноват, что так устаю за день... Конечно, стыдно, гадко, но могло случиться со всяким...“

Уже у версальской заставы послышался далекий глухой шум. Серизье, с трудом справляясь с дыханием, прислушался. Гул усиливался. Шофер, очевидно, только теперь понявший, куда они едут, угрюмо оглянулся на адвоката. „Туда проехать нельзя!“ „Меня пропустят, я адвокат, — хрипло сказал Серизье, вынимая полученный им билет, — постарайтесь проехать возможно ближе...“ По тротуару бежали люди. „Любопытные... Да, есть в каждом из нас это страшное любопытство... Это именно та картина, которую описывают в газетах: проститутки, апаши, светские дамы“, — думал он, вглядываясь в проходивших людей. Но на слабо освещенной улице рассмотреть их было трудно. „Кто это, что за люди? Вот этот у фонаря какой же апах? Просто лавочник, и женщина с ним не проститутка, а должно быть, его жена... И во мне тоже есть это страшное любопытство, и я себе придумал предлог: какую *моральную поддержку* я могу оказать человеку, которого сейчас казнят!..“

Автомобиль стал замедлять ход. Гул нарастал все сильнее, все страшнее. Шофер обернулся и что-то прокричал, но Серизье не разобрал его слов. Вдруг сбоку сверкнул свет, автомобиль остановился. За поворотом стоял отряд жандармов, за ним видна была огромная гудевшая толпа, еще дальше люди на конях. Площадь была залита светом. Все окна в домах, за редкими исключениями, были ярко освещены. „Дальше! Я покажу билет... Скажите им!“ — закричал Серизье. Шофер безнадежно махнул рукой, сунул в карман, не считая, деньги и поспешно встал на сиденье, с жадным любопытством глядя в сторону освещенной площади, поверх жандармов и толпы. Серизье выскочил и побежал к жандармам. Вдруг гул превратился в дикий страшный рев и странно, сразу, оборвался. Настала тишина. Затем снова, быстро нарастая, поднялся шум — уже совершенно иной.

Стража еще стояла на повороте, но теперь пропускала людей на площадь, не спрашивая билетов. С площа-

ди валила толпа. С хмурыми лицами проехали муниципальные гвардейцы. Стало темнее. Огни в окнах гасли один за другим. Погасла и часть фонарей. Серизье шел навстречу медленно продвигавшейся толпе. До него долетали обрывки разговоров: „...Нет, нет, он не струсил! Смелый человек, не говорите. По-моему, на войне такой человек мог бы пригодиться“. „Как можно сравнивать! Мужество на войне совсем другое дело. Помню, я...“ — „...Да, отказался от священника и от папиросы. Выпил только рюмку рома...“ — „... Я не думала, что это так быстро! Тридцать секунд!“ — „Нет, нет, гораздо больше: две или три минуты...“ — „... Как хотите, это ужасно: ведь его защитник доказал, что он сумасшедший!“ — „... Да, страшное зрелище! И заметьте, какое нездоровое любопытство: эта толпа!..“ — „Здоровое любопытство только у вас, Пьер!..“ — „... Я видел все как на ладони, вот как вижу этого жандарма! Но я забрался сюда в десять часов“. — „...Если он действительно сумасшедший, то это очень несправедливо: сумасшедших надо лечить“. — „Такого вылечишь! Он жил бы десятки лет на наши деньги“. — „Деньги тут ни при чем! Стыдно подходить к такому вопросу с денежной точки зрения!“ — „... Его разбудили в четыре! подумай, сколько он ждал!“ — „Зачем все эти формальности? У нас всегда так“. — „А тот не мучился, которого он убил?“ — „... Все-таки это очень легкая смерть: если бы не позор, я и себе желал бы такой же“. — „Скоро будет война, и сотни тысяч людей умрут от газа, это похуже гильотины“. — „... Лучше было бы пускать сюда поменьше этих иностранцев!“ — „Есть честные иностранцы и есть убийцы-французы...“ — „... Господи, мне завтра вставать в семь“. — „Завтра? Ты хочешь сказать, сегодня“. — „Уже не стоит ложиться, зайдем лучше в бистро, скоро откроют“.

За первым кордоном был второй, за ним третий, у самого места казни. Серизье, пошатываясь, подошел к цепи и остановился, тяжело прислонившись к фонарю. Гильотину уже наполовину разобрали: стоял один столб. Кто-то лил воду из лейки. За цепью на табурете сидел человек в форме и быстро что-то писал самопишущим пером, держа перед собой на коленях положенный на портфель лист бумаги. У кордона штатский человек, вероятно, репортер, беседовал с пожилым комиссаром. „Значит, он не волновался?“ — „Почти нет. В последние дни он действительно впал в идиотизм. Многие притворяются, но иногда бывает и так, что правда.

Редко, конечно. Сторожа мне говорили, что с ним что-то случилось в ночь перед судом. Нервный удар что ли? — „Отчего же сторожа не сообщили начальству или адвокату?“ Комиссар пожал плечами. „Не знаю. Впрочем, все равно уже было бы поздно. А может быть, он и притворялся“. — „Они, верно, часто притворяются? Не могу понять, что они за люди!“ „Такие же люди, как мы с вами“, — равнодушно, даже без интереса сказал комиссар и оглянулся на Серизье.

— Что вам угодно? — спросил он. Адвокат молча протянул ему свой билет. — Да ведь кончено. Разве вы не видите, что все ушли?

— Я... я... — начал было Серизье. У него закружилась голова. Это с ним бывало раза два или три в жизни. К фонарю торопливо, осматриваясь по сторонам, подходил почтенный пожилой человек в темно-сером пальто. По фотографиям Серизье узнал парижского палача. Он о чем-то вполголоса спросил сидевшего на табурете человека. Тот, не глядя на него, тыкнул рукой влево и встал. Серизье последовал за ним взглядом и увидел людей, несших что-то к стоявшему довольно далеко, у фонаря, черному фургону, запряженному вороной клячей. Комиссар внимательно всмотрелся в лицо Серизье, заглянул в его билет и поспешно сказал:

— Кажется, вы нездоровы, мэтр? Хотите воды? Принесите воды! — крикнул он полицейским и участливо поддержал адвоката. Кто-то подскочил с табуретом. Серизье на него опустился. Он был в обмороке.

XXV.

Чтение не имело никакого успеха.

Вермандуа знал, что выйдет нехорошо. По дороге из Парижа он простудился и охрип. „Просто ни на что не похоже! Я буду совершенно смешон!“ — угрюмо говорил он графине в автомобиле, по пути из гостиницы в зал, предупреждая о провале; знал, что это очень помогает; если όμως заранее говорить, что будет плохо, совсем плохо, то обычно выходит недурно. „Решительно ничего смешного, просто вы немного простудились в эту скверную погоду“, — убедительно говорила графиня, точно сам он приписывал свой насморк каким-то сверхъестественным силам. В ее голосе слышалось волнение. Граф неопределенно мычал.

Публики было много. С некоторой натяжкой можно было даже сказать, что зал полон, — но именно с неко-

торой натяжкой. На эстраде у стены, позади стола, стояли два ряда стульев, приготовленных для почетных гостей и тонких ценителей на случай, если бы все билеты были проданы. В боковой комнате антрепренер, с видом, не то озабоченным, не то испуганным, вполголоса сообщил графине, что в первых рядах есть свободные места. „Может быть, еще придут?“ — с радостным сомнением предположил граф. „Это неважно! Но не лучше ли было бы убрать стулья на эстраде? — нервно спросила графиня. — Я вам говорила, что они не нужны?“ Выносить стулья на виду у публики было неудобно. „Это неважно!.. Здесь весь цвет столицы, не правда ли?“ Антрепренер бодро назвал разных бывших в зале видных людей. Высокопоставленных особ не было, из членов правительства не приехал никто.

В боковую комнату вошел, сверкая ффрачной рубашкой, влиятельный критик, председательствовавший на собрании. Он пожал руку Вермандуа и сказал, что пора начинать. „Мы здесь аккуратны. Мое слово ведь займет четверть часа, не более“. „Да, да, пойдем!“ — энергично подтвердила графиня и вышла с каким-то прощальным ободрительным знаком, вроде того, который делает тренер, выпуская на ринг своего боксера. Она маленькими шажками прошла в первый ряд. „Действительно, жаль, что оставили *те* стулья, — сказал, садясь рядом с ней, граф, — и без того есть немало свободных мест“. „Это не имеет ни малейшего значения!“ — сердито прошептала графиня. Она старалась не смотреть на незанятые стулья.

Влиятельный критик отодвинул портьеру боковой комнаты и пропустил вперед Вермандуа. Встретили чтеца хорошо: не овацией, но вполне прилично; с некоторой натяжкой можно было даже говорить об овации. Улыбаясь, немного набок наклонив голову, чуть похлопал гостя и сам влиятельный критик, явно подчеркивавший, что не относит к себе никакой доли рукоплесканий.

Он занял место за столом и прочел вступительное слово. Повторил те общие места, которые Вермандуа слышал и читал о себе почти столетия (в них, по мере выслуги лет и повышения в литературном чине, менялись главным образом степени прилагательных). Были тут и „блестящий эпикуреизм, уживающийся с чутким вдумчивым отношением большого художника к вопросам, волнующим современное человечество“, и „горячее великодушное сердце, чувствующееся за осле-

пительными парадоксами“, и „кристальный стиль, продолжающий традиции великого века“, и многое другое. Критик говорил с таким любовным интересом к своим мыслям, что весь зал слушал напряженно. Вермандуа старательно поддерживал на лице мягкую сконфуженную улыбку, приблизительно означавшую: „Вот не ожидал. Зачем это, право? Нет, нет, я этого не заслужил... Но как умно и тонко!..“ „Эпикур,“ — было о нем сказано, — но Эпикур, медленно слившийся с Гракхом на тысячелетнем ароматическом огне старой утонченной цивилизации“, — с силой сказал критик и, опять немного наклонив набок голову, улыбнулся гостью. Гость, с непечатным словом в мыслях, сделал свою ответную улыбку еще более скромной и смущенной. „...Я кончаю, милостивые государыни и государи. Позвольте же мне не только от своего, но и от вашего имени приветствовать великого писателя, явившегося к нам в качестве посла французской мысли, которой столь обязано человечество“. Снова раздались рукоплескания, еще усилившиеся, когда посол французской мысли горячо пожал критику руку, поменялся с ним местами, подвинулся к лампе и раскрыл картонную папку.

Вермандуа тоже произнес маленькое вступительное слово: взволнованно поблагодарил критика за его столь блестящее, хотя чрезмерно лестное введение; взволнованно поблагодарил публику, наполнившую этот зал, — ему известно, что тут собрался цвет мысли и общества столицы; сказал, что прекрасно понимает: внимание оказано не ему лично, а в его лице французской литературе, — он представляет ее скромно, в меру своих слабых сил; в самых лестных выражениях отозвался о столице, в которую приехал, об ее очаровательном гостеприимстве, об ее удивительном искусстве; затем очень кратко изложил содержание своего романа и шутливо попросил не пугаться толстой папки: он человек не жестокий и прочтет лишь одну главу „Возвращение Аристиппа“, к несчастью, длинную, но менее, быть может, скучную, чем другие. Сказал он все это как следует, как говорил в подобных случаях много раз, однако сразу почувствовал, что тон вышел не очень естественный, что голос звучит хрипло и что вообще чтение начато нехорошо. Вдобавок, перелистывая рукопись, он вдруг заметил на видном месте, в конце абзаца, слова: „...l'or et les pierres précieuses dont elle lui fit don...“* „Что ж это? Или я писать разучился? — с ужа-

* „...Золото и драгоценные камни, подаренные ему ей...“ (фр.)

сом подумал Вермандуа. — Ведь перечитывал сто раз! Если этого не заметил, то, верно, и другое есть такое же!..“ Он нервно сделал пометку на полях. При чтении всегда держал в руке карандаш: по крайней мере, одна рука пристроена. После его вступительного слова кто-то было хлопнул, но публика рукоплесканий не поддержала, очевидно, признав излишком рукоплескания в третий раз перед чтением. Это было вполне естественно. „А может быть, недохвалил их?..“ Вермандуа откашлялся, высморкался — графиня взглянула на него одобрительно, но испуганно — и начал читать: „Аристипп возвращался в Афины...“ (Аристиппом теперь именовался бывший Лисандр, еще раньше побывавший Анаксимандром.) И тотчас эта фраза показала ему необыкновенно пошлой, даже для публики, даже для этой публики. „И никуда он не возвращался, и Аристиппа никакого не было, и стыдно на старости лет рассказывать ерунду о никогда не существовавших Аристиппах...“

Читал он плохо, гораздо хуже обыкновенного; сам чувствовал, что подъема нет, что чтение на публику не действует. Насморк и хрипота очень мешали, Вермандуа шутливо попросил извинения, но шутка вышла неудачной, как все в этот вечер, да и пошутить пришлось как раз на одной из самых лучших фраз главы, так что фраза пропала: впрочем, эта публика ее все равно не оценила бы, как не заметила бы и „dout elle lui fit don“. Тонкие ценители иногда улыбались и переглядывались, но не там, где следовало, и все реже.

После сорока минут чтения он сделал передышку. Аплодировали гораздо меньше, чем при появлении гостя на эстраде. Правда, можно было предположить, что главная овация готовится к концу чтения. Влиятельный критик чрезвычайно значительным и даже несколько угрожающим тоном объявил перерыв на десять минут. Вермандуа поспешно с мучительным чувством неловкости и стыда прошел в боковую комнату. Через минуту в нее вплыла графиня с протянутыми руками, с восторженной улыбкой. Но по лицу ее и по похвалам он ясно видел: нет, не вышло. „Дорогой друг, глава изумительна даже для вас, и читали вы столь же изумительно“, — сказал граф, и опять-таки его сияющее лицо не оставляло сомнений: провал, полный провал.

Влиятельный критик вошел в боковую комнату в сопровождении трех местных писателей, с которыми он,

по-видимому, обращался строго: на его лице было написано сознание собственного могущества и твердой власти. „Я в восторге...“ „Мне так давно хотелось познакомиться с вами!“ — говорил Вермандуа, крепко пожмая руки местным писателям и изображая на лице радость. („Если бы вспомнить хоть что-нибудь из того, что они выделывают! — с досадой подумал он. — А впрочем, черт с ними!“) У молодых писателей был такой вид, какой может быть у провинциальных посетителей Лувра, вдруг наткнувшихся на Джоконду. Критик высказал несколько ценных мыслей о романе. Местные писатели больше говорили о своей любви к французской литературе. В конце антракта на мгновение показался антрепренер, — промелькнул с выражением мировой скорби на лице, как-то странно, точно на бегу, слабо пожал руку Вермандуа. Графиня все говорила, восхваляя достоинства романа.

Антракт кончился. Пустоты в зале как будто увеличились — или это так лишь кажется? Сиротливые стулья на эстраде издевались: *memento mori*. Попытка чтеца возбудить к себе искусственный подъем не удалась. „В последнее время ничто не удается: кажется, последняя удача в жизни была до мировой войны...“ Подъему мешало еще и то, что в первом ряду, недалеко от графини, спал с раскрытым ртом и закрытыми глазами какой-то старичок, несомненно, из числа видных. Граф радостно на него поглядывал. Графиня смотрела на старичка с лютой ненавистью: если бы его можно было задушить и вынести труп из зала незаметно, она вероятно, перед этим не остановилась бы. Вермандуа читал вяло, все яснее чувствуя, что если есть предмет, совершенно не интересующий слушателей, то именно возвращение Аристиппа в Афины. Минут за пять до конца чтения кто-то конфузливо поднялся в средних рядах и, испуганно взглянув на председателя, сгорбившись, на цыпочках, с пальто в руке, стал пробираться к выходу. И, точно этот пример ободрил других, то же самое сделали еще человек пять или шесть. Взгляд графини был страшен.

Когда чтение кончилось, овации не последовало, ни бурной, ни даже не бурной. Вермандуа встал, поклонился публике, сложил папку и спрятал в карман карандаш. Ему все же похлопали. Влиятельный критик еще что-то сказал, уже не склоняя головы набок. Антрепренер куда-то исчез. В автомобиле графиня, после минуты молчания, неосторожно упомянула о тупости этой

публики, ничего не смыслящей в литературе. Граф сиял непристойно.

В гостинице, сославшись на головную боль, Вермандуа тотчас ушел в свой номер, хотя графиня отчаянно-восторженно предложила выпить шампанского. „Надо, надо выпить. Шампанское сегодня совершенно необходимо!“ — нагло подтверждал граф. „Значит, завтра утром мы едем в музей, дорогой друг?“ — „Непременно, непременно!“ — „У них есть тут один Мельхиор де Гондекутер, которого я не знаю!“ „Мы посмотрим и этого Мельхиора де Гондекутера, дорогая, вам нужно с ним ознакомиться“, — с тихой ненавистью сказал Вермандуа.

Ночь он провел плохо. Разумеется, мнение публики не имело никакого значения. Публика очень скучала, но она скучала бы еще больше, если б сам Расин встал из гроба и прочел: „Il suivait tout pensif le chemin de Mucènes...“* Вермандуа поспешно встал, раскрыл папку, вычеркнул „dont elle lui fit don“. „Да, могут быть и повторения. Но лучше сказать на одной странице три раза „Париж“, чем писать, как газетчики, „Город-светоч“ или „Столица мира“. И вообще совсем не в этом дело, все вздор!.. Да, публика ничего не понимает, но...“ Практические последствия неуспеха были очень неприятны. Антрепренер в Париже сулил ряд лекций в разных странах Европы, затем большую поездку по Северной и Южной Америке. О „ряде лекций“ Вермандуа не мог подумать без ужаса, но назывались денежные суммы, которые могли обеспечить его на весь остаток дней. „Помучиться полгода и навсегда отделаться от необходимости заработка... Хорошо и это „навсегда“ в семьдесят лет!“ Теперь все рассыпалось: антрепренер, конечно, ничего не предложит. Мелькали даже мысли о честной бедности, о том, что лучше умереть на соломе, но свободным человеком. „Рембрандт и Бетховен были бедняками... Но Рафаэль и Вольтер были богатыми людьми. Свободным человеком можно быть и на соломе, но лучше и удобнее без соломы... Я богачей не выношу... Но я и бедных не люблю, что ж себя обманывать? Да, надо, надо вложиться душой в большое общее дело, иначе и жить незачем. Впрочем, и с делом незачем... Жить по завету Флобера, как факиры: с червями на теле, с головой, поднятой к солнцу? Но если бы все-таки можно было обойтись без червей?..“ Он принял снотворное и в третьем часу задремал.

* „В задумчивости брел он по дороге в Микены...“ (Фр.)

Проснулся он поздно, с тяжелой головой, от телефонного звонка. „Антрепренер!“ — встрепенулся Вермандуа. „Дорогой друг, что с вами? Ведь мы условились, что вы мне позвоните в девять“, — с мягким упреком сказала графиня. „Я вам ровно в девять и позвонил, но никто не ответил. Я думал, вы спите“. — „Странно! Я не смыкала глаз всю ночь!“ Он сообразил, что солгал неудачно: ничто не могло быть более оскорбительным для графини, чем предположение, что она спит, да еще крепко. „Я спущусь к вам через полчаса“, — обещал Вермандуа, с ужасом думая, что с этой дурой придется провести весь день.

XXVI.

Кангаров во фраке постучал в дверь будуара жены. „Антрэ, антрэ“, — сказала Елена Васильевна. Ее причесывал перед балом француз-парикмахер. Она не могла повернуть голову и лишь улыбнулась в зеркало послу. Улыбка была ласково-семейная — из-за парикмахера, — но и тревожная: муж все больше беспокоил Елену Васильевну. „И сейчас на нем лица нет!“ — испуганно подумала она. Парикмахер почтительно поклонился и пожелал послу доброго вечера. На этот раз, несмотря на слово „Excellence“, обычно его умиротворявшее, Кангаров лишь едва кивнул парикмахеру и сухо попросил жену поторопиться.

— Времени еще сколько угодно, милый, — робко сказала она. Слово „милый“ не имело ласкового смысла: муж этого не заслуживал, но не имело и смысла неприязненного. Перед балом Елена Васильевна была в самом лучшем, хоть взволнованном настроении духа.

Она была довольна прической (не самого знаменитого парикмахера, считавшегося мировым гением, — он был по цене недоступен, — но второго, прильбжавшегося к нему по гению, как Марло к Шекспиру); была довольна и платьем, лежавшем в будуаре, на кресле: тюркуаз с серебром. Неприятно было только отсутствие драгоценностей. По этому вопросу у нее уже давно, вскоре после ее представления ко двору, произошло легкое столкновение с мужем. Кангаров тогда настойчиво ей сказал, что никаких драгоценностей у нее „нет, не должно быть и не будет“: эта тройная фигура речи у него всегда означала непреклонную решимость; так он в Москве в свое время, после победы Сталина, всем говорил, что за Троцким „не шел, не идет и не пойдет“.

„На драгоценности, Ленуся, у нас пенензов* нет, я и так разоряюсь на твои туалеты. Ты отлично знаешь, как скромен бюджет полпреда“. „Драгоценности как таковые меня не интересуют!“ — с достоинством сказала она („как таковой“, „как таковая“, „как таковое“ были ее любимыми выражениями), — но надо все же быть одеждой как все“. „Как кто: все? Не видали при дворе твоих драгоценностей! Неужели ты думаешь, что королеву можно удивить какой-либо *диадемой* в двести франчиков? — Кангаров имел самые неопределенные понятия о диадемах. — А в нашем положении это было бы и неприлично: ты жена полпреда, а не какого-нибудь буржуазного посла!“ „Вы сами, однако, успели себе сшить два фрака“, — съязвила Елена Васильевна, которую диадема в двести франчиков действительно не соблазняла. „Драгоценности одно, а фрак другое. Если вдруг стали носить фраки с длинными фалдами, то я не виноват“. „А я виновата в том, что нельзя показываться по три раза в одном платье?“ — с горечью возразила Елена Васильевна, хотя речь шла не о платьях: за отсутствием диадемы требовалось оставить за собой хоть последнее слово. У них разговоры всегда были ни о чем и без претензий на строгую логику.

Так было в свое время, до появления *интриганки*, как Елена Васильевна называла Надю, когда не называла ее *горняшкой*, — она в своих уничтожающих определениях Нади исходила то из моральных, то из физических ее особенностей. Теперь подобного разговора с мужем у Елены Васильевны и вообще быть не могло: после ее отказа в разводе они вообще говорили друг с другом лишь при посторонних людях, да и то держались минимума любезности, как Москва в дипломатической переписке с Токио.

— Не сколько угодно времени, *милая*, а очень мало, — сказал он. Подчеркнутая интонация в слове „милая“ могла означать многое: „напрасно стараешься, между нами все кончено, ты скоро увидишь“. Хотя Елена Васильевна была *почти* уверена, что на развод вопреки ее воле Кангаров не решится, все же его тон и вид очень ее беспокоили: что такое он задумал и что же она *увидит*? Она ничего не ответила, чтобы не расстраиваться перед балом, и только приветливо помахала мужу рукой. Кангаров вышел, опять еле кивнув парикмахеру, который почтительно ждал окончания их рус-

*От польск. pieniądze — деньги. — Прим. ред.

ской беседы: каждое неосторожное движение клиентки могло погубить его сооружение.

Он вернулся в кабинет. Все в этой комнате, особенно стенная лампа, на которой он *чуть* не повесился, теперь было ему неприятно. Он остановился у великолепного письменного стола, оставшегося еще от прежнего посла: в посольском кабинете не произошло перемены за четверть века — только вместо царя и царицы на стенах висели Ленин и Сталин... В нижнем (главном) этаже коробки для бумаг лежало то, что его почему-то расстроило два часа тому назад: среди пришедших из Москвы писем одно предназначалось для Нади. „Ну что ж, я не могу ни прочесть, ни скрыть от нее, да и незачем“, — подумал он и снял трубку одного из двух стоявших на столе разноцветных телефонов. Такие же телефоны были в этой столице у главы правительства, только у него их было три; Кангаров для третьего телефона не нашел назначения. Настольные разноцветные телефоны в свое время доставили ему немало удовольствия: он всю жизнь до революции не мог и мечтать о своем телефоне. Теперь удовольствия давно не было никакого. „Надежда Ивановна еще не ушла? Тут? Скажите ей, чтобы она тотчас ко мне зашла“.

Он взял письмо, самое обыкновенное, в простом желтеньком конверте, с советской маркой. „Какой-нибудь из ее Сенек и Ванек... Или тот курносый?.. Письмо, конечно, пустяки... Но что же делать, если стерва не даст развода!“ В день, когда он хотел покончить с собой, Кангаров случайно в мыслях назвал жену первым пришедшим на ум грубым словом, и с той поры он ее иначе мысленно не называл, точно „стерва“ было ее имя или партийный псевдоним. „Тогда я без нее добыюсь в Москве развода! В чем другом, а уж в распутной жизни меня упрекнуть трудно, я все им объясню!“ — с силой сказал он себе и сел в кресло, расправляя фалды фрака; на груди его выпучилась туго накрахмаленная белая рубашка с жемчужными запонками, которые по своей небольшой величине не могли считаться драгоценностями. „Да, я добыюсь!.. добыюсь!..“ — бессмысленно говорил он себе.

По дипломатическому стуку в дверь легко было узнать Эдуарда Степановича. „Я не мешаю?“ — спросил он, испуганно взглянув на бледное, опухшее и измученное лицо посла. „Елена Васильевна просит вам передать, что будет готова через двадцать минут“, — сказал он с легким неудовольствием. Хотя он был в очень

хороших отношениях с Еленой Васильевной (как со всеми вообще), ей, по его мнению, не следовало бы давать такое поручение секретарю полпредства: это можно было сообщить через прислугу.

— Что вы говорите? У вас стал такой тихий голос, что ничего нельзя понять, — сердито сказал Кангаров. Эдуард Степанович вздохнул, — „ах, что делают с нами женщины!“ — повторил свое сообщение и перешел к государственному делу.

— Как же вы думали бы насчет вчерашней директивы?

— Какой директивы? Ах, да... Отложим этот разговор на завтра.

— Я именно перед балом хотел вам предложить... Дело в том, что на балу будет Луи Этьенн Вермандуа. Что, если бы начать с него?

— Начать с него? — бессмысленно повторил посол и пришел в себя. — Кстати, какое хамство! Этот Вермандуа и его друзья, граф и графиня де Белланкомбр, не сочли нужным хотя бы завезти нам карточки. Зачем только я их фетировал* в Париже!

— Кажется, они приехали только на два-три дня. Конечно, они у вас будут. Кстати, вчерашнее чтение Луи Этьенна Вермандуа, к сожалению, провалилось. Я был: мне хотелось послушать этого знаменитого писателя, являющегося бесспорным украшением передовой буржуазной литературы, — сказал обстоятельно Эдуард Степанович. — И что же: к моему удивлению, не совсем полный зал и довольно жидкие аплодисменты, особенно под конец. Он выбрал замечательную, конечно, но скучноватую для большой публики главу и читал вяло, хотя и своеобразно.

— Очень рад. Так ему и надо.

— Я хотел предложить вам сегодня на балу спросить его... В связи с директивой, — пояснил Эдуард Степанович. — Все-таки у него большое имя, и с ним очень считаются в руководящих левобуржуазных кругах Европы и Америки... Обои Америки, — уточнил он. Кангаров кивнул головой, показывая, что считает мысль дельной.

Дело было скорее неприятное. Накануне в полпредстве была получена бумага — „директива“, — тотчас нашел определение Эдуард Степанович: в связи с московскими процессами предписывалось мобилизовать

*От фр. *fêter* — приглашать на банкет. — Прим. ред.

общественное мнение Европы для энергичного протеста против поддержки, оказываемой буржуазией всего мира вредительским шайкам в СССР. Кангаров, прочитав бумагу, молча протянул ее Эдуарду Степановичу, от которого почти не имел секретов. Эдуард Степанович читал документ долго — *подверг тщательному изучению*. Весь вид его свидетельствовал о большом напряжении умственных способностей. „Я думаю, в содержании директивы не может быть сомнения“, — сказал он, оглядываясь на дверь; понизить голос было невозможно из-за ухудшившегося слуха посла. „Пожалуйста, говорите толком, без предисловий“. Эдуард Степанович взглянул на посла с тихой укоризной — он искренне его любил — и высказал свое мнение, основанное на тщательном изучении директивы: в Москве готовится новый показательный процесс. Кангаров изменился в лице и снова прочел бумагу. „Да, вероятно, это так, — сказал он и подумал: — Если он имеет подозрения против меня, то мне не дали бы такой директивы...“ Эдуард Степанович понимал мысли своего начальника, Кангаров понимал, что Эдуард Степанович их понимает. Секретарь молчал так *многозначительно*, что даже стало жутко. „А чем я мобилизую общественное мнение? — сердито сказал Кангаров. — В ассигновках они отказывают. Очевидно, они думают, что тут можно выехать на одной икре!“ „Тут все же дело не в одних деньгах. Тут нужен такт и... дуатэ“*, — мягко сказал Эдуард Степанович, не сразу нашедший верное слово, но нашедший его, — именно такт и дуатэ. Они поступили не так глупо, — он поправился: — Не так неосмотрительно, что обратились в первую очередь к вам“. „Да, дуатэ. Черта с два тут дуатэ! Пенензы нужны, и очень большие, а не дуатэ“, — возразил Кангаров, все же польщенный замечанием секретаря, совершенно искренним и чуждым лести. Он ненадолго вернулся в свое прежнее, вполне нормальное состояние. „Как глупо, как чудовищно глупо то, что *он* в Москве делает. Зачем этот террор, эти казни, репрессии, и против кого! Против сподвижников Ильича! Это больше чем преступление, это ошибка!“ — подумал посол, чувствуя себя и Фуше, и Талейраном. Он только обменялся взглядом с Эдуардом Степановичем. Понимал, что Эдуард Степанович думает то же самое и тоже ни за что об этом не скажет.

— Вы меня звали? — спросила Надежда Ивановна,

*Чувство меры (*фр. doigté*). — *Прим. ред.*

входя в кабинет. Она засиделась в полпредстве отчасти из-за работы, отчасти потому, что ей хотелось издали взглянуть на платье Елены Васильевны, о котором среди служащих уже ходили и анекдоты, и восторженные отзывы, относившиеся преимущественно к цене. Надя сама подумывала о новом платье. „В том с dentelle cigée* я была бы непобедима, — думала она печально-иронически, вспоминая одно платье, выставленное у парижского портного, — впрочем, тут и побеждать некого: не Эдуарда же Степановича“. Но об этом платье и мечтать не приходилось: „Хоть каждый день отказывай себе в сладком, на него за год не сбережешь!“ — как на беду, она в последнее время пристрастилась к глазированным фруктам, и отказ от сладкого постоянно откладывался: „завтра начну“. Мысли о платье и о сбережениях неожиданно привели ее к мысли о Кангарове. Она на прошлой неделе твердо себе сказала, что за него замуж не выйдет. „А служить у него буду дальше, пока не найду другой работы. Куда же мне деться? И пусть „как таковая“ при нем и остается!“

Эдуард Степанович *откланялся*. В последние дни он уже немного изменил свой дипломатический тон. Прежде, когда он оставался в обществе полпреда и Надежды Ивановны, выражение его лица означало: „Я ничего, решительно ничего не слышал, не знаю и не замечаю“. Теперь появился и легкий дополнительный оттенок: „Но если бы что-либо и было, то в столь интимных делах никто никому не судья, и во всяком случае я сохраняю полный нейтралитет в отношении обеих сторон“. „Обе стороны“ были, разумеется, Елена Васильевна и Надежда Ивановна; каждой из них секретарь посольства готов был предоставить то, что дипломатами на дурном русском языке называется „правами наиболее благоприятствуемой державы“.

— Что это ты нынче так поздно засиделась, пташка? — спросил, просветлев, Кангаров. Он в последнее время называл Надю „пташкой“ или „пчелкой“: „птичка“ уже не доставляла ему прежнего наслаждения. — Много работы?

— Да, надо было переписать ту записку, которую вы дали вчера. Только что кончила.

— Посмотрите на нее, какая прилежная... Ну, так вот тебе письмо. Из Москвы, — сказал полпред, подозрительно на нее поглядывая. Надя вспыхнула: почерк был Женьки, которому она послала свой рассказ.

*Блестящие кружева (*фр.*).

— Спасибо... Больше ничего?

— Нет, не ничего, а чего. Я хотел тебе сказать... Но если это сейчас так тебя волнует, то ты можешь его прочесть сейчас же, я подожду.

— Оно нисколько меня не волнует.

— Можно узнать, от кого оно? — спросил равнодушным тоном Кангаров. На столе затрещал телефон. Он выругался и со злобой взял трубку. Надежда Ивановна сделала вид, что не хочет мешать разговору, незаметно скользнула за дверь и пробежала в свою комнату. Сердце у нее билось сильно. „Сейчас решается судьба! — подумала она, и, хотя решение судьбы уже, очевидно, состоялось, она про себя помолилась: „Господи! Дай Бог!..“ Надя затворила дверь на ключ, разодрала желтый конверт, вытащила письмо дрожащими руками и заглянула в первые строки: „...радостным известием...“ Она ахнула.

„Наденька, миленькая, великая писательница земли русской, спешу поделиться с тобой поскорее радостным известием. Твоя новелла зело одобрена, принята и будет напечатана в одной из ближайших книжек нашего журнала... — Надя приложила руку к сердцу, впрочем, скорее автоматическим жестом крайнего волнения. — С чем тебя, великая писательница, Наденька Горькая, и поздравляю. Значит, не так был глуп некий Женька, который, если милость ваша помнит, советовал вам писать? Значит, может иногда пригодиться некий Женька, встретивший немилость велию и фунт презрения в некие отдаленные времена, в месте, называемом Сокольниками? Оба квалифицированных спеца, твой рассказ читавшие, единодушно признали его с художественной стороны весьма и весьма удовлетворительным, а со стороны идейного наполнения вполне созвучным. К этому больше чем присоединяется третий, по времени же первый читатель и почитатель, в журнале не последний человек, имени которого я вам, Надя Достоевская, не назову. Были отмечены некоторые погрешности, вследствие чего будут сделаны в творении незначительные изменения и сокращения. Не волнуйся, Наденька, ничего существенного не выпустят (было сначала написано: „не выпустим“). Кроме того, редакция не согласна оставить слово „новелла“, в чем я, нижеподписавшийся, с оной вполне согласен: почему новелла, радость моя, какая там новелла? Просто отличный бытовой рассказ. Если желаете знать мое мнение, Надежда Шекспировна, то слабее всего вышел

образ Евгения Евгеньевича. Но по сути дела сие неважно. Главное: идейное наполнение, установка и выдержанность, которые, помяни мое слово, скоро приведут тебя в первые ряды советских литературных работников. Одним словом, пиши и пиши! Вдруг вправду сравнешься (было зачеркнуто: „затм...“) с Алексеем Максимовичем, а? Тогда помни, радость моя, что некий Жеженька в Сокольниках... Ну, не буду, не буду...“

„Да, новая жизнь! Новая, совсем новая жизнь! Открылась новая прекрасная глава! — думала Надя (она и думала теперь литературно). — Теперь ничто не страшно: я писательница, русская писательница...“ Самое сочетание этих слов — не ей первой, не ей последней — ласкало слух и душу. Воображение добавляло эпитеты из будущих рецензий: „даровитая советская писательница“, „весьма известная писательница“ — дальше, до „знаменитой“ не шло, не смело идти воображение.

Она то перечитывала письмо, то вставала и ходила по комнате. „Да, теперь вернусь в Россию и буду *творить!*“ Это тоже было волшебное слово. Надежда Ивановна нерешительно себя спрашивала, *творила* ли она, когда писала. По своей правдивости, не могла утверждать, что Бог волил ее рукой. „Говорят, у них, у больших писателей, всегда теснятся образы... Но разве мой Карталинский не образ?.. Почему ему показалось, что Евгений Евгеньевич слаб? Он, впрочем, не говорит, что слаб, — она заглянула в письмо, — слабее всего, но не слаб...“ В конце письма сообщалось и о гонораре; Надя не думала, что получит столь значительную сумму. Она была счастлива, так счастлива, как никогда не была в жизни. Мысли у нее смешивались и выливались в чужие ветхие слова: были тут и „литературное *поприще*“ — хоть она не знала, какое такое поприще, — и даже „*нива* просвещения“, — уж откуда эта нива проскочила в ее мысли, было совсем непонятно. Надя чувствовала потребность поговорить о необычайной перемене в своей жизни, но не знала с кем. Лучше других был бы все-таки Тамарин. От него после той открытки из Мадрида никаких известий не было. С неприятным чувством вспомнила о Вислиценусе. С этим человеком явно случилось что-то неладное. В полпредстве о нем никто не говорил. Раз как-то, в разговоре с Эдуардом Степановичем, Надя упомянула его имя. Ей показалось, что в глазах Эдуарда Степановича мелькнул ужас, он тотчас же заговорил о другом. „Сказать Эдуарду Степа-

новичу? Он глуп, но он хороший человек. Впрочем, он не так глуп“, — подумала Надежда Ивановна, которой в этот вечер не хотелось говорить дурно о людях. Однако она представила себе, какую скучную основательную разумную фразу с придаточными предложениями скажет Эдуард Степанович, и тотчас отказалась от мысли о нем. Ей вдруг страстно захотелось, чтобы о ее успехе узнала, тотчас узнала Елена Васильевна. „Это ей испортит бал!“ — подумала она. И хотя Надя себе ответила, что у нее, у русской писательницы, не может быть никаких личных счетов с тупой, вздорной, ограниченной женщиной, это было выше ее сил: она не могла не желать, чтобы Елене Васильевне стало известно о расказе. Надежда Ивановна спрятала письмо и отправилась в кабинет Кангарова.

Он стоял неподвижно у дивана под стенной лампой. Вид его, особенно эта неподвижная поза, опущенные глаза поразили ее. „Краше в гроб кладут! — подумала она с искренним состраданием, зная, что он сходит с ума по ней. — Но что же я могу сделать? Чем я виновата?..“ „А? Что? Кого?“ — спросил Кангаров, взглянув в сторону двери воспаленными глазами. При всей кротости трудно было воздержаться от ответа: „Не кого, а я пришла узнать, нужна ли я вам?“ Однако Надя почувствовала, что именно теперь так говорить неудобно: их странные отношения кончились и подобный тон недопустим — впредь он начальство, она подчиненная, только и всего. Она ничего не ответила. Он вздрогнул, точно лишь теперь ее заметил.

— Что за манера исчезать? — сказал он хриплым голосом и сел в кресло. — Садись, пчелка. Я тебя не отпускал, смотрю: тебя уже нет.

— Вас позвали к телефону, я думала, может быть, секретный разговор, — ответила она самым мягким своим тоном. — Я вам принесла записку: вот, копию кладу отдельно.

— Спасибо... Да, так что же это? Есть что-нибудь интересное? Какие-нибудь новости? — спросил Кангаров. Он с некоторых пор стал говорить отрывисто, как актеры, играющие Наполеона в „Мадам Сан-Жен“, и это понемногу перешло у него в привычку. — От кого письмо, если, конечно, не секрет?

— Не секрет. От Евгения Голубовского, — ответила Надежда Ивановна, начиная раздражаться. Ее запаса кротости хватило ненадолго. „Да, он большой человек, и надо его беречь. Но разве меня, мою репутацию он

берег? А „как таковую“ он берет?“ Надя сама удивилась, что неожиданно взяла под свою защиту Елену Васильевну. — Это тот, о котором я вам говорила: молодой писатель. — Она вдруг почувствовала, что расскажет все.

— Ах, писатель? Никогда не слышал о таком писателе. Есть какие-нибудь интересные сообщения?

— Ничего особенного. Кое-что интересное есть... Для меня, по крайней мере. Пустяки, разумеется. Я недавно, от нечего делать („как глупо! от нечего делать!“), написала один рассказ и послала его в... (она назвала журнал). Им понравилось, приняли. Скоро будет напечатан.

Кангаров смотрел на нее выпученными глазами. Он смутно почувствовал недоброе.

— Что ты говоришь?

— То, что вы слышите („опять неподобающий тон“).

— Ты написала рассказ? Какой рассказ?

— Бытовой, но с символикой. Когда выйдет, вы, надеюсь, прочтете.

— Пташка! Она писательница!.. Смотрите на нее! Но отчего же ты мне не показала? Даже не сказала!

— Это не такое большое событие. Я и теперь только вам говорю и прошу никому не рассказывать. Ну, там Елене Васильевне, Эдуарду Степановичу можете сообщить, конечно, — небрежно сказала Надя. Кангаров смотрел на нее с изумлением. Он еще не знал, как именно это обернется в худую сторону, но чувствовал, что обернется. Тем не менее это был повод поцеловаться.

— Пташка, милая, поздравляю. Если так, то позволь...

— Отстаньте! — сердито сказала Надя, отталкивая его. — Оставьте. Вообще я должна очень серьезно с вами поговорить. Я решительно прошу вас бросить все это.

— Что „все это“? Что бросить? Дурочка!

— Там дурочка или нет, но я решительно должна вам сказать, что тут полное недоразумение. Я все думала, что вы шутите. Но если я ошибалась, то категорически вам заявляю, что никогда не буду вашей женой. И с Еленой Васильевной не советую вам разводиться. Но это не мое дело, извините меня... А я вообще твердо решила уехать в Москву и это тоже давно хочу вам сказать. Хотела бы даже немедленно. Найти другую секретаршу вам будет нетрудно.

— Да ты рехнулась! — сказал Кангаров, апоплексически краснея. Он быстро поднялся с места. Лицо его исказилось, шафренные глаза стали совершенно безумными. „Что, если его сейчас разобьет удар? Что, если он меня ударит?“ — подумала она и, с ужасом на него глядя, отступила назад. Кангаров шагнул к ней. Если бы на нем был пиджак, он — не ударил бы Надю, но, верно, схватил бы ее за руки, за плечи. Фрак и выпущенная тугая рубашка исключали возможность резких жестов.

Дверь без стука отворилась. Вошла Елена Васильевна. Надя вспыхнула. Елена Васильевна смерила ее взглядом, но больше по привычке. Ей не хотелось расстраиваться, и все ее мысли были заняты балом. Она не заметила состояния мужа или сделала вид, будто не замечает.

— Здравствуйте, — сухо сказала она и обратилась к мужу: — Ну вот видишь, я не опоздала. Как всегда, не ты меня будешь ждать, а я тебя.

Надя вышла из кабинета. Она была очень взволнованна. И в первый раз в жизни ей показалось, что есть *во всем этом* что-то мелкое, очень мелкое, недостойное. Она сама не могла бы объяснить, что такое „все это“: ее отношения с Кангаровым, война на булавках с Еленой Васильевной, пошлый тон мыслей, разговоров, чувств, или вся ее жизнь в полпредстве. „Право, я стоила бы лучшего!“ — подумала она. У нее на глазах выступили слезы. „Да, пора домой! Надо жить иначе...“ Впоследствии Надежда Ивановна считала этот день чуть ли не важнейшим в своей жизни не только потому, что приняли ее рассказ. Ей внезапно еще неясно, еще очень смутно открылся новый взгляд на себя, на людей, на Россию, на смысл существования. Она убежала к себе, заперлась на ключ и долго ходила взад и вперед по своей секретарской комнате. Слезы бежали у нее по щекам.

XXVII.

В день бала у обер-гофмаршала было ненамного больше работы, чем в обычные дни: вековой механизм дворца действовал очень исправно. Обер-гофмаршал встал, как всегда, в одиннадцатом часу утра; проснувшись, полежал еще с четверть часа в своей нелепой, похожей на катафалк, огромной кровати с балдахином,

думая о разных предметах, в большинстве очень приятных: о предстоящем бале (к его собственному удивлению, придворные балы и теперь, на старости лет, еще доставляли ему удовольствие), о вчерашнем разговоре с юной, милой принцессой, всего больше о новом и лучшем сокровище своей коллекции марок: два дня тому назад, нарушив смету, значительно выйдя из бюджета, он, после мучительных колебаний, приобрел наконец Британскую Гвиану 1856 года, „black on magenta, the famous error“. Это было безумие. Однако он чувствовал, что без Британской Гвианы жизнь потеряет для него не всю прелесть, но значительную часть прелести.

В четверть двенадцатого он был готов. Обер-гофмаршал относился недоброжелательно к тем государственным людям, которые встают в пять часов утра или в пять утра ложатся. Многие министры, по их словам, работали восемнадцать часов в сутки. Обер-гофмаршал давно знал всех министров своей страны, знал очень многих иностранных, и, по его наблюдениям, ничего дурного с миром не произошло бы, если б они работали несколько меньше, „ну, хотя бы как Бисмарк, который вставал в двенадцать дня, позже меня“. Он думал также, что работать восемнадцать часов в сутки невозможно: соврать гораздо легче.

В его ведомстве, во всяком случае, восемнадцатичасовой рабочий день отнюдь не требовался. После утреннего завтрака обер-гофмаршал обошел свое хозяйство, убедился, что все его распоряжения выполнены точно, и отправился верхом на прогулку в парк. Катался он не менее часа, и вид этого красивого старого человека на кровной лошади действовал успокоительно на всех, даже на очень нервных прохожих, свидетельствуя о том, что в мире ничего тревожного не происходит. Завтракал обер-гофмаршал с королевской семьей, затем подвнялся к себе, отдохнув, поработал над какими-то докладами, написал страницу дневника. Марками он в этот день не занимался, но во время работы часто, всякий раз светлея, вспоминал о Британской Гвиане 1856 года, теперь наконец приобретенной.

Обедал он у себя в квартире, полагавшейся ему по должности в королевском дворце. У него был свой повар. Кухню короля обер-гофмаршал считал посредственной и, когда можно было, старался обедать дома. В четверть восьмого, немного раньше обычного, он надел смокинг, хотя обедал один и хотя тотчас после обеда нужно было снова переодеться. Во дворце ходил

о нем анекдот, будто он и больной, в постели, вечером надевает смокинг или фрак, чтобы принять лекарство. Обер-гофмаршал вышел в огромную гостиную, обставленную старинной мебелью, с большими портретами королей по стенам. Здесь все было историческое; около камина было даже совершено в XVII веке какое-то историческое убийство. Он сел в историческое кресло, медленными глотками выпил рюмку хереса 1878 года, поданного ему на тяжелом серебряном подносе великаном-лакеем, перешел в историческую столовую и сел за исторический стол, освещенный восковыми свечами в исторических канделябрах.

В отличие от старого принца обер-гофмаршал отнюдь не относился отрицательно ко всему современному. Но он прожил двадцать лет в этих покоях, почти не уступавших по великолепию парадным комнатам короля, и не считал ни нужным, ни возможным менять что бы то ни было в укладе жизни, установленном его предшественниками: каждому месту — свой стиль. Здесь ничего действительно и не менялось. Обед тоже был такой, какой веками подавали при его предшественниках, с расписным меню на французском языке, с множеством блюд, с четырьмя сортами вин определенной для каждого температуры.

Обер-гофмаршал не любил читать за столом, но пробежал заголовки вечерних газет: перед балом следовало знать последние новости. Он сразу потерял охоту к чтению остального. События были все либо грандиозные, либо обещавшие грандиозное в самом близком будущем и вследствие своей непрекращающейся грандиозности весьма утомительные. „Бог даст, на наш век все-таки хватит“, — неопределенно подумал обер-гофмаршал. „Да, при нас ничего такого, слава Богу, *не происходило*“, — сказал он себе в прошедшем времени. „Ну, что ж, надо сохранять что можно, все, что можно, пока можно. Это превосходный девиз: „*Je maintiendrai*“*.

Грустные мысли не помешали ему прекрасно пообедать. Есть без гостей было гораздо приятнее: гости аппетиту вредили. Закончив обед, он вернулся в гостиную и там еще посидел за кофе, выпил немного налитого в огромный стакан коньяку, лениво перебирая в памяти то некоторые подробности бала, то заголовки газет. Против его кресла висел на стене портрет короля, прославившегося жестокостью триста лет тому назад.

* „Я сохраняю“ (*фр.*).

„Разумеется, в любом номере любого исторического журнала можно найти материал, способный сравниться с нынешним. Все же, если сделать одну поправку на количество зверств, а другую на то, что нынешние господа своей строй считают передовым и просвещенным, а самих себя тем паче, — этот Свирепый ведь не считал, — то выводы окажутся никак не в их пользу. У нас Свирепые всегда были исключением, их рассматривали как фамильный скандал. Большинство королей походили на моего, и это довольно естественно: им о карьере приходилось заботиться гораздо меньше, чем нынешним господам, у них карьера создавалась рождением“.

Обер-гофмаршал занес эту мысль в память, чтобы записать в мемуары. У него была своя система запоминания. Записной книжки он не имел и самопишущим пером никогда в жизни не пользовался. Запоминал лишь одно или два слова. „Свирепый. Карьера...“ Он вспомнил, что на балу будет знаменитый французский писатель Луи Этьенн Вермандуа, которому устроено было приглашение с довольно серьезным нарушением порядка: на придворный бал не полагалось звать людей, до того ко двору не представленных. Однако для обер-гофмаршала в деле этикета не могло быть правил и прецедентов: он сам создавал правила и прецеденты. Обер-гофмаршал очень хотел познакомиться с Вермандуа и думал, что так, должно быть, Фридриха или Екатерину тянуло к Вольтеру. „Жаль, что нельзя ему прочесть мемуары. Говорят, он анархист, или коммунист, или что-то в этом роде. Позвать его на обед и прочесть несколько глав? Приятнее прочесть умному анархисту, чем глупым сановникам. Впрочем, ему было бы не интересно: он никого из нас не знает. Быть может, мемуары и вообще самообман: жизнь человека никому, кроме него самого, по-настоящему быть интересна не может...“ Эту мысль он тоже занес в память, для предисловия к мемуарам: „Самообман. Свирепый — карьера, самообман“.

Он взглянул на исторические часы и отправился одеваться. Надел свой пышный мундир, выделявшийся даже во дворце обилием золота. Без такого мундира и самая роль его была бы почти невыполнимой, как танец без музыки. Обер-гофмаршал несколько не тяготился тем, что ему приходилось менять костюм пять или шесть раз в сутки. Он даже любил это. Говорил дру-

зьям, что *все-таки* предпочитает одеваться, как Соломон, а не как птицы небесные.

Музыка заиграла марш. Двери зала распахнулись необыкновенно широко. Показались пажи. На некотором расстоянии за ними шел обер-гофмаршал. На лице его играла очень легкая улыбка, вернее, дробь улыбки, одна пятая часть полной: полная улыбка не отвечала бы обряду выхода, а совершенное ее отсутствие — праздничному настроению бала. Шел он очень торжественно и вместе с тем почти естественно. „Это настоящее искусство“, — подумал Вермандуа, стоявший в одном из длинных рядов приглашенных. Обер-гофмаршал как будто и не смотрел по сторонам, точно не имел никакого отношения к делу. Между тем он незаметно управлял обрядом, который без него не мог бы совершаться, как оркестр, несмотря на множество репетиций, не мог бы играть без дирижера. Он видел, что пажи идут в ногу, что гости выстроены довольно ровно, что темп марша взят правильный. Король и королева появились именно в ту секунду, когда это было нужно. Гости низко склонились. Тут, конечно, не могло быть полного однообразия движений, но поклон не нарушал красоты зрелища. Преодолевая застенчивость, ласково улыбаясь, приветливо наклоняя голову направо и налево, король пошел вперед. „Идут чуть быстрее, чем следует“, — подумал обер-гофмаршал, видевший и то, что происходило позади него, в еще далекой зеркальной стене, к которой они шли. Он чуть замедлил ход. Тотчас замедлили ход король и королева; расстояние между ними и обер-гофмаршалом сократилось разве лишь на фут.

Марш кончился как раз в ту секунду, когда пажи оказались у зеркальной стены, почти столкнувшись со своим изображением в зеркале. Король и королева повернулись. Музыка заиграла полонез. Ближайшей к королю дамой оказалась та жена посла, с которой ему полагалось открыть бал. Они пошли назад, за ними королева и иностранный принц. Другие пары втягивались, точно всасывались, в полонез не совсем так гладко; но обер-гофмаршал понимал, что при шестидесяти парах полонез лучше идти не может. Все шло превосходно. Впрочем, по долгому опыту он знал, что выходы, маневры, парады всегда удаются очень хорошо. Ему же самому казалось, что балы, дававшиеся в этом дворце лет сорок тому назад, были все-таки лучше. „Но тогда

состав был другой. Тогда действительно здесь бывало хорошее общество“, — подумал он, переходя к двери большой белой гостиной, где должно было происходить третье действие пьесы: *scène**. По пути знакомые или люди, считавшие себя его знакомыми (он и в лицо знал далеко не всех), пожимали ему руку, хвалили красоту зрелища, как говорят комплименты хозяйке дома: не говорить же королеве.

В белой гостиной сами собой оказались, вслед за королем, королевой и принцами, гости, имевшие право быть в *scène*. Обер-гофмаршал стоял слева от короля, отступив назад приблизительно на полфута, и на лице его играло уже три пятых полной улыбки: *scène* не требовал такой торжественной серьезности, как выход. Для верности он, не представляя, как бы случайно, вскользь называл имена тех людей, которых король, по его предположению, мог не помнить. Впрочем, король помнил всех: он обладал превосходной, наследственной и профессиональной памятью на лица и имена. Обер-гофмаршал был вообще очень королем доволен. В свое время он — тоже для мемуаров — выписал из Ренана фразу: „Il faut pardonner aux rois leur médiocrités: ils ne se sont pas choisis“#.

„Чем посредственнее король, тем лучше государству и тем больше его любят“, — этого своего примечания к Ренану он, конечно, в мемуары не вставил и немного жалел об этом. „Очень рад вас видеть, господин посол, — сказал король подходившему в очереди советскому полпреду Кангарову-Московскому, — надеюсь, вы себя хорошо чувствуете в нашей столице“. „Очень хорошо, Ваше Величество. Меня в ней приятно поражает...“ — начал было посол, но по сократившейся на одну пятую улыбке обер-гофмаршала понял, что надо проходить дальше. „Очень рада вас видеть. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?“ — довольно сухо спросила королева жену советского посла, склонившуюся в разумном перед зеркалом реверансе. „Но красных пятен у нее больше на лице нет: привыкла...“ — подумал о королеве обер-гофмаршал и с особым удовольствием вспомнил, что престарелый принц так-таки на бал не явился: „чтобы не встречаться черт знает с кем!..“ На лице обер-гофмаршала внезапно появились все пять пятых улыбки.

*Узкий круг (*фр.*).

#„Надо простить королям их посредственность: их не выбирают“ (*фр.*).

„Да, целое искусство, — подумал Вермандуа. — Конечно, искусство второстепенное вроде балета. Но для его создания тоже нужна была вековая культура. Танцовщиков учат годами, а у них ремесло, вероятно, в крови. Не репетировали же они выход?.. Музыка хороша, это „Турецкий марш“ Моцарта. Эмиль написал бы в своем романе: „Вена беззаботного моцартовского времени, Вена Бурга, менуэтов, маскарадов, шпаг, шелка и золота“. Они здесь подделываются под ту Вену. Забавно, что та Вена тоже под что-то подделывалась: под Стамбул, под Багдад, под „кривые сабли, гаремы, залитые солнцем висячие сады“, — отсюда и все эти „турецкие“ марши. Они так же, как мы, не могут быть вполне естественными и неизменно кому-то подражают, обычно подражали Версалю... Очень красивый марш...“ Вермандуа вспомнил то, что сам говорил в салоне графини о „Реквиеме“ Моцарта, и усмехнулся: „Вот и суди о художнике по его творениям! Творю „Реквием“, но творю и „Турецкий марш“. Заказали марш, он и написал. Так было всегда: искусство самого независимого, гордого художника подчиняется требованиям рынка. Если бы Расин написал бессмертную трагедию не в пяти, а в семнадцати действиях, то рынок не позволил бы поставить ее на сцене. Вагнер отлично подгонял свои оперы к часам, свободным вечером у его очаровательных соотечественников... Впрочем, тут не только заказ: Моцарт по четвергам верил в идеи „Реквиема“, а по пятницам — в идеи „Турецкого марша“. Это не мешает критике требовать от нас, чтобы в наших романах были „четкие, определенные, выдержанные образы“. И на того же Вагнера вековой вздор критиков действовал так сильно, что он наивно ввел для каждого героя „лейтмотив“. На самом деле, для одного меня, например, понадобилось бы сто семьдесят пять лейтмотивов, в зависимости от состояния моего здоровья, от того, как идет моя работа, от того, очень ли подействовал мне на нервы человек, только что со мной поговоривший... Даже самые общие, самые приблизительные из наших определений — например, „порядочный человек“ — почти не считаются ни с животной, ни с подсознательной основой, с тем физиологическим и душевным благоустройством, которое делает возможным порядочного человека. Но мы в эти подразделения верим, любим их и ненавидим с наивностью Давида, науськивавшего в псалмах Господа Бога на своих личных врагов...“

Секретарь французского посольства называл ему

наиболее важные пары полонеза. В большинстве фамилии были исторические, от школьных времен сохраняющиеся в памяти людей. Но были также имена, ни с какой историей не связанные. „Это жена советского посла, госпожа Кангарова-Московская“, — сказал с иронической улыбкой секретарь, показывая на даму, шедшую в шестой паре, в третьей после принцев крови. „Эта? Кангаров-Московский мой лучший друг, — неожиданно сказал Вермандуа, назло секретарю, почему-то его раздражавшему. — С кем она танцует? Чей это посол?“ Секретарь назвал весьма реакционную державу и с той же улыбкой пояснил: „Это одна из штучек обергофмаршала: он обожает устраивать такие пары“. „Должен сказать, что секретарша советского посла была лучше, чем его супруга. Ее здесь нет?“ „Я не знаю, кого вы имеете в виду“, — поспешно ответил секретарь и отошел: он рассчитывал попасть в белую гостиную. За дверьми исчезли также граф и графиня де Белланкомбр. В большой зале у Вермандуа больше знакомых не оставалось. В белую гостиную его не звали, и ему совестно было признать, что это немного его раздражает. „Старый дурак!..“

Музыка заиграла вальс. Направившись дальше наудачу, он оказался в длинной комнате, вдоль стен которой сверкали серебром белоснежные столы. У них уже собирались люди. Вермандуа выпил шампанского — оно, к его удивлению, оказалось превосходным. Старинное серебро, фарфор были хороши на загляденье. Он заглянул в следующую гостиную, примыкавшую к ярко освещенному зимнему саду. Здесь было не так жарко, и кресла в этой гостиной были гораздо удобнее, чем стулья танцевального зала. „Можно отдохнуть“. До выхода ему пришлось стоять довольно долго. В зимний сад и из зимнего сада проходили раззолоченные люди, молодые дамы в изумительных платьях. „Что ж отрицать, все это необыкновенно красиво... Почему-то они меня раздражают меньше, чем лакеи в чулках у того парижского банкира. Между тем разница велика только с точки зрения Поля Бурже, Эмиля и им подобных. У тех грабителями были отцы, у этих прадеды. Но это так... Право, во мне пропал монархист, притом довольно дешевый. Но еще не поздно примкнуть к лагерю роялистов...“

Его воображение заработало довольно приятно. „Можно было бы съездить к претенденту, вернуться и написать книгу: нечто вроде „Гения христианства“ мо-

нархической идеи. Это была бы сенсация на весь мир. В правых организациях стоял бы стон восторга: „Вермандуа наш!..“ Все простят и превознесут. Левые наговорят колкостей и оставят меня в покое. Это был бы способ „приобщиться к великому коллективному делу“, то есть, в сущности, то самое, ради чего я готов был вступить в коммунистическую партию. Надо, надо поглупеть и „приобщиться к делу освобождения человечества“. Освобождение кухарок можно подогнать и под монархические и под коммунистические убеждения, это просто вопрос изобретательности. Коммунизм, правда, несколько новее, но „ново только то, что забыто“, а у нас больше всего забыты монархи. „Историю нельзя повернуть вспять“, да? Это один из глупейших афоризмов всей политической литературы мира. Специалисты только и делают, что поворачивают историю кому куда угодно, и единственная философская заслуга Гитлера именно в этом и заключается: он первый вполне наглядно показал, что историю можно повернуть вспять на несколько столетий, можно даже уверить полмира, что вспять значит вперед. Консерваторы и реакционеры тем и ошибались, что называли себя консерваторами и реакционерами. Надо было утверждать, что они-то и есть самые передовые социалисты и демократы. Да что же тут отрицать? Гитлера привел к власти народ, его грубость, тупоумие, жестокость именно у народа им и взяты. Если мир теперь так хорош, то именно потому, что в самых многолюдных странах, в России, в Германии, впервые запахло народом, народом по-настоящему. В историю ворвался мясник, и в связи с этим теперь очень спешно по дешевой цене изготавливаются мистика, метафизика, философия. Все так называемые элиты так же спешно скрылись. Что ж, элита мысли никогда нигде у власти не стояла, не стоит и не будет стоять, — да при ней-то и было бы всего хуже, так как к черту пошло бы решительно все. А из многочисленных дешевеньких элит, пожалуй, „элита воспитания“ наименее плоха... Этот балет всерьез обеспечил надолго миру некоторый порядок и устойчивость“, — думал Вермандуа. Он знал, что к претенденту не поедет и к роялистам не примкнет, но больше не приписывал душевной болезни то, что менял взгляды по нескольку раз в день. „Да, „великие политические идеи“ все без исключения так незначительны, так общедоступны, так элементарны, что и разницы между ними большой быть не может. Доводы в защиту и в опровержение каждой из них

приблизительно равноценны, а их творцы и вожди все одинаково хотят ездить верхом на „ближних“, одинаково хотят славы, радостей жизни и денег... Да, средство против тоски и расстроенной нервной системы можно себе сделать из всего что угодно. Все может пригодиться как домашний „якорь спасения“... Наша тысячелетняя традиция... Сорок королей... Устойчивость власти... Вся история Франции... Благополучие английского народа... Процветание Скандинавских стран, — перебирал он в памяти то, что говорилось в защиту королевского строя. — По крайней мере, это красиво, красиво той красотой, какой при другом строе быть не может. Мысль? Конечно, они угнетали мысль. Но при Людовике XIV были Расин и Мольер, королевский строй не помешал появлению Декарта и Паскаля, — их у Сталина и у Гитлера не видно. Да, вполне возможно, что после демократии, большевизма, фашизма, расизма человечество еще потянет к *этой* мистике, и двадцатый век будет назван веком падения и возвращения королей. Они все уехали с обратным билетом...”

Подкрепившись шампанским и этими временными мыслями (он их называл то вагонными, то мыслями на сон грядущий), Вермандуа вернулся в большой зал. Там уже играли пятый или шестой вальс. Жена советского посла опять танцевала с посланником реакционной державы. Посланник, лысый коренастый человек с грозно-апоплексической шеей, любил танцы такой страстной любовью, какая могла бы быть естественной только у юноши или у старика, а в человеке средних лет была патологической. Сидевший в углу зала лейб-медик, в воображении с профессиональным любопытством раздевавший гостей, подумал даже, что этому гостю следовало бы тотчас уехать в Роя или в Наугейм и принимать йодистый калий. Посланник рассыпался в любезностях. Он надеялся найти в разговорах жены полпреда материал для частного письма своему министру, который был с ним в дружбе и обожал международные сплетни. Но, быть может, вопреки правилу, Елена Васильевна и поумнела от счастья: никакого материала посланник не нашел, за исключением французского языка, — у него получше, у нее похуже, — ее ответы были вполне на уровне его любезностей. „Право, очень мила“, — подумал посланник, почти механически произнося *мадригал*: он принадлежал к той школе, которая еще говорила мадригалы и чуть ли не сочиняла эпиграммы.

— Вы танцуете, как божественная Павлова, — сказал посланник и спохватился: „Кажется, Павлова была эмигрантка?“ — Все славяне имеют врожденный талант к танцам. Русский балет лучший в мире.

— Вы слишком любезны. Я действительно обожаю наш балет. В институте мы им бредили!

— В этой зале, — начал было посланник. „В каком же это институте она училась? В каком-нибудь тюремном, что ли?“ — спросил он себя, отвечая легкой улыбкой заговорщика на веселую улыбку обер-гофмаршала, который вел Вермандуа в белую гостиную. — Вы знаете, кто это? Это знаменитый французский писатель Вермандуа, автор... Я забыл, что он написал!..

— А я никогда и не знала! — столь же весело ответила Елена Васильевна. Она была счастлива почти до потери сознания. На этом королевском балу на ее долю выпал необычайный успех. Третий вальс она танцевала с молодым принцем, теперь лысый посланник был для нее рядовым, скорее мелким кавалером. Из любопытства ли, или из снобизма, или из желания обнаружить широту взглядов — политические отношения одно, светские отношения другое — с ней были особенно любезны самые консервативные и высокопоставленные люди. Еще никогда Елена Васильевна не была в таком победном настроении. Она сводила с ума молодых принцев, — „она х-ха-х-ха-ттала...“

Обряд представления продолжался очень недолго. „Разрешите представить Вашему Величеству месье Луи Этьенна Вермандуа, — сказал обер-гофмаршал и поспешил добавить: — Знаменитого автора романов, которые так нравятся вам, государь“. Ему было известно, что обычно, перед представлением выдающихся иностранцев, король заглядывает в справочные книги и очень этого стесняется. „Вдруг не успел? Не подумал бы, что это швейцарский миссионер или оперный композитор?“ Однако предосторожность была излишней: король произнес несколько вполне приличных слов. „Я надеюсь, что вы долго здесь пробудете“, — сказала королева. „Не находка, конечно, но ничего возразить нельзя“, — подумал обер-гофмаршал. Он поспешил закончить представление и увел Вермандуа.

— Король действительно ваш поклонник, — сказал он, садясь в кресло за столиком в другой гостиной. — Но Его Величество не решается говорить о литературе.

— Я был чрезвычайно польщен.

— Войдите в его положение, — сказал обер-гофмаршал и засмеялся. — В молодости я был секретарем посольства в Вене. Покойный Франц Иосиф в сегслéе без малого семьдесят лет задавал всем один и тот же вопрос: „Давно ли вы охотились, граф?“ „Как охота, господин посол?“ Даже в тех случаях, когда граф или посол отроду не брали ружья в руки. Если же посол представлял императора или какого-нибудь очень хорошего короля, старик еще спрашивал о здоровье Его Величества. Но ничего другого император никому не говорил. Я помню, какой переполох произошел в Бурге, когда он вдруг кому-то сказал что-то другое. Это было настоящее смятение.

Он, смеясь, взял с поданного лакеем подноса бокал, отпил шампанского и подумал, что совершает нечто вроде классового предательства, говоря так о монархе с этим человеком без рода и племени.

— Да, нравы изменились, — сказал Вермандуа, прислушиваясь к звукам нового вальса. — Лорд Байрон, сокрушавший все основы социального порядка, признал появившийся тогда вальс совершенно непристойным и недопустимым танцем.

— Неужели? Я этого не знал. — Обер-гофмаршал подумал, что это сообщение могло бы очень пригодиться для мемуаров. Он заговорил о Париже, в котором часто бывал, о разных знаменитых людях, которых знал лично. Среди них были и писатели, но упоминание о них, по-видимому, не вызвало восторга у французского гостя. „Кажется, литературные знаменитости еще меньше любят друг друга, чем знаменитости политические“, — подумал обер-гофмаршал и перевел разговор на политические темы. Они поговорили о прениях во французском парламенте, оба собеседника рассказали по анекдоту, коснулись осторожно Сталина и после еще нескольких чуть шатавшихся фраз перешли на испанскую войну. Хотя оба показали себя causeur'ами, им уже было трудновато, как совершенно чужим друг другу людям, вынужденным поддерживать разговор. Обер-гофмаршал, проявляя либерализм и беспристрастие, говорил, что обе стороны своей жестокостью поколебали его мнение о рыцарстве испанского народа.

— Впрочем, их величайший писатель, Лопе де Вега, председательствовал на церемониях аутодафе, — сказал обер-гофмаршал. — Быть может, жестокость в крови южных народов. Возможно, впрочем, и то, что газеты преувеличивают.

— Может быть, газеты и не преувеличивают. История учит тому, что надо относиться в высшей степени доверчиво ко всем рассказам о жестокостях и зверствах. Напротив, рыцарство и доброта должны были поражать наше воображение, — сказал Вермандуа, взявший почти по случайности начальную мизантропическую ноту; теперь с нее нужно было продолжать, хотя во дворце, в первом разговоре с еле знакомым сановником, это было не очень уместно. Обер-гофмаршал изобразил на лице подобающую скорбь. В его уме скользнуло несколько подобающих ответов: „История учит тому, что она ничему не учит“ („слишком книжно, неудобно для дальнейшего“), „я знаю, вы сторонник Шопенгауэра“ („я вовсе не знаю этого: может быть, он не сторонник Шопенгауэра“), „действительно, события наших дней дают некоторые основания для пессимизма, но незначим сгущать краски“. Язык его как-то сам сделал выбор по законам, едва ли укладываемым в учение о причинности:

— Действительно, события дают основания для пессимизма, но, может быть, не следует сгущать краски. Мы воспитались на традициях рыцарской войны.

— Надеюсь, вы не требуете, чтобы испанские республиканцы кричали воинам генерала Франко: „Messieurs les fascistes, tirez les premiers“**?

— Не требую, но хотел бы возвращения к эпохе битвы при Фонтенуа, — ответил обер-гофмаршал, смеясь и уточняя цитату („цитата общеизвестная, но он, вероятно, не приписывает обер-гофмаршалам и минимального общеобразовательного ценза“).

— Вы желаете невозможного: возвращения к тому, чего не было. Граф д'Отрош никогда не кричал лорду Чарльзу Гею: „Господа англичане, стреляйте первые!“ И лорд Чарльз Гей никогда не кричал графу д'Отрошу: „Господа французы, стреляйте первые!“ Но, по-видимому, инстинкт и камертон вранья были у них совершенно тождественны, так как они, не сговариваясь, изобрели одну и ту же фразу... Битва под Фонтенуа была одной из самых зверских боен в истории. Ни о чем в мире, даже о большевиках, не врут так, как о войне и о солдатской доблести. И тот талантливейший немецко-еврейский поэт, который трогательно изобразил, как из плена возвращаются во Францию два гренадера, конечно, ни одного гренадера в жизни не видел и чрезвычай-

* „Господа фашисты, стреляйте первые“ (фр.).

но мало гренадерами интересовался. Этот поэт и его наивные единомышленники верили, что войны устраиваются тиранами. Да, войны устраиваются тиранами, за исключением тех войн, которые устраиваются не тиранами. Люди XVIII и XIX веков были наивно убеждены, что народные массы миролюбивы. К сожалению, это не так. Не то беда, что рядовой крестьянин, рабочий или лавочник — дурак. Беда в том, что он драчливый дурак.

— Однако все познается в сравнении, — ответил, скорбно качая головой, обер-гофмаршал („Я с вами согласен, но, ради Бога, тише! Во дворце столько демократов!“ — слишком шутливо... — „все познается в сравнении“). — Я не думаю, чтобы все было чудесно в Афинах Перикла, но это были Афины Перикла („отлично“). Французский народ устами своих великих мыслителей провозгласил иные идеалы („хуже“)...

— Нет, народ не провозглашал. Мыслители провозгласили сами по себе. Иные идеалы. У фашистов и у коммунистов идеалы хуже наших („И у коммунистов хуже? Кто же он такой?“ — с недоумением спросил себя обер-гофмаршал), но у них идеалы прагматические: у первых они подогнаны к войне, у вторых к революции. Наши ни к чему не подогнаны. Пока не было ни коммунистов, ни фашистов, история несколько десятилетний кое-как куда-то плелась, как старая кляча, — и слава Богу! Теперь кляча вдруг заскакала, и я с ужасом жду результатов. Вероятно, наш еще относительно молодой двадцатый век окажется гнуснейшим веком в истории: этот юноша уже оправдал самые блестящие надежды. У него только одна хорошая черта: откровенность и полная наглядность. Так, величайший из его живописцев, изобразив бутылку вина, еще написал на ней огромными буквами: „вино“. Чтобы не было никаких сомнений.

Он неожиданно испытал то же чувство, которое только что испытывал обер-гофмаршал: сознание допущенного предательства. Но это ощущение неловкости тотчас было подавлено многолетней привычкой: его приглашали для того, чтобы его слушать, — и он не мог не говорить, как не может не петь на вечере оплаченный хозяином тенор. Говорить же просто, без цитат и афоризмов, ему было труднее, чем говорить с цитатами и афоризмами. „Да, дешево. Это и есть тяжкое испытание светским общением, шуточками, болтовней, которого без ущерба никто выдержать не может...“

— По поводу юноши, — сказал обер-гофмаршал. — Я как раз сегодня прочел в „Фигаро“ о казни того молодого человека, который был вашим секретарем и совершил это ужасное убийство. Я следил за этим странным делом и не могу...

— Разве он казнен? — вскрикнул Вермандуа. Обер-гофмаршал, не привыкший к тому, чтобы его перебивали, высоко поднял брови.

— Вы не знали? Я вижу, что вы не читаете газет. Кажется, Гёте и Толстой тоже их не читали? — Он поднялся навстречу иностранному принцу, вышедшему из белой гостиной. — Я страшно был рад, что мог побеседовать с вами, — сказал обер-гофмаршал, впрочем, улыбаясь уже больше в сторону принца.

„Да, всех этих господ со временем перевешают, — думал Вермандуа, с ненавистью глядя на проходивших мимо него раззолоченных людей. — Пусть пока погуляют! Так, в старину индюшек сначала кормили орехами, чтобы стали жирнее, а потом их резали, и даже очень скоро. — Он не без удовольствия перешел из монархической веры в большевистскую. — Да, это общество обречено на гибель. Того несчастного безумца казнили, а вот этот гуляет на свободе“. Он уставился в толстого человека, стоявшего у буфетного стола, и тут же, по какому-то смутному воспоминанию о своей поездке в Версаль на процесс Альвера, решил, что этот неизвестный ему человек — банкир, не пойманный вор. Почему-то удобнее было его считать банкиром, чем герцогом или графом. „А может быть, он и титул себе купил... Однако виселица в конце карьеры этого господина тоже была бы признаком существования в мире разумной управляющей силы, того, что в старину называлось мировым разумом, божественным разумом. Микеланджело пытался представить себе эту силу в виде летящего бородатого старичка — и какой туповатый и злой старичок у него получился!.. Но признать разумную правящую силу в мире для меня именно и означает отказаться от разума, от того единственного, что в мире ценно и для чего миру стоит существовать... Все, все они погибнут, и в большинстве не с оружием в руках, а пассивно, бессмысленно, как погибает во время пожара запертый в хлеву скот“. Он увидел вдали Кангарова-Московского и, столь же неожиданно переходя из большевистской веры к революционно-демократической, подумал, что не мешало бы повесить и советского пос-

ла. „Он чекист или получекист. И во всей их революции была разве одна доля идеализма на девяносто девять долей властолюбия, честолюбия, зверства. Революция была для них всех карьерой, очень недурной карьерой. Он говорил мне, что, как Ленин, прожил долгие годы в эмиграции, то есть в полной безопасности, писал статьи. Где же еще, кроме революционного мира, человек мог стать генералом тридцати лет от роду и не имея ничего за душой?.. Так что же? Так что же? „Святые“ с их внутренним совершенствованием? Как им, должно быть, было скучно: усовершенствовался... еще усовершенствовался... а потом, окончательно усовершенствовавшись, умер... Да, старость подкралась (именно подкралась!) так грубо, так безжалостно! И всю эту красоту я вижу в последний раз в жизни...“

Он вспомнил, что антрепренер отказался устроить ему поездку с лекциями. „Да („все это бессмысленное „да“ — без возражений!“), расход превышает доход, до конца дней придется писать статьи и брать авансы у издателей. А если болезнь? Если потеря работоспособности?.. Конечно, очень утешительно, что Бетховен и Рембрандт были бедняками. Идиоты (разумеется, богатые идиоты) говорят, что это было полезно их творчеству: „денежная палка“, „горький жизненный опыт“ и т.д. Надо было бы спросить об этом самих Рембрандта и Бетховена... Сезанн, мечтавший о грандиозных сюжетных картинах, писал так, как писал, отчасти потому, что сэкономил деньги на краски и даже на полотно... Что ж, я своей независимости не продавал, не давал даже своего имени для рекламы перьям и винам, это ведь теперь делают все. Я шел по *честной* дороге искусства, не по нынешней большой его дороге“, — бес­связно думал Вермандуа с легким умилением над собой, вообще мало ему свойственным. „Да, это очень, очень красиво, я в жизни видел мало столь красивых зрелищ...“ Перед ним вдруг появилась гильотина, худой бледный полоумный человек, окровавленная голова — бессознательное писательское усилие помогло этому видению. „Ох, как прочно в нас засели Шекспир и кинематограф!.. Да, начало конца“, — говорил себе Вермандуа, глядя на подходившего к нему советского посла. „Что это с ним сегодня такое? Он похож на льва, на льва фирмы „Голдвин-Майер“...“

В двенадцатом часу ночи король снова появился в большом зале. Он был утомлен, но самое тяжелое —

выход, полонез и серсе — уже оставалось позади. Чтобы не стеснять гостей, король тотчас сел в кресло у стены и с усталой, благожелательной, вполне королевской улыбкой смотрел на танцующих. Теперь и он мог иметь некоторое, хоть очень небольшое, удовольствие от своего бала.

Обер-гофмаршал, сидевший слева чуть позади королевского кресла, как будто занимал короля беседой. В действительности беседы почти не было. Обер-гофмаршал понимал, что король говорил в этот вечер достаточно и что ему всего приятнее отдохнуть и помолчать: разговор с многими десятками самых разных людей был утомительнее всех его занятий. Поэтому обер-гофмаршал лишь изредка, чуть наклонившись вперед и направо, произносил несколько не требовавших ответа слов. Но вид его, сияющая улыбка, поза в каждый момент, кто бы ни посмотрел, создавали впечатление, будто между королем и обер-гофмаршалом ведется интереснейшая и приятнейшая беседа, именно сейчас прервавшаяся на одно мгновение.

Обер-гофмаршал был очень доволен. Он в этот вечер имел две интересные встречи: одну с Вермандуа, другую с иностранным принцем, рассказавшим забавный анекдот (вполне *inédit**) об Эдуарде VII, очень пригодный для мемуаров (мнемонический прием: „Карлсбад“). С дополнением о жене советского посла, флиртующей с посланником реакционной державы, мемуары могли считаться подвинувшимися страниц на пять или шесть. Было, однако, и что-то неприятное. „Те сообщения газет... Опасность всему этому“, — вспомнил он и чуть было не поморщился (по-настоящему поморщиться на придворном балу, на виду у тысячи людей, обер-гофмаршал не мог).

К креслу короля, вальсируя, приближалась парастатный, огромного роста, капитан гвардейского полка, маленькая барышня, дочь одного из друзей обер-гофмаршала. Ему было известно, что они страстно влюблены друг в друга и скоро станут женихом и невестой. Принадлежали они к одному и тому же богатому титулованному кругу. „Очень хороши оба, на заказ не придумаешь лучше. Она просто прелестна, — подумал обер-гофмаршал, — наша порода не так плоха...“ Пара, кружась, прошла мимо короля. Барышня и не видела, что тут сидит король. Но офицер, как ни был поглощен

*Здесь: свежий (*фр.*).

безмолвным разговором с ней, это видел, и легкое, мало заметное изменение в его движениях, даже в выражении его лица показывало, что перед этим креслом у стены он проходит не так, как перед другими. Король, тоже знавший секрет, ласково улыбнулся барышне. Она не заметила королевской улыбки. Он обернулся к обер-гофмаршалу. „Вам завидно, я знаю“, — шутливо сказал король. Обер-гофмаршал, провожавший барышню взглядом, еще больше просиял улыбкой. „Каждому возрасту свое, государь“, — сказал он, не слишком утруждая себя в разговорах с королем заботой о тонкости замечаний.

В его поле зрения попал советский посол, выделявшийся своим фраком в этом множестве раззолоченных мундиров. Вид Кангарова-Московского опять было вызвал из подсознания обер-гофмаршала грустные мысли. „Пустяки, пустяки“, — возразил себе он бодро. Обер-гофмаршал обвел взглядом великолепный зал, сиявший огнями, золотом, бриллиантами, и снова увидел молодую пару. „Нет, наша порода еще за себя постоит. Мы не Вермандуа, мы покрепче. На наш век хватит. Может быть, и на три века!“ И вдруг в воображении обер-гофмаршала, согревая его душу, радостно озаряя жизнь, мира со злом, украшая добро, во всем своем блеске, во всей божественной красоте всплыла Британская Гвиана 1856 года, „Black on Magenta, the famous eгг“.

Кангаров сидел за столиком с Вермандуа*. Он уже сказал все, что полагалось для начала беседы: о Париже, об общих знакомых, о чтении, но к главной теме так и не подошел. Он все еще переживал удар, неожиданно на него обрушившийся. После короткого разговора с королем взял в буфете разные спиртные напитки, пошел в зимний сад, потом вернулся. „Да, без сомнения, все идет к концу!“ Мысли Кангарова распались на части, как если бы он был в бреде или видел сон. „Я чувствую, что это ее окончательное решение! В ее глазах была ненависть, настоящая ненависть. А если так, зачем мне жить дальше? Для развода больше не осталось причины. Стерва не даст согласия на развод, а без ее согласия его получить будет трудно. И для чего мне теперь хлопотать об этом?“ Знакомые, с которыми он

*Заключительные страницы романа на русском языке не печатались, даются в обратном переводе с английского. *Перевод А.А. Чернышева.*

обменивался рукопожатиями и несколькими словами, глядели на него с удивлением и отступали в сторону — сейчас они очень спешили. Он продолжал пить вино, шампанское и коньяк, переходя от столика к столику, стараясь не привлекать внимания официантов.

Кангаров попытался собрать мысли воедино. „Что еще остается у меня в жизни? Партия?..“ Этим вечером ему, как Наде, стали открываться странные и неожиданные вещи. Впервые он обнаружил, что партия для него ничего не значит, что он никогда не служил партии, а вместо этого, подобно большинству, делал с ее помощью карьеру и скрывал это даже от самого себя, прятался за видимость идеологии. Но даже такое открытие теперь стало неважным. Он совершенно утратил интерес к служебным делам. „Что мне теперь остается? Тянуть ляжку до конца дней...“ Вдруг он увидел Вермандуа. „Мне надо с ним о чем-то поговорить. Ах да, директива... Сейчас ее можно выполнить...“ Из-за своего психического состояния он подошел к задаче грубее, чем должен был бы или чем поступил бы в другое время. Кангаров сообщил Вермандуа, что Государственное Издательство собирается выпустить его книги на русском языке, и не отдельные из них, а собрание сочинений.

— Прекрасная мысль, — сказал Вермандуа, улыбаясь, глядя на посла с приятным изумлением. — Некоторые мои произведения были изданы в России при старом режиме, но далеко не все. К несчастью, я ничего не получил за перевод — Россия не подписала Бернскую конвенцию.

— Наше правительство тоже к ней не присоединилось, — ответил кратко Кангаров. — Но мы делаем исключения для друзей Советского Союза. Им мы платим в валюте, долларами. Такие исключения мы делаем только для наших настоящих друзей.

— Правда? — переспросил Вермандуа. В первый момент слова посла привели его в восторг. Быть может, сама судьба вознаграждает его за неудачу, за отказ антрепренера от намеченной поездки? „Судьба действительно делает мне подарок. И без лекций, без турне, без идиотских выступлений. Как чудесно!“ Но услышав дважды про „друзей“, он насторожился.

„Ничто мне не доставит большей радости. Вы знаете мою старую привязанность к России и всему русскому...“ — начал Вермандуа. Кангаров перебил его: „Между прочим, дорогой друг, именно сейчас вы можете

оказать настоящую услугу Советскому Союзу“. В другое время инстинкт помог бы послу найти выход из положения. Но сейчас ему было все безразлично. „Его можно купить как любого ублюдка. Все они одинаковые...“ Без долгих предисловий, без дипломатических уверток, без ловкости, за которую его не без оснований хвалил секретарь, Кангаров сообщил, какую телеграмму Вермандуа должен отправить в Москву. „Да, решение ее окончательное! Она уезжает... Она уезжает... — думал он, продолжая говорить, не глядя на француза. — Она выйдет замуж за курного сверстника. Это конец. А без нее зачем мне жизнь?“ Вдруг, подняв глаза, он увидел, что лицо Вермандуа побагровело. „Сказал что-нибудь, чего не следовало говорить? — спросил он себя. — Я знаю, что делаю грязное дело, но это не моя вина. Ведь я неплохой, никогда не проливал крови, ненавижу жестокость, но жизнь так жестока ко мне, так ужасна...“

— Значит, вы собираетесь напечатать мое собрание сочинений, если я пошлю телеграмму этим?.. — спросил Вермандуа. Кровь продолжала приливать к его лицу. Им овладела ярость. Он чувствовал, что нанесено оскорбление не только ему — в его лице всей свободной мысли. Тени Декарта, Паскаля, Монтеня, Бетховена, казалось, окружили его, ожидая его ответа.

— Вы неправильно поняли меня. Мы обсуждаем две отдельные, не имеющие между собой ничего общего темы. Издание ваших книг — одна, а телеграмма — другая, — Кангаров начал, но не закончил. Вермандуа тяжело поднялся на ноги. („Да, конечно, я ненавижу Гитлера сильнее, чем коммунистов. Но если защищать свободу и человеческое достоинство, то защищать надо честно: от всех тиранов, от всех взяточдателей...“)

— Дерьмо!.. — проговорил он. Его лицо дергалось. Те, кто его слышал, сразу же вскидывали в его сторону взгляд. Кангаров тоже покраснел. Он ничем не мог ответить. Дрожащий от ярости Вермандуа повторял то же слово, одно-единственное слово „merde“. Слово, которого в королевском дворце никогда не слышали стены за все столетия его существования.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



Десятая симфония

ОТ АВТОРА

(Предисловие к книге „Десятая симфония“ —
„Азеф“*)

В одной из дальних комнат Лувра, за отделом мебели, висят картины Изабе. Небольшая продолговатая комната со стенами, выкрашенными желто-коричневой краской, серенькая с золотым ободком дверь не в пять раз (как двери в парадных залах), а только раза в два выше человеческого роста. Единственное окно завешено. В комнате почти всегда полутемно; нелегко разглядеть как следует эти небольшие картины в старых золоченых, черных, коричневых рамках. На маленьком старинном столе, под стеклом, на выцветшем зеленом бархате — миниатюры. Все это собрано и завещано Лувру дочерью Изабе; она покончила с собой лет пятьдесят тому назад.

Эти чудесные миниатюры, по-моему, еще не оценены по достоинству. Ничто, кажется, не связывает их между собой, а в них целая эпоха: истинный клад для историка и романиста. Они дают нам то, чего не дали огромные полотна Гро или Давида.

Изабе в юности знал людей, которые помнили Людовика XIV. Автор этих страниц раз в жизни видел императрицу Евгению, лично знавшую Изабе. Волнующая связь времен в своей слитности непостижима, — это, быть может, довод в пользу отрывочного, миниатюрного искусства.

„Десятая симфония“, конечно, никак не исторический роман и не роман вообще. По замыслу автора, она близка к тому, что в восемнадцатом

*Очерк М. А. Алдапова „Азеф“ помещен в кн. 1 настоящего Собрания сочинений. — Прим. ред.

веке называлось философской повестью, а правильнее было бы называть повестью символической. Основной символ достаточно ясен: „И вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба“. Боюсь, основной символ высказан слишком грубо, а неосновные — слишком незаметно. Но об этом судить читателю. Во всяком случае, по идее в небольшой книге этой все связано; неоднородность двух ее частей объясняется тем, что я не чувствовал себя способным писать об Азёфе в беллетристической форме.

Сергею Васильевичу Разманкину
E l'onor di quell'arte
Ch'alluminare è chiamata in Parisi*

Данте

Полицейский офицер поспешно вышел из караульни. У городской заставы остановились тяжелые раззолоченные кареты. По виду поезда офицер понял, что приехали важные люди, скорее всего одна из тех делегаций, которые теперь со всех концов Европы стекались в Вену на конгресс. „Верно, французы“, — подумал он. Кареты были такие, в каких ездили во Франции: с низкими козлами, с небольшими передними колесами, с погребцом внизу. Лакей в сером балахоне соскочил с козел последнего экипажа, отбросил подножку и открыл дверцы. Появился молодой человек со скучающим выражением на усталом, запыленном лице, с плохо приглаженными, видимо, только что напудренными волосами. Он огляделся по сторонам, ткнул в землю длинной модной тростью, точно пробуя, тверда ли почва под ногами, и вышел из кареты, взявшись за ручку двери. „Верно, чиновник при делегации или секретарь“, — решил, ускоряя шаги, полицейский офицер. Молодой человек зевнул, сбил тростью прилипший к подножке сухой комок грязи и, достав из кармана бумагу, несколько раздраженно уставился глазами на подходившего офицера.

— *La délégation française**, — строго сказал секретарь. Полицейский офицер знал по-французски. Он отдал честь и, взяв протянутую ему подорожную, предложил секретарю не дожидаться записи.

— Через час бумаги вам будут доставлены на дом, — сказал он. — Ведь вы изволите жить во дворце князя Кауниц?

*Честь того искусства (оформления книги), которое называют „расцветиванием“ в Париже (*итал.*).

*Французская делегация (*фр.*).

Секретарь, не отвечая, шурясь от яркого солнечного света, вглядывался в подъезжавший новый экипаж. Господин средних лет, с умным, очень приятным, оживленным лицом, перегнувшись через открытое окно кареты, еще издали что-то кричал, весело кивая головой.

— Ах это вы, месье Изабе? — снисходительно-любезно сказал секретарь. — Как спали?

— Великолепно. Еще бы, после вчерашнего ужина!.. А вы?

— Не сомкнул глаз, — ответил молодой человек мрачно. — Да, мы будем жить в отеле „Кауниц“, — сказал он офицеру. — Не все, конечно, но бумаги, пожалуйста, отправьте туда для всех...

— Очень трудно теперь достать у нас помещение, — сказал с улыбкой офицер, которому приказано было проявлять особенное внимание к приезжающим делегатам. — Город совершенно переполнен... Ведь князь уже изволил прибыть, — добавил офицер, показывая, что ему известно, какой знаменитый человек стоит во главе французской делегации.

— Да, бóльшая часть делегации во главе с князем Талейраном приехала раньше... Мы последние, — благосклонно ответил молодой человек. — Так через час вы мне доставите подорожную? — спросил он, протягивая руку офицеру.

— Вы можете быть совершенно спокойны. Имею честь кланяться...

— До свидания, месье Изабе, — садясь в карету, сказал секретарь. — Ведь вы теперь к себе? Значит, за обедом увидимся... Князь всегда обедает в пять часов.

— Отлично! Я тоже, — весело ответил месье Изабе.

Лакей махнул рукой кучеру первой кареты. Офицер отдал честь. Месье Изабе поправил подушки на сиденье, подвинул подставку для ног и устроился поудобнее у окна. Несмотря на ранний час, предместье Вены было оживленно. Лавки открывались, из домов выходили люди и с любопытством смотрели на медленно катившиеся кареты. „Русские...“ „Нет, англичане“, — говорили в толпе. Месье Изабе приветливо улыбался. Он был в Вене четыре года тому назад и сохранил о ней самые приятные воспоминания. Теперь, в свежее солнечное утро, она понравилась ему еще больше. „Прекрасный, прекрасный город, и народ очень хороший... Совсем не надо было императору с ними воевать... Бедный император!.. Впрочем, что ж? Он жил для славы, а славы у

него и теперь достаточно, — думал месье Изабе, ласково улыбаясь проходившей девушке в коротеньком белом платье, в розовых башмачках, в золотом кружевном чепчике. — Это, кажется, их национальный убор... Очень мило... И нет ничего лучше на свете, чем этот милый, прелестный румянец на ее щечках... Как жаль, что вместо нее придется писать разных злых, хитрых, тщеславных старичков, у которых единственная радость на земле — отравлять жизнь друг другу. Что такое он говорит?.. Куда ехать?..“

Кучер, обернувшись с козел, о чем-то его спрашивал. Месье Изабе был убежден, что немного — не очень хорошо, правда, — владеет немецким языком. Он еще до заставы объяснил кучеру, куда надо ехать: в предместье Леопольсгат, за каналом Доно: месье Изабе знал, что на этом забавном языке Даяуб называется Доно*. „Бестолковый человек“, — подумал месье Изабе и хотел было рассердиться, но красное морщинистое лицо старика-кучера было приятно и благодушно, он, видимо, старался угодить иностранному гостю, и, главное, солнечное утро было так хорошо, что месье Изабе рассердиться не удалось. После новых объяснений кучер, наконец, понял.

У канала месье Изабе приказал своему лакею слезть с козел и занять место на запятках кареты: так приличнее было явиться в новый дом. Квартира для месье Изабе уже была приготовлена друзьями, но еще не снята твердо: он предварительно сам должен был взглянуть, подходят ли комнаты и хорошо ли падает свет. В этом положиться на других людей было невозможно.

Кучер, откинувшись назад, затягивал вожжи. Карета спускалась к мосту. „Razumovski Brücke“*, — сказал кучер. Месье Изабе разобрал имя и вспомнил, что русский граф, владелец самого великолепного дворца в Вене, выстроил на свой счет мост, — так ему удобнее было возвращаться домой с Пратера. „Любезный старик и очень умный, — подумал месье Изабе, в прошлый свой приезд побывавший у графа Разумовского. — А дворец какой, какие произведения искусства!.. И, удивительнее всего, он очень недурно знает толк в картинах. Как это его называли здесь, в Вене?.. Ах, да...“

*Название реки Дуная на фр. и нем. яз. — *Прим ред.*

*„Мост Разумовского“ (нем.).

— Erzherzog Andreas?* — с улыбкой спросил он кучера, показывая рукой на мост. Кучер радостно засмеялся, кивая утвердительно головой: своим поступком граф Андрей Разумовский надолго поразил воображение венцев.

У ворот, где остановился экипаж, произошло радостное смятение. Девочка, сидевшая у ворот, побежала наверх, и, еще прежде, чем месье Изабе успел взойти на крыльцо, к нему вышла хозяйка дома, величественного вида пожилая дама в желтом шелковом, расшитом цветами платье. Она еще на лестнице стала приветливо улыбаться, а на крыльце сказала знаменитому гостю французское приветствие, видимо, старательно подготовленное и выученное наизусть. Месье Изабе так расчувствовался, что поцеловал хозяйке руку, с серьезным риском навсегда потерять ее уважение.

Они пошли наверх по широкой лестнице, не крутой и выстланной вполне приличным мягким ковром. Вопрос о входе имел немалое значение для месье Изабе: к нему в мастерскую должны были приезжать очень высокопоставленные люди. Вполне прилична была и передняя. За ней оказалась громадная, залитая светом комната. Месье Изабе чуть не ахнул от радости: о таком освещении он мечтал всю жизнь. Он тут же, не заглядывая в другие комнаты, объявил хозяйке, что берет квартиру, и даже не торговался, хотя цена была жестокая. Хозяйка, фрау Пульвермахер, все-таки добавила, что в другом месте с него взяли бы больше: в гостинице „Zum Römischen Kaiser“⁴ самая дешевая комната стоит двадцать гульденов в сутки, и то ни одной свободной уже нет.

— Да, я согласен, — повторил месье Изабе.

Фрау Пульвермахер кивнула головой; ей, видимо, нравился новый жилец. Она объяснила, что ее покойный муж был архитектором, затем повела жильца по квартире, везде открывая настежь двери, очевидно, показывая, что все без обмана: месье Иссапе останется доволен — имя жильца она произносила с двумя ударениями, на первом и на последнем слоге. Обмана, действительно, не было ни в чем. В спальне все тоже было очень хорошо: и огромная с перинной постелью, и шкафы, и рукомошник, заставленный мисками, кувшинами, флаконами. Лакей месье Изабе, тяжело ступая по

* — Эрцгерцог Андреас? (нем.)

⁴ „У римского цезаря“ (нем.).

лестнице, нес сундуки, чемоданы. Ему помогала горничная, могучая, краснолицая, с огромным бюстом женщина. „Sei gelobt Jesus Christus“*, — хриплым голосом сказала она, войдя в комнату. „Господи, какой Рубенс!“ — подумал почти умиленно месье Изабе. Принесли цинковую ванну, напоминавшую по форме башмак; при некоторой ловкости в нее можно было сесть. Из ванны шел пар. Месье Изабе с улыбкой смотрел на ванну — этот предмет и в Париже встречался нечасто; однако сесть в башмак не решился.

Умывшись и выбрившись, месье Изабе с помощью лакея начал устраиваться: вынул костюмы, все по последней моде, с узкой талией, с шелковыми пуговицами, вынул шляпы, белье, парики, кисеты, pistols, компас, карту и множество разных других вещей. Все у него было превосходное; у месье Изабе была слабость к очень дорогим вещам. Затем он приказал лакею раскрыть большой, туго перевязанный веревками ящик: там у него хранились начатые или уже готовые картины, которые он привез с собою, чтобы украсить ими мастерскую.

В шелковом халате темно-красного цвета с кистями он вернулся в большую комнату. На столе, вокруг букета цветов, стояли кофейник, масло, крошечные круглые булочки, ветчина, мед, варенье, графин с жидкостью необыкновенно приятного вида, окруженный тяжелыми серебряными рюмками. „Нет, право, она славная женщина... Вот только то желтое платье с розами, ах ты, Боже мой! — подумал месье Изабе, по указаниям которого со слепой и восторженной покорностью одевались самые красивые женщины Парижа. — И вот этого фарфорового мопса надо сейчас же разбить, а кусочки выкинуть куда-нибудь подальше“. Он даже вздохнул при мысли, что могут существовать люди, которым нравятся такие вещи.

Месье Изабе выпил чашку кофе, съел булочку с маслом и ветчиной, съел булочку с маслом и медом, попробовал, что было в графине — оказалось недурное токайское вино, — и, налив себе вторую чашку (кофе был очень крепкий и вкусный), в самом лучшем настроении духа подошел к среднему окну комнаты. Из мастерской открывался вид на реку. По мосту, разделен-

* „Слава Иисусу Христу“ (нем.).

ному на четыре прохода для экипажей и пешеходов, катились на Пратер кареты. Лодки плыли по реке. Дети играли на лестницах, криво спускавшихся к самой воде. Улица загибалась слева куда-то в сторону; над неровными домами виднелась вдали готическая стрелка. „Господи, как хорошо!“, — подумал месье Изабе. Из соседней комнаты доносились удары молотка, треск отдираемых досок: лакей открывал ящик с картинами. „Вот, вот главное, — радостно подумал месье Изабе, вспомнив то, что было в ящике. — Надо работать и работать“. От солнца, от свежего ветра, от крепкого кофе он почувствовал необыкновенный прилив энергии и, оторвавшись от окна, тотчас взялся за дело.

Через час все было готово, мопс и пестрые занавесочки удалены, стены задрапированы привезенными из Парижа тканями, картины повешены, мольберты поставлены. К стене месье Изабе придвинул большой стол и на шелковом покрывале разложил миниатюры. Преобладали табакерки, квадратные, круглые, овальные. Посредине находилась шкатулка с главным сокровищем коллекции: на крышке маленькой круглой табакерки, на крошечной пластинке слоновой кости, обведенной двойным ободком из золота и небольших жемчужин, был написан портрет римского короля: прелестный ребенок с блестящими глазами. „Да, этого никто другой сделать не мог бы“, — с гордостью подумал месье Изабе.

— Schön!.. Aber herzig!.. Très choli!..* — говорила в искреннем восторге фрау Пульвермахер, которую месье Изабе позвал полюбоваться мастерской, приведенной в надлежащий вид. Она даже забыла обиду от того, что французский гость с худо скрытым отвращением вынес и отдал ей фарфорового мопса и занавесочки, нарочно для него повешенные накануне. Восхищение хозяйки было приятно месье Изабе, хоть он и был убежден, что, кроме художников, почти никто ничего не понимает и не может понимать в искусстве. Особенно понравилась фрау Пульвермахер головка римского короля. Ее умиляло и то, что ободок был из жемчужин, наверное, настоящих и дорогих, и то, что на такой крошечной пластинке можно было написать портрет, и то, что этот ребенок, хоть и сын злодея, был внуком ее императора, которого она часто видела на улице, и то,

*— Прекрасно!.. Очень мило!.. Замечательно!.. (нем., испорч. фр.)

что месье Изабе писал портрет с натуры во французском дворце, где все, должно быть, так парадно и роскошно. Неожиданно фрау Пульвермахер покраснела и, запинаясь, сказала жильцу, что цена на квартиру будет другая: не четыреста гульденов в месяц, а триста семьдесят пять. Месье Изабе сначала показалось, будто хозяйка обмолвилась: верно, считает, что продешевила, и хочет взять еще дороже. Но фрау Пульвермахер не обмолвилась: она сделала жильцу скидку в двадцать пять гульденов. „Какая прелесть!.. Это угрызения совести — то самое, чего нет ни у Фуше, ни у Талейрана, — растроганно сказал себе месье Изабе. — Лучше всех они, простые люди, я всегда так думал...“

Как сей случай верный и не по почте, то и рассудилось мне слово сказать тебе относительно письма твоего под № 2 о женитьбе и касательных до того обстоятельств... Не стоит труда отечество свое вовсе оставлять. Взгляни на твари бессловесные, которые всегда мест своих и лесов держатся, в которых они родились и выросли. То кольми паче человек, тварь, одаренная разумом и рассудком, должен сего правила держаться. Когда прилежно и хорошенько рассудить, кажется, должно делать остуду всякому горящему любовному пламени, яко слепотою возжигаемому и горящему.

*Из письма гетмана
Кирилла Разумовского к сыну Андрею*

Андрей Кириллович Разумовский, Erzherzog Andreas, как его любовно-иронически называли в Вене за величественную осанку, за строгое соблюдение этикета, за необыкновенно роскошный образ жизни, возвращался домой со своей ежедневной прогулки верхом. Всю главную аллею Пратера он проскакал галопом, и это его утомило. Андрею Кирилловичу было более шестидесяти лет. Он и верхом катался больше по привычке: врачи давно советовали ему бросить верховую езду или уж если ездить, то медленно, на смирной лошади. Разумовский немного гордился тем, что не очень следует предписаниям врачей.

На нижнем Пратере, подъезжая к реке, он остановился, снял шляпу и поехал шагом. Ездил он по старой Зейдлицевской школе, на шенкелях и коротких пово-

дьях, на длинных стременах, на небольшом седле с огромной раззолоченной попоной. Старый голштинский коня с перевязанным хвостом, закусывая удила и озираясь по сторонам, шел так, точно с минуты на минуту собирался встать на дыбы и сбросить всадника. Прохожие сторонились с восхищением.

Во время прогулки с графом Разумовским случилось небольшое происшествие. К нему подъехал господин на прекрасной английской лошади, любезно с ним побеседовал о погоде, затем простился. Разумовский не мог вспомнить, кто это такой. Он помнил только, что господин этот был король; но какой именно король, Разумовский решительно не помнил. Андрей Кириллович знал всех владетельных принцев Европы; теперь в Вену их съехалось много, среди них было немало королей, и все они ежедневно гуляли и катались верхом по Пратеру без свиты, без адъютантов и даже, как им казалось, без полицейской охраны (в действительности тайные агенты австрийской полиции повсюду их сопровождали, но это делалось совершенно незаметно).

Встреченный господин не был ни прусским, ни баварским, ни вюртембергским королем, — их Андрей Кириллович не мог бы не узнать. „Кто бы такой был?.. Может, не король, а великий герцог или принц какой? — спрашивал он себя. — Баденский? Веймарский? Шаумбург-Липпе? Гогенцоллерн-Зигмаринген?.. Да нет же... Слава Богу, и этих не первый год знаю... Может, Антон Саксонский?.. У него и вид был словно в загоне, — думал Андрей Кириллович (саксонцы как недавние союзники Наполеона были не в чести у руководителей конгресса). — Нет, я верно помню, что король...“

Разумовский с улыбкой вспоминал это странное происшествие: говорил он с господином так, как говорил бы с королем, но титулования тщательно избегал, скороговоркой вставляя в свои фразы что-то немного похожее на титул. Король прекрасно говорил по-французски, с легким иностранным акцентом, — это приметой служить не могло. „Так они все говорят... Презабавно, — думал Андрей Кириллович. — А лицо знакомое, точно... Совсем стал терять память!.. Батюшка до восьмидесяти был головою свеж... Не нам чета...“

По мосту, носившему его имя, Разумовский выехал на улицу, тоже носившую его имя, и за поворотом издали увидел свой дворец. Вид великолепного здания всегда доставлял Андрею Кирилловичу наслаждение. Те-

перь к этому примешивалась боль: Разумовский решил подарить свой дворец для посольства государю. Слухи о его намерении уже ходили по городу и вызывали много толков. Близким людям было известно, что дела графа далеко не блестящи и никак не позволяют ему делать подарки стоимостью в два миллиона. Одни — недоброжелатели — объясняли намерение Разумовского тонким дипломатическим расчетом: государь, скорее всего, откажется от подарка, а если примет, то, конечно, предложит Андрею Кирилловичу на вечные времена должность посла при императоре Франце: не выгонять же человека из им же подаренного дома. Все знали, что Разумовский обожает Вену, свyksя с ней за двадцать пять лет, был женат на одной австрийской графине, теперь скоро женится на другой и больше всего на свете боится, как бы его не заставили куда-нибудь уехать. Другие говорили, что Разумовский никакого тонкого расчета не имеет, а просто он Erzherzog Andreas, которому от природы свойственно поражать людей необыкновенными поступками: так он в свое время скупил и снес двадцать семь домов для постройки дворца, хоть был в долгу как в шелку; так он выстроил на свой счет каменный мост через реку в целях разумной экономии: чтобы не тратить на дальний объезд времени и, следовательно, денег. При этом старые друзья с улыбкой вспоминали, что говорил на своем живописном народном языке покойный гетман Кирилл Григорьевич о разных экономических проектах любимого сына.

На площади перед дворцом (она тоже носила имя Разумовского) стояло несколько экипажей. Кучера и лакеи срывали с себя шапки. Андрей Кириллович, кивая благосклонно головой, вглядывался в гербы на крестах и соображал, кому они принадлежат. „Уже гости?.. Что-то нынче рано“, — подумал он без оживления. Не остановившись у главного подъезда, Разумовский проехал к манежу, который теперь был переделан в залу для больших приемов; здесь должен был состояться обед на триста шестьдесят персон.

Управляющий, толстый осанистый человек, распорядившийся работой в манеже, увидев графа, взволнованно хлопнул два раза в ладоши и, сняв высокую шляпу, быстро, коротенькими шагами вышел навстречу. Подбегавшие слуги уже помогали Андрею Кирилловичу сойти с лошади. Он потрепал ее по шее, взобрал на крыльцо, скрывая одышку, и заглянул в манеж. Там все было отлично.

— Наденьте шляпу, холодно, — сказал усталым голосом Андрей Кириллович.

Управляющий доложил о приготовлениях к обеду: курьер, посланный во Францию за трюфелями, виноградом и устрицами, только что вернулся. Стерлядь с Волги, наверное, привезут завтра. Ананасы и вишни привезены, такие, что лучше нельзя желать. Разумовский не без удовольствия слушал управляющего: он очень любил венский диалект. Но устрицы, стерлядь и вишни мало его интересовали. Андрей Кириллович и в былые времена не был гастрономом. Неожиданно он поймал себя на мысли, что ему совершенно все равно, как сойдет обед. „Можно полагать, сойдет хорошо... В тысячу первый раз... Ну, и слава Богу, — равнодушно подумал он. — А сердце вправду пошаливает изрядно... Ведь уж минуты три, как сошел с лошади...“

— Только вишни обошлись в Петербурге дорого. Ваше Превосходительство, по рублю штука, значит, по нынешнему курсу немного больше флорина, — говорил озабоченно управляющий. — Такой сезон... Ничего не поделаешь...

— Da kann man nix machen*, — рассеянно повторил Разумовский.

— А вот масло, Ваше Превосходительство, придется взять местное: датского ни в одном магазине сейчас нет...

„Господи!.. Ну да, это был датский король! Натурально! — с облегчением вспомнил Андрей Кириллович. — Как же я его не узнал, se cher Frédéric?.. Правда, очень давно не видались, а все же...“

— Ничего не поделаешь, — опять сказал он шутливо. — Возьмем венское... Больше ничего?

— Ничего. Ваше Превосходительство... Еще разрешите доложить, приходил господин капельмейстер ван Бетховен и велел сказать Вашему Превосходительству, что не может быть завтра во дворце.

— Как не может быть? Почему? — воскликнул Разумовский.

— Господин капельмейстер не сказал, по какой причине, — с почтительной улыбкой ответил управляющий. — Ваше Превосходительство изволите знать господина ван Бетховена.

— Да это невозможно! Совершенно невозможно! —

*Ничего не поделаешь (нем. диалект).

*Этот милый Фредерик (Фр.).

расстроено сказал Разумовский. — Может быть, он обиделся за что?

— Не могу знать, Ваше Превосходительство.

— Я сейчас напишу ему письмо, — сказал, подумав, Андрей Кириллович. — Не знаете ли вы, кто здесь?

Управляющий назвал имена гостей. Обязанность хозяйки дома у Андрея Кирилловича выполняла совместно со своей сестрой графиня Тюргейм, уже неофициально считавшаяся его невестой. Однако независимо от этого боготворившие Разумовского венские дамы постоянно посещали его гостеприимный дом и после смерти первой жены графа. Для него допускались отступления от правил: он сам создавал правила.

Услышав имена, Разумовский слегка поморщился: гости — и мужчины, и дамы — были приятные, но среди них находились две дамы одного ранга. Это значило, что придется все время стоять. По этикету, принятому в ту пору в Вене, всякая графиня должна была уступать место входящей в гостиную княгине, которая вставала перед княгиней, старейшей по времени пожалования титула. Княгини уступали место обер-гофмейстериям. Если же высшие дамы в салоне были одинакового ранга, то ни одна не садилась и все общество простаивало на ногах целый вечер. Прежде самые неудобные формальности этикета представлялись Разумовскому вполне разумными и необходимыми. Теперь обычай этот показался ему крайне странным. „И многое у них такое же, ежели правду сказать...“ — Андрей Кириллович с легким раздражением вспомнил, что австрийский император подавал руку лишь тем из своих подданных, которые были министрами, высшими чинами двора или имели титул не ниже графского. Разумовский не раз видел, как на приемах император Франц улыбкой и наклоном головы здоровался с заслуженными генералами и тут же при них протягивал руку молодым титулованным офицерам. „Из разных альтернатив надо брать лучшую: у нас умнее и приятнее, а пышности, пожалуй, не столь уж и менее, — подумал Андрей Кириллович. — И недоразумения между рода и чина не могут быть... Что такое титул? Покойный дядя был во времени, вот у нас и титул...“

В сопровождении управляющего, который продолжал сообщать разные подробности о предстоявшем обеде, Разумовский через сад направился к боковому внутреннему подъезду дворца. Уже темнело. Красные

листья падали с деревьев. У фонтана Андрей Кириллович остановился передохнуть. Отсюда в полутьме дворец был еще прекраснее. „Да, жаль все это навсегда покинуть“, — подумал он неопределенно, не то имея в виду свой подарок, не то другое — „навсегда“.

—...А по углам, Ваше Превосходительство, будут, как вы приказывали, щиты с обозначением побед союзных войск...

Во дворце вспыхнул и побежал по фитильку огонек. Сразу осветились окна двух главных гостиных, картинной галереи. При всей своей любви к старинному укладу жизни Андрей Кириллович не отказывался от полезных новшеств: так, и отопление у него было новое, водяное, по трубам, проходившим под полом, — такое недавно устроили и в некоторых залах Бурга. „Значит, в зале Кановы никого нет, туда и пройду“, — подумал Разумовский, поднимаясь по засыпанным листьями ступеням. Он отпустил управляющего.

Француз-камердинер встретил графа на лестнице внутренних покоев. Андрей Кириллович приказал приготовить жабо с брабантскими кружевами, белый муслиновый галстук и сюртук *araignée méditant un crime**. „Как это глупо: *araignée méditant un crime!*“ — подумал он, удивляясь тому, что он серьезно произнес, а лакей серьезно выслушал такое название.

В белой зале, сплошь заставленной статуями Кановы, зажглись алебастровые лампы. Одна из них заливала белым светом „Флору“. Против этой статуи стояло небольшое бюро: Андрей Кириллович любил работать в галерее. „Еще не поздно“, — подумал он, взглянув на часы, сел за стол и стал писать: „*Mein lieber Beethoven...*“* Написав несколько строк, Разумовский задумался. Он чувствовал все большую усталость, сердцебиение не прекращалось. „Или вправду бросить верховую езду?.. Хорош жених!.. Покойный папа любил повторять из Сираха: „Юн бех и сострехся, ин тя поешет и ведет тебя, амо же не хочеши...“ Да, именно, амо же не хочеши. Касательно конгресса тоже нехорошо... Нессельроде все делает...“ Разумовский был первым русским уполномоченным на конгрессе, но почти не принимал участия в работах. „Может, потому и взяли, что надо было хоть одного русского: остальные — Не-

*Паук, замышляющий преступление (*фр.*)

*„Мой дорогой Бетховен...“(*нем.*)

ссельроде, Штакельберг, Поццо ди Борго, Каподистрия и Аншетт... Вместе называются „русская делегация на конгрессе“, — с легкой иронией думал Андрей Кириллович, хоть он ровно ничего не имел против инородцев и иностранцев. — Да, хорошего не видно... Собственно, все миновало... Успехи, впрочем, веселости не доставляли и прежде... Сплетни, клевета, злоба, зависть — voilà le revers d'une médiocre médaille...^{*} Дела тоже сумнительны... Вот и Хорошево продано после стольких других маетностей... Теперь остался один Батурин, да и он заложен... У меня нет денег, и у Бетховена нет, — с печальной усмешкой думал Разумовский. — Только он обеда на триста шестьдесят персон не дает, ему заплатить сапожнику не из чего. А за него по-настоящему можно отдать всю Вену...“ Андрей Кириллович прочитал записку, добавил еще несколько любезных слов и запечатал.

Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point originaux.^{**}

Паскаль

—...Господа, еще секунда, и вы будете свободны, сеанс кончается, уже недостаточно светло, — сладким голосом говорил месье Изабе, стоя с кистью в руке вполоборота у мольберта и беспрестанно переводя с залы на полотно зоркий, слегка прищуренный взгляд. — Милорд, немного пониже голову... Благодарю вас... Князь, ваша улыбка очаровательна, но, вы знаете, я желал бы изобразить конгресс торжественным и серьезным, как подобает такому высокому собранию... Предположите на секунду, что император Наполеон вернулся с острова Эльбы... Вот так, теперь чудесно...

Делегаты смеялись, месье Изабе и здесь был общим любимцем.

— Еще одна минута, господа, только одна минута, я знаю, как дорого ваше время... А сегодня вдобавок эти наши живые картины во дворце... Не беспокойтесь, господа, вы не опоздаете, ведь руководство постановкой лежит на мне. До начала спектакля еще не менее трех

^{*}Вот оборотная сторона медали ничтожества... (*фр.*)

^{**}Какая суетность, что живопись вызывает восхищение сходством с натурой, когда оригинал вовсе восхищения не вызывает (*фр.*).

часов, времени у вас хватит даже для того, чтобы разрешить польский вопрос... Господин председатель конгресса, удостоьте взглядом вашего покорного слугу... Благодарю... Так... Господа, поздравляю вас, вы свободны: сегодняшний сеанс окончен.

— Кончен? Ну, вот и отлично...

— Да, вы нас продержали...

— Зато очень подвинулось...

— Какой талант!.. Как он метко вас схватил!

— Разве? Вот вы, по-моему, вышли прекрасно!

— Когда же будет готово?

— Господа, поздно...

— Обедать... Едем...

Конгресс пришел в движение. Талейран встал и потянулся. Меттерних, улыбаясь, поднял с пола свой портфель. Гарденберг надел меховой плащ, небрежно повешенный на спинку стула. Каслри взял брошенную трость. Месье Изабе, которому надоело местничество делегатов, придал своей композиции непринужденный характер. Председательское кресло оставалось незанятым: на картине не должно было быть центра. Настоящая работа шла в мастерской месье Изабе на отдельных сеансах. Здесь он был занят общим планом картины.

Делегаты, оживленно переговариваясь, выходили из залы или, любуясь полотном, говорили комплименты художнику. Месье Изабе учтиво благодарил, с необыкновенным вниманием выслушивал замечания и неизменно со всеми соглашался. При этом вид у него был такой, точно указание казалось ему гениальным. Однако тех делегатов, которые, прощаясь, говорили ему „дорогой Изабе“, он таким же покровительственным тоном называл просто по фамилии, не обращая никакого внимания на оскорбленно-изумленное выражение, выступавшее на лице делегата.

Задернув покрывало над полотном, месье Изабе вышел в соседнюю комнату, где для него был приготовлен рукомойник. Лакей презрительно сливал воду на руки живописца. Месье Изабе поговорил на ломаном немецком языке с лакеем и ему тоже сказал какую-то любезность. Он это делал по убеждению, признавая совершенную необходимость комплиментов в обращении с людьми. Месье Изабе не в сознании, а где-то на дне души едва ли не считал всех людей душевнобольными.

Закончив разговор с соседями о вчерашнем спектакле в Бургтеатре, Разумовский вышел из залы конгресса. В вестибюле у лестницы он увидел месье Изабе; с художником стоял один из второстепенных делегатов.

— Да, Ваше Превосходительство, к великому своему огорчению, я должен был отвести вам место не за столом, а позади стола, — нежным голосом говорил Изабе. — Но, во-первых, только чуть-чуть позади... Чуть-чуть!.. А во-вторых, я знаю, для вас — и, быть может, для вас одного — это никакого значения не имеет. *Vous avez l'âme trop haute. Votre Excellence, pour attacher la moindre importance à ces mesquines questions de préséance**.

— Разумеется, для меня лично это никакого значения не имеет и иметь не может, — мрачно ответил делегат. — Но я здесь представляю свою державу, и, признаюсь, меня несколько удивило то место, которое вы, дорогой месье Изабе, отвели мне на картине, имеющей официальный характер.

Изабе кротко вздохнул.

— Зато вы поставлены вровень с портретом императора Франца. Оценили ли вы это, Ваше Превосходительство?.. — сказал он с силой в голосе, видимо, обрадовавшись новому доводу. — Я хотел этим оттенить и значение вашей державы, и то особое место, которое лично вы заняли на конгрессе благодаря вашему уму и дарованиям... Обратите внимание, Ваше Превосходительство, еще и на то, что вы представлены en face, а не в профиль. Это тоже очень существенно, — говорил месье Изабе, улыбаясь подходившему к ним Разумовскому. — Знаете ли вы, что, если герцог Веллингтон приедет на конгресс, я должен буду его изобразить сбоку, на самом краю картины, и в профиль. Да, самого герцога Веллингтона! Ибо другого места нет.

— О чем, смею ли узнать, спор? — спросил Разумовский.

— О, никакого спора, — поспешно ответил дипломат. — Я высказываю месье Изабе свое восхищение: композиция его картины задумана так искусно.

Он кисло улыбнулся и отошел. Месье Изабе сокрушенно посмотрел на Разумовского.

— Что? Недоволен местом? — спросил Андрей Кириллович.

*Вы слишком великодушны, Ваше Превосходительство, чтобы придавать хоть самое малое значение этим незначительным вопросам субординации (*фр.*).

— Сил моих больше нет! — ответил Изабе, поднимая руки. — Все задеты, все обижены, все недовольны... Кроме вас, граф, — любезно добавил он. — Что же будет, если в самом деле приедет Веллингтон?

— Вы вправду его поместите с краю? — недоверчиво спросил Разумовский.

— Куда же мне его деть?.. Может, Бог даст, это только слухи и он не приедет. Нельзя же в последнюю минуту все менять. Пусть стоит в профиль, с краю у двери, будто только что вошел... Но я знаю, что ему сказать. Я скажу ему, что в профиль он похож на короля Генриха IV...

— По-моему, никакого сходства.

— По-моему, тоже.

— Ни по лицу, ни по уму.

— Этого я не смею говорить о столь высокопоставленном человеке. Но спорить с вами я тоже не смею... Pour ne pas donner un démenti à Votre Excellence*, — почтительно сказал месть Изабе.

Очень довольные друг другом, они направились к выходу. Швейцар без булавы подал шубы, швейцар с булавой открыл настежь дверь. По Ballplatz отъезжали последние кареты. Впереди бежали скороходы в странных костюмах, в шляпах с перьями; в руках у скороходов были факелы, хоть еще и не стемнело.

— Что же вы, граф, не скажете мне ничего о моей картине? — лукаво спросил на улице месть Изабе. — Пойдем пешком, правда?.. Вам она не нравится?

— Очень нравится, напротив, — ответил Разумовский. — И я рад тому, что вы пишете картину. Вы знаете, как я люблю и ценю ваш огромный талант, но не лежит у меня душа к миниатюре. По-моему, у миниатюристов вырабатывается особое отношение к жизни: они все себе представляют в малом виде, а потому видят малое во всем. У миниатюры нет будущего.

— А по-моему, самое высшее искусство именно миниатюра. Потому что... Впрочем, не знаю, как объяснить... Искусство не должно быть элитным... Вот вы боготворите Канову! Что и говорить, талантливый человек, его искусство очень нарядно... По-вашему, у Кановы есть будущее? Я думаю, никакого. Голый огромный Наполеон со статуей свободы в руке у меня ничего, кроме смеха, не вызывает. Я раз двадцать писал Наполеона на табакерках. Очень может быть, это и

*Чтобы не опровергать Ваше Превосходительство (фр.).

не Бог знает что такое. Но, по совести, „Наполеон“ Кановы ни одной моей табакерки не стоит...

— Да разве ваши миниатюры не нарядны? — разводя руками, возразил Разумовский; он обиделся за Канову.

— Нарядны, но в меру... Они прежде всего верны. Если аккуратность — вежливость королей, точность мельчайших деталей картины, по-моему, вежливость художника. Меня бранят за внимание к мелочам, — разве в картине есть мелочи! Задача искусства выписывать и оживлять, а одно невозможно без другого. Из искусства надо выжать воду. Сухость — недостаток в чем угодно, но только, пожалуй, не в живописи. Будущее принадлежит тому искусству, которое удачно загримируется под безделушку. Нарядность? Да, конечно, без нее не обойтись. Искусство всегда немного наряднее, чем жизнь, иначе оно было бы невыносимо... Впрочем, Наполеон моих последних табакерок почти и не наряден: усталый, пожилой человек, все взявший от жизни.

— Это оттого, дорогой меcье Изабе, что вы предвидели падение империи, — сказал с усмешкой Разумовский. — Когда вы писали корсиканца, вы, наверное, уже предчувствовали, что через год будете писать нас... Я шучу, конечно, — поспешил добавить он.

— Заметьте еще, дорогой граф, — сказал меcье Изабе, — что до корсиканца, который, кстати сказать, был умнее всех жителей Бурга, вместе взятых, да еще с Ballplatz на придачу, до корсиканца я писал разных революционеров. Среди них тоже попадались хорошие люди. А до революционеров я писал несчастную королеву Марию Антуанетту. Она была прелестная женщина. Политические деятели для того и живут, чтоб резать друг друга, я в этом не виноват. Мое дело — писать возможно лучше, и только. Едва ли потомство будет особенно интересоваться моими политическими взглядами, не правда ли?

— Надеюсь, вы на меня не обиделись? — спросил Разумовский. — Уж нам-то, профессиональным политикам, хвастать нечем... Кстати, слышали ли вы о последнем выступлении вашего друга князя Талейрана? Он предлагает конгрессу 21 января, в день казни короля Людовика XVI, отслужить торжественную панихиду в соборе святого Стефана... Даю вам слово!.. Должен сказать, мы все видали виды, но когда этот человек, бывший законченный революционер, друг и товарищ всех

цареубийц Конвента, внес свое предложение, в зале наступило гробовое молчание, все мы опустили глаза, как институтки... Разумеется, предложение было принято.

— Как же, я знаю. Мне поручено выработать церемониал 21 января... Все это не мешает Талейрану быть самым очаровательным человеком на свете, — ответил месье Изабе. — Он предаст лучшего друга, но предаст так, что прямо картину с него пиши... Вы тоже во дворец, граф? Я тороплюсь на репетицию. Так и проходит моя жизнь, — со вздохом сказал он, — с одной пантомимы на другую.

— Это старо, дорогой месье Изабе... Что вы сегодня ставите?

— Мы ставим „Олимп“. Богов я подобрал на славу, но Венеру не решалась играть ни одна из дам: то ли из скромности, то ли из боязни насмешек... Я придумал выход: Венера будет стоять спиной к публике. Мне удалось без труда найти даму, которая сзади очень похожа на Венеру. Это фрейлина, мадемуазель Виллем. После пантомимы будет романс в лицах, музыка королевы Гортензии... А вы зачем так рано во дворец?

— Я должен представить царю и царице одного очень несчастного человека, композитора Бетховена. На днях будет его концерт... Надо собрать для бедняги денег. К несчастью, император Франц очень его не жалует... Прусский король пришлет за билет десять дукатов, я его знаю. Другие — дай Бог, чтобы хоть приняли билеты. Вся надежда на царя... Беда в том, что им будет трудно разговаривать, — сказал озабоченно Разумовский. — Император Александр, как вы знаете, довольно плохо слышит. А мой протеже просто глух.

— Композитор? — удивленно спросил месье Изабе.

— Да. Послал же Господь такое несчастье! — со вздохом сказал Разумовский.

— Это ужасно! — ответил, закрыв глаза, месье Изабе. — Бедный человек!.. Вот что, граф, я не император и не король, но я сделаю что могу, скажите этому... Как вы его назвали?.. Скажите ему, чтобы он послал билет и мне, по-товарищески, просто, как артист артисту... Он хороший композитор?

— Спасибо, — ласково сказал Разумовский. Он был тронут. — Хороший ли композитор? Сказать „превосходный“, „удивительный“ — значит сказать глупость. Я вам отвечу так: он мой последний шанс на бессмертие. Если через сто лет люди будут иногда обо мне вспоми-

нать, то разве только потому, что этот человек посвятил мне две свои симфонии.

Месье Изабе посмотрел на Разумовского.

— Вот как? — сказал он с легкой грустью. — Очень интересно... *Sehr fidel, sehr fidel**, — добавил он, помолчав. — Месье Изабе знал, что слово „fidel“[#] употребляется у немцев не в таком смысле, как по-французски, и пользовался им наудачу, с видимым удовольствием.

— Опять fidel! Вы злоупотребляете, дорогой месье Изабе, — смеясь, сказал Разумовский. — Вроде как лорд Каслри словом *features*[^]... Вы заметили, он ни одной фразы не может сказать без *features*...

Я познакомился в Теплице с Бетховеном. Его талант поразил меня. К несчастью, это совершенно необузданный человек. Он не вполне неправ, считая мир отвратительным. Но он мира не сделает менее несносным ни для себя, ни для других.

Из письма Гёте

Режиссера пантомимы „Олимп“ звали Омер — только очень мрачный человек не использовал бы этого для каламбура. Сияя от радости, месье Изабе поговорил с Омером и поздравил его с блестящим успехом живых картин: пантомима сошла превосходно. Артисты-любители обожали художника: он всегда всех оживлял своим весельем, всем говорил только приятное, и даже его критические замечания никогда не задевали — так он их подавал. Месье Изабе горячо поблагодарил участников пантомимы, а одну молоденькую барышню, которая особенно ему нравилась (ему нравились почти все), тут же расцеловал, сославшись на свой возраст, что вызвало общие протесты.

Из зала доносились звуки марша. Антракт перед романсами в лицах был короткий. Быстро переменяли декорацию. При спущенном занавесе влюбленная пара, осторожно ступая на цыпочках, вышла на сцену и в последний раз под руководством месье Изабе прорепетировала действие. Он сам вполголоса напевал мелодию романса: и мелодия эта, и вид влюбленных доставляли искреннее удовольствие месье Изабе.

*Очень весело, очень весело (нем.).

[#]По-французски „fidel“ значит „верный“. — Прим. ред.

[^]Характерные черты (англ.).

Послышался звонок. „Только не волнуйтесь... Ради Бога, не волнуйтесь!“ — страшным шепотом сказал режиссер. Лица влюбленных побледнели. Месье Изабе укоризненно посмотрел на Омера, подивившись в опытном человеке такому непониманию человеческой натуры. Он засмеялся, потрепал по плечу влюбленного и сказал влюбленной, что она никогда не была так хороша.

— Как я ему завидую!.. Нет, как я ему завидую, этому юному князьку! — сказал он весело и удалился за кулисы на свой наблюдательный пост сбоку.

Занавес поднялся. Музыка заиграла романс. Влюбленные взялись за руки. Месье Изабе почувствовал, что все опять пойдет прекрасно.

Его роль кончилась. „Надо бы посмотреть, как выходить из зала, — подумал он и ушел с наблюдательного поста. — Кажется, сюда, а оттуда выйду коридором...“ Месье Изабе еще плохо разбирался в бесчисленных залах Бурга. Он спустился по лесенке, прошел по одному коридору, куда-то свернул по другому и очутился в красном раззолоченном салоне, где, к его огорчению, играли в карты люди, очевидно, не интересовавшиеся ни живыми картинами, ни романсами в лицах. На вечерах императрицы во дворце была полная свобода. У одного из столиков спиной к месье Изабе стояли, следя за партией, несколько человек зрителей: за этим столом играл князь Талейран, лучший игрок в вист Европы. Месье Изабе, приятно улыбаясь, обогнул стол. Перед ним мелькнуло мертвенно-бледное, бесстрастное, безжизненное лицо. Он вздрогнул, за столиком Максимилиан Робеспьер играл в карты с немецкими принцами. Жуткое сходство это всегда поражало художника: в далекие дни революции молодым человеком месье Изабе не раз видал вблизи Робеспьера.

Звуки музыки приближались. Месье Изабе вышел, наконец, в тот ряд зала, по которому после романсов должен был пройти полонез, с русским царем и австрийской императрицей в первой паре. Программа бала разрабатывалась также при участии месье Изабе. Романс подходил к концу. „Уж не поспею... Да, может, лучше и не входить, еще будут, пожалуй, мне аплодировать“, — скромно подумал месье Изабе.

В малом зале дама в голубом платье (модный зеленый цвет только что уступил место пришедшему из Парижа голубому) продавала билеты с благотворительной целью: в пользу невольников, угнетаемых мусуль-

манами. Месье Изабе знал эту даму, дочь английского адмирала. Он подошел к столу, взял билет и положил в шкатулку столько, сколько полагалось по его достатку, или разве несколько больше: месье Изабе был очень добр и щедр; и невольников ему было жаль, и англичанка была славенькая. В шкатулке лежали груды золота и ассигнаций. Месье Изабе еще за кулисами слышал, что оба императора дали по тысяче дукатов. Любезно улыбаясь, он поболтал с дамой, которая беспокойно следила за его взглядом: месье Изабе, гордившийся своей репутацией законодателя моды, понимал, что англичанку очень интересуется его мнение о ее туалете. Он немного помучил ее ожиданием, а затем сказал, что она одета, как богиня. Англичанка зарделась от радости.

Раздались аплодисменты. Лакей, стоявший у входа в зал, открыл дверь, и тотчас из нее выскочил человек в темном платье, резко выделявшийся среди гостей своим видом. Он растерянно остановился, со злобой взглянул на стол с золотом, на англичанку, на лакея и быстро пошел дальше. В дверях зала показался граф Разумовский. „Да куда же вы? Что же это, наконец, такое?“ — по-немецки укоризненным тоном сказал он, нагоняя вышедшего первым гостя. Месье Изабе догадался, что это и есть тот немецкий музыкант, о котором говорил ему Разумовский.

Это был человек невысокого роста, с рябым мрачным лицом. Одет он был очень бедно и небрежно, в старомодный потертый сюртук, с криво повязанным красным галстуком. „Какой некрасивый человек“, — с сожалением подумал месье Изабе, сразу охвативший своим безошибочным взглядом все, вплоть до плохо подстриженных *à la Titus* черных густых волос, вплоть до коротких пальцев рук. „Надо бы написать его портрет, — решил он неожиданно. — Кажется, ему не очень нравится музыка королевы Гортензии“. В зале гремели рукоплескания. „Большой успех, все отлично!“ Месье Изабе направился в зал. У двери он снова оглянулся и встретился взглядом с немецким музыкантом. Глаза музыканта, черные, необыкновенно блестящие, лежали в глубоких впадинах под резко сдвинутыми бровями. Лицо его было искажено злобой и страданием. Разумовский с умоляющим выражением что-то ему говорил. „Да, конечно, изумительное лицо!“ — подумал месье Изабе.



Бетховенъ

Пожар заметили только ночью. Разумовского не было дома: с Рождеством оживление на конгрессе достигло предела; никто не ложился спать до утра, люди с одного праздника отправлялись на другой. Ошалевшие верховые, посланные ошалевшим управляющим, нелегко разыскали Андрея Кирилловича. Когда его коляска во всю прыть лошадей поднеслась ко дворцу, главный корпус уже был весь в огне. Именно в этом корпусе находилась картинная галерея, зала Кановы, знаменитая на весь мир библиотека. Зарево было видно с другого конца города.

На площади перед горевшим дворцом было смятение. С боковой улицы быстрым шагом подходил отряд пехоты. Верховые куда-то скакали с факелами, громко трубя. Огромная бочка, запряженная парой лошадей, пронеслась по площади и карьером влетела в раскрытые ворота сада. В общем гуле выделился звон разбитого стекла. На мгновение дворец исчез в густых облаках черного дыма, затем пламя снова прорвалось, осветив всю площадь страшным темно-красным светом.

Кучер Андрея Кирилловича, вскрикивая и ахая, едва сдерживал ржавших лошадей. Разумовский привстал в коляске, хотел что-то сказать, сел и встал снова. Стоявший посредине площади управляющий отчаянно замахал руками и бросился к коляске графа. Огненная головня взлетела над крышей, упала около экипажа и зашипела в растоптанном снегу. Лошади шарахнулись в сторону. Разумовский, сходявший с подножки, едва не упал. Управляющий поддержал графа и бессмысленно закричал на кучера. От трубных звуков, от ржания лошадей, от несшегося из дворца гула и треска разговаривать было невозможно. Андрей Кириллович растерянно смотрел то на управляющего, то поверх его меховой шапки на пылавший дворец.

— Ваше Превосходительство!.. Какое несчастье!.. — говорил с рыданием в голосе управляющий. — Ваше Превосходительство!.. Господи!.. Когда Иоганн прибежал, я выскочил, как сумасшедший... Жена тоже... Я кричу: пошлите сию минуту за Его Превосходительством. Смотрю... Господи!..

Распоряжавшийся работами обер-брандмейстер, узнав хозяина дворца, тоже подошел, отдал честь и в ответ на немой вопрос графа развел руками, как врач у постели умирающего.

— Тот корпус, может быть, и отстоим, — сказал он неопределенно показывая вдаль рукою. Вид обер-брандмейстера означал: „Я, разумеется, не скажу вам сразу всей правды, но вы можете постепенно догадываться“.

— Главное это!.. Вот это!.. — с отчаянием произнес Разумовский. — Если нельзя спасти здание, спасите...

Голос его оборвался.

— Мы сделаем все, что только будет возможно, — ответил привычным ему сочувственным тоном обер-брандмейстер. — Главные работы ведутся из сада... Там сделан немецкий узел, через него выбрасывают все из окон... Картины...

Андрей Кириллович не сразу отдал себе отчет, что такое немецкий узел и как это *выбрасывают* из окна его картины. Верховой подсказал к обер-брандмейстеру и, низко наклонившись с седла, что-то ему сказал. На лице обер-брандмейстера изобразилась досада. Он быстро отошел, затем побежал к воротам. Андрей Кириллович растерянно посмотрел на управляющего, как бы желая знать, что ему теперь надо делать и о чем спрашивать.

— Где началось?.. Отчего?..

— Отопление, Ваше Превосходительство, это несчастное трубное отопление! — с отчаянием сказал управляющий. — Ведь я вам говорил, Ваше Превосходительство!

Андрей Кириллович не помнил, чтобы управляющий говорил ему об отоплении. Но он понял: пожар произошел от тех проведенных под полами труб, которые он устроил у себя во дворце и которыми щеголял перед венцами как новым словом техники.

— Да... Что же делать? Что же делать? — сказал Разумовский. Увидев опять бочку, въезжавшую в ворота, он решил, что нужно идти в сад. Управляющий

побежал рядом с ним. Горящие головни падали, шипя, почти непрерывно.

За воротами, в саду, дорожки были засыпаны осколками стекла, не то от окон, не то от оранжерей, разбитых пожарной командой. „Ну, это ничего, оранжереи, — бодро подумал Андрей Кириллович. — Оранжереи можно будет возобновить“. В саду было тише, чем на площади, и, несмотря на безлунную ночь, светло как днем от пламени — дым валил в другую сторону, — от багрового зарева на небе, от факелов пожарных. Вблизи главной двери дворца, на клумбах, стояли насосы; возле них работали люди в странных костюмах, в блузах с капюшонами, в шлемах. Три тонкие, узкие струи с силой, почти вертикально, били вверх, заливая верхний этаж и главную лестницу; резная дверь валялась в снегу, расколота на куски. Андрей Кириллович внимательно, со страстной надеждой следил за струями. Он хотел было сказать, чтобы хоть одну струю пустили на бельэтаж, но раздумал, не чувствуя в себе силы отдавать распоряжения. „Им виднее... Это опытные, прекрасные работники...“

Слева, где пожар свирепствовал с меньшей силой, Разумовский увидел то, что обер-брандмейстер называл немецким узлом: через парусиновую трубу, спущенную из окна и привязанную другим концом к оглобле тележки, пожарные, работавшие во дворце, выбрасывали вещи. Тени людей со шлемами то и дело появлялись у этого окна. „Какие люди! Молодцы какие!“ — с восторженной благодарностью подумал Андрей Кириллович. Парусиновая труба погнулась в середине и выпрямилась, что-то тяжелое скользнуло, упало и треснуло. Разумовский ахнул и бросился к тележке. В грязном, тающем от жара снегу лежали в расколотых рамах картины, продранные, обуглившись, наползовину сгоревшие. „Господи! И Тицианы!“ — тихо сказал Андрей Кириллович. Он опять схватился за голову, отошел к скамейке и бессильно на нее опустил голову. „Точно издевка! — подумал он. — Вся жизнь пошла прахом...“

Через раскрытые ворота в сад внеслась пара лошадей, запряженная в повозку странной формы. Пожарные соскочили, что-то потянули, что-то подняли, и повозка превратилась в огромную лестницу, заканчивающуюся двумя красиво изогнутыми крючками. Ее мгновенно прислонили к балкону, зацепив крючками за перила. Один из пожарных подпрыгнул, уцепился за

ступеньку и повис, пробуя крепость перил. Лестница устояла. По ней вверх быстро и ловко поползли, низко наклонившись, один за другим люди в шлемах. „Как это все ладно, молодцы! Надо будет их наградить“, — сказал себе Андрей Кириллович и подумал, что он теперь едва ли не окончательно разорен: не было цены дворцу и сокровищам искусства, которые он собирал всю жизнь. Разумовский и забыл, что хотел подарить свой дворец государю. „Что ж делать? Что ж делать? Я не виноват, — бессмысленно твердил он. — Как-нибудь буду жить дале... Люди не оставят... Государь поможет... В гостиницу, что ли, переехать?.. Но в „Zum Römischen Kaiser“ теперь и конуры не найти...“ Он знал, что об уходе отсюда сейчас не могло быть речи, хоть помощи от него не было никакой. Но ему захотелось в постель. Он чувствовал большую усталость и весь тряся мелкой дрожью. „Диво будет, если не простужусь... А это что же такое?“ От большой бочки у бокового корпуса шли две цепи людей: одни передавали из рук в руки полные ведра, другие возвращали пустые. „Откуда эти?.. Кто они?..“ — Андрей Кириллович вспомнил, что все венские артели каменщиков и плотников обязаны по закону являться на пожар. „Да, хорошо у них налажено... Славные, добрые люди!..“ Вдруг он в ужасе замр: сзади донеслось дикое лошадиное ржание. Из конюшни, тоже ярко освещенной, конюхи с большим трудом выводили лошадей с завязанными глазами. „Да, и это славно придумано, что лошадям завязывают глаза... Как догадались!.. Господи, но за что же ветер?.. Значит, зал Кановы тоже погиб!.. И „Флора“!..“

Ко дворцу тем временем непрерывно подъезжали экипажи. Известие о пожаре в лучшем венском дворце мгновенно разнеслось по всем балам и праздникам. На подступах к площади стояли патрули и не пропускали экипажи. Разодетые люди с радостно-возбужденными лицами выходили из колясок, с жадным любопытством и ужасом глядели на объятый пламенем дворец, обменивались между собой впечатлениями:

„Какое несчастье для графа!..“ „Да, это ужасно...“ „Таких сокровищ искусства нет ни в Бурге, ни в Шенбрунне...“ „Неужели ничего нельзя спасти?“ „Все-таки, как хотите, пожарное дело у нас не на должной высоте...“ „Ах, в Париже то же самое, вспомните пожар у Шварценбергов!..“ „У нас лестницы с крючками, это наша новинка...“ „Да ведь все и случилось из-за фран-

цузского отопления...“ „Мы были на балу у Эстергази, вдруг узнаем...“ „А у нас как раз начался ужин...“ „Страшное зрелище, но как красиво, правда?“ „Ничего красивого, я наглотался дыму...“ „Бедный граф! Надо бы ему пожать руку...“ „Ах да, но где же он?“

Узнав, что граф в саду, многие из приехавших направлялись туда через боковые ворота. Разумовский сидел на скамье и с тупым, как бы безучастным вниманием следил за огнем, разгоравшимся от ветра все сильнее, несмотря на отчаянные усилия пожарных. Входящие в сад люди колебались, не зная, как надо себя вести в таких случаях, — светское воспитание предвидело все, кроме пожара. Одни издали с почти-тельной грустью кланялись графу и поспешно ретировались. Другие подходили и молча пожимали ему руку гораздо крепче обычного. Третьи старались его ободрить и говорили — об отоплении, о красоте дворца, о том, что все можно будет со временем отстроить заново. Несмотря на нелепость этих утешений, общее сочувствие немного укрепило Андрея Кирилловича. Соображение к нему вернулось. Кашляя от едкого дыма, он отвечал на слова соболезнования. Он даже подумал, что надо казаться спокойным.

Среди приехавших на пожар был и месть Изабе. Вид пылавшего дворца поразил его, — он был совершенно потрясен. Лучше, чем кто бы то ни было другой, он знал, какие сокровища были в этом дворце. Месье Изабе подошел к Разумовскому и крепко стиснул ему руку.

— *Cher ami!*..* — сказал он, но от волнения не мог закончить фразы: слезы выступили у него на глазах. Андрей Кириллович привстал и обнял художника, — он понял, что у Изабе не простое сочувствие, а истинное горе: для него дело было не в переживаниях Разумовского, а в гибели великих творений искусства.

В ворота влетел на вороном коне флигель-адъютант. Мгновенно по саду разнеслось известие, что приехал император. „Какой император? Император Александр?“ — быстро спрашивали одни у других. „Нет, наш император... Верно, император Александр придет позже...“ „Я вам говорил, что Его Величество непременно придет...“ „Да, я все-таки не думал... Какая честь для графа!..“ „Он ведь всегда был в большой милости...“

Андрей Кириллович поспешной походкой направился к воротам в сопровождении флигель-адъютанта. Ра-

*— Дорогой друг!.. (*фр.*)

зумовский не мог не оценить оказанного ему внимания. Пожарные на мгновение бросили работы и вытянулись. В ворота в сопровождении небольшой свиты уже входил император Франц. Он был в штатском платье, без шубы, в теплом ватном сюртуке, в цилиндре и в ботфортах. Все почтительно кланялись. Император быстро подошел к еще ускорившему шагу Разумовскому и протянул ему обе руки, — Андрею Кирилловичу показалось даже, что в первую секунду император хотел его обнять, но раздумал: пожар дворца был все-таки недостаточным для этого несчастьем. Разумовский растроганно благодарил. Несмотря на свое волнение, он и благодарность облек в надлежащую французскую фразу. Император отвечал по-немецки.

— *Sehen's das kann mit meinem Rittersaal, der auch mit Röhren g'heizt wird, g'rad so passieren...*

— *Gott behüte, Majestät!** — ответил Разумовский, тотчас переходя на немецкий язык.

— *Das kommt davon, weil wir alles d'n Franzosen nachmachen müssen...*†

Андрей Кириллович вздохнул. Император повернулся к дворцу. Пожарные после мгновенного перерыва теперь работали с удвоенной силой. Обер-брандмейстер поднялся по лестнице, приставленной к балкону. О спасении главного корпуса уже не могло быть и речи. С минуты на минуту надо было ждать обвала. Обер-брандмейстер приказал пожарным отступить в боковой корпус.

Месье Изабе, вытирая слезы, вышел из сада снова на площадь. Прилегающие к площади улицы были запружены народом. Полицейские офицеры не пропускали толпу, делая молчаливую поблажку тем, кто по своему внешнему облику принадлежал к высшим классам. За патрулем, в первом ряду не пропущенных, месье Изабе узнал немецкого музыканта, которого ему показал граф Разумовский на спектакле у императрицы. Лицо музыканта опять поразило месье Изабе, еще гораздо больше, чем при первой встрече. „Странная, удивительная голова! — подумал месье Изабе. Он отошел от полицейской заставы и, встретив знакомого, заговорил с ним о пожаре. Но, разговаривая, месье Изабе не раз оборачивался

* — Видите ли, это может произойти и с моим рыцарским залом, который тоже обогревается с помощью труб...

— Упаси Господи, Ваше Величество! (нем.)

† — Это потому, что мы во всем не можем не подражать французам... (нем.)

и искал глазами немецкого музыканта. Ему пришло в голову, что необыкновенное лицо это надо навсегда сохранить в памяти на случай, если когда-либо понадобится изобразить на полотне мрачное торжествующее вдохновение. — *Ou quelque chose de cette nature**, — думал меесь Изабе.

Часть фасадной стены обрушилась со страшным грохотом. Черное, прорезанное красными искрами облако рванулось в сторону, и на мгновение за обрушившейся стеной показалась объятая пламенем огромная галерея. Толпа протяжно ахнула. „*La salle Canova! Bon Dieu de bon Dieu!*“* — сказал меесь Изабе. Через минуту дым снова закрыл здание. Затем раздался новый продолжительный чудовищный грохот. Все рухнуло, дворца больше не было.

Perfectio igitur et imperfectio revera modi solummodo cogitandi sunt, nempe notiones, quae figere solemus ex eo quod ejusdem speciei aut generis individua ad invicem comparamus⁴.

Спиноза

На это утро была назначена кормежка змей. Владелец странствующего зверинца, кенигсбергский немец, долго скитавшийся по свету, называвший себя траппером (слово это, еще тогда малоизвестное, придавало ему веса), встал рано, позавтракал и в странном охотничьем костюме вошел в комнату удава. В комнате было душно и жарко: удав любил жару.

Траппер подошел к камере. Она была сделана из очень толстого стекла, с окошком наверху, и окружена железной решеткой, на которой был повешен картон с надписью: «*Просят не раздражать удава*». Но и надпись эта, и решетка предназначались больше для того, чтобы шекотать нервы публики: траппер знал, что удав смирный, стекла не разобьет и на людей не бросится. Увидев хозяина, смутно чувствуя день кормежки, удав выполз из-под одеяла. Над толстыми серо-фиолетовыми кольцами в черных квадратных пятнах изогнулась

* — Или что-нибудь в этом роде (*фр.*).

“Зал Кановы! Черт возьми!” (*фр.*).

⁴Совершенство и несовершенство на самом деле суть лишь модусы нашей мысли, то есть движения, которые мы измышляем и как единичные факты одного вида или рода сопоставляем с эталоном (*лат.*).

и вытянулась тонкая шея. Разделенная черным ободком голова с маленькими шелками глаз уставилась в сторону окошка.

— Подождешь, — сказал траппер, любуясь змеей.

За калиткой дернули звонок. Торговка принесла кроликов. Она не вошла в садик и, с опаской поглядывая на зверинец, у калитки пожелала трапперу доброго утра. Затем сообщила, что ночью случился страшный пожар, совсем недалеко отсюда: сгорел дворец богатейшего русского эрцгерцога.

— Еще и сейчас догорает... Народу сколько там! — сказала торговка. — Сам император приезжал!.. На площадь и не пропускают. Вот это все с пожара идут люди.

Траппер зевнул — он всякие видал пожары, — выбрал кролика пожирней, поторговался и заплатил.

— Неужели живьем бросите его змею? — с жалостью глядя кролика, спросила торговка. Она вздохнула. — Каких только зверей нет на свете!

— Кто как любит, — проворчал траппер. — Мы едим мертвечину, они живых. Зато он и ест раз в две недели.

— Господи!

— Может и два месяца не есть, только худеет тогда и огорчается, — сказал траппер, очень любивший своего удава. Держа в левой руке кролика, он вышел за калитку и оглянул проходивших людей, соображая, стоит ли их звать. Преобладало простонародье, но были и различные люди. Траппер решил, что попробовать можно, и очень громко, нараспев стал зазывать посетителей. Прохожие останавливались, с любопытством глядя на афишу и на странного человека, насмешливо прислушиваясь к его прусскому акценту. Одни, постояв, проходили дальше, другие старались заглянуть за калитку. Два человека заплатили за вход: первый — солдат, второй — сортом повыше. „Чиновник или учитель“, — подумал траппер, любивший определять людей по внешним признакам.

— Очень интересно!.. Страшное зрелище!.. Огромный мексиканский удав, длиной в четыре человеческих роста!.. Ударом хвоста может убить человека!.. Легко душит тигров и буйволов!.. — врал траппер. — Есть змеи, крокодилы, ягуары... Сейчас кормежка удава!.. Глодает живых кроликов... Страшное зрелище!.. При этом кричит от радости и поет...

Остановившийся у афиши невысокий рябой человек, приложив к уху руку, слушал траппера.

— Поет? — отрывисто спросил он.

— Свистит и кричит, совсем как бы поет, — ответил траппер. Он осмотрел с головы до ног рябого господина, но профессии не определил, решил только, что неважная птица.

— Совсем как бы поет, — еще громче повторил он, заметив, что господин туг на ухо. — В древней Мексике к голосу удава прислушивались... Он считался священным животным... Пожалуйте, господин... Будете довольны...

Рябой человек что-то пробормотал, порылся в кошельке и, вынув монету, вошел в сад, где с любопытством и робостью осматривались солдат и чиновник. Траппер пренебрежительно оглядел оставшуюся публику, кивнул торговке и закрыл калитку.

— Поет?.. Удав?.. — беспокойно спросил опять невысокий господин.

— Змеи очень музыкальны, — сказал траппер, глядя кролика. — Вот увидите потом индийских змей, они, может быть, музыкальнее нас с вами. Их заклинают игрой на флейте. Они изгибаются, танцуют, дуреют, тогда с ними можно делать что угодно (у господина дернулось лицо)... Только индийские без голоса... Один удав из всех змей кричит. Обыкновенно когда кормят... Ведь для него еда — главное дело... Только все он недоволен, все не то... И хорошо, а все не то... Вот об этом, верно, и поет... Поет, — повторил он и, открыв дверь домика, предложил посетителям войти.

— Нет, уж лучше вы раньше, — сказал, смеясь, чиновник.

Траппер тоже засмеялся. Он спрятал кролика под полу и вошел первый; за ним последовали другие. Они подошли к клетке. Голова удава слегка покачивалась над составленным из колец конусом. „S-sacrament!..“* — говорил, ежась, чиновник. „Jesus Maria! Jesus Maria!“ — повторял солдат. Невысокий господин с ужасом смотрел на чудовище. Траппер одной рукой подтащил к клетке лесенку и вынул из-под полы дрожавшего кролика.

— Послушайте, — отрывисто сказал господин, схватив траппера за руку: он, видимо, только теперь понял, в чем дело. — Не надо бросать... Я вам заплачу...

Траппер с недоумением посмотрел на рябого человека. Он, впрочем, привык к тому, что люди, особенно дамы, проявляют жалость к кролику в последнюю минуту перед кормежкой змеи.

* „Черт знает что!..“ (Фр.)

— Нам с вами надо есть, господин, — ответил он, — и удаву тоже надо есть. Ведь вы, верно, устриц едите: они тоже живые. (Это был его обычный довод, всегда действовавший на жалостливых посетителей.) Как его не кормить? И господам будет обидно, они деньги запла-тили...

Из камеры раздался странный протяжный звук — не то крик, не то свист. Удав заметил кролика. Он преобразился. Глаза его заблестали, шея изогнулась, как у лебедя, маленькая голова задрожала. Зрители ахали.

— В самом деле, в этом звуке есть что-то музыкаль-ное... И насмешливое... — сказал с улыбкой чиновник, обращаясь к невысокому господину; он, видимо, знал его в лицо. — По-своему он тоже музыкант.

Невысокий господин сердито взглянул на чиновни-ка, что-то невнятно буркнул в ответ и снова перевел глаза на клетку. Траппер взобрался по лесенке, поднял решетку, приоткрыл окошко (запахло мускусом), бро-сил в камеру кролика и тотчас окошко захлопнул. Не-высокий господин вскрикнул. Кролик мягко упал на песок и застыл, встретившись глазами с удавом. Крик змеи повторился. Маленькие глаза блестели все силь-нее. Удав медленно откинул назад верхнюю часть кор-пуса, медленно раскрыл пасть — и вдруг рванулся вперед всем телом, мгновенно развернув огромные страшные кольца. Невысокий господин вскрикнул, за-крыл руками дернувшееся лицо и выбежал из домика.

Müde war ich geworden nur immer
Gemälde zu sehen*.

Geme

Андрей Кириллович Разумовский с женой и невест-кой прожил два года в Италии.

На семейном совете, созванном в Вене осенью 1822 года, Разумовский изложил состояние своих дел. Он смущенно прочел что-то вроде небольшого доклада, путаясь и разыскивая на листке цифры доходов, дол-гов, процентов по долгам. Цифры эти подготовил для князя управляющий. Сам Андрей Кириллович свои дела знал довольно плохо. В былые времена он едва ли мог перечислить по памяти оставшиеся от гетмана мно-гочисленные имения. Теперь почти все было продано, деньги прожиты, и от огромного состояния оставались

*Я устал все время рассматривать картины (нем.).

крохи — или то, что казалось крохами Андрею Кирилловичу.

Свой доклад Разумовский читал на французском языке, что тоже было неудобно: слова все были труднопереводимые, как волость, уезд, десятина, или же глупо звучали по-французски, как „ревизская душа“. Андрею Кирилловичу гораздо легче было читать перед императорами и министрами доклады об устройстве Европы, — европейские государственные дела он устраивал гораздо легче и увереннее, чем свои собственные денежные. Вдобавок Разумовский все время испытывал тяжелое чувство: и жена его, и невестка, и все австрийские родные до того считали князя богачом из богачей.

Семья проявила чрезвычайную деликатность, о расстройстве дел говорили в тоне беззаботном, с оттенком веселого удивления, означавшим: вот, мол, какая вышла забавная история, мы стали бедны! — но за этим тоном Андрей Кириллович чувствовал разочарование. Никто и в мыслях не имел упрекать Разумовского; его мучила, однако, совесть; женившись шестидесяти трех лет от роду на молодой австрийской графине, он не имел права быть бедным.

После доклада венские родственники дали Андрею Кирилловичу несколько практических указаний. Один сразу придумал выгоднейшую финансовую операцию и довольно бойко перевел рубли на дукаты, но, как оказалось при проверке, смешал серебряные рубли с ассигнациями. Другой предложил заложить Батурин, — имение было заложено и перезаложено, и о сумме долга по закладной Андрей Кириллович раза четыре говорил в докладе. Третий решительно советовал гнать кредиторов в шею, — это князь делал и без того, правда, лишь фигурально.

Впрочем, прения, расчеты, неуспех предложенных комбинаций очень скоро утомили родственников, и все сошлось на том, что и предлагал с душевной болью Андрей Кириллович: он хотел закрыть свой венский дворец, вновь отстроенный после пожара без прежнего великолепия, отпустить прислугу, кроме какого-нибудь десятка самых нужных и преданных слуг, и переехать на жительство в Италию.

Один из молодых Тюргеймов, недавно побывавший в Риме, особенно горячо поддержал этот план и в доказательство итальянской дешевизны привел несколько ресторанских цен. Князь Разумовский слушал с печальной улыбкой: ему впервые в жизни приходилось слы-

шать такие речи, да и дело было, конечно, не в ценах устриц и вин, а в том, что в Италии можно было обойтись без ста человек прислуги, без пятидесяти лошадей на конюшне, без огромных приемов, без всего того, что в Вене по образу жизни, кругу и связям Разумовских представлялось совершенно необходимым.

Когда решение было принято, Андрею Кирилловичу стало легче. Он с нежностью поцеловал руку жене и невестке, как бы благодаря их за то, что они на него не сердятся. Разумовский действительно чувствовал себя виноватым, однако выражение лиц родных чуть-чуть его раздражило именно подчеркнутой деликатностью. У него мелькнула мысль, что в конце концов уж перед невесткой он едва ли виноват, как и перед другими Тюргеймами, вместе с ним расточавшими несметное богатство гетмана Кирилла Григорьевича. Но эта мысль только проскользнула у Разумовского: он очень любил и свою жену, и ее родных.

Семья занялась приготовлениями к отъезду. Решено было пожить немного в Вероне, потому что там как раз происходил международный конгресс; в Риме, потому что это был Рим; и в Неаполе, потому что там жил старый приятель, король Фердинанд, при котором Андрей Кириллович состоял посланником больше сорока лет тому назад.

Уезжая из Вены, и Андрей Кириллович, и его жена, и невестка в один голос говорили, что хотят пожить тихо, уединенно, в тесном семейном кругу, никаких гостей не звать и ни к кому в гости не ездить. Однако уже по дороге оказалось, что в тесном семейном кругу скучновато. Они любили друг друга, но разговаривать им было не о чем. В Италии дамам стало веселее. Веронский конгресс гремел, отдаленно напоминая по блеску Венский. Разумовские тотчас вошли в круг международных знакомств и больше из него не выходили во все время своего пребывания в Италии. Настроение Андрея Кирилловича, однако, становилось все печальнее, — зрелищ на его веку было больше чем достаточно.

На одном из веронских приемов Шатобриан, узнав, что Разумовские собираются в Рим, мрачно сказал Андрею Кирилловичу: „Rome est une belle chose pour tout oublier, mépriser tout et mourir“*. Разумовский прекрасно знал, что Шатобриан имеет особые основания быть мрачным: у него не было ни гроша в кармане, его

* „Рим — прекрасное место, чтобы все забыть, всем пренебречь и умереть“ (Фр.).

мучила подагра, последние его произведения не имели успеха, в своих интимных делах он очень запутался, и сам больше не знал, кого, собственно, любить: госпожу Рекамье, или госпожу де Дюрас, или госпожу Арбутнот (иные даже робко высказывали предположение, уж не любит ли Шатобриан свою жену, — но над ними все смеялись). Тем не менее фраза знаменитого писателя запала в душу Андрею Кирилловичу.

В Риме Разумовский был на Office des Ténèbres в Сикстинской капелле и, слушая музыку, все думал о том, что карьера его кончена, что кончается и жизнь, что ждать ему больше нечего. Княжеский титул, полученный им в пору Венского конгресса, был его последним успехом. А пожар дворца отнял у его жизни прежний смысл.

После службы жена и невестка долго и настойчиво говорили о превосходстве католической веры над всеми другими. Андрей Кириллович делал вид, что не слышит: он знал, как страстно желают Тюргеймы обратить его в католичество.

В этот день вечером они были у Ливенов, с которыми в Риме очень подружились. Графиня Ливен после долгих просьб прочла одно из своих писем на синей бумаге, — о них уже тогда много говорили в Европе. В письме шла речь о революции, и графиня уронила афоризм, впрочем, заимствованный у Веллингтона: „Là où les rois savent monter à cheval et punir, il n'y a pas de révolution possible“*. Афоризм показался Андрею Кирилловичу глупым (он чувствовал, что и все это письмо написано едва ли не для этого афоризма). „В таком случае берейторы королевские могут отдалить от бедствий мир, — подумал он мрачно. — И ни к чему занимается она без просыпу политикой, все вздор, и синяя бумага — тоже вздор; верно, и глаза у нее не болят, а пишет так, чтоб лучше в разговорах примечалось: письма графини Ливен на синей бумаге“. Он хотел было поспорить и припугнуть графиню новой революцией, но не поспорил, чувствуя большую усталость. К тому же графиня Ливен нравилась ему и своим умом, и знаниями, и благородством тона, которое он особенно ценил. Напротив, король Фердинанд, встретивший его тем же радостным смехом, что и сорок лет тому назад, показался ему образцом вульгарности. Андрей Кириллович с

* „Там, где короли умеют сесть на коня и покарать, там революции невозможны“ (фр.).

любопытством вглядывался в старого знакомого, и ему самому странно было, что он, внук малороссийского пастуха, не выносит дурного тона в потомке Людовика XIV.

В Риме на одном из аукционов за три тысячи дукатов продавался Рафаэль. Свободных трех тысяч у Разумовского не было, и Рафаэля увез англичанин, явно ничего в картинах не понимавший. Бедность угнетала Андрея Кирилловича. Очень расстроено было и здоровье, — сердце лучше работать не стало. Врачи предписали ему строгий режим. За выполнением этого режима следили жена и невестка, которых все больше беспокоил вид князя. Все это раздражало Разумовского. Его душевное состояние передавалось и дамам. Стало скучно. От скуки они взяли на воспитание девочку.

Единственным утешением Андрея Кирилловича была музыка. Он часто посещал оперу, восхищался голосами итальянских певцов и нехотя отдавал должное Россини, который уже царил в мире, затмевая славой всех других композиторов. На старости лет Андрей Кириллович снова стал играть на скрипке; играл он преимущественно по вечерам, когда оставался один: дамы каждый вечер уезжали в театр или в гости, ему же доктор предписал выходить возможно меньше и рано ложиться спать. Разумовский отдавал должное Россини, но предпочитал другую музыку — давно вышедшего из моды Бетховена. Андрей Кириллович играл не очень хорошо; он пробовал темы и из симфоний, и из квартетов. Больше всего он любил русские квартеты, посвященные ему его старым другом, а в них *adagio* Седьмого квартета. С русской песней этого квартета он когда-то сам познакомил Бетховена. Во время игры Андрею Кирилловичу казалось, что музыка и была его настоящим призванием. А иногда он думал, что никакого призвания у него вообще не было и что в этом, собственно, главное несчастье его жизни. Он любил искусство, понимал его гораздо тоньше, чем большинство других людей, а создать ничего не мог: слишком много вкуса, недостаточно творческого дара — худшее, что может быть.

В Неаполе Разумовский неожиданно получил из Петербурга письмо, сообщавшее о кончине его брата Петра. Это известие потрясло Андрея Кирилловича, несмотря на то, что он с годами очерствел и успел привыкнуть к уходу близких людей. Брат был только годом его старше и всегда отличался крепким здоро-

вьем. Они с юношеских лет встречались редко — Петр Кириллович жил в Петербурге, но любили друг друга. Жена и невестка приняли очень близкое участие в горе Разумовского, перестали ездить в театр и отказались от приглашений. Однако в глазах своих дам князь читал тщательно скрываемую радость. У Петра Кирилловича законных детей не было, и большая часть его богатства теперь должна была достаться Андрею Кирилловичу. Разумовский, по совести, не мог осуждать жену и невестку: они совершенно не знали его брата. Тем не менее разговоры с ними о брате возбуждали в нем тяжелое чувство. Из случайных вопросов выяснилось, что они знали, какие имения остались после умершего и какую приблизительно ценность представляет каждое. В этом тоже ничего худого не было — Андрей Кириллович и сам при всей любви к брату не мог не думать с облегчением о том, что перед ним и его семьей вновь открывается возможность прежней богатой жизни. Но все же, когда Лулу Тюргейм с радостью, скрытой под видом полного безразличия, говорила, смешно коверкая русские названия, о Гостилицах, об Аркадаке, о псковских, тульских, московских имениях, Разумовский делал над собой усилие, чтобы в раздражении не сказать лишнего.

Точные сведения о наследстве пришли весной 1824 года. Петр Кириллович умер почти скоропостижно и о завещании подумал чуть только не в последнюю минуту. Текст завещания по просьбе графа написал сам Сперанский, как лучший в России знаток законов, но наспех написал очень неудачно, и завещание, наверное, было бы признано недействительным, если бы чиновник Крюковский не обратил внимания на грубую ошибку, допущенную знаменитым государственным деятелем. Наследство Петра Кирилловича было очень велико: в отличие от брата он и доходов своих никогда не проживал.

Жена и невестка Андрея Кирилловича заговорили о переезде из Италии в Париж. Только в Париже были и удобства жизни, и настоящее общество, и хорошие врачи. Разумовский не спорил: ему теперь было почти все равно, где доживать свой век.

По наследственным и другим делам князю нужно было побывать в Вене. Не без споров и возражений дамы согласились на то, чтобы он съездил туда один, а затем прямо приехал в Париж. Однако решено было ждать наступления теплого сезона: слишком резкий

переход от южноитальянского климата к средневропейскому казался опасным в преклонном возрасте Разумовского. В ожидании переезда Андрей Кириллович стал снова покупать разные произведения искусства. Рафаэль ускользнул безвозвратно, но были другие находки. Сначала он покупал с увлечением, представляя себе, как все будет расставлено и повешено в его доме; потом ему надоело и стало совестно: „Совсем пора устраиваться в семьдесят два года, и только Томировой бронзы не хватает для полноты счастья...“

Во второй половине апреля Андрей Кириллович покинул Неаполь. Ехал он по настоянию жены неторопливо, часто останавливаясь по дороге, и 7 мая 1824 года прибыл в Вену.

Дворец Разумовских, оставшийся заколоченным два года, требовал уборки и ремонта. Но в Вене было человек двадцать близких, родных и друзей, у которых мог остановиться Андрей Кириллович. Почти бессознательно в связи с раздражением против своих дам Разумовский остановился не у Тюргеймов, а у Тунов, родных своей первой жены, — он и после второго брака поддерживал с ними самые добрые родственные отношения. О его приезде хозяева были предуведомлены: Андрея Кирилловича встретили с распростертыми объятиями Туны, Тюргеймы, Лихновские, Гессы, Пергены, Клам-Мартинцы.

Очувшись в старой привычной венской обстановке, с которой связаны были лучшие годы его жизни, Андрей Кириллович немного оживился. Пока он купался и приводил себя в порядок, родные с огорчением говорили вполголоса, что он очень постарел. Один даже озабоченно спросил, сколько лет князю. После недолгих споров и справок по годам свадеб и похорон выяснилось, что Разумовскому никак не меньше семидесяти лет, скорее даже несколько больше. Дамы изумлялись и вздыхали: еще так недавно Egzherzog Andreas был признанным покорителем сердец. С улыбками вспоминали его победы. „Неужели за семьдесят лет?..“

Дурное впечатление рассеялось, когда Разумовский вышел освеженный ванной, как всегда безукоризненно одетый, с тщательно напудренной головой, — больше уже почти никто не пудрил. Андрей Кириллович был весел, упорно говорил не по-французски, а по-венски и, раздавая подарки, забавно шутил. Подарки он, впрочем, купил неудачно и тотчас это почувствовал, хотя все

восторгались привезенными им картинами, медалями, бронзой. „Лучше было остановиться у модной лавки и закупить каких-нибудь галстуков и вееров“, — подумал он.

Туны в самый день приезда гостя давали в его честь большой обед. „Только для своих“, — сказала хозяйка; однако своих было человек тридцать. Все уже собрались и с восторгом слушали рассказы и анекдоты Разумовского; он был прекрасный рассказчик и знал анекдоты о всех знаменитых людях мира.

— Надеюсь, вы не сожалеете, что не пошли на концерт? — спросила одного из гостей хозяйка дома.

— О нет!

— Какой концерт? — осведомился Разумовский.

Ему сказали, что сегодня состоится большой концерт Бетховена.

— Нам тоже навязал ложу Шиндлер, но, разумеется, мы теперь не пойдем...

— В котором часу начало?

Разумовский поспешно взглянул на часы. То, что он хотел сделать, было неприлично и неучтиво, но Андрей Кириллович предпочитал совершить десять невежливых поступков, чем пропустить концерт Бетховена. Он рассыпался в извинениях, которых в первую минуту хозяева и гости даже не поняли.

— *Chère amie, ce que je fais est vraiment d'une goujaterie!..* — говорил он, целуя руки хозяйке. — *Comment faire pour obtenir votre pardon?**

Хозяйка натянуто улыбалась и говорила, что она прекрасно понимает. Но по ее лицу Андрей Кириллович видел, как она задета его странным поступком. Гости озадаченно переглядывались: их пригласили на Разумовского.

— Однако как же вы будете слушать музыку голодный?

— Может быть, вы хоть наскоро закусите перед концертом?

Хозяин дома отыскал приглашение. На нем значилось: „*Grosse Musikalische Academie des Herrn Ludwig van Beethoven, den 7 May in K.K.Hoftheoter nächst dem Kaertnerthore*“*. Дальше следовала программа концерта.

* — Моя дорогая, то, что я делаю, — это действительно вельможа!.. — (...) — Как мне заслужить ваше прощение? (*Фр.*)

* „*Большая Музыкальная Академия Людвига ван Бетховена, 7 мая в Придворном театре рядом с Кертнерторге*“ (*нем.*).

— Знаете что? Я нашел компромисс, — сказал хозяин. — Вас, конечно, интересует новая симфония Бетховена. Она идет в конце, так что вы можете съесть хоть часть обеда с нами и все-таки попадете вовремя. Мы сейчас же сядем за стол... По-моему, я внес ценное предложение.

— От этого вы не можете отказаться!

Разумовский в самом деле отказаться не мог. Дворецкий побежал отдавать распоряжения поварам. Велено было закладывать карету для гостя. Все перешли в столовую.

— Меня все же удивляет ваша музыкальная ненасытность, — сказала за столом хозяйка, когда прошла натянутость, вызванная решением гостя. — Ведь вы пробыли два года в Италии и слушали там божественную музыку.

Тотчас заговорили о Россини. Он недавно гастролировал в Вене и всех очаровал: гениальный композитор, дирижер, пианист, певец — у него чудесный голос! — и вдобавок такой милый, любезный человек.

— На вечере у Меттерниха он экспромтом написал в альбомы гостям шестьдесят музыкальных вариаций на одну тему.

— В Лондоне его осыпали золотом.

— У нас тоже.

— Знаете ли вы, что он „Отелло“ написал в двадцать дней?

— So sieht es aus*, — улыбаясь, сказал Разумовский.

Дамы засыпали его упреками.

— Беру назад, я сам очень его люблю. А вы знаете, в Риме „Отелло“ кончается примирением мавра с Дездемоной. Они поют любовный дуэт... Впрочем, Россини не виноват: так требует публика... Зато поют итальянцы восхитительно.

— Сегодня в симфонии вы тоже услышите замечательную певицу, Генриетту Зонтаг, — сказала хозяйка. — Пожалуйста, не влюбитесь... Двадцать лет, огромный талант и красавица, — с легким вздохом добавила она.

— Как? В симфонии певицу?

— Разве вы не знаете? Девятая симфония объявлена с хором и солистами. Это, очевидно, его нововведение.

Разговор перешел на Бетховена. Андрей Кириллович с тревожным любопытством расспрашивал венцев

* — Это можно заметить (нем.).

о своем старом друге, которого давно потерял из виду. Сведения были неутешительные. По общему отзыву, Бетховен опустился, окончательно оглох, стал совершенно невозможным человеком и вдобавок много пил. Некоторые говорили даже, что он спился. Очень плохи были и его денежные дела. Оживление сразу соскочило с Разумовского. Резануло князя и то, что Бетховена, который был гораздо его моложе, все называли стариком.

— Вы знаете, он чуть было нас не покинул, — сказал хозяин. — Недавно вдруг заявил, что уезжает совсем из Вены. Тогда друзья расчувствовались и подали ему письменную просьбу, чтобы он не уезжал...

— В самом деле, было бы стыдно и досадно, если бы Вена потеряла такого человека.

— Будем говорить правду: он весь в прошлом и совершенно выжил из ума.

— Все-таки надо было оказать поддержку старику.

— Я не нахожу, — решительно сказала полная круглолицая дама. — Я проезжала недавно мимо кафе Мариагюльф, вижу, он сидит на террасе и пьет!.. Если у него есть деньги на вино, то пусть не устраивает в свою пользу концертов и не просит подачек!

— Сурово, но верно...

— Среди них бедняков очень много. Было бы прекрасно, если бы мы могли помогать всем, но это невысказано. Надо оказывать денежную помощь только в случае крайней нужды.

— Да, но что считать крайней нуждой, Мицци? Бетховен, бесспорно, нуждается.

— Нуждается в вине.

— Может быть, вино полезно ему для вдохновения, — весело сказал один из молодых гостей.

— Ах, оставьте, это говорят все пьяницы... Я уверена, Россини пишет без всякого вина.

— Не знаю, как Россини, но я по себе знаю: как только я выпью, я сочиняю восхитительные стихи. Не верите? Как вам угодно.

Гости смеялись. Разумовский становился все мрачнее. Он знал, что в обществе ценили Бетховена, но не могли настоящим образом уважать музыканта, который по бедности устраивал концерты в свою пользу. Андрей Кириллович и за собой знал эту психологию богатого человека, но в других она чрезвычайно его раздражала.

Хозяин дома мягко защищал Бетховена от нападок круглолицей дамы. Он напомнил, что сам Россини чрезвычайно высоко ставит старика и плакал, как ребенок, слушая его музыку. В бытность свою в Вене он первый сделал Бетховену визит.

— И говорят, ваш Бетховен принял его Бог знает как! Посоветовал ему написать еще несколько „Севильских цирюльников“.

— Это было бы не так плохо.

— Да, но какой грубый человек!

— Да кто вам сказал, что он был груб с Россини? Это неверно.

— Мне говорили... Он и визита ему не отдал.

— Если не отдал, то потому, что нелюдим.

— Очень хорошо! Что должны о нас подумать иностранцы! А между тем я сама слышала, как Россини просил князя Меттерниха: нельзя ли сделать что-либо для Бетховена?

— Подумайте, о ком вы говорите, Мицци, — строго сказала мать хозяйки дома. — Вспомните, что Бетховен глух! Во сне такое увидеть страшно.

Полнолицая дама замолчала. Разумовский смотрел на нее с ненавистью.

— Это как если бы вы стали немой, Мицци, — весело сказала хозяйка. — Представьте себе: при вас мы рассказывали бы все венские сплетни, а вы от себя ничего не могли бы добавить.

Дама засмеялась, за ней и другие гости.

— Это было бы гораздо хуже, чем глухота Бетховена!

— Это было бы из Дантова ада!

— Или из области инквизиционных пыток!

— Кто по-настоящему трогателен, это Шиндлер. Что он терпит от старика, а предан ему как собака!

— Говорят, он на своих визитных карточках пишет: „Друг Бетховена“.

Смех усилился.

Tanzen war ein Gottesdienst,
War ein Beten mit den Beinen...*

Гейне

Капельдинер почтительно проводил Разумовского к ложе Тунов и сообщил, что антракт подходит к концу:

*Танец был как молитва, исполненная ногами... (нем.)

сейчас начнется симфония. Почти у дверей ложи Андрею Кирилловичу бросилось в глаза знакомое лицо. По коридору не шел, а скользил невысокий человек с веселым, добродушным лицом. „Кто такой? Француз? Русский?..“ Этот человек несколько не походил на русского, но что-то его связывало в памяти князя с Россией, — Разумовский не сразу узнал танцовщика Дюпора, когда-то сводившего с ума публику Петербурга и Москвы. На лице у танцовщика расплылась необыкновенно радостная улыбка, хоть и он тоже не сразу узнал Разумовского, — помнил только, что это кто-то важный и приятный. Дюпор давно больше не танцевал, не соблюдал режима и очень растолстел. Однако балет сказывался и в его походке, и в выражении лица, и в манерах; он даже и говорил как-то так, что казалось, будто и слова, и мысли у него грациозно танцуют. О Дюпоре уже несколько лет дамы отзывались: „Ах, его надо было видеть лет десять тому назад!..“ Он радостно поздоровался с Разумовским. Неожиданно они заключили друг друга в объятия (капельдинер посмотрел на них с изумлением); в России Андрею Кирилловичу никак не пришло бы в голову обниматься с танцовщиком, хотя бы известным на весь мир. Но здесь, в Вене, Дюпор был ему особенно приятен.

— Вы что тут делаете? — спросил Разумовский. По недоумевающему лицу француза он понял, что задал неудачный вопрос.

— Разве вы не знаете, князь, что я управляю этим театром?

— Да, конечно, я знаю... Я хотел сказать: отчего вы не за кулисами?

— Сегодня мне там нечего делать: ведь театр сдан под концерт. Давно ли вы в Вене, князь?.. Вы в этой ложе? Один?

— Один...

Разумовский рассказал, как это вышло. Из Тунов никто не пожелал ехать с ним на концерт (он чувствовал, что это было легкой демонстрацией по его адресу).

— Видите, как я стремился в ваш театр... Отчего бы вам не посидеть со мною? Мне в самом деле неловко одному в ложе...

— С большим удовольствием посижу.

Дюпор балетным жестом открыл дверь и, пропустив вперед князя, не вошел, а впорхнул в ложу. Зал горел

дрожащими огнями. Часть музыкантов уже сидели на сцене, настраивая инструменты, стирая пыль с барабанов и контрабасов. Разумовский с первого взгляда увидел, что публика не слишком парадная. Императорская ложа была пуста. Появление князя кое-где заметили в зале, с разных сторон ему радостно кланялись, однако своих людей оказалось гораздо меньше, чем было бы на парадном спектакле. Андрей Кириллович устроился в кресле поудобнее и начал разговор с Дюпором. Они вспоминали общих знакомых. Многие давно умерли, Дюпор этого и не знал. При всяком таком сообщении на его благодушном лице автоматически выступало выражение крайнего горя. Разумовскому казалось, что это выражение лица из какого-то балета. „Султан узнает о смерти одалиски“, — подумал Андрей Кириллович.

— А как поживает мадемуазель Жорж? — улыбаясь, спросил он.

У Дюпора был когда-то со знаменитой артисткой роман, очень занимавший московских дам. Теперь это было далекое прошлое, и о нем, собственно, можно было говорить свободно. Однако танцовщик не сразу принял тему. На его лице появилось выражение крайней скромности: „Акид не выдаст тайны Галатеи“.

— Я помню, ведь она вас похитила и переодетым привезла из Парижа в Петербург... И очень хорошо сделала, — смеясь, сказал Разумовский.

— *Quelle femme! Quelle femme!** — расширив глаза, произнес Дюпор. Скромность его растаяла перед настойчивой нескромностью Разумовского („Акид выдаст тайну Галатеи“). — *L'Empereur Napoléon disait qu'elle avait des abatis, canailles. Mais ce n'est pas vrai, je vous le jure! Les pieds un peu grands, peut-être, mais d'une beauté!..*‡

— Верю, верю, — говорил весело Андрей Кириллович, зная, что в этом была главная гордость жизни Дюпора: он и Наполеон были близки с одной женщиной.

— Да, хорошее было время, — с автоматическим вздохом сказал автоматическую фразу Дюпор, вывезший из России состояние. — Хорошее было время!

— Вам, слава Богу, недурно и в Вене... Что вы теперь пишете?

* — Какая женщина! Какая женщина! (*фр.*)

‡ Император Наполеон говорил, что ее черты вульгарноваты. Но это неправда, я вас уверяю! Ноги несколько великоваты, быть может, но какая красота!.. (*фр.*)

— Пишу балет „Le volage fixé“*, — ответил польщенный Дюпор и принялся рассказывать о своих работах. Андрею Кирилловичу стало завидно: он теперь завидовал всем людям, имеющим какое бы то ни было призвание, а Дюпор был по-настоящему влюблен в свое искусство. Говорил он так, точно творчество не оставляло ему ни одной минуты свободного времени: он, может быть, и рад был бы все бросить и начать жизнь самого обыкновенного человека, но что поделаешь с публикой? Знать ничего не хочет и не прекращает оваций. Этот тон остался у Дюпора от лучших времен и еще усилился с тех пор, как дамы стали говорить: „Ах, его надо было видеть лет десять тому назад!..“ Разумовский рассеянно слушал, оглядывая зал, поддакивая и переспрашивая, иногда невпопад.

Зал быстро наполнялся. В коридоре прозвонил колокольчик. Публика занимала места. Несколько кресел в первых рядах оставались незаняты, вызывая неприятное чувство у Андрея Кирилловича. Эти оскорбительные для Бетховена пустые места портили вид и настроение зала.

— Да, очень интересно, — рассеянно сказал Разумовский, заметив, что долго не подавал реплики.

— Что интересно, князь?

— То, о чем вы говорите... Но я из ваших балетов предпочитаю эту... Как ее?.. „Галатею“... Скажите, отчего никого нет в императорской ложе?

— Его Величество сейчас пребывает вне Вены, — почтительно наклонив голову, сказал Дюпор. — Кроме того, вы знаете, при дворе не очень любят Бетховена.

— Как он поживает, старый якобинец?.. Говорят, плох?

Дюпор постучал по лбу пальцем и заговорил уже без балетных жестов: о деньгах он говорил просто.

— Послушайте, князь, — сказал он. — Полный сбор в моем театре при обыкновенных ценах составляет две тысячи четырехста флоринов. Я сделал старику величайшую скидку, какую только мог, потому что я его люблю... *Oui, j'ai un faible pour lui... On dit qu'il décompose la musique, mais je suis d'avis que c'est un bon musicien, tout toqué qu'il soit!*[#] — с силой сказал Дюпор,

* „Прерванный полет“ (фр.).

[#] Да, я питаю к нему слабость... Говорят, он разрушает музыку, но я считаю, что он хороший музыкант, каким бы ни был чокнутым человеком! (фр.)

точно Разумовский с этим спорил. — Я посчитал за все тысячу. За все! Это чуть только себе не в убыток. Но ему одна переписка нот обошлась в восемьсот флоринов! На что же можно тут рассчитывать при обыкновенных ценах?

— При повышенных ценах, вероятно, публики было бы меньше.

— Послушайте дальше. Мало ему для его симфонии оркестра, подавай еще хор. Мало хора, подавай солистов. И не одного, а четырех! И не каких-нибудь горлодеров, а Генриетту Зонтаг! Хорошо, что она милая девочка... Une perle*, — вставил Дюпор, подмигнув Разумовскому, — она ничего со старика не возьмет... А эти скандалы! Если бы я знал, ни за что не сдал бы ему своего театра. Для баритонной партии ему предлагают Форти: прекрасный певец. „Nein!“ — передразнил Дюпор, сделав свирепое лицо. — Не хочу Форти: Italienische Gurgel!^а — сказал он, с трудом произнося немецкие слова, но в совершенстве воспроизводя голос, манеру, выражение лица Бетховена. Разумовский невольно засмеялся.

— Да, крутой человек.

— Слушайте дальше. Эта маленькая Зонтаг, она ангел, князь, советую обратить на нее внимание. — Он опять подмигнул. — Зонтаг умоляет хоть немножко понизить ее партию: ведь он черт знает чего требует от певцов. Казалось бы, чего проще: прелестная девочка просит понизить, понизь. „Nein!“ — еще свирепее прорычал Дюпор. — Все „Nein!“.. Капельмейстера изругал так, что тот чуть-чуть не отказался сегодня дирижировать.

— Как? Разве не сам Бетховен дирижирует?

Дюпор изумленно посмотрел на Разумовского.

— Помилуйте, князь, ведь он совершенно глух. Он будет стоять у пюпитра, только и всего. Вы, верно, не видели афиши? Вот...

Он вынул из кармана смятый листок. Разумовский надел очки и с любопытством прочел афишу.

— Так это на слова оды Шиллера „Радость“? Давнишняя его мысль, — протянул Андрей Кириллович: он ждал сегодня другого от Бетховена. „Какую это он выдумал радость?“ — с легким беспокойством подумал Разумовский.

*Жемчужина (фр.).

^Нет! (нем.)

^Итальянская глотка! (нем.)

— Да, стихи... Умнее было бы написать музыку к хорошему балету... Ведь все-таки балет — высшее искусство, потому что в нем сочетаются все виды искусства. Я ему предлагал, но он только ругается. — Дюпор опять энергично постучал по лбу.

В коридоре колокольчик зазвенел сильнее.

— Наконец-то начинают... Ну, до свидания, князь, я должен вас оставить... Надеюсь часто вас видеть в театре... Я, впрочем, еще к вам зайду...

Он упорхнул, перескочив через порог ложи. На сцену торопливо выходили запоздавшие музыканты. Сторожка принесли и поставили около дирижерского места четыре бархатных стула, очевидно, для солистов, — другим предназначались простые стулья. Из-за кулис выглянул и тотчас скрылся Шупанциг, старый знакомый Разумовского. Капельдинеры закрывали двери. Звуки настраиваемых инструментов волновали Андрея Кирилловича, вызывая в его памяти что-то очень далекое и радостное. Ламповщики убавили света в зале. Отблески свечей над пюпитрами музыкантов задрожали на стенках боковых лож. Запоздавший брандмейстер проверил уровень воды в стоявшем на сцене медном резервуаре. Благоразумные люди заранее откашливались. Гул голосов понемногу затихал.

...Wien, Wien, die Stadt der Lieder,
Die schöne Stadt auf Donau Strand...*

Девятнадцатилетняя Генриетта Зонтаг в день концерта была на банкете, который в ее честь устроил днем в своем загородном охотничьем доме молодой венгерский магнат. Все на банкете было из сказки: и таинственный замок в лесу, и большой низкий зал, украшенный чучелами зверей, рогами оленей; и стол, сверкавший хрусталем и золотом, и бесчисленные слуги в странных костюмах, и красавец хозяин, и его кривая, усыпанная алмазами сабля, и блестящие молодые люди, которых он ей представлял, и их ласкавшие слух имена, и необыкновенные титулы, — только в сказках бывали принцы, маркграфы, палатины. Люди эти говорили восторженные, чудные слова о ее таланте, о ее голосе, о ее красоте.

*...Вена, Вена, город песен, дивный город на берегу Дуная...
(нем.)

Лакеи подали шампанское. Она говорила, что нельзя пить перед концертом, что она лишится голоса, что ее освищут, и, слабо смеясь счастливым смехом, пила. Затем она пела арию Розины, и трель звучала так, как никогда до того не звучала. Ослепительные молодые люди падали перед ней на колени, осыпали поцелуями ее руки. Хозяин умолял осчастливить его и принять скромный дар, недостойный ее божественного гения. Взяв из шкатулки чудесное ожерелье, он надел ей на шею четыре нитки жемчуга и, оправляя, коснулся ее голых плеч своей горячей рукою. Она пила, ела конфеты, после конфет бутерброды, бессмысленно-счастливо смеялась, бессмысленно-счастливо благодарила, с детской нежностью глядя на всех этих изумительных, дивных людей.

Много позже — а может быть, и сейчас же после того — вспомнили о концерте. Надо было ехать в город. Сказочное продолжалось, — она еще тогда не знала, что все это почти ритуал. Молодые люди разостлали ковер у крыльца перед коляской, чтобы пыль земли не коснулась ножек богини. Толстый тугой ковер покрыл низ лестницы, стать на ступеньки было невозможно, — она засмеялась и скользнула вниз. Ее поддержали, подняли и посадили в экипаж. Молодые люди восторженно говорили, что выпрягут лошадей и сами впрягутся в коляску, она озабоченно отвечала, что это невозможно, так она опоздает к концерту, и все хохотали и опять целовали ей руки. Хозяин непременно желал сесть с ней, но не сел: в театр подъехать вдвоем было бы неудобно и неприятно Каролине.

Затем лошади понеслись по лесу, и она испугалась: вдруг нападут разбойники, — в волшебном лесу все было возможно. Потом ей стало холодно, несмотря на весеннюю погоду, она закутала горло в шаль и при этом попыталась на шее пересчитать жемчужины в одной только первой нитке, но на левом плече под шалью блаженно запуталась в счете. Потом ей вспомнилась дивная фраза, которую она должна будет петь на концерте. Она попробовала голосом: „Freude, schöner Goetter Funken, Tochter aus Elysium...“* Лакей и кучер оглянулись с козел: петь громко было невозможно; фраза беззвучно пела в ее душе. Она не знала, что

* „Радость, искра божественного, дочь из Элизима“ (из стих. Шиллера „Радость“; ср. в пер. с нем. И.Миримского: „Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к вам...“) — *Прим. ред.*

такое Elysium и почему здесь говорится об искре, да и слова не доходили до ее сознания; но мелодия фразы выражала то, что она чувствовала в самый счастливый день своей жизни. Она подумала, что сумасшедший старик, создавший гениальную, ни с чем не сравнимую симфонию, которую сегодня должны были играть в первый раз, именно о ней, о сегодняшнем банкете, о жемчужном ожерелье говорил в этой своей фразе.

Потом она задремала.

На площади у бастиона, перед трехэтажным зданием театра, кучер сдержал лошадей. Она очнулась и вздрогнула: вот уже театр, сейчас петь! Вдруг провалится? „Нет, не может быть, ничто дурное случиться не может... Все будет чудесно!“ Она легко выскочила из коляски, подумала с сожалением, что здесь никто не расстилает перед ней ковров, и избежала по лестнице подъезда артистов. Ей была отведена небольшая комната в конце коридора. Вдруг через выходящую в коридор дверь она увидела Бетховена. Она остановилась у порога пораженная.

В комнате больше никого не было. Он сидел в кресле, опустив голову на грудь. Лицо его было мрачно, в глазах было отчаяние. Ей стало мучительно жаль старика. „Боже, какой несчастный!“ — подумала она, и вдруг, неслышно войдя в комнату, она опустилась на колени перед креслом и поцеловала руку Бетховену.

La symphonie avec chœurs de Beethoven n'est pas absolument dépourvue d'idées, mais elles sont mal disposées et ne forment qu'un ensemble incohérent et dénué de charme.*

Из рецензии 1831 года

Спектакль не был парадным, но все венцы, знавшие толк в музыке, были в этот день в театре у Каринтийских ворот. О новой симфонии Бетховена после первой же репетиции пошли по городу странные слухи. У старика были фанатические поклонники, как Разумовский, не считавшиеся с модой. Однако и Шиндлер, и Шупанциг растерянно себя спрашивали, что же такое хотел на этот раз сказать старик. Музыканты оркестра, знавшие

*Симфония с хором Бетховена не совсем лишена идеи, но плохо построена, и ее авсамбль несвязан и необаятелен (Фр.).

свое дело, только переглядывались на репетициях; некоторые вполголоса вспоминали: Вебер уже после Седьмой симфонии говорил, что Бетховен вполне созрел для дома умалишенных. Вид старика подтверждал такие предположения. На репетициях он стоял подле дирижера, безумными глазами глядел на исполнителей и, вскрикивая, повторял непонятные слова. Все смотрели на него с ужасом.

В конце антракта Шиндлеру подали окончательный расчет кассы. Он пробежал цифры и побледнел: сбор составлял всего 2220 гульденов, на долю старика должна была отчислиться совершенно ничтожная сумма. Между тем с этим концертом связывались главные его надежды. Шиндлер знал, что виноватым все равно окажется он; это его не беспокоило, он ко всему привык. Но как сказать старику? Как его подготовить? Старик и без того был последнее время в ужасном настроении.

Шиндлер был литературной абстракцией; он вошел в жизнь из сентиментальной повести — верный друг, состоящий при великом человеке. Он не играл этой роли, да и повесть такая ему, вероятно, никогда не попадалась. Шиндлер знал толк в музыке и искренне боготворил Бетховена. Но если бы судьба не свела его с Бетховеном, он был бы преданным слугой при другом великом человеке. Обязанности его были тяжелы и неблагодарны; именно поэтому они как нельзя более подходили Шиндлеру. У него на всю жизнь повисло на лице грустное выражение. Все неизменно о нем говорили, что он предан Бетховену как собака, и все были правы.

День концерта Шиндлер провел с Бетховеном. Велел кухарке подать то, что любил старик: селедку с печеным картофелем, яичницу с луком и колбасой, макароны с пармезаном, бутылку красного баденского вина; сам приготовил кофе, отсчитав ровно шестьдесят зерен на чашку, как требовал Бетховен. Обед сошел благополучно: старик не ругался ни с Шиндлером, ни с кухаркой, не швырялся тарелками; он даже пробормотал что-то похожее на благодарность Шиндлеру за его заботливость. Шиндлер был счастлив. За два часа до начала концерта он вынул из шкафа зеленый фрак (черного у старика не было), почистил щеткой и с душевной болью говорил, что при вечернем освещении

этот зеленый, в сущности темно-зеленый, костюм, наконец, сойдет за черный. Незадолго до начала концерта Бетховен сел за пианофорте. Шиндлер встревожился: ехать надо было далеко, перед концертом следовало бы отдохнуть. Но он не чувствовал себя способным отрывать старика от игры. Шиндлер сел на диван и заслушался. Бетховен фантазировал: его фантазия не имела на этот раз ничего общего с темами той симфонии, которую сегодня играли в театре. Шиндлер знал, что она больше не интересует старика, и догадывался, что играет он что-то из задуманной им новой, десятой симфонии. Следить было трудно. Бетховен все время перескакивал с одной темы на другую. „Слышит ли он то, что играет?“ — спрашивал себя в сотый раз Шиндлер и, как всегда, приходил к мысли, что слышать старик не может (он оркестра не слышал в нескольких шагах расстояния) и все же каким-то непонятным образом слышит. „Вот когда бы художникам его писать, — думал Шиндлер, глядя на Бетховена и чувствуя перед собой непонятное, недостижимо высокое явление. — И как он прав, когда говорит, что в искусстве он ближе к Богу, чем все другие люди!..“

Посоветовавшись с Шупанцигом, Шиндлер решил до окончания концерта ничего не сообщать старику о денежных результатах концерта: пусть хоть симфония с хорами доставит ему утешение. По началу концерта, по настроению в зале оба они видели, что прием будет горячий и что овации Бетховену обеспечены: публика его жалеет и знает, что ему жить уже недолго.

Шиндлер и Шупанциг робко вошли в комнату, предназначенную для артистов. Старик сидел в той же позе, в какой его застала Зонтаг.

— Meister, rüstet Euch!* — закричал Шиндлер, нагнувшись к самому уху Бетховена. Контраст между его успокоительными словами и диким криком был так силен, что Шупанциг вздрогнул.

Бетховен тяжело поднялся с кресла и уставился бешеными глазами на вошедших.

— Ich bin gekocht, gesotten und gebraten*, — сказал он и быстро направился к эстраде. Шупанциг маленькими шажками побегал за ним.

* — Маэстро, ваш выход! (нем.)

* — Я совершенно готов (дословно: сварен и зажарен) (нем.).

Особенно мое любопытство возбуждала Девятая симфония, так как, по общему мнению музыкантов*, Бетховен написал ее в состоянии, близком к умопомешательству. Она считалась пределом непонятого и фантастического искусства. Достав с большим трудом партитуру, я с первого взгляда на нее почувствовал себя зачарованным роковой силой. В этой симфонии, конечно, была тайна всех тайн... Помню, бледный луч зари застал меня за работой. В моем состоянии крайнего возбуждения я испугался зари, как призрака. Я вскрикнул от ужаса и закрыл лицо одеялом.

*Из юношеских воспоминаний
Рихарда Вагнера*

На оборотной стороне афиши была мелкими буквами целиком напечатана ода Шиллера. Андрей Кириллович медленно ее прочел. „А не то чтобы отменнейшие были стихи, хоть они и Шиллеровы“, — подумал он. Его неодобрение, впрочем, относилось к мыслям стихов, а не к их форме: форма была бойкая и в самом деле веселила душу. Но Разумовскому было не до веселья. Разговор с Дюпором пробудил в нем тоску и горько-насмешливое настроение. В стихах говорилось о любимой женщине, — Андрею Кирилловичу шел восьмой десяток. Говорилось о друзьях и дружбе, — у него близких друзей не было. „Ишь какие весельчаки, — бормотал он. — Все радость да радость...“ „Auf des Glaubens Sonnenberge, sieht man Ihre Fahnen weh'n...“ — C'est curieux, je ne vois pas les drapeaux, — подумал Разумовский, перейдя в мыслях на французский язык, для иронии более пригодный. — „Durch den Riss gesprengter Saerge sie im Chor der Engel steht...“ — Ça c'est fort par exemple, la joie à travers le fente des cercueils... — „Götter kann man nicht vergelten, Schön ist Ihnen gleich zu sein...“ — Андрей Кириллович не чувствовал себя равным богам. — Je n'y puis rien... — „Unser Schuldbuch sei vernichtet...“ — Ça oui, les dettes j'en ai pour plusieurs millions... — „Richtet Gott wie wir

*С известным правом можно утверждать, что и Девятая симфония, и смычковые квартеты, и все последние создания Бетховена едва ли не раньше, чем в Западной Европе, были поняты в России или по крайней мере оценены отдельными русскими знатоками. Достаточно назвать Ленца, Глянку, Голицына, Одоевского, Бакунина. — *Прим. авт.*

gerichtet...“ — Si la justice divine ne vaut pas mieux que la nôtre!.. — „Freude sprudelt in Pokalen in der Traube goldnen Blut, Trinken Sanftmut Kannibalen...“ — Tiens, les cannibales sont de la fête!.. Non, décidément, la poésie allemande et moi... * Взрыв аплодисментов прервал размышления Андрея Кирилловича. Бетховен выходил на эстраду. „Господи, как он изменился!“

Дирижер, низко поклонившись публике, поднялся на свое место. Бетховен кивнул головой, сердито отвернулся и стал рядом с дирижером. Гул в зале затих совершенно.

При первых звуках музыки насмешливое настроение оставило Андрея Кирилловича. „Что же это такое? — думал он. — Так вот она, радость!.. Mais ce n'est pas la musique qu'il décompose, c'est la vie... Oui, c'est le chaos... Ténèbres et désolation... Le triomphe de la mort...“

— Понравилось вам, князь? — спросил Дюпор, впорхнувший снова в ложу, как только оркестр перестал играть. — Правда, хорошо?

Он с удивлением смотрел на измученное лицо Разумовского.

— По-моему, тема финала могла бы послужить для балета. Очень похожая фраза есть в прелестном старинном гротфатере. — Дюпор вполголоса пропел тему радости и пропел так, что в самом деле вышло похоже на гротфатер. — Чудесная фраза!

— За радостью я обращусь к „Севильскому цирюльнику“, — сказал не сразу Разумовский. Он встал и снова сел. — Подождем, пока схлынет толпа в коридоре, — рассеянно сказал он, видимо, погруженный в свои мысли.

— Знатоки говорят, что в симфонии нарушены все законы музыки... Вы этого не думаете, князь?

* „На крутых высотах веры стратотерпца ждет она, там парят ее знамена...“ — Это любопытно, я не вижу знамен. (...) „Здесь стоит она склоненной у разверзшихся могил...“ — Это довольно сильно, вообще говоря, радость пробилась сквозь щели гробов... — „Не нужны богам рыдания! Будем равны им...“ (...) Я тут ничего не поделаю... — „В пламя, книга долговая...“ — Долги, они у меня есть на многие миллионы... — „Как судили мы, судит Бог...“ — Если Божий суд не стоит больше, чем наш!.. — „Радость льется по бокалам, золотая кровь лозы, дарит радость каннибалам...“ — Надо же, каннибалы пришли на праздник!.. Нет, решительно, немецкая поэзия и я несовместны... (нем., фр. *Фрагменты из „Радости“ Шиллера в пер. с нем. И. Миримского*). — Прим. ред.

„Это не музыку он разрушил, это жгзнь... Да, это хаос... Сумрак и скорбь... Триумф смерти...“ (фр.)

— Нет, я этого не думаю... А если и нарушены, то беспокоиться нам нечего: значит, он создал новые, — ответил Андрей Кириллович. Он чувствовал потребность высказать свои мысли о симфонии, но Дюпор был явно неподходящим слушателем.

— Так вы говорите, это радость? — сказал Разумовский. — Не знаю. Ничего мрачнее и страшнее, чем первые две части этой симфонии, я отроду не слышал... Вторая часть вдобавок издевательская... Это — торжество зла, преступление, злодеяние, что хотите, только не радость! Нет, это дьявольская музыка!

— Почему дьявольская? — недоверчиво спросил Дюпор. — Ведь, кажется, по замыслу, радость приходит потом, так по крайней мере...

— Уж я не знаю, когда она приходит, — перебил его Разумовский. — Ведь не в третьей части, правда? Тогда финал? Та фраза, которая вам напоминает гротеск, от нее при ее появлении рвется сердце... Вы говорите, финал, — продолжал он, все более увлекаясь. — Зачем Бетховен ввел хор? Человек и здесь все портит... Но, допустим, радость. Разве он в финале ответил на первые две части? На все то, что в них сказано? Очень может быть, что Бетховен хотел оправдать жизнь, — ничего он не оправдал, ничего!..

— Не понимаю, — так же недоверчиво заметил Дюпор. — Если автор объявляет, что он пишет о радости, значит, он пишет о радости. Как вы можете знать лучше автора, что он хотел сказать? *Et puis, il n'est pas philosophe à ce point, allez! Je le connais**, — пожимая плечами, добавил он.

— Зачем ему быть философом? Бетховен загадка. Разве в этом изумительном творении не детские приемы? Эта переключка тем! Одна тема божественнее другой, но в том, что их поочередно предлагают и отвергают, в этой словесной ссылке на Шиллера есть что-то наивное и беспомощное. Если хотите, только волосок отделяет это от безвкусыя. И все-таки он величайший художник всех времен — царь того искусства, которое умнее всех мудрецов и философов в мире... И пессимизм его не от сознания, не от житейских бед, даже не от глухоты. Бетховен одержимый. Он сам создает вокруг себя атмосферу муки и потом сам себя утешает как может... На предельных высотах искусства нужны добровольные мученики: разве в нормальном состоя-

*И потом он не философ в этом смысле! Я его знаю (*Фр.*).

нии можно создать такое произведение?.. Что он стал бы делать, если б оправдал?..

Разумовский посмотрел на Дюпора, и ему стало совестно. Собственные его слова показали Андрею Кирилловичу и напыщенными, и неуместными, и неверно передающими верную мысль.

— Может быть, я и ошибаюсь, — поспешно сказал он, вставая. — Музыку всякий понимает как хочет...

— Разумеется, — ответил, подавляя зевок, Дюпор. — Вы еще к нему зайдете, князь? Я не советую... Он, верно, очень расстроен... Бедный старик! Но художественный успех большой. Публика была довольна.

Публика в самом деле была довольна. Лишь только капельмейстер опустил палочку, загремели аплодисменты. Бетховен их не слышал. Он стоял неподвижно, спиной к залу, подняв вверх руки. Солистка Каролина Унгер осторожно тронула его за плечо и с улыбкой показала на аплодировавшую публику. Он дернулся лицом, как-то жалко поклонился и пошел к выходу.

Зрители не знали, что старик так глух. Аплодисменты вдруг оборвались. Затем вздох пробежал по залу. Началась бурная овалация.

Monsieur Beethoven est un petit trapu
d'un abord très malhonnête*.

Плейель

Вышло еще хуже, чем предполагал Шиндлер. Старик разразился бранью. Он кричал, что сделанный каской расчет неверен, что его обокрали, и ясно давал понять: и Шиндлер, в сущности, такой же мошенник, хоть прикидывается верным другом.

Шиндлер покорно выслушивал ругательства. Ему и в голову не приходило обижаться: Бетховену все позволено, на то он и Бетховен. Кроме того, Шиндлер прекрасно все понимал: старику хорошо известно, что Шиндлер не вор, что он не обокрал, что он предан ему как собака, — Бетховен, конечно, не верил своим словам, да, собственно, и о деньгах почти не думал; и деньги ему были нужны уж никак не для себя, а для мальчишки-племянника: он просто изливал измученную душу. Шиндлер все понимал: старик не зол, он по

*Месье Бетховен маленький, приземистый и, кажется, очень несчастный (фр.).

природе очень добр, несчастнее ведь не было человека на свете — нищий, глухой, больной, фанатик искусства, которое его самого никогда не удовлетворяло и было слишком высоко, слишком непонятно для публики, аплодировавшей ему из сострадания!..

Умоляя старика успокоиться, всячески расписывая и раздувая художественный успех симфонии, Шиндлер с другим приятелем, Хюттенбреннером, отвез Бетховена домой и убедил его прилечь отдохнуть. Старик повалился на диван и скоро заснул. Шиндлер вышел из комнаты, задув свечи и прикрыв за собой дверь.

На следующий день утром, забежав на минуту проведать Бетховена, Шиндлер застал его там же, на диване. Он еще спал, и на лице старика было то же выражение бесконечной усталости и муки.

Les reines n'ont qu'un seul devoir: c'est d'être jolies*.

Талейран

Кондуктор омнибуса „Белая дама“ дернул звонок и радостно, диким голосом, с непонятным напевом прокричал слово, немного похожее на „Concorde“. В вагоне не встал никто, но господин в очках, занимавший первое у лестницы место на вышке омнибуса, вздрогнул, тяжело поднялся, опираясь на трость, и, схватившись за перила рукой в палевой перчатке, осторожно поставил ногу на ступеньку. Кондуктор хотел было спеть: „Allons, messieurs, dames derêchons“*, но не спел: господин был, видимо, очень стар. Ступая с той же ноги, он торопливо спустился по лестнице. Кондуктор подумал, что такому старику никак не следовало бы подниматься на вышку: и дует там, да и упасть с лестницы нетрудно. Две стоявшие на площадке дамы подвинулись, уступая дорогу. Господин с приветливой улыбкой скользнул по ним взглядом и довольно ловко прошел по узкой площадке, не задев кринолинов дам. Кондуктор скруглил было руку, чтобы помочь ему сойти, и вдруг замер. Вытянувшийся в струнку городской на мгновение впился в кондуктора грозным взглядом, затем тотчас усталился на замедлившую ход легкую коляску, запряженную парой прекрасных рыжих лошадей. Коляске загоразживал дорогу омнибус. Дама на площадке

*У королев только один долг — быть очаровательными (фр.).

„Поторопимся, дамы и господа“ (фр.).

ахнула: „Смотрите, это императрица!..“ „Императрица Евгения!“ — взволнованно прошептала другая дама. В вагоне у окон все с любопытством повставали с мест. Кондуктор сорвал с себя фуражку.

Старый господин поднял цилиндр и почтительно поклонился императрице. Она кивнула головой и вдруг, узнав старика, улыбкой подозвала его к себе, приказав кучеру остановиться.

— Bonjour, cher monsieur Isabeu, — сказала она.

Лошади тронулись, омнибус затрясся по мостовой. И девочка, сидевшая рядом с императрицей Евгенией, и лакей в темно-синей ливрее, державший в руке корзинку, и кучер, и городовой с изумлением смотрели на вылезшего из омнибуса сгорбленного изжелта-седого старика, ради которого императрица велела остановить свою коляску.

— Очень рада, что вас встретила... Как ваше здоровье?

— Почтительно благодарю, Ваше Величество... Мое здоровье так хорошо, что, право, перед людьми совестно. Ведь мне, Ваше Величество, без малого девяносто лет.

— На вид вам нельзя дать больше шестидесяти.

Месье Изабе улыбнулся, подумав, что для этой молоденькой, начинающей жизнь женщины и шестьдесят, и девяносто лет, в сущности, одно и то же.

— Это моя племянница, — сказала императрица, — дочь моей сестры герцогини Альбы... Дитя мое, это наш знаменитый художник месье Изабе..

Девочка смущенно что-то пролепетала по-испански.

— Надо говорить по-французски, — строго сказала императрица. — Я хочу, чтоб она всю жизнь могла рассказывать, что видела собственными глазами Изабе, — улыбаясь, добавила она.

Хоть эти слова косвенно напоминали, что жить ему уже осталось недолго, месье Изабе оценил любезность и был ею тронут. Вблизи, при ярком солнце, императрица нравилась ему еще больше, чем во дворце, где он ее видал на вечерах. В выражении лица, в голубых глазах императрицы было то, что в молоденьких женщинах особенно трогало месье Изабе: свет от счастья, от доверчивости, от радости жизни. „Да, красавица, — подумал он. — Таких волос я никогда не видал, не светлые, не пепельные, нет такого цвета... А глаза!.. Вот только чуть-чуть удлинить снизу овал лица, и красивее женщину представить себе было бы невоз-

можно...“ Как знаток, он оценил и пальмировский туалет императрицы, и шляпу, тонко подобранную к необыкновенному цвету ее волос. „Кажется, и шиньона не носит... Сама ввела в моду, а ей-то он и не нужен...“

— Отчего вы давно у нас не были? — спросила императрица. Она, видимо, не знала, о чем разговаривать, но, зачем-то остановив старика, считала нужным поговорить с ним еще минуту-другую. — Император всегда так вам рад... А я хотела с вами посоветоваться насчет своего портрета. Так все-таки кто же лучше: Винтергальтер или Дюбюф?

— Оба прекрасные художники, Ваше Величество, — поспешно сказал месть Изабе.

— Ах, как жаль, что вы не хотите меня написать! Я так желала бы...

— Ради Бога, не смейтесь над стариком, Ваше Величество, — со вздохом ответил месть Изабе. — Я давно больше не пишу, чтобы себя не позорить: кисть дрожит в моей руке.

— Я уверена, у вас и теперь вышло бы лучше, чем у всех молодых. Так непременно заходите к нам запросто. Император собирает еще вас спрашивать о старом придворном церемониале. Мы хотим, чтобы у нас все было, как было при покойном дяде, а ведь никто, кроме вас, не видел... — сказала она и вдруг покраснела. Месье Изабе ласково улыбнулся. Ему и забавно было, что эта молоденькая испанская графиня, чудом ставшая французской императрицей, еще вчера никому в мире не известная, называет дядей Наполеона I; но его и трогало, что она сама при этом смущается и краснеет, как девочка.

— Я весь к услугам Вашего Величества.

— Какой вы счастливец, месть Изабе! Вы знали дядю, вы писали его портреты.

— Ваше Величество, разрешите вам напомнить, — с усмешкой сказал месть Изабе, — я писал не только вашего дядю. Задолго до того я писал и вашу августейшую бабушку.

— Бабушку? — с недоумением переспросила императрица.

— Покойную королеву Марию Антуанетту, — пояснил месть Изабе. — Ведь супруга вашего дяди, императрица Мария Луиза, приходилась родственницей королеве Марии Антуанетте.

Императрица озадаченно на него смотрела. Улыбка месть Изабе была так ласкова и почтительна, что ни о

какой иронии не могло быть и речи. Но при мысли о том, что этот человек писал королеву, казненную на этой самой площади больше шестидесяти лет тому назад, императрице вдруг стало страшно. Она подумала, что нельзя и не надо жить так долго.

Поспешно простившись с месье Изабе, императрица приказала кучеру ехать дальше.

L'abondance des grâces où il plaisoit à Dieu de me combler et la paix dont il me remplissoit étoient si grandes que je ne pouvois presque m'empêcher de rire en toute rencontre*.

Клод Лансело

„Только бы не пришла и для нее беда“, — подумал месье Изабе, вспоминая то, что ему пришлось видеть на своем веку. Но он тотчас отогнал от себя грустные предположения и перевел мысль на дело: месье Изабе шел есть устрицы. Обедал он по-старинному, в пятом часу, а в полдень закусывал — чаще дома, но, случалось, и в ресторанах, когда можно было уйти от жены. Месье Изабе, прекрасный семьянин, очень любил свою вторую жену, как очень любил и первую, однако он не прочь был погулять и без нее. Он остановился у гастрономического магазина. Месье Изабе очень любил рассматривать витрины. В большой с низкими бортами коробке лежал ананас, симметрично окруженный грушами, как кегельный король кеглями. Рядом на блюде в заливном чернел пятнышками трюфелей огромный паштет. Сзади, возвышаясь над банками солений, корнишонов, сардин, торчали разные бутылки серебряными, синими, красными головками, одна красивее другой. Месье Изабе тотчас тронулся дальше, аппетит у него усилился.

При виде паштета и фруктов он вспомнил, что лакей императрицы держал в руке корзинку. „Верно, она опять ездила инкогнито к беднякам“, — с благодушной улыбкой подумал месье Изабе.

От своего приятеля Фульда, занимавшего должность министра двора, он знал, как устраиваются полицией благотворительные поездки императрицы. Фульд, веселый человек, очень забавно о них рассказывал в тесном

*Изобилие милостей, которое было угодно Богу мне испослать, и покой, которым Он меня наполняет, были столь велики, что я не мог удержаться от смеха при встрече (*фр.*).

дружеском кругу. Кучер привозил молодую императрицу к бедному дому в бедном квартале. Лакей оставался внизу, а императрица с корзинкой в руке по узкой, но чистой лестнице поднималась в *мансарду бедняков*, — префект полиции, впрочем, устраивал так, чтобы дом был не очень высокий и лестница не слишком крутая. На стук открывал дверь маленький, чистенько одетый мальчик и уставлялся на вошедших милыми заплаканными глазенками. Из глубины мансарды слышался кашель; больная женщина с добрым, грустным, изможденным лицом, тяжело поднявшись на постели, спрашивала слабым голосом: „Кто тут?“ Императрица подходила к постели и объясняла женщине, что братство св.Викентия поручило ей навестить большую вдову. Вдова растроганно благодарила и тихим прерывистым голосом рассказывала: да, ей живется плохо, очень плохо... Никто, конечно, не виноват. Всем теперь так хорошо при добром императоре Наполеоне, который так любит народ... А у нее горе за горем: умер любимый муж, сама она больна, но что же делать? О себе она не думает, а вот как накормить сегодня бедного голодного мальчика?.. У вдовы слезы лились из глаз. Императрица, тоже прослезившись, вынимала из корзины страсбургский пирог, пулярку, огромные груши, портвейн. „Это посылает вам братство“, — говорила императрица. Мальчик, плача от восторга, набрасывался на еду. Вдова рыдала слезами умиления. „Но вы! Кто же вы, наш ангел, наше Провидение?“ — восклицала вдова, покрывая поцелуями руки императрицы. „Мама, мама, посмотри! — вскрикивал в восторге мальчик. — Ведь эта прекрасная дама так похожа на нашу добрую императрицу!..“ Вдова смотрела на императрицу расширенными от ужаса и счастья глазами. Императрица, вытирая слезы, быстро ускользала из мансарды, оставив на столе вязаный кошелек с золотыми монетами — министр двора и префект полиции знали много вариантов благотворительной поездки. Месье Изабе слушал Фульда не без удовольствия — ничего дурного в этом, в сущности, не было, вреда никому никакого. „А ей, бедняжке, приятно, что их так любит народ. Для этого и „надо говорить по-французски“, — ласково улыбаясь, думал месье Изабе.

У кофейни, по обе стороны двери, в плетеных корзинах, стоявших ярусами на подставках, лежали устрицы и улитки. Месье Изабе прошел вдоль выставки, сквозь очки внимательно глядяваясь в корзины. Все

устрицы были очень хороши на вид; месье Изабе колебался между двумя сортами. „Разве по дюжине заказать каждого сорта? — задумавшись, спросил себя он. — Ох, не следовало бы“. Он, однако, тут же ответил, что, быть может, и жить-то ему осталось всего лишь несколько дней, тогда будет очень обидно не ответить в последний раз устриц. На всякий случай, хоть он и не был суеверен, месье Изабе постучал о деревянную трость высохшим средним пальцем левой руки. Это повредить никак не могло. Женщина за прилавком неодобрительно на него глядела, думая, что столь засидевшемуся на свете человеку неприлично и смотреть на выставку, а внукам просто грех, что отпускают его на улицу одного. Месье Изабе вошел в кофейню и выбрал место получше. Лакей отодвинул перед ним столик и принял заказ, думая то же, что и женщина за прилавком.

— Et comme boisson? J'ai de la bonne bière anglaise*, — сказал лакей.

Месье Изабе только на него посмотрел. Он знал, что это последняя, завезенная англичанами мода: запивать устрицы не вином, а пивом. Но месье Изабе относился с совершенным презрением к гастрономическим идеям англичан. Он внимательно просмотрел карту вин. Был вальмюр лучшего, 1846 года, но без звездочки, значит, полубутылок не было. Заказать целую бутылку было дорого и неблагоприятно. Но месье Изабе опять подумал, что, быть может, так закусувает в последний раз в жизни. Постучав о спинку дивана, он заказал целую бутылку вина.

Месье Изабе ел с большим аппетитом устрицы, не поливая их ни лимонным соком, ни соусом, — это тоже были глупые выдумки, только портившие вкус устриц. Вперемешку с мыслями об устрицах он думал и о разных делах. „Фульд, конечно, может устроить Генриетту... Не худо бы, если б нашелся жених в его собственной семье... Разница в религии не имеет большого значения, каждый в своей вере и останется... Устрицы хороши... Да, прелестная женщина императрица! Дай ей Бог счастья!.. Надо будет к ним зайти в Тюильри...“ Месье Изабе бывал во дворце и при Людовике XVI, и в ту пору, когда там заседал Комитет общественного спасения, и при Директории, и при Наполеоне I, и

*— Что будете пить? У меня есть отличное английское пиво (фр.).

при Людовике XVIII, и опять при Наполеоне, и при Карле X, и при Людовике Филиппе, — никто до сих пор долго во дворце не засиживался, и всем он приносил несчастье. „Ну а, может быть, им как раз и не принесет, — бодро думал месье Изабе. — А если и принесет, то что же делать? Нельзя же прожить всю жизнь без несчастий“. В глубине души он в эту мысль не верил: можно отлично и без всякого несчастья прожить жизнь.

От устриц и вина месье Изабе немного отяжелел. Ему захотелось соснуть. Но с этим признаком старости он всегда боролся и тут же решил, что вернется домой пешком: погода прекрасная. Допив вино, он расплатился, кивнул лакею и вышел, лишь чуть больше сгорбившись и чуть крепче опираясь на палку. Лакей кивал головой, подмигивая другим клиентам. Женщина за прилавком, следившая сквозь окно за тем, как закусывал месье Изабе, смотрела на него со смешанным чувством восхищения и ужаса. „Il ne va tout de même pas prendre une fille, au moins, le vieux?“* — спрашивала она себя.

Кто думает о смерти, тот уже наполовину умер.

Гейне

День был чудесный. Месье Изабе не хотелось возвращаться домой. „Разве пойти посмотреть последнего Делароша?“ — подумал он. Изабе аккуратно ходил на выставки. Война романтиков с классиками чрезвычайно ему надоела, он вдобавок никак не мог понять, в чем разница между классиками и романтиками. Месье Изабе всегда делил живописцев только по одному признаку: одни знали свое дело, а другие его не знали. Прежде, в начале этой затянувшейся войны, месье Изабе честно хотел понять, в чем дело; интересовался и тем, кто, собственно, он сам: классик или романтик. Но он ясно, с легким огорчением видел, что для модных молодых художников этого вопроса не было, они его даже и не поняли бы: месье Изабе представлял собою такую старину, о которой и говорить было совершенно неинтересно, все равно как самых страстных политиков не могли занимать мервинги и каролинги. Месье Изабе не обижался. Молодые художники немного его забавляли,

*„И все-таки он не возьмет женщину, по крайней мере, этот старик?“ (Фр.)

особенно романтики, — те, которые рисовали немного хуже, чем классики, но зато знали немного больше. Локуста отравляла ядом раба на глазах смеющегося Нерона. Свирепые турки с хохотом резали беззащитных женщин и детей. Дикая лошадь мчала привязанного к ее хвосту Мазепу. Солдаты Кромвеля оскорбляли Карла I. Гелиогабал отдавал своих гостей на съедение тиграм. Жена Саула отгоняла дубиной коршуна от трупов своих повешенных сыновей. „Смешные люди, где они отыскивают такие сюжеты?“ — думал месье Изабе, который за всю свою жизнь ни разу не видел, как хозяин отдает гостей на съедение тиграм и как мать отгоняет коршуна от трупов повешенных сыновей. „Верно, не так все это было. А если было и так, то незачем вспоминать обо всех этих гадостях... А если уж вспоминать, то надо знать, о чем пишешь. Какую-нибудь драму прочел, в альбом заглянул — вот и готов исторический живописец...“

Месье Изабе потому было особенно трудно понять разницу между классиками и романтиками, что он отлично их всех знал, как знал их дела, их родителей, их жен, их любовниц: все эти молодые люди казались ему довольно похожими один на другого, все одинаково выбивались из сил для того, чтобы обратить на себя внимание публики. „В этом нет ничего дурного, но откуда же такая лютая борьба партий? Почему мальчишка Поль, которого вчера еще ставили в угол за украденный пирог, — романтик? Почему дурачок Жорж — классик?“ — думал весело месье Изабе, прохаживаясь по залам выставки. Благодушное недоумение, однако, его оставляло, когда он смотрел на картины вождей школ. От некоторых картин он отходил с невольным вздохом. Но месье Изабе так любил искусство и был так добродушен, что тотчас побеждал в себе чувство зависти. „И для меня где-нибудь найдется уголок в Лувре“, — утешал себя он. Страстная ненависть Энгра к Делакруа была ему непонятна. „Все равно висеть им в музее рядом, и в каждые десять лет будут венчать и развенчивать то одного, то другого“.

Месье Изабе раздумал идти на выставку: „Опять кого-нибудь задушат или еще на какую-нибудь Локусту наткнешься, не надо...“ Ему в этот солнечный день, после вина и устриц совершенно не хотелось смотреть на убийц, даже на очень хорошо написанных. Месье Изабе вспомнил, что вечером будут гости, зашел в кондитерскую и заказал торты, печенье, бутерброды, затем

еще немного погулял в надежде встретить знакомых, но никого не встретил. У Леспеса, как всегда, был съезд элегантных дам. Месье Изабе присмотрелся, сравнил новых красавиц с прежними. Прежние, кажется, были лучше. Но и новые были очень недурны.

Вблизи Института одна из лавок открылась под новой вывеской. Здесь недавно была книжная торговля, потом хозяин прогорел, и лавка недели две оставалась заколоченной. Месье Изабе с неудовольствием увидел, что теперь тут погребальная контора. На черной доске уже висели серебряные буквы „*Repres funèbres*“*. Витрина была готова: на темно-синем шелке красиво выделялся большой темно-красный гроб, над которым на желясных подставках склонялись металлические венки. По бокам в черных рамах лежали объявления с черной каемочкой, с точками на пробелах — оставалось только вписать имя покойника. Объявление поясняло, что хозяин берет на себя решительно все: „*Déclaration de décès, achat de terrains, lettres de faire-part*“^z. Месье Изабе читал объявления хмуρο, точно эта заботливость хозяина казалась ему несколько бестактной. Неприятно было, что почти по соседству с ним поселился человек, который живет на счет покойников, которому, очевидно, желательна скорейшая смерть всех его соседей. „*Renseignements gratuits*“^а, — читал месье Изабе. Любезность хозяина лавки ему решительно не нравилась. „Ничего, не к спеху, — подумал он, осматривая гроб. — Да, неприятно, разумеется. А вот я все-таки не боюсь“. Месье Изабе действительно не боялся смерти и думал о ней редко. „Ничего худого быть не может... Правда, и хорошего тоже не будет. Два-три дня, верно, будут тяжелые... Да, жаль, конечно, а вот не боюсь. Скоро умру и не боюсь. А может, еще и не скоро умру... А может, хозяин до того еще успеет разориться, как разорился его предшественник...“ Месье Изабе с некоторым торжеством отвернулся от витрины и пошел дальше.

На углу, у кофейни, дымилась жаровня с каштанами. Месье Изабе очень любил каштаны — их сладкий бодрящий запах почему-то напоминал ему раннюю молодость. „Там, за углом, на улице Мясников, у постоянного двора, тоже была жаровня. Тот старичок-извозчик

* „Траурные церемонии“ (фр.).

^z „Объявления о смерти, покупка участков для могил, извещения“ (фр.).

^а „Бесплатная информация“ (фр.).

у нее грелся и рассказывал, как хорошо жилось при короле Людовике XIV...“ — Месье Изабе вспомнил что-то очень далекое, бывшее лет восемьдесят тому назад. „Ну да, и я засиделся, и хорошо сделал, что засиделся“, — подумал он, бодрясь, и, точно назло владельцу погребальной конторы, приказал отсыпать себе на три су каштанов.

L'essentiel dans ce monde est de combattre l'ennui*.

Из мемуаров Э. Делакруа

Прежде, еще очень недавно, месье Изабе жил открытым домом, постоянно принимая гостей. У него бывали, дружелюбно или по крайней мере вежливо беседовали, даже иногда играли в карты люди самых разных взглядов, нигде в другом месте не встречавшиеся. Тон месье Изабе при встречах, иногда для обеих сторон неожиданных, приблизительно означал: „Все вы, в сущности, прекрасные люди и уж, во всяком случае, стоите один другого; а потому, право, пора вам перестать называть друг друга подлецами и идиотами, — верьте старику, это и совершенно не нужно, и непристойно; а со всем тем делайте как знаете, но уж у меня в доме, пожалуйста, ведите себя прилично“. Тон этот вместе с обликом и характером хозяина придавал дому месье Изабе особое очарование, которому невольно поддавались самые воинственные и непримиримые люди, тотчас, впрочем, забывавшие об этом тоне по выходе на улицу. Раз в год у месье Изабе устраивались маскарады, считавшиеся самыми веселыми в Париже: на них гостей занимали известнейшие артисты, певцы, музыканты, — их только у него и можно было услышать и увидеть вблизи бесплатно. Был на доме месье Изабе и отпечаток некоторой вольности: как художник, еще больше как последний, чудом сохранившийся осколок восемнадцатого века, месье Изабе мог себе позволить больше, чем другие. Он был чрезвычайно расположен к молодежи и охотно в отеческом духе покровительствовал влюбленным. Иные строгие люди даже находили, что он покровительствует влюбленным чрезмерно. На старой квартире месье Изабе в его мастерской был диван, известный всему Парижу. Крышка этого дивана поднималась, и под ней открывалась винтовая лестница, шедшая в

*Главное в этом мире — сражаться с врагом (*фр.*).

нижний этаж дома: таким образом влюбленные, назначавшие друг другу встречи у месье Изабе под предлогом заказа портретов, могли в случае надобности скрыться совершенно незаметно, притом не просто черным ходом, а поэтично, по скрытой в диване витой лестнице.

Теперь многое изменилось. Вторая жена месье Изабе была слабого здоровья. Сам он больше не писал, а в Институте, где он по знакомству и связям получил прекрасную бесплатную квартиру, никаких витых лестниц не было; диван заколотили гвоздями. Месье Изабе принимал теперь гораздо меньше. Обязанности хозяйки обычно исполняла молоденькая дочь Изабе: она родилась, когда ему уже шел восьмой десяток, — это событие в свое время очень развеселило парижан. Помогала ей другая хорошенькая барышня, постоянно торчавшая в доме. Ее называли ученицей месье Изабе; она чрезвычайно походила на него лицом. Близкие люди знали, что месье Изабе чрезвычайно любит своих барышень и очень хочет поскорее и получше выдать их замуж, собственно, это и было на старости лет его единственной заботой. Для барышень он еще иногда устраивал маленькие вечера. Жених мог, конечно, найтись и сам собою, но месье Изабе думал, что легче женихи находятся в тех случаях, когда их ищут. Он думал также, что любовь — великое дело и, бесспорно, самое главное в жизни; но в условиях беззаботной, веселой, обеспеченной жизни любовь и возникает легче, и протекает много приятнее. Он и хотел создать для своих девочек такие условия.

Главные надежды месье Изабе возлагал на Фульда. Старый банкир Бер Фульд, с которым его когда-то связывала прочная дружба, умер. Но сын банкира, ставший министром двора, любимец императора, один из богатейших людей Франции, по мнению месье Изабе, легко мог найти прекрасного жениха для Генриетты. Фульд пользовался теперь в Тюильри особой милостью потому, что был одним из вождей так называемой партии брака по любви: большинство министров стояли за династический брак императора с какой-либо иностранной принцессой. Партия Фульда одержала победу, и молодая императрица особенно к нему благоволила. Месье Изабе надеялся на Фульда, с которым поддерживал дружеские отношения: этот умный, веселый, чуть циничный, но незлобиво циничный человек ему нравился. Фульд был очень тщеславен, однако его тщесла-

вие было так явно и наивно, что не вызывало раздражения в месье Изабе, — он с годами становился все снисходительнее к людям.

Parmi les membres du Sénat et du Conseil d'Etat convoqués à l'Elysée, le 26 janvier, pour recevoir communication de leur nomination, accepter et remercier, se trouvait un homme jeune, actif, spirituel, dévoué, ancien député d'Alsace à l'Assemblée Nationale et qui, ayant servi parmi les Chevalier-Gardes de l'empereur de Russie, était rentré en France, à la suite d'un duel qui avait diversement passionné la société de Saint-Pétersbourg*.

Из мемуаров Гранье де Касаньяка

Месье Изабе предчувствовал, что вечер будет вялый и скучноватый. Гостей было приглашено человек десять, самая неудобная цифра: слишком много для общей дружной беседы под управлением хозяев, слишком мало для большого приема, при котором гости предоставляются самим себе. Чтобы облегчить свою задачу, месье Изабе придумал чтение: молодая романистка согласилась прочесть свою последнюю новеллу. Месье Изабе надеялся, что романистка имеет совесть и больше получаса читать не будет. Но уверенности у него не было, хотя он накануне многозначительно сказал мужу романистки, очень влюбленному в нее архитектору: „Je te dis que ce sera un régal! Vingt minutes de lecture, avec le talent de la petite, ce sera un vrai régal!“*

Самый важный гость был Фульд. Он был, правда, свой человек в доме, однако очень почетный свой человек: месье Изабе знал, что и с сыном старого приятеля нельзя обращаться чересчур фамильярно, если этот сын приятеля стал министром двора. О Фульде говорили в обществе, что ему всегда решительно все удава-

*Среди членов Сената и Государственного совета, собравшихся в Елисейском дворце 26 января, чтобы получить извещения об их назначениях, принять и поблагодарить, находился молодой человек, подвижный, остроумный, услужливый, бывший депутат Национального собрания от Эльзаса, служивший ранее кавалергардом русского императора; он вернулся во Францию после дуэли, которая взволновала Санкт-Петербургское общество (Фр.).

„Я говорю тебе, что это будет полное удовольствие! Двадцать минут чтения, не без таланта, полное удовольствие!“ (Фр.)

лось. Это чувствовалось и в выражении его сияющего лица. Он не был ни нахальным, ни надменным человеком, но совершенно независимо от его воли вид его неизменно говорил: „Да, действительно, все всегда мне удавалось, и погодите, то ли еще будет дальше!.. А впрочем, у вас тоже могут быть кое-какие успехи, и я даже не прочь вам помочь, если это не будет очень утомительно“. У Фульда было много врагов.

Другие гости были в большинстве люди молодые и незначительные: художники, друзья сына Изабе, подруги Генриетты, музыкант, дававший ей уроки. Среднее место занимала красавица Пайва, о которой с каждым днем все больше говорили в Париже. Она была и маркиза, и богачка, но почетной гостьей ее было трудно признать хотя бы потому, что в очень многих домах маркизу не пустили бы на порог. Недоброжелательницы называли ее то авантюристкой, то еще худшим словом. Биография маркизы была в самом деле бурная. Пайва, дочь портного Лахмана, родилась и выросла в Москве, скиталась по всем столицам Европы, была три раза замужем, бросила трех мужей, разорила нескольких любовников, русского князя, английского лорда, двух французских герцогов, а теперь жила в свое удовольствие, по-видимому, менее всего заботясь о том, что о ней говорят люди вообще, а светские дамы в частности.

Так и на этот раз, появившись у месье Изабе, Пайва не обратила ни малейшего внимания на грустный и достойный вид, с которым встретила ее хозяйка. Маркиза Пайва с дамами разговаривала редко, а из мужчин признавала только очень известных людей. У месье Изабе известных людей в этот вечер было немного, и у маркизы был явно скучающий вид. Она только Фульда и выделила из числа гостей; но министр двора был очень немолод. Фульд, страстно любивший женщин, тотчас подсел к красавице и не отходил от нее весь вечер, занимая ее рассказами об императоре.

Барышни, подруги мадемуазель Генриетты, с жадным любопытством следили за дамой, о которой говорили столько волнующего и дурного. Туалет на ней был умопомрачительный: по богатству нарядов, по умению одеваться, по драгоценностям Пайва соперничала с императрицей; некоторые даже находили, что она императрицу затмевает.

Месье Изабе встретил маркизу чрезвычайно приветливо и любезно. Он всегда ее защищал, говоря, что

никому нет дела до биографии такой красавицы и до ее образа жизни. „А она еще и умница“, — добавлял убежденно месье Изабе.

— Я боялся, что вы уехали куда-нибудь на дачу, — говорил он, с трудом придвигая свое кресло к креслу маркизы.

Фульд смотрел с легким неудовольствием на старика.

— A la campagne, moi? Quelle idée! Je suis comme ce cher Auber qui dit: „La campagne, c'est bon pour les petits oiseaux“*, — ответила Пайва.

В это время в гостиную вошел последний гость, наиболее почетный после Фульда. Он был сенатор, однако молодой, как сообщали газеты, самый молодой из всех сенаторов. Дамы тотчас сосредоточили на нем внимание. Пайва навела на него лорнет и с минуту не отрывала. Это был очень красивый, атлетического сложения человек, превосходно, с иголки одетый, изысканно любезный и обаятельный. Он был француз, но говорил с легким немецким акцентом. Носил он иностранную фамилию — его усыновил какой-то голландский барон. Фульд шепнул Пайве, что император очень благоволит к новому гостю: после переворота он был назначен членом совещательной комиссии, а затем отправлен с важной миссией к иностранным монархам.

С приходом сенатора в гостиной сразу стало веселее. Фульд отошел на второй план. Молодой сенатор сразу оживил разговор, до того довольно вялый, весело занимал дам и всем говорил любезности, правда, чуть-чуть однообразные по тону. У Пайвы вид стал менее скучающий, писательница отметила в памяти некоторые черты сенатора для будущего романа, барышни очень оживились, и все в гостиной сразу почувствовали, что этот человек по природе предназначен быть душой общества.

Рядом с гостиной, в столовой, был устроен буфет. Месье Изабе, чтобы не обременять жену, все поручил кондитерской. На старости лет он стал бережливее и буфет заказал всего на десять человек, хоть с хозяйками было больше, и заказал по второму разряду, так что бутербродов с икрой не было. Молодые художники с интересом поглядывали в сторону столовой, соображая,

*— Я на дачу? Что за мысль! Я, как Обер, который говорил: „Дача — это хорошо для маленьких птичек“ (фр.).

что будет раньше: позовут ли к буфету или начнут чтение? Горничная в швейцарском костюме, помогавшая лакею из кондитерской, вошла в гостиную с подносом, на котором стояли стакан и графин с оршадом. Молодые художники поняли зловещий признак: раньше будет чтение. Романистка немного побледнела и неожиданно, к изумлению гостей, закурила сигару. Месье Изабе ласково улыбнулся; он знал, что это делается в подражание Жорж Санд, — ему было смешно: романистка, очень славная женщина, жившая с мужем в любви и согласии, ничем, кроме сигары, Жорж Санд не напоминала. „Она, бедненькая, собственно, защищается в чужом обществе этой сигарой, как та своей презрительной улыбкой“, — подумал месье Изабе. При виде сигары муж романистки, грузный, добродушный человек в очках, робко оглянулся на хозяев, но тотчас успокоился, увидев ласковую улыбку месье Изабе, и засуетился, передвигая столик и свечи. „Она любит, чтобы свет не падал на лицо“, — взволнованным шепотом объяснил он месье Изабе, который одобрительно кивал головой. Пайва смотрела на писательницу, презрительно улыбаясь. Фульд вздохнул и устроился в кресле поудобнее. Сенатор шепотом заканчивал рассказ мадемуазель Генриетте:

— Император Франц Иосиф? Очень любезный юноша. Я потом вам расскажу об австрийском дворе...

Муж молодой писательницы принес из передней изящный кожаный портфель и, как святыню, вынул из него рукопись в зеленой папке, к толщине которой тотчас примерилась публика. Папка была тоненькая. Месье Изабе вздохнул свободнее. Наступило молчание. Писательница, не открывая папки, сказала от себя несколько слов: сюжет новеллы заимствован из хроники итальянского средневековья. Действие происходит в Равенне в эпоху видама Поленты.

— Разумеется, дело не в фактах, важно было передать только дух, — сказала писательница. — Дух Равенны и дух средневековья...

Писательница вдруг уронила портсигар. Ее муж рванулся из своего угла, но не поспел: сенатор, весело улыбаясь, уже подавал портсигар писательнице. Она поблагодарила его улыбкой и, открыв книгу, принялась читать.

Равеннский злодей из эпохи видама Поленты совершал одно преступление за другим. Барышни слушали с ужасом: в темную комнату войти после этого чтения

было бы нелегко. Фульд дремал, поглядывая сбоку на зевавшую маркизу. Месье Изабе кивал головой, изо всех сил борясь с дремотой: он теперь легко засыпал. Архитектор в очках с волнением следил за слушателями и изредка что-то беспокойно шептал на ухо соседям, но все не доканчивал, чтобы не оторвать их от новеллы.

Чтение продолжалось тридцать пять минут — писательница все-таки имела совесть. Окончив, она захлопнула папку и с милой улыбкой наклонила голову. Раздались рукоплескания. Месье Изабе, перегнувшись в кресле, поцеловал писательнице ручку и с восторженным выражением на своем добром старческом лице сказал ей что-то очень приятное. Другие гости тоже говорили комплименты. Фульд требовал, чтоб новелла была возможно скорее напечатана, и посоветовал обратиться в „Revue des Deux Mondes“, но пожалел об этом совете, так как архитектор тотчас попросил дать рекомендательное письмо к редактору. Фульд обещал горячо отрекомендовать новеллу устно.

— Ей важно было передать дух средневековья, — пояснял архитектор. — Вы понимаете, дух...

— И он передан чудесно, — любезно подтвердил сенатор.

Затем все перешли в столовую. Вечер был нескучный. Общей беседы не было, но по группам разговор не умолкал.

— Я все-таки хотел бы знать, что именно вы желали сказать своей превосходной новеллой? — озабоченно спросил месье Изабе, подавая романистке тарелку с куском торта. Месье Изабе чувствовал, что романистка ждет и серьезного обсуждения новеллы.

— Ей, собственно, важно было передать дух... — начал архитектор, но романистка тотчас его перебила:

— Меня интересовал образ совершенного злодея, человека без всяких нравственных устоев, — сказала она и покраснела. — Для этого я и удалилась в глубь веков.

Месье Изабе изобразил на лице полное удовлетворение.

— Теперь я понимаю.

— Это чрезвычайно интересно, — сказал Фульд, — но что вы считаете основным признаком злодеяния?

— Основным признаком?.. Разумеется, вред, причиняемый обществу.

— Это верно, — подтвердил сенатор. — Преступно то, что вредит обществу.

Фульд немного поспорил, преимущественно обращаясь к Пайве. Он доказывал, что настоящие злодеи — дело прошлого, больше их никогда не будет. Дамы с сожалением соглашались. Только Пайва упорно молчала и улыбалась все презрительнее. Романистка отвечала очень бойко. Архитектор в очках снял от гордости. Спор у буфета продолжался минут пять. По мнению месье Изабе, этого было совершенно достаточно, тем более что на тарелках уже почти не оставалось бутербродов и пирожных. Гости были переведены назад в гостиную и там разбились на группы. Прежнего стеснения не было. Фульд опять оказался рядом с Пайвой и уже переходил в словесное наступление: он не любил терять даром время, а это дело безнадежным не считал. Хозяйка говорила с мужем писательницы. Барышни занимали сенатора. Мадемуазель Генриетта показала ему великолепный дагерровский аппарат, полученный ею от отца в подарок ко дню рождения. Аппаратом неожиданно заинтересовалась и Пайва, — сенатор, как перышко, поднял и перенес ящик, хоть аппарат был чрезвычайно тяжелый.

Мадемуазель Генриетта, робея, объясняла маркизе устройство дагерровского аппарата, вынула из ящика прямоугольную камеру-обскуру с поднимающейся крышкой, йодную коробку с выдвигной пластинкой, хорошенький домик для ртути с термометром и со спиртовой лампочкой внизу. Набравшись храбрости, она предложила маркизе как-нибудь, при случае, ее снять. Но Пайва решительно отказалась.

— Это слишком утомительно, — сказала она, — ведь, кажется, надо сидеть неподвижно минут двадцать?

— О нет! Лишь бы платье было не белое, тогда в солнечный день на террасе десяти минут совершенно достаточно.

— Все равно... Это тоже превышает мои силы.

По просьбе писательницы месье Изабе показал свою коллекцию миниатюр. Вокруг него столпились гости, любуясь чудесными портретами. Месье Изабе со вздохом называл имена — все эти люди давно умерли.

— Это бедный римский король... Это герцогиня Ангилемская... Это княгиня Волконская, русская... Я ее писал в Вене, на конгрессе... Ах, какая была красавица... Право, лучше вас! — сказал он, обращаясь к маркизе. Мадемуазель Генриетта даже вздрогнула, с удивлением взглянув на отца; но месье Изабе улыбался

спокойно-добродушно, зная, что Пайва не обидится. Пайва только гордо улыбнулась.

— Это, дорогой друг, вам так кажется потому, что вы тогда были лет на сорок моложе, — сказал Фульд.

— Очень может быть... Это герцогиня Дино... А вот опять русская, княгиня Багратион. Она еще жива... Очень красивы русские женщины, — сказал месье Изабе и запнулся. Он вдруг вспомнил, что у сенатора была много лет тому назад неприятная история в России, где он кого-то убил на дуэли. Этот поединок создавал барону огромный престиж у дам. Месье Изабе подумал, что, быть может, лучше было бы не говорить о России. „Впрочем, нет, он сам был женат на русской и чуть ли не на родственнице убитого...“

Разговор о России нисколько не был неприятен сенатору. Он подтвердил, что в Петербурге видал много писаных красавиц. Узнав, что сенатор долго жил в Петербурге, Пайва заговорила с ним по-русски. Но по-русски барон знал очень плохо.

— „Lioubliou...“, „Otchen krassiva...“, „Skolko stoit?..“ — выпалил он. — *J'ai tout oublié, madame, et je le regrette. J'adore tout ce qui est russe**.

Фульд, любезно улыбаясь влиятельному сенатору, рассказал о важной миссии, которую тот недавно выполнил с большим успехом. В этой миссии барону была предоставлена полная свобода действий. Отпуская его в Вену, император Наполеон сказал: „*Vous avez assez d'esprit et de monde pour n'avoir pas besoin d'instructions*“[#].

Сенатор не остался в долгу и, ввернув комплимент по адресу министра двора, рассказал о своей беседе в Берлине с царем. Заговорили об императоре Николае. Дамы спрашивали, так ли он действительно красив, как на портретах.

— Теперь он стар, но лет двадцать тому назад, когда я его увидел впервые, величественнее не было человека на свете, — подтвердил сенатор.

Разговор тотчас перескочил на политику. Фульд сказал, что, к несчастью, война с Россией была неизбежна.

Месье Изабе, вдруг рассердившись, стал доказывать, что война нисколько неизбежной не была.

* — Я все забыл, мадам, сожалею. Я обожаю все русское (фр.).

„У вас достаточно ума и опыта, чтобы не нуждаться в инструкциях“ (фр.).

— Зачем нам и русским ни с того ни с сего резать друг друга? — сердито спрашивал он.

И министр, и сенатор улыбались.

— Поездка князя Меншикова в Константинополь и вся политика императора Николая сделали войну для нас вопросом чести, — сказал Фульд.

— Это я слышал много раз, на моей памяти были десятки войн, и все они были совершенно ни к чему... Говорю это вам, как когда-то говорил генералу Бонапарту, — сказал с раздражением месье Изабе, и тотчас эти слова „говорил генералу Бонапарту“ произвели магическое действие на слушателей. Все вопросительно уставились на старика, ожидая продолжения.

— Неужели говорили генералу Бонапарту? — с любопытством спросил Фульд.

— Ну да, говорил... Помню, однажды в Мальмезоне я у них обедал. Первый консул вышел к столу мрачнее тучи: как раз перед обедом он получил сообщение об убийстве императора Павла... Все шепотом говорили, что теперь война неизбежна...

Он замолчал.

— А что же первый консул?

— *Le premier consul! Il se fichait bien de ce que je lui disais**, — ответил месье Изабе. Все засмеялись. Маркиза Пайва попросила хозяина рассказать о королеве Марии Антуанетте.

— Говорят, вы ее знали, но этому, право, трудно поверить!

— Конечно, знал, — подтвердил месье Изабе. — Я был юношей, когда впервые ее увидел. Мне поручено было написать портрет маленьких племянников королевы, герцогов Ангулемского и Беррийского... Сажу я в детской, пишу... Вдруг суматоха, бегут люди: „Королева идет!“ Я обмер... Вошла... — Месье Изабе задумался. — Тоже красавица была...

— Ну, и что же?

— Села подле меня, смотрит... С тех пор я привык к королям, много их перевидал на своем веку. А тогда было в первый раз, да и не такое было время: мы их считали богами, а не людьми. Пишу и дрожу... Она улыбулась, встала, поцеловала племянников, а мне говорит: „До свидания, дитя мое, вы очень хорошо работаете...“ Видно, я ей понравился: через три дня меня

*— Первый консул! Он не считался ни с чем, что я говорил (Фр.).

пригласили в Трианон писать королеву... А с тех пор и вошел в их общество. На балах бывал, дурачился...

— А потом? — спросил архитектор.

— Что потом? — сердито переспросил месье Изабе. — Потом была революция, вы, верно, слышали? Казнили королеву... — сказал он, и, как утром императрице Евгении, всем вдруг стало страшно.

— А вы знаете, господа, — сказал сенатор, — из Мексики только что получено печальное известие: скоропостижно, от холеры, умерла графиня Росси...

— Графиня Росси?.. — бледнея, повторил Фульд.

— Кто это — графиня Росси? — спросил архитектор.

— Разве вы не знаете? Генриетта Зонтаг...

— Не может быть!..

Фульд был поражен. Он в молодости увлекался Зонтаг — и чрезвычайно боялся смерти.

— От холеры!..

Старшие из гостей вспоминали знаменитую певицу, ее красоту, ее триумфы, соперничество с Малибран, их шумевшую ссору, их примирение.

— Вы помните, английский посол в Берлине тщетно домогался ее руки... Как его звали?.. Забыл...

— Несколько человек покончили из-за нее самоубийством...

— Это прусский король устроил ее брак с молодым Росси...

— Да, и тогда она должна была, бедняжка, бросить сцену по требованию семьи мужа... В расцвете сил и таланта...

— Хорошо, что Росси разорился и ей не так давно пришлось вернуться на сцену.

— Да, после двадцати лет!

— Но публика ее встречала так же восторженно, как прежде...

— Ну, все-таки не как прежде...

— Бедная! Поехала на гастроли в Америку, чтобы умереть там от холеры.

Фульд с ужасом представлял себе смерть Генриетты Зонтаг: эта богиня в холерных корчах, на постоялом дворе, в Мексике!..

Гости еще поговорили о графине Росси, о других новых певицах. Затем госпожа Изабе усадила дочь за флигель-фортепиано — муж забыл главную цель вечера: надо было показать таланты Генриетты. В четыре руки с учителем музыки она сыграла что-то из Бетховена. Ее игру очень хвалили. Даже маркиза Пайва,

сама прекрасная музыкантша, сказала ей комплимент. Месье Изабе, вошедший во вкус воспоминаний, сообщил, что встречал Бетховена в Вене, на конгрессе.

— Очень странный был человек... Его у нас тогда совершенно не знали. Но один мой приятель, князь Разумовский, уже в ту пору предвидел его нынешнюю славу.

Учитель музыки сообщил, что в последние годы жизни Бетховен готовил новое произведение, по сравнению с которым померкли бы все другие. Оно должно было называться десятой симфонией. В нее Бетховен хотел вложить всю свою душу. Однако ему так и не удалось написать десятую симфонию, только мечтал — и, мечтая, умер.

— Неужели? — спросил месье Изабе, на этот раз с искренним интересом. Он вздохнул и задумался. — У всякого человека есть своя десятая симфония, — сказал он.

— Это правда, — подтвердил, глядя на маркизу, Фульд, уже успевший успокоиться после неприятного известия. Ему хотелось высказать глубокую мысль. — В сущности, ведь мы все неудачники.

Гости засмеялись — так неожиданны были эти слова в устах человека, которому решительно все удавалось в жизни. Удивление гостей льстило Фульду, но он отстаивал свою мысль. Разговор принял характер философский. Романистка привела цитату из Гёте. Фульд и сенатор могли поддержать разговор и о Гёте.

Гости разошлись в одиннадцатом часу, зная, что старику хозяину не следует засиживаться поздно. Месье Изабе со свечой в руке поднялся по лестнице. Спальни в его квартире были расположены во втором этаже. Умывшись, он в темно-красном шелковом халате зашел к жене и посидел минут пять у нее, обмениваясь с ней впечатлениями. Жена говорила, что Пайва неприятная, наглая женщина, что ее пригласили совершенно напрасно.

— Вместо того чтобы быть благодарной порядочным женщинам, которые ее принимают, она протягивает два пальца!..

Месье Изабе ласково успокаивал жену. Он знал, что спорить, по существу, бесполезно: ведь все сумасшедшие. Теперь эта мысль у него окончательно определилась и упрочилась. Скрывая зевоту, он доказывал, что мадам Изабе ошиблась, что Пайва, в сущности, была очень любезна, что внешняя резкость — просто ее ма-

нера, объясняющаяся всей ее жизнью и, быть может, застенчивостью.

— Это она застенчивая? Только ты можешь такое сказать!

— Да и Бог с ней! Вечер сошел прекрасно...

С этим госпожа Изабе согласилась. Все было очень хорошо.

— Фульд был очень любезен. Но вот кто, действительно, очаровательный человек — это барон. Такой милый и такой интересный!..

Месье Изабе неохотно согласился. Ему не очень нравился сенатор.

— Да, приятный человек...

— Мало сказать: приятный. Он просто очарователен!.. Как жаль, что он вдовец и настолько старше Генриетты. Почему ты улыбаешься? — с досадой спрашивала госпожа Изабе. — Я знаю, что Генриетта тебя мало интересуется. Ты все думаешь о твоей первой семье... Я отлично знаю, мы обе с Генриеттой ровно ничего не значим, лишь бы Евгению было хорошо!

Месье Изабе так же ласково это отрицал: он больше всего любит ее и Генриетту. Фульд, наверное, найдет для Генриетты жениха. Она еще очень молода.

Успокоив жену, он поцеловал ее в лоб и ушел в свою спальню.

...Свой длинный развивает свиток...

Пушкин

В спальне месье Изабе по вечерам приводил в порядок старые бумаги, которых у него накопилось чрезвычайно много. Для этой работы, занимавшей его в последнее время, он заказал в большом количестве папки, портфели, алфавитные указатели. Хоть писал месье Изабе не так много, у него на столе всегда были в изобилии карандаши всех цветов и величин, превосходно очиненные перья, сургуч, баночки с песком. Неразобранные бумаги лежали в ящиках стола. Месье Изабе поставил свечу на стол, зажег о нее другую, сел, надел очки и принялся разбирать бумаги. Он брал наудачу письмо из кучи и старался по почерку вспомнить, кому оно принадлежало; в большинстве случаев это ему удавалось, зрительная память у него была необыкновенная, но с почерком чаще связывалось лицо, чем имя. Некоторые письма он перечитывал, другие, не просма-

тривая, откладывая в соответствующую папку, совсем ненужные бросал в огонь — около стола в камине еще горели уголья. Месье Изабе прекрасно понимал, что после его смерти все эти бумаги никого на свете интересовать не будут, однако работа доставляла ему удовлетворение.

В груди старых писем месье Изабе попала карточка в траурной кайме. Он нехотя в нее заглянул, карточка была составлена по-немецки. „Ах да, еще сегодня о нем говорили... Почему сегодня о нем говорили?“ Месье Изабе не мог вспомнить, и это было ему неприятно. „Да, ничего не поделаешь, уже немного темнеет в голове... А по-немецки, кажется, еще кое-как помню... „Constantina-Domenica, Fürstin Rasoumoffsky, geborene Graefin von Thürheim, Sternkreutz-Ordens-Dame, giebt hiemit geziemende Nachricht... — что такое „geziemende Nachricht“?.. — von dem für sie hoehchst betrübenden Todesfalle ihres innigst verehrten und geliebten Gemahls, des durchlauchtig hochgeborenen Herr Andreas Fürsten Rasoumoffsky...“ Да, прекрасный был человек... „Ritter der kaiserlichen...“ Это о его орденах... Да, вот тебе и ордена! „...Nach Schwertberg in Oberösterreich, zur Beisetzung in der graeflich Thürheimischen Familiengruft“... — читал медленно месье Изабе, больше угадывая, чем понимая значение немецких слов. „Ведь он перед смертью перешел в католическую веру, жена заставила и та, ее сестра, канонисса“, — неодобрительно подумал месье Изабе: он был католиком, но нашел, что каждый человек должен умереть в той вере, в которой родился. „Впрочем, он всегда был западный человек... А все-таки, верно, это ему было, бедному, тяжело... Зачем только люди не дают покоя друг другу?..“ — Месье Изабе соображал, в какую бы папку положить карточку, и не придумал: для траурных объявлений не было заготовлено папки. Он вздохнул и бросил карточку в камин. Уголья занялись ею не сразу. Через минуту огонь ухватился за уголок, карточка вспыхнула, сгорела и неровной черной тоненькой коркой опустилась на уголья.

* „Константина Доменика, княгиня Разумовская, урожденная графиня фон Тюргейм, кавалер ордена Штернкройц, настоящим извещает... о чрезвычайно прискорбном для нее событии, кончине ее глубокоуважаемого и любимого супруга, высокорожденного господина Андреаса, сиятельного князя Разумовского...“ (...) „Кавалер царского...“ (...) „...Подле Швертберга в Верхней Австрии, для захоронения в фамильном тюргеймском склепе...“ (нем.)

Месье Изабе работал до полуночи, потом взглянул на часы, потянулся и сделал большое усилие: опершись руками на доску стола, он встал, перевел дух, взял со стола подсвечники и отошел к стоявшему у стены высокому креслу. Он поставил на столик у кресла дрожавшие в его руках свечи и устроился на ночь поудобнее; протер очки, взял со столика толстую книгу. Месье Изабе спал очень мало, больше урывками — иногда всего пять — десять минут. Читал он преимущественно старые журналы с печатью покрупнее. У него были переплетенные комплекты за очень много лет. Здесь были рассказы о том, что делалось на свете в последние сто лет, — месье Изабе почти все это помнил, биографии знаменитых людей века — месье Изабе почти всех их знал.

Он читал, дополняя рассказы тем, что ему вспоминалось, иногда дополнял и воображением — фантазия у него была по-прежнему богатая. Когда он засыпал, ему снились те люди, о которых говорили вечером гости. Просыпаясь, он вздрагивал, оглядываясь на свечу, поправлял очки, с трудом поднимал свалившуюся на ковер книгу и снова читал или думал. Думал о том, как хороша жизнь, как люди ее не ценят, как не видят всей ее красоты и как всячески отравляют ее себе и в особенности другим.

Могила воина

(СКАЗКА О МУДРОСТИ)

Seek out — less often sought than found
A soldier's grave, for thee the best,
Then look around and choose the ground,
And take the rest*.

Предсмертные стихи Байрона

I.

Пещеру приема решено было устроить на этот раз у Флориана. Вначале мастер-месяц, полный, рыхлый, краснолицый брюнет лет сорока, не хотел об этом слышать и даже, по своему обыкновению, вспылил: „Все имеет границы! Можно пренебрегать уставом, но не до такой степени! Бог знает что вы предлагаете!..“ По уставу в самом деле требовалось обставлять величайшей тайной собрания карбонариев; устраивать баракку в наиболее людной кофейне Венеции было странно. Однако хозяин хижины, старый, седой адвокат, славившийся ораторским искусством и мастерством диалектики, спокойно, уверенно, разумно отстаивал свою мысль: „Ведь в этом-то вся штука: придет ли полиции в голову, что карбонарии собираются у нее под носом, на площади св. Марка! Мастер-солнце согласился с его доводом и привел еще свой: „Из-за наших особых условий мы все равно не можем соблюдать букву устава. Как вы знаете, по завесту древних угольщиков, идущему от Филиппа Македонского, баракка должна устраиваться в лесу. Где же в Венеции леса?“

Обычно и пещера приема, и рядовые баракки устраивались в уединенной вилле на Лидо. Хозяин хижины еще раз объяснил, что туда Байрон не явится — сказал, что в город, пожалуй, придет, ехать же вечером на остров не согласен: далеко, неудобно, боится простудиться. „Так что одно из двух: либо мы устроим барак-

*Поиски же для себя могилу воина. Ищут ее реже, чем находят. Она подбает тебе всего более. Осмотрись, выбери свое место — и отдохни. — *Пер. с англ. авт.*

ку как всегда, но тогда Байрона не будет. Если же вента считает полезным, чтобы он приехал, то лучше Флориана ничего не придумаешь“. Вента приняла во внимание, что управляющий кофейней — старый, испытанный карбонарий третьей степени, а лакей верхнего этажа тоже давно принят и тоже человек вполне надежный. „Верхние две комнаты мы и снимем: в той, что побольше, устроим баракку, в маленькой — камеру размышлений. Управляющий будет всем говорить, что комнаты сданы под обед в честь одного англичанина. Они часто сдаются под банкеты“. „Хороша будет баррака!“ — проворчал мастер-месяц. „Я все беру на себя. Рано утром мы перенесем к Флориану в корзине чашу забвения, треугольники, подсвечники — одним словом, все, что нужно“. — „И пни принесем в корзине?“ — „Нет, без пней придется обойтись. Мне поставят кресло, а все остальные будут сидеть на стульях...“ — „Так я и знал! Но ведь стулья у Флориана одинаковые, а вы, быть может, все-таки помните, что для третьей степени требуются пни повыше!..“

Хозяин хижины благодушно улыбался: знал, что мастер-месяц — фанатик устава, человек горячий, вспыльчивый, как порох, но золотое сердце — сначала вспыхнет, раскритичится, отведет душу, а затем уступит. Мастер-месяц в самом деле в конце концов уступил. „Ну что же, может быть, вы и правы. Во всяком случае, приятно будет насмеяться над полицией дорогого Меттерниха“.

Уступил он и по вопросу о церемониале приема. В венту на этот раз принимался приехавший ненадолго в Венецию грек Папаригопулос. Он карбонарием не состоял, но был видным деятелем гетерии филикеров, имел там степень жреца, считался кандидатом в пастухи и привез полномочия от великого мастера элевзиний. Принимать такого человека, как обыкновенного новичка, по обряду первой степени, было признано невозможным. Хозяин хижины предложил смешанный обряд первой и третьей степеней. Устав давал на это право. Мастер-месяц на смешанный обряд согласился, добившись значительных уступок в отношении подробностей. „А то сегодня отказываемся от пней, завтра вы еще прикажете отказаться от сосуда с угольями!..“ Вести заседание решено было, как всегда, по-итальянски: не переводить же весь ритуал. Но так как грек по-итальянски почти не понимал, то хозяину хижины разрешено было переводить вопросы на французский язык.

В шесть часов вечера посторонним людям доступ в верхний этаж кофейни был прекращен. Мастер-месяц затворил наглухо двери и, бранясь, сердито расставил на столиках чашу забвения, сосуды с тлеющими угольями, листьями, землей, водой и солью (воду и соль взяли внизу, в кофейне, — не приносить же свою воду к Флориану). У короткой стены комнаты поставили стол и три кресла, а вдоль более длинных стен — стулья для карбонариев: для старших — справа, для младших — слева. Над креслом хозяина хижины повесили крученую нить, трехцветную ленту, дерево с обращенными к небу ветвями. Управляющий кофейней беспокойно следил за работой и жалобно просил вбивать как можно меньше гвоздей. „Если б это был мой дом, было бы, разумеется, совершенно другое дело“, — говорил он смущенно.

Тем временем в соседней комнате, превращенной в камеру размышлений, мастер-солнце пробовал мешок, который надлежало надеть на голову греку. Мешок был неудобный, дышать было нелегко, несмотря на прорезанные отверстия. Папаригопулос имел немалый опыт по таким делам: гетерия филикеров славилась строгостью обрядов. Тем не менее он волновался. По уставу вновь принимаемый не имел права знать ничего до присяги, но в частном порядке Папаригопулосу было сообщено, что в барраке будет Байрон. Грек знал, что это очень знаменитый человек, да еще лорд, и боялся осрамиться. Свое вступительное слово он выучил наизусть, однако тревожился: вдруг найдет затмение — все забудет! Или одно и то же место, по игре памяти, повторит во второй раз? Еще больше он опасался вопросов: ответ на неизвестные вопросы приготовить заранее невозможно.

В семь часов хозяин хижины вошел в барраку, осмотрел ее, остался доволен и похвалил: все отлично. Мастер-месяц вспыхнул: как „все отлично“? Пни одинаковой высоты, крученую нить повесили вон куда, ритуал Бог знает какой, ни то ни се, а тут говорят „все отлично“!..

Стали появляться, с соблюдением всех мер предосторожности, другие карбонарии. Одни поднимались по лестнице на цыпочках, стараясь, проскользнуть незаметно; другие, более тонкие, напротив, нисколько не скрывались и шли с видом самым естественным: иду на обед в честь англичанина и знать ничего не знаю. Мастер-месяц требовал у всех пароль и кипятился, когда

не сразу вспоминали. „Так нельзя! Такое отношение просто невозможно!“ — сердито говорил он.

В ожидании начала барраки карбонарии поболтали о новостях и немного посплетничали. Хозяин хижины, прекрасный рассказчик, смеясь, сообщал подробности своей поездки к Байрону в окрестности города. Всем было известно, что с Байроном в вилле Ла-Мира живет графиня Тереза Гвиччиоли. Карбонарии знали также, что графиня недавно зачислена в *сад*: равеннская вента основала организацию, в которую принимались женщины. Как *садовница*, графиня Гвиччиоли, собственно, имела право явиться в барраку вместе с Байроном. Но хозяину хижины очень не хотелось ее звать: венецианские карбонарии сада не имели и женщины пока не принимали. Кроме того, он опасался скандала: одна из главных прежних любовниц Байрона грозила при встрече выцарапать графине Гвиччиоли глаза: еще не хватало бы, чтобы они в этот вечер встретились на площади св. Марка! К счастью, Байрон ни одним словом не упомянул о садовнице, так что приглашать ее не потребовалось.

— Что он в ней нашел? И красивого ничего нет. Ей двадцать лет — ну, если и врет, то двадцать пять, не больше, — а уже толста.

— Ах, нет! — вдруг, сладко улыбнувшись, сказал мастер-месяц. — Прелесть какая женщина! Но как относится к этому почтеннейший граф Гвиччиоли?

— Очень философски: требует с Байрона пять тысяч фунтов.

— Что за подлец! Да ведь он сам богат!

— Значит, хочет стать еще богаче.

Из камеры размышлений вышел мастер-солнце, уже все объяснивший Папаригопулосу. Греком интересовались мало: говорили только о Байроне. Хозяин хижины еще рассказал, что сумасшедший поэт привез из Равенны семь слуг, пять карет, девять лошадей, обезьяну, собак и еще каких-то петухов. Встает он в два часа дня — „когда я приехал, он принимал ванну!“ — питается только овощами, чтобы не пополнеть, но за обедом — „сам рассказывал!“ — выпивает две бутылки вина.

— Какого? — с сочувственным любопытством спросил мастер-месяц, знавший толк в вине и в еде.

— Я не спросил. А когда пишет свои стихи, хлещет джин с водой. Ему присылают из Лондона, — сказал, смеясь, хозяин хижины.

II.

У виллы Ла-Мира мальчишки, поджидавшие выхода хозяев, радостно закричали „Хромой! Хромой!..“ Байрон на лестнице с бешенством поднял хлыст. Лицо его искажилось. Мальчишки разбежались, продолжая орать. В карете графиня Гвиччиоли подавленно молчала: знала, что это у него больное место, но изумлялась, как великий человек может обращать внимание на подобные пустяки: хромота его, которую он научился отлично скрывать особой бегущей походкой, почти незаметна; он и со своим недостатком все же прекрасен, как греческий бог, — в последние месяцы быстро сидит, но от этого, пожалуй, стал еще прекраснее. Ей было известно, что Байрона многие считают сумасшедшим, и она сама порою этому верила; верила и теперь, искоса на него глядя.

Они молчали до самой Фузины. Тянулась скучная Брента, болота с рыжими растениями, чахлые умирающие деревья. Когда сели в гондолу, Байрон как будто успокоился и взял за руку графиню, чтобы оправдать свое долгое молчание. Она обратила его внимание на красоту заката, на розовевшие где-то вдали вершины снеговых гор. Считала себя обязанной говорить с поэтом о поэтических предметах и что-то процитировала на память из „Корсара“. Ее английское произношение всегда вызывало у него улыбку. Байрон рассеянно улыбнулся и теперь. Она повторила то же по-итальянски. Он подумал, что это и в подлиннике плохие стихи, а в итальянском переводе просто напыщенный вздор, которым не может искренне восхищаться ни один разумный человек, и что девять десятых его читателей, не знающих английского языка, сознательно или бессознательно обманывают себя и других.

Высвободив понемногу руку, он изредка — когда это казалось ему необходимым — обменивался замечаниями с Терезой. Заметил, что она — для него и для Венеции — надела стильное платье темно-зеленого бархата, обрадовался, что заметил (иначе вечером были бы попреки и, быть может, слезы), и преувеличенно похвалил, — она вспыхнула от удовольствия. Подумал, что любит ее, но не очень: приблизительно так же, как любил в последние годы других своих любовниц. Сам себя проверил: „Если бы она сейчас в гондоле умерла от разрыва сердца? Было бы крайне неприятно“. В этих мыслях тоже было что-то дешевое — то самое, что он в

последнее время видел в своих стихах, — не говоря уже о стихах чужих, — и во всем вообще, и, в частности, в *байронизме*. Распространившееся по Европе слово это и льстило ему, и было смешно, особенно по несоответствию с его *настоящей* душевной жизнью. Однако он подумал, что, вечно создавая невозможные, неправдоподобные человеческие образы, сам стал всерьез немного на них походить. И тут же решил при первом случае сказать печатно, что все эти Корсары и Манфреды, имевшие столь сказочный успех и создавшие ему славу величайшего писателя эпохи, в действительности необычайно способствовали падению в мире литературного вкуса.

Гондола подходила к Сакка-сан-Биаджо. Показалась залитая красным светом Венеция, и в сотый раз он испытал впечатление чуда при виде этого *затопленного* города, медленно разрушающегося города дворцов и церквей, города с людьми, не научившимися ходить как следует из-за гондол и каналов, города, в котором лодочники с лицами древних патрициев, не думая ни о какой литературе, поют строфы Торквато Тассо. „Ничего прекраснее нет на свете, — сказал он графине, — хоть все это нажито воровством: они присвоили себе в искусстве чужое — готический, византийский, арабский стили, — перемешали на своем солнце и создали изумительнейший город в мире“. — „A Venezia si sogna, a Roma si pensa, a Firenze si lavora, a Napoli si vive“*, — заметила она. Глупость поговорки его поразила. „Жаль, что из зверей в Венеции существуют только люди и крысы“, — сказал он и устыдился: это было замечание в духе плохого, давнего Байрона — одно из тех изречений, которые часто цитировались его поклонниками и врагами, а у него самого вызывали теперь отвращение. „Вы не находите, что я становлюсь глуп и пошл?“ — спросил он Терезу; желал придать вопросу покаянный тон, но вышло опять нехорошо, очень нехорошо. Он взглянул на графиню и увидел, что ей его изречение понравилось, что она вечером непременно это изречение запишет. „Я не нахожу, Байрон!“ — сказала Тереза восторженно. Его раздражало то, что она, ради поэзии и оригинальности, называла его по фамилии, но он почувствовал ее желание перейти в *гондольный* тон и, взяв ее за руку, заговорил самым байроновским своим, бархатным голосом, так чаровавшим женщин: „Tu sei e

* „В Венеции мечтают, в Риме думают, во Флоренции работают, в Неаполе живут“. — *Пер. с итал. авт.*

sarai sempre mio primo pensier... Non posso cessare ad amarti che colla vita...*

Он велел гондольеру остановиться у Riva degli Schiavoni, легко выскочил из гондолы, оставил в фельце хлыст и простился с графиней, условившись встретиться с ней в одиннадцатом часу в снятом им Palazzo Mocenigo. „Но не ужинайте, ради Бога, Байрон, мы поужинаем одни!“ — сказала она. Он кивнул головой и побежал вдоль дворца к площади. Графиня видела, что на Пьяццетте какие-то люди побежали вслед за ним. „Тотчас узнали! Может быть, и ждали здесь, чтобы на него посмотреть!“ — с гордостью подумала она. На берегу тоже собралось несколько человек. Они с любопытством глядели на отходившую гондолу. Одна дама с раздражением что-то говорила другой. Тереза Гвиччиоли поняла, что говорят о ее наружности, о наружности *любовницы лорда Байрона*«. Эта мысль наполняла ее счастьем. Графиня приняла в гондоле вид байроновской героини. Она не очень читала его книги — только просматривала и кое-что заучивала наизусть, чтобы цитировать, — но все отлично угадывала и смотрела ему теперь вслед с *влюбленной и счастливой покорностью*.

Пробегая, он подумал, что эта бальная площадь с ее вечным маскарадом тоже до несерьезности прекрасна, что нужно бы поскорее положить ее в футляр, и прежде всего эту ювелирную игрушку, называющуюся у них собором. Со злостью и наслаждением чувствовал, что его узнали, что о нем шепчутся, что на него показывают взглядами. Столики Флориана на площади были почти все заняты. „Здесь сегодня собираются карбонарии“, — равнодушно сказал кто-то. Две некрасивые дамы, вскочив и раскрыв рты, без малейшего стеснения на него уставились. Он злобно пробежал по проходу между стульями. „Байрон! Лорд Байрон!“ — доносились до него радостно-взволнованные голоса.

III.

Хозяин хижины подошел к Байрону, крепко пожал ему руку и поблагодарил его за честь, оказанную им

* „Ты моя первая дума и всегда будешь ею... Не могу отказаться от любви к тебе, которая на всю жизнь...“ (итал.)

«Через много лет маркиз де Буасси, второй муж Терезы Гвиччиоли, так знакомил с ней людей: „Моя жена... Когда-то любовница лорда Байрона...“ — Прим. авт.

венте. Затем, познакомив гостя с наиболее видными членами бараки, полуспросил: „Что ж? Пожалуй, начнем“ — и, взяв жезл, постучал им по полу, впрочем, не очень громко, чтобы не обращать внимания посетителей в нижнем этаже кофейни. Карбонарии стали занимать места вдоль правой и левой стен комнаты. Все вынули из карманов веревки и надели их наподобие пояса. Старшие положили рядом с собой кинжалы. Справа от двери камеры размышлений сел мастер-солнце, а слева — мастер-месяц. Для гостя был приготовлен пень рядом с председателем. Кто-то с улыбкой подал гостю запасную веревку. Он, морщась, поблагодарил.

Многие из карбонариев теперь видели Байрона впервые; вблизи его не видел почти никто. Поглядывали на него с любопытством, а люди помоложе — с восторженной завистью. Это был невысокий, скорее полный человек, с лицом бледным и почти изможденным. Относительно его наружности потом были споры, но все признавали, что лицо у него очень красивое и выразительное. Одни говорили, что „лицо Байрона так и дышит презрением к человечеству“; другие, напротив, прочли в его глазах „неземную доброту“, особенно в те минуты, когда он слушал доклад грека. Верно было, что выражение его лица менялось почти непрерывно и чрезвычайно сильно; быть может, это отчасти способствовало установившейся за ним в Венеции репутации полоумного человека. Почти все слышали, что он сумасшедший, и ждали от него всевозможных странностей. Однако ничего странного он не делал и вел себя именно так, как должен был себя вести важный гость на собрании бараки. Щеголи из молодых карбонариев обратили внимание на то, что этот лорд, еще недавно бывший королем лондонского общества, одет нехорошо и не по моде. Старый костюм сидел на нем мешком, точно куплен был в магазине готового платья, да еще неудачно. Не было в общем облике Байрона и величия, полагавшегося знаменитому поэту, борцу за свободу и лорду (часть его престижа основывалась на титуле, без которого он и как поэт нравился бы, вероятно, меньше). Молодые люди у левой стены разочарованно перешептывались. Мастер-месяц заметил, что один глаз у Байрона значительно больше другого. „Какое, однако, необыкновенное лицо“, — шепнул он, наклонившись к соседу.

Председатель взял со стола *топорик* и постучал по столу.

— Добрые родственники*, — сказал он значительным, проникновенным, глухим голосом, показывавшим, что началось серьезное дело. — Какова цель угольщиков?

— Она в том, чтобы очистить лес от волков, — ответил, немного запинаясь, мастер-солнце.

— Такова ли в самом деле цель нашей венты?

— Да, она такова: орден угольщиков хочет очистить лес от волков, — громко и отчетливо произнес мастер-месяц, точно хотел попрекнуть мастера-солнце за вялость.

— Ежели так, то приступим к нашему великому делу, — сказал председатель. Он встал и объявил, что на долю хижины выпали большая честь и большая радость: заседание посетил великий английский писатель и государственный деятель, член палаты пэров лорд Байрон. Карбонарии затопали ногами, принося конспирацию в жертву обряду.

— Добрые родственники, — сказал хозяин хижины, — наш знаменитый гость не входит в нашу венту. Но мы никак не должны считать его язычником. Он входит в близкое и родственное нам общество „Романтика“. Другое общество, „Американцы“, ставящее себе те же цели, что и мы, избрало его своим главой. Наш знаменитый гость имеет, следовательно, право присутствовать в хижине, и все мы рады приветствовать в его лице одного из благороднейших людей мира, великого борца за свободу народов и, в частности, за нашу страждущую страну, имеющую столь великое прошлое. Освобожденная единая Италия, создание которой составляет нашу цель, вечно сохранит в своей благодарной памяти людей, боровшихся за ее освобождение и за освобождение человечества. Ибо мы знаем, как прочна любовь к свободе в душе нашего народа! — Все снова шумно затопали. — Добрые родственники, — сказал хозяин хижины, немного понизив голос в знак того, что сейчас будет говорить слова тягостные. — В каждой стране есть люди разные. Великим британским народом теперь правит виконт Кестльри, враг свободы, защитник угнетателей во всем мире. Мы об этом скорбим. Но мы твердо помним, что великий британский народ

*В подлиннике карбонарского обряда: „buoni cugini“. — *Прим. авт.*

не несет ответственности за своих правителей. Наряду с лордом Кестльри, — он немного помолчал, — у Англии есть и лорд Байрон!

Карбонарии затопали. Хозяин хижины сел и вопросительно взглянул на гостя. Наступила тишина, будто все ожидали, что теперь-то странности и начнутся. Байрон совершенно не предвидел, что ему придется сказать слово. Никакой речи он не приготовил и смутился, хоть умел и любил говорить. Лицо его изменилось и побледнело. Он встал (веревка, оказавшаяся неповязанной, свалилась на пол) и заговорил, к общему удовлетворению, по-итальянски, притом довольно свободно. Поблагодарил за оказанную ему честь, за добрые слова, столь им не заслуженные, и выразил радость по тому случаю, что оказался в Венеции, с которой у него связано столько приятных воспоминаний.

— В вашей прекрасной стране, — сказал он, — в вашей прекрасной стране... Ибо для меня нет австрийской Венеции, папского Рима и бурбонского Неаполя, а есть одна великая, прекрасная, единая Италия! — Снова все восторженно затопали. — В вашей прекрасной стране существует превосходная поговорка: *A Venezia si sogna, a Roma si pensa, a Firenze si lavora, a Napoli...* Он запнулся, забыв, что делают в Неаполе. Несколько голосов радостно ему подсказали: „*Si vive!.. Si vive!*..“ Байрон улыбнулся, повторил: „*Si vive!*“ — и заявил, что все, итальянцы и неитальянцы, должны одновременно и мыслить, и мечтать, и трудиться, и жить во имя будущей великой, свободной Италии.

Когда долгое топанье кончилось, Байрон попросил разрешения перейти на английский язык. „Просим, просим“, — закричало несколько голосов. Хозяин хижины ласково-бережно протянул руку к оратору, предлагая ему на мгновение остановиться, и сказал, что так как всем дорого каждое слово знаменитого гостя, а прекрасным английским языком владеют лишь немногие, то не согласится ли мастер-месяц, хорошо знающий иностранные языки, потом перевести речь. „Хозяин, я повинуюсь“, — отчетливо, солдатским тоном, сказал мастер-месяц и вынул из кармана карандаш.

...Он не хотел говорить серьезно. Был зол, что сюда пришел, и думал, что пора бы перестать делать вид, будто его беспокоит судьба венецианцев, греков, венецуэльцев, еще каких-то экзотических людей, непременно желающих сделать из своей родины второсортную

Англию, — ему была достаточно противна и первосортная (хоть в душе он интересовался почти исключительно Англией и только Лондон, при всей своей ненависти к нему, считал *настоящим* городом, да еще Париж, в котором никогда не был). Вдруг настроение у него совершенно изменилось — он сам никогда не знал причин перемены своего настроения, — на этот раз оно, быть может, изменилось от вызванного его словами у экзотических людей искреннего и бурного восторга. Сидевший в нем второй Байрон, контролировавший изнутри мысли и слова первого Байрона, обычно контролировавший их критически, а то и с издевательством, теперь ему подсказал, что экзотические люди смешны и провинциальны, но что они все же менее смешны и менее глупы, чем разные лорды Кестльри, отравляющие жизнь и им, и ему. Он вдруг с радостью почувствовал прилив злобы: это чувство считал своей главной силой и в литературе, и в жизни. Внезапная злоба придала мощь его речи, и говорил он, по общему отзыву, превосходно — „как Байрон“. „Просто метал грома!“ — восторженно повторяли потом молодые карбонарии. Это ясно было даже людям, совершенно не понимавшим по-английски. Громил он людей, правивших Европой, людей, пришедших на смену Наполеону и бывших в сто раз хуже его, ибо у них не было его ума и гениальности, — с ними восторжествовали глупость и бездарность. Когда он назвал имя Меттерниха, кое-кто невольно оглянулся на дверь. Она была затворена плотно. Байрон сказал, что Меттерниха следовало бы назвать самым презренным человеком на свете, если б не существовало лорда Кестльри. Хоть эта фраза и произнесена была так, что явно требовала знаков одобрения, топнул ногой только юный, недавно принятый в венту карбонарий у края левой стены и сам смутился, увидев, что его не поддержал никто: старшие из понявших фразу, очевидно, признали, что в такой форме может говорить о британском министре лишь англичанин, а с их стороны тактичнее помолчать. Оратор и в самом деле не поскупился на выражения.

— Я не могу признать свободной страну, в которой властвуют идиоты и негодяи, подобные Кестльри, — сказал он, показывая интонацией, что кончает. — В настоящее время все народы нуждаются в освобождении. Свободное и культурное государство существует в мире теперь только одно: это Венесуэла великого Боливар!

Послышалось новое долгое топанье: имя разобрали все и в английском произношении оратора. Мастер-месяц гладко и подробно перевел на итальянский язык речь, имевшую огромный успех. Хозяин хижины горячо пожал руку гостю и перешел к порядку дня. Сказал, что сейчас в венту должен быть принят язычник... (он заглянул в бумажку) Папаригопулос, по национальности грек, по профессии негоциант, постоянно проживающий в России, в городе Одессе. Он — видный член греческой гетерии филикеров, основанной именно в этом городе.

— Добрые родственники, — сказал хозяин, — как мы стремимся к освобождению Италии, так гетерия филикеров ставит себе целью освобождение Греции. Вы знаете, что три угольщика, в том числе мастер-месяц и я, рекомендовали принять язычника... Папаригопулоса в нашу венту. При предварительной баллотировке он ни одного черного шара не получил. Если нет возражений, он сейчас будет принят и, по принесении присяги, прочтет нам доклад о борьбе греческого народа за независимость. Цели греческих революционеров те же, что наши: они хотят очистить лес от волков! — Мастер-месяц затопал, другие последовали его примеру. — Добрые родственники, есть ли возражения против того, чтобы язычник... Папаригопулос был принят в венту? Возражений нет. Мастер-месяц, введи язычника в хижину.

IV.

Наступила тишина. Через минуту послышался стук. Мастер-солнце отворил дверь камеры размышлений, и на пороге пещеры приема показались мастер-месяц и язычник. Грек в мешке осторожно ступал, все с правой ноги, пробуя под собой твердую почву. Мастер-месяц вел его, как вожатый медведя, и, невольно ему подражая, ступал столь же неловко, точно и он перед собой ничего не видел. Поставив язычника там, где ему полагалось стоять, он поспешно отступил на шаг, как человек, сделавший свое нелегкое дело. Хозяин хижины постучал три раза топором по столу и сказал замогильным голосом:

— Добрые родственники, мне нужна помощь.

— Хозяину нужна помощь, — повторил довольно нестройно хор старших карбонариев у правой стены.

— Я слышу призыв доброго родственника. Не принес ли он дерева, чтобы подбросить в наш костер?

— Хозяин, я принес дерево, — отчетливо, громче хозяина хижины, сказал мастер-месяц.

— Добрый родственник, откуда ты явился?

— Из леса.

— Куда ты идешь?

— В дом чести, где я усмирю свои страсти, подчиню свою волю и получу наставление в учении угольщиков.

— Что принес ты с собой из леса?

— Дерево, хлеб и землю.

— Нет ли у тебя чего-либо еще?

— Есть: вера, надежда и любовь.

— Кого привел ты с собою?

— Человека, который заблудился в лесу.

— Чего он хочет?

— Вступить в хижину.

— Так веди же его к нашему очагу.

При помощи мастера-месяца грек в мешке сделал еще два осторожно-неловких шага и остановился. Председатель гробовым голосом объяснил по-французски язычнику, что цель общества карбонариев вообще, и венецианской венты в частности, заключается в борьбе с угнетателями. Согласен ли язычник посвятить всю свою жизнь делу свободы и братства? „Я согласен“, — подсказал бодрым шепотом мастер-месяц. „Я согласен“, — ответил Папаригопулос дрогнувшим голосом.

— В таком случае опустишь на колени и испей из чаши забвения.

Грек опустился на колени, неловко и тщетно стараясь за что-нибудь уцепиться, — ткнулся рукою в пол. Мастер-солнце подал чашу. Папаригопулос осторожно, по-детски выпучив губы, прикоснулся к ней ртом. Мастер-месяц наклонил чашу и прошептал ласково, точно убеждая ребенка проглотить невкусное лекарство: „Отпейте...“ Папаригопулос отпил из чаши, стараясь не захлебнуться. Немного воды пролилось, кто-то слабо засмеялся и замолк под грозным взглядом мастера-месяца.

— Теперь повтори за мной слова присяги, — сказал хозяин хижины и стал читать, хоть знал наизусть присягу и по-французски, и по-итальянски: „Я, Афанасий Папаригопулос, обещаюсь и клянусь именем Креста, символами ордена и кинжалом, карающим клятвеннопреступников... честно хранить тайну союза угольщиков...“

и без письменного разрешения не изображать ее ни на полотне, ни на меди... Клянусь в трудных делах жизни... по мере сил... оказывать помощь всем добрым родственникам... и беречь честь их семейств... Если же я нарушу клятву (голос председателя повысился и стал еще более гробовым)... то я согласен на то... чтоб мое сердце и внутренности были выдраны... чтобы тело мое было разорвано на части, сожжено... и развеяно ветром... дабы имя мое распространилось по всей земле... и внушало отвращение всем добрым родственникам... Да поможет мне Господь Бог!..“

Когда присяга была принесена, мастер-солнце и мастер-месяц помогли греку встать с колен и сняли с него мешок. Мигая и сконфуженно улыбаясь, он стоял, не зная, что делать, несмотря на давнюю привычку к ритуалу. Хозяин хижины поздравил его с вступлением в общество и разъяснил значение главных карбонарских символов. Крученая нить означает виселицу для тиранов. Топор нужен, чтобы рубить им головы. Соль должна помешать гниению их тел, дабы они стали памятником вечного позора. Лопата развеет их прах по ветру. Вода очистит свершителей казни от пролитой ими гнусной крови.

Затем хозяин хижины обнял нового доброго родственника и велел поставить для него пень у стола. Грек сел, волнуясь и оглядываясь на человека, сидевшего рядом с хозяином: догадывался, что это и есть писатель-лорд. Заученное наизусть благодарственное слово он произнес хорошо; к большому своему облегчению, ни разу не сбился, хоть слово было довольно длинное. Карбонарии топали в наиболее важных местах, правда, гораздо менее дружно, чем в честь Байрона. Затем грек вынул тетрадь и перешел к деловому докладу:

— Пять лет тому назад, добрые родственники, — неуверенно начал он (члены гетерии филикеров называли друг друга иначе), — три доблестных гражданина греческой национальности, Скуфас, Ксантос и Такалов, честно и с пользой для общества занимающиеся торговлей в русском городе Одессе, сойдясь однажды в доме на улице, носящей, к сожалению, злодейское имя известного вам, конечно, де Рибаса, основали общество, названное ими гетерией филикеров и теперь наполняющее славой весь мир...

Он читал не очень внятно, тем не менее люди, владеющие французским языком, вполне могли понять его

доклад. Изложил историю гетерии филикеров, указал, что теперь в нее входят или действуют с ней заодно знаменитые люди, в том числе Ботцарис, Маврокордато, Ипсиланти, сам граф Каподистрия, и намекнул, что сочувствуют ее целям люди еще гораздо более высокопоставленные, — интонация его ясно показывала, что тут он на кого-то *намекает* (подразумевался император Александр). Затем он познакомил слушателей с историей греческого народа, с его несчастной судьбой и перешел к положению греков в Турции.

Доклад, несмотря на возвышенный слог, был составлен вполне толково и давал ясную картину гонений, которым подвергали греческий народ — не столько султаны и Порты, сколько свирепые местные правители, часто и не турки по национальности. Факты, сообщавшиеся греком, были один ужаснее и невероятнее другого. Тем не менее впечатление от затянувшегося доклада постепенно слабело: слишком много было повешенных, сожженных, посаженных на кол людей, зарезанных детей, изнасилованных женщин. Байрон, слушая, вспоминал, что одного из главных зверей, Али-пашу, он когда-то посетил в Янине, что этот благодушный с виду старичок был с ним и с Гобгаузом очаровательно любезен, говорил комплименты, угощал их дивным кофе и вареньем. Однако Байрон знал, что все или почти все в рассказах грека — совершенная правда: английский резидент в Янине им рассказывал о благодушном старичке точно такие же вещи. Потом и Байрону стало скучно: посаженные на кол люди в таком количестве больше не действовали и на него. Второй же Байрон, слушая, еще подумал, что хотя греки борются за святое дело, но нельзя всерьез называться Папаригопулос или Маврокордато.

Когда Папаригопулос кончил и нервно закрыл тетрадку, слушатели затопали и приняли подобавшее докладу выражение. Сочувствие было вполне искреннее, но всем хотелось поскорее пойти в кофейню, выпить и поболтать: времени оставалось уже немного. Понимая общее настроение, председатель предложил сегодня не задавать вопросов (грек облегченно вздохнул) и сократил свое заключительное слово: горячо поблагодарив докладчика, выразил ему и всем его соплеменникам глубокое сочувствие венты.

— Мы в Венеции, — сказал он, — думали, что на себе в достаточной мере испытываем ужасы деспотизма. Теперь мы видим, что другие народы еще гораздо несчаст-

нее, чем мы. Будем же твердо помнить, что цель у нас одна и та же: надо очистить лес от волков! (Мастер-месяц энергично затопал, за ним все другие, в том числе и докладчик, теперь чувствующий себя гораздо более свободным.) Когда из солнечной итальянской земли вы вернетесь в объятую русскими льдами благородную Одессу, скажите вашим угнетенным братьям, всем без исключения, от великого мастера элевзиний до юношей, — которые, конечно, увидят лучшее будущее! — скажите им, что у честных людей под всеми широтами бьются честные сердца и что никто не может понапросто лучше потомков Перикла, чем потомки Брута!..

Он особенно мастерски заканчивал свои речи. Все одобрительно переглядывались. Затем хозяин хижины по обряду закрыл баракку: выразил надежду на победу угольщиков во всем мире и на скорое создание великой республики Авзонии. Карбонарии стали снимать с себя веревки, прятать кинжалы, складывать в корзину чаши и сосуды. Многие горячо пожимали руку греку и говорили подходящие слова, более или менее краткие в зависимости от знания французского языка. Мастер-месяц пригласил Папаригопулоса пожаловать к нему запросто на обед: „Хоть завтра, если вы свободны“.

Хозяин хижины упрашивал Байрона провести с ним остаток вечера — все будут так рады! Гость любезно, но твердо отказался: он и без того опоздал. „Мы будем всегда счастливы видеть вас в нашей среде“, — горячо сказал хозяин, не знавший, как называть гостя теперь, когда баракка кончилась и отпали ритуальные титулы. Подходили к Байрону и другие карбонарии. Старших представлял ему хозяин; те, что помоложе и посмелее, представлялись сами, восторженно отзывались о его речи и о его произведениях. Хозяин хижины, мастер-солнце и мастер-месяц проводили его до лестницы: дальше не пошли по соображениям конспиративным. Он сбежал вниз. „Сумасшедший Байрон! Лорд Байрон!“ — снова понесся шепот со столиков.

V.

Мастер-месяц внимательно слушал доклад Папаригопулоса, вздыхая и сочувственно кивая головой. Когда заговорил хозяин хижины, мастер-месяц перестал слушать и рассеянно думал о своем. Его давно занимал вопрос, кто именно состоит на службе у местной поли-

ции: хозяин хижины или мастер-солнце? Все как будто говорило, что скорее мастер-солнце: хозяин хижины был человек не только с именем — имя тут ничего не доказывало, — но и с большим достатком; он в побочных заработках не нуждался. „Да, конечно, скорее тот или же кто-нибудь из менее видных, Торелло, например, или Бравози?“ — соображал мастер-месяц, все вздыхая. Сам он служил в британской полицейской разведке.

С председательского стола ему прислали подписанный греком текст присяги, в которой Папаригопулос выражал согласие на то, чтобы, в случае измены, его сердце и внутренности были выдраны, а тело разорвано на части. Мастер-месяц бережно ее спрятал (текст должен был храниться у него). И вдруг ему пришла мысль, что сегодняшнее заседание можно использовать для устройства поездки в Лондон. Сам он не придавал особого значения ни карбонариям, ни филикерам, ни тайным обществам вообще: больше болтовня. Однако представить дело можно было отлично: греческие революционеры установили связь с венецианскими, а те связаны с римскими и неаполитанскими, готовится восстание в Турции, за ним последуют другие, — чего же еще? Мастер-месяц радостно подумал, что и полоумный лорд тут появился очень кстати: из него можно сделать главного вождя восстания. Вот и „Американцы“ избрали его своим капо. Волнение в Лондоне будет необыкновенное. Не выехать ли туда по своей инициативе? Откладывать такое дело нельзя.

По правилам британской тайной полиции, мастер-месяц был обязан предварительно испросить для командировки разрешение начальства. Но инструкция допускала исключения в особенно важных случаях: агенты должны проявлять инициативу, когда этого требуют обстоятельства. Мастер-месяц все больше склонялся к мысли, что теперь обстоятельства настолько требуют срочной поездки: с восстанием в Турции не шутят. Ему давно хотелось съездить за границу на казенный счет. Он подумал, что на обратном пути можно будет, конечно, остановиться на недельку в Париже.

Мастер-месяц стал соображать, сколько может очиститься денег. От суточных должна остаться круглая сумма, но главное не в суточных, а в награде. В отличие от других полиций (он в разное время служил в разных полицейских учреждениях), британская поли-

тическая разведка не скупилась при оплате важных заслуг. Всем служившим в ней людям известны были легендарные рассказы, возбуждавшие рвение и зависть: Колин Маккензи, выведавший секретные статьи тильзитского договора, получил в награду двадцать тысяч фунтов. „Правда, было за что, если не врут! — восторженно подумал мастер-месяц. — Переоделся казакон, пробрался на плот вслед за императором Александром и все подслушал!..“

За сообщение грека и за сведения о полоумном лорде двадцати тысяч фунтов дать, разумеется, не могли, но фунтов двести, а то и триста можно было получить несомненно. „Надо только, чтобы в Вену не сообщили раньше“, — озабоченно подумал мастер-месяц: ему было известно, что между лордом Кестльри и князем Меттернихом существует соревнование в быстроте и точности их секретной информации. В Вену из Венеции было ближе, чем в Лондон, опередить несомненно могли. Мастер-месяц, вздыхая, поглядывал то на мастера-солнце, то на хозяина хижины, уже кончавшего речь. „А может, и сам грек?..“

Когда карбонарии выразили надежду на близкое установление республики Авзонии и стали покидать хижину, мастер-месяц, болтая с друзьями, вскользь сказал, что его здоровье нехорошо, совсем нехорошо: врач посылает на воды за границу, во Францию, кажется, придется поехать, ничего не поделаешь. Друзья посочувствовали, расспрашивали, как и что: „Печень? Да, воды очень помогают...“

Из соображений осторожности карбонарии у Флоринана не остались, они разошлись по другим кофейням и расположились небольшими группами, заказывая кто *sarrocino diviso*, кто *crema marsala*, кто *spremute di agancio**. Мастер-месяц еще сыграл с приятелем в шахматы. Играл он очень хорошо и выиграл обе партии, так что за марсалу заплатил приятель. Затем он показал приятелю новую остроумную шахматную задачу графа Лабурдонне. Возник спор о великом Филидоре. Приятель сказал, что Филидор играл две партии, не глядя на доску, мастер-месяц возразил, что не две, а одну, да и на том сошел с ума: играть две партии наизусть невозможно. „Нет, играл две“. Мастер-месяц выпылил: „А я говорю: одну!..“. Успокоился он не сразу,

*Черный кофе с молоком порознь, крем марсала, апельсиновый сок (*итал.*).

но, успокоившись, с застенчивой улыбкой выразил сожаление, что погорячился: „Такой уж у меня несчастный характер! Больше никогда не буду. „Jureez sur ces glaives sanglants“*, — благодушно спел он хор из „Эркелинды“ того же Филидора.

Расстались они в первом часу ночи. В самом лучшем настроении духа мастер-месяц направился домой, насвистывая мелодию хора и поглядывая на проходивших женщин. Со многими он был знаком и обменивался приветствиями и шуточками.

Дома, несмотря на усталость, он достал из шкафа папку документов о лорде Байроне. Мастер-месяц получал от многих итальянских агентов копии интересных бумаг: британская политическая полиция считалась дружественной и, главное, очень хорошо платила. Документов, относящихся к Байрону, было немного, и они были не слишком интересны. Мастер-месяц все внимательно просмотрел и отложил донесение начальника болонской полиции главному директору полиции в Венеции от 2 октября, за номером 37:

„12-го числа прошлого месяца английский дворянин, лорд Байрон, выехал отсюда в Венецию. Этот господин — член тайного общества, называющегося „Романтика“^а. Он известен как литератор и пользуется у себя на родине репутацией хорошего поэта. Его большое состояние дает ему полную возможность следовать склонностям. Вышеупомянутых обстоятельств достаточно было для того, чтобы вверенная мне полиция обратила внимание на этого субъекта. Особенно он опасен потому, что его выдающиеся способности и богатство дают ему возможность собирать у себя в доме людей наиболее образованного класса. Ввиду этого мое правительство, отмечая настоящее местопребывание лорда Байрона и считаясь с вероятностью его возвращения в Болонью в течение ближайших месяцев, поручило мне установить за ним постоянное наблюдение и просить о сведениях о нем во время его пребывания в Венеции. В надежде на то, что Ваше Превосходительство благосклонно удовлетворите настоящее ходатайство, ставлю себя в ваше распоряжение, ежели бы Вашему Превосходительству в будущем понадобилось сходная услуга...“

* „Клянитесь на окровавленных мечах“ (*Фр.*).

^а Roma antica (Древний Рим (*итал.*). — *Пер. ред.*), в конспиративном сокращении — Romantica. — *Прим. авт.*

Другое сообщение, тоже отложенное для работы мастером-месяцем, исходило от рядового агента, освещавшего организацию изнутри. „Романтиков я знаю хорошо, — писал *fiduciario**. — Эта организация ставит себе целью разрушение нашей литературы, нашей культуры, нашей страны. Ее бесспорный вождь — лорд Байрон. Вы ошибаетесь, полагая, что он занят только обманыванием# Гвиччиоли. Он отличается чрезвычайным сладострастием и безнравственностью, часто меняет предмет своих воздыханий и приносит очередную жертву на алтарь своего гордого презрения. Однако в политике он не так непостоянен: тут он англичанин в полном смысле слова. Байрон вроде сумасшедшего, он хочет разрушить все, что ему не принадлежит, хочет подорвать наши стремления к национальной независимости („что за вздор!“ — подумал мастер-месяц), вызвать у нас разорение и кровопролитие, дабы, в конце концов, поделить тлеющие развалины между деморализованными заговорщиками...“ „Ну, тут этот болван заврался“, — сказал себе весело мастер-месяц. Он был очень доволен. Решил завтра встать пораньше и тотчас приняться за работу.

VI.

День виконта Кестльри был рассчитан не только по часам, но почти по минутам. В это утро министр проснулся ровно в шесть; его никто не будил, он всегда просыпался тогда, когда себе это предписывал с вечера. Он открыл глаза с чувством тоски и испуга, сел на постели, низко опустив голову, и встряхнулся: ничего дурного как будто не случилось.

Спальня его и туалетная комната были обставлены шератоновской мебелью стиля *Harlequin*. Все было с выдумкой, стол заключал в себе умывальник, зеркала представляли собой двери, за видимостью шкафа скрывалась каморка, предназначенная для бритвы. Виконт Кестльри брился всегда сам и притом необыкновенно хорошо. Его бритвы были отточены до пределов возможного, но он себя не поцарапал, лучше не мог бы побрить самый искусный парикмахер; щеки, подбородок, шея были гладки, как мрамор: ни единого волоса.

*Предавный (*итал.*).

В подлиннике допесення: „*a fare le corna a Guiccioli*“. („Тем, что наставляет рога Гвиччиоли“ (*итал.*). — *Пер. ред.*). — *Прим. авт.*

Укладывая бритвы, лорд Кестльри с удивлением заметил, что в ящике нет малого ножа. Этот малый нож, собственно, не был нужен ни для бритья и ни для чего вообще; однако его исчезновение вызвало неприятное чувство у министра. „Вероятно, остался в Крэе“, — с неудовольствием подумал он.

На туалет по расписанию отводилось сорок минут. Без двадцати семь виконт Кестльри вышел, одетый превосходно, хоть без щегольства, в застегнутом кафтане, при галстукке, — никаких халатов для работы он не признавал. Зеркало отразило его огромную стройную фигуру. Ему было пятьдесят лет, — он родился в один год с Наполеоном и видел в этом нечто вроде великого предзнаменования. Он не потолстел и не обрюзг с годами, был еще очень красив, и на больших приемах, на международных конференциях англичане с удовлетворением поглядывали на человека, представлявшего их страну: виконт Кестльри выигрывал по внешности от сравнения с большинством иностранных дипломатов. Он был необыкновенно dignified*.

После очень легкого завтрака, ровно в семь часов, министр иностранных дел вошел в свой громадный кабинет, великолепно обставленный мебелью готического периода Чиппендейла, но тоже с хитрыми арлекинскими произведениями; так, у камина стоял *отапливающийся* диван, одно из лучших шератовских созданий. На стене висел огромный портрет короля Георга III. Были и портреты других европейских монархов, подаренные ими министру, с собственноручными лестными, почти дружественными надписями. На столах, полочках, тумбах стояли другие их подарки, разные вазы и произведения искусства. Одна из стен была выстлана книгами в великолепных кожаных переплетах с гербом дома Лондон-дерри. Книги, как и вазы, предназначались лишь для украшения комнаты: лорд Кестльри почти ничего не читал, да и не мог читать, так как был целый день занят. Только по воскресеньям в своем имении Крэй-фарм, в свободное от охоты время, он имел возможность немного освежать в памяти запас цитат из латинских классиков, бывший ему необходимым для парламентской работы. Картин в кабинете не было. Но почему-то, в отступление от общего стиля комнаты, на стене, над *отапливающимся* диваном, висела в дорогой рамке голова гнедой лошади,

*Величественный (англ.).

нисколько не замечательная по работе, написанная с натуры в Крэй-фарме малоизвестным художником.

В камине уже был зажжен огонь. На письменном столе горели четыре свечи. В работе при свечах в ранний утренний час было нечто приятно-бодрящее, напоминавшее министру детство, Армагскую школу, где он учился. Под столом на мягком ковре лежала приготовленная лакеем грелка. Лорд Кестльри страдал подагрой, что подавало друзьям вечный повод для шуток: он не признавал крепких напитков, почти не пил вина и был весьма умерен в еде, — друзья, потреблявшие в больших количествах виски, шампанское, коньяк и все же подагрой не болевшие, говорили, что, видно, нет на земле справедливости.

Министр иностранных дел по утрам работал без секретарей, как одевался без помощи камердинера: по своей деликатности не хотел заставлять подчиненных вставать в столь ранний час. Да секретари ему, собственно, не были нужны. Он знал все дела превосходно, и находились они у него в образцовом порядке. На столе уже лежал запечатанный пакет с ночными депешами, присланный в седьмом часу из министерства. Сбоку стояла частная шкатулка министра, большая, железная, инкрустированная золотом, тоже украшенная гербом их рода, истинное чудо искусства и техники. Над ней, по особому заказу, года два трудились лучшие мастера Англии. Открыть ее можно было, только зная секретный шифр; после того как первая крышка поднималась, появлялись еще крышки, отделения, были двойные стены, двойное дно, все со сложнейшими приспособлениями, известными только самому лорду Кестльри. Эта драгоценная шкатулка предназначалась для хранения важнейших бумаг, вынимавшихся неоднократно из стальных шкафов министерства, или же копий, которые он заказывал лично для себя. В самом секретном отделении лежали его собственные записи, обычно по делам долговременного значения, касавшиеся вековой политики Англии и имевшие большую историческую важность.

Виконт Кестльри распечатал пакет и стал читать депеши одну за другой. Каждая депеша укрепляла в нем уверенность в правильности его политики. Он не мог бы допустить и мысли, что послы и дипломатические агенты хоть отчасти, сознательно или бессознательно, подделываются под его взгляды и подбирают для него соответственные сведения. Будучи англий-

ским джентльменом, министр не считал других английских джентльменов способными на подлаживание и угодничество.

Все его предположения оправдывались. Тем не менее у него росло тоскливо-беспокойное чувство, с которым он проснулся в это утро и с которым просыпался в последнее время все чаще. Положение в мире было очень, очень тревожно. Везде ежеминутно могли вспыхнуть восстания, любой инцидент мог вовлечь Англию в новую войну. Эта мысль была кошмаром лорда Кестльри.

Особенно серьезно было положение в греческих землях Турции. Резидент в Янине сообщал, что Али-паша изжарил на медленном огне пятнадцать человек. Сведения о зверствах разных пашей были и в других депешах. Министр морщился с гадливостью, читая эти сообщения. Враги обвиняли его в сухости, черствости, даже в жестокости. Это обвинение было неверно. Зверства, о которых он читал, были ему чрезвычайно противны. Но он твердо знал, что ничего тут поделывать невозможно, что нельзя руководиться в политике чувствами, хотя бы самыми лучшими. В этих греческих землях Турция все же представляла собой порядок, — а самый жестокий порядок всегда лучше беспорядка. Обобщать ничего не следует, на одного свирепого пашу приходится десять несвирепых, и все они вместе так или иначе выражают государственное начало. Время, конечно, сделает свое дело. К тому же с Яниной англичане вели выгодную торговлю, за товары Али-паша платил исправно и, по словам резидента, был настроен вполне благожелательно к Англии.

Министр иностранных дел с раздражением подумал, что многие британские политические деятели, в том числе и сам Каннинг, были бы не прочь втравить Англию в войну с Турцией. „Пока я у власти, этого, во всяком случае, не произойдет!“ — твердо сказал себе он и решил при случае напомнить своим врагам в палате выражение своего друга, герцога Веллингтона: „Nothing is more tragical than a victory, except a defeat“*.

Тревожные известия шли и из итальянских государств. Это было довольно естественно: мир все не мог прийти в равновесие после французской революции и наполеоновских войн. Непокойно было и в самой Анг-

* „Если не считать поражения, то нет ничего более трагического, чем победа“. — *Пер. с англ. авт.*

лии. Лицо лорда Кестльри становилось все более мрачным.

Он занимал пост министра иностранных дел и был лидером палаты общин. Однако и друзья, и враги не без основания считали его настоящим главой правительства: первый министр, лорд Ливерпуль, большой роли не играл. На виконта Кестльри валили ответственность и за внутренние дела Англии, особенно за ее финансы. Враги говорили, что его экономическая политика строится на эксплуатации низших классов. Он давно приучил себя к мысли, что от врагов не дожидаться ни фактической правды, ни справедливой оценки; все же это его немного удивляло: сам он был совершенно справедлив к врагам, и не его вина была в том, что они ничего в политике не понимали. Несправедлив был и бросившийся ему упрек в черствости в отношении бедных людей. Доход и жалованье лорда Кестльри составляли около сорока тысяч фунтов в год. Он никогда из своего бюджета не выходил, отроду не имел никаких долгов и тоже немного удивлялся, слыша, что у других людей есть долги — не только у каких-нибудь бездельников или мотов, это было бы неудивительно, — но и у людей вполне порядочных: отчего же они не приводят своего бюджета в порядок? Из своих сорока тысяч фунтов он ежегодно уделял одну и ту же, немалую, долю на благотворительные дела, впрочем, и тут не без легкого удивления: каким образом могут быть люди, нуждающиеся в благотворительной помощи?

Отдельный запечатанный пакет исходил от ведомства разведочной службы. Министр иностранных дел вскрыл его без большого интереса: по долгому опыту знал, что сообщения этого ведомства вообще не заслуживают доверия и что нельзя относиться к ним серьезно. Ему было известно, что на континенте, напротив, с ужасом и восхищением приписывают этому британскому учреждению огромную важность, необычайную осведомленность, какие-то дела исторического значения. Лорд Кестльри слушал и читал такие рассказы с улыбкой: с этим мифом трудно и незачем бороться. Ведомство разведочной службы знало мало интересного, почти ничего не делало и вдобавок, по своему крайне сложному, запутанному и секретному устройству, находилось в хаотическом состоянии: отдельные его службы были разбросаны по разным министерствам, обычно друг с другом враждовали и даже не обменивались между собой сообщениями. Более ценные секретные

сведения приходили от британских военных агентов при иностранных армиях: эти были заведомые шпионы, чего нисколько и не скрывали, — каждый грамотный человек понимал, что никакого другого дела и других обязанностей, кроме шпионажа, у них нет; тем не менее их везде принимали, с ними поддерживали дружеские отношения все, вплоть до иностранных монархов. От военных агентов иногда приходили интересные донесения, от ведомства же политической разведки почти никогда.

Не было ничего особенно важного в запечатанном пакете и на этот раз. Тем не менее одно донесение из Венеции обратило на себя внимание министра. Агент сообщал, что греческие филикеры установили связь с венецианскими карбонариями, что ими уже налажена опасная связь с Римом и Неаполем, что восстание должно вспыхнуть с минуты на минуту в разных городах южной и восточной Европы, что во главе заговора стоит английский поэт, лорд Байрон, намеченный в президенты европейской республики и тратящий на это дело свое несметное богатство. Лорд Кестльри внимательно прочел сообщение и подумал, что все это, разумеется, преувеличено, однако доля правды, должно быть, есть; на него всегда производило впечатление обилие всевозможных подробностей: агент сообщал, что Байрон произнес в Венеции кровожадную зажигательную речь и что толпы итальянских и греческих революционеров, выхватив кинжалы, клялись ему в верности до гроба.

Этот скандальный поэт был всегда чрезвычайно неприятен лорду Кестльри. Он знал его по лондонскому обществу, слышал ходившие о нем бесчисленные рассказы, иногда весьма непристойные. Как немало поживший и знавший свет человек, лорд Кестльри делал поправку на общественное вранье: наиболее непристойным рассказам он не верил. Но ему было достаточно и десятой доли того, что говорили: Байрон был человек не вполне нормальный умственно, не джентльмен и не dignified да еще вдобавок вмешивающийся в дела, которые нисколько его не касались и в которых он ничего не понимал (министр разумел высшую политику). „Что ж, может быть, этот сумасшедший и в самом деле хочет стать президентом всемирной республики“, — с досадой сказал себе Кестльри и решил обратиться на Байрона внимание австрийского посла Эстергази: пусть доложит князю Меттерниху. „Ведь этот господин преимущественно на Австрию тратит теперь свое несметное бо-

гатство“, — с усмешкой подумал министр. Имея сорок тысяч фунтов годового дохода, он не считал себя богатым человеком; Байрон же, бывший кругом в долгу, покинувший Англию не из романтической ненависти к ней, а из опасения долговой тюрьмы, мог казаться богачом только итальянским нищим, — как только плебей мог казаться утонченным аристократом этот воспитанный в бедности сын Катерины Гордон. Виконт Кестльри, впрочем, отнюдь не сравнивал его с итальянскими нищими и плебейми: лорд Байрон был лорд Байрон.

Министр иностранных дел занес в книжку несколько слов для памяти. При этом он подумал, что, в сущности, можно было бы кое с чем согласиться из того, чего требовали все эти карбонарии, филикеры, эрколаны, романтики, дженнаты, грациадеи и другие экзотические люди со смешными кличками. По существу, конечно, не было оснований Турции властвовать в греческих землях, а Австрии — в итальянских. Нельзя было бы, пожалуй, возражать и против требования свободного строя. У лорда Кестльри не лежала душа к парламентскому строю, большой пользы от него он не видел. Но в свободный строй верили его отец, дед, предки, этот строй в Англии существовал давно, а все, что давно существовало в Англии, не могло не быть разумно. Экзотические люди, однако, до свободы еще не доросли, никаких государственных деятелей у них не было, — настоящими государственными людьми Кестльри считал только себя, князя Меттерниха и еще, быть может, двух или трех человек. Во всяком случае, британскому правительству до всех эти Ботцарисов и Маврокордато ни малейшего дела нет. „То, что они называют свободой, уже однажды, тридцать лет тому назад, взорвало мир, может взорвать и во второй раз. Все лучше войн и восстаний. Али-паша изжарил пятнадцать человек, а сколько изжарят они? Да, совершенно безумные люди!“ — подумал он, читая о присяге Байрону и о полномочиях великого мастера элевзиний.

Виконт Кестльри очинил перо — перья тоже чинил сам, новых, стальных, не признавал — и стал писать ответы послам и дипломатическим агентам. Министр иностранных дел все писал собственноручно; его сотрудники занимались лишь стилистической отделкой документов, да и ее он разрешал только в ограниченных пределах. Гордился тем, что его ведомство всегда отвечает на вопросы в тот же день, за исключением тех

случаев, когда ответ затягивается умышленно. Инструкции послам оставались прежние, неизменные: везде поддерживать существующую власть и людей, представляющих государственную порядок; могли быть отступления от этого правила лишь в тех случаях, если б этого требовали интересы Британской империи, но таких случаев он пока не видел. Все же предписал янинскому резиденту обратить в самой дружественной форме внимание Али-паши на то, что не следовало бы злоупотреблять жестокостью и что лучше было бы не поджаривать вообще людей.

VII.

Закончив ответ на все депеши, он занялся вопросами не срочными, а долговременными. Виконт Кестльри предпочитал делать большую часть работы у себя, а не в министерстве, которое помещалось в комнатах тесных, темноватых и неудобных. Поэтому он и держал дома свою секретную шкатулку.

Как раз тогда, когда он придвинул ее к себе, дверь кабинета отворилась без стука; вошла жена министра, очень толстая, добродушная дама. В руках у нее было вязанье, ее сопровождал бульдог. Лорд Кестльри встал, улыбнулся (улыбка у него была тоже в высшей степени dignified), поцеловал жене руку, спросил, как она спала. Он имел репутацию образцового супруга и был верен жене, что в те времена еще не было общим обязательным правилом британских министров. Леди Кестльри замахала руками, показывая, что не хочет мешать его работе, села на отапливаемый диван и занялась вязанием. Она боготворила мужа, считала его величайшим человеком в мире, никогда с ним не расставалась: сопровождала его и при поездках на континент, на разные международные конференции. Это подавало везде в Европе повод для шуток и насмешек, тем более что ее считали женщиной весьма недалекой.

Министр пустил в ход секретные приспособления шкатулки; пришли в движение шифры, секреты, колесики. Леди Кестльри, как всегда, с любопытством на это смотрела: сложная диковинная шкатулка казалась ей символом британской государственной машины; она не выражала своей мысли этими словами, но именно таково было ее ощущение. И точно такое же чувство испытывал старый лакей, вошедший в комнату — под-

ложить дров в камин. Он на цыпочках прошел по мягкому ковру кабинета; ему было ясно — и приятно, — что в этой комнате творятся большие дела; виконт Кестльри, правитель Англии, сын и наследник маркиза Лондондерри, размышляет о делах Британской империи и всего мира.

Подняв крышку секретнейшего отделения, министр достал свою записку об основных линиях английской политики. Во всей государственной деятельности лорда Кестльри им руководили три основные идеи. Первая из них заключалась в том, что вековой исторический враг Британской империи — это Франция, что нужно всегда и во всем вести и поддерживать такие действия, которые помешали бы восстановлению французской гегемонии в мире. Вторая политическая мысль министра иностранных дел сводилась к необходимости прочных, добрых, дружественных отношений с Австрией, как с самой устойчивой и благонамеренной великой державой Европы. Этой державой вдобавок давно руководил большой государственный деятель, князь Меттерних, — лорд Кестльри только его и считал себе равным. И, наконец, третья, если не основная, то очень существенная мысль касалась России, к которой отношение было двойственное. Россия еще не стала вековым историческим врагом, но были симптомы, что она может им стать. Не внушал особенного доверия и император Александр. Лорд Кестльри не отрицал дарований царя, но, подобно своему другу Веллингтону, видел в нем опасного якобинца, особенно с той поры, как царь заговорил о создании какого-то международного совета государств, имеющего целью разрешать спорные вопросы и предупреждать войны. Ничто не могло быть более противно виконту Кестльри, чем подобное фантастическое учреждение, вмешивающееся в чужие дела, нарушающее традиции Британской империи и явно несовместимое с ее интересами. Кроме того, император Александр становился слишком могущественным человеком, а Россия — слишком могущественной страной. В частности, в последнее время она стала основываться на североамериканском материке: русские колонии возникали на всем его западном побережье. Калифорния, вслед за Аляской, почти стала русской провинцией. Сан-Франциско уже едва ли не находится под властью русского губернатора. Если Россия окончательно захватит Калифорнию, сумеют ли слабые, бедные Соединенные Штаты отстоять свою независимость от этого

колосса, не подпадут ли под русское влияние, не станут ли русской колонией? Лорду Кестльри было известно, что эта мысль очень беспокоит и американских политических деятелей.

Министр долго размышлял с пером в руке, то нервно записывал несколько строк, то погружался снова в размышления. Без двадцати пяти минут одиннадцать леди Кестльри положила вязанье и сказала с улыбкой, что им пора. Он взглянул на часы и с улыбкой подтвердил: пора в самом деле. Снова пришли в ход секреты, шифры, колесики, крышечки, крышки, и двойное дно магической шкатулки поглотило новый плод глубоких мыслей виконта Кестльри, правителя Англии, сына и наследника маркиза Лондондерри. Он встал, подошел к жене, снова поцеловал ее сначала в руку, потом в лоб. Бульдог поднялся и потянулся, видимо, тоже понимая, что им пора.

При этом взгляд министра иностранных дел внезапно упал на висевшую на стене лошадиную голову. Почему-то она его удивила, точно он увидел ее впервые, и удивила как-то досадно: что-то в этой гнедой лошади было неприятно виконту Кестльри. „Что такое? В чем дело?“ — спросил себя он и нахмурился. „О нет, ничего решительно“, — ласково ответил министр жене, спросившей его с некоторым беспокойством, уж не случилось ли что-либо дурное.

Они вышли вместе, лакеи вытягивались на лестнице, вытянулся швейцар, распахнувший перед ними двери, вытянулись на улице сыщики, охранявшие министра от покушений. Прогулка продолжалась двадцать минут. Некоторые прохожие почтительно кланялись министру, другие делали вид, что не узнают его — не надо мешать государственному человеку, — третьи с ненавистью смотрели ему вслед. Сыщики следовали за министром иностранных дел на некотором от него расстоянии, не спуская глаз с проходивших людей. Прежде на пути министра не раз раздавались крики: „Добрый старый Кестльри!“ — но уже давно что-то никто не кричал. Министр об этом не скорбел, зная человеческую неблагодарность. Да эти возгласы и не шли к его стилю.

Ровно в одиннадцать они подошли к министерству. Швейцар распахнул дверь, на лестнице вытянулись лакеи, старший секретарь почтительно поздоровался с министром. В душе секретарь не одобрял того, что лорд Кестльри является в министерство в сопровождении

жены и бульдога: это противоречило традициям, таких прецедентов не было. Но вид у министра был настолько dignified, что сомнения тотчас рассеивались: этот человек сам был традицией и прецедентом. У секретаря, у служащих, у швейцара, у лакеев было все то же приятное чувство: государственная машина работает превосходно, фактический правитель государства, виконт Кестльри, сын и наследник маркиза Лондондерри, явился на свой пост, как всегда, ровно в одиннадцать часов, без единой минуты опоздания.

VIII.

В третьем часу дня герцог Веллингтон медленно проезжал верхом по Гайд-парку. Матери показывали его детям: „Веллингтон“, „железный герцог“, „победитель Наполеона“... Он приветливо кивал всем головой. Лошадь под ним была необыкновенно хороша, и ездил он так, что лучшие штатские наездники смотрели на него с восторженной завистью. Один же из них, не то с гордостью, не то с легкой иронией, подумал, что тут целая культура: надо бы написать картину с этого человека, который похож на конную статую самому себе: как, по известной шутке, нетрудно создать британские газоны — нужно только шестьсот лет полоть и поливать траву, — так для создания этой картинной фигуры нужно было не одно поколение Каулеев, Морнингтонов, Денганнонов и Вельслеев, бывших сэрами, баронами, виконтами и графами, честно служивших в королевской армии и ездивших всю жизнь на кровных лошадях.

Герцог Веллингтон кружным путем ехал в министерство иностранных дел навестить лорда Кестльри, которого он очень любил, хоть считал человеком слишком либеральным, не чуждым якобинского духа или, по крайней мере, делающим якобинскому духу в мире чрезмерные уступки. Он остановился у парадного подъезда. Швейцар, служивший когда-то в его армии, превратился у двери в каменную статую. Какие-то люди бросились к лошади. Герцог сошел с коня, и, хоть сделал он это необыкновенно легко и быстро, сказать о нем, что он *соскочил*, было бы совершенно невозможно. Веллингтон вошел в холл и медленно поднялся по лестнице, кивая всем с ласковым величием. Он не был так dignified, как лорд Кестльри, или был dignified по-ино-

му: в его наружности, осанке, выражении лица была королевская приветливость.

Дежурный секретарь почтительно проводил герцога к дверям министерского кабинета. В комнате кроме министра и его жены находился иностранный посол. „Madame, je ne vous savais pas en si bonne compagnie“, — с сильным английским акцентом произнес Веллингтон и, смеясь, пояснил, что это ритуальная формула французских королей: так говорил госпоже Ментенон Людовик XIV, заставляя гостей у нее в гостиной, так же с тех пор говорили все его престолонаследники; и ныне благополучно царствующий Людовик, появившись в Париже после революции, после террора, после четверти века эмиграции, войдя в салон какой-то маркизы, пробывшей двадцать пять лет чулочницей в Лондоне, сказал ей: „Madame, je ne vous savais pas en si bonne compagnie“.

Веллингтон предупредил, что заехал без всякого дела. „Выгоните меня без стеснения, если я мешаю“, — добавил он тоном человека, уверенного в том, что его не выгонят, даже если он мешает. Гость действительно мешал: у посла был с министром иностранных дел деловой разговор, который, на худой конец, можно было вести при леди Кестльри (она, занятая вязаньем, мешала не более, чем бульдог или мебель), но не при посторонних людях. Однако, хотя посол куда-то спешил, он с видимым удовольствием отложил деловую беседу: всякому лестно было посидеть в тесном кругу с победителем Наполеона. И действительно, Веллингтон попотчевал собеседников анекдотом, относившимся к битве при Ватерлоо. Говорил он из-за посла по-французски, но беспрестанно переходил на английский язык.

Посол слушал с почтительным восхищением. Слушали также лорд и леди Кестльри, хоть они эту историю слышали неоднократно. Посторонний зритель и тут сказал бы, что сцену эту можно увековечить: герцог Веллингтон рассказывает о битве при Ватерлоо виконту Кестльри. „...Но где же находились главные артиллерийские силы вашей светлости?“ — вставил почтительный вопрос посол. Железный герцог остановился: не любил, чтобы его перебивали, хотя бы и почтительными вопросами. Кроме того, он забыл, где тогда находились его главные артиллерийские силы. „Вот они, штатские люди! — сказал он. — Дело было не

* „Мадам, я не знал, что вы в такой почтенной компании“ (*фр.*).

в артиллерии: артиллерия и вообще, верьте мне, не имеет будущего как род оружия. Дело было в моих солдатах!..“ Посол больше не прерывал рассказа до конца: „...Тогда-то я обратился к ним со словами: „Детки, нельзя допустить, чтобы нас разбили. Подумайте, что о нас скажут в Англии!“ И 95-й полк ринулся в атаку, как бешеный. Дело было решено!“ „Это удивительно, ваша светлость!“ — сказал восторженно посол.

Он в самом деле находил это удивительным. Посол, слушая, думал, какую огромную силу представляют собой этот человек и другие подобные ему, менее знаменитые, но столь же крепкие, порядочные, верные традициям люди, не хватающие звезд с неба, и вся эта удивительная, во всем преуспевающая, свято почитаемая традиция страны. Ему показалось, что в Веллингтоне, в Кестльри, в лежавшем на полу бульдоге есть что-то общее, очень приятное, породистое, вместе и добродушное, и рекомендуемое осторожность: сердить не надо. „Они, конечно, не гении, но Наполеона именно гений и привел на Святую Елену“. „...Sound sense is better than abilities“, — сказал герцог Веллингтон, любивший афоризмы. Он теперь говорил о международной политике и критиковал действия императора Александра. „Да, да, вот именно“, — подумал посол.

Виконт Кестльри слушал без улыбки. Герцог Веллингтон был его друг и был герцог Веллингтон. Однако никому не следовало отрывать от дела министра иностранных дел во время его деловой беседы с послом. Точно такое же выражение ласкового дружеского неодобрения было написано на лице леди Кестльри. Но все разбивалось о благодушие гостя и о несокрушимую его уверенность, что для него время есть у каждого.

—...Не думаете ли вы, ваша светлость, что война с Турцией не могла бы быть для России особенно серьезной, — в полувопросительной форме сказал посол.

— Великая страна не должна вести малых войн, — ответил Веллингтон и перевел афоризм на английский язык: „A great country ought never to make little wars...“ Он вернулся к военным вопросам и сказал, что присутствие Наполеона во главе войск бывало по значению равноценно 40-тысячной армии. „Неужели 40-тысячной?“ — переспросил посол, пораженный точностью расчета. „Да, да, 40-тысячной“, — подтвердил герцог. „Какое великое предзнаменование в том, что ваша свет-

* „Здравый смысл лучше дарований“. — *Пер. с англ. авт.*

лость родились в один год с Наполеоном!“ — сказал посол и пожалел о неудачном замечании: он вспомнил, что в один год с Наполеоном родился также лорд Кестльри. „Все-таки они должны были бы как-нибудь между собой устроиться насчет великого предзнаменования...“

Герцог поговорил еще минут десять о финансовых вопросах — он почему-то считал себя глубоким финансистом, — поговорил и о разных других предметах, все в тоне королевской благосклонной шутливости, затем сказал: „Однако я вам порядочно надоед“, — и нащупал в кармане часы, лицо его осветилось детской улыбкой. У Веллингтона была слабость к часам, он имел огромную их коллекцию, в которой были и часы Типпу-Саиба, захваченные после взятия Серингапатама, и часы с картой Испании на крышке, подаренные Наполеоном испанскому королю Иосифу, и еще очень много других исторических и неисторических часов. Недавно Брегет изготовил, по особому его заказу, часы с замысловатым циферблатом — время можно было определять на ощупь. „Пора, пора“, — сказал герцог и показал брегетовские часы. „Последняя новинка, очень удобно: не надо вынимать из кармана“, — пояснил он, вставая.

Кестльри проводил его до выхода. Из дверей высывались переписчики, желавшие увидеть вблизи железного герцога. Старший секретарь вполголоса перечислял все его титулы: герцог Веллингтон, герцог де Брюнуа, князь Ватерлоо, маркиз Дуро... Веллингтон сел на коня — нельзя было сказать: вскочил — и поскакал домой. Все испытывали странное чувство: как это памятник скачет?

— *Mon cher compte, nous réglerons cette question à l'aimable**, — сказал лорд Кестльри послу в заключение деловой беседы. Он всегда говорил „à l'aimable“ вместо „à l'amiable“, но вид у него при этом был столь уверенный и столь dignified, что даже французы иногда терялись: может быть, в самом деле надо говорить „à l'aimable“? Посол горячо поблагодарил, простился и вышел. Его лорд Кестльри провожал только до лестницы: посол представлял иностранного монарха, но это не был герцог Веллингтон.

В три часа дня, отдав последние инструкции, министр отправился в палату. Жена сопровождала его и туда. Леди Кестльри поднялась наверх, лорд Кестльри

* — Дорогой граф, мы дружески уладим этот вопрос (*фр.*).

вошел в залу заседаний и занял свое первое место на правительственной скамье, холодно-вежливо отвечая на приветствия. В парламенте не очень любили министра иностранных дел. Тори считали его человеком высокомерным, виги возмущались его внешней и внутренней политикой. Почти все, однако, отдавали должное личным качествам министра, уму, воле, трудолюбию, последовательности, джентльменству; многие считали его глубоким государственным мыслителем. Были у него немногочисленные личные друзья, преклонявшиеся перед ним и фанатически ему преданные. Но были и немногочисленные личные враги, отрицавшие за ним какие бы то ни было качества.

В этот день в палате прений по внешней политике не было. Был вопрос, относившийся к недороду и к тяжелому положению низших классов. Виги говорили, что народ переобременен налогами, что так дальше продолжаться не может. Виконт Кестльри слушал равнодушно: знал, что так оппозиция говорила и говорит во все времена, что в этом ее ремесло: это условные слова вроде того, как новые министры неизменно говорят, что их кабинету пришлось встретиться с небывалым и неслыханным по трудности положением из-за наследства, полученного ими от их предшественников. Он даже сомневался, стоит ли ему отвечать. Все же решил ответить и сказал холодно несколько слов на свою обычную тему: „It is delusive and dangerous, — сказал он, — to say that distress arose from taxation and not from Providence and the great principles of Nature...“ На скамьях тори послышались возгласы: „Hear, hear...“ Главный же враг и недоброжелатель лорда Кестльри, член Палаты от Винчелси, Генри Брум, все время с ненавистью на него поглядывавший, подумал, что подлинное Божие наказание не в недороде: оно в том, что огромной империей и отчасти судьбами мира правит тупой, ограниченный, невежественный человек, не знающий даже английского литературного языка.

Ответив оппозиции, министр иностранных дел вернулся с женой домой. Они пообедали вдвоем, без гостей. Гости должны были у них собраться вечером после оперы. Так как обещал заехать принц-регент, то леди Кестльри распорядилась, чтобы ужин был подан на

* „Нереально и опасно (...) говорить, что вужда происходит из-за налогов, а не по воле Провидения, что она не один из законов природы...“ (англ.)

* „Слушайте, слушайте...“ (англ.)

великолепном саксонском сервизе, подаренном монархами министру после Венского конгресса. Обед же, скромно сервированный, был очень простой, английский: черепаховый суп, джойнт*, стилтон#, пудинг; все запивалось пивом в весьма умеренном количестве. После обеда лорд Кестльри поцеловал руку жене. Они отправились одеваться.

В туалетной комнате перед зеркалом, вделанным в шератоновскую штучку, министр заметил, что на подбородке у него успело выступить несколько седых волосков. Он не любил бриться во второй раз в день и решил снять волоски, не намывивая лица. Виконт Кестльри достал бритву и опять, с непонятным ему самому тревожным неудовольствием, обратил внимание на то, что небольшой нож куда-то исчез.

Затем он зашел к жене, — всегда высказывал свое мнение об ее туалете. Леди Кестльри одевалась, по общему отзыву, плохо; о ней ходили разные анекдоты: говорили, например, что однажды, на Венском конгрессе, она надела вместо диадемы осыпанный бриллиантами орден Подвязки ее мужа. Министр совершенно искренне похвалил платье и поцеловал жену в голову, молчаливо благодаря за ее восторженный взгляд: лорд Кестльри был в самом деле великолепен; едва ли на свете когда-либо существовал человек более dignified, чем он.

Сложная прическа жены еще не была доделана: по пришедшей из Парижа моде надлежало носить в волосах от восьми до двенадцати перьев — чем больше, тем лучше. Это требовало времени. Министр развел руками, показывая, что тут он бессилен. „Я готов и пропустить первый акт, — сказал он, показывая улыбкой, что это для него большой жертвы не составит, — буду ждать вас у себя“.

Кабинет был теперь освещен только лампой над шератоновским диваном. При входе взгляд министра остановился на лошадиной голове. Какая-то неясная мысль опять тревожно его поразила. „Нет, в депешах ничего особенно печального, кажется, не было“, — неуверенно сказал он себе. Лорд Кестльри неторопливо расхаживал своей величественной походкой по кабинету, переходя из освещенной части комнаты в полутемную. Почему-то в нем все усиливалось чувство тревоги, с

*Кусок мяса (joint, *англ.*). — *Прим. ред.*

#Сорт жирного сыра (Stilton, *англ.*). — *Прим. ред.*

которым он проснулся в этот день. В депешах все было не слишком приятно, но не было ничего особенно дурного. Ничего дурного не произошло и днем на заседании палаты. Вдруг, когда министр приблизился к дивану, гнедая лошадь с полотна показала ему язык... Он прирос к полу от негодования: „Что это? Как она смеет?..“ Виконт Кестльри вздрогнул, провел рукой по лбу, пришел в себя. „Просто я переутомился“, — подумал он и поспешно отошел от дивана.

IX.

— ...Вы меня осуждаете за неверие, милый друг, — сказал Байрон. — Между тем слухи о моем атеизме распускаются конкурентами моего издателя, дабы повредить распространению моих книг. Расчет, кстати сказать, неверный, ибо периодически восстанавливающая мода на неверие возвращается в Европе и сейчас. Очень сожалею, что князь Меттерних считает Господа Бога австрийским патриотом и обер-канцлером, а лорд Кестльри — верховным лидером партии тори. Но сам я не атеист. Не могу назвать себя и верующим человеком. Прежде боялся, что природа произвела меня в день совершенного равнодушия. Теперь вижу, что все-таки сомневаюсь, — это, по-моему, пес *plus ultra** веры. Наставлять же меня тут совершенно бесполезно. Так же напрасно говорить человеку: не сомневайся, веруй, как напрасно говорить: не спи, бодрствуй. Он заснет все равно.

Тереза Гвиччиоли подавила зевок. Собственно, она не очень его наставляла и не так уж опасалась его неверия. Знала, что после долгой работы он любит поговорить и что говорить ему не с кем: в Пизе, где они жили уже довольно долго, их небольшое общество успело очень ему надоесть. Она понимала, что ей надо лишь изображать на лице внимание и время от времени вставлять осторожные замечания, которые не могли бы ему показаться слишком глупыми. *В посещении кладбища с любимой женщиной* было то, что, по ее мнению, полагалось поэту. Однако они уже с четверть часа стояли перед „Торжеством смерти“. Именно из-за фресок *Campo Santo* разговор перешел на религиозные предметы; о них говорить с ним Тереза Гвиччиоли не любила.

*Наилучший образец (лат.).

— Великий писатель не может быть неверующим человеком. А вы, Байрон, — величайший из писателей, — заметила она.

— Мне, напротив, иногда кажется, что религия несовместима с искусством, — сказал он, не дослушав. — Существует ли строго религиозное искусство? Вы назовете Данте, некоторых великих живописцев, и вы будете, конечно, правы. Я не решил этого вопроса, все тщетно пытаюсь разрешить. Существуют неверующие люди, по разным причинам желающие, чтобы их искусство было „насквозь религиозно“. Они меня не интересуют, как не интересуют меня люди неискренние вообще. — Графиня Гвиччиоли улыбнулась, он холодным выражением лица показал, что не понимает ее улыбки. — Существуют также так называемые „люди, ищущие Бога“. Этой распространенной формулы я никогда не мог понять; она, в сущности, ничего не значит и ни к чему не обязывает. Как это они „ищут Бога“? И если ищут, то почему не находят? Когда же они найдут? Существуют, наконец, истинно религиозные художники, среди них есть люди гениальные. Но религиозно ли их искусство? Когда они писали, они больше думали о рифмах, о звуках, о красках, о стиле, чем о вечной жизни и бессмертии души. Вы возражаете, что религиозность их душевной природы сказывалась в них, о чем бы они ни думали...

— Разумеется! — вставила Тереза: мысли, которые он сам ей подсказывал, можно было выражать без опаски.

— Пусть, но они не могли не видеть соблазнов своего искусства. Ведь все искусство само по себе есть великий соблазн, оно соперничает с верой, и для искренне верующего человека эта мысль, я думаю, нестерпима. Религиозное творчество должно быть понятно, общедоступно, определено, односмысленно. Искусство же почти всегда необщедоступно, неопределенно, двусмысленно, даже многосмысленно. Кроме того, религия живет добром, дышит добром и прекрасна добром. Искусство же по природе зло или живет преимущественно злобой... Впрочем, в такой форме моя мысль преувеличена. Однако верно то, что искусство — по крайней мере литература — гораздо лучше помнит о зле, чем о добре, гораздо чаще вдохновляется злом, чем добром, гораздо больше обязано злу, чем добру. И не верьте тем художникам, которые, вечно описывая зло, уверяют, что служат таким образом добру или даже Богу: это самые

неискренние из художников. Да вот, взгляните на эти гениальные фрески. Я не живописец, у меня нет верно-го глаза, — когда я смотрю на картину, я интересуюсь не тем, что занимает живописцев; меня прежде всего занимает вопрос: что за человек был тот, кто это со-здал. И тут, слава Богу, мы в догадках почти свободны. Вазари нас погубил, рассказав анекдоты обо всех ху-дожниках Италии. Но об авторе этих фресок он сам почти ничего не знал. Говорят, что „Торжество смерти“ написал некий Андреа ди Чоне, называвший себя Орканья, живший в Пизе в XIV веке, бывший одновременно живописцем, архитектором, скульптором и поэтом. О нем Вазари не сообщил нам ни пустых анекдотов, ни серьезных сведений. Некоторые знатоки вдобавок при-писывают „Торжество смерти“ кому-то другому. Во всяком случае, мы совершенно не знаем, что за человек был этот Орканья. Кажется, он к искусству относился с легкой иронией: по крайней мере, на своих картинах писал: „Fecit Andrea di Cione sculptore“*, а на статуях: „Fecit Andrea di Cione pittore“#. Впрочем, это могло про-исходить и от мании величия: „все умею!..“ В религиоз-ных чувствах этого человека мы как будто сомневаться не должны: он строил церкви, расписывал стены часо-вен, набожные пизанцы доверили ему стенную живо-пись их знаменитого кладбища. Что же он написал? В этих фресках все двусмысленно.

— Почему, Байрон? — спросила графиня. Она чув-ствовала, что тут следовало бы записывать: великий поэт высказывает свои мысли о произведении великого художника, да еще на пизанском Campo Santo.

— Посмотрите, справа молодые люди и дамы танцу-ют, поют, играют на лютне... Разумеется, это должно означать поэзию, свет, радость жизни. Заметьте, одна-ко: ни одного красивого лица, ни одной привлекатель-ной фигуры. Точно он хотел сказать, что все это очень преувеличено, что ничего хорошего тут нет, что радо-ваться, собственно, нечему. А вот рядом собрались ка-леки, нищие, уроды, — эти, напротив, изображены очень наглядно. Посредине фресок летит смерть. Обра-тите на нее внимание, я такой смерти не видел ни на одной картине. Обыкновенно смерть рисуют дряхлой старухой с косой. Здесь она здоровенная злая баба. Калеки, нищие и уроды простирают руки к атлетке-

* „Сделал Андреа ди Чоне, скульптор“ (итал.).

„Сделал Андреа ди Чоне, художник“ (итал.).

смерти. И по милому, простодушному обычаю того времени художник, очевидно, не очень веря в свою изобразительную силу или в понятливость зрителей, пояснил мысль еще словами, — видите, тут помещены стихи, вероятно, его собственного сочинения: „Dacche prosperidade ci ha lasciati,— O Morte, Medicina d'ogni pena,— Deh vieni a darne omai l'ultima Cena!..“* Однако смерть знать не хочет калек, нищих и уродов. Минуя их, она летит к тем невеселым прожигателям жизни, к не очень красивым богатым дамам, за которыми волочатся не очень привлекательные богатые юноши. Не думаю, чтобы это была благочестивая мысль. Скорее, здесь можно усмотреть насмешку. Но вот — настоящий центр картины. Три короля, в сопровождении любовниц, слуг, пажей, едут на охоту или, быть может, на „оргию“. Перед ними на дороге — три открытых гроба. В гробах мертвые короли в разных степенях разложения: один сгнил совершенно, другой наполовину, по его телу ползает змея, третий стал скелетом. Живые короли в ужасе останавливаются перед телами мертвых... Как хорошо для этого Орканья, что в его время не было ни газет, ни рецензентов. Если бы что-либо подобное написал я, меня забросали бы ироническими вопросами: что за короли? Почему такая симметрия: три живых, три мертвых? Почему гробы стоят на дороге? Откуда взялась змея? Почему поэт пишет чепуху? Но прежде всего сказали бы, конечно, что только циник, только человек, любящий копаться в грязи и тлении, мог избрать подобный сюжет, — кто же не знает, что люди смертны и что мы все умрем... Мысль эта была не так нова и во времена Орканья, но его за подобный сюжет, верно, не бранили...

— Вы не хотели бы, однако, Байрон, — сказала, смеясь, Тереза, — чтобы он на стене кладбища изобразил какой-нибудь веселенький сюжет!

— И я тоже не склонен к веселеньким сюжетам.

— Но вы все-таки не пишете фресок на кладбище!

— Двусмысленные, соблазнительные, злые фрески!

Что тут сказано? Может быть, живые короли, увидев мертвых, раскаялись и стали отшельниками? Нет, они, вероятно, поехали дальше на свою оргию или на охоту. Видите, с каким отвращением один из них смотрит на гробы: скорей бы отъехать подальше! И он

* „Счастье нас покинуло. — О смерть, лекарство ото всех страданий, — Приди и дай мне наконец последний ужив!..“ (итал.)

совершенно прав: это настоящий король! Умрешь — пусть и от тебя убегают другие, ничего другого из гробов не следует. Я уверен, он не умрет смертью, которую называют естественной, — точно *это* может быть естественным, и точно „естественная“ чем-то лучше: она хуже во сто крат! Настоящий король найдет *свою* могилу... Вы не думаете?

— Я думаю, что сторож у ворот больше всего мечтает о том, как бы мы ушли возможно скорее.

— Исполним его желание: он останется один со своими фресками, со своими покойниками, со своей палестинской землей. Вы знаете, ученые установили, что в земле этого кладбища тела истлевают вдвое быстрее, чем во всякой другой. И еще удивительно: позднее всего в земле на мертвом теле истлевают волосы и зубы, — то, чего живой человек лишается всего раньше...

— Ради Бога! Ради Бога! — сказала она, морщась с отвращением.

— Простите меня. Пойдем отсюда, там на площади веселее. Вы слышите, поют песни.

Выходя, он сунул сторожу золотую монету. Графиня Гвиччиоли только вздохнула: знала, что и денег не так уж много и что не всегда он бывает столь щедр, — вернее, борется со своей природной скупостью. Сторож проводил их с низкими поклонами, с „эччеленца“. На площади, по случаю праздника, бойкий бродячий певец пел старые пизанские песни. Они едва нашли место за столиком; лакей, не спрашивая, принес бутылку вина и мороженое. В последнее время Байрон почему-то полюбил эту невзрачную кофейню, дешевенькое белое вино, которое даже не имело названия.

— „Voi siete la più bella creatura— Venuta dal cielo in terra cristiana“*, — повторил он слова песни. — Как дальше? Я не разобрал слов.

— „Tutte le stelle non si lascian vedere, — Tutte le belle non si posson avere“#, — пропела она вполголоса. — Вы огорчены? У вас было их, верно, не более тысячи?.. Правда, прелестная песня? Она очень, очень старая...

— Может быть, пятьсот лет тому назад Андреа ди Чоне, прозванный Орканья, на этой площади, перед этим собором, перед этой сумасшедшей башней, в такой

* „Вы лучшее создание, сошедшее с небес на Божью землю“ (итал.).

„Нельзя узреть все звезды, все лучшее нельзя иметь“ (итал.).

же вечер, со столь же прекрасной женщиной слушал эту же песню, потрудившись в течение дня над „Торжеством смерти“, и его дама подшучивала над ним: зачем морочить людей? Ни о каких мертвых королях ты не думаешь, а думаешь о белом вине, о славе, о дукатах.

— Тогда уж и „обо мне“. Но мы опоздаем к обеду, Байрон, — сказала Тереза, испугавшись, что, снова вспомнив об Орканья, он начнет длинный монолог. Он посмотрел на нее, улыбнулся, окинул взглядом собор, „батистеро“, наклонную башню и подумал, что незачем себя дальше обманывать: ему в самом деле надоела Италия, в которую он *влюблен*, ее памятники, ее дворцы со звучными названиями, картины и фрески, наклонные и ненаклонные башни; надоела и комедия с графиней Гвиччиоли, и все надоело *просто*, без *байронизма*, и уж если где жить, то все-таки у себя в Англии.

— ...Вы говорите: бессмертие души, — сказал он, хоть она ничего такого не говорила. — Знаю, я воспитался на книгах восемнадцатого столетия, которые уже стали пошловатыми, а скоро станут совсем пошлыми — впредь до их возможного воскресения. Я сам человек XVIII столетия. Это придает и мне, и моим мыслям, и моим разговорам скучную трезвую сухость, которой нет в моих стихах, отчего они, Впрочем, не становятся лучше. Мои мысли о бессмертии души вы угадываете, я не стану повторять общие места. Но должен сказать, бессмертие души я принял бы скорее как наказание: я не так доволен собственной душой.

— А телом? — спросила она себя и, увидев по выражению его лица, что замечание ему не понравилось, огорчилась. Разговаривать с ним было так трудно. — Не сердитесь, Байрон: я ведь постоянно говорю глупости.

— Я и сам часами несу ерунду, — сказал он, вдруг засмеявшись добродушным, почти детским смехом. — Да и сейчас я высказывал вам о вере, об искусстве мысли самодовольные, скучные, сухие. О вере, по-моему, не должны говорить ни верующие, ни неверующие люди. Об искусстве же мои суждения меняются каждый день. Я занимаюсь искусством чуть не двадцать лет и совершенно не знаю, что это такое. Но знаю твердо, что меня искусство уже удовлетворить не может: ни мое, ни даже чужое, самое лучшее. Человек не создан для того, чтобы писать стихи или сказки. Надо делать дело? А если ни в какое дело не веришь, что тогда?

— В самом деле, что тогда?

— Тогда надо жить со дня на день. Или, когда станет уж очень гадко, найти *свою* могилу, *королевскую*, — произнес он, помолчав.

— Больше никогда не буду ходить с вами на кладбище, — сказала она, рассердившись полуискренне, полупритворно. — „Могилы, могилы“, что можно нового и умного сказать о могиле! Вам надо творить: вы первый писатель мира, вы так знаете людей, друзья ваши говорили мне, что вы читаете в душах, как в книге.

— Как в книге! — с комической торжественностью подтвердил он и подумал, что друзья совершенно правы, что главным образом поэтому жизнь его так тяжела, так скучна и становится все скучнее и тяжелее. Подумал также, что читать в птичьей душе графини Гвиччиоли не очень трудно, но вслух читать незачем. Подумал, что сошла она с ним из-за счастливого обычая: у них молодым замужним женщинам, особенно при старом муже, полагается иметь *cavaliere servante**, и он превосходный *cavaliere servante*: богатый, знаменитый, знатный, красивый; а когда он исчезнет, то появится следующий, похуже, ибо она станет старше. Роковая же страсть изображается по моде, им самим в мире введенной. Следующий будет уже, верно, по другой моде.

— Скажите, скажите, Байрон, что вы во мне видите? — спросила она, улыбаясь.

И слова ее, и *кокетливая улыбка*, и весь глупый разговор были ему привычно противны. Он изобразил на лице роковую страсть и повторил страстным шепотом: „*Voi siete la più bella creatura — Venuta dal cielo in terra cristiana...*“ Она *одарила* его *нежным взглядом*. „Теперь настоящий *cavaliere servante...*“

Х.

Герцог Веллингтон давал обед в честь короля. Георг IV, в бытность свою принцем-регентом, охотно принимал приглашения в частные дома. У себя он устраивал три рода приемов. На большие приемы посылались обер-камергером официальные приглашения, отпечатанные на огромных листах картона, и являться надо было в придворных костюмах. Затем были приемы средние, с приглашением не отпечатанным, а писанным

*Услужливый поклонник (итал.).

рукой секретаря, — гости приходили во фраках. И наконец, иногда устраивались во дворце малые приемы, человек на пять или на шесть, которым письменных приглашений не посылалось: к ним приходил дворцовый лакей и устно просил, „если у них нет ничего лучшего“, прийти к Его Высочеству поужинать, запросто, не одеваясь: будут только свои. Устные приглашения считались особой честью, и получали их только избранные лица.

С тех пор как принц-регент, со смерти Георга III, вступил на престол, этикет стал более строгим. Новый король почувствовал с годами усталость. Он свои шестьдесят лет прожил очень весело. Повлияла на короля и история с женой. После развода с ней его популярность значительно уменьшилась; при проезде по улицам Лондона он не раз слышал радостные возгласы: „Where’s your wife, Georgy?..“* Затем жена его скончалась; к собственному его изумлению, на нем отразилось и это, хоть он совершенно ее не выносил. Георг IV вдруг очень потолстел, отяжелел, обрюзг. Ему тяжело было смотреть на свои портреты в молодости, писанные в те времена, когда он считался красавцем и, под прозвищем „первого джентльмена Европы“, сводил с ума красивейших женщин мира.

Новая фаворитка, маркиза Конингэм, пришедшая на смену леди Хертфорд, старалась не отпускать его в общество. Да и сам он ее покидал неохотно, смутно-тревожно предполагая, что эта *старческая любовь* (без ужаса и подумать было невозможно) — последняя любовь его жизни. Собираться с людьми, даже приятелями, без женщин стало ему скучно и тягостно. Однако изредка все же приходилось принимать гостей и ездить в гости. Подражая королю, малые приемы в его честь устраивали знатнейшие сановники Англии.

Отказаться от приглашения победителя при Ватерлоо было почти невозможно. Вдобавок Веллингтон недавно купил новый великолепный дом, Apsley House, и желал его показать. Георг IV и вообще недолюбливал герцога. При мысли же о том, что придется осматривать и хвалить разные сокровища и достопримечательности, дурное настроение короля усилилось. Ему достаточно надоели и собственные, и тем более чужие дворцы, картинные галереи, стильная мебель, коллекции фарфора, старинное серебро. Если б дело было

* „Джорджи, где твоя жена?..“ — Пер. с англ. авт.

зимой, можно было бы сказать, что при свечах нельзя ничего оценить по достоинству. Но в августе в семь часов вечера еще было светло как днем. Король понимал, что хозяин его не пощадит и покажет решительно все.

Достопримечательности начались уже в холле. Георг IV покорно остановился перед огромной статуей; это был Наполеон Кановы с земным шаром в руке. Хозяин дома рассказал историю сокровища. „...Когда же лорд Бристоль сказал скульптору, что земной шар недостаточно велик по размерам статуи императора, Канова ответил: „Vous pensez bien, mylord, que la Grande-Bretagne n'y pas comprise“*. Король слабо улыбнулся. Ответ показался ему довольно забавным; однако он подумал, что если не только осматривать произведения искусства, но еще выслушивать по их поводу исторические анекдоты, то обедать вообще не придется.

Георг IV пошел дальше тяжелой, переваливающейся походкой. Почти не глядя на вещи, почти не слушая объяснений, он, как при открытии разных музеев, повторял, в зависимости от предмета: „Это поистине прекрасно“ или „Очень, очень интересно“. Увидев в зеркале свою грузную фигуру, помятое, теперь совсем старческое лицо, король только вздохнул. Он по-прежнему одевался лучше всех в Англии; по-прежнему платил портным десятки тысяч фунтов в год; по-прежнему знал, что если сегодня криво застегнет пуговицу или воткнет носовой платок в туфлю, то завтра то же сделает весь Лондон. Но теперь ему было ясно, что все это ни к чему.

За ним почтительно следовали хозяин и гости: маркиз Лондондерри (его по старой памяти все еще называли лордом Кестльри), русский посол, граф Ливен, и еще три человека, — Георг IV не помнил одного из них: знал его в лицо, знал, что этот гость был в свое время представлен (иначе он не мог бы быть приглашен на обед), знал, что фамилия гостя значилась в списке приглашенных, и все-таки не мог вспомнить, кто это. „Плохой признак, старость“, — хмуро подумал он: память у него вообще была профессиональная, очень хорошая. По облику гостя король понял, что это денди (больше не говорили „beau“[#]) самого последнего образца: он был нехорошо одет, ногти у него были длинные,

* „Вы думаете, милорд, что Великобритания там не включена“ (фр.).

[#]Щеголь, фразт (англ.).

волосы немного растрепанные, вид болезненный, рассеянный и роковой, — Георгу IV было известно, что новая мода эта создавалась в подражание сумасшедшему поэту Байрону, тому, который находился в любовной связи с собственной сестрой. „Да, странное, странное время!“ — сердито думал он, вспоминая себя и друзей своей молодости, Фокса, графа д'Артуа, так худо кончившего Филиппа Эгалите. Когда из разговора фамилия гостя выяснилась, король пожал плечами. Это был обыкновенный, ничем не замечательный лорд, дальний родственник Веллингтона, — очевидно, герцог хотел его угостить королем. „Но кем же он угощает меня!..“ Георг IV, от природы человек умный, хорошо знавший общество, перевидавший всевозможных знаменитых людей, больше никем вообще не интересовался и ни для кого себя не утруждал. Разговоры на серьезные темы были еще хуже глупых разговоров. Сам он говорил почти всегда одно и то же: так проще, и незачем стараться, и совершенно неинтересно, что о нем подумают Веллингтон, Кестльри, растрепанный лорд да и вообще кто бы то ни было.

Хозяин давал объяснения, и по его интонациям был виден чин художника: Сальватора Розу он представлял королю не так, как Мурильо, а Мурильо не так, как Тициана. Гости вставляли замечания, и Георг IV видел, что они ничего не понимают в искусстве. Сам он знал толк в картинах; в другое время, в лучшем настроении духа, быть может, кое-что посмотрел бы в этом доме: наряду с плохими картинами и подделками тут были превосходные вещи. Но ему не хотелось доставлять удовольствие Веллингтону, и ничего, кроме „Это поистине прекрасно“ и „Очень, очень интересно“, он так из себя и не выдал. Позабавило его и вместе раздражило, что Наполеон был в Apsley House буквально на каждом шагу, во всех видах, — скончавшийся в прошлом году император был в Лондоне вообще в большой моде. При виде картины Уилькиса, изображавшей, как английские инвалиды читают в газете сообщение о битве при Ватерлоо, король подумал, что картина неважная и что вывешивать ее Веллингтону не следовало бы. Когда же дело дошло до часов Типпу-Саиба, захваченных после взятия Серингапатама, Георг IV так открыто и решительно зевнул, что хозяин тотчас повел гостей к столу.

— Ваши русские идеи у меня сегодня побеждают, как вы увидите, лишь наполовину, — сказал он русско-

му послу, смеясь и показывая на стол. Его слова относились к революции, которая происходила в мире в вопросах сервировки. Старые — французские — правила тут боролись с новыми, русскими. Во Франции, а за ней во всей Западной Европе, при званых обедах на огромный стол ставились сразу десятки самых разных блюд, под крышками, под колпаками, на жаровнях. Однако в последнее время стала распространяться русская мода: блюда приносились в столовую из кухни одно за другим. Между знаменитыми поварами, метрдотелями, гастрономами шел ожесточенный спор о недостатке и преимуществах новой моды, *assiettes volantes**. На столе герцога Веллингтона стояли золотые и серебряные блюда, но их было не так много, и ясно было, что это не весь обед. — Сегодня мой шеф придумал „dîner tout en bœuf“^а, — пояснил герцог. У короля вытянулось лицо.

— Я знаю эту штуку. Идея Элио, да? Карем всегда это отрицал, — сказал он довольно угрюмо. Речь шла тоже о новой моде, вернее, о возрожденной моде времен Людовика XV: многочисленные блюда обеда готовились из одного и того же мяса. Георг IV взял меню и прочел с хмурым видом. Там значились: „potage à la jambe bœuf“, „alimelles de palais de bœuf“, „petits pâtés de bœuf“, „poitrine de bœuf à la Hongrie“, „gâteau de graisse de bœuf“, „griblettes de bœuf“, „hatereaux de bœuf“, „clarquet de jus de bœuf“^б и еще какие-то малопонятные блюда, все из bœuf. — У меня тоже был как-то „souper tout en cochon...“^в Герцог пояснил разочарованным гостям, что dîner tout en bœuf составляет только часть обеда; остальное напечатано на другой стороне меню. Король заглянул и просветлел: жаловаться на вторую часть обеда никак не приходилось.

— Это меню сделало бы честь самому Камбасересу, великому архиканцлеру покойного Наполеона, — сказал Ливен.

— Ах, не говорите мне об этом человеке, — ответил герцог. — В Париже он пригласил меня к себе на обед, и я имел неосторожность ему сказать, что не очень

* Легающие тарелки (фр.).

^а „Обед из мяса“ (фр.).

^б „Суп из говяжьей ноги“, „кусочки мяса по-дворцовому“, „маленькие пирожки с мясом“, „мясная грудка по-венгерски“, „паштет из говяжьей печени“, „ломтики мяса в сале“, „скоблянка мясная“, „осветленный мясной сок“ (фр.).

^в „Ужин из свинопы...“ (фр.).

интересуюсь едой. „Чем же вы интересуетесь? — закричал он. — И зачем же вы ко мне пришли?“

Король улыбнулся, гости засмеялись. Лакеи подали мадеру в золотых кубках, она была превосходна. Растрепанный лорд сказал, что гораздо лучше начинать обеды не с хереса, а именно с мадеры, — „особенно если с такой, ведь это мальвазия бабоза?“ Граф Ливен высказал мнение, что обеды надо начинать с русской водки, которая лучше всякой мальвазии бабоза „и вдобавок стоит не два фунта бутылка, а пять или шесть пенсов“. Король, смеясь, заметил, что Карем бежал от императора Александра и перешел к нему на службу оттого, что не мог вынести этого варварства: перед началом обеда люди убивают чувствительность нёба, глотая залпом разбавленный водою спирт; а затем из кухни, откуда идти в столовую не меньше пяти минут, приносят одно за другим стывшие по дороге блюда!

— Я высказываю не свое мнение, а мнение великого Карема, — сказал он Ливену. — Впрочем, великий Карем сбежал и от меня. Он так мне и объяснил: король поваров может творить только в Париже.

Разговор начался очень хорошо. Настроение короля стало улучшаться, особенно когда разные *griblettes de bœuf* были убраны и начался настоящий обед. Однако к концу, после шампанского (никаких тостов на малых приемах не полагалось), произошел не совсем приятный инцидент. Король заговорил на военные темы, которые очень любил. Он высказал мнение, что первая пехота в мире — русская. Наступило молчание. „После пехоты Вашего Величества“, — ответил очень холодно герцог Веллингтон. „Ну, какая же у нас пехота! Наша кавалерия — это, пожалуй, другое дело!.. Думаю, однако, что при столкновении с французской армией, в случае равных сил, мы непременно должны потерпеть поражение, правда?“ „Я не могу согласиться и с этим мнением Вашего Величества“, — ледяным голосом произнес хозяин дома. Король так озлился, что стал хвалить военные таланты генерала Англиси. Нельзя было задеть Веллингтона чувствительнее: в военных кругах многие приписывали не ему, а лорду Англиси честь победы при Ватерлоо. Гости переглянулись. Граф Ливен поспешно заговорил о предстоящем в Вероне международном конгрессе, составлявшем главную злобу дня.

Маркиз Лондондерри, бывший лорд Кестльри, не сказал почти ни одного слова за весь вечер. Он и вообще

был не очень разговорчив, но на этот раз его молчаливость и измученный вид обратили на себя общее внимание гостей. Хозяин дома раза два пытался вовлечь его в разговор, министр отвечал кратко „да“, „нет“, и то невпопад. Он мало ел, зато пил в этот вечер несколько больше обычного, хоть гораздо меньше, чем другие гости. Когда разговор зашел о Веронском конгрессе, министр иностранных дел вдруг оживился, но оживился, как потом вспоминали гости, несколько странно.

— Этот конгресс очень, очень опасен, — взволнованно сказал он. В его словах ничего особенно удивительного не было. Однако голос и вид министра были таковы, что гости с недоумением на него взглянули.

— Почему же? — спросил Веллингтон. — Вы сами, дорогой друг, не раз мне говорили, что предпочитаете систему непосредственных встреч и переговоров с иностранными монархами и государственными людьми. Вы указывали, что она удобнее дипломатической переписки и дает лучшие результаты. А я всегда думал, что нужно выбирать меньшее зло. „In all circumstances the duty of a wise man is to choose the lesser of any two difficulties which beset him“*, — повторил он ту же мысль в афористической форме и оглядел гостей.

— Я вам говорю, — что ехать в Верону опасно, — повторил Кестльри, — очень, очень опасно.

— В каком же смысле? — осторожно спросил граф Ливен.

Министр иностранных дел пробормотал что-то невразумительное. „Заговор, заговор!“ — произнес он и оглянулся в сторону окна. Гости насторожились. Веллингтон сказал, что поездка в Италию очень утомительна.

— Не для железного герцога, надеюсь? — спросил король, желавший перед уходом загладить свои нелюбезные замечания.

— Увы, и я, Ваше Величество, начинаю чувствовать тяжесть лет.

— Я знаю, что вы родились в один год с Наполеоном, — сказал король.

Граф Ливен спросил хозяина, видел ли он когда-либо Наполеона.

— Никогда. Но в самый разгар Ватерлоо я вдруг услышал совсем близко от себя крики: „Vive

* „В любых обстоятельствах долг благоразумного человека выбрать меньшую из двух трудностей, которые стоят перед ним“ (англ.).

l'Empereur!..** Помню, я тогда стоял под деревом, на перекрестке двух дорог... — Георг IV подавил зевок и подумал, что все-таки в былые времена обеды с Филиппом Эгалите бывали веселее. Он знал, что о Ватерлоо герцог рассказывает долго; зато решил минут через пять после окончания рассказа проститься и уехать к маркизе Конингэм. — ...Думаю, что он был от меня тогда совсем близко. Мне очень жаль, что я никогда его не видел. Всех знаю, а его никогда не видал.

— „Всех“ можно будет увидеть в Вероне. Положительно туда собирается весь Лондон, — сказал Ливен.

— Да, но лошади? Где достать надежных лошадей? — вскрикнул маркиз Лондондерри. Хозяин взглянул на него уже с тревогой. „Кажется, ровесник Наполеона начинает понемногу выживать из ума“, — подумал король и решил, что можно уехать и сейчас. Он встал, поднялись все гости, вопрос министра иностранных дел остался без внимания.

В холле повеселевший король наговорил любезностей Веллингтону. Георг IV умел быть очаровательным, когда хотел. „Конечно, это была с моей стороны большая смелость спорить о военных предметах с Вашей Светлостью“, — сказал король на прощание, крепко пожимая руку хозяину. „Нет, все-таки он прекрасный человек, совершенный джентльмен и гордость Англии...“ „Напротив, замечания Вашего Величества показались мне чрезвычайно интересными“, — ответил почтительно железный герцог.

Гости, смеясь, еще поговорили о леди Конингэм (ее в Лондоне называли просто „the lady“), об ее предшественнице, леди Хертфорд, об их острой ненависти друг к другу, о том, насколько достойнее вела себя в свое время, получив отставку, госпожа Фицгерберт. Первым встал граф Ливен, за ним поднялись другие гости. Маркиз Лондондерри, по-видимому, еще не собирался уходить. „Вот это мило, дорогой друг, — сказал хозяин дома, — мы с вами допьем портвейн 1788 года, оставленный нам безумцами...“ Граф Ливен почему-то взглянул на маркиза Лондондерри.

Проводив гостей, Веллингтон с неприятным чувством вернулся в столовую. Лорд Лондондерри сидел, откинувшись на спинку стула, неподвижно глядя в сторону окна и вертя в руках фруктовый ножик. Беспокойство хозяина усилилось. Он изобразил на лице преуве-

* „Да здравствует император!“ (Фр.)

личенную радость; при его совершенной правдивости это не очень ему удалось.

— Я думаю, не стоит переходить в гостиную? Здесь отлично, не правда ли, старый друг? Выпьем еще портвейна, он недурен.

Маркиз Лондондерри ничего не ответил; он все вертел ножик, глядя лезвие пальцем.

— Теперь так трудно доставать настоящий портвейн, без примеси этой проклятой *джеропиги*, — сказал хозяин. — Вы знаете, что такое джеропига? — Лондондерри встал, подошел к окну и вернулся с ножиком на свое место. Веллингтон беспокоился следил за ним взглядом. — Нет, дождя нет.

— Это Джон, — сказал министр иностранных дел, — я так и знал: Джон тут.

— Какой Джон? — мягко спросил Веллингтон.

— Мой кучер. Ведь это он ее настраивает против меня.

— Кого?

— Ее. Гнедую лошадь.

Хозяин дома испуганно замолчал. Он еще не отдавал себе ясного отчета в том, что произошло, но чувствовал, что случилось нечто очень, очень нехорошее. „Может быть, он пьян? Однако эти глаза! — В полном замешательстве Веллингтон зачем-то отодвинул стул, снова его придвинул, переставил бокал. — Что же надо теперь сделать?..“ Такого случая в его жизни никогда не было.

— В портвейн они обыкновенно подбавляют какую-то аптекарскую дрянь, которая называется джеропига, — произнес он после долгого молчания. Помолчал еще и высказал мнение, что политика изнуряет людей, как война. — Да тут еще эта светская жизнь. Я сам часто чувствую себя переутомленным. И знаете, что я тогда делаю, дорогой друг? Я первым делом иду к нашему милому доктору Бэнкхеду. Он меня посылает в Брайтон или в деревню, и через две недели я возвращаюсь в Лондон другим человеком...

— Вы возвращаетесь в Лондон другим человеком, — задумчиво повторил гость.

— Да... Этот доктор творит чудеса и с настоящими больными, тогда как просто усталые люди...

— Какой хороший ножик! — перебил его лорд Лондондерри. — Какой хороший ножик! Вы обратили внимание, какой ножик?

— Вам нравится? Этот сервиз мне поднесли после сражения при Талавере, — сказал Веллингтон, стараясь говорить особенно вразумительно. — По поводу этого сражения мне вспоминается один интересный случай...

— При Талавере? Да, при Талавере... Это какой год?

— 1809 год, — тихо сказал хозяин дома.

— Этот нож шеффилдской работы! Я убежден, что это шеффилдская работа!

— Очень может быть, хотя...

— Шеффилдские бритвы — самые лучшие в мире. Я всегда пользуюсь шеффилдскими бритвами, но мой маленький ножик куда-то пропал! — сказал с ужасом в голосе лорд Лондондерри. Веллингтон взглянул на него и тотчас, побледнев, опустил глаза.

— Ах, у вас пропал нож? Ценная вещь?

— Нож пропал, тот нож! Разве вы не видите, как я плохо выбрит? Все заметили, все! Король тоже!.. Видите, вот волосы и вот здесь!

— Напротив, вы выбриты превосходно, как всегда... Но я говорил, кажется, о докторе Бэнкхеде, — начал снова Веллингтон и остолбенел: маркиз Лондондерри опустил палец в стакан с портвейном, провел пальцем по шее и стал пробривать горло фруктовым ножиком.

Так они просидели минуты три или четыре. Веллингтон думал, что произошла катастрофа, последствия которой еще нельзя охватить; думал, что надо немедленно, не теряя ни секунды, обратиться к доктору Бэнкхеду, взяв с него клятву молчать; думал, что *это* могло случиться в присутствии короля; думал, что, быть может, русский посол уже что-либо заметил...

Швейцар громовым голосом вызвал коляску маркиза Лондондерри. К подъезду подкатила карета, запряженная гнедыми лошадьми. „Это она! Левая! Вот она!“ — закричал в ужасе министр. Веллингтон грозно оглянулся на испугавшегося швейцара, взял своего друга под руку и велел кучеру ехать домой: „Мы хотим пройти пешком“.

По дороге он вразумительным тоном, с расстановкой и повторениями, говорил о докторе Бэнкхеде, о преимуществах сельской жизни, о том, что самому крепкому человеку бывает нужен отдых: „Я советовал бы вам даже отказаться от поездки в Верону. Если хотите, я могу вас там заменить... А вы, дорогой друг, это время провели бы в вашем чудесном Крэй-фарме“. Он говорил

мягким успокоительным голосом и, по своей природной жизнерадостности, почти начинал верить, что, может быть, в самом деле все окажется пустяками. „Головокружение, прилив крови к мозгу, мало ли что!“ „В Верону я охотно съезжу вместо вас, если, как я надеюсь, вы мне доверяете“, — повторил он. Вдруг у фонаря министр иностранных дел повернулся и, задыхаясь, прошептал: „Вы ее не знаете! Она способна на все!..“ Увидев глаза Кестльри, его бледное, искаженное, безумное лицо, Веллингтон похолодел и отшатнулся, едва не вскрикнув. Им овладел ужас, подобного которому он не испытывал никогда в жизни. Они пошли дальше. „Все надо скрыть! Все!“ — мелькало в голове у Веллингтона. Но он уже понимал, что скрыть трудно, что скрыть невозможно, что через неделю всем станет известно: Англией правил сумасшедший! Англией правит сумасшедший!

Леди Лондондерри уже целый месяц находилась в Крэй-фарме. Герцог Веллингтон пошептался с камердинером, глядя на него страшными глазами, затем особенно крепко пожал руку своему другу и вышел. Оставшись один на улице, он вздохнул с облегчением и, все еще вздрагивая, поспешно отправился к доктору Бэнкхеду.

На его сильные, властные удары молотком — стучит герцог Веллингтон — не сразу отворила дверь молодая, хорошенькая горничная. Она обомлела, узнав посетителя. Доктора Бэнкхеда не было дома. Веллингтон задумался, затем решительными шагами направился в кабинет. Он был так взволнован и расстроен, что против своего обычая не оглядел красивой горничной и не улыбнулся ей. Герцог написал Бэнкхеду записку: лорд Лондондерри заболел и нуждается в немедленной помощи. „I have no doubt he labours under mental delirium“*, — писал он своим твердым отчетливым почерком. Горничная растерянно зажигала в кабинете одну свечу за другой, бросая взгляды на гостя, заранее мечтая о том, как завтра всем расскажет, что у них был железный герцог и что она тотчас его узнала. Веллингтон потребовал сургуч и тщательно запечатал листок: нельзя было оставлять открытой записку, содержащую в себе государственную тайну.

* „Не подлежит сомнению, что он работает в состоянии помешательства“. — *Перевод с англ. автора.*

ХІ.

За день до приезда герцогини Пармской к отведенному ей в Вероне дому подъехали под вечер три телеги со слугами и вещами. Мажордом-немец с ругательством слез с первой телеги, держась рукой за кованный сундук, и, увидев стоявшего на крыльце толстого человека, нерешительно снял шляпу: начальство или нет? Оказалось — начальство. Толстый человек сказал, что назначен от императорского двора в распоряжение Ее Высочества герцогини Пармской, Пьяченской и Гвастальской. „Вы кто? Дворецкий?“ — строго спросил он. „Так точно, мажордом“, — ответил, оробев, немец, не зная, как называть толстого человека. „Сколько всего слуг?“ — „Шесть“. — „Когда приезжает Ее Высочество?“ — „Завтра“. — „Знаю, что завтра, да когда?“ — „Думаю, часов в десять утра“. — „Надо не думать, а знать. Перемен нет? С Ее Высочеством придут господин почетный кавалер и две фрейлины?“ — „Так точно“. — „По приказу Его Величества Ее Высочеству отведен этот дом“.

Слуги сердито снимали с телег вещи и вносили в первую большую комнату. Все устали и проголодались: съестных припасов в Парме было отпущено в дорогу немного. „Сейчас же все убрать. Вымыты стекла, почищать, ну, сами должны знать“, — приказал толстый человек. „Завтра с утра все сделаем“, — начал было недовольным тоном один из слуг. „Не завтра, а сегодня“. — „Надо сначала поесть и отдохнуть. Завтра встанем с зарей и все сделаем“. „А я приказываю: сегодня!“ — вспылил чиновник императорского двора. Слуги притихли. „Вещи Ее Высочества откладывать отдельно. Я укажу комнаты... А это еще что такое?“ Камеристка внесла огромную клетку с птицей. „Это попугай Ее Высочества“. „Louise, je t'aime!“* — вдруг хрипло заорал попугай. Чиновник усмехнулся и, видимо, смягчившись, объявил слугам, что ужин им будет через час доставлен от дворцового ведомства. „Хороший ужин. Его Величество приказали, чтобы всех во время конгресса кормили как следует. Будете получать по бутылке вина в день, *нашего*, отличного“.

В сопровождении мажордома он пошел по комнатам, отдавая распоряжения, расспрашивая о вкусах и привычках герцогини. „Это будет спальня Ее Высочества...

* „Луиза, я тебя люблю!“ (фр.)

Господина почетного кавалера мы поместим здесь. Тут столовая... Вот гостиная..." Дом был не очень большой и довольно запущенный. Мажордом, следуя за чиновником, думал, что Ее Высочество могли бы устроить лучше. Когда они вернулись в первую комнату, пол уже был засыпан соломой и стружками. Слуги вынули из ящиков серебро, посуду, клавесин. „А это что?“ „Кровать Ее Высочества. Ее Высочество привыкли спать на своей“, — робко ответила камеристка. Чиновник взглянул на огромную двуспальную кровать и опять усмехнулся. „Поставить в спальню. Ту вынести. Клавесин в гостиную. Для серебра и посуды есть три буфета. Это все сундуки с туалетами?“ — „Так точно“. — „Расставить и разложить так, как любит Ее Высочество. И так же вещи господина почетного кавалера. Попугая куда хотите. Свечи в том ящике. Зажжете, когда стемнеет. Лишних не жечь“.

Он с любопытством осмотрел серебро и посуду и подумал, что есть вещи недурные, а в общем дешевка. У „ogresse de Corse* могли бы быть вещи лучше..." Отдав еще несколько распоряжений, чиновник строго сказал, что придет завтра в девять часов утра и все осмотрит самым тщательным образом. „Чтоб было готово, слышите? Все чтоб сверкало“, — потребовал он и, кивнув головой мажордому, удалился. „Будет тут сверкать! Дом после нашего — дрянь. Грязь, паутина“, — сказал недовольный слуга. Все принялись за работу. Поминутно оказывалось, что нет того, другого: щеток не захватили, тряпок мало. „Кто же мог знать?“ — огрызались виновные. Скоро принесли ужин, в самом деле очень хороший: были и макароны, и рыба, и мясо, и сыр, и вино. Все с жадностью набросились на еду. В Парме кормили хуже.

На следующее утро толстый чиновник явился, как сказал, ровно в девять часов и действительно все внимательно осмотрел. Немного покричал, но в общем остался доволен. Затем он велел слугам выстроиться, спросив мажордому о старшинстве каждого. „Когда поезд покажется, все стать навытяжку. Вы на три шага впереди, — объяснил он мажордому, — я отрапортую. Затем вы сделаете шаг вперед и шляпой — вот так“, — он сделал жест шляпой, коснувшись ею земли, если не как при дворе, то как в театре при изображении двора. Слуги смотрели на него с изумлением. „У нас в Парме

*Корсиканская обжора (фр.).

никогда этого не делают“, — нерешительно возразил мажордом. „Делать, что я приказываю, и не рассуждать! — снова вспыллил чиновник. — То у вас в Парме, а здесь Верона. Здесь владения Его Императорского Величества!“

Прорепетировав со слугами встречу, он сел в кресло у растворенного окна, — осенний день был солнечный, очень теплый. „Все-таки следовало бы выслать ей на встречу какого-нибудь камергера, хоть завалящего, — думал чиновник. — Правда, сейчас такой разгон, но камергера могли бы отыскать...“ Он несколько раз выходил на крыльцо, подозрительно вглядываясь в проходивших людей. Наконец показался *поезд*. Впереди на клячках разной масти скакали два драгуна. За ними следовали три кареты, запряженные лошадьми одной масти и немного получше. Драгуны соскочили с кляч и неловко выхватили шпажонки. С козел слез, ступив на колесо, лакей в дорожном балахоне поверх потертой ливреи и откинул подножку из двух ступенек.

Почетный кавалер, осанистый человек с черной повязкой на глазу, помог герцогине выйти из кареты. Он взглянул на салютовавших солдат и с неудовольствием пожал плечами. Герцогиня, полная, красивая блондинка, приветливо улыбалась, вопросительно глядя на толстого чиновника. Он отдал придворный поклон и почтительно рапортовал: сообщил, что, по поручению императорского двора, приставлен в полное распоряжение герцогини. „Так как час приезда Вашего Высочества в точности известен не был, то не было возможности устроить у заставы подобающую встречу. Его Величеству не было даже известно, именно ли сегодня придет Ваше Высочество...“ Герцогиня нисколько не была обижена. Улыбнувшись слугам, она прошла в дом. Почетный кавалер, граф Нейпперг, с недоумением взглянул на чиновника, на выстроившихся слуг, на некрасивый фасад дома и последовал за герцогиней. „Да, могли принять лучше“, — подумал он.

Фрейлина из второй кареты внесла в дом шкатулку. Толстый чиновник догадался, что это драгоценности герцогини Пармской. Из третьей кареты горничная-негритянка подала кошку; герцогиня страстно ее поцеловала и засыпала нежными словами. „Дайте ей, бедной, молочка, она устала и проголодалась...“ Появились и собачки, видимо, отлично уживавшиеся с кошками в этом мирном доме. Их тоже было приказано накормить. „Сейчас же сбегать за угол, там лавка“, — прошептал

мажордому чиновник, не предвидевший кошек и собак. Герцогиня Пармская была всем очень довольна. Она велела приготовить ванну и подать лиловый халат. „Я буду завтракать после ванны. Вы меня подождете, правда?“ — с нежностью обратилась она к графу. Тот почтительно поклонился. „Умоляю вас, будьте очень осторожны. Не забывайте о своем положении“, — сказал он по-английски. Толстый чиновник, знавший английский язык, скользнул взглядом по талии герцогини. „Вот оно что! Поздравляю“, — подумал он. „Louise, je t'aime!“ — прокричал радостно попугай. Придворный кавалер, морщась, оглянулся на клетку. Герцогиня засмеялась и протянула попугаю палец. „Я не знал, что у попугаев большой язык“, — подумал чиновник и попросил разрешения отлучиться, дабы сообщить о благополучном прибытии Ее Высочества. „Вы нам не нужны, — весело сказала герцогиня, — проводите время, как вам будет угодно, а мы всем объявим, что вы с нами не расстаетесь“. „Мы королевское или мы с *ним*?“ — спросил себя игриво чиновник. „Не будет ли каких приказаний от Вашего Высочества?“ — „Никаких... Ах да, скажите: где тут находится гробница Джульетты?“ — „Какой Джульетты, Ваше Высочество?“ — „Джульетты! Джульетты Шекспира... Я думала, это тут все знают?“ „Ах да, разумеется! — поспешил сказать чиновник, на счастье, знавший, где гробница. — Это у *Campro di Fiera*. Нет, недалеко, здесь все близко, Ваше Высочество. Верона — маленький город...“ Он объяснил, где *Campro di Fiera*, и, почтительно откланявшись, удалился. На прощание герцогиня протянула ему руку. Чиновник был очень доволен.

Мастер-месяц, давно разоблаченный и с позором изгнанный из венты, теперь открыто служил в полиции, в том ее отделе, который соприкасался с дипломатическим ведомством: его часто приставляли к высокопоставленным людям, для их охраны или для наблюдения за ними. На время Конгресса он был откомандирован в распоряжение герцогини Пармской. Никто в Вероне не ждал покушения на герцогиню, но время было беспокойное: даже в Парме появились какие-то *sublimi**. Мастеру-месяцу было поручено и следить за герцогиней, и охранять ее, и заботиться о ее удобствах.

*Здесь: неизвестные (*итал.*).

Он шел бодро, чуть переваливающейся походкой, подозрительно вглядываясь в прохожих: возможны неприятные встречи со старыми знакомыми по Венеции. Мастер-месяц не опасался, что у него будут вырваны сердце и внутренности, как полагалось по карбонарской присяге, но неприятность случиться могла. На всякий случай он всегда носил при себе небольшой пистолет и тяжелую, налитую свинцом палку. С палкой и ходить было удобно: он очень потолстел.

Улицы были полны людей. В Верону уже прибыли или должны были прибыть оба императора, пять королей, множество владетельных особ менее высокого ранга и все знаменитые министры Европы. „Естественно, что тут не до моей красоты“, — думал мастер-месяц. Герцогиня Пармская ему понравилась. Он, впрочем, не раз и прежде видал ее на улицах Пармы. В последний раз встретил прошлым летом. „Тогда была грустна, голубушка: похоронила мужа“, — с улыбкой думал он, вспоминая объявление, появившееся в „Пармской газете“: без траурной каймы, не называя имени, официальная газета сообщала, что 5 мая скончался почтенный супруг нашей августейшей государыни. Мастер-месяц политикой особенно не интересовался, но его тогда все же развеселило, что как „почтенный супруг нашей августейшей государыни“ обозначается Наполеон I. „Нет, нет, в объявлении они могли все-таки его назвать, если не по имени, то хоть по фамилии. Фамилия известная, не утаишь“, — весело подумал мастер-месяц и теперь. Чужая глупость всегда очень его радовала. Еще веселее он вспомнил двух кавалеристов на клячах и их салют шпажонками. „Ей, бедненькой, салютовали не такие армии! И мальчишку тоже называют „сыном Ее Высочества, герцогини Пармской“, точно он незаконный сын от неизвестного отца, — благодушно думал мастер-месяц, имея в виду ребенка, которого называли герцогом Рейхштадтским. — Значит, у него будет братец или сестрица. Старайтесь, граф...“ „Louise, je t'aime!“ — вспомнил он, засмеялся и вдруг подумал, что немец Нейпперг не стал бы говорить по-французски с немкой Марией Луизой: попугай, верно, воспроизводит голос Наполсона. Мастер-месяц ахнул. „Хоть через попугая, а услышал!..“

Он остановился у кофейни. Торопиться, собственно, было некуда. По правилам следовало бы тотчас оповестить начальство о благополучном прибытии Ее Высочества. Но мастер-месяц понимал, что большого впе-

чатления это известие не произведет, — можно сначала выпить рюмку марсалы. Он незаметно осмотрелся. На террасе людей было немного, старых знакомых не было, и никто по виду на карбонария как будто не походил. Мастер-месяц, однако, знал, что наружность обманчива: „вдруг добрый родственничек?“ Он занял угловое место: так сзади никто подкрасться не мог.

ХII.

Последняя смена из шестидесяти лошадей была для царя приготовлена австрийским дворцовым ведомством милях в пятнадцати от Вероны: несколько прекрасных колясок, экипажи и повозки для вагенмейстера, для второстепенных служащих, для агентов полиции, для слуг, для вещей. Часов в пять утра на станцию прибыл австрийский генерал-адъютант с гусарами. Узнав, что император Александр спит, генерал тоже где-то прилег: место для него нашлось, хоть казалось, что решительно вся станция занята русскими. Ночевать в коляске было неудобно.

Александр I проснулся, как всегда в дороге, в восемь часов утра. Спал он плохо. Накануне до поздней ночи читал во французском переводе книгу Иова и комментарии к ней госпожи Гюйон. Дочитал до главы 17-й и остановился на словах: „Прошли дни мои и рушились мои думы, достояние моего сердца... Если я жду, то преисподней, жилища моего. Во мгле постлал я мою постель. Говорю гробу: отец мой ты, а червю: ты мать и сестра моя. Где после этого моя надежда и кто ее увидит? В преисподнюю сойдет она, и вместе с ней упокоюсь я в прахе...“ Ему показалось, что это написано прямо о нем. Читать ответ Вилдада Савхейянина ему не хотелось: ответы собеседников Иова казались ему гораздо более слабыми, чем жалобы и проклятия. Все же он заглянул и в 18-ю главу, прочел и подумал, что, кажется, ошибался, — ответ тоже очень силен: „О, терзающий душу свою в своем гневе! Для тебя ли опустеть земле и скале сдвинуться с места? Да, гаснет свет у беззаконного, и не светит пламя его огня. Своими ногами запутал он себя в тенета и по тенетам он ходит. Зацепляет за пята петля, и скрытно разложены по ней силки...“ Это тоже было о нем. Не в силах раскрыть противоречие — оба как будто говорили одно и то же, — он положил книгу и тотчас задремал.

Во сне с Вилдадом Савхейянином странно связался квакер Аллен, и уж больше ничего понять было нельзя, хоть, пока спал, казалось, что все совершенно ясно. Проснувшись, он думал о настоящих, неясных и тяжелых делах. Морщась, вспоминал о квакере Аллене. „Зачем оказал в Вене этому туповатому человеку такое внимание, такой почет? „Да, да, во мгле постлал я постель свою... И все вы, не найду между вами мудрого, сколько бы вы ни говорили...“ Все, все — сплошная ошибка. Незачем скакать за тридевять земель на этот нелепый Конгресс, совещаться с жуликом Меттернихом и с болваном Веллингтоном“, — с досадой думал он (из-за вчерашней ли книги или по привычке — о политических делах — думал по-французски). „Но перерешать теперь поздно. Лучше оставить по-старому и русские дела, и итальянские, и греческие... А экспедиция в Испанию? Если французы пошлют войска на Мадрид, отчего мне не послать армии на Константинополь? Борьба с революцией? Что такое революция? Православные христиане хотят силой освободиться от мусульманского владычества, — какая же это революция?..“

Его жизненный опыт теперь говорил ему, что в жизни почти ничего изменить нельзя. Вернее, изменить можно — Наполеон ведь был свергнут, и французская революция кончилась, — однако при этом всегда выходит совершенно не так, как надеялись и ждали, — может быть, лучше было и не менять: наименее плохая политика заключается в том, чтобы возможно меньше вмешиваться в какие бы то ни было, особенно в чужие дела. „Но если вмешиваются другие? И разве невмешательство не есть также вмешательство? Не вмешиваясь в греческие дела, я позволяю туркам делать что им угодно в стране, которая им не принадлежит. А заявляя, что я в эти дела не вмешиваюсь, я лишь толкаю греков на обращение за помощью к Англии или еще к какой державе, не имеющей к ним уж совсем никакого отношения...“

Ответить тут было невозможно, как почти во всех политических спорах: здесь все были правы. Греки хотели свободы, русская военная партия стремилась к изгнанию турок, то есть к захвату Константинополя, квакер Аллен советовал думать только о спасении души, и спорить не стоит, так как нельзя, за отсутствием общего мерила, сказать, что лучше: спасение души, или свобода, или увеличение России? Вместе с тем идет личная, следовательно, настоящая жизнь — женщины,

ослабление слуха, дела, речи, переговоры. При мысли о Конгрессе, о торжествах, о приемах он сразу почувствовал скуку, неодолимую, наследственную скуку, какая может быть только у царей. „Хоть бы приехала Зина Волконская? Но и это теперь не так уж важно. Зато та идиотка будет наверное, — с внезапной улыбкой подумал он, разумея влюбившуюся в него жену нового маркиза Лондондерри. — Очередная победа. Бывали и более блестящие...“*

Чай он пил в постели. После молитвы и туалета принял князя Волконского, который в последнее время входил к нему в дорожном тулупе. Царь знал, что эта вольность вызывает толки, досаду и недоумение у других генерал-адъютантов. „Как их может занимать подобная ерунда? Но и меня когда-то, да еще не очень давно, занимала такая же. Теперь желать для себя нечего, это и сила, и слабость моя по сравнению с ними со всеми. „И был тот человек знатнее всех сынов Востока...“ Ему постоянно говорили, что нет в мире человека могущественнее, чем он, со времени падения Наполеона. Это в самом деле было близко к правде, но теперь могущество казалось ему мнимым и почти ничего в нем не вызывало, кроме скуки, утомления и тягелого чувства: после бурной жизни он и к этому слишком привык. „Кто, говоришь, приехал? Кто?“ — переспросил он с досадой. Волконский, чуть повысив голос из-за плохого слуха царя, сообщил, что на станцию прибыл ночью австрийский генерал-адъютант и просит разрешения представиться. „Новый какой-то. Кажется, всех их знаю, этого не знаю. И фамилии не разобрал, такие у них фамилии“, — сердито сказал князь. „Очень нужно было. Разговаривай с ним всю дорогу“, — подумал Александр I. Ничего не ответив, он вышел к генерал-адъютанту с готовой приветливой улыбкой, выслушал то, что полагалось, спросил то, что полагалось, — как приехал император Франц и не слишком ли устал с дороги? Спрашивать подробнее не требовалось, так как Александр Павлович только что видел всю императорскую семью в Вене: австрийский император выехал в Верону днем раньше его. „Да, пре-

*Фр. фон Генц рассказывает в письме к Пилату из Евровы от 26 ноября 1822 г.: „Леди Стюарт, совершенная дура („eine vollkommene Narrin“), уверила себя в Вене, что прозвела на царя сильное впечатление. „Hier hat sie sich jedes erdenkliche Ridicule gegeben, um dies der Welt glauben zu machen“ („Здесь она стала устраивать самые немислимые выкрутасы, чтобы заставить мир поверить в это“ (нем.). — Пер. ред.). — Прим. авт.

красная, изумительная дорога. Мы проехали через весь Тироль...“ Поговорив еще немного с генерал-адъютантом, царь подкинул его Волконскому и вернулся в свою комнату. Там он сел на неубранную постель и безжизненно опустил на грудь голову.

Кучера закладывали экипажи. Австрийские гусары выстроились на дороге. Русские генерал-адъютанты, зевая после дурно проведенной ночи, обменивались впечатлениями. „Ничего, гусары как гусары. Наши лучше“, — сказал Меншиков. „Люди да, а лошадки, пожалуй, у них почище“, — возразил Чернышев больше для того, чтобы поспорить. „Ну, нет! И лошади наши — где же ихним!..“ Разговор не клеился. Из-за мрачного настроения царя вся поездка стала довольно мрачной. Волконский, отделившись от австрийца, сердито сообщил, что государь до поздней ночи читал Иова. „Что до поздней ночи не спал, это вы можете знать по свече. А Иова он читал или не Иова, этого вы никак, Петр Михайлович, знать не можете“, — возразил Чернышев. „Какой вы спорщик, почтальон. Я видел раскрытую книгу“. „C'est plutôt maussade, Jov**“, — заметил, зевая, Меншиков. „С тех пор как он в Вене стал на колени перед бродягой-квакером и поцеловал этому проходимцу ручку, я больше ничему не удивляюсь!“ — гневно сказал Волконский. „Вильям Аллен не бродяга и не проходимец, а очень почтенный человек“, — поспорил Чернышев. „Ну, так целуйте ему ручку и вы! По мне хоть бы и не ручку!.. И молится этот бродяга, точно Березань пляшет или grosфатера:† плечики вывертывает, и этакая на лице веселость!“ — Меншиков засмеялся. „Бросьте, господа, квакера. Ежели б еще квакерша... Скажите лучше, где будем закусывать? Вашего венгерского я выпил бы, но сейчас совестно, да и не хочется есть, а обедать не ранее придется, как во втором часу“. — „Успеете выпить, будет еще остановка до Вероны: ведь он должен переодеться. Не забудьте, господа, приготовить австрийские ордена“. „Приготовим, приготовим, Петр Михайлович... Идем под сень вершителей судеб“, — сказал Меншиков, показывая взглядом на Нессельроде, вышедшего на крыльцо с озабоченным видом; его сопровождали послы: Ливен и Поццо ди Борго.

* „Это скорее хмурый Иов“ (фр.).

† Шуточный семейный немецкий танец с пеннем (от нем. Grosvater — дедушка). — Прим. ред.

Через несколько минут коляски выехали на дорогу и выстроились длинным рядом. Волконский, крихтя, вошел в дом. На крыльце появился император Александр. Прозвучала незнакомая австрийская команда. Гусары обнажили сабли. Царь занял место в первой коляске с графом Нессельроде и с австрийским генерал-адъютантом. Поезд, не спеша, тронулся. Было всего девять часов, а встреча у Веронской заставы назначена была на двенадцать.

Стараясь скрыть скуку и дурное настроение, Александр Павлович расспрашивал о Вероне. Австриец сообщил, что почти все уже съехались, что в городе не осталось ни одной свободной комнаты: предусмотрительные лайбахские спекулянты заблаговременно сняли много квартир и теперь сдают их туристам по бешеной цене.

— Для Вашего Величества приготовлен Палаццо Каносса, едва ли не самый лучший из исторических дворцов Вероны. Он выстроен знаменитым архитектором Санмикеле. Заседания Конгресса происходят в Палаццо Капеллари. Или, вернее, будут происходить, так как без Вашего Величества ничего важного быть не могло. Французская делегация с Монморанси и Шатобрианом остановилась в Палаццо Родольфи...

— Ах да, в ней Шатобриан, — сказал царь, подавляя зевок. — Что он за человек! Я почти его не знаю.

— Могу только сказать Вашему Величеству, что по внешности он человек весьма невзрачный, — с улыбкой ответил австрийский генерал-адъютант и покраснел, подумав, что этого не следовало говорить при карлике Нессельроде.

— Да, да... Ну, а английская делегация? Значит, нашего бедного лорда Кестльри заменил Веллингтон? Какое ужасное событие! — со вздохом сказал император, разумея главную злобу дня: самоубийство маркиза Лондондерри. Австрийский генерал и граф Нессельроде одновременно вздохнули.

— Да, Его Величество император Франц был тоже очень поражен, — сказал австриец и, со слов Веллингтона, сообщил, что лорд Кестльри (в Европе все еще его звали лордом Кестльри) в последнее время стал проявлять признаки сильного переутомления. По совету врача он уехал в свое имение Крэй-фарм и там вдруг, к общему ужасу и изумлению, перерезал себе сонную артерию.

Граф Нессельроде поделился воспоминаниями о лорде Кестльри и рассказал о своей последней с ним встрече.

— Я никак не мог бы подумать, что этот гигант — тяжело больной человек, — решил сказать Нессельроде, отступая от официальной версии. — До меня доходили слухи, что несчастный маркиз в последние дни *бредил*: ему все казалось, что против него составлен заговор...

— Да, то же слышал и я, — сказал со вздохом генерал и нерешительно сообщил подробности, которые, очевидно, исходили не от герцога Веллингтона. В них ничего веселого не было. Тем не менее, как всегда бывает при рассказах о сумасшедших, слушателям стало смешно. Говоря о лошадином заговоре, австрийский генерал не мог сдерживать улыбки.

— История все-таки изумительная, — сказал, смеясь, царь. — Большой страной правил сумасшедший, и хоть бы кто-нибудь это заметил! Скажу даже, что дела Англии никогда не шли так хорошо, как при сумасшедшем лорде Кестльри. Какой печальный факт для нас всех, правителей!

Генерал тоже засмеялся.

— Ваше Величество, когда он правил, лорд Кестльри, быть может, еще не был сумасшедшим.

— Почему вы знаете? Впрочем, будем надеяться, что вы правы. Так его заменил Веллингтон? Это тоже странно! Я не уверен, что Веллингтон знает, где находится Греция.

— Ваше Величество изволите шутить. Герцог — опытный политический деятель, — поспешно заметил Нессельроде, опасавшийся, что слова царя могут дойти до Веллингтона. — Но скажите, генерал, возвращаясь к покойному Кестльри, скажите, как могли больного человека оставить без надзора? Как могли ему дать возможность покончить с собой?

— Мне рассказывали поразительную подробность, — сказал генерал, осмелевший после замечаний царя и отказа от официальной версии. — Покойный лорд Кестльри задолго до своего безумия потерял какой-то нож, которым он очень дорожил, хотя нож был, кажется, самый обыкновенный. Эта потеря почему-то страшно его взволновала: он все искал его и не мог найти. Когда он сошел с ума, у него, разумеется, отобрали пистолеты, бритву, все. И представьте, вдруг он где-то

нашел этот самый затерявшийся нож! Именно им он и перерезал себе артерию.

Улыбки стерлись. Все трое замолчали.

— Да, это перст судьбы, — сказал наконец царь.

В одиннадцатом часу была последняя остановка перед Вероной. Австрийский генерал-адъютант велел остановиться у небольшого загородного дома* и на ломаном итальянском языке приказал оторопевшему садовнику отворить ворота. Узнав, что хозяев нет и что дом пуст, царь в сопровождении свиты, прошел в маленькие, небогато обставленные комнаты. Садовник, забегая вперед, отворял ставни и двери.

Пока камердинер бегал за водой, Александр Павлович устало сидел на грубо сколоченном некрашенном табурете, рассеянно глядя на чужие, дешевенькие, непривычные вещи: пожелтевший рукомойник, кувшин, щетку, сломанный гребешок. Окно туалетной комнаты выходило в садик, там были какие-то неизвестные, залитые ярким светом деревья. Все было и приветливо, и странно, и чуждо до жуткости. „Здесь своя жизнь, чужая непонятная жизнь чужих непонятных людей. И если я ничего не знаю у себя дома, если я не знаю, что мне делать в России, как я могу вмешиваться в дела этих людей, или греков, или турок? Может быть, они *так* гораздо счастливее меня, и лучше ничего нигде не трогать?..“ „Сейчас согреют, Ваше Величество“, — сказал камердинер, торопливо входя в уборную с бритвенным ящиком. Царь вдруг вспомнил о ноже лорда Кестльри, вздрогнул и принял твердое решение больше ни во что не вмешиваться. Все равно все будет неожиданно, не предусмотрено, не предвидимо, как этот потерянный и так странно найденный нож.

В ожившем доме шла суматоха. Слуги разбирали дорожные шкатулки, чемоданы, погребцы, ставили, к изумлению садовника, самовар, заваривали воду в кофейниках. Времени было достаточно. Государь приказал его не ждать: он ничего не ел до обеда. Волконский угощал всех „чем Бог послал“. Бог послал много хороших вещей, в их числе купленное в Вене старое венгерское вино.

Когда Александр I, в австрийском мундире, с орде-ном Марии Терезии, вошел в комнату, уже названную

*Об этой остановке царского поезда в доме госпожи Буттарини есть маленькая заметка в хронике „Монитор Юниверсель“ от 11 ноября 1822 года. — *Прим. авт.*

„синей гостиной“, от прежней вялости и скуки не оставалось ничего. Австрийский генерал откровенно говорил, что Верона, несмотря на исторические дворцы, городишко дрянной и что на развлечения больших надежд нет. „Что ж, нам со скуки пропадать? — спрашивал с негодованием Меншиков. — Отчего нельзя было устроить этот проклятый Конгресс в Вене, как тогда? Они нарочно стали выдумывать один город хуже другого: Аахен, Лайбах, теперь Верона“. „Если б моя воля, я назначил бы Конгресс в Париже, в Пале-Руаяле“, — ответил австриец с улыбкой и встал, увидев в дверях царя. „Угодно ли будет Вашему Величеству выпить рюмку венгерского?“ — нехотя спросил Волконский, зная заранее ответ. „Не угодно... Что, кажется, я ничего не напутал?“ — обратился Александр I к австрийскому генералу. Тот поспешил ответить, что все совершенно исправно и что ни один австриец не мог бы носить этот мундир лучше. „Необыкновенно к лицу Вашему Величеству“, — вставил Чернышев. „О льстец! — по-русски воскликнул Меншиков. — Прошу вас, не верьте, государь: не может этот скверный мундиришко быть вам к лицу так, как наши. Почтальон все врет, точно сочиняет батальную реляцию“. „Кажется, венгерское с утра действует особенно приятно, — сказал, тоже по-русски, государь. — Петр Михайлович, запиши имя хозяйки дома“. „Уже, уже записано“, — скупающим тоном отозвался Волконский. „Верно, приласкает эту лавочницу дорогим презентом, кого он только не приласкивает?“ — „Ее зовут Буттарини. Госпожа Буттарини tout court*“. „Это Палаццо Буттарини, государь. Пятнадцатого века от Рождества Христова!“ — сказал Меншиков.

Ровно в двенадцать поезд подошел к Веронской заставе. Заиграла музыка, послышался дикий крик командира, войска отдали честь. Царя ждали австрийский император, прусский король, еще короли и принцы. Александр I вздохнул и заключил в объятия сначала императора Франца, потом прусского короля, потом других королей, впрочем, не всех: некоторым только протягивал обе руки или даже одну руку. Сказав все, что требовалось, приняв смотр почетного караула, он пересел в коляску австрийского императора. Под звуки военного марша коляска медленно поехала между двумя шеренгами выстроившихся на ули-

*Коротко (*φρ.*).

це войск. Толпа за войсками изображала восторг. Царь отдавал честь и старательно поддерживал на лице приветливую улыбку. „Каролина просила тебя пожаловать вечером к фамильному столу, запросто, во фраке“, — говорил император Франц. „Как я рад! Благодарю сердечно...“ — „Но мы у тебя еще будем сегодня днем, если вы не слишком устали с дороги? Так, для первой беседы обо всем“. — „Очень рад, искренне благодарю. Какой прекрасный город! И как прекрасна была вся эта дорога через Тироль!..“ Коляска остановилась у дворца на Корсо. „Палаццо Каносса! — восторженно сказал Александр I. — Ведь это, кажется, постройки Санмикеле?“ „Совершенно верно. Какая у тебя память! — ответил император Франц, впрочем, без особенного восхищения: он и сам хорошо знал секреты ремесла. — Это один из лучших, если не самый лучший дворец Вероны...“ Они приветливо, с улыбками, пожали друг другу руки на глазах у толпы. В сопровождении ждавшего его у подъезда австрийского генерал-адъютанта царь вошел в Палаццо Каносса.

Немного отдохнув после дороги, Александр I пообедал один, — не пригласил никого к столу. Пообедал плотно, выпил бутылку бургонского из запаса, который для него возили повсюду; другого вина он не признавал. На этот раз ни прекрасный обед, ни вино его настроения не улучшили. Он становился все мрачнее.

Затем он перешел в другую комнату, которую австрийский генерал-адъютант называл его кабинетом. Рассеянно осмотрел ее, — „да, отличный палаццо“ — и сел в кресло. „Если ничего не делать, славе скоро придет конец. Ну и пусть, не все ли равно? Было той славы достаточно, и теперь будет другая“, — вдруг подумал он: при всей искренности своих чувств понимал, что отход от такого могущества к чему-то новому, бездействию, созерцательному может только увеличить его славу, — это как бы повышение в историческом чине. „Уж очень, однако, они все будут рады, что я развязал им руки“, — еще возразил он себе с неприятным чувством, разумея Веллингтона, Меттерниха и других им подобных. „Но я не могу исходить из этого. Надо поступать по справедливости. — Он взглянул на часы. — И для того чтобы поступать по справедливости, сейчас первым делом надо надеть другой мундир...“ Перешел еще куда-то — пока плохо разбирался в коридорах, — позвал камердинера и переделался. Веч-

ные переодевания были мукой его жизни. Царь надел преображенский мундир без эполет, аксельбант, лосиные панталоны, короткие ботфорты, шарф вокруг талии, Андреевскую ленту через плечо, нацепил орден Марии Терезии и спросил себя, не следует ли пристегнуть и Черного Орла. Находясь в австрийских землях, он не был обязан носить прусский орден. „Все равно, маслом каши не испортишь“, — подумал Александр Павлович и нацепил также этот орден: из-за королевы Луизы всегда чувствовал себя немного виноватым перед прусским королем. Взяв перчатки и шляпу с черным султаном на гребне, он вышел в большой зал дворца. Там уже были приготовлены длинный, крытый красным бархатом стол и вокруг него золоченые кресла. На столе лежали карандаши, бумага.

Чернышев и Меншиков поднялись с мест. В углу чуть приподнялся Волконский, записывавший у небольшого столика расходы. „За поездку от нашей границы уже ушло без малого сорок тысяч червонных“, — сокрушенно сказал он. „Что так много?“ — рассеянно спросил император. „А я удивляюсь, государь, что мало! В Вене вы же приказали дать на двор две тысячи, на конюшню тысячу, прислуге семьсот и полку вашего имени две тысячи! Да еще ваши подарки!“ — „Ах, кстати, Петр Михайлович, вели тотчас отвезти браслет этой итальянке, у которой мы переодевались. Выбери подходящий, хороший...“ Волконский только на него взглянул: он и сердился на царя за расточительность, и в душе был ею доволен: не немецкий монарх. Александр I отошел к окну. „Это Тьеполо, — говорил Чернышев Меншикову, — одна из самых лучших его вещей. Петр Михайлович, вы бы хоть взглянули, а?“ „Некогда мне, да экая невидаль! Прикажу в деревне своим мастерам, они еще лучше напишут“. Чернышев захохотал. „Очень они мне надоели, умные и глупые, ученые и невежды“, — подумал царь. „Отчего же вы не отдыхаете, господа? — спросил он, чтобы что-нибудь сказать. — Мне нельзя, а вам, слава Богу, можно“. Генералы переглянулись и незаметно покинули комнату. Волконский еще ненадолго остался, он был на особом положении. „Я велел передать Веллингтону, что Ваше Величество можете принять его посещение в четыре часа. Значит, сейчас приедет. Тут вас ждало много бумаг...“ — „Просьбы, что ли? Совсем как в сага patria*?“ — Просьб от итальянских прощелыг препорядочно, но есть и дело-

*Милая родина (итал.).

вые бумаги. От Веллингтона два мемуара... — „Отдай Нессельроде, я его мемуар читать не стану“. — „И от Меттерниха программа работ“. — „Покажи“. Волконский подал золотообрезный лист бумаги и вышел.

На листе красивым писарским почерком, очень ровно, были написаны вопросы, подлежащие рассмотрению на Конгрессе. „...La traite des nègres... Les pirateries dans les mers de l'Amérique... Les démêlés de l'Orient... La position de l'Italie... Les dangers de la révolution d'Espagne... La navigation du Rhin... La régence d'Urgel...“* „Хорошо, что заглянул: ведь придется председательствовать...“ Председательствовать, собственно, полагалось императору Францу, во владениях которого происходил Конгресс. Но австрийский император вскользь сказал, что на нынешнем заседании решено предоставить председательствование царю. Это был особый почет, который не мог не доставлять удовольствия Александру Павловичу, несмотря на долгую привычку и несмотря на его новые мысли.

Он снова все внимательно прочел. Царь знал по опыту, что вопрос о торговле неграми ставится неизменно на всех конгрессах, преимущественно Англией и преимущественно тогда, когда нужно отвлечь внимание от более острых вопросов. „Сами они перестали торговать рабами очень недавно и очень неохотно, и все эти господа, Кестльри, Веллингтон, даже Каннинг, всегда были противниками Вильберфорса и отмены рабства. Что же это они теперь переполошились? Им обидно, что Португалия продолжает загребать золото на торговле неграми. Да еще, верно, мне хотят пустить шпильку из-за крепостного права. В чем они, конечно, правы... Пираты в американских водах, это из той же области: чтобы отнять время и чтобы морочить голову. И навигация на Рейне то же самое, — кому это может быть интересно?..“ Он запросил себя и со всей искренностью ответил, что если есть дело, совершенно, ни с какой стороны его не интересующее, то именно навигация на Рейне. Во всей программе Конгресса важны были только вопросы об Испании и о Востоке. „А это что такое? „La régence d'Urgel?“ Какая еще régence d'Urgel?..“

Эти слова вдруг его поразили. „Не есть ли все, что мы делаем, сплошная régence d'Urgel? Ведь мы ничего

* „...Обращение с неграми... Пиратство в морях Америки... Распри на Востоке... Позиция Италии... Опасность революции в Испании... Навигация на Рейне... Регентство Юржеля...“ (Фр.)

не знаем, ничего не понимаем даже тогда, когда слова нам известны и понятны! И греческий вопрос это — *géence d'Urgel*, и итальянский вопрос тоже, все, все — *géence d'Urgel!*..“ Доложили о приезде герцога Веллингтона. „Просить, просить“, — сказал царь, снова почувствовав крайнюю неодолимую усталость. „Ему всего этого не разъяснишь. Как же ему сказать? Он будет в восторге. Может, я ошибся опять, и нужно как было?..“

Вошел Веллингтон в русском фельдмаршальском мундире с Андреевской лентой. Они поздоровались с преувеличенной радостью и тотчас приступили к обычному введению. Герцог спросил о здоровье царя и императрицы Елизаветы, осведомился, не слишком ли утомительна была дорога. Александр I задал вопрос о короле Георге, о разных принцах. Первая часть вступления не утомляла, но надо было за собой следить, чтобы не зевнуть, не спросить о здоровье умершего, не перебить собеседника новым вопросом до ответа на предшествовавший. Вторая часть была несколько труднее. Наудачу царь использовал мундир Веллингтона. „В скольких армиях вы состоите фельдмаршалом?“ — „В семи: в английской, русской, австрийской, прусской, испанской, нидерландской“. „Это только шесть“, — поправил царь с соответственной улыбкой. „Шесть? Я помню наверное, что семь. В английской, русской, австрийской, прусской, нидерландской, испанской и португальской. Я забыл, Ваше Величество, что я португальский фельдмаршал“. Они посмеялись. „Теперь что? Ах, да...“

— Какое у вас несчастье! Бедный маркиз Лондондерри! Я был совершенно поражен этим известием. Но как, как это случилось?

У Веллингтона лицо тотчас стало одновременно грустным и каменным.

— Маркиз Лондондерри был переутомлен. Вашему Величеству трудно себе представить, как много он работал! Я не раз убеждал его поехать на отдых, но он не слушался ничьих советов. В августе все же, перед Конгрессом, он решил немного отдохнуть и выехал в свое имение Крэй-фарм. И вдруг — очевидно, какая-то минута меланхолии: к изумлению и ужасу всей Англии, он покончил с собой.

— Но у него бывали и до того минуты... меланхолии?

— Никогда, ни малейших. Он был до последнего дня

бодр, весел, здоров. В обсуждении государственных дел проявлял обычную ясность, свой обычный светлый ум. В последний раз он обедал у меня дня за три до своей кончины. На этом обеде был и посол Вашего Величества, граф Ливен. Маркиз Лондондерри был бодр, умен, любезен по обыкновению.

— Так что вы и тогда ничего в нем не заметили?

— Ничего решительно. Разве немного грустное настроение? После обеда мы еще погуляли. Он был совершенно здоров.

— Бедный маркиз! Я очень его любил, — сказал царь, несколько раздраженный обманом. — Знаю, что у вас мы найдем те же качества светлого, ясного ума, которые отличали покойного маркиза. Кстати, разрешите поблагодарить вас за вашу интереснейшую записку, я пока успел только пробежать ее, — бегло сказал царь, пожалел, что не спросил у Волконского заглавия записки, и принялся излагать свои новые мысли. Объяснил, что в жизни народов очень трудно изменить что-либо к лучшему, особенно когда не знаешь, что лучше, что худшее. Поэтому все нужно предоставить воле Божией, а в первую очередь все эти печальные греческие дела, обозначенные в программе как „les démêlés de l'Orient“.

— Провидение не для того дало мне восемьсот тысяч солдат, чтобы я их посылал на смерть ради идей, быть может, неверных, или ради своего честолюбия. Будем охранять то, что совершенно бесспорно: вечные заветы добра и правды. Они одни для нас всех. Не может больше быть английской политики, или русской, или французской. Должна быть общая, единая политика, стремящаяся к общему благу народов...

Царь говорил с некоторым раздражением, чувствуя в своих словах неясность и противоречия. Еще больше раздражала Александра I радость, которая медленно всплывала на лице его собеседника и которую тот тщетно пытался скрыть. Веллингтону сразу показалось, что в царе произошла какая-то перемена*. Он еще не все

* „С той поры (Веронский конгресс) он стал проявлять признаки утомления жизнью“, — говорит об Александре I в своих воспоминаниях князь Меттерних. Впрочем, Шатобриан эту перемену относит к несколько более позднему времени и, со свойственной ему скромностью, приписывает своей отставке: „Son dégoût des affaires et des hommes publics s'augmenta quand nous fûmes jetés hors ministère; et il mourut dix-huit mois après notre chute“. („Его отвращение к делам и людям увеличилось после того, как наше министерство пало, и он умер восемнадцать месяцев спустя“ (Фр.) — Пер. ред.) — Прим. авт.

понимал, но чувствовал, что неожиданно-негаданно привалило счастье: Россия в греческие дела не вмешивается! Это было то самое, чего он должен был добиваться по полученным им в Лондоне инструкциям. Теперь это осуществлялось само собой, без ожидавшей упорной дипломатической борьбы. Россия с Балкан уходила, следовательно, Англия могла занять ее место. Коварных, макиавеллических мыслей у герцога не было, да он был на такие мысли и не способен. Но тут за него думали и радовались инстинкт, вековые традиции, души предков. Веллингтон проникновенным голосом сказал, что понимает, одобряет, высоко ценит благородные слова царя, они всецело выражают и точку зрения правительства Его Величества.

— Я чрезвычайно этому рад, — сказал Александр I холодно. „Ну, и пусть идет к...“, — вдруг, уже не по-французски, подумал он. Ему стало смешно. — Но я хотел побеседовать с Вашей Светлостью еще и по другому вопросу, — неожиданно для себя самого спросил он. — Это *régence d'Urgel*, вопрос, как вам известно, чрезвычайно важный. Что вы думаете о *régence d'Urgel*?

— Мне пока трудно высказаться с полной определенностью, — ответил, запинаясь, герцог Веллингтон, тоже впервые слышавший о таком вопросе. Он не умел лгать, и лицо его выразило смущение.

— Но я должен знать ваше мнение. Если мы не придем к соглашению по этому вопросу, мне придется пересмотреть и мою греческую политику, — сказал царь, довольный своей шуткой. „Пусть Его Светлость не спит всю ночь!..“

ХIII.

Эпиграмма на лорда Кестльри вышла не очень остроумной. Эпитафия, тоже в стихах, просто непристойна*. Как бы ни относиться к Кестльри, писать так об умершем человеке, вдобавок умершем трагической смертью, не очень по-джентльменски. „Кажется, ума и вкуса начинает убавляться“, — угрюмо подумал Байрон. Он вынул из папки только что законченную рукопись двенадцатой песни „Дон Жуана“, перелистал ее и стал еще мрачнее. Иногда ему казалось, что эта поэма гениальна, что она, и только она, несмотря на провал у

*В английских собраниях сочинений Байрона эта эпитафия печатается с пропуском, обозначаемым точками. — *Прим. авт.*

публики, обеспечит ему так называемое литературное бессмертие. Но порою думал совсем другое. „Насмешки над Ротшильдом, Берингом, Веллингтоном, Мальтусом — какая же это поэзия? Что, если это политический фельетон вроде тех, которые начинают появляться в газетах, да еще и не очень остроумный?..“

Он бросил переписанные начисто листы в ящик, взял со стола один из пришедших днем номеров „Journal de Débats“ и стал читать корреспонденцию из Вероны: „Les présomptions que le Congrès se prolongerait jusqu'en 1823 ne se sont pas confirmées. On peut maintenant croire, avec assez de confiance, que la clôture aura lieu vers la mi-décembre. C'est l'heureux résultat de la parfaite harmonie qui, pour le bien-être et le bonheur des peuples, règne entre les monarques de l'Europe. Par là augmentent de jour en jour les garanties pour le maintien de la paix du monde, le premier besoin des Etats à la suite des violentes secousses qui se sont fait sentir pendant tant d'années. Tous les monarques continuent de jouir d'une parfaite santé. L'Empereur Alexandre...“*

Отложил газету. Чувства у него были смешанные. Ко всем или почти ко всем собравшимся в Вероне людям он относился с совершенным презрением. Но они, именно они *делают* жизнь, это не стихи. Большинство практических людей, с улыбкой говоривших ему комплименты, считали, конечно, вздорной его профессию, — ведь что ж отрицать? это профессия, — на их мнение он никогда никакого внимания не обращал. Другим поэтам по-прежнему советовал писать, хоть их поэзию не ставил ни в грош. Однако сам чувствовал, что писать больше невозможно. Перейти на прозу, как советует поэтам старик Гёте? Писать просто, совсем просто, как дневник, как письмо? Публика ждет поэм, притом именно таких, какие были прежде, *байронические*, — о них он теперь не мог подумать без отвращения. Новых его стихов публика не любила, не признавала и не читала или читала гораздо меньше. И как он

*„Предположения, что Конгресс продлится до 1823 года, не подтвердились. Можно полагать теперь с большой степенью уверенности, что Конгресс закроется в середине декабря. Это счастливый результат совершенной гармонии, которая во имя благосостояния и счастья народов установилась между европейскими монархами. Отсюда с каждым днем растут гарантии прочного мира во всем мире, первая потребность государств, следствие жестоких потрясений, которые дают о себе знать на протяжении стольких лет. Все монархи продолжают оставаться в совершенном здравии. Император Александр...“ (Фр.)

ни презирал чужое мнение, чувствовал, что успех ему необходим как воздух, — хоть говорить нужно всем обратное: и успех, и неуспех одинаково мало интересны.

„Что же остается в жизни?..“ Ему показалось, что наверху плачут. Тереза Гвиччиоли теперь плакала чуть не целыми днями. Он делал вид, будто не понимает, и изумленно пожимал плечами. Он понимал. Нет, наверху ничего не было и не могло быть слышно: в этой, под замок выстроенной, генуэзской вилле стены, полы, потолки были толстые. „Что же с ней делать? Все безвыходно: литература, жизнь, дела с женщинами... Одно утешение, что недолго...“ Его здоровье тоже было плохо, совсем плохо.

Посмотрел на часы — шел первый час ночи, — взглянул нерешительно на кровать, украшенную баронским гербом и девизом их рода „Crede Viron“*, раздраженно подумал, что пора убрать ерунду: глупо одновременно щеголять демократизмом и выставлять напоказ гербы и девизы. „Нет, заснуть будет невозможно...“ Отворил дверь и, ничего не надевая, несмотря на холодную ночь, вышел на балкон. Средиземное море было освещено луной. Зрелище в самом деле было прекрасное — хоть стихи пиши, тысячную по счету поэму о море и о луне, — но ему надоело все: и пейзаж, которых в одних и тех же выражениях восторгались посещавшие их изредка туристы, и нарциссы, „Байрон страстно любит нарциссы“, и лимонные деревья, и вилла Альбара, и сад виллы Альбара, и Генуя, и Италия. Все красиво до отвращения. Бежать подальше от этой красоты. Куда же? Не худо бы посидеть в палате пэров: послушать, что там говорят люди с звучными — по-иному звучными — английскими именами, те, которые делают жизнь... Сам изумился своей мысли. „Это уж предел человеческого падения: скучать по палате пэров! Ведь я оттуда бежал: *свет давил меня своей пошлостью*“, — с усмешкой подумал он. Противоположность между ним и показным Байроном, существовавшим только в воображении поклонников, и теперь, пожалуй, более подлинным, чем настоящий, становилась ему все противнее. „Все было ошибкой: жена, сестра, любовницы, бегство...“ Вздрагивая от холода, он вернулся в комнату, затворил дверь балкона и снова развернул „Journal des Débats“: „...L'Empereur Alexandre

* „Байрон, верь“ (лат.).

fait fréquemment de petites promenades hors de la ville sans aucune suite...“* „Все-таки этот головой выше других, — ему казалось, что между ним и императором Александром есть какое-то, почти неуловимое сходство. — Но и он политическое бедствие. Да, да, эти люди делают жизнь, не свою только, а общую, мою жизнь!“ — с ненавистью подумал Байрон. Взял другой номер газеты и наткнулся на корреспонденцию из Константинополя: „On a reçu des nouvelles un peu favorables d'Erzerum, accompagnées d'une soixantaine de têtes de Persans...“[^] Фраза эта его поразила и неожиданностью, и глупостью, и соответствием „parfaite harmonie“[^] веронской корреспонденции, и своим ужасным прямым смыслом: представил себе эти шестьдесят окровавленных голов, привезенных в подарок султану. „Что, если?..“

И долго он сидел за столом, с замиранием сердца обсуждая новые, вдруг поразившие его мысли. „... Что, если вправду посвятить остаток жизни большому делу?.. Стать во главе греческого движения, бороться за свободу уже не речами? Собрать людей, собрать деньги, достать оружие, выехать туда? Не вернешься? Разумеется, не вернешься. Но впереди все равно ничего больше нет, ничего, кроме близкой могилы. Пусть по крайней мере будет могила воина... Это распутало бы весь узел. Бросить и стихи, и прозу, и пусть идет к черту литературная слава!..“ Ему уже было ясно, что *та* слава бесконечно выигрывает от дополнения *этой!* „Да, повышение в чине. Но не оно важно. Дело, большое, настоящее дело: не сатиры, не эпитафии Кестльри, не повязывание веревки у Флориана, не бутафория вент и кинжалов... Делать, что делают *те*, — наперекор им, против них, не так бездарно, как они. Этому делу служить, не приглядываясь к нему пристально, — если приглянешься, то служить перестанешь...“

XIV.

Мастер-месяц оставался в кофейне очень долго. Там он и пообедал, недурно и не так дорого, как опасался. После обеда спросил марсалы. Спешить было, собствен-

* „...Император Александр совершает небольшие прогулки за город без всякой свиты...“ (Фр.)

^ „Получены неблагоприятные известия из Эрзерума, сопровождаемые шестьюдесятью головами персов...“ (Фр.)

^ „Совершенная гармония“ (Фр.).

но, некуда, и уж очень приятно было сидеть на террасе: перед ним проходили и проезжали люди знатные, даже знаменитые. Такого съезда Верона никогда не видела. Многих мастер-месяц знал в лицо и почти обо всех знал все худое и грязное, что было в их жизни. „Конечно, все мерзавцы“, — радостно думал он.

Постыдное изгнание из карбонарской венты несколько не сделало его мизантропом. Напротив, он теперь был как будто настроен даже несколько благодушнее прежнего. Однако мысли о том, что мерзавцев на свете так много, всегда вызывали у него приятное, успокоительное чувство. Себя самого мастер-месяц не считал ни мерзавцем, ни порядочным человеком, — просто об этом не думал. „Ну, был видный карбонарий, а теперь стал шпион (он считал, что *стал* шпионом лишь с тех пор, как его разоблачили) — ну, и что же? Они меня не уважают? А что мне в их уважении? А я их уважаю? А они сами себя уважают? Нет, разумеется, все мерзавцы и подлецы“, — без малейшего, впрочем, озлобления думал мастер-месяц.

В кофейне за вином он продолжал размышлять о герцогине Пармской. Эта красивая, милая, столь простая дама очень ему понравилась. „Бедненькая, жалко ее... Деньги какие были, бриллианты, один пояс, говорят, стоил три миллиона... А диадемы! А ожерелья!.. — Мастер-месяц имел слабость к драгоценностям и все о них читал, что попадалось в газетах. — Ах, какие были бриллианты! А жемчуга! Бедняжка...“

Расчувствовавшись, он выпил довольно много марсалы. Пил мастер-месяц тоже отнюдь не для того, чтобы заглушить упреки совести: совесть решительно ни в чем его не упрекала. Но ему легко и приятно становилось обычно лишь после бутылки-другой вина. Освежившись, он вышел из кофейни. Оживление на улице еще увеличилось. В толпе попадалось немало сыщиков: для охраны монархов и министров была мобилизована вся полиция, приехали еще агенты из Вены, из иностранных государств. Кое с кем мастер-месяц незаметно обменивался знаками, как когда-то с карбонариями. Но он вообще товарищей по ремеслу не любил, считая, что они мелкая сошка, сыщики, платные полицейские: сам он был из совсем другого разряда людей. Ему казалось, что его прежняя роль в венте карбонариев дает ему немалые служебные и моральные права.

Перед довольно скромной гостиницей собралась толпа. „Что такое?“ — удивился мастер-месяц: в такой

гостинице едва ли могли поместить высокопоставленное лицо. Подойдя поближе, он услышал музыку и пение. Два окна были растворены настежь. Превосходный женский голос пел каватину из „Севильского цирюльника“. Спрашивать было незачем: в этой гостинице остановилась Каталани. „Да разве она здесь? Ведь официально она приезжает лишь 17-го?..“ Но ошибиться было невозможно — так пела лишь одна женщина в мире. „Изумительная! Божественная!“ — умиленно думал мастер-месяц. Он слушал, жмурясь и млея. „А все-таки верхи уже не те...“ Загремели рукоплескания. Певица оказалась у окна и с улыбкой послала собравшимся воздушный поцелуй. Рукоплескания еще усилились, со всех сторон сбегались люди, полицейские, тоже слушавшие, снисходительно улыбались. Толпа требовала повторения. „La meravigliosa!..“, „La meravigliosa Angelica!..“* — слышались восторженные крики. Каталани засмеялась, отошла от окна, через полминуты послышалась ария Фигаро: щеголяя особенностями своего голоса, примадонна полусерьезно-полупуштиво пела и мужские партии оперы. Восторг стал неописуемым. „У tanti palpate!..“, „La Sacra Alleanza!..“, „Aria dei Rizzi!..“** — орала толпа. Каталани еще спела арию, которую Россини написал за обедом, пока ему варили рис, затем послала толпе прощальный поцелуй и затворила окно.

Мастер-месяц отправился дальше, сохраняя на лице умиленную улыбку. Он ее стер, только входя в свое учреждение, где умиляться не полагалось. Там он тоже оставался долго: писал доклад, нарочно его растягивая, чтобы доказать усердие. Затем получил суточные, — собственно, получать можно было сразу за всю неделю, но он не любил оставлять свои деньги в чужом кармане, хотя бы в самом надежном, и потому заходил за ними каждый день: зачем откладывать до субботы, когда можно все получить еще в понедельник? Зато вперед почти никогда не брал, чтобы увеличить уважение к себе начальства.

Начальство вообще его ценило. Однако на этот раз в последнюю минуту его неожиданно потребовали в кабинет и сделали ему серьезное внушение: оказалось, что, пока он отдыхал в кофейне, герцогиня Пармская успела побывать у императора, и ее никто не сопровождал.

* „Изумительная!..“, „Изумительная Анжелика!..“ (итал.)

** „Я в трепете!..“, „Святой союз!..“, „Ария Рицци!..“ (итал.)

Мастер-месяц смущенно сказал, что герцогиня ему запретила следовать за ней по пятам (запрещения, собственно, не было, но толковать можно было и так). „Это никакого значения не имеет, — резко ответил начальник, — вы должны исполнять то, что я вам приказал. Герцогиня не может знать, грозит ли ей в Вероне опасность или нет. Потрудитесь впредь следовать за Ее Высочеством неотлучно“.

Мастер-месяц вышел из кабинета очень раздраженный. Нахлобучка была неприятная: с ним говорили почти так, как он говорил со слугами герцогини. И вообще здесь его, очевидно, не отличали от мелкой сошки, от обыкновенных сыщиков и агентов. „Они могли бы знать, кто я и кем я был!.. Нет, этому надо положить конец! У нас не так много людей, чтобы на меня возлагать охрану захолустной герцогини, на которую решительно никто в мире не покушается...“ Мастер-месяц принял твердое решение предъявить начальству — не этому хаму, а главному начальнику — ультиматум: либо пусть его назначат на работу ответственную и серьезную, либо он уйдет. „Слава Богу, полиций в мире достаточно, не одна имперская...“

Под серьезной работой он разумел командировку к какой-либо настоящей особе. Мастер-месяц понимал, почему герцогине Пармской оказали в Вероне так мало внимания: для императорского двора она *своя*, почти что даже не гостья. Однако здесь сказалось и то, что престол ее был третьестепенный. „Пусть приставят меня к русскому императору! Или же пусть отправят к каким-нибудь добрым родственникам!..“ Среди карбонариев он, естественно, больше работать не мог, хотя несколько изменил наружность, но согласился бы на командировку в Грецию или Испанию. „Право, работать с англичанами гораздо приятнее...“ Из английской разведки его, собственно, не увольняли: просто услуги мастера-месяца отпали сами собой, когда его разоблачили в карбонарской венте, а с ними отпали и английские деньги (на прощание ему, впрочем, выдали экстренную и вполне приличную награду). „Одни англичане платят как следует. Конечно, можно к ним вернуться, надо только предложить им что-либо интересное: сами они ведь ни до чего додуматься не могут...“ Он считал англичан барами, людьми щедрыми, но туповатыми и тяжелыми на подъем.

С досады мастер-месяц вошел в кабачок и выпил одну за другой три рюмки уже не марсалы, а водки;

хотел даже спросить четвертую, но было неловко. Мысли о том, как он уйдет к англичанам с имперской службы, стали особенно приятными. Выйдя на улицу, он вдруг на другой ее стороне увидел герцогиню Пармскую. Она шла пешком с почетным кавалером и, нежно улыбаясь, с ним разговаривала. Никто не обращал на них внимания, да и людей на этой улице было не так много. „Кажется, не видели... Хорошо, что встретил, а то еще вышла бы какая-нибудь история с этим болваном... Не могут посидеть спокойно дома...“ Мастер-месяц немного отстал и пошел за герцогиней на небольшом расстоянии. „Куда же это кривой ее ведет?..“ Герцогиня и ее спутник свернули в направлении к Campo di Fiega. „Ах, вот оно что: к той гробнице! Да, это, конечно, дело спешное. Впрочем, и на Конгрессе у нее, голубушки, особенного дела нет...“ Граф Нейпперг остановил сторожа, тот ему показал дорогу. Они подошли к саркофагу Джульетты. „Тут, верно, они, влюбленные детки, постоят минут десять, иначе не стоило и ходить, — подумал мастер-месяц. — Чем ждать без толку, надо бы еще выпить...“ Он всегда ясно чувствовал, достаточно ли выпил или нет. В том кабаке выпил недостаточно: трех рюмок не хватало. Вспомнил, что у самой реки, совсем близко, тоже есть какое-то подобие кабачка, дрянное подобие, но водка, кажется, сносная. „Бог даст, их здесь пока не убыют, и моя помощь не понадобится...“

Мастер-месяц сбегал в кабачок, наскоро проглотил две рюмки — „вот теперь как раз!“ — и вернулся к гробнице уже совсем в хорошем настроении. Влюбленные все стояли у саркофага, держа друг друга за руку. „Хорошо бы теперь посидеть хоть на камне“, — подумал он, чувствуя некоторую усталость, впрочем, очень приятную. Камней тут было достаточно; один из них лежал за стеной, шагах в десяти от саркофага, притом так, что пройти туда можно было незаметно. Мастер-месяц кружным путем пробрался к стене, сел на камень и широко зевнул. „Полежать на мягком диване было бы лучше...“ Герцогиня и почетный кавалер видеть его не могли. Он заглянул за стену не без интереса. „Если заметят, что ж, только должны будут оценить усердие...“ Подумал, что при отъезде герцогини, верно, получит какую-нибудь награду. „Хорошо бы, если б деньги? Пригодились бы, ах, какгодились бы...“

В левой руке у почетного кавалера была книга в золоченом переплете. Граф Нейпперг взглянул на гер-

когиню, она нежно кивнула головой. Почетный кавалер высвободил свою правую руку, раскрыл книгу и стал читать. „Что за дурачьё! Ведь им вместе за восемьдесят!“ — изумился мастер-месяц. Слов он первоначально разобрать не мог, понял только, что слова английские, и больше по выражению лиц догадался, что читают стихи. „Ну, да, верно, Шекспир... — Он вздохнул: — Драма, кажется, длиннейшая! Что, если всю?..“ — „...But, soft! what light through yonder window breaks? — It is the east, and Juliet is the sun! — Arise, fair sun!..“* — читал почетный кавалер.

Мастер-месяц решил, что Шекспира слушать не обязан. Взглянул на часы, соображая, как дальше распределится время. „Ну, кривой юноша будет читать двадцать минут, не больше: ведь есть же и у него совесть? Потом домой. Вечером они, верно, отправятся к императору. „... She speaks! — O speak again bright angel!..“* — говорил страстно граф Нейпперг. — Ежели они так любят друг друга, отчего бы им не пожениться? Герцогского титула она все-таки терять не хочет... Денег у нее, должно быть, и теперь достаточно. Пармский двор вовсе не так уж беден. Молодец кривой, хорошо устроился...“

Ему было скучно, он зевнул и углубился в мысли о собственных делах, об ультиматуме, который предъявит начальству. „Если не согласятся, непременно уйду к англичанам назад, непременно! Тогда поймут и пожалеют!..“ Соображения о том, как он встретится позднее с начальником, сделавшим ему выговор, и вскользя сообщит цифру своего заработка в гинеях — можно будет и приврать, — очень его заняли. Он не сразу даже заметил, что за стеной начал говорить женский голос. „Больше пяти минут теперь не простоят, ведь скоро обедать...“ Снова бросил осторожный взгляд из-за угла и увидел, что герцогиня Пармская, склонившись к плечу графа Нейпперга, тихо читает из его книги. „...Good night, good night! Parting is such sweet sorrow. — That I shall say good night till it be morrow...“^Δ

И вдруг мастер-месяц, взглянув на герцогиню Пармскую, подумал, что нет оснований жалеть ее. „Да

* „...Но что за блеск я вижу на балконе? Там брезжит свет. Джульетта, ты как день! Стань у окна...“ (В.Шекспир. Ромео и Джульетта. Пер. с англ. В.Пастернака.)

“...Проговорила что-то. Светлый ангел!..“ — Там же.

^Δ „...Святая ночь, святая ночь! А вдруг все это сон? Так непонятно счастье...“ — Там же.

она умница! — сказал он себе изумленно. — Падение? Какое падение! Ни малейшего падения! Что ей была за радость в том, что она жена Наполеона? Разве можно быть счастливой за человеком, который всю жизнь воюет, вечно в походах, а когда не в походе, то занят целый день и целую ночь, а к жене заходит на десять минут в сутки? „Гениальнейший из людей“? „Властелин мира“? А что ей в том, что он гениальнейший из людей и властелин мира, даже если б таким остался! Зачем ей политика? Зачем ей власть? Кривого она любит, этот настоящий муж, любящий, ласковый, всем ей обязанный. Вот и ребеночка ждет. Да, она мудрая женщина!..“ Герцогиня Пармская порывисто обняла почетного кавалера и поцеловала его. Он улынулся и, наклонившись к саркофагу, оторвал камешек. „Это еще что? Амулет?..“ Граф Нейпперг приложил камень к мизинцу Марии Луизы. „Колечко ей хочет сделать?“ Отличная мысль. Подешевле, чем подарки первого мужа, и, право, очень мило. Ей-богу, она умнее их всех, императриц и королев!“ — с восторженной искренностью подумал мастер-месяц.

Когда они вышли из Campo di Fiera, уже начинало темнеть. Мастер-месяц по-прежнему следовал за ними, продолжая про себя восторгаться мудростью Марии Луизы. Он немного даже позабывал графу Нейппергу: за что это такое счастье кривому немцу? „Да, да, лучше ничего нет! Надо бы и мне скопить денег и жениться, не на герцогине, так хоть на простой, доброї и честной девушке. И детей надо иметь. Без детей человек на возрасте ни к чему. Нужно, чтобы было кому закрыть глаза, — думал он, печально-умиленно вспоминая, что у него нет ни своего угла, ни жены, ни семьи. — А впрочем, может, и это не так уж хорошо? Ну, закроют тебе глаза, экая, подумаешь, радость!.. Все равно и с открытыми... Нет, все-таки лучше. Мудрая женщина, очень мудрая. Даром говорили, что дура!“

На главной улице ламповщики зажигали фонари. Герцогиня Пармская и почетный кавалер давно уже шли не под руку. Вдали слышался гул голосов. Толпа валила к церкви св.Агнессы. Говорили, что через площадь проедет император Александр. Мария Луиза что-то сказала графу Нейппергу. Он почтительно наклонил

*Мария Луиза, по свидетельству очевидца, в период своей жизни, связанной с Нейппергом, носила кольцо, вырезанное из саркофага Джульетты. — *Прим. авт.*

голову. Как раз в ту минуту, когда они вышли на площадь, на огромном портале пробежал по просмоленному шнуру огонек, и во всю величину портала вспыхнула красными буквами надпись: „А Cesare Augusto Verona esultante“*.

Почетный кавалер, как показалось мастеру-месяцу, взглянул на герцогиню с некоторой тревогой. „Бойтся, как бы ей, по старой памяти, не взгрустнулось, бедняжке? — догадался мастер-месяц. — Или, может, ревнует к Наполеону? Хотя что ж ревновать к покойнику? Ведь глупо, право, глупо. От *мужа нашей доброй государыни* уже только кости и остались в мире, на Св.Елене... Не ревнуй, кривой, брось, ерунда! Я тебе говорю, ерунда“, — увещевал мысленно почетного кавалера мастер-месяц.

XV.

Для поэзии на *бриге* говорили, что *разразилась страшная буря*. В действительности, бури не было, но вскоре после того, как „Геркулес“ вышел из генуэзской гавани, началась сильнейшая качка. На борту тоже не все обстояло благополучно, правда, больше в мелочах. Так, дощатые стойла, устроенные для пяти взятых на бриг лошадей, оказались непрочными. Испуганные качкой лошади сорвались и стали носиться по судну. Были еще другие упущения. Граф Гамба, брат Терезы Гвиччиоли, доложил Байрону, что *гафельный грот* не вполне исправен: ничего не поделаешь, надо вернуться в порт и все привести в порядок; работы на несколько часов, выйдем *в открытое море* завтра. Байрон помолчал с минуту, затем кивнул головой. „Да, разумеется, можно вернуться...“ Он был недоволен: упущения в самом начале, что же будет дальше? Однако не хотел смущать спутников. Кроме того, его забавляло серьезное, нахмуренное лицо молодого человека, который, видимо, играл в войну, щеголяя морскими словами.

К ночи *буря* усилилась. Войти в гавань было не так просто, капитан сказал, что раньше утра к берегу не подойдут. Все сошли в каюты в отчаянии: когда морская болезнь, то не до освобождения Греции. Сам Бай-

* „Августу Цезарю ликующая Верона“ (итал.).

рон остался на мостике: не заболел, — не лишено значения для престижа главы экспедиции. Думал обо всем этом иронически, распространяя иронию и на себя. „Ничего, есть неприкосновенный запас энтузиазма...“

Утром подошли к берегу, перебросили сходни и свели лошадей. Байрон обошел бриг и отдал распоряжения: позвать плотников, еще кого надо для парусов, приставить человека к кассе, чтобы не стащили: в шкапулке лежало десять тысяч пиастров золотом и кредитное письмо на сорок тысяч. Затем он сошел на берег. Оставаться в порту без дела было скучно, да и не хотелось отвечать на вопросы, почему вернулись: в порту нельзя было сказать, что разразилась буря. От выздоровления все повеселели, точно Греция уже была освобождена. Только лакей Флетчер, вообще не одобрявший всей затеи, сердито говорил, что не следовало выезжать на это проклятое дело 13-го. „Мне число 13 всегда приносило счастье, — сказал весело Байрон. — Неудачное начало благоприятная примета...“ Он вскочил на коня, спросил, на сколько времени работы, и, услышав, что к полудню кончат, сказал: „Это значит в шесть вечера, да? Сойдемся на четырех часах, но зато без обмана. В четыре я приеду“.

В сопровождении графа Гамба он медленно поехал к своему дому, увидеть который больше не рассчитывал. Лошадь, тоже пришедшая в восторг от твердой земли, ржала и пыталась перейти в галоп. Гамба следил за каждым его движением, старался запомнить каждое сказанное им слово: надо скорее записать. Байрон думал, что это милый человек, но умом не блещет, и незачем брать его на войну за освобождение Греции. Поддерживал бодрый разговор, немного (хоть не очень) считаясь с тем, что все будет записано, а позднее издано. Рассказывал о своих молодых годах, почти ничего не приукрашивая, говорил — и ничего: вышло — об освобождении человечества. „...Прожить бы еще лет десять, тогда все увидят, что я человек не конченный... Напишу поэму? О, нет! Литература — дурацкое дело, в особенности стихи, и у меня к поэзии нет ни малейшего призвания. Вы напрасно улыбаетесь...“ На лице графа Гамба действительно появилась соответственная улыбка. Он даже не протестовал: против *таких* слов и протестовать не приходилось. „Но где мы будем через год?“ — закончил со вздохом Байрон.

Когда подъехали к дому, он придумал для молодого графа какие-то поручения, чтобы от него освободиться.

Бодрая улыбка выступающего в поход полководца больше не была нужна. Байрон вошел в дом. Уборщица встретила его изумленно. „Да, да, отложили отъезд, была буря, — с досадой сказал он и послал уборщицу за едой: — Сыра и фиг“. Есть ему не хотелось. Старуха смущенно говорила, что в доме беспорядок. „Я часа через два-три уеду...“ — „Может, колбасы купить и вина?“ — „Сыра и фиг, больше ничего“.

В кабинете мебель была сдвинута к стене, в углу лежали свернутые цилиндром ковры, пол был засыпан соломой и стружками. Байрон устало сел в кресло у стола. Осталось неприятное чувство от первой неудачи, от глупого вида освободителей, — хоть они не виноваты, что страдают морской болезнью, — от разговора с графом Гамба: не любил рисоваться, — случилось, конечно, как всем, но в последнее время реже. „Что, если теперь к необязательному шарлатанству поэта присоединится обязательное шарлатанство борца?“ По крайней внутренней его правдивости мысль эта была ему противна. „Литература — дурацкое дело?“ Верно, но зарекаться не надо: может быть, еще придется писать поэмы...“ Он подумал с улыбкой, что если писать, то следовало бы теперь, сейчас: что-либо вроде „And now I am in the world alone“, а внизу непременно поместить „Геркулес“ и поставить число. „Стихи лорда Байрона, написанные в день отъезда в Грецию“. Карандаш был, но записная книжка осталась в дорожном костюме. Он рассеянно выдвинул ящик, хоть писать не собирался, — и ахнул: в коробочке лежала прядь волос графини Гвиччиоли — последний подарок в минуту разлуки, после *душераздирающей* сцены: „прощание лорда Байрона с любовницей“. Забыл здесь эту прядь не умышленно, не *байронически*, — просто забыл. И, хотя он был почти уверен, что больше никогда не увидит графиню, ему стало смешно.

Уборщица принесла еду на бумажках: тарелки уже все спрятаны. За едой он думал о том, что нужно сделать еще. На бриге в первый вечер было скучновато: больше двух часов любоваться морем нет возможности. Книги были заколочены в ящиках, с собой взял лишь две-три. Следовало бы докупить. Только что вышел „Mémorial de Sainte-Hélène“ Лас-Каза, но его в Генуе книгопродавцы еще не получили. „Главное, развлечь

* „И теперь я один во всем мире“ (англ.).

„Воспоминания о Святой Елене“ (фр.).

всех освободителей, чтобы приставали возможно меньше. Перчатки для бокса есть, шахматы есть, шпаги и гири есть“.

Подумал также, что пока, быть может, еще не поздно отказаться от поездки. Гамба сошлется на предзнаменование: из-за дурной приметы великий поэт отказался от Греции. „Но зачем отказываться? Все равно дальше жить нельзя. Это лучший выход... А вдруг *можно?*“ Быстро просмотрел тысячу раз передуманные доводы, личные, политические, всякие: нет, нельзя. „К Терезе, что ли, вернуться на роль *cavalière servante*? Или поехать в Англию, к *сестре*? Или стишки писать? Или играть в карбонарии, как Гамба играет в морскую войну?“ Он вздохнул, вышел из дому, окинул его взглядом — на этот раз уж в самом деле последним, — и поехал в город. Принял горячую ванну, оставался в бане очень долго, взглянул на часы. „Да, пожалуй, пора ехать на бриг“.

Там уже все было готово. *Буря* давно улеглась. На „Геркулесе“ была снова тревожная суета, но чуть менее торжественная, чем накануне. Он сел на скамейку у пушки. Лайон улегся у его ног. „Хоть картину пиши...“ Подошел взятый в Грецию пассажир, Шилици, родственник Маврокордато, человек весьма неприятный. Байрон не сомневался, что это шпион, — вопрос только в том какой: турецкий, английский, русский? Но это большого значения не имело. С брига никому никаких сигналов не подашь. Напротив, даже лучше, на случай столкновения с турецким фрегатом: своего человека турки топить не будут. Они любовно поговорили. „Вы откуда сейчас едете?“ — „Из Петербурга“. — „Из Петербурга? (верно, русский шпион?) Что же там? Как император Александр? Правда ли, что он совершенно отошел от дел и занят только спасением души?“ „Доля правды есть. Он впал в мистицизм“, — ответил с улыбкой Шилици.

Граф Гамба озабоченно выразил сомнение, достаточно ли взято снарядов для двух пушек брига. „Я думаю, достаточно, — со столь же серьезным видом сказал Байрон, — хотя у Нельсона под Трафальгаром было, вероятно, еще больше...“ Капитан что-то закричал с мостика. Стали разматывать канат. „Я проведу ночь под *фокмачтой*, — восторженно сообщил Гамба, — там для меня поставили походную постель“. Бриг покачнулся. „Теперь *поздно*“, — подумал Байрон. Он взглянул на Геную, твердо — или *почти* твердо — зная, что

больше никогда этого не увидит, не увидит Италии, не увидит культурной жизни. Встал с веселой улыбкой и поднял высоко над головой дорожную шапочку, — все немедленно сделали то же самое. Лакей появился, держа в руках поднос, уставленный бокалами с шампанским. „За новую жизнь! За наше великое дело! За освобождение Греции!“ — сказал Байрон. В эту минуту он с досадой подумал, что снова забыл в ящике прядь волос Терезы Гвиччиоли.

В Ливорно „Геркулес“ остановился. Грузились съестные припасы. Надо было принять еще пассажира, которому тоже почему-то предоставили место на бриге. Этот второй пассажир поднялся на борт в сопровождении англичанина Скотта и низко поклонился, знакомясь. „Я надеюсь, вам будет у нас не слишком неудобно. Но торопитесь с вещами, мы скоро отходим („вероятно, тоже шпион. Этот чей?“)*. Скотт передал почту, свежие газеты, книги, присланные из Англии. „Есть еще письмо для вас, милорд, от вашего друга Стерлинга...“ „Вот как? Я очень рад“, — сказал Байрон, распечатывая пакет. Выпал золотообрезный листок со странно, посредине, начертанными строчками. „Стихи! Верно, какой-нибудь влюбленный студент?“ „Кажется, не влюбленный студент, милорд, — ответил с улыбкой англичанин, — мне Стерлинг сообщил, что это такое“. Байрон пробежал препроводительное письмо и изменился в лице. Престарелый Гёте, узнав о его поездке для освобождения Греции, просил передать ему свое напутствие.

— Этого я не ждал! — сказал Байрон с волнением. Он бережно взял в руки листок. — Этого я не ждал! Какая награда!

— Ваша Светлость с ним знакомы?

— Я никогда не имел счастья его видеть... Но кто же мне прочтет и переведет?

Шилицци предложил свои услуги. „Ах, ради Бога!“ — попросил он с неприятным чувством. Грек пробежал листок, прочел вслух по-немецки, затем кое-как перевел. Байрон слушал, бледный, опустив голову.

Was soll ich dem, den ich so lang begleitet,
Nun etwas Traulich's in die Ferne sagen?

*В исторической литературе есть указания на то, что из двух пассажиров „Геркулеса“ один состоял на службе у турецкой полиции, а другой — у русской. В Миссолонги всевозможных шпионов было, разумеется, великое множество. — *Прим. авт.*

Ihm der sich selbst im Innersten bestreitet,
Stark angewohnt das tiefste Weh zu tragen.
Wohl sey ihm doch wenn er sich selbst empfindet,
Er wage selbst sich hoch beglückt zu nennen,
Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet
Und wie ich ihn erkannt mög er sich nennen.*

Он торопливо спустился в свою каюту, откинул доску складного стола, взял лист бумаги и стал писать ответ. „Но как надо обращаться к Гёте? Не писать же „дорогой собрат“? „Господин барон“? Еще глупее“. Написал „Mustrious Sir“*. Пометил: „Ливорно, 24 июня“, — от волнения ошибся в дате.

„Не могу поблагодарить вас так, как следовало бы, — быстро писал он. — Не смею обмениваться стихами с тем, кто в течение полустолетия признается бесспорным королем европейской литературы... Если я вернусь, то приеду в Веймар... Как один из многих миллионов ваших поклонников...“

А ~~после~~ решил писать по всем правилам. ~~Его~~ Превосходительству барону фон Гёте. Веймар*. Надо бы добавить другие звания: у немцев так полагается. „Но какие звания у Гёте?“ Подумал и после слов „барону фон Гёте“ приписал: „etc. etc. etc.“. И еще подумал, что „etc. etc.“ можно бы приписать не только на адресе.

XVI.

Мастер-месяц ходил по грязным залам серала и вздыхал: не арсенал, а конюшня! При виде греческих часовых он испытывал настоящее душевное страдание: разве *так* стоят на часах? Делать ему тут пока было нечего: следить за уборкой и грозно покрикивать на чернорабочих: „Погодите, погодите! Приедут англичане!..“ В Миссолонги ожидалась большая артиллерий-

*Удастся ль мне шепнуть такое слово
Заветному тому, чей гордый гений
С собою ратоборствует сурово,
Нести привыкший скорбный груз сомнений?
Пусть, вникнув в смысл своей высокой доли,
Он сам себя счастливец почитает:
Дыханье муз целит земные боли.
Как я его, пусть он себя познает.

(И.В.Гёте. „За вестью весть к нам поспешает с юга...“ *Пер. с нем. А.Голембы.*)

*„Непостижимый господин“ (англ.).

ская миссия, которая должна была привезти все необходимое для ракет Конгрева*.

На британской службе он снова находился уже довольно давно. Через некоторое время после окончания Веронского конгресса мастер-месяц в самом деле предъявил ультиматум своему австрийскому начальству. Его условия были отвергнуты. Он с достоинством заявил, что в таком случае не останется в ведомстве *ни минуты*. Мастер-месяц утешал себя мыслью, что начальник в душе расстроился, не ожидав подобного удара. Однако уверенности относительно души начальника не было. Тот просто ответил: „Не желаете служить — не надо, мы никого насильно не держим. Смотрите, как бы потом не пожалели“. — „Не пожалео, даже если придется просить милостыню на улицах!“

Впрочем, он знал, что милостыню просить на улицах не придется: переговоры с англичанами были начаты давно. Мастер-месяц навестил рыжего подполковника, у которого служил прежде, поговорил о том о сем, хоть и не рассчитывал убедить, что зашел, в сущности, случайно: к рыжему подполковнику случайно не заходят. Поболтав сколько надо для приличия, он вскользь заметил, что не худо бы иметь подходящего человека при императоре Александре. Подполковник не расслышал его замечания, однако в конце беседы, тоже вскользь, спросил: „Разве вы знаете русский язык?“ „Нет, не знаю, — сознался мастер-месяц, — но если нужно, могу выучиться быстро. У меня к языкам большие способности: я говорю, как вы помните, господин полковник, по-французски, по-немецки, по-гречески. Пошлите меня в Петербург, я пригожусь вам“. „Нет, в Петербурге нам ничего не нужно“, — ответил подполковник, и по его тону мастер-месяц понял, что равнодушие не для торга об окладе: „значит, у них там людей достаточно“. „Вы хорошо говорите по-гречески?“ — „Это почти что мой родной язык. Моя молодость прошла в Константинополе, там, в Галате, в Стамбуле, все говорят на всех языках, а уж по-гречески...“ „Вы недурной работник, — холодно сказал рыжий подполковник, — но у вас два недостатка. Вы слишком много говорите: мне не интересно, где прошла ваша молодость и *почему* вы знаете по-гречески. Кроме того, вы энтузиаст. В нашем деле можно быть хамом, хотя это не обязательно. А энтузи-

*Боевые ракеты, изобретенные английским генералом Конгревом, вызвали тогда у военных людей огромные надежды. — *Прим. авт.*

астом быть нельзя. И всего хуже помесь хама с энтузиастом. Если же вы действительно хорошо владеете греческим языком, то работа для вас через несколько месяцев найдется. Советую вам, однако, больше от нас ни к кому не переходить...“

Мастер-месяц удалился смущенный: все-таки к кому и к чему относились слова о хаме? Подумав, он решил, что рыжий говорил в общей форме, никак его не имея в виду. Но слово „энтузиаст“ было обращено прямо к нему. Он не являлся к подполковнику довольно долго, — тот, впрочем, и сказал: „через несколько месяцев“. При их второй беседе подполковник уточнил положение: работа есть, надо поехать в Миссолонги. „Надолго, господин полковник?“ — „Может быть, и надолго. Дальнейшее будет зависеть от вашего усердия. Жалованье прежнее. Проезд и суточные“. — „Какие суточные?“ Подполковник назвал цифру. „Этого вам более чем достаточно, жизнь там дешевая. Кроме того, вы в Миссолонги должны будете найти работу. Значит, у вас будет подсобный заработок. Ехать через две недели“.

После этой беседы мастер-месяц и предъявил ультиматум австрийскому начальству. От британского предложения он был не в восторге. В Миссолонги он никогда не был, но догадывался, что жизнь там не сладкая. Все же поручение было серьезное, ответственное. Если выполнить его с успехом, откроется карьера: давно пора. Мастеру-месяцу в последнее время приходили неприятные мысли: вдруг он неудачник? Столько тратишь ума, энергии, изобретательности — и ни к чему: денег не скопил, с одной службы переходишь на другую. Иметь дело с турками ему очень не хотелось. „Могут по ошибке посадить на кол. Однако, если отклонить предложение рыжего, больше к нему нельзя показаться на порог. Уж и теперь говорит, что энтузиаст“. Слово это было весьма обидно мастеру-месяцу: он понимал, что „энтузиаст“ много хуже, чем дурак: пожалуй, приближается к идиоту, но, может быть, с легким дополнительным оттенком, вроде скотины.

Получив прогонные, заказав место на судне, он приобрел то, что требовалось для морского путешествия: складную кровать, оленьи шкуры, которых не выносят клопы, компас, географическую карту, аптечку с сатурновым уксусом, замки, кастрюли, спиртовую лампу, Спенсеров спасательный пояс из трехсот старых пробок. Пистолет у него всегда был. Купил много съестных припасов, дюжину бутылок вина, в том числе бутылку

марсалы. Платьем обзавелся средним, как полагалось по его миссии: не то, чтобы совсем простой человек, но и не важная особа. Все покупки он поставил в счет рыжему подполковнику, разумеется, с некоторой надбавкой: не утвердит одного, покроешься другим. Рыжий все утвердил и даже не спорил: австрийское начальство сначала вымотало бы душу и затем кое-что уж, наверное, вычеркнуло бы из списка.

Поездка сошла благополучно. Судно шло под английским флагом, его не тронули хозяйничавшие на море турецкие военные корабли. Вначале и погода была хороша. Есть хотелось так, что от съестных припасов скоро ничего не осталось; пришлось докупать у матросов разную дрянь. На третий день начало качать. К берегу они пристали в сумерки, после особенно мучительного дня.

Шел проливной дождь. Впечатление от городка было самое неблагоприятное. Матросы перенесли из шлюпки вещи на берег. Мастер-месяц остался на пристани один. Явок он от рыжего никаких не получил: тон у подполковника вообще был такой, будто у англичан в Миссолонги решительно никого нет. Остановив наудачу рыбака, мастер-месяц сунул ему монету и стал расспрашивать: есть ли гостиница или хоть постоялый двор? Оказалось, что постоялый двор есть, но там сейчас все четыре комнаты забиты людьми архистратега, спят в коридорах, чуть только не в конюшне. „Где же тут у вас остановиться?“ — спросил мастер-месяц гневно. Рыбак сказал, что угол можно найти в одной избе, близко от пристани, и согласился отнести туда вещи.

Изда, по-видимому, принадлежавшая кому-то из семьи рыбака, была скверная и грязная. Мастеру-месяцу отвели именно угол, правда, отделенный перегородкой. Он кое-как умылся, переоделся и спросил, нельзя ли поесть. Подали рыбу, оставшуюся от обеда, маслины, вино. Рыба оказалась жаренная на дурном оливковом масле, а вино кислое. В самом скверном настроении духа он вышел на улицу, или на то, что здесь называлось улицей. Освещения почти никакого: от фонаря к фонарю идти пять минут. Дождь прекратился, но грязь была непролазная. Мастер-месяц погулял, стараясь не слишком удаляться от своей избы: запомнил ее отличительные признаки, — у ворот сломанная бочка. „Какой же это город? — с негодованием думал он, точно получил обещания и гарантии от своего начальства. — Это не город, а рыбацье село, и скверное!..“ Везде была вода:

не то лужи, не то ручейки, не то каналы, и нельзя было понять, где лужи, где ручейки, еще утонешь! Ни единой кофейни он не видел. Некоторые дома были освещены, и как будто оттуда доносились веселые голоса, но как зайти? „Можно попасть и в разбойничью берлогу!..“ Ему казалось что на этой проклятой лагуне разбойников должно быть очень много: может, у разбойников и остановился! „Отчего другие люди живут как люди, и есть у них дом, семья, свой угол, а я попал в эту проклятую дыру, где жить придется долго, если не повесят, не зарежут, не посадят на кол и если не умрешь от какой-нибудь болотной лихорадки? Здесь, должно быть, лихорадки не переводятся...“

Вдруг вдаль послышалось нестройное пение, кто-то испуганно бросился в ворота, раздался топот, мимо фонаря пробежали люди огромного роста, свирепого вида, вооруженные так, что, казалось, больше ничего, кроме пушки, добавить нельзя: в руках у них были мушкеты, на боку кривые сабли, за поясом пистолеты, кинжалы. Мастер-месяц замер: неужели грабители орудуют здесь среди бела дня? Однако ничего как будто не случилось. Спрятавшийся грек снова показался на улице. „Что это за люди?“ — спросил мастер-месяц. Грек ответил, что это сулиоты, принятые на службу архистратегом для готовящегося похода на Лепанто. „На Лепанто?“ — сокрушенно переспросил мастер-месяц. Он знал, что сулиоты — албанское племя. Слово „архистратег“ он слышал уже во второй раз. Вначале подумал было, что это какое-то местное должностное лицо, и только теперь догадался, что так, очевидно, называют здесь полоумного лорда. „Архистратег так архистратег“, — решил он и направился домой: завтра с утра надо будет устроиться получше, а затем начать поиски работы. По инструкции он должен был найти себе в Миссолонги какое-нибудь занятие, не вызывающее ни у кого подозрений. „Это вам будет легко, — пояснил рыжий подполковник, — там теперь люди на вес золота“.

Спал он плохо: жесткая постель, скверный воздух, оленья шкура отнюдь не спасала от клопов, — все врут люди. Голова была тяжелая. Ему казалось, что у него жар: „Так и есть! В первый же день заболел малярией! Еще издохнешь здесь, и похоронить будет некому!“ Раза два мастер-месяц вставал, принимал, больше наудачу, лекарства из аптечки. За перегородкой храпели люди. Он чуть не заплакал, думая о своей жалкой, бездомной жизни. Все же в третьем часу он заснул.

С утра настроение у него стало лучше. День был солнечный, почти как в Италии. Мастер-месяц проверил себя: нет, кажется, не заболел. Решил, что позавтракает в городе: не может все-таки быть, чтобы не было ни кофеен, ни кабачков, — верно, вечером при плохом освещении не нашел или не был на главной улице. Ему и не хотелось еще есть. Он снова прошелся по городу: в самом деле, какая-то скверная Венеция, везде вода! Спросил, где живет архистратег, — очень бойко выговорил это слово: Байрон жил в доме Капсали*, стоявшем между площадью и каналом, или лагуной, или черт знает чем еще: везде вода.

Мастер-месяц еще погулял, стараясь ориентироваться в городке. Кое-где на заборах висели объявления: люди приглашались на работу. В большинстве предложения были неинтересные. Только одно показалось ему заслуживающим внимания. В арсенал требовались счетоводы, надсмотрщики, приемщики, грузчики, рабочие. Он задумался. Ему не очень хотелось работать в арсенале. Однако случай был заманчивый: пункт для наблюдения за экспедицией Байрона как будто прекрасный. „Где тут арсенал?“ — нерешительно спросил он прохожего. „В серале, вон там“, — ответил тот и ткнул в воздух пальцем. Мастер-месяц направился к большому, окруженному высокими стенами строению. У ворот стоял часовой с огромным мушкетом. „Это какое здание?“ — для верности спросил мастер-месяц у проходившей старухи. „Сераль паши“. Часовой засмеялся. „Был сераль паши, а теперь нет ни паши, ни сераля. Это арсенал“, — сказал он и, поставив мушкет к стене, стал раскуривать трубку. „Экая скотина! — подумал с искренним возмущением мастер-месяц, — хороши порядки у архистратега!“

Ему все меньше хотелось работать в арсенале, в котором курят трубку часовые. Однако он вошел во двор. Никто ни о чем его не спрашивал. Пропуска не требовали. Грязь на дворе была невообразимая. Старательно обходя огромные лужи, мастер-месяц вошел в первое строение. Там за столом сидел молодой человек в очках, очевидно, принимавший на работу. Перед ним выстроились несколько простых людей испуганного,

*На месте дома, в котором умер Байрон, теперь, по словам писателя-очевидца, находится „a public and very promiscuous latrine“. (Общественная, очень посещаемая уборная“ (англ.). — Пер. ред.). „Английский турист испытывает чувство позора“, — говорят Никольсон. — *Прим. авт.*

просительского вида. Мастер-месяц смиренно занял место в очереди. Молодой человек всем говорил на ломаном греческом языке: „Нам сейчас нужны счетоводы, надсмотрщики, приемщики, грузчики, рабочие. Вы по-английски понимаете?“ Получая неизменно отрицательный ответ, произносил тоже как заученный урок: „Тогда в рабочие. Работать от шести до шести, два часа на обед. Работа начнется 4 февраля. Плата...“ Плата здесь, очевидно, считалась хорошей: все тотчас с видимым облегчением соглашались. „Народ бедный, — думал сочувственно мастер-месяц. — Чем от турок освободить, их бы накормить“.

Когда дело дошло до него, он сказал, что говорит немного по-английски, и хотел было объяснить правдоподобнее, откуда такие познания: „Я уроженец...“ — но молодой человек, не слушая, радостно переспросил: „Говорите по-английски? — и тотчас перешел на английский язык, на котором, впрочем, объяснялся не очень хорошо с сильным немецким акцентом. — Люди, владеющие английским языком, нам очень нужны, очень. Надо работать спешно: готовится поход на Лепанто. Считайте себя принятым“. „На какую же работу? Я в рабочие не желаю идти“, — сказал внушительно мастер-месяц. „Мы вас, конечно, и не возьмем в рабочие. Знаете что: не будем сейчас сговариваться точнее. Скоро приедет начальник арсенала, сэръ Вильям Парри. Он с вами сговорится. Не будем пока условливаться и о жалованье. Мы вас не обидим. Но считайте, что с настоящей минуты вы приняты к нам на службу. А если вам нужны деньги, то я могу вам дать задаток“. — „Нет, зачем же? Когда условимся“, — сказал с достоинством мастер-месяц, удивляясь все больше: „Хоть бы о чем спросили: может, я шпион? может, я хочу взорвать арсенал?“ „А не согласились бы вы поселиться здесь, в серале? — осведомился молодой немец, видимо, чрезвычайно обрадовавшийся говорящему по-английски человеку. — Из нас, кроме меня, никто по-гречески не говорит, и постоянная нужда в переводчике. Я просто не могу отлучиться ни на минуту. Если бы вы согласились переехать, мы могли бы вам выдать экстренную сумму, подъемные, что ли? Комната, разумеется, бесплатная. Здесь у нас уже есть и кантина“. Мастер-месяц на минуту задумался: жить в этом здании, несомненно, лучше, чем в избе, но все-таки арсенал — вечная опасность взрыва или чего-нибудь такого. Он сообразил, однако, что риск одинаковый ночью и днем, — ночью,

пожалуй, даже меньше риска. С другой стороны, платить не надо. Сразу, кроме жалования от рыжего, выхотил дополнительный заработок, вероятно, порядочный, да еще бесплатное помещение. „Если подъемные то, может быть, я переехал бы, хоть это связано для меня с немалыми расходами. Но разрешите прежде взглянуть на комнату“. „Вам сейчас покажет *маркитантка*“, — радостно сказал немец.

Он три раза хлопнул в ладоши и вопросительно уставился на дверь — не вошел никто. Похлопал еще — по-прежнему никого не было. Молодой немец рассердился, вышел, оставив нового служащего в своем кабинете. „Все секреты могу узнать“, — с удовольствием подумал мастер-месяц, бега глазами по комнате: „Какие тут у них, впрочем, могут быть секреты!“ За дверью послышался гневный голос немца. Затем он появился в сопровождении маркитантки. Это была молодая, невысокая, полная женщина, с очень приятным, матового цвета лицом, с вздернутым носом, с широко расставленными черными глазами. На ней был цветной халат не первой свежести; через плечо было переброшено цветное полотенце. „Миленькая“, — подумал мастер-месяц. Инстинкт, почти никогда его не обманывавший, сразу ему подсказал, что может выйти дело, хоть надо соблюдать должную осторожность. Он вежливо поклонился. Маркитантка улыбнулась — улыбка у нее была тоже очень приятная — и повела его. „Мы пройдем через мастерские, так ближе“, — сказала она, направляясь в главное здание. Мастер-месяц пошел за ней, осанисто переваливаясь. „Да, особых предосторожностей в этом арсенале не принимают...“ Он ахнул: такая грязь была в мастерских. „Здесь жили сулиты“, — пояснила с улыбкой маркитантка. Они прошли через большой зал, куда-то свернули, вышли в другой двор и направились к небольшому строению. „А тут что такое, милая? — спросил мастер-месяц. — Ведь это, кажется, бывший сераль?“ „Тут был гарем паши“, — ответила стыдливо маркитантка. „Ай-ай-ай, гарем? — игривым тоном переспросил мастер-месяц. — А как вас звать, красавица?“

Беседа, начавшаяся так хорошо, продолжалась и в здании гарема. Маркитантка давала объяснения. Оказалось, что большая часть комнат заказана для ожидающейся в Миссолонги английской миссии. В других комнатах уже поселились офицеры, служащие арсенала, греки, шведы, немцы. „Скоро станет свободнее, будет

поход на Лепанто“, — сообщила маркитантка. Сама она служила тут еще при паше, по ее словам, прачкой. „А может, и не прачкой?“ — подумал мастер-месяц, приглядываясь к ее рукам. „Вот это была комната начальника евнухов, — пояснила она стыдливо. — А тут жила киаджи-шатун, начальница гарема... А вот здесь комнаты одалисок“. „Одалисок?“ — сладко улыбаясь, переспросил мастер-месяц. Слово это подействовало на него, как музыка. И хотя комнаты были самые обыкновенные, грязные и пустые, он с особенно приятным чувством выбрал свободную комнату одалиски. Маркитантка обещала поставить все необходимое. „Мебели у нас было довольно, но потом тут была сулиотская казарма!“ „Отлично, тогда я сейчас же перевезу сюда свои вещи. Милая моя, а где тут можно позавтракать? Может, и вы со мной закусили бы?“ — спросил мастер-месяц с самой игривой улыбкой, как нельзя лучше подходившей для бывшего гарема. „Когда перевезете вещи, все будет. И недорого“, — сказала маркитантка. Они поговорили, и многое было сказано еще при первой их встрече.

Остальное было сказано в тот же день, после того как он привез свои пожитки. В комнате уже стояли недурная кровать, шкаф, стол, два стула. На полу лежал коврик, а на столе были хлеб, масло, маслины, колбаса, рыба, сыр и графин вина. Мастер-месяц глотнул: очень недурное, хоть немного пахнет мехом. У него заблестели глаза. Судьба снова ему улыбалась. В эту ночь он больше не думал ни о смерти, ни о малярии, ни о своей собачьей жизни.

XVII.

Вскоре в Миссолонги прибыла из Лондона артиллерийская миссия. Городские власти устроили ей на пристани торжественный прием. Было молебствие, произносились речи. Мастер-месяц всего этого не видел и не слышал: дела у него в арсенале не было, но он счел неудобным отлучиться в служебные часы. Говорили, что угощение от городских властей было очень хорошее, что выпито было большое количество санторинского *vinо santo* и сладкого мускатного вина. К вечеру матросы привезли в сераль большое число мешков и ящиков. Мастер-месяц поглядывал подозрительно,

предполагая, что это ракеты Конгрева. Все сложили на дворе.

С утра пошел проливной дождь. „Если в мешках порох, то плохо их дело: не сожгут, пожалуй, Лепанто, — весело подумал мастер-месяц, заглянув во двор. Спросил себя даже, не проявить ли усердие. — Нет, не мое дело. Так будет спокойнее“. Однако и без него один из англичан обратил внимание на то, что ракетный состав мокнет. Послали собирать рабочих, но в этот день был праздник: греки отказались убирать мешки, сколько их ни убеждал молодой немец, не очень понятно взывавший к их патриотизму. „Ведь это нужно для вашего освобождения!“ — говорил он, как ему казалось, по-гречески. Вдруг у ворот послышался страшный крик. Какой-то воинственного вида человек в тужурке военного образца, хоть боэ эполет, орал по-английски диким голосом. „Мерзавцы! Негодяи! Я вам покажу праздники! Пропал ракетный состав! Испортили ракетный состав!..“ Мастер-месяц догадался, что это сам глава артиллерийской миссии, он же начальник арсенала Вильям Парри (сэрм молодой немец его называл, чтобы выходило звучнее). Несколько греков со сконфуженным видом стали носить мешки под навес. „Подлецы! Проклятое племя! Освободить их надо... Мой друг генерал Конгрев повесил бы вас всех за такое дело!“ — кричал глава миссии. Мастеру-месяцу показалось, что он сильно выпил.

Кто-то испуганно сообщил, что в сераль едет сам архистратег. Вильям Парри немедленно успокоился, принял вид служаки и вышел к воротам для рапорта. В ворота вбежали сулиоты с мушкетами. За ними на прекрасном коне во двор въехал человек в красном английском полковничьем мундире. Мастер-месяц тотчас узнал лорда Байрона, хоть он сильно изменился со времени их встречи у Флориана: очень исхудал и поседел, лицо у него было усталое, почти изможденное. „Как бы и он меня не узнал? — подумал мастер-месяц, не суясь вперед. — Да нет, где же? Мы люди маленькие, и пять лет прошло, и я стал вдвое толще...“ Байрона сопровождал граф Гамба. Дальше ехал грум-негр, и бежали еще сулиоты. Позднее мастер-месяц узнал, что сулиотская гвардия архистратега постоянно следует за ним пешком и не отстает даже тогда, когда архистратег скачет: сулиоты ходить, как люди, не умеют — бегут лучше любой лошади.

Архистратег принял рапорт и, не сходя с коня, заговорил с Парри вполголоса. На лице его вдруг изобразилась тревога. Ему подали мешок с ракетным составом. Подошел немецкий офицер Киндерман, по-видимому, вступивший в спор с начальником артиллерийской миссии. Парри кипятился. Немец пожал плечами. „Могу уверить Вашу Светлость, что большой беды нет, — сказал он с сильным немецким акцентом, — к тому же промокли только верхние мешки“. Байрон ничего не ответил, видимо, не желая становиться ни на ту, ни на другую сторону. Он соскочил с коня у самого крыльца и быстро вошел в арсенал, скрывая свою хромоту.

Там он оставался минут десять. Затем снова вышел — лошадь подали к крыльцу, — пожал руку Парри и громко сказал: „Благодарю вас, майор“. Начальник артиллерийской миссии просиял. „Это он что, чин ему пожаловал? — спросил себя весело мастер-месяц. — Впрочем, если сам он полковник, то почему пьянице не быть майором?..“ Байрон рысью выехал на улицу. Впереди и сзади его бежали сулиоты с мушкетами. И как мастеру-месяцу ни хотелось найти смешное в архистратега, кроме чина, ничего не нашел. Военный мундир Байрон носил прекрасно, точно носил всю жизнь: так, по крайней мере, казалось штатским людям; бывший же в Миссолонги английский офицер слегка улыбался. Держал себя архистратег с большим достоинством: очень просто, без чрезмерного величия, но и без фамильярности.

После отъезда Байрона майор Парри собрал на дворе всех служащих и произнес краткую, энергичную речь, которую тут же переводил какой-то неизвестный мастеру-месяцу грек, — как оказалось, личный переводчик архистратега. Майор сказал, что готовится поход на Лепанто, что Лепанто должен быть взят, и — черт возьми! — будет взят. Для этого в Миссолонги прислано все необходимое и, в частности, то, что нужно для изготовления ракет.

— Слышали об этой хитрой штучке, а? — кричал он. — Изобрел ее мой друг, генерал Конгрев, недурной воин: самому Бонапарту отравил жизнь. Так вот эта штучка нас всех выручит. И не нас, а вас! Англию мы, что ли, освобождаем? Нет, Англия, слава Богу, всегда была свободна. Мы освобождаем вашу страну, ваш народ. Это для вас сюда приехал Его Светлость лорд Байрон. Ему и без вас было хорошо жить. Он, может быть, первый писатель в мире! — заявил майор не-

сколько менее убежденным голосом. — И вот он для вас все бросил: жену, детей, родину — приехал освобождать Грецию, черт вас возьми! Поэтому нам надо взять Лепанто! Это я вам говорю! Поняли? И мы Лепанто возьмем! Вот при помощи этих ракет и возьмем. Они обращают в бегство самую лучшую кавалерию... И пехоту тоже, да. Они сжигают корабли неприятельского флота, производят взрывы и разрушения в крепостях и черт знает что еще! Сам Бонапарт — знаете, что был за человек, а? — сам Бонапарт ничего не мог поделаться против ракет. Как только мой друг генерал Конгрев изобрел эту штучку, сейчас же ничего от Бонапарта не осталось. Ну, так вот передаю вам приказ архистратега: вы должны работать с величайшим усердием! Я сейчас все вам объясню, какая это штука...

Майор Парри развернул большой лист с чертежом ракеты Конгрева. Он бегло объяснил ее устройство, велел подать из ящика составные части, приложил одну к другой: „Это поддон. Это хвост. Это гильза... Теперь понимаете? Ну так, марш. Все по местам!“

Служащие и рабочие покинули двор, но едва ли кто понял объяснения. Мастеру-месяцу показалось даже, что сам майор Парри давал их не очень уверенно и что шведский офицер слушал майора с некоторым недоумением. „По местам“ же рабочие разойтись не могли, так как не знали, где их место и что они должны делать. Приехавшие с майором англичане прошли по мастерским и только разводили руками. „В такой грязи невозможно работать! — сказал один из них решительно. — Первым делом надо заняться уборкой! Тут работы на три дня!“

Начальник арсенала сначала слышать не хотел ни о какой отсрочке работ. Но, пройдя по мастерским, и он должен был признать, что так работать нельзя. С криками, с ругательствами, с проклятиями он разрешил потратить два дня на очищение серала.

Мастер-месяц был вызван к начальнику арсенала. Майор проговорил с ним минуты три, тоже ни о чем не спросил и предложил должность счетовода и приемщика снарядов; тут нужен человек, говорящий по-гречески. „Но это, собственно, две должности?“ — полувопросительно сказал мастер-месяц. „А где взять людей, понимающих по-английски, черт вас всех побрал!“ — ответил майор и назначил полуторное жалованье. Принимать снаряды мастеру-месяцу не хотелось, но он

подумал, что, судя по всему, снаряды в этом арсенале появятся нескоро. „Рыжий будет очень доволен“.

По должности приемщика работы не было почти никакой, так как арсенал еще ничего не изготовлял: ни ракет, ни снарядов. Больше времени отнимали занятия счетовода. Мастер-месяц каждый вечер расплачивался с рабочими. Хотел было платить раз или два в неделю, но греки запротестовали: по своей бедности они не могли ждать ни одного дня. Выдача денег занимала ежедневно часа полтора; отчасти он умышленно затягивал дело, чтобы проявить усердие; кроме того, боясь ошибиться в греческих деньгах и передать лишнее, по три раза проверял счет каждого рабочего.

Платили рабочим по местным ценам очень хорошо. Нанято было немало лишних людей. Вообще денег в Миссолонги не жалели. Мастер-месяц не сомневался, что почти все тут крадут, хоть ни малейших данных для таких предположений у него не было. „Деньги у Лондонского комитета, верно, шалые: шутка ли сказать, сколько дураков в Англии! Контроля никакого. Кто просто кладет в карман, кто наживается на поставках: он заказывает, он, верно, и комиссию получает“. Относительно того, ворует ли сам Байрон, мастер-месяц все же не имел твердого мнения: может, этот полоумный и не ворует. На таком деле, по его мнению, было бы скорее позором не наживаться. Чем дольше мастер-месяц находился в Миссолонги, тем яснее ему становилось, что ничего тут не будет — ни ракет Конгрева, ни снарядов, ни похода на Лепанто: разве только появится на свете несколько новых богатых или зажиточных людей. Эта мысль его раздражала: почему они разбогатеют, а он — дай Бог вывезти какие-либо крохи сбережений?

Начальству он, разумеется, ничего этого не сообщал, хорошо зная свое дело. Напротив, в первом же докладе рыжему подполковнику написал, что приготовления в Миссолонги делаются огромные, что поход против Лепанто назначен на 14 февраля (так действительно говорили все в городе), что турецкой крепости грозит очень серьезная опасность: ракеты Конгрева. Давал понять, что в меру возможного он затягивает производство: без него дело шло бы гораздо скорее. Впрочем, знал, что рыжего обмануть не так просто.

В арсенале он старался все время попадаться на глаза майору, ходил по мастерским, которые после приезда англичан стали наконец принимать приличный

вид, часто предлагал свои услуги для перевода (поэтому знал почти все дела). Таким образом, за день утомлялся порядком и даже похудел, хоть ел, как всегда, много и со вкусом: греческая кухня сначала ему не понравилась, потом он к ней привык, а кое-что даже очень оценил, особенно рыбные блюда. Недурна была и местная фруктовая водка, подкрашенная жженым сахаром. И вино было вполне сносное, хоть, разумеется, не марсала. Пил он несколько больше, чем следовало, но уж очень было скучно в арсенале. Мастер-месяц был человек весьма общительный. Между тем по своей должности он почти не имел на службе равных: с одними не мог болтать потому, что они были гораздо выше его по рангу, а с другими — потому, что они были гораздо ниже.

В арсенале была устроена кантина, ставшая чем-то вроде клуба. Ввиду установленного в Миссолонги демократического духа в нее разрешалось входить и лицам среднего персонала (так они именовались в штатах). Мастер-месяц пользовался своим правом с достоинством, но скромно, как лицу среднего персонала полагалось, выпивал у стойки наскоро, по возможности незаметно, рюмку-другую, заедал масляной и тотчас уходил, — разве только велись интересные разговоры, тогда старался немного задержаться. За единственный столик кантины он никогда не садился, зная свое место. Тем не менее офицерам появление приемщика, видимо, не нравилось, хоть он всегда почтительно им кланялся и никогда не пробовал разговаривать. Приехавший освободить Грецию офицер одной из немецких армий Киндерман, человек, видимо, очень гордый, несмотря на незнатную фамилию, не замечал низших служащих и не отвечал на их поклоны ни в кантине, ни в мастерской, ни в коридоре гарема. Их комнаты находились почти рядом. В коридор выходила и комната шведского офицера Засса.

Это было очень удобно мастеру-месяцу. Офицеры говорили между собой обычно по-немецки, не стесняясь его соседством. Он никому и виду не подавал, что знает кроме английского еще другие иностранные языки, — азбука ремесла. В первый день после приезда Парри мастер-месяц, медленно проходя по коридору, слышал обрывок разговора: „Да он не офицер! Голову на отсечение даю, что не офицер!“ — сердито говорил Киндерман. „Мне сказали, что *майор* служил низшим клерком в гражданском отделении Вульвичского арсенала, — с

усмешкой ответил Засс, — умники Лондонского комитета, очевидно, признали, что это достаточный артиллерийский ценз. Во всяком случае, о ракетах Конгрева он не имеет ни малейшего понятия“. „Unerhört“*, — сказал с возмущением немецкий офицер.

С маркитанткой же вышло приятное недоразумение. Мастер-месяц был уверен, что придется платить, и ничего против этого не имел: он любил деньги, но скуп не был — на что другое жалел, а на себя, на радости жизни, нет. По своему правилу, он в первый же вечер — чтобы уважала — взял шелковый мешочек, служивший маркитантке кошельком, и сунул туда кое-что: не очень много, однако прилично, — почти столько, сколько заплатил бы в Венеции или в Вероне даме такого ранга. При этом на лице у него была веселая улыбка, говорившая, что дело житейское, ясное: между порядочными людьми тут спорить не приходится. Она нисколько не обиделась, но, видимо, была изумлена: в чем дело? зачем деньги? На следующий день едва ли не на всю полученную сумму купила лакомства, вина, рахат-лукума.

Маркитантка вообще не придавала деньгам ни малейшей цены. Получала она, как все служившие в серале люди, вполне достаточное для жизни жалованье: мастер-месяц знал точно, так как сам ей эти деньги выдавал. Но дня через два после получки у нее уже ничего не оставалось. Говорила, что много дает семье; в действительности у нее брал всякий, кто хотел: давала тому, кто первый попросит, и назад не требовала, хотя всегда несколько удивлялась — как это, обещали отдать и не отдают? Мастер-месяц не без труда навел тут порядок. Не было у нее и жадной любви к вещам, свойственной, как он знал, многим женщинам нестрогой жизни. Подарки она принимала с детской радостью, особенно сласти. Но о своем туалете заботилась мало: не все ли равно, старый ли халат или новый? Пришлось навести порядок и тут. Хозяйство в кantine она вела очень честно: на базаре торговалась, точно покупала для себя; между тем деньги были казенные, и никто их особенно не считал.

Удивлялся ее наивности мастер-месяц и во всем другом. Она в первый же вечер созналась, что была у паши не прачкой, а одалиской. Да, собственно, и соврала для начала лишь по традиции: так полагалось, —

* „Неслыханно“ (нем.).

может, у иностранца есть против одалисок предрассудок? Когда оказалось, что предрассудка нет, охотно стала рассказывать о своей прежней жизни и рассказывала весело, без малейшей горечи. „Что же, он был жестокий человек, паша? Мучил тебя?“ Она изумилась. „Зачем мучил? Он был добрый, очень добрый! Если и наказывал кого, то за дело. Отличный был паша! Его убили на войне, я всегда за него молюсь...“ — „Ну вот! За турка молишься?“ — „А я не говорю за кого“. — „Этак ты, может, не хочешь освобождения Греции?“ „Отчего не хотеть? Хочу, конечно“, — ответила она, зевая. Политика ее не интересовала, она горестно говорила, что пора прекратить эту гадкую войну. „Да как же прекратить, если турки не желают давать вам свободу?“ — спрашивал, забавляясь, мастер-месяц. Она, вздыхая, умолкала. Вид ее как будто говорил: „Ну, что ж делать, если они не хотят? А может, как-нибудь их убедить, чтобы захотели?..“

Через нее мастер-месяц ознакомился с настроением других греков в городке. Турок все, кроме нее, терпеть не могли. Но не очень любили и иностранцев, приехавших для освобождения Греции. „Архистратега любят, это правда. Он настоящий барин! А другие нет, при нем кормятся“. Отражая общее мнение, она признавала, что дела со времени приезда англичан идут хорошо. Цены на рыбу поднялись, лавочники делают золотые дела, все разбогатели. „Англичанин дурак: он все покупает и не торгуется, разве у нас так можно? Архистратег любит кинжалы и сабли, ему нарочно подсовывают: где он проходит, там выставляют. Купит лавочник за драхму, а говорит, что старое, — архистратег любит старое и платит в десять раз дороже. А еды что на них идет! Все крестьяне в деревнях богатеют. Одни сулицоты съедают возы мяса, рыбы, хлеба. Да и иностранцы тоже. Архистратег — нет, он мало ест, боится разжиреть, а пьет отлично, хоть и говорят люди, будто он переодетый турок...“ „Как турок?“ — изумился мастер-месяц. „У нас так говорят: он и Маврокордато хотят нас продать Англии“. „Очень ты нужна Англии! Станет она тебя покупать. И все ты, голубушка, врешь!“ — сказал мастер-месяц, чтобы ее подзадорить.

„Зачем мне врать?“ — „Да ты его, верно, и в глаза никогда не видела“. — „Это я-то? Сто раз“. — „Где же? В серале?“ — „И в серале, и на улице, и в доме у него была“. — „Ну, уж это ты, наверное, врешь! Пустят тебя в его дом!“ — „А почему не пустят? У меня там сестра

служит прачкой! Десять раз к ней ходила“. „И сестры у тебя никакой нет, ты сама тоже „служила прачкой“, знаю я тебя, все врешь, — твердил мастер-месяц, очень заинтересовавшийся сообщением, — покажи мне ее, твою сестру, вот сведи меня к ней в гости, тогда я поверю. Тебя в тот дом и на порог не пустят!“ — „Да кто не пустит? Чуть только архистратег съезжает со двора, сулиоты садятся за карты“. — „Этак и я мог бы, значит, пойти? Врешь, врешь...“ — „Дашь коробку рахат-лукума, если я тебе покажу дом?“ — „А зачем мне его дом? Разве так, из любопытства, взглянуть, как он живет? Коробки рахат-лукума мне не жалко“. — „Ну так вот, в любой день, часов в одиннадцать: он тогда уезжает из дому“. — „Еще стоит ли терять время? А впрочем, пойдем. Пожалуй, хоть завтра, я завтра утром свободнее“. — „Можно и завтра, если будет хорошая погода“. — „Причем тут погода?“ — „В дождь он кататься за город не поедет. Рахат-лукум купи в той лавке, за церковь, у них самый лучший“. — „Куплю, куплю. Хоть экая невидаль: дом архистратега!“

На следующий день они в самом деле туда отправились. По дороге как раз встретили Байрона: он ехал по каналу в *моноксиле*. „К городским воротам едет, там садится верхом и катается“, — объяснила маркитантка. „Отчего же он садится не у своего дома?“ — „Да тут себе шею сломишь, такая дорога. Иногда, впрочем, ездит и по городу“. Маркитантка смело вошла в дом по черной лестнице. Мастер-месяц нерешительно последовал за ней. Внизу, в большой комнате, дверь в которую была открыта настежь, на полу сидели сулиоты из личной гвардии архистратега и играли в карты. Стоял сильный смешанный запах крепкого табаку, кожи, спирта. „Когда он тут, они стоят на часах. А как только он со двора, часовые садятся играть. Здесь я их не боюсь, здесь они не посмеют напасть“, — сказала маркитантка, поднимаясь по лестнице. „Что ты, милая, ведь я с тобой“, — неуверенно-галантно отозвался вполголоса мастер-месяц и ускорил шаги. Они поднялись по лестнице, никого не встретив. „И тут хорош контроль, в доме главнокомандующего! — подумал мастер-месяц, пожимая плечами. — Ты куда же? К сестре? А он где живет?“ „Вот тут, — прошептала она, остановившись на площадке второго этажа, приотворила дверь и, увидев, что в комнате никого нет, поманила своего друга. — Войди. Не бойся“.

Мастер-месяц, волнуясь, заглянул в комнату и обвел

ее быстрым опытным взглядом полицейского: сразу все запомнил. Мебели и вещей в кабинете было немного: стол, два стула, низенький диван, вроде матраца на коротких ножках, и по стенам всевозможное оружие: карабины, пистолеты, сабли, кинжалы, ятаганы. На столе, рядом с чернильницей, тоже лежал пистолет. Ничего другого не было. Если бы были бумаги, мастер-месяц пошел бы на риск, постарался бы заглянуть или незаметно стащить: присылка рыжему подполковнику документа, собственноручно написанного лордом Байроном, была бы, конечно, большим служебным успехом. Еще были полки с книгами, шедшие чуть ли не до потолка. „Вот он что привез сюда, архистратег“, — подумал мастер-месяц. „Так где же твоя сестра? Что нам тут болтаться, — небрежно сказал он, — она красивая, твоя сестра?“ Маркитантка погрозила ему пальцем.

В воскресенье они поехали за город: была хорошая погода. Далеко ехать было невозможно: милях в десяти от Миссолонги шалили разбойники атамана Карайскаха. Но в соседней деревушке маркитантка знала избу, где хозяин удивительно жарил рыбу и к ней подавал отличное мускатное вино. „Очень ты, миленькая, любил поест и выпить“, — говорил мастер-месяц без укора: сам это любил. „А ты меня пьяной видел?“ — „Нет, пьяной пока не видал“. — „И не увидишь“. — „А глазки у тебя, когда ты выпьешь, делаются маленькие и веселенькие, это я видел“. Она засмеялась. „Чему ты, дура?“ — „Чему? Паша мне говорил то же самое. Сам не пил, а нам позволял, если не мусульманка. Иногда, впрочем, и сам пил. Потом каялся и ругался так, как только турки умеют... Знаешь, ты похож на пашу. Ты барин, даром что конторщик...“ Он был очень польщен. Не без огорчения спросил себя: что, если бы она знала, каково его настоящее ремесло? Верно, просто не поняла бы, и было бы чрезвычайно трудно ей объяснить.

К собственному своему удивлению, он искренне к ней привязался. Мастер-месяц знал на своем веку много женщин, но такая попалась ему в первый раз. Понимал, что он нравится ей, как легкий, веселый человек (это в нем еще оставалось, хоть шло на убыль). Однако себя не обманывал — попался случайно, а был бы кто другой, тоже легко добился бы успеха: она из тех женщин, что и месяца не могут прожить без хозяина, — удивительно, как не воспользовался ни один из офицеров. „Вероятно, им было неловко: освобождают Грецию!“

Свое дело она знала, но не увлекалась им. Больше всего на свете она любила рахат-лукум. И еще любила приятно проводить время: чтобы не одной, а с хозяином, и чтобы на столе стояла закуска, и чтоб было сладкое вино — выпивала бокал-другой, не больше. Любила с приятным человеком приятно поговорить: и о простых вещах, и о возвышенных — например, что будет в том мире? Только о войне старалась не говорить: без толку калечат людей, вернется человек без ноги, вот ему и будет свобода! „Зачем им Лепанто? Да я в жизни в этом Лепанто не была и не буду“. „Отчего ты не вышла замуж?“ — однажды спросил ее он. „А за кого (она обычно отвечала вопросом на вопрос)? За рыбака, что ли, идти? Он будет бить. Пьяный, грязный. За хорошего человека я пошла бы...“ Хотя она в мыслях его не имела, он понял, что под хорошим человеком разумеется человек вроде него. „Вот был бы странный конец!“ — усмехаясь, подумал мастер-месяц. Но, к еще большему его удивлению, мысль эта не показалась ему дикой. Он минут десять думал — не серьезно, разумеется, но и не вполне шутливо: что в самом деле, если бы бросить проклятое ремесло и поселиться где-нибудь в хорошей, теплой, солнечной стране, где нет ни войн, ни революций, ни добрых родственников, и зажечь по-новому, обзаведясь семьей? После Миссолонги сбережения все-таки будут. Не открыть ли какое дело? Дела ему представлялись разные, и честные, и сомнительные, вроде веселого заведения. „Нет, не заведение, конечно, а кофейня с музыкой, с дамами? Или хороший магазин? Где же? В Константинополе?“ Как все долго жившие в этом городе, мастер-месяц был им навсегда отравлен. Вспомнил Золотой Рог, базар, камни Стамбула, Галату, немощеную лестницу Перы — и вздохнул. Нет, куда же Константинополь? Добрых родственников там нет, а война есть: султан-то больше всех теперь и воюет. „Что за ерунда? Не жениться же на бывшей одалиске! Но милая, очень милая!“ — с улыбкой думал мастер-месяц.

XVIII.

Байрон вставал в девять часов утра, завтракал, как полагалось человеку с наклоном к полноте, — чай без сахара, сухари, затем принимал доклады. Докладчиков было немного. Обычно по утрам являлся Вильям Парри и сообщал о ходе работ в арсенале. Говорил он

самоуверенно, резко, пересыпая речь заправскими военными словечками и ругательствами. Этот стиль старого рубаки отнюдь не вводил Байрона в заблуждение. Он догадывался, что Парри не рубака, на войне едва ли когда был, может быть, даже не офицер и вряд ли видел хоть раз в жизни генерала Конгрева. Грубая подделка его немного раздражала, — в человеке более образованном показалась бы ему нестерпимой, — и он сердился на Лондонский комитет за присылку такого специалиста, но не очень сердился. Начальник артиллерийской миссии ему нравился. Подделка — ну что ж, подделка! Все в Миссолонги, в сущности, было фикцией, было фикцией и это, а, по существу, Парри — человек весьма неглупый, живописный, бывалый и приятный. Разговаривать с ним было просто, не утомительно или не так утомительно, как с Маврокордато, со Стэнгопом, с графом Гамба. Вероятно, изготовление ракет не столь уж сложное дело, как уверяют артиллеристы. Опытные рабочие справятся и без штабных офицеров, а рабочих из Англии прислали. Майор отлично и весело пил, выше всего на свете ставил бренди и от всех болезней, неприятностей, огорчений лечил этим напитком, убеждая и Байрона не обращать ни малейшего внимания на предписания и запреты врачей.

После докладов Байрон проверял счета, делал это вполне толково. Близкие люди и прежде удивлялись: великий поэт, демоническая душа, а практические дела понимает отлично! Счетоводство вел граф Гамба, вел плохо, надо было следить за ним и держать его в руках. Впрочем, следить надо было за всеми в Миссолонги. Заходил врач Бруно, вернее не врач, а студент. Он понимал в медицине еще гораздо меньше, чем Парри в военном деле, но, в отличие от майора, не обладал ни малейшей самоуверенностью и при всяком затруднении плакал. Тревожно спрашивал у больных совета, как их лечить; если же болезнь не проходила, начинал горько рыдать. Этот человек в экспедиции был явным недоразумением, которое вначале казалось очень досадным, — зачем взяли мальчишку? — а теперь давно стало забавлять: ведь заболешь, так и с настоящим врачом умрешь.

В хорошую погоду Байрон долго катался верхом. В плохую погоду играл с собакой Лайоном, с пажом Лукасом или стрелял в цель из пистолета: делал большие успехи и до четырех раз из пяти попадал в яйцо с двенадцати ярдов, хоть рука несколько дрожала. После

обеда (овощи, сыр, фрукты, редко кусок рыбы или мяса) занимался своей армией: выходил на площадь и следил за упражнениями солдат. Иногда сам принимал участие, чтобы подать пример другим, но при этом чувствовал неловкость, точно при чтении своих ранних поэм: как в тех поэмах, было противно *байроническое*, окончательно испошленное подражателями, так в этих упражнениях на плацу с ружьем коробило нечто деланно-королевское, *гарун-аль-рашидовское*. Затем он выслушивал жалобы и доклады по случаю разных неприятностей — их было великое множество, просто не хватало сил. Закончив трудовой день, он поднимался в свой кабинет.

Иногда подолгу лежал на диване с закрытыми глазами, и кое-кому из входивших в его комнату людей казалось, что лежит мертвый человек, так бледно было лицо его. Другие шутили: великий поэт лежа сочиняет стихи. Он в самом деле нередко думал о литературе: как надо писать? как писать по-новому? „Дон Жуан“ опротивел, хоть и следовало бы все-таки кончить. Писать без фэбулы, без фальшивых и нефальшивых страстей, совершенно просто, как еще никогда никто не писал, не с рифмами — астроному и есоному, без наряда, разумеется, в прозе. Ему казалось, что еще никто в мире не подходил вплотную к *такому* искусству, но оно носится в воздухе, — жалел, что достанется другому. Случалось, впрочем, ловил себя на поисках: есть ли рифма к *Лепанто*, к *Миссолонги*? И с раздражением, с профессиональной завистью вспоминал некоторые стихи Шелли: „Жаль, что не я это написал“.

Немало думал о своем прошлом, о своих любовницах — особенно о первых, — вспоминал ошибки, обман, разврат, — почти все теперь вызывало у него отвращение. О графине Гвиччиоли думал почти равнодушно — слава Богу, что не взял ее сюда, только ее здесь не хватало! Был ли когда-нибудь влюблен действительно, по-настоящему? Да, раза два, мальчиком. Это были даже не тяжелые мысли, а просто очень скучные, утомительные. Их отогнать было сравнительно легко. И приходили они ему в голову больше в связи с нынешним его делом и с его близкой смертью: что эта думает о Миссолонги? Упадет ли в обморок та, когда прочтет, что под Лепанто убит лорд Байрон? Встретиться же снова ему ни с одной из них не хотелось.

Он писал много писем и сам себе удивлялся: приехал сюда умирать и беспокоится о том, что скажут в

Лондоне члены Комитета, дамы, журналисты. Еще больше читал, тоже с удивлением: все не мог вытравить в себе писателя, даже хуже, — литератора. Когда уезжал, думал, что не будет ни одной свободной минуты: армия, политика, администрация, — где уж тут, казалось бы, читать книги! Оказалось, однако, что свободного времени очень много: армия времени почти не отнимала, к вечеру она ложилась спать. Он читал до поздней ночи.

Думал, что уж если писать, то надо бы оставить после себя две книги об одном и том же: в одной изобразить показную сторону жизни, в другой — ее изнанку. Так можно было бы написать и о Миссолонги, обо всем этом деле, об освобождении Греции. Здесь, на месте, изнанка была гораздо виднее, и книга об изнанке ему удалась бы легче. Но не состоит ли истинная мудрость в том, чтобы поддерживать показную сторону жизни?

От тяжелых мыслей в бессонные ночи (спал все хуже) он и спасался книгами. Читал ученые труды по тактике, хоть плохо верил в такую науку. Читал романы с волшебными приключениями. Вальтер Скотт очень скрашивал дни и был, пожалуй, полезен для поддержания душевной гигиены, но уж очень было смешно и непохоже на жизнь, даже на ее показную сторону: „Как почтенному, старому человеку не совестно так врать? Неужели он может относиться серьезно к своему делу, — если я не могу к моему?“

Читал Библию — было издание небольшого формата, подарок сестры, — читал без предубеждения в ту или другую сторону, но воспринимал как *литератор*, читал как романы или поэмы. Многое казалось ему просто скучным. Поэтические достоинства псалмов очень преувеличены, больше пяти подряд нельзя прочесть (иногда, впрочем, вздрагивал: как хорошо!). Иов казался величайшим стилистом, но понять трудно: точно перепутаны переписчиком страницы, и одному из собеседников приписано то, что должен был бы сказать другой. Из притчей Соломона как *литератор* вычеркнул бы три четверти. В разговорах с Парри за бренди (хоть было совестно) он цитировал: „Не царям, Лемуил, не царям пить вино и не князьям сикеру. Дайте сикеру несчастному и вино огорченному духом“. Или, когда гости засиживались, напоминал: „Редко ходи в дом ближнего твоего, чтобы ты не надоел ему и чтобы он не возненавидел тебя..*“ Но порою читал с истинным волнением и Ветхий и Новый Завет, больше дивясь, впро-

чем, необычайной силе выражений. „...Добра я ждал, а пришло зло. Я надеялся на свет, но пришла тьма. Кипело неустанно нутро мое, и встретили меня дни скорби. Братом я стал шакалам и другом страусам. Рыданием стала цитра моя и свирель голосом плачущих...“ Дружба со страусами, пожалуй, давала и тут возможность настроиться на насмешливый лад: „Нет, ни одна книга не выдерживает испытания двух тысячелетий, мои собственные не выдержат и пяти — десяти лет“, — но Байрон на насмешливый лад не настраивался.

Однажды, в постели, очень поздно, далеко за полночь, он раскрыл „De Brevitate Vitae“* Сенеки и прочел: „Те живут всего меньше и всего хуже, кто забывает прошлое, кто пренебрегает настоящим, кто боится будущего. В свой последний час заметят слишком поздно эти несчастные, что всю жизнь были заняты пустым делом. И не обращай внимание на то, что они часто призывают смерть. Эти люди желают смерти, ибо боятся ее...“ Он положил книгу на кровать и спросил себя: „Обо мне ли это? „Mortem saepe ideo optant quia timent“#. Да, это как будто обо мне. Но когда же я забывал прошлое? И так ли уж боялся будущего? Что такое будущее? Я скоро умру, но жизнь стала мне так тяжела, что я не могу бояться смерти. И если пустые неприятности вызывают у меня желание умереть возможно скорее, если люди — почти все люди, начиная с меня самого, — стали мне противны до отвращения, то мудрость и должна заключаться в том, чтобы умереть как следует, как подобает воину. Это не значит бояться...“

Он спрашивал себя, поверят ли его энтузиазму потомки (если вообще вспомнят): как это был развратный, не добрый, сумасшедший человек и всерьез, совсем всерьез увлекся освобождением Греции! „Но ведь кто не поверит, тот ошибется еще грубее. Сенека уверяет, что поэты все искажают своими баснями, и это верно, и я искажал больше всех, но это верно лишь отчасти. Да, конечно, что мне до конституции Маврокордато? Что мне до Лепанто?..“ Второй Байрон услужливо подсказывал: „У Лепанто звучное название, здесь когда-то происходило знаменитое сражение, о котором помнит всякий школьник, и можно будет вернуться в Лондон в новом ореоле, и в „Морнинг пост“ появится статья: „Лорд Байрон взял Лепанто“, и эта музыкальная фраза

* „О скоротечности жизни“ (лат.).

„Эти люди желают смерти, ибо боятся ее“ (лат.).

ласкает слух...“ *Первый* Байрон с отвращением проверил: „Нет, неправда, клевета, не для „Морнинг пост“ мне нужна могила война, — кто *только* это увидит, тот низменный, пошлый человек. Впрочем, это говорили и говорят обо мне самом. Но я-то свой счет с жизнью уже свел, и в поддержании легенды теперь для меня и есть один из разных видов мудрости“.

„Главное, — думал он, — не в моей судьбе, не в моей жизни, не в моей смерти. Главное, конечно, и не в том, что на окровавленном мундире война было пятно или оказалась смешная прореха. Что ж делать, по свойствам моей природы я вижу преимущественно пятна и прорехи. Может быть, и выпало их мне на долю здесь, да и вообще в жизни, больше, чем я могу вынести. Но история найдет настоящую перспективу и все поставит на место...“ Он вспоминал то, откуда все пошло: карбонарскую венту, смешных мелких людей, речь одесского грека. Императоры, короли, министры, собиравшиеся на конгрессы, могли относиться с презрением и насмешкой к этим людям. Но сами-то они кто и чем могут похвастать? Они в Вероне доказали, что ничего не знают, ничего не понимают, ничего не умеют: все это — сплошной лорд Кестльри! Не скоро, поздно, случайно история выясняет, кто из государственных людей был сумасшедшим в настоящем смысле слова. Иногда она и вовсе это не выясняет. Под общий свист со сцены уходят наиболее талантливые артисты, а остаются и пользуются огромным успехом клоуны. Теперь уходит самый талантливый, император Александр. Другие, тоже не худшие, никуда, к счастью, и не суются. Господь Бог послал им хорошее место с хорошим жалованьем, они и принимают с благодарностью, стараясь никуда не лезть, как та недалекая приятная женщина, которая была женой Наполеона и совершенно об этом забыла. Так кто же *по-настоящему* был прав в их споре с карбонариями? За кем будущее, если оно что-либо доказывает? И какое будущее: двадцать лет? пятьдесят лет? сто лет? Быть может, очень скоро ничего не останется ни от веронских, ни от карбонарских идей, — кто же захватит большой кусок истории? — а если не в продолжительности дело, то в чем?.. Казалось ему, что победить должен он. Но уверенности у него не было.

Однажды утром Парри, явившийся с докладом, принес ему модель ракеты Конгрева, впервые составлен-

ную в арсенале. Хотя это была только модель и до настоящих ракет было еще очень далеко, Байрон обрадовался, как ребенок. „Вот это гильза, милорд, — объяснял майор, — сюда закладывается ракетный состав... Это снаряд, он прикреплен штифтами к головной части гильзы... Вот медная трубка для воспламенения разрывного заряда... Занятная штука, милорд, правда? Мой друг генерал Конгрев, был, черт возьми, умный человек, а?“ — „Какое разрушительное действие этой ракеты?“ — „Очень большое, Ваша Светлость... В день бомбардировки Копенгагена...“ — „Нет, ради Бога, без исторических примеров: каково разрушительное действие? Или как это у вас называется?..“ Парри пустился в сбивчивые объяснения. „Он ничего не знает“, — утомленно, со вздохом подумал Байрон. „Вы говорите: сера, селитра и уголь. Но ведь обыкновенный порох тоже состоит из этих веществ. Чем же ракетный состав отличается от пороха?“ — „Угля, Ваша Светлость, здесь много больше, чем в порохе. Поэтому разрушительное действие газов на стены гильзы меньше, и она не разрывается. Но Ваша Светлость не может себе представить, какой огромный моральный эффект имеет эта штука, черт ее побрал! Под Лейпцигом...“ „Моральный эффект? Что такое моральный эффект?“ — начал было с раздражением Байрон и остановился. Он почувствовал, что нашел образ: то, в чем сливаются *обе* книги. „Да разве *дело* в том, чтобы мои сулиоты взяли Лепанто! Я не мог правдиво, последовательно, логично себе ответить, зачем сюда приехал: освобождать ли часть человечества или отдавать неудавшуюся, никому не нужную жизнь. Но неудавшуюся жизнь и надо отдавать *на дело*, нет ничего глупее и постыднее вульгарного самоубийства. Этот майор — комическая фигура, и, может быть, я смешон самому себе в роли Дон Кихота. Но Греция все-таки освободится благодаря мне, благодаря ему, благодаря этой ракете, которая Лепанто не сожжет. Это символическая ракета, за ней придет *остальное*...“

XIX.

О перемене службы можно было мечтать, но пока заниматься нужно было настоящим делом. Мастер-месьяц с каждой оказией посылал донесения по начальству. Это было трудно. Он не очень любил политику, —

дело скверное и опасное, хоть, при удаче, чрезвычайно выгодное, — однако по своей профессии был обязан разбираться в политических делах: иначе дальше филера не пойдешь. Перед отъездом в Миссолонги мастер-месяц как следует во всем разобрался. Греки борются с турками за свою независимость — это совершенно понятно. В Лондоне образовался Комитет помощи грекам, собравший немало денег, — тоже можно понять: в Англии дураков достаточно, и деньги легко получить на какой угодно вздор. Одновременно с комитетом греческими делами заинтересовался лорд Байрон — на то он и полоумный. Все было ясно. Но миссолонгских дел мастер-месяц понять не мог.

Городок сам по себе, очевидно, большого военного значения не имел. Греки издавна точно уговорились с турками вести борьбу из-за этого рыбацкого села. Зачем оно понадобилось Байрону и Лондонскому комитету, было непостижимо. Если же им так нужно Миссолонги, то почему отправлена столь слабая, жалкая экспедиция? На море господствует турецкий флот, следовательно, турки в любое время могут прислать сюда несколько фрегатов с десантом. „Что тогда? Очень просто. Их всех возьмут в плен. Байрону, конечно, не беда: за него заступится английское посольство, будь он там какая угодно оппозиция. А греков перевешают или посадят на кол. И надо будет очень стараться, чтобы заодно в суматохе не посадили на кол и меня“.

Еще непонятнее был предполагавшийся поход на Лепанто. Этот город тоже никому не нужен. Захватят ли его или нет, — ничего в деле освобождения Греции не изменится. Но, во всяком случае, зачем заранее трубить о походе на всех перекрестках? Уж прямо бы напечатали в своей дурацкой газете, что такого-то числа двинутся на врага. Люди, которые не понимают, что здесь, в Миссолонги, на пять человек один, наверное, шпион, должны мирно сидеть дома, а не заниматься политикой и военным делом. А главное, кто будет брать Лепанто? Майор Парри со своими ракетами? Или архитектор с сулиотской гвардией? Да ведь сулиоты греков терпеть не могут еще больше, чем турок! Они воюют, пока им платят деньги. Если султан не дурак, то он и эскадры сюда не пошлет: он пришлет эмиссара с драхмами, и тогда эти сулиотские черти с удовольствием перережут всех греков во главе с архистратегом. А ведь денег у султана все-таки побольше, чем у Лондонского комитета.

Забавным казалось мастеру-месяцу еще и то, что люди, собравшиеся освобождать Грецию, острой ненавистью ненавидят друг друга. По его наблюдениям, весь город дышал злобой, раздорами, интригами. Ссорились между собой сулиотские атаманы, ссорились греческие вожди, ссорились съехавшиеся в Миссолонги иностранцы. Сам архистратег, правда, стоял как будто в стороне от ссор, или, вернее, стоял *над* ссорящимися. Но по разговорам иностранцев мастер-месяц чувствовал, что они не очень любят и архистратега: как будто на него сердятся, что вовлек их в гиблое дело. „Нет, дурацкая, дурацкая затея!“ — думал мастер-месяц.

Потом до него дошли слухи, что в Лепанто гарнизон тоже состоит из сулиотов и что с ними из Миссолонги ведутся какие-то переговоры: отсюда дали будто бы понять, что если хорошо заплатить, то крепость не прочь сдать. „Вот это другое дело! Так бы и говорили! Так можно *взять* и Лепанто, и что угодно. Хотя для этого, собственно, не стоило снаряжать экспедицию в Миссолонги: сторговаться *о штурме* можно было бы и из Лондона“, — думал он с обычным удовольствием: вот и еще прохвосты.

Затем войскам было объявлено о походе официально. Ракет Конгрева все не было: не хватало каких-то штифтов. Но некоторое число снарядов арсенал уже изготовил: „Для штурма их маловато, если же к снарядам добавить деньги, то, пожалуй, достаточно“. Мастер-месяц был в недоумении: что сообщать? Представить рыжему подполковнику дело в более тревожном виде — потом, если ничего не выйдет, рыжий скажет: дурак, энтузиаст. Представить в менее тревожном виде — вдруг возьмут Лепанто, тогда совсем беда. Ему пришла в голову мысль: не сообщить ли правду? не описать ли как есть? Эта мысль сначала его удивила своей неожиданностью. Потом решил, что, пожалуй, так в самом деле будет всего лучше. Через два дня ожидалась оказия для отправки донесения.

XX.

В последние дни перед походом на Лепанто работы в арсенале оказалось больше обычного. Мастер-месяц суетился на глазах у майора Парри, кричал на рабочих и вообще проявлял волнение. У него на лице было написано, что наступили великие дни.

Время выступления *авангарда* не было установлено вполне точно или же в последнюю минуту что-то произошло. Мастеру-месяцу по незначительным признакам казалось, что как будто вышла какая-то заминка. Майор был еще сердитее обычного. Под его наблюдением мастер-месяц весь день усердно работал в главной мастерской: сдавал артиллеристам снаряды. Под вечер сторож доложил, что граф Гамба просит господина начальника арсенала пожаловать в кабинет по неотложному делу. „Переведите, что говорит этот дурак“, — гневно приказал мастеру-месяцу майор и, услышав о визите графа, выругался: не любил состоявших при Байроне *штатских*. „Скажите ему, что я сейчас приду. Работы у меня и без него достаточно... Неотложное дело, знаю я их неотложные дела“, — бормотал майор. Он отправился в кабинет, примыкавший к главной мастерской. Через минуту оттуда послышался его яростный крик. „Да что вы рассказываете! Быть этого не может!..“ Все рабочие притихли, хотя большинство по-английски не понимало. Начальник арсенала вышел из кабинета. Лицо у него было багровое, бешеное. „Мерзавцы! Перевешать их всех!“ — закричал он, не объясняя, кто мерзавцы и кого перевешать. На этот раз майор едва ли изображал старого рубаку. У дверей он остановился с проклятием, вернулся в кабинет и снова появился с плоской карманной фляжкой в руке. „Если б не бренди, я издох бы в этой проклятой дыре“, — с яростью сказал он графу. Они покинули арсенал. За ними скоро уехал в дом Капсали шведский офицер Засс, очевидно, тоже туда вызванный.

Очень скоро в серале все стало известно. Сулиоты отказались выступить в поход на Лепанто и предъявили архистратегу какие-то требования: не то, чтобы командование было избрано из их среды, не то, чтобы их произвели в офицеры с назначением всем офицерского жалованья.

Мастер-месяц был в восторге. „Просто дом умалишенных...“ На радостях он купил в кантине бутылку мускатного вина и коробочку рахат-лукума. Зашел к маркитантке, но ее не было: ушла навестить сестру и долго не возвращалась. Он уже начал было беспокоиться. Вернулась она довольно поздно, очень взволнованная. Сообщила, что с архистратегом случилась беда. „К нему пришли эти головорезы...“ — „Какие головорезы? Сулиоты?..“ „Ну да, а кто же? Пришли чего-то требовать. Пьяные, страшные, сейчас зарежут, — рассказы-

вала она испуганно, — а он хоть бы что! Сидит у себя на диване как ни в чем не бывало и говорит: „Ничего вам не будет...“ Переводчик струсил, боялся переводить: убьют! Они орать, и архистратег орать: „Мерзавцы, вон, чтобы духу вашего здесь не было!..“ „Да что ты врешь! Ты при этом была, что ли?“ „Нет, я при этом не была, они еще до меня были... ты думаешь, люди врут? — удивленно спросила она, точно никогда об этом не слышала. — А вот падучая была с ним при мне, это я своими глазами видела“. — „Какая падучая?“ — „Ну, какая же бывает падучая? Упал на пол, забился в судорогах, сбежался весь дом, сестра туда, я за ней. Смотрю: он лежит на полу, бьется, бедный, лицо так и дергается, на губах пена! Смотреть страшно!“ „Да ты врешь!“ — говорил изумленно мастер-месяц. „Зачем мне врать? Я правду говорю“. — „Поклянись памятью матери, что сама своими глазами видела“. Маркитантка поклялась, очень довольная успехом своего рассказа. „Падучая! Я знаю, что падучая! У нас родственник был такой, уж я это знаю!“ — „Ну, и что же?“ — „Чего ж еще? Перенесли его четыре человека наверх. Я видела, как несли. Лицо белое, вот как эта стена, и рот весь в пене. Сейчас помрет!..“

Мастер-месяц был очень взволнован. Забыв о вине, подсунув маркитантке рахат-лукум, он сел за новое донесение: старое, очевидно, не годилось. Сообщил, что, по совершенно достоверным сведениям, только что им полученным от близких известного лица, известное лицо вдруг опасно заболело. „О степени серьезности его болезни ничего пока не могу сказать, врач еще не высказался“.

Он не боялся писать при маркитантке, так как знал, что она ничего такого не понимает, да и занята рахат-лукумом. Но для донесения нужны были все же более толковые сведения. „Верно, в кантине сейчас есть народ. Пойти послушать, что говорят люди“, — подумал он и сослался на головную боль. „Поужинаем, миленькая, позднее. Я немного пройдусь. А ты жри пока рахат-лукум“, — ласково сказал он.

За столиком кантины действительно сидели Засс и Киндерман. В ответ на почтительный поклон приемщика швед рассеянно-приветливо сказал: „Добрый вечер“. Немецкий офицер не ответил никак: что же отвечать пустому месту? Мастер-месяц подошел к стойке и скромно спросил пива.

— ...Нет, пожалуйста, вы мне подробнее сообщите, что именно нашел врач? Вы понимаете, какое это имеет значение, — говорил по-немецки Киндерман.

— Ах, врач! Разве этот мальчишка врач? Просто стыд и позор! Ничего путного он не сказал и не мог сказать, — ответил шведский офицер. — Он только, как всегда, плакал и говорил, что не знает, какая болезнь у Его Светлости. Очень желал узнать мое мнение! Я ему заявил, что по вопросам артиллерии никогда к нему не обращаюсь. Мое мнение, да тут двух мнений и быть не может: у лорда Байрона был эпилептический припадок, — сказал Засс, чуть понизив голос, несмотря на немецкий язык.

— Но... Вы когда-нибудь слышали, что Его Светлость эпилептик?

— Не имел ни малейшего понятия. Вероятно, его потрясла эта сцена с сулиотами.

— Говорят, он держал себя с большим достоинством?

— Мало сказать: с достоинством! Он был выше всяких похвал! Наполеон не мог бы держать себя лучше. Был совершенно спокоен, хотя достаточно ясно, какой это для него удар. Мало того, ведь он подвергался серьезной опасности. Дело, по существу, шло не только об отказе от похода: эти дикари могли тут же его зарезать и отослать его голову султану. Говорят, что они еще вчера послали к нему своих шантажистов с угрозами. Он категорически во всем отказал: жалованья не прибавил, офицерами их не назначил, объявил, что увольняет их от службы. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что жизнь его в эти минуты висела на волоске.

— Удивительно! Ведь он никогда не был офицером!

— Скажу вам правду, я никаких его книг не читал. Пробовал читать, когда выехал сюда, и не мог: мне показалось, что все это прежде всего очень скучно. Охотно признаю свою полную некомпетентность, я вообще человек не ученый: свое артиллерийское дело знаю и больше ничего. Скажу больше: у меня было против него некоторое предубеждение, — вы знаете, какие легенды о нем ходят, среди них есть легенды, довольно скверные. И тем не менее всякий раз, как я с ним встречался здесь, в Миссолонги, у меня неизменно было впечатление, что я нахожусь в обществе великого человека. Книги его, говорят, странные, а он сам необыкновенно прост и умен. Я не видал Наполеона, но представлялся разным высоким особам. Разве только

Александр I производил такое обаятельное впечатление королевской простоты и королевского величия...

— Вы никогда не видели принца Шаумбург-Липпе?

— Не видал, — с досадой сказал Засс. — Но возвращаюсь к делу. Теперь наше положение катастрофическое. Вот тебе и поход на Лепанто! Хороши наши войска!

— Unerhört! — воскликнул Киндерман, ударив кулаком по дощатому столу. — Однако вы мне не сказали, как же случился этот припадок?

— Он спустился из своей комнаты в кабинет Стэнгопа, знаете, в первом этаже. Там уже был наш красавец: майор. А где он, там и бренди, это вы тоже знаете. Лорд Байрон налил себе полстакана и выпил пополам с сидром...

— Я знаю: это ужасная вещь.

— Выпил, встал, улыбаясь, хотел что-то сказать и грохнулся на пол в конвульсиях!

— Unerhört! — повторил не совсем кстати Киндерман.

Офицеры скоро ушли. Мастер-месяц еще постоял у стойки, обдумывая случившееся: как все это отразится на походе, на экспедиции, на его собственной судьбе. Дежурный поглядывал на него с неудовольствием и, наконец, демонстративно погасил одну из двух горевших в комнате сальных свечей. В другое время мастер-месяц остался бы после этого нарочно, чтобы отстоять свои права лица среднего персонала. Но теперь мысли его были заняты важными делами. Он вздохнул и вышел из кантины. Дежурный запер дверь на замок, пробормотав что-то неприятное.

Сторож вбежал в ворота и закричал, что сулиоты идут на арсенал. „Спасайся кто может!“ — заорал пьяный часовой. Известие мгновенно распространилось по сералю. Началась паника. Офицеры выбежали во двор с пистолетами в руках. Кто-то пронесся с факелом по второму двору. Мастер-месяц растерялся: „Зарежут! Его не зарезали, так все выместят на нас!..“ Хотел было броситься во второй двор, — там была калитка, — но вспомнил, что маркитантка ждет его, что ее защитить будет некому. Он тоже выхватил пистолет и побежал в гарем. „Сам издохну, а ее не позволю тронуть!“ — думал он на бегу. Она лежала на его кровати и медленно жевала последний кубик рахат-лукума, стараясь про-

длить наслаждение. Вытаращила глаза, увидев его с пистолетом.

Тревога оказалась ложной: сулиоты на арсенал не шли. Узнав, что он вернулся ради нее, пошел на верную смерть, маркизантка зарделась от любви, восхищения и благодарности. Мастер-месяц сам ничего не понимал: что это с ним случилось? И ему в первый раз пришла в голову мысль: влюблен! Влюбился в нищую женщину, в отставную одалиску турецкого паши! „Дурак! Идиот! Энтузиаст!“ — говорил он себе, замирая от восторга.

XXI.

„...Теперь *все* кончено, уж *совсем* кончено... Значит, прежде было не *все* и не *совсем*?.. Да, прежде еще выпали хорошие минуты: минуты почти веселые, минуты почти счастливые. Их было мало, их становилось все меньше. Но на что рассчитывать *теперь*? Эпилепсия, то есть безумие: зачем называть это другими именами? Прошлое? Свое? Грехи отца? Наследие *злого* лорда? Наследие убийцы Чаворта? Или подарок рода Гордонов, вся история которого — неправдоподобная цепь преступлений, убийств, казней. Все равно...

Ну, что ж, это очень просто. Слишком быстро? Может быть. Это всегда слишком быстро. Не успел ни как следует пожить, ни как следует подумать? Не первый, не последний. Вот то же иными словами сказано в этой книге Сенеки: „Omnis illis speratae rei longa dilatio est; at illud tempus quad amant breve est et praiceps breviusque multo, suo vitio; aliunde enim alio transfugiunt et consistere in una cupiditate non possunt. Non sunt illis longi dies, sed invisī...“* Подумать о показной стороне смерти? Чего уж лучше в смысле повышения в историческом чине!.. Символическая ракета сожжет символическое Лепанто — не в этом ли подлинная мудрость?..“ И стихи о могиле воина, недавно, здесь в Миссолонги, взволновавшие почти до слез, как когда-то волновали первые строфы „Чайльд Гарольда“, — *теперь* принимали новый, тоже неожиданный, радостно-безнадежный смысл.

* „Для них отсрочка в исполнении желаний всегда так длительна, а исполнение кратко. Ибо их жизнь лишь то одно желание, то другое, и быть привязанными только к одному они не могут. И для них дни ожидания не так долги, как ненавистны...“ (лат.)

XXII.

Потом события пошли очень быстро, слишком быстро: мастер-месяц не успевал доносить рыжему подполковнику. Выяснилось, как произошел сулиотский бунт. Греческий вождь Колокотронос, опасаясь, что замятие Лепанто может увеличить авторитет работавшего с Байроном Маврокордато, послал своих сулиотов подбивать к бунту сулиотов Миссолонги. „Да, эти Грецию освободят!“ — весело думал мастер-месяц. Из разговоров в кантине он узнал также, что Лондонский комитет посылает не очень много денег; Байрон немало докладывает из своего кармана. Мастер-месяц укрепился в мысли, что во главе миссолонгского дела стоит сумасшедший.

Поход на Лепанто, естественно, отложили, так как наступать было некому. Большая часть сулиотов покинула город. Остались только те, что обещали впредь строго соблюдать дисциплину. Но и от них радости было немного. Через несколько дней после бунта мастер-месяц был послан в деревню нанимать людей. Когда он вернулся в арсенал, маркитантка выбежала ему навстречу и со слезами сообщила, что случилась большая беда: убили шведского офицера. Мастер-месяц ахнул: „Засса? Кто убил? Быть не может!..“ Оказалось, что убил сулиот, не то по ошибке, не то в пьяном виде. „Только что увезли тело. Приезжал сам архистратег, — на нем лица нет: вид такой, точно и сам он не сегодня-завтра умрет! А в серале никто больше не хочет служить. Англичане так прямо всем и заявили: их наняли на мирную работу, а если тут какие-то дикари режут людей, то они требуют, чтобы их сейчас же на казенный счет отправили назад в Англию“. „И совершенно правы!“ — в сердцах сказал мастер-месяц. Присутствие в арсенале было скорее выгодно, как все, что вредило успеху дела, но ему было жаль Засса. „Уж лучше бы тот разбойник зарезал Киндермана...“

И точно, убийство шведского офицера было сигналом для общего развала, несчастья посыпались одно за другим. Дня через два, в девятом часу вечера, мастер-месяц ужинал со своей подругой, как вдруг раздался страшный, непонятно откуда шедший удар, все со звоном посыпалось на землю, за окном послышались крики: „Это взрыв! Беги, беги, дура, не подбирай тарелок!“ — заорал мастер-месяц. Он подумал, что взорвался ракетный состав. Рванулся было в коридор, ах-

нул, вернулся за ней и потащил ее на улицу. „Взрыв! Пожар! Горим!“ — вопил он по-итальянски, забыв, что никакими иностранными языками, кроме английского, не владеет. Однако огня нигде не было видно. В воротах образовался затор. Работая локтями изо всей силы, мастер-месяц прорвался на улицу и выволок полумертвую маркитантку. Только через несколько минут, уже далеко на улице, он понял, что дело не в арсенале, что взрыва не было, что бежать некуда. Неслось страшное слово: „землетрясение“! Женщины и дети голосили, одни бросались на землю, другие кричали, что не надо бросаться. Вдруг раздались выстрелы, паника еще усилилась. В конце шедшей к серало улицы показался бегущий отряд сулюотов. Они на бегу палили вертикально вверх из мушкетов. Позднее мастеру-месяцу стало известно, что это у них обычный способ борьбы с землетрясением. Затем он увидел архистратега. Байрон, без обычной свиты, быстро проскакал верхом к арсеналу.

Назад архистратег проехал шагом минут через пятнадцать. Сулюоты все палили вверх. Узнав, что стрельба ведется по небу в целях борьбы с землетрясением, Байрон ничего не сказал: тусклым взглядом посмотрел на небо, на сулюотов, затем медленно поехал дальше.

Подземные удары не повторялись, разрушения были не очень велики. Однако мастер-месяц приуныл: он отроду никаких землетрясений не видел. Если в этой дыре да еще землетрясения, то черт с ней совсем: пора убираться восвояси.

Он думал, что теперь можно от рыжего добиться перевода в другое место: ясно, что никакого толку из миссолонгского дела не будет. Мастер-месяц заготовил было письмо, очень убедительное и хорошо составленное, но не послал. Сам себя ругал: энтузиаст, конечно, энтузиаст! Чувствовал, что в конце концов все-таки пошлет письмо, однако оно все лежало у него в кармане.

30 марта, в дождливый вечер, вернувшись к себе в мрачном настроении, он с изумлением увидел, что вся его комната украшена цветами, — так мило, так приятно. Стол был накрыт цветной чистенькой скатертью, со складочками от утюга (обычно они обедали без скатерти), и заставлен всевозможной *парадной* закуской: были не только два сорта рыбы — оба его любимые, — не только *арнаки* с соусом из перца, но и какой-то паштет заморского вида под Страсбург. Посредине стола стояли графин с фруктовой водкой и две бутылки

темно-желтого вина. Буылки были ему знакомы: марсала! настоящая марсала, совсем такая, какую подавали в Трапани! Здесь она стоила бешеных денег. Мастер-месяц вытаращил глаза. „Ты что, рехнулась?..“ Она с улыбкой протянула ему пакетик, перевязанный ленточкой: новенький кошелек, и нараспев объяснила, что сегодня его рождение. „Помнишь, ты мне сказал, что родился 30 марта“. Он совершенно забыл: забыл и что нынче день рождения, и что сказал ей, когда родился. А она помнит! Это чрезвычайно его растрогало: за всю его жизнь никто не украшал цветами комнаты в его честь, да и подарков, кажется, никогда не получал, кроме денежных от начальства за особые заслуги. Ночью она признала, что он лучше самого паши.

Это был последний их радостный день. Дела в Миссолонги пошли совсем худо. Сулиоты, покинувшие город, где-то поблизости соединились с отрядом атамана Карайскаха и вместе с ним двинулись на Миссолонги. Одновременно прошел слух, что к лагуне приближается турецкая эскадра. И еще стало известно, что раскрыт большой заговор, во главе которого стоял какой-то человек, живший в доме архистратега. Этот человек оказался изменником: поддерживал связь с турками! А жил он в доме архистратега потому, что этот дом принадлежал его родным. В кантине шепотом сообщали, что весь город наводнен шпионами: турецкими, английскими, греческими, австрийскими. Мастер-месяц слушал, ахал и даже *сжимал кулаки*. Но про себя все больше думал, что пора, пора уезжать. Не то расстреляют греки, или повесит Карайсках, или зарежут сулиоты, или посадят на кол турки.

В наиболее тревожный день, 6 апреля, он в последний раз в жизни видел архистратега. Мимо арсенала промчался отряд: лорд Байрон со своей немногочисленной гвардией скакал в глубь страны, очевидно, навстречу пайкам атамана Карайскаха. Отряд пронесся очень быстро. Мелькнули раззолоченные шлемы, обнаженные мечи, пышно развевающиеся мантии, — и на кровном коне мертвенно бледный человек с измученным, изможденным лицом. „Вот зрелище, которое я буду помнить до своего последнего дня! — сказал в воротах, обращаясь к нему, один из иностранных офицеров. — Торжество духа над телом“. Немецкий офицер не ответил, но пожалел, что этот человек не служит в настоящей армии.

Кончилось новое испытание благополучно. Турецкий флот ушел в Коринфский залив: неизвестно, зачем приходил, неизвестно, зачем ушел. Изменников схватили. Сулиотские вожди перессорились между собой и отступили от Миссолонги. Атаман Карайсках был арестован. Очень подвинулась и работа в арсенале. Ракеты Конгрева уже были почти готовы. Майор Парри повеселел, ходил по арсеналу с видом Веллингтона после Ватерлоо и орал, что поход на Лепанто состоится очень скоро. „Дай Бог только сил и здоровья Его Светлости, а я их всех сожгу в один вечер! Будут они меня помнить!..“ И еще что-то кричал о битве при Лейпциге, о своем друге генерале Конгреве, о Наполеоне, которого погубили эти самые ракеты.

В этот ли вечер или в следующий (мастер-месяц позднее не мог вспомнить) в кантине, в арсенале, по коридору гарема прополз слух, что здоровье Его Светлости очень худо. Говорили, что архистратег простудился при последней своей поездке верхом и схватил какую-то скверную лихорадку. В гарем пришла прачка, сестра маркитантки, и, вытирая слезы, сказала, что итальянский доктор целый день плачет: архистратег плох, совсем плох. Тотчас горько заплакала и маркитантка.

В арсенале наступила тишина. Никто больше не ссорился. Сам майор Парри не шумел и вообще показывался мало: проводил почти весь день в доме Капсали. Не было видно ни Маврокордато, ни графа Гамба, никого. В кантине растерянно говорили, что надежды на выздоровление мало. Шли все более мрачные слухи. Вечером 19 апреля по городу с необычайной быстротой пронеслось известие, что в начале седьмого часа лорд Байрон тихо скончался.

XXIII.

На воротах серала появилось длинное объявление в плохо отпечатавшейся траурной кайме. То ли начали его набирать еще во время агонии архистратега, или уж очень быстро сделали свое дело рабочие, но скоро оно висело в Миссолонги везде, где только можно было его наклеить. Люди останавливались, бледнели, крестились и читали все, от начала до конца, хоть уже знали о смерти Байрона и хоть объявление было длин-

ное. Весть быстро неслась по окрестностям: в ту же ночь она дошла и до турок.

В арсенале из-за Пасхи работы не было. У висевшего под фонарем объявления стояла довольно большая толпа. Сначала о своих делах не говорили; мысль о них лежала камнем на душе у каждого жителя Миссолонги. И только когда седая старуха, служившая в серале уборщицей, сказала, что, верно, теперь иностранцы их бросят, у людей развязались языки. „Как бросят? Не могут бросить!“ — „Не может быть, чтобы бросили!“ — „Ведь тогда турки придут!“ — „Ну да, придут“. — „Турки не поцеремонятся!“ — „Всех нас перережут, как на Хиосе!..“ Какая-то женщина с ребенком на руках заплакала. За ней заплакали другие. „И работа здесь прекратится, — угрюмо сказал кто-то, — может, турки и не придут, а хлеба у нас не будет...“ „Да быть не может, верно, он оставил распоряжение, чтобы не уходили“. — „Надо бы узнать...“

После некоторого колебания решили послать трех старших справиться у начальства в арсенале. Часовой грек, понимая общую беду, пропустил делегатов в ворота, но сказал, что, кажется, никого из начальства нет: все уехали в дом Капсали. Правда, майор уже вернулся, но злой как собака, не подступись! По двору шел мастер-месяц. Вид у него был не располагавший к разговорам. Делегаты робко его остановили: он был неважное начальство, а все-таки начальство. „Чего лезете? Не знаете, что ли, что арсенал закрыт?“ — угрюмо спросил он. Рабочие смиренно объяснили, что все очень волнуются: случилось такое несчастье, будет ли дальше работать арсенал? Ходит слух, будто кончится работа. „Если кончится, то вам объявят расчет, только и всего“. — „Да ведь тогда турки придут! Что же нам делать?“ „А я почему знаю? — сказал мастер-месяц и сам пожалел о своей резкости. — Нечего волноваться. Может быть, работа будет продолжаться и дальше. Зачем туркам сюда лезть? Да и войска у нас остались. Жили до архистратега, будете жить и дальше. Назначат другого главнокомандующего“.

Несколько успокоившись, делегаты ушли, за воротами тотчас послышался радостный гул. Мастер-месяц вздохнул. Он тоже был расстроен. Узнав о кончине Байрона, он вскользь сказал маркитантке, что теперь, верно, придется отсюда уехать. Не объяснил, как и почему, — она ни о чем не спросила, только изменилась в лице и через минуту заплакала. В большом смущении

мастер-месяц спустился во двор арсенала, взял у дежурного ключ и в кantine выпил рюмки четыре водки. Вопреки своему правилу, он сел за стол (в праздник никто в кantine прийти не мог) и гумблотовским карандашом написал донесение о кончине известного лица.

Он сам удивлялся: ему было жаль лорда Байрона. Вспомнил их первую встречу пять лет тому назад у Флориана и подумал, что все-таки это был очень замечательный человек, каких на свете немного: „И книги, говорят, писал замечательные. Из-за каких-то грехов погиб! Черт его угораздил приехать в эту проклятую дыру! И я здесь тоже издохну как собака. Если здешняя чепуха будет продолжаться, то, вероятно, рыжий велит остаться в Миссолонги“. Несмотря на соображения о том, что и он здесь издохнет, эта мысль была почти приятна мастеру-месяцу. Он понимал, что не может жениться на бывшей одалиске, не имеющей ни гроша за душой. Но ему было очень грустно с ней расставаться, — правда, теперь как будто уже не так грустно, как было бы недели три тому назад. „Ничего не поделаешь, — думал он со вздохом, соображая, куда могут его послать. — Ясно, что должны дать повышение. В Петербург, что ли, все-таки к императору Александру? Но газеты сообщают, что он *впал в мистицизм...*“ Несмотря на немалый опыт, ему было неясно, как мистицизм расценивается в ведомстве рыжего подполковника: может, за такими именно и нужно наблюдать? а может, наоборот, если ты впал в мистицизм, то иди к черту, никто тобой не интересуется?

Мастер-месяц поднялся к себе с тяжелым чувством. Маркитантка все сидела на стуле в той же позе, как полчаса назад (вообще сидела редко: либо бегала по делам, либо валялась на постели). „Милая, — сказал он самым обыкновенным тоном, точно ничего не случилось, — вот что, нам надо туда пойти“. „Куда?“ — „Туда, в его дом. Все служащие пошли“. — „Зачем?“ „Как зачем? *Отдать последний долг*“, — сказал он. Эти торжественные слова и его интонация ее, видимо, испугали. „Ты иди, а я не пойду. Мне не надо идти, я простая маркитантка. Ты — счетовод, это другое дело“. — „Все идут. Весь город там“. „Весь город? Нет, нет, я не пойду, я их боюсь“, — сказала она с ужасом в голосе, разумея умерших. Он немного подумал. „Ну, как знаешь. Тогда я пойду один, так, может быть, и приличнее. Приготовь

на ужин чего-нибудь такого“, — добавил он, разумея такое, что умиротворило бы омраченную душу.

Выйдя из гарема, мастер-месяц отправился в кабинет майора Парри. Несмотря на праздник, на этот вечер была назначена первая проба ракет. Он предполагал, что теперь проба не состоится, но следовало для порядка спросить. Дверь была полуотворена. Майор сидел, наклонившись к столу, положив голову на руки; плечи его тряслись от рыданий. На столе лежала карманная фляжка. Мастер-месяц смущенно попятился назад, вышел в коридор, погулял немного и постучал в дверь. „Что вам надо?“ — „Господин майор, я пришел узнать насчет пробы ракет генерала Конгрева. Как вы изволили приказать, я велел артиллеристам прийти в девять часов...“ „Идите ко всем чертям с вашими проклятыми ракетами!“ — закричал майор, вставая. Мастер-месяц выскочил из кабинета. „Старый болван! Совсем его развезло от водки!“

К дому Капсали действительно шло чуть ли не все население городка. Знакомый лавочник вышел из лавки и стал ее запирать. Мастер-месяц его окликнул. „Какая сегодня торговля! Все закрыто!“ — нехотя сказал лавочник, но сделал исключение для постоянного покупателя. Купив большую коробку рахат-лукума, мастер-месяц вернулся в сераль, поднялся к себе, — она все сидела так же. „Миленькая, я тебе что-то принес“, — сказал он ласково и сунул ей в рот мягкий, липкий кубик с осыпающейся пудрой. „Как можно есть эту дрянь?“ — подумал он. Она просияла, не то от рахат-лукума, не то от его внимания. „...Так ты уже там был? Ужин еще не готов, будет только через полчаса, я еще ничего не сделала, прости меня!“ — „Нет, нет, я пока и не ходил. Приду не раньше чем через час. Разве ты уже голодна?..“ Они нежно поцеловались. И, целуясь, он подумал, что, наверно, ее бросит ничего не поделаешь. Сердце у него обливалось кровью.

У ворот дома стояли часовые, опустив ружья дулами к земле. На рукавах у них была черная повязка. „Это хорошо. Молодцы! — с искренним одобрением подумал мастер-месяц. — Успели распорядиться и повязки достали“. На лестнице горели свечи. Пахло спиртом. Слышались негромкие удары молотком. Граф Гамба с заплаканным лицом стоял на площадке и всем говорил вполголоса. „Второй этаж. Там...“ Среди поднимавших-

ся многие плакали — кто из приличия, а большинство искренне. Толпу пропускали быстро. Мастер-месяц оставался в комнате не более полминуты. При бледном свете свечей он увидел на небольшой высоте от пола измученное, восковое, окровавленное на висках лицо. „Кровь? Почему кровь?“ — с ужасом подумал он. Позднее понял, что кровь была от пиявок. Кто-то плакал в углу.

Вконец расстроенный мастер-месяц спустился вниз. Заглянул в комнату, откуда слышались удары. Там сколачивали гроб из грубых неотесанных досок, верно, от распиленных ящиков. „Все чтобы было ровненько обложено жемчугом, и, главное, смотрите, чтобы нигде не пропускало спирта... Я думаю, 180 галлонов хватит?“ — спросил вполголоса один из распорядителей другого, показывая на бочку. Мысль, что тело повезут в спирт, была почему-то особенно неприятна мастеру-месяцу. „Где будут хоронить? Здесь?“ — спросил он распорядителя шепотом. Тот только бросил на него презрительный взгляд. Лорда Байрона хоронить *здесь!* „Еще не решено, либо в Афинах, в Акрополе, либо в храме Тезея. А может быть, придется отвезти в Англию“, — ответил другой распорядитель.

Пошел дождь. Мастер-месяц, ежась, застегнул плащ и ускорил шаги. Мысли его стали совершенно мрачными. Он решил, что надо, надо уехать, уехать возможно скорее, все равно куда ни пошлют. „Как ни больно, придется с ней расстаться. Может, я позднее ее выпишу туда, куда назначат? — нерешительно подумал он, но тут же почувствовал что никогда этого не будет, что никуда он ее не выпишет, что это конченное дело. — Но там, куда назначат, я найду другую, похожую на нее, совсем такую, как она!..“

Хотя до оказии оставались еще сутки, он сходил на пристань и сдал кому следовало для передачи рыжему оба письма: старое и новое. В грустном настроении он довольно долго бродил по берегу. „Нехорошо? Я ей оставлю денег...“ Мастер-месяц задумался: сколько же ей оставить? „Много не могу, мало — неловко... Ну, еще будет время для решения: пока там придет ответ от рыжего!.. Да, по-хорошему на свете не проживешь. Мудрые люди добродетелью не промышляют. При добродетели я давно издох бы от голода...“ Мысли эти его не успокоили. Он испытывал все растущую странную, беспредметную злобу.

У ворот арсенала тот же часовой раскуривал трубку, как тогда, в день его зачисления на службу. „Каналья! Мерзавец!.. Ко всем чертям!“ — вдруг с яростью закричал мастер-месяц. Лицо его искажилось от душевной боли. Так не кричал и сам майор Парри. Испуганный грек бросил трубку и вытянулся. „Как держишь ружье? Негодяй! Дулом вниз! Я тебе говорю, дулом вниз!“ — орал мастер-месяц в припадке дикого, бессмысленного бешенства.

XXIV.

На большом дворе арсенала собралось несколько человек. При свете фонаря майор подвинул станок, заложил ракету Конгрева, установил квадрант. „Готово, ребята?“ — хрипло спросил он. Артиллерист повернул трубу, закрепил и проверил зажим. „К югу прикажете?“ — „Да, куда-нибудь туда: через залив, к Араксосу, к Наварину!“ „До Наварина, пожалуй, не долетит“, — с усмешкой сказал немецкий офицер. „Я говорю: к югу! Готово? Огонь!“ — закричал Парри. Артиллерист поднес к гильзе палительную свечу. Раздался оглушительный выстрел. Ракета взорвалась на огромной высоте, рассыпалась и упала в лагуну.

Источники публикаций

«Начало конца». При жизни Алдаяова отдельным изданием на русском языке была выпущена только первая часть романа. Вторая печаталась с сокращениями в конце 30-х годов в журнале „Современные записки“. В 1942 г. в №№ 2 и 3 "Нового журнала" Алдаов напечатал пропущенные главы и окончания, однако не по порядку глав, а группируя материал по отдельным сюжетным линиям. При подготовке текста для настоящего издания использовался полный перевод романа на английский язык (*M. Aldanov. The Fifth Seal. Transl. by N. Wreden. London. Cape, 1946*) и из этого перевода заимствована последовательность глав.

Первая часть печатается по кя.: М. Алдаов. *Начало конца*, ч. I, Париж, „Русские записки“, 1939 г.

Вторая часть: главы I — VIII по журн. „СЗ“, № 68; главы IX — XV — там же, № 69; гл. XVI — там же, № 70; главы XVII — XIX по фрагменту „Комалдировка Тамарина“, „НЖ“, № 2; главы XX — XXI по фрагменту „Реквием“, главы I — III, „НЖ“, № 3; главы XXII — XXIV по журн. „СЗ“, № 70; глава XXV — там же, глава V; глава XXVI — там же, глава IV; глава XXVII по фрагменту „Бал у короля“, „НЖ“, № 2. Заключительная сцена романа в этой публикации опущена, мы печатаем ее в обратном переводе с английского.

«Десятая симфония». Печатается по первой публикации — книга „Десятая симфония“ — „Азеф“, Париж, 1931 г.

«Могилы войны». Печатается по первой публикации — журнал „Русские записки“, №№ 13, 15, 16. Париж, 1939 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей ЧЕРНЫШЕВ. Алдапов в 1930-е годы	5
НАЧАЛО КОНЦА	21
ДЕСЯТАЯ СИМФОНИЯ	447
МОГИЛА ВОИНА	527
<i>Источники публикаций</i>	653

Алданов М.

- 49 Сочинения. — В 6-ти книгах. — Кн. 4: Начало конца. Роман. — Повести. — М.: АО „Издательство «Новости»“, 1995. — 656 с.

ISBN 5—7020—0830—8

В книгу вошли произведения Алданова 1930-х годов. Действие романа „Начало конца“ разворачивается перед началом Второй мировой войны, он проникнут настроениями беспокойства, тревоги. Философские повести „Десятая симфония“ и „Могила война“ раскрывают внутренний мир великих художников прошлого.

4700000000
067(02)—95

Без объявл.

ББК 84Р

Марк Алданов
НАЧАЛО КОНЦА

Заведующий редакцией *Л.Д. Соболев*
Редактор *Е.И. Бонч-Бруевич*
Младший редактор *Н.В. Потатужева*
Художественный редактор *А.И. Хисиминдинов*
Технический редактор *Н.А. Федорова*
Корректор *Н.П. Сидорина*
Технологи *В.И. Руденко, В.Ф. Егорова*

ИБ № 10904

ЛР № 040676 от 28 февраля 1994 г.

Подписано в печать 3.10.94 г. Формат издания 84х108/32.

Гарнитура „Антиква“. Усл. печ. л. 34,44.

Уч.-изд. л. 39,11. Тираж 15 000 экз.

Заказ № 6018. Изд № 9177.

АО „Издательство «Новости»“
107082, Москва, Б.Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике № 1
Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

По вопросам полиграфического брака обращаться
на Книжную фабрику № 1
г. Электросталь Московской области.

